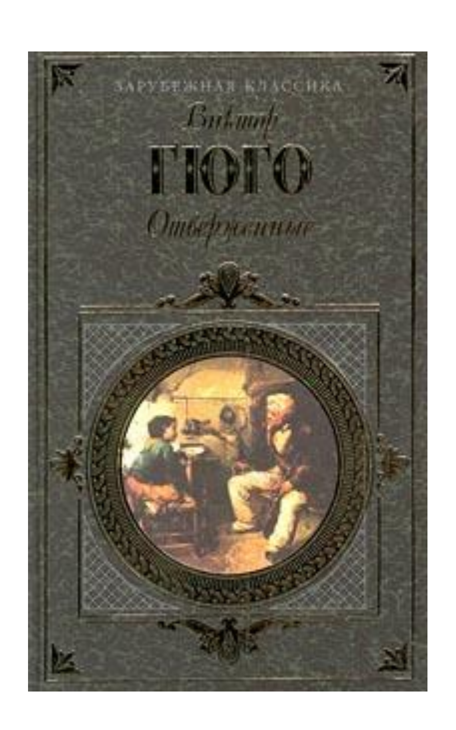
# Гюго Виктор

# Отверженные. Том I




**Том I**

**Часть I**
**«Фантина»**
**Книга первая**
**Праведник**
**Глава первая.**
**Шарль Мириэль**

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; епископскую кафедру в Дине он занимал с 1806 года.

Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, все-таки будет, пожалуй, небесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом Мириэля. Правдива или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его поступки. Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать-двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько

маловат ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни целиком посвятил свету и любовным похождениям.

Но вот произошла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение старого французского общества, гибель семьи, трагические события 93-го года, быть может еще более грозные для эмигрантов, следивших за ними издалека со все возрастающим страхом, – не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, даже если она разбивает ему жизнь и уничтожает его материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; известно было лишь, что из Италии Мириэль вернулся священником.

В 1804 году Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в полном уединении.

Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касавшееся его прихода, – теперь уже трудно установить, какое именно, – привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:

– Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?

– Государь, – ответил Мириэль. – Вы видите доброго человека, а я – великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу.

В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого кюре, и немного времени спустя Мириэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в Динь.

Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни Мириеля, никто не знал. Семья Мириеля была мало известна до революции.

Мириелю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом, и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря, если прибегнуть к выразительному языку южан, околесица.

Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти россказни и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.

Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.

Их единственная служанка, Маглуар, ровесница Батистины, бывшая прежде «служанкой кюре», получила теперь двойное звание: «горничной мадмуазель Батистины» и «экономки его преосвященства».

Батистина была высокая, бледная, худощавая, кроткая девушка. Она олицетворяла собой идеал всего, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досточтимой». Она никогда не была хороша

собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку светился ангел. Это была девственница, более того – это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.

Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых, из-за мучившей ее астмы.

Когда Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа непосредственно после бригадного генерала. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит; к генералу же и префекту первым поехал Мириэль.

Когда епископ вступил в управление епархией, город стал ждать, как он проявит себя на деле.

## Глава вторая.
## Священник Мириэль превращается в Монсеньора Бьенвеню

Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.

Дворец представлял собой огромное, прекрасное каменное здание, построенное вначале прошлого столетия Анри Пюже – доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским, с 1712 года епископом Диньским Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и обширный двор со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой – длинной н роскошной галерее, расположенной в нижнем этаже и выходившей в сад, Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, на котором присутствовали Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ и князь Амбренский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции, аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бертон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер оратории, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, а знаменательная дата – 29 июля 1714 года – была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.

Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.

Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.

Мириэль не имел состояния, его семья была разорена во время революции. Сестра его пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ, Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день, раз и навсегда, распределил эту сумму следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:

# Смета распределения моих домашних расходов

*На малую семинарию – тысяча пятьсот ливров*
*Миссионерской конгрегации – сто ливров*

*На лазаристов в Мондидье – сто ливров*
*Семинарии иностранных духовных миссий в Париже – двести ливров*
*Конгрегации св. Духа – сто пятьдесят ливров*
*Духовным заведениям Святой Земли – сто ливров*
*Обществам призрения сирот – сто ливров*
*Сверх того, тем же обществам в Арле – пятьдесят ливров*
*Благотворительному обществу по улучшению содержания тюрем – четыреста ливров*
*Благотворительному обществу вспомоществования заключенным и их освобождения – пятьсот ливров*
*На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств – тысяча ливров*
*На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии – две тысячи ливров*
*На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп – сто ливров*
*Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное обучение девочек из бедных семей – тысяча пятьсот ливров*
*На бедных – шесть тысяч ливров*
*На мои личные расходы – тысяча ливров*
*Итого – пятнадцать тысяч ливров.*

– Господни смотритель! Сколько больных у вас в настоящее время? – спросил он.

– Двадцать шесть, ваше преосвященство.

– Да, я насчитал столько же, – подтвердил епископ.

– Кровати стоят слишком близко одна к другой, – добавил смотритель.

– Да, я заметил.

– Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.

– И мне так показалось.

– А когда выпадает солнечный день, садик не вмещает всех выздоравливающих.

– Я тоже об этом подумал.

– Во время эпидемий – в нынешнем году был тиф, а два года тому назад горячка – у нас бывает иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.

– Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.

– Ничего не поделаешь, ваше преосвященство, – сказал смотритель, – приходится мириться.

Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи.

С минуту епископ хранил молчание.

– Сударь, – спросил он смотрителя больницы, – сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?

– В столовой вашего преосвященства? – с изумлением вскричал смотритель.

Епископ обводил комната взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.

– Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, – сказал он как бы про себя. – Послушайте, господин смотритель, вот что я хочу сказать, – продолжал он громче. – Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же хозяева – вы.

На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.

За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи. Как видим, он называл ее сметой распределения своих домашних расходов.

Батистина приняла такое распределение средств с полнейшей покорностью. Для этой святой души епископ Диньский являлся одновременно и братом и пастырем; другом – по закону кровного родства и наставником – по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала и не возражала, когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, Маглуар, тихонько ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старушки и старик.

А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии Маглуар и умелому хозяйничанью Батистины угостить его хорошим обедом.

Однажды – это было месяца через три после его прибытия в Динь – он сказал:

– А все-таки я очень стеснен в средствах!

– Еще бы! – вскричала Маглуар. – Ведь ваше преосвященство не стребовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами.

– А ведь верно! – сказал епископ. – Госпожа Маглуар! Вы совершенно правы.

Он написал соответствующее ходатайство.

Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование преосвященнейшему владыке на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».

Это вызвало шум среди местной буржуазии; один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестностях Диня великолепное сенаторское поместье, написал в раздраженном тоне министру вероисповеданий Биго де Преамене конфиденциальную записку, из которой мы дословно приводим следующие строки:

«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато – Арну, и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Священники все на один лад – жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает, как все. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох уж эти мне попы! Поверьте, ваше сиятельство, до тех пор. пока император не освободит нас от всех этих долгополых, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Я за Цезаря, и только за Цезаря. И т. д. и т. д.».

Зато эти деньги очень обрадовали Маглуар.

– Вот и хорошо, – сказала она Батистине – Его преосвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас. Наконец-то!

В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:

## Сумма на содержание экипажа и на разъезды

*На мясной бульон для лазаретных – тысяча пятьсот ливров больных*
*На общество призрения сирот в Эксе – двести пятьдесят ливров*
*На общество призрения сирот в Драгиньяне – двести пятьдесят ливров*
*На подкидышей – пятьсот ливров*
*На сирот – пятьсот ливров*
*Итого – три тысячи ливров*

Таков был бюджет епископа Мириэля.

Что касается побочных епископских доходов с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освящения церквей или часовен, венчаний т. д., то епископ ревностно взимал деньги с богатых, но все до последнего гроша отдавал бедным.

В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие – все стучались в двери Мариэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.

Напротив. Так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, – так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало. И он грабил самого себя.

По обычаю епископы проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»[1]. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, – говаривал он – Бьенвеню служит поправкой к „монсеньору“.

Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем одно – он правдив.

## Глава третья.
## Доброму епископу трудная епархия

Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять приходских церквей. Объехать все это – нелегкое дело. Но епископ преодолевал трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке – если предстояло ехать по равнине, и верхом – в горы. Старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.

Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как его преосвященство слезает с осла. Горожане вокруг пересмеивались.

– Господин мэр и вы, господа горожане! – сказал епископ. – Мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком

большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверяю вас, я приехал на осле по необходимости, а вовсе не из тщеславия.

Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами он далеко не ходил. Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где не сочувствовали беднякам, он говорил:

– Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые приходят в негодность. И бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства.

В деревнях, где люди были падки до наживы и стремились поскорее убрать с поля свой урожай, он говорил:

– Посмотрите на жителей Амбрена Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболеет во время жатвы и не может работать, то священник упоминает о нем в проповеди, и в воскресенье после обедни все поселяне-мужчины, женщины, дети – идут на поле этого бедняги, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар.

Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил:

– Посмотрите на горцев Девольни, той дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья. Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей.

В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил:

– Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; он выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку.

В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылался на кейрасцев.

– Знаете, как они поступают? – говорил он. – Маленькое селеньице в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают наставников, которые и учат детей, переходя из деревни в деревню и проводя неделю в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, – два, а те, которые обучают грамоте, счету и латыни, – три. Эти последние – великие ученые. Ну не стыдно ли оставаться невеждами? Поступайте же, как кейрасцы.

Таковы были его речи, глубокомысленные и отечески – заботливые; если ему не хватало примеров, он придумывал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, – этой особенностью отличалось и красноречие Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительнее.

## Глава четвертая.
## Слово не расходится с делом

Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старых женщин, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник.

Маглуар любила называть его ваше «высокопреподобие». Однажды, встав с кресла, он подошел к книжному шкафу за книгой. Книга стояла на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее.

– Госпожа Маглуар! – сказал он. – Принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки.

Одна из его дальних родственниц, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей У нее было несколько престарелых, близких к смерти родственников по восходящей линии, и сыновья ее являлись их прямыми наследниками. Младшему сыну предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно епископ молча слушал это простодушное н простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда де Ло без конца излагала со всеми подробностями все эти наследования и все эти «надежды», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады:

– Ах, боже мой! О чем вы задумались?

– Я думаю, – ответил епископ, – об одном странном изречении, которое я нашел, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует».

В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только звания покойного, но и все ленные и аристократические титулы его родных, епископ вскричал:

– Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они воспользоваться для утоления своего тщеславия даже могилой!

При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в Динь приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречив. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил блаженным и прекрасным. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, он же и ростовщик, Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После угон проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре:

– Посмотри! Вон господин Жеборан покупает себе на одно су царствия небесного.

Когда дело касалось сбора милостыни, епископа, не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый, богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и ультравольтерианцем, – подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо.

– Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз.

Маркиз оглянулся и сухо возразил:

– Ваше преосвященство! У меня есть свои бедные.

– Так отдайте их мне, – сказал епископ. Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:

– Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои! Во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восемьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями – дверью и окном, и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие – дверь. Причиной этому является налог на двери и окна. Поселите в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей – вот вам и

лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у ник нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные смолой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!

Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп и Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ к сердцам. В хижинах и в горах он чувствовал себя как дома. О самых возвышенных вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.

Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами и со знатью.

Он никого не осуждал, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил:

– Проследим путь, по которому прошел грех.

«Бывший грешник» – так он с улыбкой называл себя сам, – он не впадал в крайности ригоризма и открыто, не хмуря бровей, подобно свирепым святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:

«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.

Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей лишь в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но такой грех простителен. Это падение, но падение коленопреклоненного, которое может завершиться молитвой.

Быть святым – исключение; быть справедливым – правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.

Как можно меньше грешить – вот закон для человека. Совсем не грешить – это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».

Когда люди начинали громко кричать и спешили выразить свое возмущение, он говорил, улыбаясь:

– Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, на которое способен каждый. Вот почему те, у кого совесть нечиста, испугались и спешат отвести от себя подозрение.

Он был снисходителен к женщинам и беднякам, презираемым обществом. Он говорил:

– В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые.

Еще он говорил:

– Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что у нас нет бесплатного обучения; оно несет ответственность за темноту. Когда душа полна мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто порождает мрак.

Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о разных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия.

Как-то он услыхал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре долженбыл состояться суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму; улики имелись только против нее. Она могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору

пришла в голову мысль: он оклеветал любовника, обвинив его в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии и восхищались ловкостью прокурора. Вызвав ревность, он из гнева извлек истину, а из мести – правосудие. Епископ слушал молча. Наконец он спросил:

– Где будут судить этого мужчину и эту женщину?

– В суде присяжных.

– А где будут судить королевского прокурора? – спросил епископ.

В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не очень образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и ходатаем по делам. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы в таких выражениях:

– Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место.

Его ответ был передан епископу, и тот сказал:

– Кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне.

Он сейчас же отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти свою душу. Он рассказал ему о величайших истинах, которые в то же время являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и, только для того чтобы благословить его, – епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной. И с трепетом стоя у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспрестанно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет.

На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.

Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, еще накануне угрюмый и подавленный, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его умиротворилась, и уповал на бога. Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему:

– Убиенный людьми воскрешается богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там.

Когда он спустился с эшафота, в его глазах светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало – бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре:

– Я только что отслужил торжественную панихиду.

Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали:

– Это желание порисоваться.

Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.

А для епископа зрелище гильотины явилось ударом, от которого он долго не мог оправиться.

Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от галлюцинации. До тех пор, пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее – потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить: против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинают ее. Гильотина – это сгусток закона, имя ее – vindicta[2], она сама не нейтральна и не позволяет оставаться нейтральным вам. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот-это видение. Эшафот – не помост, эшафот – не машина, эшафот – не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее непонятной зловещей инициативой, можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо и эти канаты обладают волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот – это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его плоть, пьет его кровь Эшафот – это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.

Итак, впечатление было страшное и глубокое; на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественнее спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который, выполнив любую свою обязанность, испытывал обычно радость удовлетворения, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра:

– Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?

С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.

Каждый мог в любое время дня и ночи позвать епископа Мириэля к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он целыми часами молча просиживал рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, напротив, он старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил:

– Относитесь к мертвым, как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах – то душа вашего дорогого усопшего.

Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, вперившую взор в могилу, указав на скорбь, взирающую на звезды.

## Глава пятая.

## О том, что монсеньор Бьенвеню слишком долго носил свои сутаны

Домашняя жизнь Мириэля так же полно отражала его взгляды, как и его жизнь вне дома. Добровольная бедность, в которой жил епископ Диньский, представила бы привлекательное и в то же время поучительное зрелище для каждого, кто имел бы возможность наблюдать ее вблизи.

Как все старики и как большинство мыслителей, он спал мало. Зато этот короткий сон был глубок. Утром епископ в течение часа предавался размышлениям, потом служил обедню в соборе или у себя дома. После обедня съедал за завтраком ржаного хлеба и запивал его молоком от своих коров. Потом работал.

Епископ – очень занятой человек. Он должен ежедневно принимать секретаря епархии (обычно это каноник) н почти каждый день – старт их викариев. Ему приходится наблюдать за деятельностью конгрегаций, раздавать привилегии, просматривать целые тома духовной литературы – молитвенники, катехизисы, часословы и т. д. и т. д., писать пастырские послания, утверждать проповеди, мирить между собой приходских священников и – мэров, вести корреспонденцию с духовными особами, вести корреспонденцию с гражданскими властями: с одной стороны – государство, с другой – папский престол. Словом, у него тысяча дел.

Время, которое оставалось у него от этой тысячи дел, церковных служб и отправления треб, он в первую очередь отдавал неимущим, больным и скорбящим; время, которое оставалось от скорбящих, больных и неимущих, он отдавал работе: вскапывал свой сад или же читал и писал. Для той и для другой работы у него было одно название – «садовничать». Ум – это сад», – говорил он.

В полдень, если погода была хорошая, он выходил из дома и пешком гулял по городу или его окрестностям, часто заходил в бедные лачуги. Он бродил один, погруженный в свои мысли, с опущенными глазами, опираясь на длинную палку, в фиолетовой мантии, подбитой ватой и очень теплой, в грубых башмаках и фиолетовых чулках, в плоской треугольной шляпе, украшенной на всех трех углах толстыми золотыми кистями.

Всюду, где бы он ни появлялся, наступал праздник. Казалось, он приносил с собою свет и тепло. Дети и старики выходили на порог навстречу епископу, словно навстречу солнцу. Он благословлял, и его благословляли. Каждому, кто нуждался в чем-либо, указывали на его дом.

Время от времени он останавливался, беседовал с мальчиками и девочками и улыбался матерям. Пока у него были деньги, он посещал бедных, когда деньги иссякали, он посещал богатых.

Так как он подолгу носил своя сутаны и не хотел, чтобы люди заметили их ветхость, он никогда не выходил в город без теплой фиолетовой мантии. Летом это несколько тяготило его.

По возвращении с прогулки он обедал. Обед был похож на завтрак.

Вечером, в половине девятого, он ужинал вместе с сестрой, а Маглуар прислуживала им за столом. Это были в высшей степени скромные трапезы. Однако, если у епископа оставался к ужину кто-нибудь из приходских священников, Маглуар, пользуясь этим, подавала его преосвященству превосходную озерную рыбу или какую-нибудь вкусную горную дичь. Любой священник служил предлогом для хорошего ужина, и епископ не препятствовал этому. Обычно же его вечерняя еда состояла из вареных овощей и постного супа. Поэтому в городе говорили: «Когда наш епископ не угощает священника, сам он ест, как монахи.

После ужина он с полчаса беседовал с Батистиной и Маглуар, потом уходил к себе и снова принимался писать то на листках бумаги, то на полях какого-нибудь фолианта. Он был человек

образованный, даже в известной степени ученый. После него осталось пять или шесть рукописей, довольно любопытных, и среди них рассуждение на стих из книги Бытия «Вначале дух божий носился над водами». Он сопоставляет этот стих с тремя текстами-с арабским стихом, который гласит: «Дули ветры господни»; со словами Иосифа Флавия: «Горний ветер устремился на землю»; и, наконец, с халдейским толкованием Онкелоса: «Ветер, исходивший от бога, дул над лоном вод». В другом рассуждении он разбирает богословские труды епископа Птолемаидского Гюго, двоюродного прадеда автора настоящей книги, и устанавливает, что небольшие произведения, опубликованные в прошлом столетии под псевдонимом Барлейкур, также принадлежат перу этого епископа.

Иногда во время чтения, независимо от того, какая именно книга была у него в руках, епископ вдруг впадал в глубокое раздумье, очнувшись от которого писал несколько строк тут же, на страницах книги. Зачастую эти строки не имели никакого отношения к книге, в которую они были вписаны. Перед нами заметка, сделанная им на полях тома, озаглавленного: Переписка лорда Жермена с генералами Клинтоном и Корнвалисом и с адмиралами американского военного флота. Продается в Версале у книгопродавца Пуэнсо и в Париже у книгопродавца Писо, набережная Августинцев.

Вот эта заметка:

«О ты, Сущий!

Екклезиаст именует тебя Всемогущим, Книга Маккавеев – Творцом, Послание к ефесянам – Свободой, Барух – Необъятностью, Псалтирь – Мудростью и Истиной, Иоанн – Светом, Книга Царств – Господом, Исход называет тебя Провидением, Левит – Святостью, Ездра – Справедливостью, вселенная – Богом, человек – Отцом, но Соломон дал тебе имя Милосердие, и это самое прекрасное из всех твоих имен».

Около девяти часов вечера обе женщины уходили к себе наверх, и епископ до утра оставался в нижнем этаже один.

Здесь необходимо дать точное представление о жилище епископа Диньского.

## Глава шестая.
## Кому он поручил охранять свой дом

Дом, в котором он жил, как мы уже говорили, был двухэтажный: три комнаты внизу, три наверху, под крышей – чердак. За домом – сад в четверть арпана. Женщины занимали второй этаж, епископ жил внизу. Первая комната, дверь которой отворялась прямо на улицу, служила ему столовой, вторая – спальней, третья – молельней. Выйти из молельни можно было только через спальню, а из спальни – только через столовую. В молельне была скрытая перегородкой ниша, где стояла кровать для гостей. Кровать эту епископ предоставлял сельским священникам, приезжавшим в Динь по делам и нуждам своих приходов.

Бывшая больничная аптека – небольшое строение, которое примыкало к дому и выходило в сад. – превратилась в кухню и в кладовую.

Кроме того, в саду стоял хлев, где прежде была больничная кухня, а теперь помещались две коровы епископа. Независимо от количества молока, которое давали коровы, епископ каждое утро половину отсылал в больницу. «Я плачу свою десятину», – говорил он.

Спальня у него была довольно большая, и зимой натопить ее было нелегко. Так как дрова в Дине стоили очень дорого, епископ придумал сделать в коровнике дощатую перегородку и устроил там себе комнатку. В сильные морозы он проводил там все вечера. Он называл эту комнатку своим «зимним салоном».

Как в этом «зимнем салоне», так и в столовой мебель состояла из простого четырехугольного деревянного стола и четырех соломенных стульев. В столовой стоял еще старенький буфет, выкрашенный розовой клеевой краской. Такой же буфет, накрытый белыми

салфетками и дешевыми кружевами, епископ превратил в алтарь, который придавал нарядный вид его молельне.

Богатые прихожанки, исповедовавшиеся у епископа, и другие богомольные жительницы города Диня неоднократно устраивали складчину на устройство нового красивого алтаря для молельни его преосвященства; епископ брал деньги и раздавал их бедным.

– Лучший алтарь, – говорил он, – это душа несчастного, который утешился и благодарит бога.

В молельне стояли две соломенные скамеечки для коленопреклонений; одно кресло, тоже соломенное, стояло в спальне епископа. Если случалось, что он одновременно принимал семь или восемь человек гостей – префекта, генерала, начальника штаба полка местного гарнизона, нескольких учеников духовного училища, то приходилось брать стулья из «зимнего салона», приносить скамеечки из молельни и кресло из спальни епископа. Таким образом набиралось до одиннадцати сидений. Для каждого нового гостя опустошалась одна из комнат.

Бывало и так, что собиралось сразу двенадцать человек; тогда епископ спасал положение, становясь у камина, если это было зимой, или прогуливаясь по саду, если это было летом.

В нише за перегородкой стоял еще один стул, но солома на сиденье искрошилась, да и держался он на трех ножках, так что сидеть на нем можно было, только прислонив его к стене. В комнате у м – ль Батистины было, правда, громадное деревянное кресло, некогда позолоченное и обитое цветной китайской тафтою, но поднять его на второй этаж пришлось через окно, так как лестница оказалась слишком узкой: на него, следовательно, также нельзя было рассчитывать.

Когда-то Батистина лелеяла честолюбивую мечту приобрести для гостиной мебель с диваном гнутого красного дерева, покрытую желтым утрехтским бархатом в веночках. Однако это должно было стоить по меньшей мере пятьсот франков; увидев, что за пять лет ей удалось отложить только сорок два франка и десять су, она в конце концов отказалась от своей мечты. Впрочем, кто же достигает своего идеала?

Нет ничего легче, как представить себе спальню епископа. Стеклянная дверь, выходящая в сад; напротив двери – кровать, железная больничная кровать с пологом из зеленой саржи; у кровати, за занавеской, – изящные туалетные принадлежности, свидетельствующие о том, что здесь живет человек, не утративший светских привычек; еще две двери: одна возле камина – в молельню, другая возле книжного шкафа – в столовую; набитый книгами шкаф со стеклянными дверцами; облицованный деревом камин, выкрашенный под мрамор, обычно нетопленный, в камине две железные подставки для дров, украшенные сверху двумя вазами в гирляндах и бороздках, некогда покрытыми серебром и считавшимися образцом роскоши в епископском доме; над камином, на черном потертом бархате, – распятие, прежде посеребренное, а теперь медное, в деревянной рамке с облезшей позолотой. Возле стеклянной двери большой стол с чернильницей, заваленный грудой бумаг и толстых книг. Перед столом кресло с соломенным сиденьем. Перед кроватью скамеечка из молельни.

На стене, по обе стороны кровати, висели два портрета в овальных рамах. Короткие надписи, золотыми буквами на тусклом фоне холста, уведомляли о том, что портреты изображают; один – епископа Сен – Клодского Шалио, а другой – Турто, главного викария Агдского, аббата Граншанокого, принадлежавшего к монашескому ордену Цистерианцев Шартрской епархии. Унаследовав эту комнату от лазаретных больных, епископ нашел здесь эти портреты и оставил их. Это были священнослужители и, по всей вероятности. жертвователи – два основания для того, чтобы он отнесся к ним с уважением. Об этих двух особах ему было известно лишь то, что король их назначил – первого епископом, а второго викарием – в один и тот же день, 27 апреля 1785 года. Когда Маглуар сняла портреты, чтобы стереть с них пыль, епископ узнал об этом, прочтя надпись, сделанную выцветшими чернилами

на пожелтевшем от времени листочке бумаги, приклеенном с помощью четырех облаток к оборотной стороне портрета аббата Граншанского.

На окне в спальне епископа висела старомодная, из грубой шерстяной материи, занавеска, которая с течением времени пришла в такую ветхость, что, во избежание расхода на новую, Маглуар вынуждена была сделать на самой ее середине большой шов. Этот шов напоминал крест. Епископ часто показывал на него.

– Как хорошо получилось! – говорил он.

Все комнаты и в первом и во втором этаже были чисто выбелены, как это принято в казармах и больницах.

Правда, в последующие годы, как мы увидим в дальнейшем, Маглуар обнаружила под побелкой на стенах в комнате Батистины какую-то живопись. Прежде чем стать больницей, этот дом служил местом собраний диньских горожан. Таково происхождение этой росписи стен. Полы во всех комнатах были выложены красным кирпичом, и мыли их каждую неделю; перед каждой кроватью лежал соломенный коврик. Вообще надо сказать, что весь дом сверху донизу содержался женщинами в образцовой чистоте. Чистота была единственной роскошью, которую допускал епископ.

– Это ничего не отнимает у бедных, – говаривал он.

Следует, однако, заметить, что от прежних богатств у него оставалось еще шесть серебряных столовых приборов и разливательная ложка, ослепительный блеск которых на грубой холщовой скатерти каждый день радовал взор Маглуар. И так как мы изображаем здесь епископа Диньского таким, каким он был в действительности, то мы должны добавить, что он не раз говорил:

– Мне было бы не легко отказаться от привычки есть серебряной ложкой и вилкой.

Кроме этого серебра, у епископа уцелели еще два массивных серебряных подсвечника, доставшиеся ему по наследству от двоюродной бабушки. Подсвечники с двумя вставленными в них восковыми свечами обычно красовались на камине в спальне епископа. Когда же у него обедал кто-либо из гостей, Маглуар зажигала свечи и ставила оба подсвечника на стол.

В спальне епископа, над изголовьем его кровати, висел маленький стенной шкафчик, куда Маглуар каждый вечер убирала шесть серебряных приборов и разливательную ложку. Ключ от шкафчика всегда оставался в замке.

В саду, вид которого портили неприглядные строения, были четыре аллеи, расходившиеся крестом от сточного колодца; пятая аллея, огибая весь сад, шла вдоль окружавшей его белой стены. Четыре квадрата земли между аллеями были обсажены буксом. На трех Маглуар разводила овощи, на четвертом епископ посадил цветы. В саду росли фруктовые деревья. Как-то раз Маглуар сказала епископу не без некоторой доли добродушного лукавства:

– Вы, ваше преосвященство, хотите, чтобы все приносило пользу, а вот этот кусок земли пропадает даром. Уж лучше бы вырастить здесь салат, чем эти цветочки.

– Вы ошибаетесь, госпожа Маглуар, – ответил епископ. – Прекрасное столь же полезно, как и полезное.

И, помолчав, добавил:

– Быть может, еще полезнее.

Три-четыре грядки, разбитые на этом квадрате земли, пожалуй, не меньше занимали епископа, чем его книги. Он охотно проводил здесь час-два, подрезая растения, выпалывая сорную траву, роя там и сям ямки и бросая в них семена. Но к насекомым он относился менее враждебно, чем настоящий садовник. Впрочем, он отнюдь не считал себя ботаником: он ничего не понимал в классификации и в солидизме, он не стремился сделать выбор между Турнефором и естественным методом, он не предпочитал сумчатые семядольным и не высказывался ни в защиту Жюсье, ни в защиту Линнея. Он не изучал растений, он просто любил цветы. Он

глубоко уважал людей ученых, но еще более уважал людей несведущих и, отдавая дань уважения тем и другим, каждый летний вечер поливал грядки из зеленой жестяной лейки.

В доме не было ни одной двери, которая бы запиралась на ключ. Дверь в столовую, выходившая, как мы уже говорили, прямо на соборную площадь, была в прежние времена снабжена замками и засовами, словно ворота тюрьмы. Епископ приказал снять все эти запоры, и теперь эта дверь закрывалась только на щеколду, и днем и ночью. Прохожий в любой час мог открыть дверь, – стоило лишь толкнуть ее. Вначале эта всегда отпертая дверь тревожила обеих женщин, но епископ Диньский сказал им: «Что ж, велите приделать задвижки к дверям ваших комнат, если хотите» В конце концов они прониклись его спокойствием или по крайней мере сделали вид, что прониклись. На Маглуар время от времени нападал страх. Что касается епископа, то три строчки, написанные им на полях Библии, поясняют или по крайней мере излагают его мысли: «Вот в чем тончайшее различие: дверь врача никогда не должна запираться, дверь священника должна быть всегда отперта».

На другой книге, под заглавием Философия медицинской науки, он сделал еще одну заметку: «Разве я не такой же врач, как они? У меня тоже есть больные; во-первых, те, которых врачи называют своими, а во-вторых, мои собственные, которых я называю несчастными».

Где-то в другом месте он написал: «Не спрашивайте того, кто просит у вас приюта, как его зовут. В приюте особенно нуждается тот, кого имя стесняет».

Однажды некий достойный кюре – не помню, кто именно: кюре из Кулубру или кюре из Помпьери – вздумал, должно быть, по наущению Маглуар, спросить у монсеньора Бьенвеню, вполне ли он уверен, что не совершает некоторой неосторожности, оставляя дверь открытой и днем и ночью для каждого, кто бы ни пожелал войти, и не опасается ли он все же, что в столь плохо охраняемом доме может случиться какое-либо несчастье. Епископ коснулся его плеча и сказал ему мягко, но серьезно: Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant qui custodiunt earm[3]. И заговорил о другом.

Он часто повторял:

– Священник должен обладать не меньшим мужеством, чем драгунский полковник. Но только наше мужество, – добавлял он, – должно быть спокойным.

## Глава седьмая.

## Крават

Здесь уместно будет рассказать об одном случае, который нельзя обойти молчанием, потому что подобные случаи лучше всего показывают, что за человек был епископ Диньский.

После уничтожения разбойничьей шайки Гаспара Бэ, который скрывался прежде в Олиульских ущельях, один из ближайших его помощников, Крават, бежал в горы. Некоторое время он скрывался со своими товарищами, уцелевшими от разгрома шайки Гаспара Бэ, в Ниццском графстве, потом ушел в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, в окрестностях Барселонеты. Сначала он заглянул в Жозье, потом в Тюиль. Он укрылся в пещерах Жуг-де-л'Эгль и оттуда, низкими берегами рек Ибайи и Ибайеты, пробирался к селениям и к деревушкам. Как-то ночью он дошел до самого Амбрена, проник в собор и обобрал ризницу. Его грабежи опустошали весь край. Жандармы охотились за ним, но безуспешно. Он ускользал от них, а иногда оказывал и открытое сопротивление. Это был смелый негодяй. И вот в самый разгар вызванного им смятения в те края прибыл епископ, который объезжал тогда Шателарский округ. Мэр города явился к нему и стал уговаривать вернуться. Крават хозяйничал в горах до самого Арша и далее. Ехать было опасно даже с конвоем, – это значило напрасно рисковать жизнью трех или четырех злосчастных жандармов.

– Поэтому-то я и полагаю ехать без конвоя, – сказал епископ.

– Хорошо ли вы обдумали это, ваше преосвященство? – спросил мэр.

– Так хорошо, что решительно отказываюсь от жандармов; я уеду через час.

– Уедете?

– Уеду.

– Один?

– Один.

– Нет, ваше преосвященство! Вы не уедете.

– Послушайте, – сказал епископ, – там, в горах, есть маленький бедный приход, я не посещал его уже три года. Там живут мои добрые друзья – смирные и честные пастухи. Из тридцати коз, которых они пасут, им принадлежит только одна. Они плетут из шерсти красивые разноцветные шнурки и играют на самодельных свирелях. Надо, чтобы время от времени им говорили о господе боге. Что бы они сказали про епископа, который подвержен страху? Что бы они сказали, если бы я не приехал к ним?

– Но разбойники, ваше преосвященство, разбойники!

– В самом деле, – сказал епископ, – я чуть было не забыл о них. Вы правы. Я могу встретиться с ними. По всей вероятности, они тоже нуждаются в том, чтобы кто-нибудь рассказал им о боге.

– Ваше преосвященство, да ведь их целая шайка! Это стая волков!

– Господин мэр, а может быть, Иисус Христос повелевает мне стать пастырем именно этого стада. Пути господни неисповедимы!

– Ваше преосвященство, они ограбят вас!

– У меня ничего нет.

– Они вас убьют!

– Убьют старика священника, который идет своей дорогой, бормоча молитвы? Полноте! Зачем?

– О боже! Что, если вы все-таки повстречаетесь с ними!

– Я попрошу у них милостыню для моих бедных.

– Не ездите, ваше преосвященство, ради бога, не ездите! Вы рискуете жизнью.

– Господин мэр, – сказал епископ, – неужели в этом все дело? Я живу на свете не для того, чтобы пещись о собственной жизни, а для того, чтобы пещись о душах моих ближних.

Пришлось оставить его в покое. Он уехал в сопровождении мальчика, который вызвался быть проводником. Его упорство наделало много шуму и вызвало беспокойство во всей округе.

Епископ не пожелал взять с собой ни сестру, ни Маглуар. Он поднялся в горы на муле, никого не встретил и, здрав и невредим, добрался до своих «добрых друзей» пастухов. Он прожил у них две недели, читая проповеди и совершая требы, наставляя и поучая. Перед отъездом он решил отслужить торжественную мессу. Он сказал об этом приходскому священнику. Но как быть? Не было епископского облачения. Священник мог предоставить в распоряжение епископа лишь убогую сельскую ризницу с несколькими ветхими ризами из потертого штофа, обшитыми потускневшим галуном.

– Ничего, – сказал епископ, – объявим все-таки с кафедры о мессе. Дело как-нибудь уладится.

Начались поиски в соседних церквах. Однако всех сокровищ этих скромных приходов, соединенных вместе, не хватило бы на то, чтобы подобающим образом одеть даже соборного певчего.

В это время в дом приходского священника был доставлен большой ящик, предназначавшийся для епископа. Его привезли два неизвестных всадника и немедленно ускакали. Ящик открыли, в нем оказалась мантия из золотой парчи, украшенная алмазами митра, архиепископский крест, великолепный посох – все епископское облачение, украденное

месяц тому назад из ризницы собора Амбренской Богоматери. В ящике лежал листок бумаги, на котором было написано: «Монсеньору Бьенвеню от Кравата».

– Я ведь говорил, что все уладится! – сказал епископ. И добавил, улыбаясь: – Тому, кто довольствуется простым священническим облачением, бог посылает архиепископскую мантию.

– Не знаю, ваше преосвященство, – покачивая головой, с усмешкой пробормотал священник, – бог или дьявол.

Епископ пристально взглянул на него и уверенно повторил:

– Бог.

На обратном пути в Шателар и в самом Шателаре люди сбегались со всех сторон посмотреть на своего епископа. Батистина с Маглуар ждали его в доме священника. Епископ сказал сестре:

– Ну что, разве я был не прав? Бедный священник отправился к бедным жителям гор с пустыми руками, а возвращается с полными. Я увез с собой только упование на бога, а привез все сокровища собора.

Вечером, перед тем как лечь спать, он сказал:

– Никогда не надо бояться ни воров, ни убийц. Это опасность внешняя, она невелика. Бояться надо самих себя. Предрассудки – вот истинные воры; пороки – вот истинные убийцы. Величайшая опасность скрывается в нас самих. Стоит ли думать о том, что угрожает нашей жизни и нашему кошельку? Будем думать о том, что угрожает нашей душе.

Обратившись к сестре, он сказал:

– Сестра моя, священнику не подобает остерегаться ближнего. Что сделано ближним, то дозволено богом. Если нам кажется, что нас настигает опасность, ограничимся молитвой, но молитвой не за себя, а за нашего брата, чтобы он не впал из-за нас в грех.

Впрочем, в жизни епископа было мало событий. Мы рассказываем лишь о тех, которые нам известны; вообще жизнь его текла однообразно: каждый день в определенные часы он делал то же, что и накануне. И так велось из года в год, из месяца в месяц.

Что касается сокровищ Амбренского собора, то мы затруднились бы ответить на вопрос, что с ними сталось. Это были красивые, соблазнительные вещи, пригодные и полезные для тех несчастных, которым вздумалось бы их украсть. Впрочем, они уже были украдены. Половина дела была сделана, оставалось только изменить дальнейший путь похищенных предметов и направить их в сторону бедных. Мы не можем, однако, сказать по этому поводу ничего определенного. Известно только, что в бумагах епископа была найдена заметка, довольно туманная, но, быть может, имеющая отношение к этому делу: «Вопрос в том, куда это должно быть возвращено – в собор или в больницу».

## Глава восьмая.
## Философия за стаканом вина

Сенатор, о котором мы упоминали выше, был человек неглупый; он пробил себе дорогу с прямолинейностью, не считающейся с препятствиями, вроде так называемой совести, присяги, справедливости или долга, и шел к намеченной цели, ни разу не оступившись на пути преуспеяния и выгоды. Это был прокурор в отставке, человек не злой, умиленный собственным успехом, охотно оказывавший мелкие услуги своим сыновьям, зятьям, родственникам и даже знакомым, человек, мудро пользовавшийся хорошими сторонами жизни, счастливым случаем, неожиданной удачей. Все остальное представлялось ему сущим вздором. Он был остроумен и начитан ровно настолько, чтобы считать себя последователем Эпикура, хотя в действительности являлся, пожалуй, всего лишь детищем Пиго – Лебрена. Он любил мило подшутить над тем, что бесконечно и вечно, а также над прочими «бреднями простака епископа». Порою со снисходительной самоуверенностью он позволял себе шутить над этим даже в присутствии самого Мириэля.

Однажды, по случаю какого-то полуофициального приема, графу*** (то есть сенатору) и Мириэлю привелось вместе обедать у префекта. За десертом сенатор, подвыпивший, но не утративший величественной осанки, вскричал:

– Ваше преосвященство! Давайте побеседуем. Когда сенатор и епископ смотрят друг на друга, они не могут не перемигнуться. Мы с вами – два авгура. Сейчас я сделаю вам одно признание: у меня есть своя философия.

– Вы правы, – ответил епископ. – Какова у человека философия, такова и жизнь. Как постелешь, так и выспишься. Вы покоитесь на пурпурном ложе, господин сенатор.

Поощренный этим замечанием, сенатор продолжал:

– Давайте говорить откровенно.

– Начистоту, – согласился епископ.

– Я утверждаю, – продолжал сенатор, – что маркиз д'Аржанс, Пиррон, Гоббс и Нежон вовсе не плуты. Все мои философы стоят у меня на полке в переплетах с золотым обрезом.

– Они похожи на вас, ваше сиятельство, – прервал его епископ.

– Я терпеть не могу Дидро, – продолжал сенатор. – Это фантазер, болтун и революционер, в глубине души верующий в бога и еще больший ханжа, чем Вольтер. Вольтер высмеял Нидгема, и напрасно, потому что угри Нидгема доказывают бесполезность бога. Капля уксуса в ложке теста заменяет fiat lux[4]. Вообразите каплю покрупнее, а ложку побольше – и перед вами мир. Человек – это угорь. Если так, кому нужен предвечный бог? Знаете что, ваше преосвященство, мне надоела гипотеза о Иегове. Она годна лишь на то, чтобы создавать тощих людей, предающихся пустым мечтаниям. Долой великое Все, которое мне докучает! Да здравствует Нуль, который оставляет меня в покое! Между нами будь сказано, ваше преосвященство, чтобы выложить все, что есть на душе, и исповедаться перед вами, духовным моим отцом, как должно, признаюсь вам, что я человек здравомыслящий. Я не в восторге от вашего Иисуса, который на каждом шагу проповедует отречение и жертву. Это совет скряги нищим. Отречение! С какой стати? Жертва! Чего ради? Я не вижу, чтобы волк жертвовал собой для счастья другого волка. Будем же верны природе. Мы находимся на вершине, так проникнемся высшей философией. Для чего стоять наверху, если не видишь дальше кончика носа своего ближнего? Давайте жить весело. Жизнь – это все! Чтобы у человека было другое будущее, не на земле, а там, наверху, или внизу, словом, где-то? Не верю, ни на волос не верю! Ах так! От меня хотят жертвы и отречения, я должен следить за каждым своим поступком, ломать голову над добром и злом, над справедливостью и несправедливостью, над fas и nefas[5]. Зачем? Затем, что мне придется дать отчет в своих действиях. Когда? После смерти. Какое заблуждение! После смерти – лови меня, кто может! Заставьте тень схватить рукой горсть пепла. Мы, посвященные, мы, поднявшие покрывало Изиды, скажем напрямик: нет ни добра, ни зла, есть только растительная жизнь. Давайте искать то, что действительно существует. Доберемся до дна. Проникнем в самую суть, черт возьми! Надо учуять истину, докопаться до нее и схватить. И тогда она даст вам изысканные наслаждения. И тогда вы станете сильным и будете смеяться над всем. Я твердо стою на земле, ваше преосвященство. Бессмертие человека-это еще вилами на воде писано. Ох уж мне прекрасные обещания! Попробуйте на них положиться! Нечего сказать, надежный вексель выдан Адаму. Сначала вы – душа, потом станете ангелом, голубые крылья вырастут у вас на лопатках. Напомните мне, кто это сказал, – кажется, Тертуллиан? – что блаженные души будут перелетать с одного небесного светила на другое. Допустим. Превратятся, так сказать, в звездных кузнечиков. А потом узрят бога. Та-та та – чепуха все эти царствия небесные. А бог – чудовищный вздор! Разумеется, я не стал бы печатать этого в Монтере, но почему бы, черт побери, не шепнуть об этом приятелю? Inter pocula[6]. Пожертвовать землей ради рая – это все равно, что выпустить из рук реальную добычу ради призрака. Дать одурачить себя баснями о вечности! Ну нет, я не так глуп. Я ничто. Я господин Ничто, сенатор и граф. Существовал ли я до рождения? Нет.

Буду ли я существовать после смерти? Нет. Что же я такое? Горсточка пылинок, соединенных воедино в организме. Что я должен делать на этой земле? У меня есть выбор: страдать или наслаждаться. Куда меня приведет страдание? В ничто. Но я приду туда настрадавшись. Куда меня приведет наслаждение? В ничто. Но я приду туда насладившись. Мой выбор сделан. Надо либо есть, либо быть съеденным. Я ем. Лучше быть зубом, чем травинкой. Такова моя мудрость. Ну, а дальше все идет само собой; могильщик уже там, нас с вами ждет Пантеон, все проваливается в бездонную яму. Конец. Finis! Окончательный расчет. Это место полного исчезновения. Поверьте мне – смерть мертва. Чтобы там был некто, кому бы заблагорассудилось что-нибудь мне сказать? Да ведь это просто смешно! Бабушкины сказки. Бука – для детей, Иегова – для взрослых. Нет, наше завтра – мрак. За гробом все мы ничто и все равны между собой. Будь вы Сарданапалом, будь вы Венсен де Полем, – все равно, вы придете к небытию. Вот она, истина. Итак, живите, живите наперекор всему. Пользуйтесь своим «я», пока оно в вашей власти. Уверяю вас, ваше преосвященство, у меня и в самом деле есть своя философия и свои философы. Я не дам себя соблазнить детской болтовней. Но, само собой разумеется, тем, кто внизу, всей этой голытьбе, уличным точильщикам, беднякам, необходимо что-то иметь. Вот им и затыкают рот легендами, химерами, душой, бессмертием, раем, звездами. И они все это жуют. Они приправляют этим свой сухой хлеб. У кого ничего нет, у того есть бог. И то хорошо. Ну что ж, я не против, но лично для себя я оставляю господина Нежона. Милосердный бог мил лишь сердцу толпы.

Епископ захлопал в ладоши.

– Отлично сказано! – вскричал он. – Какая великолепная штука этот материализм! Поистине чудесная! Он не каждому дается в руки. Да, того, кто овладел им, уже не проведешь, он не позволит так глупо изгнать себя из родного края, как это сделал Катон, побить себя камнями, как святой Стефан, или сжечь заживо, как Жанна д'Арк. Люди, которым удалось обзавестись этой превосходной философией, испытывают приятное чувство полнейшей безответственности и считают, что могут безмятежно пожирать все: должности, синекуры, высокие звания, власть, приобретенную как честным путем, так и нечестным. Они могут разрешать себе все: нарушение слова, когда это выгодно, измену, если она полезна, сделки с совестью, если они обещают наслаждение, а потом, по окончании пищеварительного процесса, спокойно сойти в могилу. Как это приятно! Я говорю не о вас, господин сенатор, но, право же, не могу вас не поздравить. Вы, знатные господа, обладаете, как вы сами сказали, собственной, лично вам принадлежащей и для вас существующей философией, изысканной, утонченной, доступной только богачам, годной под любым соусом, отличной приправой ко всем радостям жизни. Эта философия извлечена из неведомых глубин, вытащена на свет божий специальными исследователями. Но вы – добрые малые и не видите вреда в том, чтобы вера в бога оставалась философией народа, – так гусь с каштанами заменяет бедняку индейку с трюфелями.

## Глава девятая.
## Сестра о брате

Чтобы дать представление о жизни епископа Диньского в семейном кругу и о том, как обе благочестивые женщины подчиняли свои поступки, свои мысли, даже свою инстинктивную, чисто женскую робость привычкам и желаниям епископа, причем последнему даже не приходилось для этого высказывать их вслух, лучше всего привести здесь письмо Батистины к подруге ее детства, виконтессе де Буашеврон. Мы располагаем этим письмом.

*«День, 16 декабря 18…*

*Дорогая моя! Не проходит дня, чтобы мы не говорили о вас. Это вообще вошло у нас в привычку, а сейчас для этого есть особая причина. Представьте себе, что Маглуар, занимаясь мытьем и чисткой потолков и стен, сделала несколько открытий: теперь обе наши комнаты, которые прежде были оклеены старыми обоями, сверху побеленными, не обезобразили бы и такого дворца, как ваш. Маглуар сорвала все обои, и под ними оказалось много интересного.*

*В моей гостиной, где нет никакой мебели и где мы развешиваем белье после стирки, – она пятнадцати футов высотой, а величиной около восемнадцати квадратных футов, – потолок покрыт по старинной моде живописью с позолотой, а балки там такие же, как у вас. Когда здесь помещалась больница, то все это было затянуто холстом. Кроме того, там деревянные панели времен наших бабушек. Но всего интереснее моя спальня. Под десятью, если не больше, слоями обоев Маглуар обнаружила картины, – хоть и не особенно хорошие, но вполне сносные. Это Телемак, посвящаемый в рыцари Минервой, он же в каких-то садах – забыла название, ну, в тех, куда римские матроны отправлялись на одну ночь. Что же еще? У меня есть римляне, римлянки (одно слово нельзя разобрать) и тому подобное. Маглуар отмыла все это, летом она исправит кое-какие мелкие повреждения, снова все покроет лаком, и моя спальня превратится в настоящий музей. Кроме того, она нашла где-то на чердаке два деревянных столика в старинном вкусе. За то, чтобы вызолотить их заново, просят два шестифранковых экю, но лучше отдать эти деньги бедным; к тому же они очень некрасивы, мне больше хотелось бы круглый стол красного дерева.*

*Я по-прежнему вполне счастлива. Мой брат так добр! Он отдает все, что у него есть, неимущим и больным. Мы очень стеснены в средствах. Зима здесь суровая, необходимо хоть чем-нибудь помогать тем, кто нуждается. А у нас почти тепло и светло. Это все-таки большая роскошь, не правда ли?*

*У брата есть свои привычки. Он говорит, что всякий епископ должен быть таким. Представьте себе, что двери нашего дома никогда не запираются. Стоит кому-либо войти, и он сразу попадает в комнату брата. Мой брат ничего не боится, даже ночью. В этом-то и проявляется его храбрость, – так он говорит.*

*Он не хочет, чтобы я или Маглуар боялись за него. Он подвергает себя всяческим опасностям и хочет, чтобы мы делали вид, что даже не замечаем этого. Надо уметь понимать его.*

*Он выходит из дому в дождь, шагает по слякоти, путешествует зимой. Он не боится ни темноты, ни опасных дорог, ни подозрительных встреч.*

*В прошлом году, совершенно один, он поехал в местность, где хозяйничали грабители. Нас он не пожелал взять с собой. Целых две недели он пробыл в отсутствии. Когда он вернулся, оказалось, что с ним ничего не случилось; его считали мертвым, а он был здрав и невредим. «Посмотрите, как меня ограбили!» – сказал он и открыл чемодан, набитый драгоценностями из собора Амбренской Богоматери, которые ему подарили грабители.*

*В этот раз, по дороге домой, я не могла удержаться, чтобы не побранить его немного, но старалась говорить в то время, когда колеса повозки стучали, чтобы нас не услыхал кто-нибудь из посторонних.*

*В первое время я думала про себя: «Никакие опасности не могут остановить его, это необыкновенный человек». Теперь я, наконец, привыкла. Я знаками показываю Маглуар, чтобы она не прекословила ему. Он рискует собой, сколько хочет. Я увожу Маглуар, ухожу к себе, молюсь за него и засыпаю. Я спокойна, так как твердо знаю, что если с ним случится несчастье, это будет и мой конец. Я уйду к богу вместе с моим братом и моим епископом. Маглуар было труднее, чем мне, свыкнуться с тем, что она называла его «безрассудствами». Но теперь все вошло в колею. Мы обе молимся, вместе дрожим от страха, потом засыпаем. Если бы самому дьяволу вздумалось войти к нам в дом, никто не помешал бы ему. В самом деле, чего нам бояться в этом доме? Тот, кто сильнее всех, всегда с нами. Дьявол придет и уйдет, а бог обитает здесь постоянно.*

*Этого с меня довольно. Теперь брату уже не нужно что-либо говорить мне. Я понимаю его без слов, и мы отдаемся на волю провидения.*

*Так надо держать себя с человеком, который велик духом.*

*Я спрашивала брата относительно семейства де Фо, о котором вы справлялись. Вам известно, что он все знает и как много он помнит, – ведь он по-прежнему добрый роялист. Это действительно очень старинное нормандское семейство из Канского округа. Уже пятьсот лет*

*тому назад Рауль де Фо, Жан де Фо и Тома де Фо были дворянами, причем один из них владел Рошфором. Последний в роде, Ги-Этьен-Александр, был командиром полка и еще кем-то в легкой коннице в Бретани. Его дочь Мария-Луиза была замужем за Андриеном-Шарлем де Грамоном, сыном герцога Луи де Грамона, пэра Франции, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Можно писать «Фо» по-разному, меняя окончание: Faux, Fauq, Faoucq.*

*Дорогая моя! Попросите вашего досточтимого родственника, кардинала, молиться за нас. А ваша милая Сильвания хорошо сделала, что не стала тратить те краткие мгновения, которые проводит с вами, на письмо ко мне. Ведь она здорова, работает так, как вы этого хотите, и по-прежнему меня любит. Больше мне ничего и не нужно. Вы передали мне ее поклон, и я счастлива. Здоровье мое не так уж плохо, а между тем я все худею и худею. Прощайте, бумаги у меня больше нет, и я вынуждена на этом кончить письмо. Шлю вам самые лучшие пожелания.*

*Батистина.*

*P.S. Дорогая моя! Ваша невестка с детьми все еще здесь. Ваш внучек прелестен. Вы знаете, ведь ему скоро минет пять лет! Вчера он увидел на улице лошадь с наколенниками и спросил: «Что у нее с коленками?» Он так мил! А его младший брат тащит по полу старую метлу и, воображая, что это карета, кричит: «Н-но!»*

Как явствует из письма, обе женщины применились к привычкам епископа, – это свойственно лишь женской душе, которая понимает мужчину лучше, чем он сам себя понимает. Храня кроткий и непринужденный вид, епископ Диньский совершал порой высокие, смелые и прекрасные поступки, казалось, даже не сознавая этого. Женщины трепетали, но не вмешивались. Изредка Маглуар отваживалась сделать замечание до того, как поступок был совершен, но она никогда не делала замечаний во время совершения поступка или после. Если дело было начато, никто ни единым словом, ни единым движением не мешал ему. В иные минуты – ему не приходилось говорить им об этом, а может быть, он и сам этого не сознавал, так безгранична была его скромность – обе женщины смутно сознавали, что он действует как епископ, и тогда они превращались в две тени, скользящие по дому. Они служили ему, отказавшись от проявления собственной воли, и если повиноваться значило исчезнуть – они исчезали. Изумительно тонкий инстинкт подсказывал им, что порой заботливость может только стеснять. Поэтому даже, когда им казалось, что он в опасности, они до такой степени проникали если не в мысли его, то в самую сущность его натуры, что переставали его опекать и поручали его богу.

Впрочем, Батистина говорила, как читатель только что узнал из ее письма, что кончина брата будет и ее кончиной, Маглуар не говорила этого, но она это знала.

## Глава десятая.

## Епископ перед неведомым светом

Спустя некоторое время после того как было написано письмо, приведенное на предыдущих страницах, епископ совершил поступок, который, по мнению всего города, был еще более безрассуден, нежели его поездка в горы, кишевшие разбойниками.

Недалеко от Диня, в его окрестностях, в полном уединении жил один человек. Человек этот – произнесем сразу эти страшные слова – был когда-то членом Конвента. Звали его Ж.

В тесном мирке жителей города Диня о члене Конвента Ж. упоминали почти с ужасом. Вообразите только – член Конвента! Члены Конвента существовали в те времена, когда люди говорили друг Другу «ты» и «гражданин»! Не человек, а чудовище. Он не голосовал за смерть короля, но был близок к этому. Он чуть что не цареубийца. Страшный человек. Каким образом по возвращении законных государей его не предали особому уголовному суду? Может быть, ему бы и не отрубили голову – надо все же проявлять милосердие, – но пожизненная ссылка

ему бы не помешала. Чтобы хоть другим было неповадно! И т. д. и т. д. Тем более, что он безбожник, как и все эти люди… Пересуды гусей о ястребе.

Однако был ли Ж. ястребом? Да, был, если судить о нем по непримиримой строгости его уединения. Он не голосовал за смерть короля, поэтому не попал в проскрипционные списки и мог остаться во Франции.

Он жил в сорока пяти минутах ходьбы от города, вдали от людского жилья, вдали от дороги, в забытом всеми уголке дикой горной долины. По слухам, у него был там клочок земли, была какая-то лачуга, какое-то логово. Никого вокруг: ни соседей, ни даже прохожих. С тех пор как он поселился в этой долине, тропинка к ней заросла травой. Об этом месте говорили с таким же чувством, с каким говорят о жилье палача.

Но епископ помнил о нем и, время от времени поглядывая в ту сторону, где купа деревьев на горизонте обозначала долину старого члена Конвента, думал: «Там живет одинокая душа».

А внутренний голос говорил ему: «Ты должен навестить этого человека».

Все же надо сознаться, что мысль об этом, казавшаяся столь естественной вначале, после минутного размышления уже представлялась епископу нелепой и невозможной, почти невыносимой. В сущности говоря, он разделял общее мнение, и член Конвента внушал ему, хотя он и не отдавал себе в этом ясного отчета, то чувство, которое граничит с ненавистью и которое так хорошо выражается словом «неприязнь».

Однако разве пастырь имеет право отшатнуться от зачумленной овцы? Нет. Но овца овце рознь!

Добрый епископ был в большом затруднении. Он несколько раз направлялся в ту сторону и с полдороги возвращался обратно.

Но вот однажды в городе распространился слух, что пастушонок, который прислуживал члену Конвента в его норе, приходил за врачом, что старый нечестивец умирает, что его разбил паралич и он вряд ли переживет эту ночь. «И слава богу!» – добавляли при этом некоторые.

Епископ взял свой посох, надел мантию – его сутана, как мы уже говорили, была изношена, а кроме того, по вечерам обычно поднимался холодный ветер, – и отправился в путь.

Солнце садилось и почти касалось горизонта, когда епископ достиг места, проклятого людьми. С легким замиранием сердца он убедился, что подошел почти к самой берлоге. Он перешагнул через канаву, проник сквозь живую изгородь, поднял жердь, закрывавшую вход, оказался в запущенном огороде, довольно храбро сделал несколько шагов вперед, и вдруг в глубине этой пустоши, за высоким густым кустарником, увидел логовище зверя.

Это была очень низкая, бедная, маленькая и чистая хижина; виноградная лоза обвивала ее фасад.

Перед дверью, в старом кресле на колесах, простом крестьянском кресле, сидел человек с седыми волосами и улыбался солнцу.

Возле старика стоял мальчик-подросток, пастушок. Он протягивал старику чашку с молоком.

Епископ молча смотрел на эту сцену. Тут старик заговорил.

– Благодарю, – сказал он, – больше мне ничего не нужно.

Оторвавшись от солнца, его ласковый взгляд остановился на ребенке.

Епископ подошел ближе. Услышав шаги, старик повернул голову, и на его лице выразилось самое глубокое изумление, на какое еще может быть способен человек, проживший долгую жизнь.

– За все время, что я здесь, ко мне приходят впервые, – сказал он, – Кто вы, сударь?

Епископ ответил:

– Меня зовут Бьенвеню Мириэль.

– Бьенвеню Мириэль! Я слышал это имя. Не вас ли народ называет преосвященным Бьенвеню?

– Да, меня.

– В таком случае, вы мой епископ, – улыбаясь, сказал старик.

– До некоторой степени.

– Милости просим.

Член Конвента протянул епископу руку, но епископ не пожал ее. Он только сказал:

– Я рад убедиться, что меня обманули. Вы вовсе не кажетесь мне больным.

– Сударь, – ответил старик, – скоро я буду здоров.

Помолчав немного, он добавил:

– Через три часа я умру.

И продолжал:

– Я кое-что смыслю в медицине и знаю, как наступает последний час. Вчера у меня похолодели только ступни; сегодня холод поднялся до колен; сейчас он уже доходит до пояса, я это чувствую; когда он достигнет сердца, оно остановится. А как прекрасно солнце! Я попросил выкатить сюда мое кресло, чтобы в последний раз взглянуть на мир. Можете говорить со мной, это меня нисколько не утомляет. Вы хорошо сделали, что пришли посмотреть на умирающего. Такая минута должна иметь свидетеля. У каждого есть свои причуды: мне вот хотелось бы дожить до рассвета. Однако я знаю, что меня едва хватит и на три часа. Будет еще темно. Впрочем, не все ли равно! Кончить жизнь – простое дело. Для этого вовсе не требуется утро. Пусть будет так. Я умру при свете звезд.

Старик обернулся к пастушку:

– Иди ложись. Ты просидел возле меня всю ночь. Ты устал.

Мальчик ушел в хижину.

Старик проводил его взглядом и добавил, как бы про себя:

– Пока он будет спать, я умру. Сон и смерть – добрые соседи.

Епископа все это тронуло меньше, чем можно было бы ожидать. В подобном расставании с жизнью он не ощущал присутствия бога. Скажем прямо – ибо и мелкие противоречия великих душ должны быть отмечены так же, как все остальное, – епископ, который при случае так любил подшутить над своим «высокопреосвященством», был слегка задет чем, что здесь его не называли «монсеньером», и ему хотелось ответить на это обращением: «гражданин». Он вдруг почувствовал, что склонен к грубоватой бесцеремонности, довольно обычной для врачей и священников, но ему совсем несвойственной. В конце концов этот человек, этот член Конвента, этот представитель народа, был когда-то одним из сильных мира, и, пожалуй, впервые в жизни епископ ощутил прилив суровости.

Между тем член Конвента взирал на него со скромным радушием, в котором, пожалуй, можно было уловить оттенок смирения, вполне уместного в человеке, стоящем на краю могилы.

Епископ обычно воздерживался от любопытства, ибо в его понимании оно граничило с оскорблением, но теперь он внимательно разглядывал члена Конвента, хотя такое внимание, проистекавшее не из сочувствия, наверное, вызвало бы в нем угрызения совести, будь оно направлено на любого другого человека. Член Конвента представлялся ему как бы существом вне закона, даже вне закона милосердия.

Ж., державшийся почти совершенно прямо и говоривший спокойным, звучным голосом, был одним из тех восьмидесятилетних старцев, которые у физиологов возбуждают удивление.

Революция видела немало таких людей, созданных по образу и подобию своей эпохи. В этом старике чувствовался человек, выдержавший все испытания. Близкий к кончине, он сохранил все движения, присущие здоровью. Его ясный взгляд, твердый голос, могучий разворот плеч могли бы привести в замешательство самое смерть. Магометанский ангел смерти Азраил отлетел бы от него, решив, что ошибся дверью. Казалось, что Ж. умирает потому, что он сам этого хочет. В его агонии чувствовалась свободная воля. Только ноги его были неподвижны. Отсюда начиналась крепкая хватка смерти. Ноги были мертвы и холодны, в то время как голова жила со всей мощью жизни и, видимо, сохранила полную ясность. В эту торжественную минуту Ж. походил на того царя из восточной сказки, у которого верхняя половина тела была плотью, а нижняя мрамором.

Неподалеку от кресла лежал камень. Епископ сел на него. Вступление было ex abrupto[7].

– Я рад за вас, – сказал епископ тоном, в котором чувствовалось осуждение. – Вы все же не голосовали за смерть короля.

Член Конвента, казалось, не заметил оттенка горечи, скрывавшегося в словах «все же». Однако улыбка исчезла с его лица, когда он ответил:

– Не радуйтесь за меня, сударь, я голосовал за уничтожение тирана.

Его суровый тон явился ответом на тон строгий.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил епископ.

– Я хочу сказать, что у человека есть только один тиран – невежество. Вот за уничтожение этого тирана я и голосовал. Этот тиран породил королевскую власть, то есть власть, источник которой – ложь, тогда как знание – это власть, источник которой – истина. Управлять человеком может одно лишь знание.

– И совесть, – добавил епископ.

– Это одно и то же. Совесть – это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы.

Монсеньор Бьенвеню с некоторым удивлением слушал эти речи, совершенно новые для него.

Член Конвента продолжал:

– Что касается Людовика Шестнадцатого, то я сказал: «Нет». Я не считаю себя вправе убивать человека, но чувствую себя обязанным искоренять зло. Я голосовал за уничтожение тирана, то есть за уничтожение продажности женщины, рабства мужчины, невежества ребенка. Голосуя за Республику, я голосовал за все это. Я голосовал за братство, за мир, за утреннюю зарю! Я помогал искоренять предрассудки и заблуждения. Крушение предрассудков и заблуждений порождает свет. Мы низвергли старый мир, и старый мир, этот сосуд страданий, пролившись на человеческий род, превратился в чашу радости.

– Радости замутненной, – сказал епископ.

– Вы могли бы сказать – радости потревоженной, а теперь, после этого рокового возврата к прошлому, имя которому тысяча восемьсот четырнадцатый год, – радости исчезнувшей. Увы, наше дело не было завершено, я это признаю; мы разрушили старый порядок в его внешних проявлениях, но не могли совсем устранить его из мира идей. Недостаточно уничтожить злоупотребления, надо изменить нравы. Мельницы уже нет, но ветер остался.

– Вы разрушили. Разрушение может оказаться полезным, но я боюсь разрушения, когда оно сопровождается гневом.

– У справедливости тоже есть свой гнев, ваше преосвященство, и этот гнев справедливости является элементом прогресса. Как бы то ни было и что бы ни говорили, Французская революция – это самое могучее движение человечества со времен пришествия Христа. Несовершенное, – пусть так, – но благороднейшее. Она вынесла за скобку все неизвестные в социальном уравнении; она смягчила умы; она успокоила, умиротворила,

просветила; она пролила на землю потоки цивилизации. Она была исполнена доброты. Французская революция – это помазание на царство самой человечности.

Епископ не мог удержаться и прошептал:

– Да? А девяносто третий год?

С какой-то зловещей торжественностью умирающий приподнялся в своем кресле и, напрягая последние силы, вскричал:

– А! Вот оно что! Девяносто третий год! Я ждал этих слов. Тучи сгущались в течение тысячи пятисот лет. Прошло пятнадцать веков, и они, наконец, разразились грозой. Вы предъявляете иск к удару грома.

Епископ, быть может, сам себе в этом не признаваясь, почувствовал легкое смущение. Однако он не показал виду и ответил:

– Судья выступает от имени правосудия, священник выступает от имени сострадания, которое является тем же правосудием, но только более высоким. Удару грома не подобает ошибаться.

В упор глядя на члена Конвента, он добавил:

– А Людовик Семнадцатый? Член Конвента протянул руку и схватил епископа за плечо.

– Людовик Семнадцатый! Послушайте! Кого вы оплакиваете? Невинное дитя? Если так, я плачу вместе с вами. Королевское дитя? В таком случае дайте мне подумать. В моих глазах брат Картуша, невинное дитя, которое повесили на Гревской площади и которое висело там, охваченное веревкой под мышками, до тех пор, пока не наступила смерть, дитя, чье единственное преступление состояло в том, что он был братом Картуша, не менее достоин сожаления, нежели внук Людовика Пятнадцатого – другое невинное дитя, заточенное в Тампль единственно по той причине, что он был внуком Людовика Пятнадцатого.

– Сударь, – прервал его епископ, – мне не нравится сопоставление этих имен.

– Картуша? Людовика Пятнадцатого? За которого из них вы желаете вступиться?

Воцарилось молчание. Епископ почти жалел о том, что пришел, и в то же время он смутно ощутил, как что-то поколебалось в его душе.

– Ах, господин священнослужитель, – продолжал член Конвента, – вы не любите грубой правды! А ведь Христос любил ее. Он брал плеть и выгонял торговцев из храма. Его карающий бич был отличным вещателем суровых истин. Когда он вскричал Sinite parvu-los[8], то не делал различия между детьми. Он не постеснялся бы поставить рядом наследника Вараввы и наследника Ирода. Невинность, сударь, сама по себе есть венец. Невинность не нуждается в том, чтобы быть «высочеством». В рубище она столь же царственна, как и в геральдических лилиях.

– Это правда, – тихо проговорил епископ.

– Я настаиваю на своей мысли, – продолжал член Конвента. – Вы назвали имя Людовика Семнадцатого. Давайте же условимся. Скажите, кого мы будем оплакивать: всех невинных, всех страдающих, всех детей – и тех, которые внизу, и тех, которые наверху? Если так, я согласен. Но в таком случае, повторяю, надо вернуться к временам, предшествующим девяносто третьему году, и начать лить наши слезы не о Людовике Семнадцатом, а о людях, погибших задолго до него. Я буду оплакивать вместе с вами королевских детей, если вы будете вместе со мной оплакивать малышей из народа.

– Я оплакиваю всех, – сказал епископ.

– В равной мере! – вскричал Ж. – Но если чаши весов будут колебаться, пусть перетянет чаша страданий народа. Народ страдает дольше.

Снова наступило молчание. Его нарушил член Конвента. Он приподнялся на локте и, слегка ущемив щеку между указательным и большим пальцем, – машинальный жест, присущий

человеку, когда он вопрошает и когда он судит, – вперил в епископа взгляд, исполненный необычайной, предсмертной силы. Он заговорил. Это было похоже на взрыв.

– Да, сударь, народ страдает давно… Но постойте, все это не то. Зачем вы пришли расспрашивать меня и говорить о Людовике Семнадцатом? Я вас не знаю. С тех пор как я поселился в этих краях, я живу один, не делая ни шагу за пределы этой ограды, не видя никого, кроме этого мальчугана, который мне помогает. Правда, ваше имя смутно доходило до меня, и, должен сознаться, о вас отзывались не слишком плохо, но это еще ничего не значит. У ловких людей так много способов обойти народ – этого славного простака. Между прочим, я почему-то не слышал стука колес вашей кареты. Очевидно, вы оставили ее там, за рощей, у поворота дороги. Итак – я вас не знаю. Вы сказали, что вы епископ, но это ничего не говорит мне о вашем нравственном облике. Я повторяю свой вопрос: кто вы такой? Вы епископ, то есть князь церкви, один из тех парченосцев и гербоносцев, которые обеспечены ежегодной рентой и имеют огромные доходы с должности. Диньская епархия – это содержание в пятнадцать тысяч франков да десять тысяч франков побочных доходов, всего двадцать пять тысяч в год. Вы один из тех, у кого отличные повара и ливрейные лакеи, из тех, кто любит хорошо покушать и ест по пятницам водяных курочек, кто выставляет себя напоказ, развалясь в парадной карете, с лакеями на передке и с лакеями на запятках, кто живет во дворцах и разъезжает в экипажах во имя Иисуса Христа, ходившего босиком! Вы сановник! Ренты, дворцы, лошади, слуги, хороший стол, все чувственные радости жизни – вы обладаете ими, как и ваши собратья, и, подобно им, вы наслаждаетесь всем этим. Да, это так, но этим сказано слишком много или слишком мало. Это ничего не гово?ит мне о вашей внутренней ценности и сущности, о человеке, который пришел с очевидным намерением преподать мне урок мудрости. С кем я говорю? Кто вы?

Епископ опустил голову и ответил:

– Vermis sum.[9]

– Земляной червь, разъезжающий в карете! – проворчал член Конвента.

Роли переменились: теперь член Конвента держался высокомерно, а епископ смиренно.

– Пусть будет так, сударь, – кротко сказал он. – Но объясните мне, в какой мере моя карета, которая стоит там, за кустами, в двух шагах отсюда, мой хороший стол и водяные курочки, которых я ем по пятницам, в какой мере мои двадцать пять тысяч годового дохода, мой дворец и мои лакеи доказывают, что сострадание – не добродетель, что милосердие – не долг и что девяносто третий год не был безжалостен?

Член Конвента провел рукой по лбу, словно отгоняя какую-то тень.

– Прежде чем вам ответить, – сказал он, – я прошу вас извинить меня… Я виноват перед вами. Вы пришли ко мне, вы мой гость. Мне надлежит быть любезным. Вы оспариваете мои взгляды, – я должен ограничиться возражениями на ваши доводы. Ваши богатства и наслаждения – это мои преимущества в нашем споре, но было бы учтивее, если бы я не воспользовался ими. Обещаю вам больше их не касаться.

– Благодарю вас, – молвил епископ.

– Вернемся к объяснению, которого вы у меня просили, – продолжал Ж.На чем мы остановились? Что вы мне сказали? Что девяносто третий год был безжалостен?

– Да, безжалостен, – подтвердил епископ. – Что вы думаете о Марате, рукоплескавшем гильотине?

– А что вы думаете о Боссюэ, распевавшем Te Deum по поводу драгонад?

Ответ был суров, но он попал прямо в цель с неумолимостью стального клинка. Епископ вздрогнул: он не нашел возражения, но такого рода ссылка на Боссюэ оскорбила его. У самых великих умов есть свои кумиры, и недостаток уважения к ним со стороны логики вызывает порой смутное ощущение боли.

Между тем член Конвента стал задыхаться, голос его прерывался от предсмертного удушья, обычного спутника последних минут жизни, но в глазах отражалась еще полная ясность духа. Он продолжал:

– Я хочу сказать вам еще несколько слов. Если рассматривать девяносто третий год вне революции, которая в целом является великим утверждением человечности, то этот год – увы! – покажется ее опровержением. Вы считаете его безжалостным, но что такое, по-вашему, монархия? Карье – разбойник, но как вы назовете Монревеля? Фукье-Тенвиль – негодяй, но каково ваше мнение о Ламуаньон-Бавиле? Майьяр ужасен, но не угодно ли вам взглянуть на Со-Тавана? Отец Дюшен кровожаден, но какой эпитет подобрали бы вы для отца Летелье? Журдаи – Головорез, чудовище, но все же не такое чудовище, как маркиз де Лувуа. О сударь, сударь, мне жаль Марию-Антуанетту, эрцгерцогиню и королеву, но мне не менее жаль и ту несчастную гугенотку, которую в 1685 году, при Людовике Великом, сударь, привязали к столбу, обнаженную до пояса, причем ее грудного ребенка держали неподалеку. Грудь женщины была переполнена молоком, а сердце полно мучительной тревоги. Изголодавшийся и бледный малютка видел эту грудь и надрывался от крика. А палач говорил женщине-матери и кормилице; «Отрекись!», предоставляя ей выбор между гибелью ее ребенка и гибелью души. Что вы скажете об этой пытке Тантала, примененной к матери? Запомните, сударь, Французская революция имела свои причины. Будущее оправдает ее гнев. Мир, сделавшийся лучше, – вот ее последствия. Из самых страшных ее ударов рождается ласка для всего человечества. Довольно. Я умолкаю. У меня на руках слишком хорошие карты. К тому же – я умираю.

Уже не глядя на епископа, член Конвента спокойно закончил свою мысль:

– Да, грубые проявления прогресса носят название революций. После того как они закончены, становится ясно, что человечество получило жестокую встряску, но сделало шаг вперед.

Член Конвента не подозревал, что он последовательно сбивает епископа со всех позиций. Однако оставалась еще одна, и, опираясь на этот последний оплот сопротивления, монсеньор Бьенвеню возразил почти с тою же резкостью, с какой он начал разговор:

– Прогресс должен верить в бога. У добра не может быть нечестивых слуг. Атеист – плохой руководитель человечества.

Старый представитель народа ничего не ответил. По его телу пробежала дрожь. Он посмотрел на небо, и слеза затуманила его взор. Потом она медленно покатилась по мертвенно-бледной щеке, и едва слышно, прерывающимся голосом, словно говоря сам с собой, умирающий произнес, не отрывая глаз от беспредельной глубины небес:

– О ты! О идеал! Ты один существуешь! Епископ был охвачен невыразимым душевным волнением.

Немного помолчав, член Конвента поднял руку и, указав на небо, сказал:

– Бесконечное существует. Оно там. Если бы бесконечное не имело своего «я», тогда мое «я» было бы его пределом, и оно бы не было бесконечным; другими словами, бесконечное не существовало бы. Но оно существует. Следовательно, оно имеет свое «я». Это «я» бесконечного и есть бог.

Последние слова умирающий произнес громким голосом, трепеща от восторга; казалось, пред ним стоит некто, видимый только ему одному. Когда он кончил, глаза его закрылись. Напряжение истощило его силы. Было ясно, что в одно это мгновение он прожил те несколько часов, которые ему оставались. Оно приблизило его к тому, кто ожидал его за порогом смерти. Наступала последняя минута.

Епископ понял это, мешкать долее было нельзя; ведь он пришел сюда как священнослужитель. От крайней холодности он постепенно дошел до крайнего волнения; он

взглянул на эти сомкнутые глаза, он взял эту старую, морщинистую, похолодевшую руку и наклонился к умирающему.

– Этот час принадлежит богу. Разве вам не было бы горько, если б наша встреча оказалась напрасной?

Член Конвента открыл глаза. Тень какой-то суровой торжественности лежала теперь на его лице.

– Ваше преосвященство! – медленно заговорил он, и эта неторопливость вызывалась, быть может, не столько упадком физических сил, сколько чувством собственного достоинства. – Я провел жизнь в размышлении, изучении и созерцании. Мне было шестьдесят лет, когда родина призвала меня и повелела принять участие в ее делах. Я повиновался. Я видел злоупотребления – и боролся с ними. Я видел тиранию – и уничтожал ее. Я провозглашал и исповедовал права и принципы. Враг вторгся в нашу страну – и я защищал ее, Франции угрожала опасность – и я грудью встал за нее. Я никогда не был богат, теперь я беден. Я был одним из правителей государства; подвалы казначейства ломились от сокровищ, пришлось укрепить подпорами стены, которые не выдерживали тяжести золота и серебра, – а я обедал за двадцать два су на улице Арбр-Сек. Я помогал угнетенным и утешал страждущих. Правда, я разорвал алтарный покров, но лишь для того, чтобы перевязать раны отечества. Я всегда приветствовал шествие человечества вперед, к свету, но порой противодействовал прогрессу, если он был безжалостен. Случалось и так, что я оказывал помощь вам, моим противникам. Во Фландрии, в Петегеме, там, где была летняя резиденция меровингских королей, существует монастырь урбанисток, аббатство святой Клары в Болье, – в тысяча семьсот девяносто третьем году я спас этот монастырь. Я исполнял свой долг по мере сил и делал добро где только мог. Меня стали преследовать, мучить, меня очернили, осмеяли, оплевали, прокляли, осудили на изгнание. Несмотря на свои седины, я давно уже чувствую, что есть много людей, считающих себя вправе презирать меня, что в глазах бедной невежественной толпы я – проклятый богом преступник. И я приемлю одиночество, созданное ненавистью, хотя ни к кому не питаю ненависти. Теперь мне восемьдесят шесть лет. Я умираю. Чего вы от меня хотите?

– Вашего благословения, – сказал епископ и опустился на колени.

Когда епископ поднял голову, лицо члена Конвента было величаво-спокойно. Он скончался.

Епископ вернулся домой, погруженный в глубокое раздумье. Всю ночь он провел в молитве. На другой день несколько любопытных отважились заговорить с ним о члене Конвента Ж.; вместо ответа епископ указал на небо. С той поры его любовь и братская забота о малых сих и страждущих еще усилились.

Малейшее упоминание о «старом нечестивце Ж.» приводило его в состояние какой-то особенной задумчивости. Никто не мог бы сказать, какую роль в приближении епископа к совершенству сыграло соприкосновение этого ума с его умом и воздействие этой великой души на его душу.

Само собой разумеется, что это «пастырское посещение» доставило местным сплетникам повод для пересудов. «Разве епископу место у изголовья такого умирающего? – говорили они. – Ведь тут нечего было и ждать обращения. Все эти революционеры – закоренелые еретики. Так зачем ему было ездить туда? Чего он там не видел? Верно, уж очень любопытно было поглядеть, как дьявол уносит человеческую душу».

Как-то раз одна знатная вдовушка, принадлежавшая к разновидности наглых людей, мнящих себя остроумными, позволила себе такую выходку.

– Ваше преосвященство, – сказала она епископу. – Все спрашивают, когда вам будет пожалован красный колпак.

– О, это грубый цвет, – ответил епископ. – Счастье еще, что люди, которые презирают его в колпаке якобинца, глубоко чтят его в кардинальской шапке.

## Глава одиннадцатая.
## Оговорка

Тот, кто заключит из вышеизложенного, что монсеньор Бьенвеню был «епископом-философом» или «священником-патриотом», рискует впасть в большую ошибку. Его встреча с членом Конвента Ж., которую, быть может, позволительно сравнить с встречей двух небесных светил, оставила в его душе недоумение, придавшее еще большую кротость его характеру. И только.

Хотя монсеньор Бьенвеню меньше всего был политическим деятелем, все же, пожалуй, уместно в нескольких словах рассказать здесь, каково было его отношение к современным событиям, если предположить, что монсеньор Бьенвеню когда-либо проявлял к ним какое-то отношение.

Итак, вернемся на несколько лет назад.

Немного времени спустя после возведения Мириэля в епископский сан император пожаловал ему, так же как и нескольким другим епископам, титул барона Империи. Как известно, арест папы состоялся в ночь с 5 на 6 июля 1809 года; по этому случаю Мириэль был приглашен Наполеоном на совет епископов Франции и Италии, созванный в Париже. Синод этот заседал в Соборе Парижской Богоматери и впервые собрался 15 июня 1811 года под председательством кардинала Феша. В числе девяноста пяти явившихся туда епископов был и Мириэль. Однако он присутствовал всего лишь на одном заседании и на нескольких частных совещаниях. Епископ горной епархии, человек привыкший к непосредственной близости к природе, к деревенской простоте и к лишениям, он, кажется, высказал в обществе этих высоких особ такие взгляды, которые охладили температуру собрания. Очень скоро он вернулся в Динь. На вопросы о причине столь быстрого возвращения он ответил:

– Я там мешал. Вместе со мной туда проник свежий ветер. Я произвел впечатление распахнутой настежь двери.

В другой раз он сказал:

– Что же тут удивительного? Все эти высокопреосвященства – князья церкви, а я – всего лишь бедный сельский епископ.

Он пришелся не ко двору. Он наговорил там немало странных вещей, а как-то вечером, когда он находился у одного из самых именитых своих собратьев, у него вырвались, между прочим, такие слова:

– Какие красивые стенные часы! Какие красивые ковры! Какие красивые ливреи! До чего это утомительно! Нет, я бы не хотел иметь у себя всю эту бесполезную роскошь. Она бы все время кричала мне в уши: «Есть люди, которые голодают! Есть люди, которым холодно. Есть бедняки! Есть бедняки!»

Скажем мимоходом, что ненависть к роскоши – ненависть неразумная. Она влечет за собой ненависть к искусству. Однако у служителей церкви, если не говорить о торжественных службах и обрядах, роскошь является пороком. Она как бы изобличает привычки, говорящие о недостатке истинного милосердия. Богатый священник-это нелепо, место священника – подле бедняков. Но можно ли постоянно, днем и ночью, соприкасаться со всякими невзгодами, со всякими лишениями и нищетой, не приняв на себя какой-то доли всех этих бедствий, не запачкавшись, если можно так выразиться, этой трудовой пылью? Можно ли представить себе человека, который, находясь у пылающего костра, не ощущал бы его жара? Можно ли представить себе постоянно работающего у раскаленной печи человека, у которого не было бы ни одного опаленного волоса, ни одного почерневшего ногтя, ни капли пота, ни пятнышка сажи на лице? Первое доказательство милосердия священника, а епископа в особенности, – это его бедность.

По-видимому, именно так думал и епископ Диньский.

Впрочем, не следует предполагать, чтобы по отношению к некоторым щекотливым пунктам он разделял так называемые «идеи века». Он редко вмешивался в богословские распри своего времени и не высказывался по вопросам, роняющим престиж церкви и государства; однако, если бы оказать на него достаточно сильное давление, он, по всей вероятности, скорее оказался бы ультрамонтаном, нежели галликанцем. Так как мы пишем портрет с натуры и не имеем желания что-либо скрывать, мы вынуждены добавить, что Мириэль выказал крайнюю холодность к Наполеону в период его заката. Начиная с 1813 года он одобрял или даже приветствовал все враждебные императору выступления. Он не пожелал видеть Наполеона, когда тот возвращался с острова Эльбы, и не отдал распоряжение по епархии о служении в церквах молебнов о здравии императора во время Ста дней.

Кроме сестры Батистины, у него было два брата: один – генерал, другой – префект. Он довольно часто писал обоим. Однако он несколько охладел к первому после того, как, командуя войсками в Провансе и приняв под свое начало отряд в тысячу двести человек, генерал во время высадки в Канне преследовал императора так вяло, словно желал дать ему возможность ускользнуть. Переписка же епископа с другим братом, отставным префектом, достойным и честным человеком, который уединенно жил в Париже на улице Касет, оставалась более сердечной.

Итак, монсеньора Бьенвеню тоже коснулся дух политических разногласий, у него тоже были свои горькие минуты, свои мрачные мысли. Тень страстей, волновавших эпоху, задела и этот возвышенный и кроткий ум, поглощенный тем, что нетленно и вечно. Такой человек бесспорно был бы достоин того, чтобы вовсе не иметь политических убеждений. Да не поймут превратно нашу мысль, – мы не смешиваем так называемые «политические убеждения» с возвышенным стремлением к прогрессу, с высокой верой в отечество, в народ и в человека, которая в наши дни должна лежать в основе мировоззрения всякого благородного мыслящего существа. Не углубляя вопросов, имеющих лишь косвенное отношение к содержанию данной книги, скажем просто было бы прекрасно, если бы монсеньор Бьенвеню не был роялистом и если бы его взор ни на мгновенье не отрывался от безмятежного созерцания трех чистых светочей – истины, справедливости и милосердия, – ярко сияющих над бурной житейской суетойю.

Признавая, что бог создал моньсеньора Бьенвеню отнюдь не для политической деятельности, мы тем не менее поняли и приветствовали бы его протест во имя права и свободы, гордый отпор, чреватое опасностями, но справедливое сопротивление всесильному Наполеону. Однако то, что похвально по отношению к восходящему светилу, далеко не так похвально по отношению к светилу нисходящему. Борьба привлекает нас тогда, когда она сопряжена с риском, и уж, конечно, право на последний удар имеет лишь тот, кто нанес первый. Тот, кто не выступал с настойчивым обвинением в дни благоденствия, обязан молчать, когда произошел крах. Только открытый враг преуспевавшего является законным мстителем после его падения. Что касается нас, то, когда вмешивается и наказует провидение, мы уступаем ему поле действия. 1812 год начинает нас обезоруживать. В 1813 году Законодательный корпус, до той поры безмолвный и осмелевший после ряда катастроф, подло нарушил свое молчание: это не могло вызвать ничего, кроме негодования, и рукоплескать ему было бы ошибкой; в 1814 году при виде предателей-маршалов, при виде сената, который, переходя от низости к низости, оскорблял того, кого он обожествлял, при виде идолопоклонников, трусливо пятившихся назад и оплевывавших недавнего идола, каждый счел своим долгом отвернуться; в 1815 году, когда в воздухе появились предвестники страшных бедствий, когда вся Франция содрогалась, чувствуя их зловещее приближение, когда уже можно было различить смутное видение разверстого перед Наполеоном Ватерлоо, в горестных приветствиях армии и народа, встретивших осужденного роком, не было ничего достойного осмеяния, и, при всей неприязни к деспоту, такой человек, как епископ Диньский,

пожалуй, не должен был закрывать глаза на все то величественное и трогательное, что таилось в этом тесном объятии великой нации и великого человека на краю бездны.

За этим исключением епископ был и оставался во всем праведным, искренним, справедливым, разумным, смиренным и достойным; он творил добро и был доброжелателен, что является другой формой того же добра. Это был пастырь, мудрец и человек. Даже в своих политических убеждениях, за которые мы только что упрекали его и которые мы склонны осуждать весьма сурово, он был – этого у него отнять нельзя – снисходителен и терпим, быть может, более, чем мы сами, пишущие эти строки. Привратник диньской ратуши, когда-то назначенный на эту должность самим императором, был старый унтер-офицер старой гвардии, награжденный крестом за Аустерлиц и не менее рьяный бонапартист, чем императорский орел. У этого бедняги вырывались порой не совсем обдуманные слова, которые по тогдашним законам считались «бунтовскими речами». После того как профиль императора исчез с ордена Почетного легиона, старик никогда не одевался «по уставу» – таково было его выражение, – чтобы не быть вынужденным надевать и свой крест. Он с благоговением, собственными руками, вынул из креста, пожалованного ему Наполеоном, изображение императора, вследствие чего в кресте появилась дыра, и ни за что не хотел вставить что-либо на его место. «Лучше умереть, – говорил он, – чем носить на сердце трех жаб!» Он любил во всеуслышание издеваться над Людовиком XVIII. «Старый подагрик в английских гетрах? Пусть убирается в Пруссию со своей пудреной косицей!» – говаривал он, радуясь, что может в одном ругательстве объединить две самые ненавистные для него вещи: Пруссию и Англию. В конце концов он потерял место. Вместе с женой и детьми он очутился на улице без куска хлеба. Епископ послал за ним, мягко побранил его и назначил на должность привратника собора.

За девять лет монсеньор Бьенвеню добрыми делами и кротостью снискал себе любовное и как бы сыновнее почтение обитателей Диня. Даже его неприязнь к Наполеону была принята молча и прощена народом: слабовольная и добродушная паства боготворила своего императора, но любила и своего епископа.

## Глава двенадцатая. Одиночество монсеньора Бьенвеню

Подобно тому, как вокруг генерала почти всегда толпится целый выводок молодых офицеров, вокруг каждого епископа вьется стая аббатов. Именно этих аббатов очаровательный св. Франциск Сальский и назвал где-то «желторотыми священниками». Всякое поприще имеет своих искателей фортуны, которые составляют свиту того, кто уже преуспел на нем. Нет власть имущего, у которого не было бы своих приближенных; нет баловня фортуны, у которого не было бы своих придворных. Искатели будущего вихрем кружатся вокруг великолепного настоящего. Всякая епархия имеет свой штаб. Каждый сколько-нибудь влиятельный епископ окружен стражей херувимчиков-семинаристов, которые обходят дозором епископский дворец, следят за порядком и караулят улыбку его преосвященства. Угодить епископу – значит стать на первую ступень, ведущую к иподьяконству. Надо же пробить себе дорогу, – апостольское звание не брезгует доходным местечком. Как в миру, так и в церкви есть свои тузы. Это епископы в милости, богатые, с крупными доходами, ловкие, принятые в высшем обществе, несомненно, умеющие молиться, но умеющие также домогаться того, что им нужно; епископы, которые, олицетворяя собой целую епархию, заставляют ждать себя в передней и являются соединительным звеном между ризницей и дипломатией, – скорее аббаты, нежели священники, скорее прелаты, нежели епископы. Счастлив тот, кто сумеет приблизиться к ним! Люди влиятельные, они щедро раздают своим приспешникам, фаворитам и всей этой умеющей подделаться к ним молодежи богатые приходы, каноникаты, места архидиаконов, попечителей и другие выгодные должности, постепенно ведущие к епископскому сану. Продвигаясь сами, эти планеты движут вперед и своих спутников, – настоящая солнечная система в движении! Их сияние бросает пурпурный отсвет и на их свиту. С их пиршественного стола перепадают крохи и их приближенным в виде теплых местечек. Чем больше епархия покровителя, тем

богаче приход фаворита. А Рим так близко! Епископ, сумевший сделаться архиепископом, архиепископ, сумевший сделаться кардиналом, берет вас с собой в качестве кардинальского служки в конклав, вы входите в римское судилище, вы получаете омофор, и вот вы уже сами член судилища, вы камерарий, вы монсеньор, а от преосвященства до эминенции только один шаг, а эминенцию и святейшество разделяет лишь дымок сжигаемого избирательного листка. Каждая скуфья может мечтать превратиться в тиару. В наши дни священник – это единственный человек, который может законным путем взойти на престол, и на какой престол! Престол державнейшего из владык! Зато каким питомником упований является семинария! Сколько краснеющих певчих, сколько юных аббатов ходят с кувшином Перетты на голове! Как охотно честолюбие именует себя призванием, и – кто знает? – быть может, даже искренне, поддаваясь самообману. Блажен надеющийся!

Монсеньор Бьенвеню, скромный, бедный, чудаковатый, не был причислен к «значительным особам». На это указывало полное отсутствие вокруг него молодых священников. Все видели, что в Париже он «не принялся». Ни одно будущее не стремилось привиться к этому одинокому старику. Ни одно незрелое честолюбие не было столь безрассудно, чтобы пустить ростки под его сенью. Его каноники и старшие викарии были добрые старики, грубоватые, как и он сам, так же как он, замуровавшие себя в этой епархии, которая не имела никакого общения с кардинальским двором, и похожие на своего епископа, с той лишь разницей, что они были люди конченые, а он был человеком завершенным. Невозможность расцвести возле монсеньора Бьенвеню была так очевидна, что, едва закончив семинарию, молодые люди, рукоположенные им в священники, запасались рекомендациями к архиепископам Экса или Оша и немедленно уезжали. Повторяем: люди хотят, чтобы им помогли пустить ростки. Праведник, чья жизнь полна самоотречения, – опасное соседство: он может заразить вас неизлечимой бедностью, параличом сочленений, необходимых, чтобы продвигаться вперед, к успеху, и вообще слишком большой любовью к самопожертвованию; от этой чумной добродетели все бегут. Этим и объясняется одиночество монсеньора Бьенвеню. Мы живем в обществе, окутанном мраком. Преуспевать – вот высшая мудрость, которая капля за каплей падает из черной тучи корыстных интересов, нависшей над человечеством.

Заметим мимоходом, какая, в сущности, гнусная вещь – успех. Его мнимое сходство с заслугой вводит людей в заблуждение. Удача – это для толпы почти то же, что превосходство. У успеха, этого близнеца таланта, есть одна жертва обмана – история. Только Ювенал и Тацит немного брюзжат на его счет. В наши дни всякая более или менее официальная философия поступает в услужение к успеху, носит его ливрею и лакействует у него в передней. Преуспевайте – такова теория! Благосостояние предполагает способности. Выиграйте в лотерее, и вы умница. Кто победил, тому почет. Родитесь в сорочке – в этом вся штука! Будьте удачливы – все остальное приложится; будьте баловнем счастья – вас сочтут великим человеком. Не считая пяти-шести грандиозных исключений, которые придают блеск целому столетию, все восторги современников объясняются только близорукостью. Позолота сходит за золото. Будь ты – хоть первым встречным – это не помеха, лишь бы удача шла тебе навстречу. Пошлость – это состарившийся Нарцисс, влюбленный в самого себя и рукоплещущий пошлости. То огромное дарование, благодаря которому человек рождается Моисеем, Эсхилом, Данте, Микеланджело или Наполеоном, немедленно и единодушно присуждается толпой любому, кто достиг своей цели, в чем бы она ни состояла. Пусть какой-нибудь нотариус стал депутатом; пусть лже – Корнель написал Тиридата; пусть евнуху удалось обзавестись гаремом; пусть какой-нибудь военный Прюдом случайно выиграл битву, имеющую решающее значение для эпохи; пусть аптекарь изобрел картонные подошвы для армии департамента Самбр – и – Маас и, выдав картон за кожу, нажил капитал, дающий четыреста тысяч ливров дохода; пусть уличный разносчик женился на ростовщице и от этого брака родилось семь или восемь миллионов, отцом которых является он, а матерью она; пусть проповедник за свою гнусавую болтовню получил епископский сан; пусть управляющий

торговым домом оказался по увольнении таким богатым человеком, что его назначили министром финансов, – во всем этом люди видят Гениальность, так же как они видят Красоту в наружности Мушкетона и Величие в шее Клавдия. Звездообразные следы утиных лапок на мягкой грязи болота они принимают за созвездия в бездонной глубине неба.

## Глава тринадцатая.

## Во что он верил

Нам незачем доискиваться, был ли епископ Диньский приверженцем ортодоксальной веры. Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добредетели, даже если их верования и отличны от наших.

Что думал епископ о таком-то догмате или о таком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас несомненно одно: спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Тление не может коснуться алмаза. Мириэль веровал всей душой. Credo in Patrem[10], – часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку: «С тобою бог!»

Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверхверы у епископа был избыток любви. Именно поэтому, quid multum amavit[11], его и считали уязвимым среди «серьезных людей», «благоразумных особ» и «положительных характеров», пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинуется педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению божию. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таится бессознательная жестокость, которую он приберегает для животных. В епископе Диньском эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, по-видимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Екклезиаста: «Кто знает, куда идет душа животных?» Внешнее безобразие, грубость инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты он, казалось, молил бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого языковеда, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один, и не замечая сестры, которая шла за ним; внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле: это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный. И сестра услышала, как он произнес: «Бедное создание! Оно в этом не виноватое.

Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так, но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Ассизский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья.

Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение.

Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвеню был человек пылких, быть может, даже необузданных страстей Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно, мысль за мыслью, осевшей в нем, ибо в характере человека, так же как и в скале, которую долбит

капля воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы; эти образования уничтожить нельзя.

В 1815 году – мы, кажется, уже упоминали об этом – епископу исполнилось семьдесят пять лет, но на вид ему можно было дать не более шестидесяти. Он был невысокого роста, имел некоторую склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком; он сохранил твердую поступь и почти прямой стан – подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов: Григорий XVI в восемьдесят лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться дурным епископом. У монсеньора Бьенвеню был, говоря языком простонародья, «осанистый вид», но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой «осанке».

Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно; казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестевшие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид, когда невольно хочется сказать о человеке: «Какой добрый малый!» – если он молод, и «Какой добрый старик!» – если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добрый старик – и только. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, этот добрый старик преображался на глазах, становясь все значительнее; его высокий спокойный лоб, величественный благодаря увенчивавшим его сединам, казался еще величественнее в часы, когда епископ предавался размышлениям; нечто возвышенное исходило от этой доброты, не перестававшей излучать свое сияние; вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Благоговение, невыразимое благоговение медленно охватывало вас, проникая в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, много переживших и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой.

Итак, молитва, богослужения, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на бога, наука и труд заполняли все дни его жизни. Именно заполняли, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером, перед сном, после того как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда, даже в очень поздние часы его домашние, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там он оставался наедине с самим собою, сосредоточенный, безмятежный, спокойный и благоговеющий; ясность его сердца можно было сравнить с ясностью небесного эфира. Взволнованный зримым во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из Неведомого. В такие мгновения, возносясь сердцем в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может он и сам не мог бы сказать, что совершается в его душе; он чувствовал, как что-то излучается из него и что-то нисходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной!

Он думал о величии вездесущего бога, о вечности грядущей – чудесной тайне, о вечности минувшей – тайне еще более чудесной; обо всем неизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине; не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал бога, он поражался ему. Он размышлял об удивительных столкновениях атомов, которые составляют материю, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве,

соотношения в пространстве, бесчисленное в бесконечном и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения – вечный круговорот завязок и развязок; отсюда жизнь и смерть.

Он садился на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светила сквозь чахлые и кривые ветви плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяла его.

Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого огороженного пространства, где высокое небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклоняться богу в его прекраснейших и совершенных творениях? В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать?.. Садик для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его – то, что можно возделывать и собирать; над головой – то, что можно обдумывать и изучать. Немного цветов на земле и все звезды на небе.

## Глава четырнадцатая.
## О чем он думал

Еще несколько слов.

Все эти подробности, особенно в наше время, могли бы, употребляя распространенные сейчас выражения, внушить мысль о том, что епископ Диньский в некотором роде «пантеист» и что он придерживался – в похвалу это ему или в порицание, вопрос особый – одной из тех присущих нашему веку философских теорий, какие, возникая иногда в одиноких душах, формируются и развиваются, чтобы заступить в них затем место религии. Поэтому мы со всей твердостью заявляем, что никто из лиц, близко знавших монсеньера Бьенвеню, не счел бы себя вправе приписать ему что-либо подобное. Источником познания для этого человека было его сердце, и мудрость его была соткана из того света, который излучало это сердце.

Никаких теорий – и много дел. Туманная философия таит в себе дух заблуждения; ничто не указывало на то, чтобы он когда-либо дерзал углубляться мыслью в ее таинственные дебри. Апостол может быть дерзновенным, но епископу должно быть робким. Видимо, монсеньор Бьенвеню не позволял себе чрезмерно глубокого проникновения в некоторые проблемы, разрешать которые призваны лишь великие и бесстрашные умы. У порога тайны живет священный ужас; эти мрачные врата отверсты перед вами, но что-то говорит вам, страннику, идущему мимо, что входить нельзя. Горе тому, кто проникнет туда! Гении, погружаясь в бездонные пучины абстракции и чистого умозрения, становясь, так сказать, над догматами веры, изъясняют свои идеи богу. Их молитва смело вызывает на спор, их поклонение вопрошает. Эта религия не имеет посредников, и тот, кто пытается взойти на ее крутые склоны, испытывает тревогу и чувство ответственности.

Человеческая мысль не знает границ. На свой страх и риск она исследует и изучает даже собственное заблуждение. Пожалуй, можно сказать, что своим сверкающим отблеском она как бы ослепляет самое природу; таинственный мир, окружающий нас, отдает то, что получает, и возможно, что созерцатели сами являются предметом созерцания. Так или иначе, но на земле существуют люди, – впрочем, люди ли это? – которые на далеких горизонтах мечты ясно различают высоты абсолюта, люди, перед которыми встает грозное видение необозримой горы. Монсеньор Бьенвеню отнюдь не принадлежал к их числу. Монсеньор Бьенвеню не был гением. Его устрашили бы эти вершины духа, откуда даже столь великие умы, как Сведенборг и Паскаль, соскользнули в безумие. Бесспорно, эти титанические грезы приносят свою долю нравственной пользы, именно этими трудными путями и приближаются люди к идеальному совершенству. Епископ Диньский избрал кратчайшую тропу – Евангелие.

Он не делал никаких попыток расположить складки своего облачения так, чтобы оно походило на плащ Илии, не старался осветить лучом предвидения туманную зыбь

совершающихся событий, не стремился слить в единое пламя мерцающие огоньки малых дел, в нем не было ничего от пророка и ничего от мага. Эта смиренная душа любила – вот и все.

Быть может, он и доводил молитву до какого-то сверхчеловеческого устремления ввысь, но как любовь, так и молитва никогда не могут быть чрезмерны, и если бы молитва, которой нет в текстах Священного писания, являлась ересью, то и св. Тереза и св. Иероним были бы еретиками.

Он склонялся к страждущим и кающимся. Вселенная представлялась ему огромным недугом; он везде угадывал лихорадку, в каждой груди он прослушивал страдание и, не доискиваясь причины болезни, старался врачевать раны. Грозное зрелище вызванных к жизни творений умиляло его. Он стремился лишь к одному – найти самому и передать другим наилучший способ жалеть и поддерживать. Все сущее было для этого редкого по свой доброте священнослужителя неисчерпаемым источником печали, жаждущей утешить.

Есть люди, которые трудятся, извлекая из недр земли золото; он же трудился, извлекая из душ сострадание. Его рудником были несчастия мира. Рассеянные повсюду горести являлись для него лишь постоянным поводом творить добро. «Любите друг друга!» – говорил он, считая, что этим сказано все, и ничего больше не желая; в этом и заключалось все его учение. «Послушайте, – сказал ему однажды сенатор, о котором мы уже упоминали, человек, считавший себя философом. – Да взгляните же вы на то, что происходит в мире: война всех против каждого; кто сильнее – тот и умнее. Ваше „любите друг друга“ – глупость». «Что ж, – ответил епископ, не вступая в спор, – если это глупость, то душа должна замкнуться в ней, как жемчужина в раковине». И он замкнулся в ней, жил в ней и вполне удовлетворялся ею, отстраняя от себя грозные проблемы, притягивающие нас и в то же время повергающие в ужас. Он отстранял от себя неизмеримые высоты отвлеченного, бездны метафизики, все те глубины, которые сходятся в одной точке – для апостола в боге, для атеиста в небытии: судьбу, добро и зло, борьбу всех живых существ между собою, самосознание человека и дремотную созерцательность животных, преображение через смерть, повторение существований, берущее начало в могиле, непостижимую власть преходящих чувств над неизменным «я», сущность, субстанцию. Nil и Ens, душу, природу, свободу, необходимость; те острые проблемы, те зловещие толщи, над которыми склоняются гиганты человеческой мысли; те страшные пропасти, которые Лукреций, Ману, св. Павел и Данте созерцают таким сверкающим взором, что, будучи устремлен в бесконечность, он, кажется, способен возжечь там звезды.

Монсеньер Бьенвеню был просто человек, который наблюдал таинственные явления со стороны и, не исследуя их, не подходя к ним вплотную, не тревожа ими свой ум. строго хранил в душе благоговение перед неведомым.

## Книга вторая
## Падение
### Глава первая.
### После целого дня ходьбы

В первых числах октября 1815 года, приблизительно за час до захода солнца, в городок Динь вошел путник. Те немногочисленные обитатели, которые в это время смотрели в окна или стояли на пороге своих домов, не без тревоги поглядывали на этого прохожего. Трудно было встретить пешехода более нищенского вида. Это был человек среднего роста, коренастый и крепкий, в расцвете сил. Ему можно было дать лет сорок шесть, сорок семь. Надвинутая на лоб фуражка с кожаным козырьком наполовину закрывала его загорелое от солнца, обветренное лицо, по которому струился пот. Грубая рубаха из небеленого холста, заколотая у ворота маленьким серебряным якорем, не скрывала его волосатой груди; на нем был скрученный в жгут шейный платок, синие тиковые штаны, изношенные и потертые, побелевшие на одном колене и с дырой на другом, старая и рваная серая блуза, заплатанная на локте лоскутом зеленого сукна, пришитым шпагатом; за спиной у путника висел туго

набитый солдатский ранец, тщательно застегнутый и совершенно новый, в руках он держал огромную суковатую палку; подбитые железными гвоздями башмаки были надеты на босу ногу; голова у него была острижена, а борода сильно отросла.

Пот, зной, усталость после долгого пути и пыль еще усиливали отталкивающее впечатление, которое производил этот оборванец.

Короткие его волосы стояли торчком; видимо, их остригли совсем недавно, и они только начали отрастать.

Никто не знал его. Очевидно, это был случайный прохожий. Откуда он явился? С юга. Может быть, с побережья – он вошел в Динь той же дорогой, которою семь месяцев назад прошел император Наполеон, направляясь из Канна в Париж. Должно быть, человек этот шагал без отдыха весь день. Он казался очень усталым. Женщины из старинного предместья, расположенного в нижней части города, заметили, что он остановился под деревьями бульвара Гассенди и пил воду из фонтана, в конце аллеи. Вероятно, его мучила жажда, потому что дети, которые шли за ним следом, видели, что шагов через двести он снова остановился, чтобы напиться из другого фонтана, на Рыночной площади.

Дойдя до угла улицы Пуашвер, он повернул налево и направился к мэрии. Он вошел туда и пробыл там четверть часа. У дверей, на каменной скамье, той самой скамье, встав на которую генерал Друо 4 марта прочел перед толпой изумленных обитателей Диня прокламацию, написанную в бухте Жуан, сидел жандарм. Прохожий снял фуражку и униженно поклонился ему.

Жандарм, не отвечая на поклон, внимательно посмотрел на прохожего, проводил его взглядом и вошел в мэрию.

В те времена в Дине был богатый постоялый двор под вывеской «Кольбасский крест» Хозяином этого постоялого двора был некто Жакен Лабар, пользовавшийся в городе уважением за родство с другим Лабаром, который держал в Гренобле постоялый двор «Три дельфина» и когда-то служил фланговым в императорских войсках. Во время высадки императора немало слухов ходило в тех краях о постоялом дворе «Три дельфина». Говорили, будто в январе месяце генерал Бертран, переодетый возчиком, приезжал туда несколько раз, причем раздавал кресты солдатам и пригоршни золотых монет горожанам. Достоверно одно: вступив в Гренобль, император отказался остановиться в здании префектуры; поблагодарив мэра, он сказал: «Я пойду к одному славному малому, я хорошо его знаю», – и отправился в гостиницу «Три дельфина». Несмотря на расстояние в двадцать пять лье, отсвет славы Лабара из «Трех дельфинов» озарял и Лабара из «Кольбасского креста». В городе о нем говорили: «Это двоюродный брат того, гренобльского».

К этому-то постоялому двору, лучшему в городе, и направился путник. Он вошел в кухню, двери которой открывались прямо на улицу. Все кухонные печи топились, жаркий огонь весело пылал в камине. Трактирщик, он же и старший повар, с озабоченным видом переходил от очага к кастрюлям, наблюдая за приготовлением великолепного обеда, который предназначался для возчиков, чей шумный говор и смех разда*о*вались в соседней комнате. Всякий, кому приходилось путешествовать, знает, что никто не любит так хорошо поесть, как возчики. Жирный сурок с белыми куропатками и тетеревами по бокам крутился на длинном вертеле перед огнем; на плите жарились два крупных карпа из озера Лозе и форель из озера Алоз.

Услыхав, что дверь отворилась и вошел новый посетитель, трактирщик, не поднимая глаз от плиты, спросил:

– Что вам угодно, сударь?

– Поесть и переночевать, – ответил вошедший.

– Это можно, – сказал трактирщик. Потом обернулся и, смерив вновь прибывшего взглядом, добавил: – Разумеется, за плату.

Пришелец вытащил из кармана блузы туго набитый кожаный кошелек.

– Деньги у меня есть, – сказал он.

– В таком случае к вашим услугам, – ответил трактирщик.

Незнакомец снова сунул кошелек в карман, снял ранец, поставил его на пол у двери и, не выпуская из рук палки, присел на низенький табурет перед камином. Динь лежит в горах. Октябрьские вечера там очень холодны.

Между тем трактирщик, продолжая сновать взад и вперед, внимательно разглядывал путника.

– Скоро ли обед? – спросил тот.

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Пока пришелец грелся у огня, повернувшись к хозяину спиной, почтенный трактирщик Жакен Лабар вынул из кармана карандаш и оторвал уголок старой газеты, валявшейся на столике у окна. Написав на полях несколько слов, он сложил этот клочок бумаги и, не запечатывая, вручил мальчугану, который, как видно, служил ему одновременно и поваренком и рассыльным. Трактирщик что-то шепнул на ухо поваренку, и тот бегом пустился по направлению к мэрии.

Путник ничего не заметил.

Он снова спросил:

– Скоро ли обед?

– Сейчас будет готов, – ответил трактирщик.

Мальчик вернулся. Он принес записку обратно. Хозяин, видимо ожидавший ответа, поспешно развернул ее. Внимательно прочитав написанное, он покачал головой и на минуту задумался. Затем подошел к путнику, который казался погруженным в далеко не веселые размышления.

– Сударь! – сказал он. – Я не могу оставить вас у себя.

Незнакомец привстал.

– Как так? Вы боитесь, что я не заплачу? Хотите, я отдам плату вперед? Говорят вам, у меня есть деньги.

– Дело не в этом.

– А в чем же?

– У вас есть деньги…

– Да, – еще раз подтвердил незнакомец.

– Но у меня-то, – продолжал трактирщик, – нет свободной комнаты.

– Так устройте меня в конюшне, – спокойно возразил незнакомец.

– Не могу.

– Почему?

– Там нет места – все занято лошадьми.

– Ну что ж, – снова возразил незнакомец, – в таком случае отведите мне уголок на чердаке. Дайте охапку соломы. Впрочем, мы потолкуем об этом после обеда.

– Я не могу дать вам обед.

Эти слова, произнесенные сдержанным, но решительным тоном, заставили незнакомца насторожиться. Он встал.

– Ах, вот оно что! – вскричал он. – Но послушайте, я умираю от голода. Я без отдыха иду с самого восхода солнца. Я прошел двенадцать лье. Я плачу деньги. И хочу есть.

– У меня ничего нет, – сказал трактирщик.

Незнакомец захохотал и повернулся к камину и к плите.

– Ничего? А все это?

– Все это заказано другими.

– Кем?

– Господами возчиками.

– Сколько же их?

– Двенадцать.

– Да тут хватит еды на двадцать человек.

– Все это они заказали для себя и уплатили вперед.

Незнакомец сел на прежнее место и сказал, не повышая голоса:

– Я в трактире, я голоден и остаюсь здесь.

Тогда трактирщик наклонился к нему и сказал ему на ухо таким тоном, что тот вздрогнул:

– Уходите отсюда.

В эту минуту путник, нагнувшись, подталкивал в огонь угольки железным наконечником своей палки; он живо обернулся и уже открыл рот, чтобы возразить что-то, но трактирщик пристально посмотрел на него и добавил все так же тихо:

– Послушайте, довольно лишних слов. Сказать вам, как вас зовут? Ваше имя – Жан Вальжан. А теперь – сказать вам, кто вы такой? Когда вы вошли, я кое-что заподозрил, послал в мэрию, и вот что мне ответили. Вы умеете читать?

С этими словами он протянул незнакомцу развернутую записку, которая успела пропутешествовать из трактира в мэрию и из мэрии обратно в трактир. Незнакомец пробежал ее взглядом. Немного помолчав, трактирщик сказал:

– Я привык вежливо обращаться со всеми. Уходите отсюда.

Незнакомец опустил голову, поднял с пола свой ранец и ушел.

Он направился вдоль главной улицы. Он шагал наудачу, держась поближе к домам, униженный и печальный. Он ни разу не обернулся. Если бы он обернулся, то увидел бы, что хозяин «Кольбасского креста» стоит на пороге и, окруженный всеми постояльцами своего заведения и всеми прохожими, оживленно говорит им что-то, указывая на него пальцем; и тут подозрительные, испуганные взгляды всех этих людей сказали бы ему: что его появление не замедлит всполошить весь город.

Но ничего этого он не видел. Те, кто удручен горем, не оглядываются назад. Они слишком хорошо знают, что их злая участь идет за ними следом.

Так он брел некоторое время, все вперед, выбирая наудачу улицы, которых не знал, и забыв об усталости, как это бывает в минуты уныния. Вдруг он снова почувствовал сильный голод. Надвигалась ночь. Он осмотрелся по сторонам, надеясь найти какое-нибудь пристанище.

Богатый трактир закрыл перед ним свои двери; теперь он искал какой-нибудь скромный кабачок, какую-нибудь убогую лачугу.

Вдруг в конце улицы блеснул огонек; сосновая ветка, подвешенная к железной балке, ясно вырисовывалась на бледном фоне сумеречного неба. Он направился к ней.

Это и в самом деле был кабачок, – кабачок на улице Шафо.

На секунду путник остановился и заглянул через окно в низенькую залу кабачка, освещенную стоявшей на столе маленькой лампой, а также ярким пламенем очага. Какие-то люди сидели там и пили. Хозяин грелся у огня. Подвешенный на крюке железный котелок кипел над очагом.

В этом кабачке, являвшемся также и своего рода постоялым двором, были две двери. Одна открывалась на улицу, а другая вела во дворик, заваленный навозом.

Путник не решился войти с улицы. Он проскользнул во двор, опять остановился, потом робко нажал на щеколду и толкнул дверь.

– Кто там? – спросил хозяин.

– Человек, который хотел бы поужинать и переночевать.

– За чем же дело стало? Здесь получите и ужин и ночлег.

Он вошел. Все посетители, пившие за столом, обернулись. Лампа освещала пришельца с одной стороны, огонь очага-с другой. Пока он отвязывал свой ранец, все внимательно разглядывали его.

Кабатчик сказал:

– Вот огонь. В этом котелке варится ужин. Подойдите ближе и погрейтесь, приятель.

Путник сел перед очагом. Он протянул к огню нывшие от усталости ноги; вкусный запах шел от котелка. Лицо пришельца, насколько его можно было разглядеть из-под низко надвинутой на лоб фуражки, приняло выражение какого-то неопределенного удовлетворения, к которому примешивался скорбный оттенок, придаваемый длительной привычкой к страданию.

Вообще у него был мужественный, энергичный и вместе с тем грустный вид. Это лицо производило какое-то странное, двойственное впечатление: сначала оно казалось кротким, а потом суровым. Глаза из-под бровей сверкали, словно пламя из-под груды валежника.

Один из посетителей, сидевших за столом, был рыбный торговец; прежде чем прийти в этот кабачок, он заходил к Лабару, чтобы поставить к нему в конюшню свою лошадь. По воле случая, утром того же дня он повстречался с этим подозрительным незнакомцем, когда тот шел по дороге между Бра д'Асс и… (забыл название, – кажется, Эскублоном). И вот, поравнявшись с ним, прохожий, который уже и тогда казался очень усталым, попросил подвезти его, в ответ на что рыбный торговец лишь подхлестнул лошадь. Полчаса назад этот самый торговец находился среди людей, окружавших Жакена Лабара, и рассказал посетителям «Кольбасского креста» о своей неприятной утренней встрече. Не вставая с места, он сделал кабатчику незаметный знак. Тот подошел к нему. Они шепотом обменялись несколькими словами. Путник тем временем снова погрузился в свои думы.

Кабатчик подошел к очагу, грубо взял незнакомца за плечо и сказал:

– Немедленно убирайся отсюда.

Незнакомец обернулся и кротко ответил:

– Ах, так? Вы уже знаете?..

– Да.

– Меня прогнали из одного трактира.

– А теперь тебя выгоняют из этого.

– Куда же мне деваться?

– Куда хочешь.

Путник взял свою палку, ранец и вышел.

На улице мальчишки, которые провожали его от самого «Кольбасского креста» и, видимо, поджидали здесь, стали бросать в него камнями. Он в гневе повернул назад и погрозил им палкой; детвора рассыпалась в разные стороны, словно птичья стайка.

Он зашагал дальше и оказался напротив тюрьмы. У ворот весела железная цепь, прикрепленная к колокольчику. Он позвонил.

Окошечко в воротах приоткрылось.

– Господин привратник! – сказал прохожий, почтительно снимая фуражку. – Сделайте милость, откройте н дайте мне приют на одну ночь.

Голос ответил ему:

– Тюрьма не постоялый двор. Пусть тебя арестуют, тогда открою.

Окошечко захлопнулось.

Он забрел в переулок, где было много садов. Некоторые вместо забора были обнесены живой изгородью, что придает улице веселый вид. Посреди этих садов и изгородей путник увидел маленький одноэтажный домик с освещенным окном. Он заглянул в это окно, как раньше в окно кабачка. Перед ним была большая, выбеленная комната, с кроватью, затянутой пологом из набивного ситца, детской люлькой в углу, несколькими деревянными стульями и двуствольным ружьем, висевшим на стене. Посреди комнаты стоял накрытый стол. Медная лампа освещала грубую белую холщовую скатерть, оловянный кувшин, блестевший, как серебро, и полный вина, и коричневую суповую мяску, от которой шел пар. За столом сидел мужчина лет сорока с веселым, открытым лицом; он подбрасывал на коленях ребенка. Сидевшая рядом с ним молоденькая женщина кормила грудью второго ребенка. Отец смеялся, ребенок смеялся, мать улыбалась.

На миг незнакомец остановился в задумчивости перед этой мирной, отрадной картиной. Что происходило в его душе? Ответить на этот вопрос мог бы он один. Вероятно, он подумал, что этот дом, где царит радость, не откажет ему в гостеприимстве и что там, где он видит столько счастья, быть может, найдется для него крупица сострадания.

Он стукнул в окно тихо и нерешительно.

Никто не услышал его.

Он стукнул еще раз.

И услыхал, как женщина сказала:

– Послушай, муженек, мне кажется, кто-то стучится.

– Нет, – ответил муж.

Он стукнул в третий раз.

Муж встал, взял лампу, подошел к двери и отворил ее.

Это был мужчина высокого роста, полукрестьянин, полуремесленник. Широкий кожаный передник слева доходил ему до плеча; из-за нагрудника, словно из кармана, торчал молоток, красный носовой платок, пороховница и разные другие предметы, поддерживаемые снизу кушаком. Он стоял, – подняв голову; открытый ворот расстегнутой рубахи обнажал белую бычью шею. У него были густые брови, огромные черные бакенбарды, глаза навыкате, выступавшая вперед нижняя челюсть и то не поддающееся описанию выражение лица, которое свойственно человеку, знающему, что он у себя дома.

– Извините, сударь, – сказал путник, – не можете ли вы за плату дать мне тарелку похлебки и угол для ночлега вон в том сарае, что стоит у вас в саду? Могли бы? За плату?

– Кто вы такой? – спросил хозяин дома.

Человек ответил:

– Я иду из Пюи – Муасона. Шел пешком целый день. Я прошагал двенадцать лье. Скажите, вы могли бы? За плату.

– Я бы не отказался пустить к себе хорошего человека, который согласен заплатить, – сказал крестьянин. – Но почему вы не идете на постоялый двор?

– Там нет места.

– Ну, этого не может быть. Ведь сейчас не ярмарка и не базарный день. У Лабара вы были?

– Да.

– И что же?

– Не знаю, право, но он меня не пустил, – в замешательстве ответил путник.

– А были вы у этого, как бишь его? Ну, что на улице Шафо?

Замешательство незнакомца возрастало.

– Он тоже не пустил меня, – пробормотал он.

Лицо крестьянина отразило недоверие; он оглядел пришельца с головы до ног и вдруг в ужасе вскричал:

– Да уж не тот ли вы человек?

Он снова оглядел незнакомца, отступил на три шага, поставил лампу на стол и снял со стены ружье.

Между тем, услышав слова крестьянина: «Да уж не тот ли вы человек?», женщина вскочила с места, схватила детей на руки и поспешно, даже не прикрыв обнаженную грудь, спряталась за спиной мужа, со страхом уставившись на незнакомца и тихо шепча про себя. «Воровское отродье!».

Все это произошло с невероятной быстротой. Несколько секунд хозяин рассматривал незнакомца так, словно перед ним была ядовитая змея, потом снова подошел к двери и сказал:

– Убирайся.

– Ради бога, хоть стакан воды! – попросил путник.

– А не хочешь ли пулю в лоб? – ответил крестьянин и захлопнул дверь; путник услышал, как заскрипели один за другим два тяжелых железных засова. Через минуту окно закрылось ставнем, задвинулся поперечный железный брус.

Между тем мрак все сгущался. С Альп дул холодный ветер. При слабом свете угасавшего дня незнакомец разглядел в одном из садов, окаймлявших улицу, что-то вроде землянки, как ему показалось, крытой дерном. Он смело перепрыгнул через дощатый забор и очутился в саду. Затем подошел к землянке, дверью ей служило узкое, очень низкое отверстие; она походила на те шалаши, которые обычно сооружают себе шоссейные рабочие на краю дороги. Должно быть, незнакомец решил, что это и в самом деле такой шалаш; он страдал от холода и голода; с голодом он уже примирился, но перед ним было по крайней мере убежище от стужи. Обычно такого рода жилище по ночам пустует. Он лег на живот и ползком пролез в землянку. Внутри было тепло, он нашел там довольно сносную соломенную подстилку. С минуту он лежал, вытянувшись на этой подстилке, не в силах сделать ни одного движения, до того он устал. Затем, чувствуя, что ранец на спине мешает ему, и сообразив, что он может заменить ему подушку, путник начал отстегивать один из ремней. В этот момент раздалось грозное рычание. Он поднял глаза. Голова огромного пса показалась в темном отверстии землянки.

Он попал в собачью конуру.

Он и сам был силен и страшен; вооружившись палкой и превратив свой ранец в щит, он кое-как выбрался из землянки, причем прорехи в его рубище сделались еще шире.

Он выбрался из сада, пятясь к выходу и размахивая палкой; чтобы удержать пса на почтительном расстоянии, он был вынужден прибегнуть к приему, известному среди мастеров фехтовального искусства под названием «закрытая роза».

Когда он не без труда вторично перелез через забор и опять оказался на улице, один, без жилья, без крова, без приюта, лишившись даже соломенной подстилки, выгнанный из жалкой собачьей конуры, он тяжело опустился на камень; говорят, что какой-то прохожий слышал, как он воскликнул: «Собаке – и той лучше, чем мне!»

Вскоре он встал и снова отправился в путь. Он вышел из города, надеясь найти в поле дерево или стог сена, где можно было бы укрыться.

Долго брел он так, низко опустив голову. Наконец, очутившись вдали от всякого человеческого жилья, он поднял глаза и осмотрелся по сторонам. Он был в поле; перед ним простирался пологий холм с низким жнивьем, – такие холмы после жатвы напоминают стриженую голову.

Горизонт был совершенно черен – и не только из-за ночного мрака: темноту сгущали низкие облака, которые, казалось, прилегали к самому холму и, поднимаясь кверху, заволакивали все небо. Но так как вскоре должна была взойти луна, а в зените еще реяли отблески сумеречного света, эти облака образовали в высоте нечто вроде белесоватого свода, отбрасывавшего на землю бледный отсвет.

Земля из – за этого была освещена ярче, чем небо, что всегда производит особенно зловещее впечатление; холм с его однообразными, унылыми очертаниями, мутным сизым пятном вырисовывался на темном горизонте. Все вместе создавало впечатление чего-то отталкивающего, убогого, угрюмого, давящего. На все поле и на весь холм – только одно уродливое дерево; качаясь и вздрагивая под ветром, оно стояло в нескольких шагах от путника.

Человек этот, по-видимому, не принадлежал к числу людей тонкого духовного и умственного склада, чутко воспринимающих таинственную сторону явлений; однако это небо и холм, равнина и дерево дышали такой безотрадной тоской, что после минуты неподвижного созерцания он внезапно повернул назад. Бывают мгновенья, когда сама природа кажется враждебной.

Он пустился в обратный путь. Городские ворота были уже закрыты. В 1815 году Динь, выдержавший во времена религиозных войн три осады, был еще окружен старинными крепостными стенами с четырехугольными башнями, которые были снесены лишь впоследствии. Путник отыскал пролом в стене и снова вошел в город.

Было около восьми часов. Не зная города, он опять отправился наудачу.

Он дошел до префектуры, потом очутился у семинарии. Проходя по Соборной площади, он погрозил кулаком церкви.

На углу площади находится типография. Именно здесь были впервые отпечатаны воззвания императора и императорской гвардии к армии, привезенные с острова Эльбы и продиктованные самим Наполеоном.

Выбившись из сил и ни на что больше не надеясь, путник растянулся на каменной скамье у дверей типографии.

В это время из церкви вышла старая женщина. Она заметила лежащего в темноте человека.

– Что вы здесь делаете, друг мой? – спросила она.

– Разве вы не видите, добрая женщина? Я ложусь спать, – ответил он резко и злобно.

Доброй женщиной, вполне достойной этого имени, была маркиза де Р.

– На этой скамье? – снова спросила она.

– Девятнадцать лет я спал на голых досках, – сказал человек, – сегодня досплю на голом камне.

– Вы служили в солдатах?

– Да, добрая женщина, в солдатах.

– Почему же вы не идете на постоялый двор?

– Потому что у меня нет денег.

– Как жаль! – сказала маркиза де Р. – У меня в кошельке только четыре су.

– Все равно. Давайте.

И он взял четыре су. Маркиза де Р. продолжала:

– Этих денег вам не хватит на постоялый двор. Но, скажите, пытались ли вы устроиться где-нибудь? Не можете же вы провести так всю ночь. Вам, наверное, холодно, вы голодны. Кто-нибудь мог бы приютить вас просто из сострадания.

– Я стучался во все двери.

– И что же?

– Меня отовсюду гнали.

Добрая женщина прикоснулась к плечу незнакомца и указала ему на низкий домах, стоявший по ту сторону площади, рядом с епископским дворцом.

– Вы говорите, что стучались во все двери? – еще раз спросила она.

– Да.

– А в эту?

– Нет.

– Так постучитесь.

## Глава вторая.
## Мудрость, предостерегаемая благоразумием

В этот вечер, после обычной прогулки по городу, епископ Диньский довольно долго сидел, затворившись у себя в комнате. Он был занят обширным трудом на тему об обязанностях, который, к сожалению, так и остался незавершенным. Он тщательно собирал вое сказанное отцами церкви и учеными по этому важному вопросу. Его труд делился на две части: в первой говорилось об обязанностях общечеловеческих, во второй – об обязанностях каждого человека, в зависимости от общественного его положения. Общечеловеческие обязанности – суть великие обязанности. Их четыре. Апостол Матфей определяет их так: обязанности по отношению к богу (Матф., VI), обязанности по отношению к самому себе (Матф., V. 29, 30), обязанности по отношению к ближнему (Матф., VII, 12], обязанности по отношению к творениям божиим (Матф., VI, 20, 25). А что до остальных обязанностей, то епископ нашел их обозначенными и предписанными в других местах: обязанности государей и подданных – в Послании к Римлянам; судей, жен, матерей и юношей – у апостола Петра; мужей, отцов, детей и слуг – в Послании к Ефесянам; верующих – в Послании к Евреям; девственниц – в Послании к Коринфянам. Все эти предписания он старательно объединял в одно гармоническое целое, которое ему хотелось сделать достоянием человеческих душ.

В восемь часов вечера он еще работал, держа на коленях раскрытую толстую книгу и ухитряясь при этом делать записи на четвертушках бумаги. Как всегда в это время, в комнату вошла Маглуар, чтобы взять столовое серебро из шкафчика, висевшего над его кроватью. Через минуту, вспомнив, что стол накрыт и что сестра, должно быть, уже ждет его, епископ закрыл книгу, встал из-за стола и вышел в столовую.

Столовая представляла собой продолговатую комнату с камином, с дверью, выходившей прямо на улицу (мы уже говорили об этом), и окном в сад.

Маглуар действительно кончала накрывать на стол.

Не отрываясь от дела, она разговаривала с Батистиной.

На столе горела лампа; стол стоял близко от камина, где был разведен довольно яркий огонь.

Нетрудно представить себе этих двух женщин, из которых каждой было за шестьдесят: Маглуар – низенькую, полную, подвижную; Батистину – кроткую, худощавую, хрупкую, немного выше ростом, чем ее брат, в шелковом платье красновато-бурого цвета, которое было модно в 1806 году в Париже, когда она купила его, и которое верно служило ей до сих пор. Употребляя простонародное выражение, имеющее ту заслугу, что оно одним словом передает мысль, на которую едва хватило бы целой страницы, скажем, что с виду Маглуар была «из

простых», а Батистина – «из господ». Маглуар носила на голове белый чепец с гофрированными оборками, а на шее золотой крестик – единственное золотое женское украшение, которое можно было найти в этом доме; белоснежная косынка оживляла ее черное платье из толстой шерстяной материи с широкими короткими рукавами; передник из бумажной ткани в красную и зеленую клетку, перехваченный на талии зеленым кушаком, и такой же нагрудник, приколотый сверху двумя булавками, довершал ее туалет; на ногах у нее были грубые башмаки и желтые чулки, какие носят жительницы Марселя. Платье Батистины было скроено по фасону 1806 года; короткая талия, узкая юбка, рукава с наплечниками, клапаны и пуговки. Свои седые волосы она прикрывала завитым париком, причесанным «под ребенка», как тогда говорили. Маглуар производила впечатление неглупой, живой и добродушной женщины, хотя неодинаково приподнятые углы рта и верхняя губа, которая была у нее толще нижней, придавали выражению ее лица оттенок грубоватости и властности. Пока монсеньор молчал, она разговаривала с ним весьма решительно, сочетая почтительность с фамильярностью, но стоило монсеньору заговорить, и – мы уже убедились в этом – она повиновалась так же беспрекословно, как и ее хозяйка. Батистина даже не разговаривала. Она ограничивалась тем, что повиновалась и одобряла. Даже в молодости она не отличалась миловидностью: у нее были большие голубые глаза навыкате и длинный, с горбинкой, нос, но все лицо ее, все ее существо – мы уже говорили об этом вначале – дышало невыразимой добротой. Она и всегда была предрасположена к кротости, а вера, милосердие, надежда – эти три добродетели, согревающие душу, – мало-помалу возвысили эту кротость до святости. Природа сделала ее агнцем, религия превратила ее в ангела. Бедная святая девушка! Милое исчезнувшее воспоминание!

Батистина так часто рассказывала о том, что произошло в епископском доме в тот вечер, что многие из тех, кто еще остался в живых, помнят все до мельчайших подробностей.

В ту минуту, когда вошел епископ, Маглуар что-то горячо говорила Батистине. Она беседовала с Батистиной на свою излюбленную тему, к которой епископ уже успел привыкнуть. Речь шла о щеколде у наружной двери.

По-видимому, Маглуар, закупая провизию для ужина, наслушалась разных разностей. Поговаривали о каком-то бродяге подозрительного вида, о том, что в городе появился опасный незнакомец, что он шатается по улицам и что у тех, кому бы вздумалось поздно вернуться домой этой ночью, может произойти неприятная встреча. Говорили также, что полиция никуда не годится, потому что префект и мэр не ладят между собой и, стараясь подставить друг другу ножку, нарочно устраивают всякие происшествия. Поэтому люди благоразумные должны сами взять на себя обязанности полиции, быть настороже и позаботиться о том, чтобы их дома были закрыты, входы загорожены, а двери снабжены засовами и накрепко заперты.

Маглуар особенно подчеркнула последние слова, но епископ, войдя в столовую из своей комнаты, где было холодновато, теперь грелся, сидя у камина, и вообще думал о другом. Он оставил без внимания многозначительную фразу Маглуар. Она повторила ее. Тогда Батистина, которой хотелось доставить удовольствие Маглуар, не вызвав при этом неудовольствия брата, осмелилась робко спросить у него:

– Вы слышите, братец, что говорит госпожа Маглуар?

– Да, я мельком слышал об этом, – ответил епископ.

Отодвинув стул и опершись обеими руками о колени, он обратил к старой служанке свое приветливое, веселое лицо, освещенное снизу пламенем камина, и спросил:

– Итак, в чем же дело? Что случилось? Нам, стало быть, угрожает большая опасность?

Маглуар начала всю историю сначала, немного прикрашивая ее, незаметно для себя самой. Выходило так, что в городе находится какой-то цыган, какой-то оборванец, какой-то опасный нищий. Он хотел остановиться у Жакена Лабара, но тот не пустил его к себе. Люди

видели, что он прошел по бульвару Гассенди и бродил по городу до самых сумерек. Наружность у него самая разбойничья – настоящий висельник.

– В самом деле? – спросил епископ.

Этот снисходительный вопрос ободрил Маглуар; она решила, что епископ уже близок к тому, чтобы обеспокоиться, и с торжеством продолжала:

– Да, ваше преосвященство. Так оно и есть. Нынешней ночью в городе непременно случится несчастье. Все это говорят. А полиция никуда не годится (полезное повторение). Жить в горной местности и не поставить на улице ни одного фонаря! Выходишь, а кругом тьма кромешная! Вот я и говорю, ваше преосвященство, да и барышня тоже говорит, что…

– Я ничего не говорю, – прервала ее Батистина – Все, что делает мой брат, хорошо!

Словно не слыша этого возражения, Маглуар продолжала:

– Вот мы и говорим, что наш дом ненадежен и что если его преосвященство позволит, я схожу к Полену Мюзбуа, к слесарю, и скажу ему, чтобы он приладил к дверям те задвижки, что были прежде; они в сохранности, так что это минутное дело. Право, ваше преосвященство, задвижки необходимы, хотя бы только на нынешнюю ночь, потому что, право, нет ничего ужаснее, чем дверь на щеколде, которую может открыть снаружи любой прохожий. И потом ваше преосвященство имеет привычку всегда говорить: «Войдите», будь это хоть глухой ночью. О господи, да чего уж тут! Незачем и спрашивать разрешения…

В эту минуту кто-то громко постучал в дверь.

– Войдите! – сказал епископ.

## Глава третья.
## Героизм слепого повиновения

Дверь открылась.

Она открылась широко, настежь; видимо, кто-то толкнул ее решительно и сильно.

Вошел человек.

Мы уже знаем его. Это тот самый путник, который только что блуждал по городу в поисках ночлега.

Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не закрывая за собой двери. На плече у него висел ранец, в руке он держал палку, выражение его глаз было жесткое, дерзкое, усталое и злобное. Огонь камина ярко освещал его. Он был страшен. В этой внезапно появившейся фигуре было что-то зловещее.

У Маглуар не хватило сил даже вскрикнуть. Она задрожала и словно остолбенела.

Батистина обернулась, увидела входящего человека и в испуге приподнялась со стула; потом, медленно повернув голову в сторону камина, посмотрела на брата, и лицо ее снова стало безмятежным и ясным.

Епископ устремил на вошедшего пристальный и спокойный взгляд.

Он уже открыл рот, видимо, собираясь спросить у пришельца, что ему угодно, но человек обеими руками оперся на палку, окинул взглядом старика и обеих женщин и, не ожидая, пока заговорит епископ, начал громким голосом:

– Вот что. Меня зовут Жан Вальжан. Я каторжник. Я пробыл на каторге девятнадцать лет. Четыре дня назад меня выпустили, и я иду в Понтарлье, к месту назначения. Вот уже четыре дня, как я иду пешком из Тулона. Сегодня я прошел двенадцать лье. Вечером, придя в этот город, я зашел на постоялый двор, но меня выгнали из-за моего желтого паспорта, который я предъявил в мэрии. Ничего не поделаешь! Я зашел на другой постоялый двор. Мне сказали: «Убирайся!» Сначала на одном, потом на другом. Никто не захотел впустить меня. Я был и в тюрьме, но привратник не открыл мне. Я залез в собачью конуру. Собака укусила меня и выгнала вон, словно это не собака, а человек. Можно подумать, что она знала, кто я такой. Я

вышел в поле, чтобы переночевать под открытым небом. Но небо заволокло тучами. Я решил, что пойдет дождь и что нет бога, который мог бы помешать дождю, и я вернулся в город, чтобы устроиться хотя бы в какой-нибудь нише. Здесь, на площади, я уже хотел было лечь спать на каменной скамье, но какая-то добрая женщина показала мне на ваш дом и сказала: «Постучись туда». Я постучался. Что здесь такое? Постоялый двор? У меня есть деньги Целый капитал Сто девять франков пятнадцать су, которые я заработал на каторге за девятнадцать лет… Я заплачу. Отчего же не заплатить? У меня есть деньги. Я очень устал, я шел пешком двенадцать лье и сильно проголодался. В+ позволите мне остаться?

– Госпожа Маглуар! – сказал епископ. – Поставьте на стол еще один прибор.

Человек сделал несколько шагов вперед и подошел к столу, на котором горела лампа.

– Погодите, – продолжал он, словно не поверив своим ушам, – тут что-то не то. Вы слышали? Я каторжник Галерник Я прямо с каторги.

Он вынул из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его.

– Вот мой паспорт. Как видите – желтый. Это для того, чтобы меня гнали отовсюду, куда бы я ни пришел. Хотите прочитать? Я и сам умею читать. Выучился в заключении. Там есть школа для тех, кто желает учиться. Посмотрите, вот что они вписали в паспорт «Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец…» – ну да это вам безразлично… – «пробыл на каторге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом. Четырнадцать за четырехкратную попытку к побегу. Человек этот весьма опасен». Ну вот! Все меня выбрасывали вон. А вы? Согласны вы пустить меня к себе? Это что, постоялый двор? Согласны вы дать мне поесть и переночевать? У вас найдется конюшня?

– Госпожа Маглуар! – сказал епископ. – Постелите чистые простыни на кровати в алькове.

Мы уже говорили о том, как повиновались епископу обе женщины.

Маглуар вышла исполнить его приказания.

Епископ обратился к незнакомцу:

– Сядьте, сударь, и погрейтесь. Сейчас мы будем ужинать, а тем временем вам приготовят постель.

Только теперь смысл сказанного дошел до сознания путника. На его лице, до этой минуты суровом и мрачном, изобразилось чрезвычайное изумление, недоверие, радость. Он забормотал, словно помешанный:

– Правда? Быть этого не может! Вы оставите меня здесь? Не выгоните вон? Меня? Каторжника? Вы называете меня «сударь», вы не говорите мне «ты». «Убирайся прочь, собака!» – вот как всегда обращаются со мной. Я был уверен, что вы тоже прогоните меня. Ведь я сразу сказал вам, кто я такой. Спасибо той славной женщине, что научила меня зайти сюда! Сейчас я буду ужинать! Кровать с матрацем и с простынями, как у всех людей! Кровать! Вот уже девятнадцать лет, как я не спал на кровати! Вы позволили мне остаться? Право, вы добрые люди! Впрочем, у меня есть деньги. Я хорошо заплачу вам. Прошу прощенья, как вас зовут, господин трактирщик? Я заплачу, сколько потребуется. Вы славный человек. Ведь вы трактирщик, правда?

– Я священник и живу в этом доме, – сказал епископ.

– Священник! – повторил пришелец. – Ох, и славный же вы священник! Вы, значит, не спросите с меня денег? Вы – кюре, не так ли? Кюре из этой вот большой церкви? Ну и дурак же я, право! Не заметил вашей скуфейки.

С этими словами он поставил в угол ранец и палку, положил в карман паспорт и сел. Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал:

– Вы добрый человек, господин кюре, вы никем не гнушаетесь. Это так хорошо – хороший священник! Вам, значит, не понадобятся мои деньги?

– Нет, – ответил епископ, – оставьте ваши деньги при себе. Сколько у вас? Кажется, вы сказали – сто девять франков?

– И пятнадцать су, – добавил путник.

– Сто девять франков пятнадцать су. А сколько же времени вы потратили, чтобы их заработать?

– Девятнадцать лет.

– Девятнадцать лет!

Епископ глубоко вздохнул.

Путник продолжал:

– У меня покуда все деньги целы. За четыре дня я истратил только двадцать пять су, которые заработал в Грассе, помогая разгружать телеги. Вы аббат, поэтому я хочу рассказать вам, что у нас на каторге был тюремный священник. А потом однажды я видел епископа. Его называют: ваше преосвященство. Это был епископ Майоркский в Марселе. Епископ – это такой кюре, который поставлен над всеми кюре. Простите меня, я, знаете, плохо рассказываю, но уж очень мне все это непонятно! Вы подумайте только – наш брат и он! Он служил обедню на тюремном дворе, там поставили престол, а на голове у епископа была какая-то остроконечная штука из чистого золота. Она так и горела на полуденном солнце. Мы стояли с трех сторон, рядами, и на нас были наведены пушки с зажженными фитилями. Нам было очень плохо видно. Он говорил что-то, но стоял слишком далеко от нас, мы ничего не слышали. Вот что такое епископ.

Не прерывая его, епископ встал и закрыл дверь, которая все это время была открыта настежь.

Вошла Маглуар. Она принесла прибор и поставила его на стол.

– Госпожа Маглуар! – сказал епископ. – Поставьте этот прибор как можно ближе к огню. – И, повернувшись к гостю, добавил: – Ночной ветер в Альпах – это очень холодный ветер. Вы, должно быть, сильно озябли, сударь?

Всякий раз, как он произносил слово сударь ласковым, серьезным и таким дружелюбным тоном, лицо пришельца озарялось радостью. Сударь для каторжника – это все равно, что стакан воды для человека, умирающего от жажды. Опозоренные жаждут уважения.

– Как тускло горит лампа! – заметил епископ.

Маглуар поняла епископа; она пошла в его спальню, взяла с камина два серебряных подсвечника и поставила их с зажженными свечами на стол.

– Господин кюре! – сказал пришелец. – Вы добрый человек. Вы не погнушались мною. Вы приютили меня у себя. Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник.

Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке.

– Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивают не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучит голод и жажда – добро пожаловать! И не благодарите меня, не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку: этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя.

Человек изумленно взглянул на него.

– Правда? Вы знали, как меня зовут?

– Да, – ответил епископ, – вас зовут «брат мой».

– Знаете что, господин кюре! – вскричал путник. – Входя к вам, я был очень голоден, но вы так добры, что сейчас я и сам уж не знаю, что со мной, – у меня как будто и голод пропал.

Епископ посмотрел на него и спросил:

– Вы очень страдали?

– Ох! Арестантская куртка, ядро, прикованное к ноге цепью, голые доски вместо постели, зной, стужа, работа, галеры, палочные удары! Двойные кандалы за ничтожную провинность. Карцер за одно слово. Даже на больном, в постели, – все равно кандалы. Собаки, и те счастливее нас! Девятнадцать лет! А всего мне сорок шесть. Теперь вот желтый паспорт. Вот и все.

– Да, – сказал епископ, – вы вышли из юдоли печали. Но послушайте. Залитое слезами лицо одного раскаявшегося грешника доставляет небесам больше радости, чем незапятнанные одежды ста праведников. Если вы вышли из этих печальных мест, затаив в душе чувство гнева и ненависти к людям, вы достойны сожаления; если же вы вынесли оттуда доброжелательность, кротость и мир, то вы лучше любого из нас.

Между тем Маглуар подала ужин: постный суп с размоченным хлебом и солью, немного свиного сала, кусок баранины, несколько смокв, творог и большой каравай ржаного хлеба. Она сама догадалась добавить к обычному меню епископа бутылку старого мовского вина.

На лице епископа внезапно появилось веселое выражение, свойственное радушным людям.

– Прошу к столу! – с живостью сказал он.

Он усадил гостя по правую руку, как делал всегда, когда у него ужинал кто-либо из посторонних. Батистина, державшаяся невозмутимо спокойно и непринужденно, заняла место слева от брата.

Епископ прочитал перед ужином молитву и, по своему обыкновению, налил всем суп. Гость жадно набросился на еду.

Вдруг епископ заметил:

– Однако у нас на столе как будто чего-то не хватает.

В самом деле, Маглуар положила на стол только три прибора, по числу сидевших за столом человек. Между тем, когда у епископа оставался ужинать гость, обычай дома требовал раскладывать на скатерти все шесть серебряных приборов – невинное тщеславие! Наивное притязание на роскошь являлось своего рода ребячеством, которое в этом гостеприимном и в то же время строгом доме, возводившем бедность в достоинство, было исполнено особого очарования.

Маглуар поняла намек; она молча вышла из комнаты, и через минуту три прибора, которые потребовал епископ, сверкали на скатерти, симметрично разложенные перед каждым из трех сотрапезников.

## Глава четвертая.
## Некоторые подробности о сыроварнях в Понтарлье

А теперь, чтобы дать представление о том, что происходило за ужином, лучше всего привести здесь отрывок из письма Батистины к г-же де Буашеврон, где с простодушной добросовестностью передана беседа каторжника с епископом:

«…Наш гость ни на кого не обращал внимания. Он ел с прожорливостью изголодавшегося человека. Однако после ужина он сказал:

– Господин кюре, служитель божий! Для меня-то все, что здесь на столе, даже слишком хорошо, но, признаться, возчики, которые не разрешили мне поужинать с ними, едят куда лучше вас.

Между нами говоря, это замечание немного меня задело. Мой брат ответил:

– У них больше работы, чем у меня.

– Нет, – возразил человек, – у них больше денег. Я вижу, вы бедны. А может быть, вы даже и не священник? Скажите, вы правда священник? Если господь бог справедлив, вы, конечно, должны быть священником.

– Бог более чем справедлив, – ответил мои брат. Затем он спросил:

– Скажите, господин Жан Вальжан, вы ведь направляетесь в Понтарлье?

– Да, по принудительному маршруту.

Кажется, этот человек выразился именно так. Потом он продолжал:

– Завтра мне надо выйти чуть свет. Тяжело ходить пешком. Ночи холодные, а дни жаркие.

– Вы идете в хорошие места, – сказал мой брат. – Во время революции семья моя была разорена. Сначала я нашел убежище в Франш – Конте и там некоторое время жил трудами своих рук. Мне очень хотелось работать. И я нашел, чем заняться. Там есть из чего выбирать. Писчебумажные фабрики, кожевенные заводы, винокурни, маслобойни, крупные часовые заводы, сталелитейные и меднолитейные заводы, не менее двадцати железоделательных заводов; из них четыре очень крупных, находятся в Лодсе, Шатильоне, Оденкуре и Бере.

По-моему, я не ошибаюсь; именно эти предприятия перечислил мой брат. Затем он прервал свою речь и обратился с вопросом ко мне.

– Сестрицам – сказал он. – Кажется, у насесть родственники в этих краях?

Я ответила:

– Прежде были, и при старом режиме один из них, господин де Люсене, служил в Понтарлье начальником городской стражи.

– Так, так, – продолжал брат, – но в девяносто третьем году родных больше не было, были только собственные руки. Я работал. В Понтарлье, куда вы направляетесь, господин Вальжан, есть одна отрасль промышленности, весьма патриархальная и просто очаровательная, сестрица. Я говорю об их сыроварнях, которые там называют «сырнями».

Тут мой брат, не забывая угощать этого человека, подробно разъяснил ему, что такое понтарлийские общественные сыроварни. Он рассказал, что они бывают двух родов: «большие сараи», принадлежащие богатым, где держат по сорок-пятьдесят коров и где за лето выделывают от семи до восьми тысяч сыров, и «артельные сыроварни», принадлежащие беднякам, – то есть крестьянам с предгорий, которые содержат коров сообща и делят доход между собой. Они сообща нанимают сыровара, который у них называется «сыроделом»; сыродел три раза в день принимает от членов артели молоко, отмечая полученное количество нарезками на бирке. Работа сыроварни начинается в конце апреля, а около середины июня сыровары выгоняют коров в горы.

За едой этот человек стал понемногу приходить в себя. Брат подливал ему отличного мовского вина, которое сам он не пьет, считая, что оно слишком дорого. Все эти подробности он рассказывал с той непринужденной веселостью, которая вам хорошо знакома, и время от времени прерывал свой рассказ, ласково обращаясь ко мне Он много раз принимался хвалить ремесло «сыродела», словно желая натолкнуть нашего гостя на мысль, что это занятие было бы для него спасением, но не советуя ему это прямо и грубо. Меня поразило вот что. Я уже сказала вам, кто был этот человек. Так вот, за исключением нескольких фраз об Иисусе Христе, сказанных сразу по приходе незнакомца, брат в продолжение всего ужина и даже всего вечера не обмолвился ни одним словом, которое могло бы напомнить этому человеку о том, кто он такой и кто такой мой брат. Казалось бы, для него, как для епископа, это был самый подходящий случай сказать небольшую проповедь и воздействовать на каторжника, чтобы навсегда запечатлеть в его душе эту встречу. Возможно, всякий другой на месте брата, увидев этого несчастного у себя в доме, счел бы уместным дать ему пищу не только телесную, но и духовную, заставил бы его выслушать слова укоризны, приправленной советами и моралью, а

может быть, уделил бы ему немного сострадания, увещевая вести в будущем более нравственную жизнь. Брат не спросил у него даже о том, откуда он родом, не спросил о его прошлом. Ведь в прошлом он и совершил проступок, а брат явно избегал всего, что могло бы вызвать это воспоминание. Говоря о горных жителях Понтарлье, «которые мирно трудятся под самыми облаками» и которые, – добавил он, – «счастливы, потому что безгрешны», брат вдруг остановился, испугавшись, как бы эти нечаянно вырвавшиеся у него слова не оскорбили нашего гостя. Хорошенько поразмыслив, я, кажется, поняла, что происходило в сердце моего брата. Очевидно, он решил, что этот человек, по имени Жан Вальжан, и без того слишком много думает о своем позоре и что наилучший способ отвлечь его от этих мыслей и внушить ему, хотя бы на миг, что он такой же человек, как все, – это обращаться с ним как со всеми. Не в этом ли и состоит правильно понятое милосердие? Не находите ли вы, моя дорогая, что в этой деликатности, которая воздерживается от нравоучений, морали и намеков, есть что-то поистине евангельское и что подлинное сострадание заключается именно в том, чтобы вовсе не касаться больного места человека, когда он страдает? Мне кажется, что такова была тайная мысль моего брата. Так или иначе, если у него и были эти мысли, то он не поделился ими ни с кем, даже со мной; весь вечер он был таким же, как всегда, и, ужиная с этим Жаном Вальжаном, вел себя точно так же, как если бы ужинал с великим библейским судией Гедеоном или с нашим приходским священником.

К концу ужина, когда мы ели смокву, кто-то постучал в дверь. Это пришла тетушка Жербо с малышом на руках. Брат поцеловал малютку в лоб, взял у меня пятнадцать су, случайно оказавшихся при мне, и отдал их тетушке Жербо. Наш гость в это время почти не обращал внимания на окружающее. Он молчал и казался очень усталым. Когда бедная старушка Жербо ушла, брат прочитал молитву, потом, обращаясь к гостю, сказал: «Вам, наверное, хочется поскорее лечь в постель?» Маглуар поспешила убрать со стола. Я поняла, что нам следует уйти, чтобы путник мог лечь спать, и мы обе поднялись наверх. Однако через минуту я послала Маглуар отнести гостю шкуру шварцвальдской косули, которая лежит в моей спальне. Ночи здесь морозные, а мех хорошо греет. Жаль только, что шкура такая старая, шерсть из нее так и лезет. Брат купил ее, когда был в Германии, в Тотлингене, у истоков Дуная; там же он купил и ножичек, ручка которого сделана из слоновой кости, я пользуюсь им во время еды.

Маглуар сейчас же вернулась, потом мы помолились богу в комнате, где обычно развешиваем белье, и разошлись по своим спальням, ничего не сказав друг другу».

## Глава пятая. Спокойствие

Пожелав сестре спокойной ночи, монсеньор Бьенвеню взял со стола один из серебряных подсвечников, другой отдал своему гостю и сказал:

– Пойдемте, сударь, я провожу вас в вашу комнату.

Путник последовал за ним.

Как известно, расположение комнат в доме было таково, что войти в молельню, где находился альков, или же выйти из нее можно было только через спальню епископа.

В ту минуту, когда они проходили через спальню, Маглуар убирала столовое серебро в шкафчик, висевший над изголовьем кровати. Она каждый вечер заканчивала этим свои хозяйственные дела, перед тем как лечь спать.

Епископ проводил гостя до самого алькова. Там его ожидала постель с чистым и свежим бельем. Путник поставил подсвечник на столик.

– Ну, желаю вам спокойной ночи, – сказал епископ. – Завтра утром, перед уходом, вы выпьете чашку парного молока от наших коров, совсем еще теплого.

– Спасибо, господин аббат, – сказал путник.

Не успел он произнести эти миролюбивые слова, как вдруг, без всякого перехода, в нем произошла странная перемена, которая привела бы в ужас обеих достойных женщин, если бы они присутствовали при этом. Даже и сейчас нам трудно отдать себе отчет, какое именно чувство руководило им в ту минуту. Что это было – предостережение или угроза? Или он просто повиновался безотчетному побуждению, которое не было понятно и ему самому? Он живо обернулся к старику, скрестил руки на груди и, устремив на своего хозяина дикий взгляд, хрипло закричал:

– Вот оно что! Так вы, значит, укладываете меня в доме, вот здесь, рядом с собой!

Помолчав, он прибавил с усмешкой, в которой таилось что-то страшное:

– Подумали ли вы о том, что делаете? Почем вы знаете, может быть, мне случалось на своем веку убить человека?

– Про то ведает милосердный бог, – ответил епископ.

Торжественно подняв руку со сложенными для крестного знаменья пальцами и шевеля губами, словно молясь или разговаривая сам с собой, он благословил путника, даже не наклонившего головы, и, не оглядываясь, пошел к себе.

Когда в алькове кто-нибудь спал, широкая саржевая занавеска, протянутая в молельне от стены к стене, закрывала престол. Проходя мимо этой занавески, епископ встал на колени и сотворил краткую молитву.

Минуту спустя он был уже в саду и шагал по дорожкам, размышляя, созерцая, отдаваясь душой и мыслью великой тайне, которую бог открывает ночью очам тех, кто бодрствует.

А путник так сильно устал, что даже не порадовался прекрасным чистым простыням. Зажав одну ноздрю и сильно дунув из другой, он погасил свечу, как это обычно делают каторжники, потом, одетый, бросился на кровать и тотчас же заснул крепким сном.

Когда епископ возвращался из сада в спальню, пробило полночь.

Через несколько минут все в домике спало.

## Глава шестая.
## Жан Вальжан

Ночью Жан Вальжан проснулся.

Жан Вальжан родился в бедной крестьянской семье, в Бри. В детстве он не учился грамоте. Возмужав, он стал подрезалыциком деревьев в Фавероле. Его мать звали Жанной Матье, отца – Жаном Вальжаном, или Влажаном, – по всей вероятности, «Влажан» было прозвище, получившееся от сокращения слов voila Jean[12].

Жан Вальжан был задумчив, но не печален, – свойство привязчивых натур. А в общем этот Жан Вальжан, по крайней мере с виду, казался существом довольно вялым и заурядным. Еще в раннем детстве он потерял отца и мать. Мать, вследствие дурного ухода, умерла от родильной горячки. Отец, тоже подрезальщик, убился насмерть, свалившись с дерева. У Жана Вальжана не осталось никого, кроме старшей сестры, вдовы с семью детьми – мальчиками и девочками. Сестра и вырастила Жана Вальжана. До тех пор, пока был жив ее муж, она кормила и содержала брата. Муж умер. Старшему из семерых малышей было восемь лет, младшему – год. Жану Вальжану минуло тогда двадцать четыре года. Он заменил детям отца и стал поддерживать вырастившую его сестру. Это совершилось само собой; Жан Вальжан угрюмо выполнял свой долг. Так, в тяжелом труде, за который он получал гроши, проходила его молодость. Никто не слыхал, чтобы у него была подружка. Ему некогда было влюбляться.

Вечером он приходил домой усталый я молча съедал свою похлебку. Пока он ел, сестра его, тетушка Жанна, частенько вылавливала из его миски лучший кусочек мяса, ломтик сала или капустный лист, чтобы отдать кому-нибудь из детей. Нагнувшись над столом, почти уткнувшись носом в похлебку, не убирая длинных волос, падавших на глаза и свисавших над миской, он продолжал есть, казалось, ничего не замечая и не мешая сестре делать свое дело.

В Фавероле, недалеко от хижины Вальжана, на противоположной стороне улички, жила фермерша Мари – Клод; малыши из семейства Вальжан, почти всегда голодные, иной раз прибегали к Мари – Клод, чтобы занять у нее, якобы от имени матери, кринку молока, которую и выпивали где-нибудь за забором или в глухом закоулке, вырывая друг у друга горшок с такой поспешностью, что молока больше проливалось им на фартучки, чем попадало в рот. Если б мать узнала об этом мошенничестве, она строго наказала бы виновных. Резкий и суровый Жан Вальжан тайком от матери уплачивал Мари – Клод за молоко, и дети избегали кары.

В сезон подрезки деревьев он зарабатывал восемнадцать су в день, а потом нанимался жнецом, поденщиком, волопасом на ферме, чернорабочим. Он делал все, что мог. Сестра его тоже работала, но нелегко прокормить семерых малышей. Нужда все сильнее зажимала в тиски злополучное семейство. Одна зима оказалась особенно тяжелой. Жан Вальжан потерял работу. Семья очутилась без хлеба. Без хлеба – в буквальном смысле. Семеро детей без хлеба!

В один воскресный вечер Мобер Изабо, владелец булочной, что на Церковной площади в Фавероле, уже собирался ложиться спать, как вдруг услышал сильный удар в защищенную решеткой стеклянную витрину своей лавчонки. Он прибежал вовремя и успел заметить руку, которая просунулась сквозь дыру, пробитую ударом кулака в решетке и в стекле. Рука схватила каравай хлеба и исчезла. Изабо бросился на улицу: вор убегал со всех ног; Изабо погнался за ним и догнал. Вор успел уже бросить хлеб, но рука у него оказалась в крови. Это был Жан Вальжан.

Дело происходило в 1795 году. Жан Вальжан был предан суду «за кражу со взломом, учиненную ночью в жилом помещении». У него оказалось ружье, – он отлично стрелял и немного промышлял браконьерством, – и это повредило ему. Против браконьеров существует вполне законное предубеждение. Браконьер, так же как контрабандист, недалеко ушел от разбойника. Однако заметим мимоходом, что между этой породой людей и отвратительным типом убийцы – горожанина лежит целая пропасть. Браконьер живет в лесу, контрабандист – в горах или на море. Города создают кровожадных людей, потому что они создают людей развращенных. Горы, море, лес создают дикарей; они развивают суровость нрава, не всегда уничтожая человечность.

Жан Вальжан был признан виновным. Статьи закона имели вполне определенный смысл. Нашей эпохе знакомы грозные мгновения: это те минуты, когда карательная система провозглашает крушение человеческой жизни. Как зловещ этот миг, когда общество отстраняется н навсегда отталкивает от себя мыслящее существо! Жан Вальжан был приговорен к пяти годам каторжных работ.

22 апреля 1796 года в Париже праздновали победу под Монтеноте, одержанную главнокомандующим Итальянской армией, которого в послании Директории к Совету пятисот от 2 флореаля IV года называют Буона – Парте; в тот самый день в Бисетре заковывали в цепи большую партию каторжников. В эту партию попал и Жан Вальжан. Бывший привратник тюрьмы – сейчас ему около девяноста лет – все еще хорошо помнит беднягу, который был прикован к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он сидел на земле, как и все остальные. Казалось, он совершенно не понимал своего положения, сознавая лишь, что оно ужасно. Быть может также, из глубины его смутных представлений – представлений бедного невежественного человека – просачивалась мысль о чрезмерной жестокости его судьбы. Когда сильными ударами молота ему заклепывали железный ошейник, он плакал; слезы душили его, мешали говорить, и только время от времени ему удавалось произнести: «Я был подрезалыциком деревьев в Фавероле». Затем, не переставая рыдать, он поднимал правую руку и опускал ее семь раз, с каждым разом все ниже, как бы прикасаясь к семи детским головкам, и по этому жесту можно было догадаться, что преступление. в чем бы оно ни состояло, было совершено для того, чтобы накормить и одеть семерых малышей.

Он был отправлен в Тулон. Его везли туда двадцать семь суток на телеге, с цепью на шее. В Тулоне на него надели красную арестантскую куртку. Все прежнее, что было когда-то его

жизнью, перестало существовать, вплоть до имени; он даже перестал быть Жаном Вальжаном, он превратился в номер 24601. Что сталось с его сестрой? Что сталось с ее семерыми детьми? Кому до этого дело? Что станется с горсточкой листьев молодого деревца, если подпилить его под самый корень?

Все та же история. Эти злополучные живые существа, эти создания божии, потерявшие отныне всякую опору, покровителя, пристанище, разбрелись куда глаза глядят – кто знает, куда именно, быть может, в разные стороны, – и потонули в холодном тумане, поглощающем одинокие существования, в печальной мгле, где постепенно, в безрадостном шествии рода человеческого, исчезает столько несчастных. Они покинули родные места. Колокольня сельской церкви забыла их; межа их собственного поля забыла их; после нескольких лет, проведенных на каторге, Жан Вальжан и сам позабыл о них. В сердце, где прежде зияла рана, теперь остался рубец. Вот и все. За то время, пока он был в Тулоне, он всего лишь раз услышал о сестре. Кажется, это случилось в конце четвертого года его заключения. Не знаю, право, каким путем дошло до него это известие. Кто-то, знавший их семью еще на родине, встретил его сестру. Она была в Париже. Она жила на бедной маленькой улице возле Сен – Сюльпис, на улице Хлебопеков. При ней оставался только один мальчуган, самый младший. Где были шестеро остальных? Возможно, что этого не знала и она сама. Каждое утро она ходила в типографию, что на Башмачной улице, дом 3, где работала фальцовщицей и брошюровщицей. На работу надо было являться к шести часам утра, в зимнее время – задолго до рассвета. В одном доме с типографией помещалась школа, и она водила в эту школу своего малыша, которому исполнилось семь лет. Но в типографию она приходила к шести часам, а школа открывалась только в семь, и ребенку нужно было ждать во дворе, пока откроется школа, целый час, – целый час зимой, на холоде, в темноте. Мальчику не позволяли входить в типографию, «потому что он мешает». Утром, проходя мимо, рабочие видели это бедное маленькое созданьице: сидя прямо на мостовой, малыш дремал, а нередко и засыпал тут же в темноте, съежившись в комочек и склонившись над своей корзинкой. Когда шел дождь, старуха привратница из жалости брала его к себе в каморку, где стояла убогая кровать, прялка да два деревянных стула, и мальчуган спал там, в уголке, прижав к себе кошку, чтобы немного согреться. В семь часов школу отпирали, и он уходил туда. Вот что сообщили Жану Вальжану. Этот рассказ явился для него как бы вспышкой молнии, окном, которое, внезапно распахнувшись и позволив ему увидеть судьбу тех, кого он любил когда-то, снова захлопнулось; больше он ничего о них не слышал – ничего и никогда. Никакие вести о них больше не приходили, он никогда больше их не видел, ему ни разу не случилось их встретить, и в дальнейшем нашем горестном повествовании о них не будет больше ни слова.

К концу четвертого года пришла очередь Жана Вальжана бежать с каторги. Товарищи помогли ему, согласно обычаям этих невеселых мест. Он бежал. Двое суток он бродил по полям, на свободе, если можно назвать свободой положение человека, которого травят, который оборачивается каждую секунду, вздрагивает от малейшего шума, боится всего: дыма из трубы, человека, проходящего мимо, залаявшей собаки, быстро скачущей лошади, боя часов на колокольне; боится дня – потому что светло, ночипотому что темно, боится дороги, тропинки, куста, боится, как бы не уснуть. К вечеру второго дня его поймали. Он не ел и не спал тридцать шесть часов. За его проступок морской суд продлил срок наказания на три года, что составило уже восемь лет. На шестой год снова пришла его очередь бежать; он воспользовался этим, но побег не удался. Его хватились на перекличке. Был дан выстрел из пушки, и ночью часовые нашли его под килем строившегося судна; он оказал сопротивление схватившей его страже. Побег и бунт. Это преступление, предусмотренное в специальном пункте кодекса законов, каралось увеличением срока на пять лет, из коих два года Жан Вальжан должен был носить двойные кандалы. Тринадцать лет. На десятом году снова настала его очередь бежать, и он снова воспользовался ею. И опять с таким же успехом. Еще три года за эту новую попытку. Шестнадцать лет. Наконец, кажется на тринадцатом году, он бежал в

последний раз, лишь для того, чтобы быть пойманным через четыре часа. За эти четыре часа отсутствия – три года. Девятнадцать лет. В октябре 1815 года его освободили, а попал он на каторгу в 1796 году за то, что разбил оконное стекло и взял каравай хлеба.

Позволим себе краткое отступление. Изучая вопросы уголовного права и осуждения именем закона, автор этой книги вторично сталкивается с кражей хлеба, как с исходной точкой крушения человеческой судьбы. Клод Ге украл хлеб; Жан Вальжан украл хлеб. Английской статистикой установлено, что в Лондоне из каждых пяти краж четыре имеют непосредственной причиной голод.

Жан Вальжан вошел в каторжную тюрьму дрожа и рыдая; он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда полный отчаянья; он вышел оттуда мрачным.

Что же произошло в этой душе?

## Глава седьмая.
## Глубина отчаянья

Попытаемся рассказать об этом.

Общество обязано вглядеться в такого рода явления, ибо оно само создает их.

Это был, как мы уже говорили, человек невежественный, но далеко не глупый. В нем светился природный ум. А несчастье, которое по-своему просветляет человека, раздуло огонек, тлевший в этой душе. Под ударами палки, в цепях, в карцере, на тяжелой работе, изнемогая под палящим солнцем, лежа на голых досках арестантских нар, он исследовал свою совесть и стал размышлять.

Он назначил себя судьей.

И прежде всего призвал к суду самого себя.

Он признал, что был осужден вовсе не невинно. Он понял, что совершил отчаянный поступок, достойный порицания, что если бы он попросил хлеба, ему, быть может, и не отказали бы; что, так или иначе, лучше было подождать, чтобы ему дали хлеба или из сострадания, или за работу; что на слова «разве может человек ждать, когда он голоден?» – нетрудно привести множество возражений: что, во-первых, такие случаи, когда умирают от голода, в прямом значении этого слова, крайне редки, а во-вторых, к несчастью или счастью, человек создан так, что он долго и много может страдать физически и нравственно, не умирая; что, следовательно, надо было запастись терпением; что так было бы лучше даже и для несчастных детей; что он, жалкий, ничтожный человек, совершил безумный поступок, схватив за горло общество и вообразив, что можно уйти от нищеты с помощью кражи; что, так или иначе, выход, который вел из нищеты в бесчестие, – дурной выход; словом, он признал себя виновным.

Затем он спросил себя:

Один ли он был виновен во всей этой роковой истории? И, прежде всего, не является ли весьма существенным то обстоятельство, что он, рабочий, остался без работы, что он, трудолюбивый человек, остался без куска хлеба? Далее, не слишком ли жестока и чрезмерна была кара для преступника, который открыто сознался в своем преступлении? Не допустило ли правосудие, столь сурово наказав его, большего злоупотребления, нежели сам преступник? Не перевешивает ли одна из чаш весов, и притом именно та, на которой лежит искупление? Не сглаживается ли чрезмерностью наказания совершенный проступок и не меняет ли этот перевес всего положения вещей, на место вины осужденного подставляя вину карающей власти, превращая виновного в жертву, должника в кредитора и привлекая закон на сторону того, кто его нарушил? И, наконец, не является ли это наказание, отягченное последовательными увеличениями срока за неоднократные попытки убежать, своего рода покушением сильного на слабого, преступлением общества по отношению к личности, – преступлением, возобновляемым каждый день, преступлением, длящимся девятнадцать лет?

Он спросил себя: вправе ли человеческое общество в равной мере подвергать всех своих членов безрассудной своей неосмотрительности, с одной стороны, и беспощадной предусмотрительности – с другой, навсегда зажимая несчастного человека в тиски между отсутствием и чрезмерностью – отсутствием работы, чрезмерностью наказания?

Он спросил себя: не чудовищно ли, что общество так обращается именно с теми из своих членов, которые по воле случая, распределяющего жизненные блага, одарены наименее щедро и, следовательно, наиболее достойны снисхождения?

Поставив и разрешив все эти вопросы, он подверг общество суду и вынес приговор.

Он приговорил его к своей ненависти.

Он возложил на общество ответственность за свою судьбу и сказал себе, что, быть может, настанет день, когда он отважится потребовать у него отчета. Он заявил себе, что между ущербом, причиненным им, и ущербом, причиненным ему, нет равновесия; наконец он пришел к выводу, что его наказание, не будучи, правда, беззаконием, все же никак не являлось и актом справедливости.

Гнев может быть безрассуден и слеп; раздражение бывает неоправданным; негодование же всегда внутренне обосновано так или иначе. Жан Вальжан был полон негодования.

К тому же человеческое общество причиняло ему только зло. Он всегда видел лишь тот разгневанный лик, который оно именует своим правосудием и открывает только тем, кого бьет. Люди всегда приближались к нему лишь затем, чтобы причинить боль. Всякое соприкосновение с ними означало для него удар. После того как он расстался со своим детством, с матерью, с сестрой, он ни разу, ни одного разу не слышал ласкового слова, не встретил дружеского взгляда. Переходя от страдания к страданию, он постепенно убедился, что жизнь-война и что в этой войне он принадлежит к числу побежденных. Единственным его оружием была ненависть. Он решил отточить это оружие на каторге и унести с собой, когда выйдет оттуда.

В Тулоне существовала школа для арестантов, которую содержали монахи-игнорантинцы и где обучали самому необходимому тех несчастных, у кого была охота учиться. Жан Вальжан принадлежал к числу последних. Он начал ходить в школу сорока лет и выучился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, укрепляя свой ум, он тем самым укрепляет и свою ненависть. В иных случаях просвещение и знания могут усилить могущество зла.

Грустно говорить об этом, но, предав суду общество, которое было творцом его несчастья, он предал суду провидение, сотворившее общество, и тоже вынес ему приговор.

Таким образом, в течение девятнадцати лет пытки и рабства эта душа одновременно возвысилась и пала. С одной стороны в нее проник свет, а с другой – тьма.

Как мы видели, Жан Вальжан не был от природы дурным человеком. Когда он попал на каторгу, он был еще добрым. Именно там он осудил общество и почувствовал, что становится злым; именно там он осудил провидение и почувствовал, что становится нечестивым.

Здесь мы не можем не остановиться для минутного размышления.

Способна ли человеческая натура измениться коренным образом, до основания? Может ли человек, которого бог создал добрым, стать злым по вине другого человека? Может ли душа под влиянием судьбы совершенно переродиться и стать злой, если судьба человека оказалась злой? Может ли сердце под гнетом неизбывного горя стать дурным и уродливым, заболев неизлечимым недугом, подобно тому как искривляется позвоночный столб под чрезмерно низким, давящим сводом? Нет ли в душе любого человека, в частности не было ли в душе Жана Вальжана той первоначальной искры, той божественной основы, которая не подвержена тлению в этом мире и бессмертна в мире ином и которую добро может развить, разжечь, воспламенить и превратить в лучезарное сияние, а зло никогда не может погасить до конца?

Это важные и неизученные вопросы, причем на последний из них любой физиолог, по всей вероятности, без колебаний ответил бы нет, если бы увидел в Тулоне Жана Вальжана,

когда тот, в часы отдыха – часы его размышлений, – сунув в карман конец цепи, чтобы он не волочился, и скрестив руки, сидел у судового ворота, мрачный, серьезный, молчаливый, задумчивый – пария закона, гневно взиравший на человека, отверженец цивилизации, сурово взиравший на небо.

Да, несомненно, – и мы вовсе не собираемся скрывать это, наблюдатель-физиолог усмотрел бы здесь неисцелимый недуг, он, возможно, пожалел бы этого больного, искалеченного по милости закона, но не сделал бы ни малейшей попытки его лечить; он отвратил бы свой взгляд от бездн, зияющих в этой душе, и, как Данте со врат ада, стер бы с этого существования слово, которое перст божий начертал на челе каждого человека, – слово надежда.

Понимал ли сам Жан Вальжан свое душевное состояние, в котором мы только что попытались разобраться, с той ясностью, с какой, быть может, представляет его себе читатель этой книги после наших разъяснений? Вполне ли отчетливо различал Жан Вальжан те элементы, из которых слагался его нравственный недуг, по мере их возникновения и формирования? Мог ли этот неотесанный и безграмотный человек отдать себе точный отчет в последовательной смене мыслей, с помощью которых он, шаг за шагом, поднимался и опускался до мрачных представлений о жизни, составлявших столько лет его умственный кругозор? Сознавал ли он все то, что произошло в его душе и что шевелилось в ней? Мы не смеем утверждать это, больше того – мы в это не верим. Жан Вальжан был чересчур невежествен, и даже после того как он испытал столько горя, многое в нем самом оставалось для него туманным. Порою он с трудом разбирался в собственных ощущениях Жан Вальжан пребывал во мраке, страдал во мраке, ненавидел во мраке; можно сказать, он заранее ненавидел все и вся. И он брел во тьме, ощупью находя путь, как слепой или как мечтатель. Однако время от времени, по внутренней или по внешней причине им овладевал порыв гнева, приступ невыносимого страдания; мгновенная вспышка молнии озаряла вдруг его душу, и в зловещем отблеске этого мертвенного света ему внезапно являлись, окружая его со всех сторон, страшные пропасти и мрачные картины будущего.

Но молния гасла, и снова воцарялся мрак. Что это было? Он не помнил.

Особенностью такого рода наказаний, в которых преобладает беспощадность, то есть нечто, притупляющее разум, является то, что они изменяют человека, мало-помалу превращая его путем какого-то бессмысленного преображения в дикого зверя, а иногда и в кровожадного зверя. Одни только попытки Жана Вальжана к бегству, последовательные и упорные, с достаточной ясностью говорят о странном воздействии закона на человеческую душу. Жан Вальжан был готов возобновлять эти попытки, такие бесполезные и безрассудные, столько раз, сколько бы ни представлялся к тому случай, ни на миг не задумываясь над их последствиями или над опытом предыдущих. Он убегал стремительно, как убегает волк, который вдруг замечает, что его клетка открыта. Инстинкт говорил ему: «Беги!» Разум сказал бы ему: «Останься!» Но перед столь сильным искушением разум исчезал, оставался голый инстинкт. Действовал только зверь. Новые жестокости, которым его подвергали после поимки, только способствовали большему его одичанию.

Не следует упускать из вида то обстоятельство, что Жан Вальжан обладал огромной физической силой; ни один из обитателей каторги не мог с ним в этом сравниться. На тяжелой работе, отдавая канат или поворачивая судовой ворот, Жан Вальжан стоил четырех человек. Иногда он поднимал и держал на спине огромные тяжести и при случае заменял орудие, которое теперь называют домкратом, а в старину называли orgueil, и от которого, кстати сказать, произошло название улицы Монторгейль, находящейся недалеко от парижских рынков. Товарищи прозвали его Жан-Домкрат. Однажды, при ремонте балкона тулонской ратуши, одна из чудесных кариатид Пюже, поддерживающих этот балкон, отошла от стены и чуть было не упала. Жан Вальжан, случайно оказавшийся при этом, поддержал кариатиду плечом и простоял так, пока не подоспели рабочие.

Гибкость была развита у него еще больше, чем сила. Некоторые из каторжников, беспрестанно мечтая о побеге, в конце концов из умения сочетать ловкость с силой создают своеобразную науку. Это наука управления мускулами. Это таинственное искусство сохранения равновесия, ежедневно совершенствуемое арестантами – людьми, которые завидуют насекомым и птицам. Вскарабкаться на отвесную стену и найти точку опоры там, где глаз едва видит крохотный выступ, было детской игрой для Жана Вальжана. Уцепившись за угол стены, напрягая мышцы спины н ног, вдавливая локти и пятки в неровности камня, он, словно по волшебству, взбирался на четвертый этаж. Иногда ему случалось таким же способом подняться до самой крыши острога.

Он мало говорил. Он никогда не смеялся. Необходимо было какое-нибудь чрезвычайное душевное потрясение, чтобы вызвать у него раз или два в год зловещий хохот-хохот каторжника, звучащий, как отголосок сатанинского смеха. Казалось, он был постоянно занят созерцанием чего-то страшного.

И действительно, он был поглощен своими мыслями.

Сквозь дымку болезненных восприятий недоразвитой натуры и угнетенного сознания он смутно ощущал, что над ним тяготеет какая-то чудовищная сила. Пытаясь оглянуться и оторвать взгляд от тусклого и унылого полумрака, в котором он прозябал, Жан Вальжан всякий раз с яростью и страхом видел, как воздвигается над ним, уступ за уступом, круто вздымаясь в недоступную для глаза высь, какая-то жуткая громада вещей, законов, предрассудков, людей и событий, – громада, чьи очертания ускользали от него, чья давящая масса преисполняла его отчаянием; пред ним была колоссальная пирамида, называемая нами цивилизацией. В этой полной движения и бесформенной груде он вдруг различал то совсем рядом с собой, то вдали, на недосягаемых высотах, какую-нибудь ярко освещенную группу или отдельную фигуру: надсмотрщика с палкой, жандарма с саблей или архиепископа в митре, а на вершине в солнечном нимбе, самого императора в сверкающей короне. И казалось ему, что этот далекий блеск не только не рассеивает, но, напротив, сгущает мрак окружающей его ночи, делает его еще более зловещим Все это – законы, предрассудки, события, люди, предметы – кружилось, проносилось над его головой, повинуясь сложному и таинственному велению, которое бог продиктовал цивилизации, и все это топтало и уничтожало его с какой-то невозмутимой жестокостью, с неумолимым равнодушием. Души, упавшие в самую глубину бедствия, несчастливцы, затерянные на самом дне земного чистилища, куда уже не заглядывает ничей глаз, люди, отринутые законом, чувствуют на себе весь гнет человеческого общества, столь грозного для тех, кто вне его, столь страшного для тех, кто внизу.

Таково было умонастроение Жана Вальжана, предававшегося своим думам. В чем же заключалась сущность его размышлений?

Если бы зерно проса, попавшее между мельничными жерновами, могло думать, у него, наверно, были бы те же мысли, что и у Жана Вальжана.

В конце концов все это – действительность, населенная призраками, фантасмагория, населенная образами из реальной жизни, – привело его в особое душевное состояние, которое почти невозможно выразить словами.

Случалось, в самый разгар своего тяжкого, мучительного труда он вдруг останавливался. Он задумывался. Его рассудок, более зрелый, чем прежде, но и более смятенный, возмущался. Все, что случилось с ним, казалось ему бессмысленным, все, что окружало его, казалось неправдоподобным. Он говорил себе: «Это сон» Он глядел на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него: надсмотрщик казался ему привидением; и вдруг это привидение ударяло его палкой.

Видимый мир почти не существовал для него. Пожалуй, можно сказать, что для Жана Вальжана не было ни солнца, ни чудесных летних дней, ни ясного неба, ни свежих апрельских зорь. Свет проникал в эту душу, словно через подвальное оконце.

Подводя итоги и делая выводы из всего вышесказанного, если только возможно сделать из этого какие-либо определенные выводы, мы устанавливаем, что за девятнадцать лет Жан Вальжан, безобидный фаверольский подрезальщик деревьев, Жан Вальжан, опасный тулонский каторжник, стал способен – таким воспитала его каторжная тюрьма – к дурным поступкам двоякого рода: во-первых, к дурному поступку, внезапному, необдуманному, чисто инстинктивному, который совершается в беспамятстве и является как бы местью за все, что он выстрадал; во-вторых, – к дурному поступку, серьезному и значительному, который обдуман заранее и основан на ложных понятиях, порожденных его несчастьем. Размышления, предшествовавшие его поступкам, проходили у него через три последовательные фазы, что имеет место только у людей определенного склада: через рассудок, через волю, через упорство. Им руководили постоянный протест, душевная горечь, глубокая обида, вызванная перенесенными несправедливостями, возмущение даже против добрых, невинных и праведных, если бы они существовали. Исходной и конечной точкой его мыслей являлась ненависть к человеческим законам – та ненависть, которая, не будучи остановлена какой-нибудь спасительной случайностью в самом начале, превращается с течением времени в ненависть к обществу, затем в ненависть к человеческому роду, затем в ненависть ко всему сущему и выражается в смутном, беспрестанном и животном стремлении вредить – все равно кому, любому живому существу. Как мы видим, паспорт не без оснований определял Жана Вальжана как весьма опасного человека.

Душа его черствела из года в год – медленно, но непрерывно. Черствое сердце – сухие глаза. К тому времени, когда Жан Вальжан уходил с каторги, исполнилось девятнадцать лет, как он пролил последнюю слезу.

## Глава восьмая.
## Море и мрак

Человек за бортом!

Ну так что же! Корабль не останавливается. Дует ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше.

Человек исчезает, потом появляется снова, погружается и снова выплывает на поверхность, он взывает о помощи, он простирает руки; никто не слышит его. Корабль, сотрясаемый ураганом, неуклонно идет вперед; матросы и пассажиры уже не видят тонущего человека; голова несчастного – лишь крошечная точка в необъятной громаде волн.

Он испускает отчаянные крики, но они замирают в глубинах вод. Каким страшным призраком кажется ему этот исчезающий парус! Человек смотрит на него, смотрит безумным, исступленным взглядом. Парус удаляется, бледнеет, уменьшается. Только что человек был еще там, на корабле, он был членом экипажа, он ходил по палубе вместе с другими, он имел право на свою долю воздуха и солнца, он принадлежал к числу живых. Что же такое произошло с ним? Он поскользнулся, упал – все кончено.

Он в чудовищной пучине. Под ним все уплывает, все рушится. Волны, изодранные и растрепанные ветром, держат его в своих ужасных объятиях; бездна уносит его в своей качке, водяные клочья валов кружатся над его головой, разнузданная чернь вод оплевывает его, невидимые провалы хотят его поглотить; погружаясь в воду, он видит, как перед ним разверзаются пропасти, полные мрака; отвратительные неведомые растения хватают его, цепляются за ноги, тянут к себе; он чувствует, как сливается с бездной, становится частицей морской пены; валы перебрасывают его друг другу, он глотает их горечь; коварный океан с остервенением топит его; беспредельность тешится его предсмертной мукой. Кажется, что вся эта масса воды – воплощенная ненависть.

И все же он борется.

Он пытается сопротивляться, держаться на поверхности, он делает усилие, он плывет. Он – это жалкое создание, силы которого истощаются так быстро, – сражается с неистощимым.

А где же корабль? Там, вдали. Едва заметный в бледном сумраке горизонта.

На человека налетают шквалы; его душит пена. Он поднимает глаза – над ним только свинцовые тучи. Расставаясь с жизнью, он присутствует при неописуемом бесновании моря. И он – жертва этого безумия. Он слышит чуждые человеку звуки, которые, кажется, исходят из какого-то потустороннего, страшного мира.

Подобно ангелам, реющим над человеческой скорбью, в облаках реют птицы, но чем могут они помочь ему? Они летают, поют, парят в небе, а он – он хрипит, задыхаясь, в предсмертной муке.

Он чувствует себя погребенным меж двух бесконечностей-меж океаном и небом: первый-могила, второе – саван.

Надвигается ночь, он плывет уже столько часов, силы его приходят к концу; этот корабль, этот далекий маяк, где были люди, скрылся из виду; он один среди гигантской темной пучины; он тонет, коченеет, корчится, он чувствует под водой движение бесформенных чудищ, невидимого; он зовет на помощь.

Людей больше нет. Где же бог?

Он зовет: «Спасите! Спасите!» Он зовет и зовет.

Ничего не видно на горизонте. Ничего – в небе.

Он взывает к пространству, к волне, к водоросли, к подводному камню – они глухи. Он молит бурю, но безучастная буря послушна лишь бесконечности.

Вокруг него мрак, туман, одиночество, бессмысленное буйство, бесконечная рябь свирепых вод. В нем самом ужас и изнеможение. Под ним – омут. Ни одной точки опоры. Ему представляются мрачные скитания трупа в безграничной тьме. Смертельный холод сковывает его тело. Судорожно сжимаясь, его руки хватают пустоту. Ветры, тучи, вихри, дуновения, бесполезные звезды! Что делать? Человек, доведенный до отчаяния, отдается на волю судьбы; тот, кто устал, решается умереть. Он перестает бороться, уступает, сдается и наконец исчезает, навеки поглощенный темными глубинами океана.

О беспощадное шествие человеческого общества! Уничтожение людей и человеческих душ, оказавшихся на дороге! Океан, куда падает все, чему дает упасть закон! О зловещее исчезновение опоры! О нравственная смерть!

Море-это неумолимая социальная ночь, куда карательная система сталкивает тех, кого она осудила. Море – это безграничное страдание.

Душа, попавшая в эту бездну, может превратиться в труп. Кто воскресит ее?

## Глава девятая.
## Новые горести

Когда пришло время покинуть острог, когда в ушах Жана Вальжана прозвучали необычные слова: «Ты свободен!» – наступила неправдоподобная, неслыханная минута; луч яркого света, луч истинного света из мира живых внезапно проник в его душу. Однако этот луч не замедлил померкнуть. Жан Вальжан был ослеплен мыслью о свободе. Он поверил в новую жизнь. Но он очень скоро узнал, что такое свобода для человека с желтым паспортом.

У него било немало горьких минут. Он высчитал, что его заработок за время пребывания на каторге должен составить сто семьдесят один франк. Правда, надо добавить, что в своих расчетах он забыл о вынужденном отдыхе по воскресным и праздничным дням, который за девятнадцать лет уменьшил его капитал приблизительно на двадцать четыре франка. Так или иначе, но вследствие всевозможных вычетов его заработок свелся к сумме в сто девять франков пятнадцать су, которая и была ему отсчитана при выходе из каторжной тюрьмы.

Он ничего в этом не понял и счел себя обиженным. Попросту говоря – обворованным.

На другой день после освобождения, проходя через Грасс, он увидел перед воротами винокуренного завода людей, выгружавших бутыли. Он предложил свои услуги. Работа была спешная, и его взяли. Он принялся за дело. Он был сообразителен, силен и ловок, он старался изо всех сил; хозяин, видимо, был доволен им. В то время как он работал, проходивший мимо жандарм заметил его и потребовал у него документы. Пришлось показать желтый паспорт. Затем Жан Вальжан снова взялся за работу. Перед этим он спросил у одного из рабочих, сколько они получают в день; тот ответил: «Тридцать су». Наутро ему предстоял дальнейший путь, и вечером он попросил хозяина рассчитаться с ним. Не говоря ни слова, тот вручил ему пятнадцать су. Жан Вальжаи запротестовал. Ему сказали: «Хватит с тебя и этого». Он продолжал настаивать. Посмотрев на него в упор, хозяин сказал ему: «Смотри, как бы на тебя снова не надели колодки».

Он опять счел себя обворованным.

Общество, государство, уменьшив сумму его заработка, обокрало его оптом. Теперь настала очередь отдельных лиц, которые обкрадывали его в розницу.

Освобождение – это еще не свобода. Выйти из острога – еще не значит уйти от осуждения.

Вот что произошло с Жаном Вальжаном в Грассе. Мы уже видели, как его встретили в Дине.

## Глава десятая.
## Человек проснулся

Итак, когда на соборной колокольне пробило два часа пополуночи, Жан Вальжан проснулся.

Он проснулся оттого, что постель его была слишком мягка. Почти двадцать лет он не спал в постели, и хотя он лег не раздеваясь, все же это ощущение было слишком ново, и оно нарушило его сон.

Он проспал более четырех часов. Усталость его прошла. Он не привык отдыхать подолгу.

Открыв глаза, он с минуту всматривался в окружавшую его темноту, потом опять закрыл их, пытаясь уснуть.

Если у человека было много разных впечатлений днем, если множество мыслей тревожит его ум, он легко засыпает с вечера, но когда проснется, ему уже не уснуть. Первый сон приходит легче, чем второй. Так было и с Жаном Вальжаном. Он больше не мог уснуть и принялся размышлять.

Он находился в том состоянии духа, когда все мысли и представления бывают смутны. В голове у него был хаос. Воспоминания о прошлом и только что пережитом беспорядочно носились в его мозгу и, сталкиваясь друг с другом, теряли форму, бесконечно разрастались и вдруг исчезали, как во взбаламученной, мутной воде. У него возникало и исчезало множество мыслей, но одна из них упрямо возвращалась, вытесняя все остальные. Эту мысль мы сейчас откроем: он заметил шесть серебряных приборов и разливательную ложку, которые Маглуар разложила за ужином на столе.

Эти шесть приборов не давали ему покоя. Они были здесь… В нескольких шагах… Когда он проходил через соседнюю комнату, направляясь в ту, где находился сейчас, старуха-служанка убирала их в шкафчик у изголовья кровати… Он отлично заметит этот шкафчик… С правой стороны, если идти из столовой… Они были тяжелые и притом из старинного серебра… За них, вместе с разливательной ложкой, можно было выручить по меньшей мере двести франков… Вдвое больше того, что он заработал за девятнадцать лет… Правда, он заработал бы больше, если бы начальство не «обокрало» его.

Целый час он провел в колебаниях и сомнениях, во внутренней борьбе. Пробило три. Он снова открыл глаза, приподнялся на постели, протянул руку и нащупал ранец, который,

ложась, бросил в угол алькова; затем свесил ноги, коснулся ими пола и сел, почти не сознавая, как это произошло.

Некоторое время он сидел задумавшись, в позе, которая, наверно, показалась бы зловещей всякому, кто разглядел бы в темноте этого человека, одиноко бодрствовавшего в уснувшем доме. Вдруг он нагнулся, снял башмаки и осторожно поставил их на циновку у кровати; потом принял прежнее положение и застыл на месте, снова погрузившись в задумчивость.

Среди этого страшного раздумья мысль, о которой мы уже говорили, ни на минуту не оставляла его в покое; она появлялась, исчезала и появлялась снова, она точно давила его; и потом, сам не зная почему, он не переставал думать об одном каторжнике, по имени Бреве, с которым вместе отбывал наказание и у которого штаны держались на одной вязаной подтяжке. Шахматный рисунок этой подтяжки с механической назойливостью мелькал перед его глазами.

Он сидел все в той же позе и, может быть, просидел бы так до рассвета, если бы часы не пробили один раз: четверть или половину. Этот звук словно сказал ему: «Иди!»

Он встал, в нерешительности постоял еще несколько секунд и прислушался: все в доме молчало; тогда мелкими шагами он направился прямо к окну, смутно белевшему перед ним. Ночь была не очень темная; светила полная луна, которую временами заслоняли широкие тучи, гонимые ветром. Снаружи происходила постоянная смена тени и света, затмение и прояснение, а в комнате царил полумрак. Этот полумрак, достаточный для того, чтобы различать предметы, и разрежавшийся, когда луна показывалась из-за облаков, походил на сизую дымку, проникающую в подвал через отдушину, мимо которой снуют прохожие. Подойдя к окну, Жан Вальжан внимательно осмотрел его. Оно было без решеток, выходило в сад и, по местному обыкновению, запиралось только на задвижку. Он открыл окно, холодная резкая струя воздуха ворвалась в комнату, и он тут же захлопнул его. Он окинул сад тем испытующим взглядом, который не рассматривает, а скорее изучает. Сад окружала невысокая белая стена, через которую легко было перелезть. За ней, в отдалении Жан Вальжан различил верхушки деревьев, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга; это свидетельствовало о том, что там была аллея бульвара или обсаженный деревьями переулок.

Покончив с этим осмотром и, по-видимому, приняв окончательное решение, он направился к алькову, взял свой ранец, пошарил в нем, вынул какой-то предмет, положил его на кровать, засунул башмаки в карман, снова застегнул ранец, вскинул его на спину, надел фуражку, надвинув козырек на глаза, ощупью достал палку и поставил ее на окно, прислонив к косяку, затем снова подошел к кровати и без колебаний схватил тот предмет, который оставил на ней. Он походил на железный брус, заостренный с одного конца, как копье.

Было бы трудно определить в темноте, для чего мог предназначаться этот кусок железа. Возможно, это был какой-нибудь рабочий инструмент. А возможно – дубинка.

Днем каждому стало бы ясно, что это попросту подсвечник рудокопа. В то время каторжников посылали иногда в каменоломни, находившиеся на высоких холмах в окрестностях Тулона, и давали орудия рудокопов. Подсвечник рудокопа сделан из массивного железа и заканчивается острием, которое вонзают в горную породу.

Он взял подсвечник в правую руку и, затаив дыхание, неслышным шагом направился к двери соседней комнаты, как известно, служившей епископу спальней. Подойдя к этой двери, он нашел ее полуоткрытой. Епископ даже не затворил ее как следует.

## Глава одиннадцатая. Что он делает

Жан Вальжан прислушался. Ни малейшего шума.

Он толкнул дверь.

Он толкнул ее кончиком пальца, тихонько, с осторожной и беспокойной мягкостью крадущейся в комнату кошки.

Дверь подалась едва заметным, бесшумным движением, слегка расширившим отверстие.

Он подождал секунду, потом еще раз толкнул дверь уже смелее.

Дверь продолжала бесшумно открываться. Теперь отверстие расширилось настолько, что он мог бы пройти. Однако возле двери стоял столик, который углом своим загораживал вход.

Жан Вальжан заметил это препятствие. Надо было во что бы то ни стало сделать отверстие еще шире.

Он решился и в третий раз толкнул дверь сильнее, чем прежде. На этот раз одна из петель, видимо, плохо смазанная, вдруг издала во мраке резкий и протяжный звук.

Жан Вальжан затрепетал. Скрип этой петли прозвучал в его ушах с оглушительной и грозной силой, словно трубный глас, возвещающий час Страшного суда.

Охваченный сверхъестественным ужасом, в первую минуту он готов был вообразить, что петля внезапно ожила, превратилась в страшное живое существо и залаяла, как собака, чтобы предостеречь спящих людей и разбудить весь дом.

Он остановился, дрожащий, растерянный, и тяжело переступил с носков на всю ногу. Ему казалось, что кровь стучит у него в висках, как два кузнечных молота, а дыхание вырывается из груди со свистом, словно ветер из пещеры. Он считал невероятным, чтобы ужасный вопль этой разгневанной петли не поколебал весь дом, подобно землетрясению. Дверь, которую он толкнул, подняла тревогу и позвала на помощь; сейчас проснется старик, закричат женщины, сбегутся на помощь люди; не пройдет и четверти часа, как в городе подымется шум и будет поставлена на ноги полиция. Одно мгновение он считал себя погибшим.

Он застыл на месте, превратившись в соляной столб, не смея пошевелиться. Прошло несколько минут. Дверь была отворена настежь. Он отважился заглянуть в комнату. Оттуда не доносилось ни звука. Он прислушался. В доме стояла тишина. Скрип ржавой петли не разбудил ни одной души.

Первая опасность миновала, но в душе у него продолжала бушевать страшная буря. Однако он не отступил. Он не думал об отступлении даже и в тот момент, когда счел себя погибшим. Теперь он хотел одного – поскорее покончить с тем, что задумал. Сделав шаг вперед, он вошел в комнату.

В комнате царило полное спокойствие. Можно было различить смутные, неясные очертания предметов, – днем это были просто разбросанные по столу листы бумаги, раскрытые фолианты, груды книг на табурете, кресло со сложенной на нем одеждой или налой, но теперь, в этот час, все представлялось лишь темным силуэтом или белесоватым пятном. Жан Вальжан осторожно подвигался вперед, боясь задеть за мебель. Из глубины комнаты доносилось ровное, спокойное дыхание спящего епископа.

Внезапно Жан Вальжан остановился. Он был уже у кровати. Он дошел до нее скорее, чем ожидал.

Иногда природа с помощью своих явлений и эффектов весьма своевременно, с каким-то мрачным и мудрым искусством вмешивается в наши действия, как бы желая навести нас на размышления. Уже около получаса большая туча заволакивала небо. В ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, туча, словно нарочно, разорвалась, и луч луны, проникший сквозь высокое окно, внезапно озарил бледное лицо епископа. Он мирно спал. Ночи в Нижних Альпах холодны, и он лежат в постели почти одетый; рукава коричневого шерстяного подрясника закрывали его руки до кистей. Голова его откинулась на подушку, вся поза говорила о полном и безмятежном отдыхе; рука с пастырским перстнем на пальце, сотворившая столько добрых дел и оказавшая столько милостей, свесилась с кровати. Лицо его было озарено мягким выражением удовлетворения, надежды и покоя. Оно не улыбалось,

оно сияло. Чудесное отражение невидимого света трепетало на челе спящего. Душам праведников снится небо, полное тайн.

Отблеск этого неба лежал на лице епископа.

И в то же время оно светилось изнутри, ибо это небо заключено было в нем самом. То была его совесть.

Когда лунный луч коснулся лица епископа и как бы слился с этим внутренним сиянием, вокруг его головы словно засверкал венец. Однако вся эта картина была смягчена и словно окутана не поддающимся описанию полусветом. Луна в небе, уснувшая природа, недвижный сад, мирный дом, ночной час, эта минута, это безмолвие – все вместе придавало невыразимую торжественность священному отдыху этого человека и окружало ореолом величия и покоя его седины и сомкнутые веки, его лицо, исполненное надежды и веры, его голову старика и его младенческий сон.

Что-то почти божественное чувствовалось в этом человеке, который был столь величествен, хотя сам того не ведал.

Жан Вальжан стоял в тени неподвижно, держа в руке железный подсвечник, и смотрел, ошеломленный, на этого светлого старца. Никогда в жизни не видел он ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Нравственному миру неведомо более высокое зрелище, нежели смущенная, нечистая совесть, стоящая на пороге преступного деяния и созерцающая сон праведника. Сон в уединении, в присутствии такого человека, заключал в себе нечто возвышенное, и Жан Вальжан ощущал это смутно, но с непреодолимой силой.

Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, даже он сам. Чтобы разобраться в его ощущениях, надо вообразить себе все самое жестокое пред лицом самого кроткого. В глазах его тоже трудно было прочитать что-либо определенное. Какое-то угрюмое изумление – и только. Он смотрел – вот и все. Но о чем он думал? Кто мог разгадать это? Он был явно взволнован и потрясен. Но что означало это волнение?

Его взгляд не отрывался от старца. Единственно, о чем с полной ясностью говорила его поза и выражение лица, – это о какой-то странной нерешительности. У него был такой вид, словно он колебался между двумя безднами: той, где гибнут, и той, где спасаются. Казалось, он готов был размозжить этот череп или поцеловать эту руку.

Прошло несколько секунд, его левая рука медленно поднялась, и он снял фуражку; потом, все так же медленно, рука его опустилась, и Жан Вальжан вновь предался созерцанию, держа в левой руке фуражку, а в правой – железный брусок; короткие волосы ощетинились над его нахмуренным лбом.

Под этим страшным взглядом епископ спал все тем же глубоким и мирным сном.

Освещенное луной распятие, вырисовывавшееся над камином, словно раскрывало им объятия, благословляя одного, даруя прощение другому.

Внезапно Жан Вальжан надел фуражку, затем быстро, не глядя на епископа, прошел вдоль кровати прямо к шкафчику, видневшемуся у изголовья; он поднял железный брус, видимо желая взломать замок, но ключ торчал в скважине; он открыл дверцу; первое, что он увидел, была корзинка с серебром; он взял ее, прошел большими шагами, без всяких предосторожностей и не обращая внимания на производимый им шум, через всю комнату, дошел до двери, вошел в молельню, распахнул окно, схватил палку, перешагнул через подоконник, положил серебро в ранец, бросил корзинку на землю, пробежал по саду и, с ловкостью тигра перепрыгнув через забор, скрылся.

## Глава двенадцатая.
## Епископ за работой

На следующее утро, когда солнце только еще всходило, монсеньор Бьенвеню прогуливался по саду. Вдруг к нему подбежала сильно встревоженная Маглуар.

– Ваше преосвященство, ваше преосвященство! – кричала она. – Вы не знаете, где корзинка, в которой я держу серебро?

– Знаю, – ответил епископ.

– Слава богу! – обрадовалась она. – А то я понять не могла, куда это она делась.

Епископ только что подобрал на клумбе эту корзинку. Он подал ее Маглуар.

– Вот она, – сказал он.

– То есть как? – удивилась она. – Пустая? А серебро?

– Ах, вы беспокоитесь о серебре? – проговорил епископ. – Я не знаю, где оно.

– Господи помилуй? Оно украдено! Это ваш вчерашний гость – вот кто его украл!

В мгновение ока, со всей живостью, на какую была способна эта подвижная старушка, Маглуар побежала в молельню, заглянула в альков и снова вернулась к епископу. Тот стоял нагнувшись и, вздыхая, рассматривал росток ложечника, сломанный корзинкой при падении на клумбу. Услыхав крик Маглуар, епископ выпрямился.

– Ваше преосвященство! – кричала она. – Он ушел! Серебро украдено!

В то время как она произносила эти слова, ее взгляд упал на дальний конец сада, где виднелись следы бегства. Верхняя доска забора была оторвана.

– Посмотрите! Вот где он перелез. Он спрыгнул прямо в переулок Кошфиле! Как же ему не совестно! Он украл наше серебро!

Епископ помолчал, затем поднял на Маглуар серьезный взгляд и кротко спросил:

– А где сказано, что это серебро наше?

Маглуар оцепенела от изумления. Снова наступило молчание, потом епископ продолжал:

– Госпожа Маглуар! Я был неправ, пользуясь, и так долго, этим серебром. Оно принадлежало бедным. А кто такой этот человек? Несомненно, бедняк.

– Господи Иисусе! Дело ведь не во мне и не в барышне, – возразила Маглуар. – Нам-то все равно. Все дело в вашем преосвященстве. Чем вы будете теперь кушать?

Епископ взглянул на нее с удивлением.

– Ах, вот что! Но разве не существует оловянных приборов?

Маглуар пожала плечами.

– У олова неприятный запах.

– А железных?

Маглуар сделала выразительную гримасу.

– У железных привкус.

– В таком случае, – сказал епископ, – мы обзаведемся деревянными.

Через несколько минут он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. За завтраком он весело доказывал сестре, слушавшей его молча, и Маглуар, тихонько ворчавшей, что нет ни малейшей нужды ни в ложках, ни в вилках, хотя бы и деревянных, чтобы обмакнуть кусок хлеба в чашку с молоком.

– Ведь надо же придумать! – бормотала Маглуар, суетясь у стола. – Пустить к себе такого человека! И оставить его на ночь рядом с собой! Счастье еще, что он только обокрал! Господи помилуй! Просто дрожь пробирает, как подумаешь!..

Брат с сестрой собирались уже встать из-за стола, как вдруг раздался стук в дверь.

– Войдите, – сказал епископ.

Дверь открылась. Необычная группа возбужденных людей появилась на пороге. Три человека держали за шиворот четвертого. Трое были жандармы, четвертый – Жан Вальжан.

Жандармский унтер-офицер, по-видимому, главный из трех жандармов, остановился в дверях. Затем вошел в комнату и, подойдя к епископу, отдал ему честь по-военному.

– Ваше преосвященство… – начал он.

При этих словах Жан Вальжан, стоявший с угрюмым и подавленным видом, в изумлении поднял голову.

– Преосвященство! – прошептал он. – Значит, это не простой священник…

– Молчать! – сказал жандарм. – Перед тобой его преосвященство епископ.

Между тем монсеньор Бьенвеню пошел к ним навстречу с той быстротой, какую только позволял его преклонный возраст.

– Ах, это вы! – воскликнул он, обращаясь к Жану Вальжану. – Очень рад вас видеть. Но послушайте, ведь я вам отдал и подсвечники. Они тоже серебряные, как и все остальное, и вы вполне можете получить за них франков двести. Почему же вы не захватили их вместе с вашими приборами?

Жан Вальжан широко раскрыл глаза и взглянул на почтенного епископа с таким выражением, которое не мог бы передать человеческий язык.

– Ваше преосвященство, – сказал жандармский унтер-офицер, – так значит, то, что нам сказал этот человек, – правда? Он бежал нам навстречу. У него был такой вид, словно он спасался от погони. На всякий случай мы задержали его. При нем оказалось это серебро.

– И он вам сказал, – улыбаясь, прервал епископ, – что это серебро ему подарил старичок священник, в доме которого он провел ночь? Понимаю, понимаю. А вы привели его сюда? Это недоразумение.

– В таком случае, мы можем отпустить его? – спросил унтер-офицер.

– Разумеется, – ответил епископ. Жандармы выпустили Жана Вальжана, тот невольно попятился.

– Это правда, что меня отпускают? – произнес он почти невнятно, словно во сне.

– Ну да, отпускают, не слышишь, что ли? – ответил один из жандармов.

– Друг мой! – сказал епископ. – Не забудьте перед уходом захватить ваши подсвечники. Вот они.

Он подошел к камину, взял подсвечники и протянул их Жану Вальжану. Обе женщины смотрели, не говоря ни слова, не делая ни одного движения, не бросая ни одного взгляда, которые могли бы помешать епископу.

Жан Вальжан дрожал всем телом. Машинально, с растерянным видом, он взял в руки два подсвечника.

– А теперь, – сказал епископ, – идите с миром. Между прочим, мой друг, когда вы придете ко мне в следующий раз, вам не к чему идти через сад. Вы всегда можете входить и выходить через парадную дверь. Она запирается только на щеколду, и днем и ночью.

Затем он обернулся к жандармам:

– Господа! Вы можете идти.

Жандармы вышли.

Казалось, Жан Вальжан вот-вот потеряет сознание.

Епископ подошел к нему и сказал тихим голосом:

– Не забывайте, никогда не забывайте, что вы обещали мне употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком.

Жана Вальжана, не помнившего, чтобы он что-нибудь обещал, охватило смятение. Епископ произнес эти слова, как-то особенно подчеркнув их. И торжественно продолжал:

– Жан Вальжан, брат мой! Вы более не принадлежите злу, вы принадлежите добру. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у черных мыслей и духа тьмы и передаю ее богу.

## Глава тринадцатая.
## Малыш Жерве

Жан Вальжан вышел из города с такой поспешностью, словно убегал от кого-то. Быстрым шагом он шел среди полей, сворачивая на первые попавшиеся дороги и тропинки и не замечая, что кружится на одном месте. Он проблуждал так целое утро, не евши и не ощущая голода. Он был во власти множества неведомых ему доселе ощущений. Он чувствовал, как в нем поднимается глухая злоба. На кого? – этого он не знал. Он не мог бы сказать, растроган он или унижен. Минутами на него находило какое-то странное умиление; он боролся с ним и противопоставлял ему ожесточение последних двадцати лет своей жизни. Это состояние угнетало его. Он с тревогою замечал, как рушится страшное внутреннее спокойствие, которое даровано было ему незаслуженностью его несчастья. Он спрашивал себя; что же теперь заменит его? Были мгновения, когда он предпочел бы, пожалуй, оказаться в тюрьме среди жандармов, только бы не было того, что произошло; это бы меньше взволновало его. Хотя стояла глубокая осень, кое-где в живых изгородях, мимо которых он проходил, еще попадались запоздалые цветы, и долетавший до него запах воскрешал в нем воспоминания детства. Эти воспоминания были ему почти невыносимы – ведь уже столько времени они не возникали перед ним!

Так в течение всего дня накапливались в нем мысли, которые было бы трудно выразить словами.

Когда солнце склонялось к западу и самый крошечный камешек уже отбрасывал длинную тень, Жан Вальжан сидел за кустом на широкой, бурой, пустынной равнине. На горизонте не видно было ничего, кроме Альп. Ничего – даже колокольни какой-нибудь отдаленной сельской церкви. Жан Вальжан находился приблизительно в трех лье от Диня. В нескольких шагах от куста вилась тропинка, пересекавшая равнину.

Погруженный в мрачное раздумье, которое придавало еще более устрашающий вид его лохмотьям в глазах случайного прохожего, Жан Вальжан вдруг услышал веселую песенку.

Он обернулся и увидел на тропинке маленького савояра, мальчика лет десяти; мальчик, напевая, приближался к нему с небольшой шарманкой через плечо и с сурком в ящике за спиной, – это был один из тех ласковых и веселых малышей, что бродят по свету в рваных штанишках, сквозь которые светятся голые коленки.

Не прерывая пения, мальчик время от времени останавливался и, словно играя в камешки, подкидывал на ладони мелкие монеты – должно быть, весь свой капитал. Среди медяков была одна монета в сорок су.

Мальчик остановился у куста и, не замечая Жана Вальжана, подбросил пригоршню монет, которую до сих пор ему удавалось ловко подхватывать всю целиком тыльной стороной руки.

Однако па этот раз монета в сорок су отскочила и покатилась к кустарнику, по направлению к Жану Вальжану.

Жан Вальжан наступил на нее ногой.

Мальчик, следивший за монетой взглядом, заметил это.

Он ничуть не удивился и подошел прямо к Жану Вальжану.

Место было безлюдное. Насколько видел глаз, ни на равнине, ни на тропинке не было ни души. Только еле слышные крики перелетных птиц, летевших стаей где-то на огромной высоте, доносились сверху. Мальчик стоял спиной к солнцу, вплетавшему в его волосы золотые нити и заливавшему кроваво-красным светом свирепое лицо Жана Вальжана.

– Сударь! – сказал маленький савояр с той детской доверчивостью, которая слагается из неведения и невинности. – А моя монета?

– Как тебя зовут? – спросил Жан Вальжан.

– Малыш Жерве, сударь.

– Убирайся прочь! – сказал Жан Вальжан.

– Сударь! – повторил мальчик. – Отдайте мне мою монету.

Жан Вальжан опустил голову и ничего не ответил.

– Мою монету, сударь! – еще раз повторил мальчик.

Жан Вальжан по-прежнему смотрел в землю.

– Мою монету! – кричал ребенок. – Мою светленькую монетку! Мои деньги!

Жан Вальжан, казалось, не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы и начал трясти. В то же время он силился сдвинуть с места толстый, подкованный железом башмак, наступивший на его сокровище.

– Я хочу мою монету! Мою монету в сорок су!

Мальчик плакал. Жан Вальжан поднял голову. Он все еще сидел, не трогаясь с места. Глаза его были тусклы. Он взглянул на мальчика как бы с удивлением, потом протянул руку к палке и крикнул грозным голосом:

– Кто это?

– Я, сударь, – ответил ребенок. – Малыш Жерве! Я! Я! Отдайте мне, пожалуйста, мои сорок су! Отодвиньте ногу, сударь, пожалуйста, отодвиньте!

И вдруг, внезапно рассердившись, этот ребенок, этот мальчуган заговорил почти угрожающим тоном:

– Вот что! Отодвинете вы, наконец, ногу? Говорят вам, отодвиньте ногу!

– Ах, ты все еще здесь! – вскричал Жан Вальжан и, вскочив, вытянулся во весь рост; не сдвигая ноги с серебряной монеты, он прибавил:

– Уходи, покуда цел!

Мальчуган с испугом посмотрел на него и задрожал всем телом; несколько секунд он пробыл в оцепенении, а затем пустился бежать со всех ног, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть.

Однако, отбежав на некоторое расстояние, он до того запыхался, что вынужден был остановиться, и Жан Вальжан, погруженный в раздумье, услышал его плач.

Несколько мгновений спустя ребенок исчез.

Солнце село.

Вокруг Жана Вальжана становилось все темнее. Целый день он ничего не ел; возможно, у него была лихорадка.

Он продолжал стоять на одном месте, не меняя положения с той самой минуты, как убежал мальчик. Прерывистое, неровное дыхание приподнимало его грудь. Его взгляд, устремленный на десять-двенадцать шагов вперед, казалось, с глубоким вниманием изучал очертания синего фаянсового черепка, валявшегося в траве. Вдруг он вздрогнул: только сейчас он почувствовал вечерний холод.

Он глубже надвинул на лоб фуражку, машинально запахнул и застегнул блузу, сделал шаг вперед и нагнулся, чтобы поднять с земли палку.

Тут он заметил монету в сорок су, наполовину вдавленную его ногой в землю и блестевшие между камнями.

Его передернуло, точно от действия гальванического тока. «Что это?» – пробормотал он сквозь зубы. Он отступил шага на три, потом остановился, не в силах оторвать взгляд от светлого кружочка, который только что топтала его нога и который теперь блестел в темноте, словно чей-то открытый, пристально устремленный на него глаз.

Так прошло несколько минут. Вдруг он бросился к серебряной монете, схватил ее, выпрямился, окинул взором равнину и, весь дрожа, стал озираться по сторонам, как испуганный дикий зверь, который ищет убежища.

Он ничего не увидел. Надвигалась ночь, равнина дышала холодом, очертания ее расплылись в густом фиолетовом тумане, поднявшемся из сумеречной мглы.

Он глубоко вздохнул и быстро зашагал в ту сторону, где скрылся ребенок. Пройдя шагов тридцать, он остановился, осмотрелся и опять ничего не увидел.

Тогда он закричал изо всей силы:

– Малыш Жерве! Малыш Жерве!

Потом замолчал и прислушался.

Никакого ответа.

Поле было пустынно и угрюмо. Бесконечность обступала Жана Вальжана со всех сторон. Вокруг был лишь мрак, в котором терялся его взгляд, и молчание, в котором терялся его голос.

Дул ледяной ветер, сообщая всему окружающему какую-то зловещую жизнь. Маленькие деревца с невероятной яростью потрясали своими тощими ветвями. Казалось, они кому-то угрожают, кого-то преследуют.

Он снова зашагал, потом пустился бежать; время от времени он останавливался и кричал в этой пустыне громким и в то же время жалобным голосом:

– Малыш Жерве! Малыш Жерве!

Если бы даже мальчик и услышал его, он бы, конечно, испугался и поостерегся показаться ему на глаза. Но, по всей вероятности, мальчик был уже далеко.

Дорогой Жан Вальжан встретил ехавшего верхом священника. Он подошел к нему и спросил:

– Господин кюре! Вы не видели тут мальчика?

– Нет, – ответил священник.

– Мальчика по имени Малыш Жерве?

– Я никого не видел.

Жан Вальжан вынул из своего мешка две пятифранковые монеты и протянул священнику.

– Господин кюре! Вот вам на бедных. Господин кюре! Это мальчуган лет около десяти. Кажется, он был с шарманкой и сурком. Он прошел здесь… Знаете, он из этих, из савояров.

– Я его не видел.

– Малыша Жерве? А он не из ближнего села? Вы не знаете? Можете сказать?

– Если он такой, как вы его описали, друг мой, то это, наверное, чужестранец. Они иногда бывают в наших краях, но никто их не знает.

Жан Вальжан поспешно вынул еще две пятифранковые монеты и отдал священнику.

– На ваших бедных, – сказал он.

И вдруг добавил в каком-то исступлении:

– Господин аббат, велите меня арестовать. Я вор.

Священник испугался; он стегнул лошадь и ускакал.

Жан Вальжан побежал в ту же сторону. Он пробежал довольно большое расстояние, смотрел, звал, кричал, но никого больше не встретил. Раза три он сворачивал с тропинки, бросаясь ко всему, что издали напоминало ему маленькое существо, лежащее на земле или присевшее на корточки: это оказывалось кустиком или камнем почти вровень с землей. Наконец, подойдя к месту, где скрещивались три тропинки, Жан Вальжан остановился. Луна уже взошла. Он еще раз вгляделся в даль и прокричал в последний раз:

– Малыш Жерве! Малыш Жерве! Малыш Жерве! Его крик замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал еще раз: «Малыш Жерве!», но уже слабым и почти невнятным голосом. Это было его последнее усилие; ноги у него вдруг подкосились, словно какая-то невидимая сила внезапно придавила его всей тяжестью его нечистой совести; в полном изнеможении он опустился на большой камень и, вцепившись руками в волосы, спрятав лицо в колени, воскликнул:

– Я негодяй!

Сердце его не выдержало, и он заплакал. Он плакал в первый раз за девятнадцать лет.

Когда Жан Вальжан вышел от епископа, он отрешился – мы это видели – от всего, что занимало его мысли до тех пор. Он не мог отдать себе ясный отчет в том, что происходило в его душе. Он внутренне противился христианскому поступку и кротким словам старика: «Вы обещали мне стать честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее богу». Слова эти преследовали его неотступно. Он противопоставлял этой ангельской кротости гордость, живущую внутри нас, как оплот зла. Он смутно сознавал, что милость священника была самым сильным наступлением, самым грозным натиском, какому он когда-либо подвергался; что если он устоит перед этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда, а если уступит, то придется ему отказаться от той ненависти, которою в течение стольких лет наполняли его душу поступки других людей и которая давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз надо было либо победить, либо остаться побежденным, и что сейчас завязалась борьба, титаническая и решительная борьба между его злобой и добротой того человека.

Вглядываясь в открывшиеся ему духовные просветы, он шел, как пьяный. Было ли у него отчетливое представление о том, какие последствия могло иметь для него происшествие в Дине, когда он шел, угрюмо смотря вперед? Слышал ли он таинственные звуки, которые предупреждают или преследуют нас в иные минуты нашей жизни? Шепнул ли ему на ухо чей-то голос, что он только что пережил торжественный час, решивший его судьбу; что отныне для него уже не может быть середины, и если он не станет лучшим из людей, то станет худшим из них; что теперь он должен в известном смысле либо подняться выше епископа, либо пасть ниже каторжника; что если он хочет стать добрым, он должен сделаться ангелом, если же он хочет остаться злым, ему надо превратиться в чудовище?

Здесь нужно еще раз задать себе вопросы, которые мы уже задавали себе ранее: отразилась ли в его сознании хотя бы тень того, что творилось в его душе? Разумеется, несчастье совершенствует ум, – мы уже говорили об этом; однако сомнительно, чтобы Жан Вальжан был в состоянии разобраться во всем том, о чем здесь упоминалось. Если все эти мысли и приходили ему в голову, то он не останавливался на них, они лишь мелькали в его мозгу, повергая его в неизъяснимую, почти болезненную тревогу. Когда он вышел из отвратительной черной ямы, носящей название каторги, на его пути появился епископ и причинил его душе такую же боль, какую мог бы причинить яркий свет глазам человека, вышедшего из мрака. Будущая жизнь, та возможная для него жизнь, которая открывалась теперь перед ним, лучезарная и чистая, вызывала в нем беспокойство и трепет. Он перестал понимать, что с ним происходит. Подобно сове, увидевшей восход солнца, каторжник был ошеломлен и как бы ослеплен сиянием добродетели.

Одно было достоверно, в одном он не сомневался: он стал другим человеком, все в нем изменилось, и уже не в его власти было уничтожить звучавшие в нем слова епископа, коснувшиеся его сердца.

Таково было его душевное состояние, когда он встретил Малыша Жерве и украл у него сорок су. Для чего? Вероятно, он и сам не мог бы объяснить; не было ли это конечным следствием и как бы последним чрезвычайным усилием злых помыслов, вынесенных им из каторги, остатком тяготения к злу, результатом того, что в статике называют «силой инерции»?

Да, это было так и в то же время, может быть, не совсем так. Скажем просто: это украл не он, не человек, – украл зверь; послушный привычке, инстинктивно, бессмысленно, он наступил ногой на монету, в то время как разум его метался, одержимый столькими идеями, необычными и новыми. Когда разум прозрел и увидел поступок зверя, Жан Вальжан с ужасом отшатнулся, испустив крик отчаяния.

Странное явление, возможное лишь в тех условиях, в каких находился он! Украв у мальчика эти деньги, он совершил то, на что уже был неспособен.

Так или иначе, это последнее злодеяние оказало на него решающее действие: оно внезапно прорезало хаос, царивший в его уме, рассеяло его и, оставив все неясное и туманное по одну сторону, а свет – по другую, подействовало на его душу так же, как некоторые химические реактивы действуют на мутную смесь, осаждая один элемент и очищая другой.

Прежде всего, даже не успев еще постичь и обдумать случившееся, растерянный, словно спасаясь от погони, он бросился искать мальчика, чтобы вернуть ему деньги; потом, убедившись, что это бесполезно и невозможно, он остановился в отчаянии. В ту минуту, когда он крикнул: «Я негодяй!», он вдруг увидел себя таким, каким он был; но он уже до такой степени отрешился от самого себя, что ему показалось, будто он – только призрак, а пред ним облеченный в плоть и кровь, с палкой в руках и ранцем, полным краденого добра, за спиной, в рваной блузе, с угрюмым, решительным лицом и с множеством гнусных помыслов в душе, стоит омерзительный каторжник Жан Вальжан.

Мы уже говорили, что чрезмерность страданий сделала его до известной степени ясновидящим. И этот образ был как бы видением. Он действительно увидел перед собой Жана Вальжана, его страшное лицо. Он готов был спросить себя, кто этот человек, и человек этот внушил ему отвращение.

Его мозг находился в том напряженном и в то же время до ужаса спокойном состоянии, когда задумчивость становится настолько глубокой, что она заслоняет действительность. Человек перестает видеть предметы внешнего мира, зато все, что порождает его воображение, он рассматривает как нечто реальное, существующее вне его самого.

Итак, Жан Вальжан стоял как бы лицом к лицу с самим собой, созерцая себя; и в то же время сквозь этот образ, созданный галлюцинацией, он видел в таинстве той глубине мерцающий огонек, который он принял сначала за факел. Однако, вглядываясь более внимательно, Жан Вальжан заметил, что огонек, вспыхнувший в глубине его сознания, имеет человеческий облик и что это – епископ.

Он попеременно всматривался в двух людей, стоявших перед его сознанием, – в епископа и в Жана Вальжана. Никто, кроме первого, не мог бы смягчить душу второго. Вследствие странной особенности, присущей такого рода восторженному состоянию, по мере того как галлюцинация Жана Вальжана продолжалась, епископ все вырастал и становился все лучезарней в его глазах, а Жан Вальжан становился все меньше и незаметнее. В какое-то мгновение он превратился в тень. И вдруг исчез. Остался один епископ. И он заполнил всю душу этого несчастного дивным сиянием.

Жан Вальжан долго плакал. Он плакал горючими слезами, плакал навзрыд, слабый, как женщина, испуганный, как ребенок.

Пока он плакал, сознание его все прояснялось и, наконец, озарилось необычайным светом, чудесным и в то же время грозным. Его прежняя жизнь, первый проступок, длительное искупление, внешнее одичание и внутреннее очерствение, минута выхода на свободу, еще более радостная для него благодаря многочисленным планам мести, то, что произошло у епископа, и последнее, что он сделал, – кража монеты в сорок су у ребенка, кража тем более подлая, тем более омерзительная, что она произошла уже после того, как епископ его простил, – все это припомнилось ему и предстало перед ним с полной ясностью, но в совершенно новом освещении. Он всмотрелся в свою жизнь, и она показалась ему

безобразной; всмотрелся в свою душу – и она показалась ему чудовищной. И все же какой-то мягкий свет сиял над этой жизнью и над этой душой. Ему казалось, что он видит Сатану в лучах райского солнца.

Сколько часов проплакал он? Что сделал после того, как перестал плакать? Куда пошел? Это осталось неизвестным. Достоверным можно считать лишь то, что в эту самую ночь кучер дилижанса, ходившего в ту пору между Греноблем и Динем и прибывавшего в Динь около трех часов утра, видел, проезжая по Соборной площади, какого-то человека, который стоял на коленях прямо на мостовой и молился во мраке у дверей дома монсеньера Бьенвеню.

## Книга третья

## В 1817 году

### Глава первая.

### 1817 год

1817 год был годом, который Людовик XVIII с истинно королевским апломбом, не лишенным некоторой надменности, называл двадцать вторым годом своего царствования. То был год славы для Брюгьера де Сорсума. Все парикмахерские, уповая на возврат к пудре и к взбитым локонам, размалевали свои вывески лазурью и усеяли их геральдическими лилиями. То были наивные времена, когда граф Линч восседал каждое воскресенье в церкви Сен – Жермен – де – Пре на почетной скамье церковного старосты в парадной одежде пэра Франции, с красной орденской лентой, привлекая к себе внимание длинным носом и тем величественным выражением лица, какое свойственно человеку, совершившему славный подвиг. Славный подвиг Линча заключался в следующем: будучи мэром города Бордо, он 12 марта 1814 года сдал город герцогу Ангулемскому несколько раньше, чем следовало. За это он и получил звание пэра, В 1817 году мода нахлобучила на головы маленьких мальчиков в возрасте от четырех до шести лет высокие сафьяновые шапки с наушниками, напоминавшие остроконечные колпаки эскимосов. Французская армия была одета во все белое, на манер австрийской; полки именовались легионами; их уже не обозначали номерами, а присвоили им название департаментов. Наполеон находился на острове св. Елены, и так как Англия отказывала ему в зеленом сукне, он перелицовывал свои старые мундиры. В 1817 году Пеллегрини пел, м – ль Биготтини танцевала, царил Потье; Одри еще не успел прославиться. Г-жа Саки заступила место Фориозо. Во Франции продолжали стоять пруссаки. Делало был важной особой. Законный порядок только что утвердился, отрубив руки, а потом и голову Пленье, Карбоно и Толлерону. Обер – камергер князь Талейран и аббат Луи, которого прочили в министры финансов, смотрели друг на друга, посмеиваясь, как два авгура; оба они 14 июля 1790 года отслужили торжественную мессу в праздник Федерации, на Марсовом поле: Талейран в качестве епископа, Луи в качестве дьякона. В 1817 году в боковых аллеях этого самого Марсова поля мокли под дождем и гнили в траве громадные деревянные столбы, выкрашенные в голубой цвет, с облупившимися изображениями орлов и пчел, с которых слезла позолота. Это были колонны, два года назад поддерживавшие трибуну императора на Майском собрании. Они почернели от бивуачных костров австрийцев, построивших бараки возле Гро-Кайу. Две-три таких колонны и вовсе превратились в пепел, обогревая ручищи кайзеровцев. Майское собрание было замечательно тем, что оно происходило на Марсовом поле, и не в мае, а в июне[13]. Двумя достопримечательностями этого 1817 года были: Вольтер в издании Туке и табакерка с конституционной хартией. Последним событием, взволновавшим парижан, было преступление Дотена, который бросил голову своего брата в бассейн Цветочного рынка. В морском министерстве только что приступили к расследованию дела злополучного фрегата «Медуза», которое должно было покрыть позором Шомарея и славою – Жерико. Полковник Сельв отправился в Египет, чтобы стать там Сулейман-пашой. Дворец Терм на улице Лагарпа служил лавчонкой какому-то бочару. На площадке восьмиугольной башни особняка Клюни еще можно было видеть маленькую дощатую будку, которая во времена Людовика XVI заменяла обсерваторию Месье, астроному морского ведомства. Герцогиня Дюра в своем небесно-

голубом будуаре, обставленном табуретами с крестообразными ножками, читала кое-кому из своих друзей еще не изданную Урику. В Лувре соскабливали отовсюду букву «Н». Аустерлицкий мост отрекся от своего имени и назвался мостом Королевского сада – двойная загадка, ибо в ней одновременно скрывались два прежних названия: Аустерлицкий мост и мост Ботанического сада. Людовик XVIII, по-прежнему читая Горация и делая ногтем пометки на полях, стал, однако, задумываться над судьбой героев, которые превращались в императоров, и башмачников, которые превращались в дофинов; у него было два источника тревоги: Наполеон и Матюрен Брюно. Французская академия объявила конкурс на тему: «Счастье, доставляемое занятиями наукой». Беллар блистал официальным красноречием. Под его сенью уже созревал будущий товарищ прокурора Броэ, которому суждено было стать мишенью для сарказмов Поля – Луи Курье. Нашелся лже – Шатобриан в лице Маршанжи; лже – Маршанжи в лице д'Арленкура еще не появился. Клара Альба и Малек-Адель считались образцовыми произведениями; г-жа Коттен была провозглашена лучшим современным писателем. Французский институт вычеркнул из своих списков академика Наполеона Бонапарта. Весь Ангулем королевским указом был превращен в морское училище: ведь герцог Ангулемский был генерал-адмиралом, и, следовательно, Ангулем должен был по праву пользоваться всеми преимуществами морского порта, не то пострадал бы самый принцип монархической власти. В совете министров обсуждался вопрос о том, можно ли допускать печатанье виньеток, которые, изображая акробатические упражнения, придавали особую остроту афишам Франкони и собирали перед ними целые толпы уличных мальчишек. Автор Агнезы Паэр, добряк с квадратным лицом и бородавкой на щеке, дирижировал камерными концертами у маркизы де Сасене на улице Виль – л'Эвек. Девушки распевали Сент – Авельского отшельника, текст которого был написан Эдмоном Жеро. Журнал Желтый карлик, преобразился в Зеркало. Кафе «Ламблен» стояло за императора в пику кафе «Валуа», стоявшему за Бурбонов. Герцог Беррийский, которого где-то во мраке уже подстерегал Лувель, только что женился на сицилийской принцессе. Прошел год со смерти г-жи де Сталь. Гвардейцы встречали свистками м – ль Марс. Большие газеты стали совсем маленькими. Формат их был ограничен, зато не ограничена свобода. Газета Конституционалист была действительно конституционной. Минерва писала фамилию Chateaubriand[14] так: Chateau-brant. Буква t на конце вместо d вызывала у буржуа громкие насмешки над великим писателем. Бесчестные журналисты оскорбляли в продажных газетах изгнанников 1815 года: Давид уже не был талантлив, Арно не был умен, Карно не был честен; Сульт не выиграл ни одного сражения; Наполеон – и это правда – уже не был гениален. Ни для кого не секрет, что письма, адресованные по почте лицам, высланным за пределы Франции, очень редко до них доходят, ибо полиция считает своим священным долгом перехватывать их. Это факт далеко не новый; еще Декарт жаловался на него, находясь в изгнании. Когда Давид в одной из бельгийских газет высказал некоторое неудовольствие по поводу того, что не получает отправляемых ему писем, это показалось роялистской прессе весьма забавным, и она осыпала изгнанника насмешками. Одни говорили: «цареубийцы», а другие: «голосовавшие за казнь»; одни говорили: «враги», а другие: «союзники», одни говорили: «Наполеон», а другие: «Буонапарте», и это разделяло людей, словно глубочайшая пропасть. Все здравомыслящие люди сходились на том, что эру революций навсегда закончил король Людовик XVIII, прозванный «бессмертным автором хартии». На откосе у Нового моста, на пьедестале, ожидавшем статую Генриха IV, вырезали слово Redivivus[15]. Пьетэ подготовлял в доме э 4 на улице Терезы тайное сборище с целью упрочить монархию. Главари правой говорили в затруднительных случаях: «Надо написать Бако». Канюэль, О'Магони и де Шапделен, поощряемые старшим братом короля, уже намечали то, чему впоследствии предстояло стать «Береговым заговором». Общество «Черной булавки» тоже составляло заговор. Делавердри стакнулся с Троговым. Деказ, до некоторой степени либерал, был властителем дум. Шатобриан стоял каждое утро у своего окна в доме э 27 по улице Сен-Доминик, в панталонах со штрипками, в домашних туфлях, с шелковым платком на седой голове. Разложив перед собой целый набор инструментов дантиста, он, не отводя глаз

от зеркала и заботливо осматривая свои прекрасные зубы, за которыми тщательно ухаживал, одновременно диктовал секретарю Пилоржу различные варианты Монархии согласно хартии. Делавшая погоду критика отдавала предпочтение Лафону перед Тальма. Де Фелес подписывался буквой А; Гофман – буквой Z. Шарль Нодье писал Терезу Обер. Развод был упразднен. Лицеи назывались теперь колежами. Ученики колежей, с золотой лилией на воротничках, тузили друг друга из-за римского короля. Дворцовая тайная полиция доносила ее королевскому высочеству о том, что на портрете, выставленном повсюду, герцог Орлеанский в мундире гусарского генерал-полковника имеет более молодцеватый вид, нежели герцог Беррийский в мундире драгунского полковника, – крупная неприятность! Париж за свой счет обновил позолоту на куполе Дома инвалидов. Серьезные люди спрашивали друг у друга, как поступил бы в том или ином случае де Тренкелаг; Клозель де Монталь расходился в некоторых вопросах с Клозелем де Кусергом; де Салабери был недоволен. Автор комедий Пикар, принятый в члены Академии, куда не мог попасть автор комедий Мольер, ставил пьесу Два Филибера в Одеоне, на фронтоне которого по следам сорванных букв было еще совсем нетрудно прочитать «Театр императрицы». Одни высказывались за Кюнье де Монтарло, другие против. Фабвье был бунтовщиком; Баву был революционером. Книгопродавец Пелисье издавал Вольтера под заглавием: «Сочинения Вольтера, члена Французской академии». «Это привлечет покупателей», – говорил наивный издатель. Общее мнение гласило, что Шарль Луазон будет гением века; его уже начинала грызть зависть-признак славы, и про него сочинили стишок:

Луазон – воришка, плут,
Хоть в орла рядится он, —
Ножки сразу выдают,
Что гусенок – Луазон.[16]

Так как кардинал Феш не пожелал добровольно отказаться от своих прав на лионскую епархию, то ею теперь управлял архиепископ Амазийский де Пен. Между Швейцарией и Францией возникли трения из-за Далекой долины, начавшиеся с докладной записки капитана Дюфура, впоследствии произведенного в генералы. Еще никому не ведомый Сен-Симон вынашивал свою величественную мечту. В Академии наук восседал знаменитый Фурье, теперь уже давно забытый потомством, а где-то на чердаке ютился другой, неизвестный Фурье, память о котором никогда не исчезнет. Уже начинала всходить звезда лорда Байрона; в примечании к одному из своих стихотворений Мильвуа возвестил о нем Франции, именуя его «неким лордом Байроном». Давид д'Анже делал попытки вдохнуть жизнь в мрамор. В узком кругу семинаристов, в безлюдном тупике Фельянтинок, аббат Карон с похвалой отзывался о неизвестном священнике Фелисите Робере, впоследствии превратившемся в Ламенне. Какая-то штука, которая дымила и пыхтела на Сене, издавая при этом такие же звуки, какие издает барахтающаяся в воде собака, сновала взад и вперед под окнами Тюильри от Королевского моста к мосту Людовика XV: это была никчемная механическая игрушка, выдумка пустоголового изобретателя, утопия – словом, это был пароход. Парижане равнодушно смотрели на эту бесполезную затею. Де Воблан, преобразовавший Французский институт с помощью государственного переворота, приказов и новых назначений, явился достойным создателем нескольких академиков, но, совершив этот подвиг, сам так и не смог попасть в их число. Сен – Жерменское предместье и Марсанский павильон пожелали себе в префекты полиции Делаво по причине его благочестия. Дюпюитрен и Рекамье бранились в анатомическом театре Медицинской школы и, споря о божественном происхождении Иисуса Христа, готовы были пустить в ход кулаки. Кювье, глядя одним глазом в Книгу Бытия, а другим на природу, стремился угодить реакционным ханжам, пытаясь примирить ископаемых с библейскими текстами и заставляя мастодонтов прославлять Моисея. Франсуа де Нефшато, достойный почитатель памяти Пармантье, хлопотал о том, чтобы слово «картофель» произносилось как «пармантофель», что отнюдь не возымело успеха. Аббат Грегуар, бывший

епископ, бывший член Конвента, бывший сенатор, был низведен роялистской полемикой до степени «презренного Грегуара». Оборот речи, который мы только что употребили: «низведен до степени», Руайе – Коллар объявил неологизмом. Под третьей аркой Иенского моста еще можно было отличить, по его белизне, новый камень, которым за два года до того было заложено отверстие пробоины, сделанной Блюхером, собиравшимся взорвать мост пороговой миной. Правосудие посадило на скамью подсудимых человека, который, увидев, как граф д'Артуа вошел в Собор Парижской Богоматери, громко сказал: «Черт возьми! Как мне жаль того времени, когда Бонапарт и Тальма под руку входили на Бал дикарей!» Крамольные речи. Полгода тюрьмы. Изменники распоясались; люди, которые накануне сражения перешли на сторону врага, не скрывали полученных наград и бесстыдно разгуливали средь бела дня, цинично хвастаясь богатством и чинами; дезертиры, показавшие себя при Линьи и при Катр – Бра, обнажали свои продажные душонки и проявляли верноподданнические чувства, забыв слова, написанные на внутренней стенке общественных уборных в Англии: Please adjust your dress before leaving[17].

Вот что всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими живописными подробностями, иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, полезны, ибо для человечества нет мелких фактов, как для растительного мира нет мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и слагается облик столетий.

В этом-то 1817 году четверо юных парижан выкинули «забавную штуку».

## Глава вторая.
## Двойной квартет

Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора, четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент – это парижанин: учиться в Париже – все равно что родиться в Париже.

Эти молодые люди нечего собой не представляли; всем случалось видеть им подобных – четыре образчика «первого встречного». Не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, – восклицал романс, – Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее; первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.

Этих Оскаров звали: одного – Феликс Толомьес из Тулузы, второго – Листолье из Кагора, третьего – Фамейль из Лиможа и последнего – Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фэйворитку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину – уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.

Фэйворитка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах безмятежность-спутницу труда, а в душе налет невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую – старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели белокурая Фантина, переживавшая пору своей первой иллюзии.

Далия, Зефина и в особенности Фэйворитка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод: влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей – в Гюстава. Бедность и кокетство – дурные советчицы: первая ропщет, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате – падение, а потом камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляет блеск всего, что непорочно и неприступно. Увы, что сталось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!

У Фэйворитки, побывавшей в Англии, были две поклонницы – Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и хвастун, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фэйворитка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старуха, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» – «Нет». – «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фэйвориткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.

Причиной, которая свела Далию с Листолье, – а быть может, и не с одним Листолье, – и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. А Зефина завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».

Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.

Мудрость и целомудрие – вещи разные; доказательством этому служит то, что Фэйворитка, Зефина и Далия – разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств, – были девушками мудрыми, а Фантина – девушкой целомудренной.

«Целомудренной? – спросите вы. – А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной.

Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.

Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле – Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так

долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото – на головке, жемчуг – во рту.

Она работала, чтобы жить; потом – тоже для того, чтобы жить, – она полюбила, ибо существует и сердечный голод.

Она полюбила Толомьеса.

Для него – любовное похождение, для нее – истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишащие толпами студентов и гризеток, видели зарождение этой химеры. Фантина в лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.

Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он был умнее их всех.

Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков рентыскандально много для горы св. Женевьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой он сам говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок – колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы – жизнерадостностью, здоровье – иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря на много раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете – великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Iron по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?

Однажды Толомьес отвел в сторону трех остальных членов компании и с загадочным видом сказал им:

– Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фэйворитка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: Faccia gialluta, fa o miracolo! (Желтолицый, сотвори чудо!) – так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес! Когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» А родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, время пришло. Давайте потолкуем.

Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха вырвался из всех четырех глоток, а Блашвель вскричал:

– Вот так идея!

По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма; они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.

Следствием этого загадочного разговора явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.

### Глава третья.
### Четыре пары

В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «около – парижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двуколка

сменилась вагоном, пакетбот – пароходом; сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен – Клу. Париж 1862 года – город, предместьем которого является вся Франция.

Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались; стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фэйворитка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот щастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен – Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду!», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, поиграли в кольца на тенистой лужайке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, накупили дудок в Нельи, всюду ели яблочные пирожные и были вполне счастливы.

Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутливыми шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»?

Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фэйворитка и сказала наставительным, материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».

Все четыре девушки были умопомрачительно хороши собой. Поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фэйворитка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прижавшись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать унылыми прядями; Зефнна и Далия носили прически с локонами. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем Дельвенкур отличался от Блондо.

Блашвель, казалось, был создан для того, чтобы по воскресеньям носить на руке кашемировую шаль Фэйворитки с цветной каймой по краям.

Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновьей ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого – он курил.

«Этот Толомьес просто изумителен! – с почтительным уважением говорили о нем приятели. – Какие панталоны! Какая энергия!»

А Фантина была воплощенная радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение – сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, скрывающие тайну, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было барежевое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого – «канзу» (искаженное на канебьерский лад: quinze aout) – означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, в сочетании со шляпками, украшенными цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывавшее и в то же время что-то обнажавшее, казалось дерзкой находкой приличия; пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это случается.

Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом и тонкой лодыжкой, восхитительные руки, белая кожа с сетью голубых жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий изящный затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка сдерживаемая мечтательностью, скульптурные, изысканные формы – такова была Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе – живую душу.

Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе красоту стиля и красоту ритма. Стиль – форма идеала, ритм – его движение.

Мы уже сказали, что Фантина была воплощенная радость; Фантина была воплощенная стыдливость.

Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности н скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотым прутом. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать серьезного, почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы; нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обусловливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная очаровательная ямочка – таинственная примета целомудрия, – благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.

Любовь-грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.

## Глава четвертая.

## Толомьес так весел, что поет испанскую песенку

Весь этот день от начала до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг-то были птицы.

Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, лесом, сияли радостью жизни.

И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин, – все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, все, кроме той, которая любила «Вечно ты разыгрываешь недотрогу», – говорила ей Фэйворитка.

Таковы истинные радости. Счастливые пары – это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, – все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза, – вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится полубогом. А легкие вскрики, преследование друг друга в зеленой траве, девическая талия, которую обнимают на бегу, словечки, звучащие, как музыка, обожание, предательское звучание одного какого-нибудь слога, вишни, вырванные губами из губ, – все это искрится, проносясь мимо, в каком-то божественном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как изобразить их. «Отплытие на Киферы!» – восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятия всем влюбленным, а д'Юрфе видит среди них друидов.

После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен – Клу весь Париж; это было причудливое, прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев, но зато покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.

Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Предлагаю ослов!», и, условившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси – происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анахоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты – этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди раскачали большую сетку – качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Качая красавиц и

вызывая дружный смех и взлет юбок, складки которых восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец, – ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, – напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетавшей на веревке меж двух деревьев:

Soy de Badajoz

Amor me llama,

Toda mi alma

Es en mis ojos,

Porque ensenas

A tus piernas.[18]

Одна только Фантина отказалась качаться.

– Терпеть не могу, когда ломаются, – ядовито пробормотала Фэйворитка.

После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что из этого! «В воскресенье не устают, – говорила Фэйворитка, – по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.

Время от времени Фэйворитка восклицала:

– Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.

– Терпение, – отвечал Толомьес.

## Глава пятая.
## У бомбарды

Исчерпав все прелести русских гор, компания стала подумывать об обеде, и сияющая восьмерка, наконец-то немного утомившаяся, осела в кафе «Бомбарда»; то был открытый на Елисейских полях филиал ресторана знаменитого Бомбарды, вывеска которого красовалась в те времена на углу улицы Риволи, рядом с пассажем Делорм.

Большая, но неуютная комната с альковом и кроватью в глубине (по случаю воскресенья ресторанчик был переполнен: пришлось волей-неволей примириться с этим пристанищем); два окна, из которых сквозь листву вязов можно было созерцать набережную и реку; лучи великолепного августовского солнца, заглядывавшего в окна; два стола: на одном гора пышных букетов вперемешку со шляпами, мужскими и дамскими, за другим – четыре парочки, сидящие перед веселым нагромождением блюд, тарелок, стаканов и бутылок. Кружки пива, бутылки вина; не слишком большой порядок на столе и большой беспорядок под ним.

Ногами под столом вы громко топотали[19], – как сказал Мольер.

Так обстояло дело в половине пятого вечера с пастушеской идиллией, начавшейся в пять часов утра. Солнце уже садилось, аппетит постепенно ослабевал.

Елисейские поля, залитые солнцем и толпой, были полны света и пыли, двух составных частей славы. Мраморные кони Марли взвивались на дыбы и словно ржали в золотистой дымке. Экипажи сновали взад и вперед. Эскадрон блестящих лейб – гвардейцев с горнистом во главе ехал по авеню Нельи; белое знамя, чуть порозовевшее в лучах заката, развевалось над куполом Тюильрийского дворца. Площадь Согласия. вновь переименованную в площадь Людовика XV, заливала радостная толпа гуляющих. У многих были в петлицах серебряные лилии на белых муаровых бантах; они еще не совсем исчезли в 1817 году. Хороводы маленьких девочек, окруженные кольцом аплодирующих зрителей, распевали знаменитую в то время песенку, прославлявшую Бурбонов и предназначенную для посрамления Ста дней, с таким припевом:

Верните нам отца из Гента,

Верните нашего отца.

Жители предместий, разодетые по-праздничному, а иногда, по примеру буржуа, тоже украшенные лилиями, шумными группами разбрелись по главной площади и по площади Мариньи, играли в кольца, катались на карусели, пили; типографские ученики разгуливали в бумажных колпаках; раздавались взрывы смеха. Все кругом ликовало. То была эпоха прочного спокойствия и полнейшей безопасности для роялистов; одно из секретных и подробных донесений префекта полиции Англеса к королю относительно предместий Парижа заканчивалось следующими словами: «По зрелом размышлении, ваше величество, нет никаких оснований опасаться этих людей. Они беззаботны и ленивы, как кошки. Простой люд провинций беспокоен, парижский – ничуть. Все это маленькие человечки. Чтобы выкроить одного гренадера вашего величества, понадобилось бы не менее двух таких карликов. Нет, со стороны столичной черни не предвидится ни малейшей угрозы. Интересно отметить, что за последние пятьдесят лет эти люди стали еще ниже ростом; теперь население парижских предместий мельче, чем до революции. Они совершенно не опасны. В общем – это добродушные канальи».

Префекты полиции не считают возможным, чтобы кошка могла превратиться в льва; однако это случается, и в этом чудеснейшее свойство парижского народа. Впрочем, кошка, столь презираемая графом Англесом, пользовалась уважением в античных республиках; она являлась там воплощением свободы и, подобно тому как в Пирее возвышалось изображение бескрылой Афины, в Коринфе на городской площади стояла колоссальная бронзовая статуя кошки. Простодушная полиция эпохи Реставрации видела парижский люд в чересчур розовом свете. Это далеко не «добродушные канальи», как думают некоторые. Парижанин по отношению к французу – то же, что афинянин по отношению к греку; никто не спит слаще его, ничье легкомыслие и леность не проявляются так открыто, никто, казалось бы, не умеет так быстро забывать, как он; и все же не следует слишком полагаться на все эти свойства; он способен на любое проявление беспечности, но когда перед ним забрезжит слава, его яростный пыл преисполняет вас восторженным изумлением. Дайте ему пику – и вы увидите 10 августа, дайте ему ружье – и вы увидите Аустерлиц. Он – точка опоры Наполеона и помощник Дантона. Речь идет об отечестве – он вербуется в солдаты; речь идет о свободе – он разбирает мостовую и строит баррикады. Берегитесь! Власы его напоены гневом, словно у эпического героя; его блуза драпируется складками хламиды. Будьте осторожны! Любую улицу, хотя бы улицу Гренета, он превратит в Кавдинские ущелья. Пробьет час, и этот житель предместья вырастет, этот маленький человечек поднимется во весь рост, взгляд его станет грозным, дыханье станет подобным буре, и из этой жалкой, тщедушной груди вырвется вихрь, способный потрясти громады Альпийских гор. Именно благодаря жителю парижских предместий революция, соединившись с армией, завоевала Европу. Он поет – в этом его радость. Сообразуйте его песню с его натурой, и тогда вы увидите! До тех пор, пока его припев всего лишь Карманьола, он ниспровергает одного Людовика XVI; дайте ему запеть Марсельезу – и он освободит весь мир.

Написав на полях донесения Англеса эту заметку, возвращаемся к нашим четырем парам. Обед, как мы уже сказали, подходил к концу.

## Глава шестая, в которой все обожают друг друга

Застольные речи и любовные речи! И те и другие одинаково неуловимы: любовные речи – это облака, застольные – клубы дыма.

Фамейль и Далия что-то напевали; Толомьес пил; Зефина смеялась, Фантина улыбалась, Листолье дул в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фэйворитка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла:

– Блашвель, я обожаю тебя.

Это вызвало у Блашвеля вопрос:

– А что бы ты сделала, Фэйворитка, если б я тебя разлюбил?

– Я! – вскричала Фэйворитка. – Ах, не говори этого, даже в шутку! Если б ты разлюбил меня, я бросилась бы на тебя, искусала, исцарапала, облила бы тебя водой, велела бы арестовать тебя.

Блашвель улыбнулся с плотоядным самодовольством фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фэйворитка продолжала:

– Да я бы просто закричала: «Держи его!» Стану я с тобой церемониться, шельма ты этакая!

Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился.

Далия, не переставая что-то жевать, шепотом спросила Фэйворитку среди общего гама:

– Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля?

– Я-то? Да я его ненавижу, – так же тихо ответила Фэйворитка, снова берясь за вилку. – Он скупой. Я люблю мальчика, который живет напротив моего окна. Такой милый молодой человек! Ты не знаешь его? Сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит: «О господи, кончился мой покой! Сейчас он начнет кричать. Голубчик! Да у меня просто голова разламывается!» Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы чуть не на крышу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает двадцать су в день у одного адвоката, пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви Сен-Жак-дю-О-Па. Ах, как он мил! И до того в меня влюблен! Увидел как-то раз, что я ставлю тесто для блинчиков, – руки у меня были все в тесте, – и говорит: «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова голову потерять из-за этого мальчика. Но это ничего не значит, я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, а? Вот врунья!

Фэйворитка помолчала немного, потом продолжала:

– Знаешь, Далия, такая тоска! Все лето не переставая льет дождь, ветер меня раздражает, никак не унимается, а Блашвель ужасный скупердяй; на рынке ничего нет, один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане! Масло так дорого! И потом, погляди только, какая гадость, – мы обедаем в комнате, где стоит кровать; это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете.

## Глава седьмая.
## Мудрость Толомьеса

Одни пели, другие болтали; голоса сливались в нестройный шум. Толомьес прекратил его.

– Полно молоть вздор, да еще без передышки! – воскликнул он. – Для блестящей беседы надо обдумывать слова. Избыток импровизации понапрасну опустошает ум. Откупоренное пиво не пенится. На спешите, господа. Давайте внесем в нашу попойку величие; будем есть сосредоточенно, будем пировать медленно. Не надо торопиться Взгляните на весну: если она поторопится, то прогорит, вернее сказать – замерзнет. Чрезмерное рвение губит персиковые и абрикосовые деревья. Чрезмерное рвение убивает изящество и радость хороших обедов. Не слишком усердствуйте, господа. Гримо де ла Реньер вполне согласен на этот счет с Талейраном. Послышался глухой ропот.

– Толомьес! Оставь нас в покое, – сказал Блашвель.

– Долой тирана! – заявил Фамейль.

– Да здравствует кабак, кабацкое зелье, кабацкое веселье! – вскричал Листолье.

– На то и воскресенье, – продолжал Фамейль.

– Мы совершенно трезвы, – добавил Листолье.

– Толомьес! – произнес Блашвель. – Оцени мою канальскую выдержку.

– Да, поистине монканальмскую, – скаламбурил Толомьес.

Эта посредственная игра слов произвела действие камня, упавшего в болото. Маркиз Монкальм был знаменитый в то время роялист. Все лягушки немедленно умолкли.

– Друзья! – вскричал Толомьес тоном человека, который опять стал пользоваться авторитетом. – Придите в себя. Право же, этот каламбур, упавший с неба, не стоит того, чтобы его встретили таким оцепенением. Далеко не все, что падает оттуда, достойно восторженного почитания. Каламбур – это помет парящего в высоте разума. Шутка падает куда попало, а разум, разрешившись очередной глупостью, уносится в небесную лазурь. Белесоватое пятно, расползшееся по скале, не мешает полету кондора. Я не собираюсь оскорблять каламбур. Я уважаю его, но в меру его заслуг, – не более. Все самое возвышенное, самое прекрасное и самое привлекательное в человечестве, а может быть, и за пределами человечества, забавлялось игрой слов. Иисус Христос сочинил каламбур по поводу святого Петра, Моисей – по поводу Исаака, Эсхил – по поводу Полиника, Клеопатра – по поводу Октавия. Заметьте, что каламбур Клеопатры предшествовал битве при Акциуме и без него никто не вспомнил бы о городе Торине, что по-гречески значит – «поварешка». А теперь возвращаюсь к моему призыву. Братья мои, повторяю вам: поменьше рвения, поменьше суматохи, поменьше излишеств даже в остротах, в радостях, в веселье и в игре слов. Послушайте меня, обладающего благоразумием Амфиарая и лысиной Цезаря. Все хорошо в меру, даже словесные ребусы. Est modus in rebus[20]. Все хорошо в меру, даже обеды. Вы, сударыни, любите яблочные оладьи, так не злоупотребляйте же ими Даже яблочные оладьи требуют здравого смысла и искусства. Обжорство карает самого обжору – gula punit Gulax. Расстройство пищеварения уполномочено господом богом читать мораль желудкам. Запомните: каждая наша страсть, даже любовь, обладает своим желудком, который не следует обременять. Нужно уметь вовремя написать на всем слово finis[21], нужно обуздывать себя, когда это становится необходимым, запирать на замок свой аппетит, загонять в кутузку фантазию и отводить собственную особу в участок. Мудрец тот, кто способен в нужный момент арестовать самого себя. Доверьтесь мне хоть немного. Из того, что я, как-никак, занимался юридическими науками, – а это подтверждают сданные мною экзамены, – из того, что я знаю разницу между процессом, подлежащим разбирательству, и процессом, находящимся в производстве, из того, что я защищал по-латыни диссертацию на тему о способах казни, применявшихся в Риме во времена, когда Мунаций Деменс был квестором по делам об отцеубийстве, из того, что я, по-видимому, буду доктором права, из всего этого, мне кажется, не так уж безусловно следует, чтобы я был круглым идиотом. Я рекомендую вам умеренность в желаниях. И я прав – это так же верно, как то, что меня зовут Феликс Толомьес. Счастлив тот, кто сумел вовремя принять героическое решение и отречься, как Сулла или как Ориген!

Фэйворитка слушала, с глубоким вниманием.

– Феликс! – сказала она. – Какое красивое слово! Мне нравится это имя. Оно латинское. Оно значит – Счастливец.

Толомьес продолжал:

– Квириты, джентльмены, кавальеро, друзья мои! Хотите не чувствовать больше плотского вожделения, обходиться без брачного ложа и пренебречь любовью? Нет ничего проще! Рецепт таков: лимонад, усиленные физические упражнения, тяжелая работа; надрывайтесь, ворочайте каменные глыбы, не спите, бодрствуйте, пейте селитренные напитки и отвары из кувшинки, наслаждайтесь эмульсиями из мака и перца, приправьте все это строгой диетой, умирайте от голода, а ко всему этому прибавьте холодные ванны, пояс из трав, не

забудьте свинцовую примочку, омовения свинцовым раствором и припарки из сахарной воды с уксусом.

– Я предпочитаю женщину, – сказал Листолье.

– Женщину! – возразил Толомьес. – Берегитесь женщины! Горе тому, кто вверит себя ее изменчивому сердцу! Женщина вероломна и изворотлива. Она ненавидит змею из профессиональной зависти. Змея – это ее конкурент.

– Толомьес, ты пьян! – вскричал Блашвель.

– И еще как! – добавил Толомьес.

– В таком случае будь весел, – продолжал Блашвель.

– Согласен, – отвечал Толомьес.

Наполнив стакан, он встал.

– Слава вину! Nunc te, Bacche, canam![22] Прошу прощения у дам, – это по-испански. И вот доказательство, сеньоры: каков народ, – такова и посудина. Кастильская арроба вмещает шестнадцать литров, кантаро в Аликанте – двенадцать, альмуд Канарских островов – двадцать пять, куартин Балеарских островов – двадцать шесть, бочка царя Петра – тридцать. Да здравствует этот царь, который был великаном, и да здравствует его бочка, которая была еще больше, чем он! Сударыни, дружеский совет: не стесняйтесь путать своих соседей, сделайте одолжение! Ошибаться – неотъемлемое свойство любви. Любовное приключение создано не для того, чтобы ползать на коленях и доводить себя до отупения, словно английская служанка, которая натирает мозоли на коленках от вечного мытья полов. Оно создано не для того, и оно весело впадает в ошибки, это сладостное любовное приключение! Кто-то сказал: «Человеку свойственно ошибаться»; я же говорю: «Влюбленному свойственно ошибаться». Сударыни, я боготворю вас всех! О Зефина, о Жозефина, ваше неправильное личико было бы прелестно, если бы все в нем было на месте. У вашей хорошенькой мордочки такой вид, словно однажды кто-то нечаянно сел на нее. Что касается Фэйворитки, – о нимфы и музы! – как-то раз, переходя через канаву на улице Герен – Буассо, Блашвель увидал красивую девушку, которая показывала свои ножки в белых, туго натянутых чулках. Этот пролог понравился ему, и он влюбился. Девушка, в которую он влюбился, оказалась Фэйвориткой. О Фэйворитка, у тебя ионические губы! Некогда существовал греческий живописец по имени Эвфорион. прозванный живописцем уст. Только этот грек был бы достоин нарисовать твой рот. Слушай же! До тебя не было в мире существа, достойного его кисти. Ты создана, чтобы получить яблоко, как Венера, или чтобы съесть его, как Ева. Красота начинается с тебя. Только что я упомянул Еву, – это ты сотворила ее. Ты вполне заслуживаешь патента на изобретение хорошенькой женщины. О Фэйворитка, я больше не обращаюсь к вам на «ты», ибо перехожу от поэзии к прозе. Вы упомянули о моем имени. Это растрогало меня, но, кто бы мы ни были, не надо доверять именам. Они обманчивы. Меня зовут Феликс, но я очень несчастлив. Слова лгут. Не надо слепо верить тому, что они как будто бы обозначают. Было бы ошибкой обращаться за беарнскими пробками в Льеж, а за льежскими перчатками в Беарн. Мисс Далия. На вашем месте я бы назвал себя Розой. Цветок должен обладать ароматом, а женщина – умом. Я ничего не скажу о Фантине – это мечтательница, задумчивая, рассеянная, чувствительная; это призрак, принявший образ нимфы и облекшийся в целомудрие монахини, которая сбилась с пути и ведет жизнь гризетки, но ищет убежища в иллюзиях, которая поет, молится и созерцает лазурь, не отдавая себе ясного отчета в том, что она видит или делает; это призрак, который устремил взор в небеса и бродит по саду, где летает столько птиц, сколько не насчитаешь во всем видимом мире! О Фантина, знай: я, Толомьес, – всего лишь иллюзия. Да она и не слушает меня, эта белокурая дочь химер! Итак, все в ней свежесть, пленительность, юность, нежная утренняя прозрачность. О Фантина, дева, достойная называться маргариткой или жемчужиной, вы – сама расцветающая заря! Сударыни, второй совет: не выходите замуж! Замужество – это прививка; быть может, она окажется удачной, а быть может, и неудачной. Избегайте этого

риска. Впрочем, что я! О чем я говорю с ними? Я только даром теряю слова. Там, где речь идет о свадьбе, девушки неизлечимы; все, что можем сказать мы, мудрецы, не помешает жилетницам и башмачницам мечтать о мужьях, осыпанных бриллиантами. Ну что ж, пусть будет так, но вот что вам надо запомнить, красавицы: вы едите слишком много сахара. У вас только один недостаток, о женщины, вы вечно грызете сахар. О пол грызунов! Твои хорошенькие беленькие зубки обожают сахар. Так вот, слушайте внимательно, сахар – это соль. Всякая соль сушит. А сахар сушит сильнее, нежели все остальные соли. Он высасывает через вены жидкие элементы крови; отсюда свертывание, а затем застой крови; отсюда бугорки в легких; отсюда смерть. Вот почему сахарная болезнь граничит с чахоткой. Итак, не грызите сахар, и вы будете жить! Перехожу к мужчинам. Господа, одерживайте победы! Без зазрения совести отнимайте возлюбленных друг у друга. Сходитесь, расходитесь с дамами, как в кадрили. В любви нет дружбы. Где есть хорошенькая женщина, там открыта дорога вражде. Никакой пощады, война не на жизнь, а на смерть! Хорошенькая женщина – это casus belli[23], хорошенькая женщина – это повод для преступления. Все набеги, какие знает история, вызваны женской юбкой. Женщина по праву принадлежит мужчине. Ромул похищал сабинянок, Вильгельм – саксонок, Цезарь – римлянок. Человек, у которого кет возлюбленной, парит, как ястреб, над чужими любовницами. Я обращаю ко всем этим несчастным бобылям великолепный клич Бонапарта, который он бросил итальянской армии: «Солдаты, у вас ничего нет. У врага есть все».

Толомьес остановился.

– Передохни, Толомьес, – сказал Блашвель.

И тотчас Блашвель затянул, а Листолье и Фамейль дружно подхватили одну из тех песен с жалобным напевом, какие поют мастеровые, – песен, состоящих из первых попавшихся слов, рифмованных или даже вовсе без рифмы, столь же бессмысленных, сколь бессмысленны движения веток и шум ветра, песен, которые зарождаются в дыму трубок, улетая и исчезая вместе с ним. Вот каким куплетом ответила эта троица на речь Толомьеса:

Отцов-глупцов не в меру

Снабжали прихожане,

Чтобы Клермон – Тонеру

Стать папою в Сен – Жане.

Но кто родился шляпой,

Вовек не будет папой,

И у отцов-глупцов приход

Забрал обратно весь доход.

Однако этого оказалось недостаточно, чтобы охладить импровизаторский пыл Толомьеса; он осушил свой стакан, вновь наполнил его и продолжал:

– Долой мудрость! Забудьте все, что я вам говорил. К чему нам благомыслие, благонравие, благопристойность? Предлагаю тост за веселье! Будем веселы! Пополним наш курс юридических наук безрассудством и пищей. Да здравствует процесс судоговорения и процесс пищеварения! Пусть Юстиниан и Пирушка вступят в брак! О радость глубин! Живи, мироздание! Мир – это крупный бриллиант. Я счастлив. Птицы изумительны. Как празднично все кругом! Соловей – это бесплатный Элевью. Приветствую тебя, лето. О Люксембургский сад! О георгики, которые разыгрываются на улице Принцессы и в аллее Обсерватории! О задумчивые солдатики! О прелестные нянюшки! Они пасут детей и попутно забавляются любовью! Мне могли бы понравиться американские пампасы, не будь у меня аркад Одеона. Душа моя уносится в девственные леса и в саванны. Все прекрасно. В сиянии лучей жужжат мухи. Солнце чихнуло, и родился колибри. Поцелуй меня, Фантина!

Он ошибся и поцеловал Фэйворитку.

## Глава восьмая.
## Смерть лошади

– А ведь у Эдона лучше кормят, чем у Бомбарды! – вскричала Зефина.

– Я предпочитаю Бомбарду, – заявил Блашвель. – Здесь больше роскоши. Больше азиатчины. Посмотрите на нижний зал. Стены сверкают зеркалами.

– Лучше б у них так сверкали тарелки, – возразила Фэйворитка.

Блашвель настаивал на своем:

– Посмотрите на ножи. У Бомбарды ручки серебряные, а у Эдона костяные. А ведь серебро дороже кости.

– Только не для тех, у кого вставная челюсть из серебра, – заметил Толомьес.

Он смотрел в эту минуту на купол Дома инвалидов, видневшийся из окон ресторанчика.

Наступило молчание.

– Толомьес! – вскричал Фамейль. – Только что у нас с Листолье был спор.

– Спор – хорошая вещь, – ответил Толомьес, – но ссора лучше.

– Мы спорили о философах.

– Отлично.

– Ты кому отдаешь предпочтение – Декарту или Спинозе?

– Дезожье, – сказал Толомьес.

Объявив это безапелляционное решение, он выпил и продолжал:

– Я согласен жить. Не все еще кончено на земле, пока можно молоть вздор. Воздаю хвалу за это бессмертным богам. Мы лжем, но и смеемся. Мы утверждаем, но и сомневаемся. Это прекрасно. Неожиданности выскакивают из силлогизма. Есть еще на земле смертные, которые умеют весело отпирать и запирать потайной ящичек с парадоксами. Знайте, сударыни, вино, которое вы пьете с таким безучастным видом, – это мадера из виноградников, которые находятся на высоте трехсот семнадцати туаз над уровнем моря! Вдумайтесь в эту цифру, когда будете пить его! Триста семнадцать туаз! А господин Бомбарда, наш великолепный трактирщик, отдает вам эти триста семнадцать туаз за четыре франка пятьдесят сантимов!

Тут его опять прервал Фамейль:

– Толомьес! Твое мнение – закон. Кто твой любимый автор?

– Бер…

– …кен?

– Нет… шу.

Толомьес продолжал:

– Слава Бомбарде! Он мог бы сравниться с Мунофисом Элефантинским, если бы нашел мне алмею, и с Тигелионом Керонейским, если бы раздобыл мне гетеру. Ибо знайте, сударыни, что в Греции и в Египте тоже имелись свои Бомбарды. Нам известно это от Апулея. Увы! Всегда одно и то же, и ничего нового. Ничего неизведанного не осталось более в творениях творца! Nil sub sole novum[24], – сказал Соломон; Amor omnibus idem[25], – сказал Вергилий; медикус со своей подружкой, отправляясь в Сен-Клу, садятся в галиот точно так же, как Аспазия с Периклом восходили на одну из галер Самосской эскадры. Еще два слова. Известно ли вам, сударыни, кто такая была Аспазия? Несмотря на то, что она жила в те времена, когда женщины еще не обладали душой, у нее, однако, была душа – душа, отливавшая розой и пурпуром, жгучая, как пламя, свежая, как утренняя заря. Аспазия была существом, в котором соединялись два противоположных женских типа: распутницы и богини. В ней жили Сократ и Манон Леско. Аспазия была создана на тот случай, если бы Прометею понадобилась публичная девка.

Толомьес увлекся, и остановить его было бы нелегко, если бы в эту самую минуту на набережной не упала лошадь. От сотрясения и телега и оратор остановились как вкопанные. Это была старая тощая кляча, вполне заслуживавшая места на живодерне и тащившая тяжело нагруженную телегу. Поравнявшись с ресторанчиком Бомбарды, одер, выбившись из последних сил, отказался идти дальше. Это происшествие привлекло толпу любопытных. Едва успел негодующий возчик произнести с подобающей случаю энергией сакраментальное словцо «тварь!», подкрепив его безжалостным ударом кнута, как животное упало, с тем, чтобы уже никогда больше не подняться. Отвлеченные шумом, веселые слушатели Толомьеса посмотрели в окно, и Толомьес, воспользовавшись этим, завершил свое краткое выступление следующим меланхолическим четверостишием:

Ей был отчизной мир, где возу и карете

Равно враждебен темный рок,

И разделив судьбу всех кляч на этом свете,

Она сломилась, как цветок.

– Бедная лошадка! – вздохнула Фантина.

А Далия вскричала:

– Вот те на! Фантина, кажется, собирается оплакивать лошадей. Надо же быть такой дурой!

Тут Фэйворитка, скрестив руки и откинув голову назад, посмотрела на Толомьеса и спросила решительным тоном:

– Ну, а где же сюрприз?

– Совершенно верно. Час пробил, – ответил Толомьес. – Господа! Время удивить наших дам настало. Сударыни! Обождите нас здесь несколько минут.

– Сюрприз начинается с поцелуя, – сказал Блашвель.

– В лоб, – добавил Толомьес.

Каждый запечатлел на лбу своей возлюбленной торжественный поцелуй, потом все четверо гуськом направились к двери, таинственно приложив палец к губам.

Фэйворитка захлопала в ладоши.

– Это уже и сейчас интересно, – сказала она.

– Только не уходите надолго, – негромко проговорила Фантина. – Мы вас ждем.

## Глава девятая.
## Весел конец веселья

Оставшись одни, девицы по двое оперлись на подоконники и принялись болтать, высовываясь из окон и перебрасываясь шутками.

Они увидели, как молодые люди вышли под руку из кабачка Бомбарды, потом обернулись, с улыбкой кивнули им головой и растворились в пыльной воскресной толпе, еженедевно наводняющей Елисейские поля.

– Возвращайтесь скорее! – крикнула Фантина.

– Интересно знать, что они принесут нам? – сказала Зефина.

– Уж, конечно, что-нибудь красивое, – ответила Далия.

– Мне бы хотелось, – сказала Фэйворитка, – чтобы это было что-нибудь золотое.

Вскоре они загляделись на проносившиеся по набережной экипажи, еле различимые сквозь ветви высоких деревьев и целиком поглощавшие их внимание. Был час отправления почтовых карет и дилижансов. Почти все дорожные кареты, которые держали путь на юг и на запад, проезжали в то время через Елисейские поля. Большей частью они следовали вдоль набережной и выезжали через заставу Пасси. Ежеминутно огромная, желтая с черным, тяжело

нагруженная и громыхающая колымага, утратившая свою форму под грудой покрытых брезентом сундуков, над которыми торчало множество тут же исчезавших голов, дробя мостовую и превращая каждый булыжник в огниво, с яростью врезалась в толпу; она рассыпала искры, словно горн, окутанная вместо дыма клубами пыли. Этот содом веселил девушек. Фэйворитка восклицала:

– Ну и грохот! Можно подумать, что мчится целый ворох железных цепей.

Одна из таких повозок, чуть видная сквозь густую зелень вязов, на миг остановилась и снова понеслась дальше. Это удивило Фантину.

– Как странно! – сказала она. – Я думала, что дилижансы никогда не останавливаются по пути.

Фэйворитка пожала плечами.

– Нет, эта Фантина просто поражает меня! Я иной раз захожу к ней просто из любопытства. Ее удивляют самые обыкновенные вещи. Ну, представь себе, что я пассажир и говорю кондуктору дилижанса: «Я пойду вперед, а вы захватите меня на набережной, когда будете проезжать мимо». Кондуктор замечает меня, останавливается, и я еду дальше. Это случается сплошь и рядом. Ты, милочка, совсем не знаешь жизни.

Так прошло некоторое время. Вдруг Фэйворитка вздрогнула, словно пробуждаясь от сна.

– Что же это? – произнесла она. – А сюрприз?

– Да, да, – подхватила Далия, – где же этот знаменитый сюрприз?

– Как долго их нет! – вздохнула Фантина.

Не успела она договорить эти слова, как в комнату вошел слуга, подававший им обед. В руке он держал что-то, похожее на письмо.

– Что это? – спросила Фэйворитка.

Лакей ответил:

– Это, сударыня, записка, которую изволили оставить для вас те господа.

– Почему же вы не принесли ее сразу?

– Потому, – отвечал слуга, – что господа приказали передать ее вам не раньше, чем через час.

Фэйворитка вырвала бумагу у него из рук. Это и в самом деле было письмо.

– Странно! – сказала она. – Адреса нет. Но вот что здесь написано:

«Это и есть сюрприз».

Она быстрым движением распечатала письмо, развернула его и прочла (она умела читать):

О возлюбленные!

Знайте, что у нас есть родители. Вам не очень хорошо известно, что такое родители. В гражданском кодексе, добропорядочном и наивном, так называют отца и мать. И вот эти родители охают и вздыхают, эти старички призывают нас к себе, эти добрые мужчины и женщины называют нас блудными сыновьями; они жаждут нашего возвращения и собираются заклать тельцов в нашу честь. Будучи добродетельны, мы повинуемся им. В ту минуту, когда вы будете читать эти строки, пятерка горячих коней уже будет мчать нас к папашам и мамашам. Выражаясь высоким слогом Боссюэ, мы дали стрекача. Мы уезжаем, мы уехали. Мы несемся в объятия Лафита на крыльях Кальяра. Тулузский дилижанс спасет нас от бездны, а бездна – это вы, о прекрасные наши малютки! Мы возвращаемся в лоно общества, долга и порядка, возвращаемся рысью, со скоростью трех лье в час. Интересы отчизны требуют, чтобы мы, подобно всем остальным людям, стали префектами, отцами семейств, провинциальными судейскими чиновниками и государственными советниками. Отнеситесь же к нам с уважением.

Мы приносим себя в жертву. Постарайтесь не оплакивать нас долго и поскорее заменить нас другими. Если это письмо разорвет вам сердце, сделайте с ним то же. Прощайте!

Почти два года мы дарили вам счастье. Не поминайте же нас лихом.

Блашвель.

Фамейль.

Листолье.

Феликс Толомьес.

Post-scriptum. За обед заплачено».

Девушки переглянулись.

Фэйворитка первая нарушила молчание.

– Что ж? – воскликнула она. – Как-никак, это забавная шутка.

– Да, очень смешно, – подтвердила Зефина.

– Это, должно быть, выдумка Блашвеля, – продолжала Фэйворитка. – Если, так, я просто готова в него влюбиться. Что пропало, то в сердце запало. Вот так история!

– Нет, – сказала Далия, – это выдумка Толомьеса. Тут не может быть никакого сомнения.

– В таком случае, – возразила Фэйворитка, – смерть Блашвелю и да здравствует Толомьес!

– Да здравствует Толомьес! подхватили Далия и Зефина.

И покатились со смеху.

Фантина тоже смеялась.

Но часом позже, вернувшись в свою комнату, она заплакала. То была, как мы уже говорили, ее первая любовь; она отдалась Толомьесу, как мужу, и у бедной девушки был от него ребенок.

## Книга четвертая

## Доверить другому – значит иногда бросить на произвол судьбы

### Глава первая, в которой одна мать встречает другую

В первой четверти нашего столетия в Монфермейле, близ Парижа, стояла маленькая харчевня, ныне уже не существующая. Харчевню эту содержали люди по имени Тенардье, муж и жена. Она находилась в улочке Хлебопеков. Над дверью прямо к стене была прибита доска, а на доске было намалевано что-то похожее на человека, который нес на спине другого человека, причем на последнем красовались широкие золоченые генеральские эполеты с большими серебряными звездами; красные пятна означали кровь; остальную часть картины заполнял дым. и, по-видимому, она изображала сражение. Внизу можно было разобрать следующую надпись: «Сержант Ватерлоо».

Нет ничего обыденнее вида повозки или телеги, стоящей у дверей трактира. И тем не менее колымага, или, вернее сказать, обломок колымаги, загораживавший улицу перед харчевней «Сержант Ватерлоо», в один из весенних вечеров 1818 года, несомненно, привлек бы своей громадой внимание живописца, если бы ему случилось пройти мимо.

Это был передок телеги, какие в лесных районах обычно служат для перевозки толстых досок и бревен. Передок состоял из массивной железной оси с сердечником, на который надевалось тяжелое дышло; ось поддерживала два огромных колеса. Все вместе представляло собой нечто приземистое, давящее, бесформенное и напоминало лафет гигантской пушки. Дорожная грязь и глина облепили колеса, ободья, ступицы, ось и дышло толстым слоем замазки, напоминавшей отвратительную бурую охру, какою часто окрашивают соборы. Дерево пряталось под грязью, а железо-под ржавчиной. Под осью свисала полукругом толстая цепь,

достойная плененного Голиафа. Эта цепь вызывала представление не о тех бревнах, которые ей полагалось поддерживать при перевозках, а о мастодонтах и мамонтах, которых вполне можно было в нее впрячь, и что-то в ней напоминало о каторге, но каторге циклопической и сверхчеловеческой; казалось, она была снята с какого-то чудовища. Гомер сковал бы ею Полифема, Шекспир – Калибана.

Для чего же этот передок стоял здесь, посреди дороги? Во-первых, для того, чтобы загородить ее, а во-вторых, чтобы окончательно заржаветь. У ветхого социального строя имеется множество установлений, которые так же открыто располагаются на пути общества, не имея для этого иных оснований.

Середина цепи спускалась почти до земли; в этот вечер на ней, словно на веревочных качелях, сидели, слившись в восхитительном объятии, две девочки; одной было года два с половиной, другой – года полтора, и старшая обнимала младшую. Искусно завязанный платок предохранял их от падения. Очевидно, мать одной из девочек увидела эту страшную цепь и подумала: «Да ведь это отличная игрушка для моих малюток!»

Обе малютки, одетые довольно мило и даже изящно, излучали сияние; это были две розы, распустившиеся среди ржавого железа; глаза их светились восторгом, свежие щечки смеялись. У одной девочки волосы были русые, а у другой – темные. Их наивные личики выражали восторженное изумление; цветущий кустарник, росший рядом, овевал прохожих своим благоуханием, казалось, что оно исходит от малюток; полуторагодовалая с целомудренным бесстыдством младенчества показывала свой нежный голенький животик. Над этими милыми головками, осиянными счастьем и залитыми светом, высился гигантский передок телеги, почерневший от ржавчины, почти страшный, напоминавший своими резкими кривыми линиями и углами вход в пещеру. Сидя поблизости от них на крылечке харчевни, мать, женщина не слишком привлекательного вида, но в эту минуту вызывавшая чувство умиления, раскачивала детей с помощью длинной веревки, привязанной к цепи, и, боясь, как бы они не упали, не сводила с них глаз, в которых было животное и в то же время божественное выражение, свойственное материнству. При каждом взмахе звенья отвратительной цепи издавали пронзительный скрежет, похожий на гневный окрик; малютки были в восторге, заходящее солнце разделяло их радость, – что могло быть очаровательнее этой игры случая, превратившей цепь титанов в качели для херувимов?

Мать раскачивала детей и фальшиво напевала модный в те времена романс:

Так надо, – рыцарь говорил…

Поглощенная пением и созерцанием своих девочек, она не слышала и не видела того, что происходило на улице.

Между тем, когда она пела первый куплет романса, кто-то подошел к ней, и вдруг, почти над самым ухом, она услышала слова:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня!

Прекрасной, нежной Иможине, —

ответила мать, продолжая петь романс, и обернулась.

Перед ней в двух шагах стояла женщина. У этой женщины тоже был маленький ребенок; она держала его на руках.

Кроме того, она несла довольно большой и, видимо, очень тяжелый дорожный мешок.

Ее ребенок был божественнейшим в мире созданием. Это была девочка двух-трех лет. Кокетливостью наряда она смело могла поспорить с игравшими девочками; поверх чепчика, отделанного кружевцем, на ней была надета тонкая полотняная косыночка; кофточка была обшита лентой. Из-под завернувшейся юбочки виднелись пухленькие белые и крепкие ножки. Цвет лица у нее был прелестный: розовый и здоровый. Щечки хорошенькой малютки, словно яблочки, вызывали желание укусить их. О глазах девочки трудно было сказать что-либо, кроме

того, что они были, очевидно, очень большие и осенялись великолепными ресницами. Она спала.

Она спала безмятежным, доверчивым сном, свойственным ее возрасту. Материнские руки – воплощение нежности; детям хорошо спится на этих руках.

А ее мать казалась печальной. Убогая одежда выдавала работницу, которая собирается снова стать крестьянкой. Она была молода. Красива ли? Возможно, но в таком наряде это было незаметно. Судя по выбившейся белокурой пряди, волосы у нее были очень густые, но они сурово прятались под монашеским чепцом, некрасивым, плотным, узким, завязанным под самым подбородком. Улыбка обнажает зубы, и вы любуетесь ими, если они красивы, но эта женщина не улыбалась. Глаза ее, казалось, не просыхали от слез. Она была бледна; у нее был усталый и немного болезненный вид; она смотрела на дочь, заснувшую у нее на руках, тем особенным взглядом, какой бывает только у матери, выкормившей своего ребенка грудью. Большой синий платок, вроде тех, какими утираются инвалиды, повязанный в виде косынки, неуклюже спускался ей на спину. Ее загорелые руки были покрыты веснушками, кожа на исколотом иглой указательном пальце загрубела; на ней была коричневая грубой шерсти накидка, бумажное платье и тяжелые башмаки. Это была Фантина.

Это была Фантина. Почти неузнаваемая. И все же, приглядевшись к ней внимательней, вы бы заметили, что она все еще была красива. Грустная морщинка, в которой начинала сквозить ирония, появилась на ее правой щеке. Что касается ее наряда, ее воздушного наряда из муслина и лент, казавшегося сотканным из веселья, легкомыслия и музыки, – наряда, словно звучавшего трелью колокольчиков и распространявшего аромат сирени, то он исчез, как блестящие звездочки инея, которые на солнце можно принять за бриллианты; они тают, и обнажается черная ветка.

Десять месяцев прошло со дня «забавной шутки».

Что же произошло за эти десять месяцев? Об этом нетрудно догадаться.

Орошенная Толомьесом, Фантина сразу узнала нужду. Она потеряла из вида Фэйворитку, Зефину и Далию. Узы, расторгнутые мужчинами, были разорваны и женщинами; две недели спустя эти юные особы очень удивились бы, если б кто-нибудь напомнил им о прежней дружбе: для нее уже не было никаких оснований. Фантина осталась одна. Когда отец ее ребенка уехал, – увы! подобные разрывы всегда бесповоротны, – она оказалась совершенно одинокой, между тем ее привычка к трудовой жизни ослабела, а склонность к развлечениям возросла. Связь с Толомьесом повлекла за собой пренебрежение к ее скромному ремеслу, она забросила прежних своих заказчиков, и теперь их двери для нее закрылись. Никаких средств к существованию. Фантина едва умела читать и совсем не умела писать; в деревне ее научили только подписывать свое имя; она обратилась к писцу, и тот написал по ее поручению письмо к Толомьесу, затем второе, третье. Ни на одно из них Толомьес не ответил. Как-то раз Фантина услышала, как две кумушки, глядя на ее ребенка, говорили: «Разве кто-нибудь считает их за детей? Все пожимают плечами и только!» Тогда она подумала о Толомьесе, который пожимал плечами при мысли о своем ребенке и не считал за человека это невинное создание, и в душе у нее поднялась злоба на этого человека. Но что же ей предпринять? Несчастная не знала, к кому обратиться. Она согрешила, это правда, но в глубине души, мы уже говорили об этом, она была целомудренной и чистой. Она почувствовала, что близка к отчаянию и может соскользнуть в пропасть. Ей необходимо было мужество: она вооружилась им и обрела силы. Ей пришла в голову мысль вернуться в свой родной город, в Монрейль – Приморский. Быть может, там найдется кто-нибудь из знакомых и ей дадут работу. Да, но придется скрывать свой грех. И у нее возникло неясное предчувствие новой разлуки, еще более тяжкой, чем первая. Сердце ее сжалось, но она не отступила от своего решения. Фантина, как мы увидим дальше, обладала суровым бесстрашием перед жизненными невзгодами. Она мужественно отказалась от нарядов, начала носить простые холщовые платья, а все свои шелка, все свои уборы, все ленты и кружева отдала дочери – это был единственный оставшийся у нее повод для

тщеславия, на сей раз – святого. Она продала все, что имела, и получила двести франков; после уплаты мелких долгов у нее осталось очень мало – около восьмидесяти франков. Ей было двадцать два года, когда прекрасным весенним утром она покинула Париж, унося на руках свое дитя. Всякий, кто встретил бы на дороге эти два существа, проникся бы жалостью. У этой женщины не было в мире никого, кроме этого ребенка, а у этого ребенка не было в мире никого, кроме этой женщины. Фантина сама кормила дочь; это надорвало ей грудь, и она покашливала.

Нам не придется больше говорить о г-не Феликсе Толомьесе. Скажем только, что двадцать лет спустя, в царствование короля Луи – Филиппа, это был крупный провинциальный адвокат, влиятельный и богатый, благоразумный избиратель и весьма строгий присяжный; такой же любитель развлечений, как и прежде.

К концу дня Фантина, проделавшая, чтобы не очень устать, часть пути в так называемых «одноколках парижских окрестностей», которые брали от трех до четырех су за лье, очутилась в Монфермейле, на улице Хлебопеков.

Когда она проходила мимо харчевни Тенардье, две девочки, которые с восторгом раскачивались на своих чудовищных качелях, словно ослепили ее, и она остановилась перед этим радостным видением.

Чары существуют. Две девочки очаровали ее.

Она смотрела на них с глубоким волнением. Присутствие ангелов возвещает близость рая. Она словно увидела над этой харчевней таинственное ЗДЕСЬ, начертанное провидением. Малютки, несомненно, были счастливы. Она смотрела на них, восхищалась ими и пришла в такое умиление, что когда мать остановилась, чтобы перевести дыхание между двумя фразами своей песенки, она не выдержала и сказала ей те слова, которые мы уже привели выше:

– Какие у вас хорошенькие детки, сударыня!

Самые свирепые существа смягчаются, когда ласкают их детенышей. Мать подняла голову, поблагодарила и предложила прохожей присесть на скамье у двери; сама она сидела на пороге. Женщины разговорились.

– Меня зовут госпожа Тенардье, – сказала мать двух девочек. – Мы с мужем держим этот трактир.

И она снова замурлыкала:

Так надо, – рыцарь повторил, —

Я уезжаю в Палестину.

Мамаша Тенардье была рыжая, плотная, нескладная женщина, тип «солдата в юбке» во всей его непривлекательности. Странная вещь – на лице ее лежало выражение томности, которым она была обязана чтению романов. Это была мужеподобная жеманница. Старинные романы, зачитанные до дыр не лишенными воображения трактирщицами, иной раз оказывают именно такое действие. Она была еще молода; пожалуй, не старше тридцати лет. Возможно, если бы эта сидевшая на крыльце женщина стояла, то ее высокий рост и широкие плечи, под стать великанше из ярмарочного балагана, испугали бы путницу, поколебали бы ее доверие, и тогда не случилось бы то, о чем нам предстоит рассказать. Сидел человек или стоял – вот от чего иногда может зависеть судьба другого человека.

Путешественница рассказала свою историю, несколько изменив ее.

Она работница; муж ее умер; с работой в Париже стало туго, и вот она идет искать ее в другом месте, на родине. Из Парижа она вышла сегодня утром, но она несла на руках ребенка, устала и села в проезжавший мимо вилемонбльский дилижанс; из Вилемонбля до Монфермейля она опять шла пешком; правда, девочка шла иногда ножками, но очень мало, – она ведь еще такая крошка! Пришлось снова взять ребенка на руки, и ее сокровище уснуло.

Тут она поцеловала свою дочку таким страстным поцелуем, что разбудила ее. Девочка открыла глаза, большие голубые глаза, такие же, как у матери, и стала смотреть… На что? Да ни на что и на все, с тем серьезным, а порой и строгим выражением, которое составляет у маленьких детей тайну их сияющей невинности, столь отличной от сумерек наших добродетелей. Можно подумать, что они чувствуют себя ангелами, а в нас видят всего лишь людей. Потом девочка рассмеялась и, несмотря на то, что мать удерживала ее, соскользнула на землю с неукротимой энергией маленького существа, которому захотелось побегать. Вдруг она заметила двух девочек на качелях, круто остановилась и высунула язык в знак восхищения.

Мамаша Тенардье отвязала дочек, сняла их с качелей и сказала.

– Поиграйте втроем.

В этом возрасте дети легко сближаются друг с другом, и через минуту девочки Тенардье уже играли вместе с гостьей, роя ямки в земле и испытывая громадное наслаждение.

Гостья оказалась очень веселой; веселость малютки лучше всяких слов говорит о доброте матери; девочка взяла щепочку и, превратив ее в лопату, энергично копала могилку, годную разве только для мухи. Дело могильщика становится веселым, когда за него берется ребенок.

Женщины продолжали беседу.

– Как зовут вашу крошку?

– Козетта…

Козетта – читай Эфрази. Малютку звали Эфрази. Но из Эфрази мать сделала Козетту, следуя тому инстинкту изящного, благодаря которому матери и народ любовно превращают Хосефу в Пепиту, а Франсуазу в Силету. Такого рода производные вносят полное расстройство и путаницу в научные выводы этимологов. Мы знавали бабушку, которая ухитрилась из Теодоры сделать Ньон.

– Сколько ей?

– Скоро три.

– Как моей старшей.

Между тем три девочки сбились в кучку, позы их выражали сильное волнение и величайшее блаженство. Произошло важное событие: из земли только что вылез толстый червяк, – сколько страха и сколько счастья!

Их ясные личики соприкасались; все эти три головки, казалось, были окружены одним сияющим венцом.

– Как быстро сходится детвора! – вскричала мамаша Тенардье. – Поглядеть на них, так можно поклясться, что это три сестрички!

Это слово оказалось той искрой, которой, должно быть, и ждала другая мать. Она схватила мамашу Тенардье за руку, впилась в нее взглядом и сказала:

– Вы не согласились бы оставить у себя моего ребенка?

Тенардье сделала движение, не означавшее ни согласия, ни отказа и выражавшее лишь изумление.

Мать Козетты продолжала:

– Видите ли, я не могу взять дочурку с собой на родину. Работа не позволяет. С ребенком не найдешь места. Они все такие чудные в наших краях. Это сам бог направил меня к вашему трактиру. Когда я увидела ваших малюток, таких хорошеньких, чистеньких, таких довольных, сердце во мне перевернулось. Я подумала: «Вот хорошая мать!» Да, да, пусть они будут как три сестры. Да ведь я скоро вернусь за нею. Согласны вы оставить мою девочку у себя?

– Надо подумать, – ответила Тенардье.

– Я стала бы платить шесть франков в месяц.

Тут чей-то мужской голос крикнул из харчевни!

– Не меньше семи франков. И за полгода вперед.

– Шестью семь сорок два, – сказала Тенардье.

– Я заплачу, – согласилась мать.

– И сверх того пятнадцать франков на первоначальные расходы, – добавил мужской голос.

– Всего пятьдесят семь франков, – сказала г-жа Тенардье, сопровождая подсчет все той же песенкой:

Так надо, – рыцарь говорил…

– Я заплачу, – сказала мать, – у меня есть восемьдесят франков. Хватит и на то, чтобы добраться до места. Конечно, если идти пешком. Там я начну работать, и, как только скоплю немного денег, сейчас же вернусь за моей дорогой крошкой.

– Есть у девочки одежа? – снова раздался мужской голос.

– Это мой муж, – пояснила Тенардье.

– Разумеется есть, у нее целое приданое, у дорогой моей бедняжечкн. Я сразу догадалась, сударыня, что это ваш муж. И еще какое приданое! Роскошное. Всего по дюжине; и шелковые платьица, как у настоящей барышни. Они здесь, в моем дорожном мешке.

– Вам придется все это отдать, – снова сказал мужской голос.

– А как же иначе! – удивилась мать. – Было бы странно, если б я оставила свою дочку голенькой!

Хозяин просунул голову в дверь.

– Ладно, – сказал он.

Сделка состоялась. Мать переночевала в трактире, отдала деньги и оставила ребенка; она снова завязала дорожный мешок, ставший совсем легким, когда из него были вынуты вещи, принадлежавшие Козетте, и на утро отправилась в путь, рассчитывая скоро вернуться. Есть такие разлуки, которые как будто протекают спокойно, но они полны отчаяния.

Соседка супругов Тенардье повстречалась на улице с матерью Козетты и, придя домой, сказала:

– Я только что встретила женщину, – она так плакала, что просто сердце разрывалось.

Когда мать Козетты ушла, муж сказал жене:

– Теперь я заплачу сто десять франков по векселю, которому завтра срок. Мне как раз не хватало пятидесяти франков. Знаешь, если бы не это, не миновать бы мне судебного пристава и опротестованного векселя. Ты устроила недурную мышеловку, подсунув своих девчонок.

– А ведь я об этом и не думала, – ответила жена.

## Глава вторая.
## Беглая характеристика двух темных личностей

Пойманная мышка была очень тщедушна, но ведь даже и тощий мышонок радует сердце кошки.

Что представляли собой эти Тенардье?

Пока что скажем о них два слова. Мы дополним наш набросок несколько позже.

Эти существа принадлежали к тому промежуточному классу, который состоит из людей невежественных, но преуспевших, и людей образованных, но опустившихся, – к классу, который, находясь между так называемым средним и так называемым низшим классом, соединяет в себе отдельные недостатки второго и почти все пороки первого, не обладая при этом ни благородными порывами рабочего, ни порядочностью буржуа.

Это были те карликовые натуры, которые легко вырастают в чудовища, если их подогреет зловещее пламя. В характере жены таилась скотская грубость, в характере мужа –

прирожденная подлость. Оба они были в высшей степени одарены той омерзительной способностью к развитию, которая растет лишь в сторону зла. Есть души подобные ракам. Вместо того чтобы идти вперед, они непрерывно пятятся к тьме и пользуются жизненным опытом лишь для усиления своего нравственного уродства, все больше развращаясь и все больше пропитываясь скверной. Именно такой душой и обладали супруги Тенардье.

Особенно неприятное впечатление на физиономиста производил сам Тенардье. Некоторые люди с первого взгляда внушают вам недоверие, ибо вы чувствуете, что они темны, так сказать, со всех сторон. Позади себя они оставляют тревогу, а тому, что впереди, несут угрозу. В них таится неизвестность. Невозможно поручиться ни за то, что они уже сделали, ни за то, что будут делать. Их сумрачный взгляд сразу их выдает. Стоит услышать одно слово, сказанное ими, или увидеть хотя бы одно их движение, как вы уже ощущаете черные провалы в их прошлом и темные тайны в их будущем.

Этот Тенардье, если верить его словам, был некогда солдатом-сержантом, как он говорил. По-видимому, он участвовал в кампании 1815 года и, кажется, даже проявил некоторую отвагу. В свое время мы узнаем, кем именно он был. Вывеска на кабачке намекала на один из его подвигов. Он намалевал ее сам, так как с грехом пополам умел делать все, – и намалевал скверно.

То была эпоха, когда старый классический роман уже спустился от Клелии к Лодоиске и, продолжая оставаться аристократическим, но все более опошляясь и переходя от м – ль де Скюдери к г-же Бурнон – Маларм и от г-жи де Лафайет к г-же Бартелеми – Адо, воспламенял любвеобильные сердца парижских привратниц и распространял свое разрушительное действие даже на пригороды Парижа. Умственного развития г-жи Тенардье как раз хватало на чтение подобных книг. Они были ее пищей. В них топила она остатки своего разума. Именно поэтому в дни ранней молодости, и даже немного позднее, она казалась мечтательницей рядом с мужем, мошенником с некоторой долей глубокомыслия и распутником, осилившим кое-какую премудрость за исключением грамматики, человеком простоватым и в то же время хитрым, а в отношении всяких сентиментов – почитателем Пиго-Лебрена, законченным и беспримесным хамом во всем, что, выражаясь на его жаргоне, – «касается женского пола». Жена была лет на двенадцать – пятнадцать моложе мужа. С течением времени, когда ее поэтически свисавшие локоны начали седеть, когда в Памеле проглянула мегера, она превратилась попросту в толстую злую бабу, голова которой была набита глупыми романами. Но чтение вздора не проходит безнаказанно. Вот почему ее старшая дочь была названа Эпониной. Бедняжку младшую чуть было не назвали Гюльнарой, и только благодаря счастливому повороту в ее судьбе, произведенному появлением романа Дюкре-Дюминиля, она отделалась именем Азельмы.

Впрочем, не все было смешно и легковесно в ту любопытную эпоху, о которой идет речь и которую можно было бы назвать анархией собственных имен. Наряду с упомянутой выше романтической стороной здесь есть и социальный оттенок В наше время какого-нибудь мальчишку-волопаса нередко зовут Артуром, Альфредом или Альфонсом, а виконта – если еще существуют виконты – зовут Тома, Пьером иди Жаком. Это перемещение имен, при котором «изящное» имя получает плебей, а «мужицкое» – аристократ, есть не что иное, как отголосок равенства. Здесь, как и во всем, сказывается непреодолимое вторжение нового духа. Под этим внешним несоответствием таится нечто великое и глубокое: Французская революция.

## Глава третья.
## Жаворонок

Чтобы благоденствовать, недостаточно быть негодяем. Дела харчевни шли плохо.

Благодаря пятидесяти семи франкам путешественницы папаше Тенардье удалось избежать опротестовывания векселя и уплатить в срок. Через месяц им снова понадобились деньги; жена отвезла в Париж и заложила в ломбарде гардероб Козетты, получив за него

шестьдесят франков. Как только эта сумма была израсходована, Тенардье начали смотреть на девочку так, словно она жила у них из милости, и обращаться с ней соответственно. У нее не было теперь никакой одежды, и ее стали одевать в старые юбчонки и рубашонки маленьких Тенардье, иначе говоря – в лохмотья. Кормили ее объедками с общего стола, немного лучше, чем собаку, и немного хуже, чем кошку. Кстати сказать, собака и кошка были ее постоянными сотрапезниками: Козетта ела вместе с ними под столом из такой же, как у них, деревянной плошки.

Мать Козетты, поселившаяся, как мы это увидим дальше, в Монрейле-Приморском, ежемесячно писала, или, вернее сказать, поручала писать письма к Тенардье, справляясь о своем ребенке. Тенардье неизменно отвечали: «Козетта чувствует себя превосходно».

Когда истекли первые полгода, мать прислала семь франков за седьмой месяц и довольно аккуратно продолжала посылать деньги. Не прошло и года, как Тенардье сказал: «Можно подумать, что она облагодетельствовала нас! Что для нас значат ее семь франков?» И он потребовал двенадцать. Мать, которую они убедили, что ее ребенок счастлив и «растет отлично», покорилась и стала присылать двенадцать франков.

Есть натуры, которые не могут любить одного человека без того, чтобы в то же самое время не питать ненависти к другому. Мамаша Тенардье страстно любила своих дочерей и поэтому возненавидела чужую. Грустно, что материнская любовь может принимать такие отвратительные формы» Как ни мало места занимала Козетта в доме г-жи Тенардье, той все казалось, что это место отнято у ее детей и что девочка ворует, воздух, принадлежащий ее дочуркам. У этой женщины, как и у многих, ей подобных, был в распоряжении ежедневный запас ласк, колотушек и брани. Без сомнения, не будь у нее Козетты, ее собственные дочери, несмотря на всю нежность, которую она к ним питала, получали бы от всего этого свою долю; но чужачка оказала им услугу, приняв на себя все удары. Маленьким Тенардье доставались одни лишь ласки. Каждое движение Козетты навлекало на ее голову град жестоких и незаслуженных наказаний. Нежное, слабенькое созданье! Она не имела еще никакого представления ни об этом мире, ни о боге и, без конца подвергаясь наказаниям, побоям, ругани и попрекам, видела рядом с собой два маленьких существа, которые ничем не отличались от нее самой и в то же время жили, словно купаясь в сиянии утренней зари.

Тенардье дурно обращалась с Козеттой; Эпонина и Азельма тоже стали обращаться с ней дурно. Дети в таком возрасте – копия матери. Меньше формат, вот и вся разница.

Прошел год, потом другой.

В деревне говорили: «Какие славные люди эти Тенардье! Сами небогаты, а воспитывают бедную девочку, которую им подкинули!»

Все думали, что мать бросила Козетту.

Между тем папаша Тенардье, разузнав бог знает какими путями, что, по всей вероятности, ребенок незаконнорожденный и что мать не может открыто признать его своим, потребовал пятнадцать франков в месяц, заявив, что «эта тварь» все растет и ест, и пригрозив отправить ее к матери. «Пусть лучше не выводит меня из терпения! – восклицал он. – Не то я швырну ей назад ее отродье и выведу на чистую воду все ее секреты. Мне нужна прибавка». И мать стала платить пятнадцать франков.

Ребенок рос, и вместе с ним росло его горе.

Пока Козетта была совсем маленькая, она была бессловесной жертвой двух сестренок; как только она немножко подросла – то есть едва достигнув пятилетнего возраста, – она стала служанкой в доме.

– В пять лет! – скажут нам. – Да ведь это неправдоподобно!

Увы, это правда. Социальные невзгоды постигают людей в любом возрасте. Разве мы не слыхали о недавнем процессе Дюмолара, бандита, который, рано осиротев, уже в пятилетнем возрасте, как утверждают официальные документы, «зарабатывал себе на жизнь и воровал»?

Козетту заставляли ходить за покупками, подметать комнаты, двор, улицу, мыть посуду, даже таскать тяжести. Тенардье тем более считали себя вправе поступать таким образом, что мать, по-прежнему жившая в Монрейле – Приморском, начала неаккуратно высылать плату. Она задолжала за несколько месяцев.

Если бы по истечении этих трех лет Фантина вернулась в Монфермейль, она бы не узнала своего ребенка. Козетта, вошедшая в этот дом такой хорошенькой и свеженькой, была теперь худой и бледной. Во всех ее движениях чувствовалась настороженность. «Она себе на уме!» – говорили про нее Тенардье.

Несправедливость сделала ее угрюмой, нищета – некрасивой. От нее не осталось ничего, кроме прекрасных больших глаз, на которые больно было смотреть, потому что, будь они меньше, в них, пожалуй, не могло бы уместиться столько печали.

Сердце разрывалось при виде бедной малютки, которой не было еще и шести лет, когда зимним утром, дрожа в дырявых обносках, с полными слез глазами, она подметала улицу, еле удерживая огромную метлу в маленьких посиневших ручонках.

В околотке ее прозвали «Жаворонком». Народ, любящий образные выражения, охотно называл так это маленькое создание, занимавшее не больше места, чем птичка, такое же трепещущее и пугливое, встававшее раньше всех в доме, да и во всей деревне, и выходившее на улицу или в поле задолго до восхода солнца.

Только этот бедный жаворонок никогда не пел.

## Книга пятая

## По наклонной плоскости

### Глава первая.

### Как было усовершенствовано производство изделий из черного стекла

Что же, однако, сталось с ней, с этой матерью, которая, как полагали жители Монфермейля, бросила своего ребенка? Где она была? Что делала?

Оставив свою маленькую Козетту у Тенардье, она продолжала путь и пришла в Монрейль – Приморский.

Это было, как мы помним, в 1818 году.

Фантина покинула родину лет десять назад. С тех пор Монрейль-Приморский сильно изменился. В то время как Фантина медленно спускалась по ступенькам нищеты, ее родной город богател.

Года за два до ее прихода там произошел один из тех промышленных переворотов, которые в небольшой провинции являются крупнейшим событием.

Факт этот имеет большое значение, и мы считаем полезным изложить его со всеми подробностями, даже больше – подчеркнуть его.

Монрейль – Приморский с незапамятных времен занимался особой отраслью промышленности – имитацией английского гагата и немецких изделий из черного стекла. Этот промысел всегда был в жалком состоянии вследствие дороговизны сырья, что отражалось и на заработке рабочих. Но к тому времени, когда Фантина вернулась в Монрейль – Приморский, в производстве «черного стеклянного товара» произошли неслыханные перемены. В конце 1815 года в городе поселился никому не известный человек, которому пришла мысль при изготовлении этих изделий заменить древесную смолу камедью и, в частности при выделке браслетов, заменить кованые металлические застежки литыми. Это ничтожное изменение произвело целую революцию.

В самом деле, это ничтожное изменение сильно снизило стоимость сырья, что позволило, во-первых, повысить заработок рабочих – благодеяние для края, во-вторых – улучшить выделку товара – выгода для потребителя, в-третьих – дешевле продавать изделия, одновременно утроив барыши, – выгода для фабриканта.

Итак, одна идея дала три результата.

Меньше чем за три года изобретатель этого способа разбогател, – что очень хорошо, и обогатил всех вокруг себя, – что еще лучше. В этом краю он был чужой. Никто ничего не знал о его происхождении; сведения о его прошлом были самые скудные.

Говорили, что когда он пришел в город, у него было очень мало денег – самое большее, несколько сот франков.

Этот-то ничтожный капитал, употребленный на осуществление остроумной идеи и умноженный благодаря разумному употреблению и деятельной мысли, послужил не только к его собственному обогащению, но и к обогащению целого края.

Когда он появился в Монрейле – Приморском, то своей одеждой, речью и манерами ничем не отличался от простого рабочего.

По слухам, в тот самый декабрьский день, когда в сумерки, с мешком за спиной и с терновой палкой в руках, никем не замеченный, он вошел в городок Монрейль – Приморский, в здании ратуши вспыхнул пожар. Незнакомец бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас двух детей, которые оказались детьми жандармского капитана; по этой причине никому не пришло в голову потребовать у него паспорт. Имя его стало известно позднее. Его звали дядюшка Мадлен.

## Глава вторая.
## Мадлен

Это был человек лет пятидесяти, с задумчивым взглядом и добрым сердцем. Вот и все, что можно было о нем сказать.

Благодаря быстрым успехам той отрасли промышленности. которую он так изумительно преобразовал, Монрейль – Приморский стал крупным центром торговых операций. Испания, потреблявшая много черного гагата, ежегодно давала на него огромные заказы. Монрейль – Приморский в этом промысле чуть ли не соперничал теперь с Лондоном и Берлином. Дядюшка Мадлен получал такие барыши, что уже на второй год ему удалось выстроить большую фабрику, где были две обширные мастерские: одна для мужчин, другая для женщин. Всякий голодный мог явиться туда в полной уверенности, что получит работу и кусок хлеба. От мужчин Мадлен требовал усердия, от женщин – хорошего поведения, от тех и других – честности. Он отделил мужские мастерские от женских для того, чтобы сохранить среди девушек и женщин добрые нравы. Здесь он был непреклонен. Только в этом вопросе он и проявлял своего рода нетерпимость. Его суровость имела тем больше оснований, что Монрейль – Приморский, как гарнизонный город, был местом, полным соблазнов. Словом, его приход туда был благодеянием, а сам он – даром провидения. До дядюшки Мадлена весь край был погружен в спячку; теперь все здесь жило здоровой трудовой жизнью. Могучий деловой подъем оживлял все и проникал повсюду. Безработица и нищета были теперь забыты. Не было ни одного самого ветхого кармана, где бы не завелось хоть немного денег; не было такого бедного жилища, где бы не появилось хоть немного радости.

Дядюшка Мадлен принимал на работу всех. Он требовал одного:

«Будь честным человеком! Будь честной женщиной!»

Как мы уже сказали, среди всей этой кипучей деятельности, источником и главным двигателем которой был дядюшка Мадлен, он богател и сам, но, как ни странно это для простого коммерсанта, он, видимо, не считал наживу своей основной заботой. Казалось, он больше думал о других, чем о себе. К 1820 году – это все знали – у Лафита на его имя было

помещено шестьсот тридцать тысяч франков, но, прежде чем отложить для себя эти шестьсот тридцать тысяч франков, он израсходовал более миллиона на нужды города и на бедных.

Больница нуждалась в средствах. Он содержал в ней за свой счет десять коек. Монрейль – Приморский делится на верхний и нижний город. В нижнем городе, где жил дядюшка Мадлен, была только одна школа – жалкая лачуга, грозившая развалиться; он построил две новые – одну для девочек, другую для мальчиков. Он из собственных средств назначил двум учителям пособие, превышающее вдвое их скудное казенное жалованье; и когда однажды кто-то выразил удивление по этому поводу, он сказал: «Самые важные должностные лица в государстве – это кормилица и школьный учитель». Он на свой счет основал детский приют – учреждение, почти неизвестное в то время во Франции, и кассу вспомоществования для престарелых и увечных рабочих. Так как его фабрика сделалась рабочим центром, вокруг нее очень быстро вырос новый квартал, где поселилось немало нуждающихся семей; он открыл там бесплатную аптеку.

В первое время, когда он только начинал свою деятельность, добрые люди говорили. «Это хитрец, который хочет разбогатеть». Когда он занялся обогащением края, прежде чем разбогатеть самому, те же добрые люди сказали: «Это честолюбец». Последнее казалось тем более вероятным, что человек этот был религиозен и даже соблюдал некоторые обряды, что в ту пору считалось очень похвальным. Каждое воскресенье он ходил к ранней обедне. Его набожность не замедлила встревожить местного депутата, которому всюду чудились конкуренты. Этот депутат, заседавший во времена Империи в Законодательном собрании, разделял религиозные воззрения одного из членов конгрегации, известного под именем Фуше – герцога Отрантского, который был его другом и покровителем. При закрытых дверях он слегка подсмеивался над богом. Однако, узнав, что состоятельный фабрикант Мадлен ходит в семь часов утра к ранней обедне, он увидел в нем возможного кандидата на свое место и решил превзойти его; он взял себе в духовники иезуита и стал ходить и к обедне и к вечерне. В те времена честолюбцы добивались у бога земных благ земными поклонами. От этого страха перед соперником выиграл не только бог, но и бедняки, ибо почтенный депутат тоже взял на себя содержание двух больничных коек – всего их стало двенадцать.

Но вот, в 1819 году однажды утром в городе распространился слух, что по представлению префекта за заслуги, оказанные краю, король назначает дядюшку Мадлена мэром Монрейля – Приморского. Лица, называвшие пришельца честолюбцем, с восторгом подхватили этот слух, дававший приятную для каждого человека возможность кричать: «Ага! Что мы говорили?» Весь город пришел в волнение. Слух оказался обоснованным Несколько дней спустя о назначении сообщалось в Монитере. На следующий день Мадлен от него отказался.

В том же 1819 году изделия, выработанные по новому способу, изобретенному Мадленом, попали на промышленную выставку; согласно заключению испытательной комиссии, король пожаловал изобретателю орден Почетного легиона. Новое волнение в городе. «Так вот чего он хотел! Ордена!» Дядюшка Мадлен отказался и от орденского креста.

Решительно этот человек был загадкой. Добрые люди вышли из затруднения, сказав: «В таком случае это авантюрист».

Как мы видели, край был обязан ему очень многим, а бедняки были обязаны ему всем; он принес столько пользы, что нельзя было не проникнуться к нему уважением, и был так приветлив, что нельзя было не полюбить его; рабочие его фабрики преклонялись пред ним, и он принимал их преклонение с какой-то печальной серьезностью. Когда его богатство стало общепризнанным фактом, «люди из общества» начали раскланиваться с ним, и в городе его стали называть «господин Мадлен»; рабочие и детвора по-прежнему звали его «дядюшка Мадлен», и это обращение вызывало у него добродушную улыбку. Как только он пошел в гору, приглашения посыпались на него дождем. «Общество» заявляло на него свои права. Маленькие чопорные гостиные Монрейля – Приморского, которые, разумеется, в свое время

были закрыты, для ремесленника, широко распахнули двери перед миллионером. Ему было сделано множество лестных предложений. Он отклонил их.

Добрые люди и на этот раз не остались в долгу. «Это невежественный и невоспитанный человек. Неизвестно еще, откуда он взялся. Он, наверное. не сумел бы держать себя в порядочном обществе. Вполне возможно, что он не знает даже и грамоте».

Когда он начал зарабатывать деньги, про него сказали – «Торгаш». Когда он начал сорить деньгами, про него сказали «Честолюбец». Когда он оттолкнул от себя почести, про него сказали. «Авантюрист». Когда он оттолкнул от себя общество, про него стали говорить «Грубиян».

В 1820 году, через пять лет после его водворения в Монрейле-Приморском, услуги, оказанные им краю, были так очевидны, воля всего населения так единодушна, что король снова назначил его мэром города. Он снова отказался, но префект не принял его отказа, все именитые лица города явились просить его, народ, столпившийся на улице, умолял его согласиться, и мольбы эти были так горячи, что в конце концов он уступил. Было замечено, что на его решение, пожалуй, больше всего повлиял возглас какой-то старухи из простонародья, которая сердито крикнула ему с порога своего домишки «От хорошего мэра может быть большая польза. Как не совестно идти напопятную, если выпал случай сделать добро?»

Это была третья фаза его восхождения. Дядюшка Мадлен превратился в господина Мадлена; господин Мадлен превратился в господина мэра.

## Глава третья.
## Суммы депонированные у Лафита

Впрочем, он продолжал держать себя так же просто, как и в первые дни У него были седые волосы, серьезный взгляд, загорелая кожа рабочего, задумчивое лицо философа. Обычно он носил широкополую шляпу и длинный редингот из толстого сукна, застегнутый доверху. Обязанности мэра он выполнял добросовестно, но вне этих обязанностей жил отшельником. Он редко разговаривал с кем-либо. Он уклонялся от расточаемых ему любезностей, кланялся на ходу, быстро исчезал, улыбался, чтобы избежать беседы, и давал деньги, чтобы избежать улыбки. «Славный медведь!» – говорили о нем женщины. Больше всего он любил прогулки по окрестным полям.

Он всегда обедал в одиночестве, держа перед собой открытую книгу. У него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Он любил книги; книги – это друзья, бесстрастные, но верные. По мере того как вместе с богатством увеличивался и его досуг, он, видимо, старался употребить его на то, чтобы развивать свой ум. С тех пор как он поселился в Монрейле-Приморском, речь его с каждым годом становилась все более изысканной и более мягкой, что было замечено всеми.

Он часто брал с собой на прогулку ружье, но редко им пользовался. Когда же ему случалось выстрелить, он обнаруживал такую меткость, что становилось страшно Он никогда не убивал безвредных животных. Никогда не стрелял в птиц.

Он был уже далеко не молод, но о его физической силе рассказывали чудеса Он предлагал помощь всякому, кто в ней нуждался: поднимал упавшую лошадь, вытаскивал увязшее колесо, останавливал, схватив за рога, вырвавшегося быка. Он всегда выходил из дому с полным карманом денег, а возвращался с пустым. Когда он заходил в деревни, оборванные ребятишки весело бежали за ним следом, кружась возле него, словно рой мошек.

Можно было предположить, что когда-то он живал в деревне, потому что у него был большой запас полезных сведений, которые он сообщал крестьянам. Он учил их уничтожать хлебную моль, обрызгивая амбары и заливая щели в полу раствором поваренной соли, и выгонять вредных жуков, развешивая повсюду, на стенах, на крыше, на пастбищах и в домах, пучки цветущего шалфея. У него были «рецепты», как выводить с полей куколь, журавлиный

горох, лисий хвост – сорные травы, заглушающие хлебные злаки. Он охранял кроличий садок от крыс, сажая туда морскую свинку, запаха которой они не выносят.

Однажды он увидел, что местные жители усердно трудятся над уничтожением крапивы; взглянув на кучу вырванных с корнем и уже засохших растений, он сказал: «Завяла. А ведь если бы знать, как за нее взяться, она могла бы пойти в дело. Когда крапива еще молода, ее листья – вкусная зелень, а в старой крапиве – такие же волокна и нити, как в конопле и льне. Холст из крапивы ничем не хуже холста из конопли. Мелко изрубленная крапива годится в корм домашней птице, а толченая хороша для рогатого скота. Семя крапивы, подмешанное к корму, придает блеск шерсти животных, а ее корень, смешанный с солью, дает прекрасную желтую краску. Кроме того, это отличное сено, которое можно косить два раза в лето. А что нужно для крапивы? Немного земли, и никаких забот и ухода. Правда, семя ее, по мере созревания, осыпается, и собрать его бывает нелегко. Вот и все. Приложите к крапиве хоть немного труда, и она станет полезной; ею пренебрегают, и она становится вредной. Тогда ее убивают. Как много еще людей, похожих на крапиву! – После минутного молчания он добавил: – Запомните, друзья мои: нет ни дурных трав, ни дурных людей. Есть только дурные хозяева»

Дети любили его еще и за то, что он умел делать хорошенькие вещицы из соломы и скорлупы кокосовых орехов.

Когда он видел, что дверь церкви затянута черным, он входил туда; похороны привлекали его так же, как других привлекают крестины. Чужая утрата и чужое горе притягивали его к себе, потому что у него было доброе сердце; он смешивался с толпой опечаленных друзей, с родственниками, одетыми в траур, и священнослужителями, молившимися за усопшего. Казалось, он охотно погружался в размышления, внимая погребальным молитвам, полным видений иного мира. Устремив взгляд в небо, как бы порываясь к тайнам бесконечного, он слушал скорбные голоса, поющие на краю темной бездны, называемой смертью.

Он творил множество добрых дел тайком, как обычно творят дурные. Вечером он украдкой проникал в дома, тихонько пробирался по лестницам. Какой-нибудь бедняга, поднявшись на свой чердак, находил дверь отпертой, а иной раз даже взломанной. «Здесь побывали воры!» – восклицал несчастный. Он входил к себе, и первое, что бросалось ему в глаза, была золотая монета, кем-то забытая на столе. Побывавшим у него «вором» оказывался дядюшка Мадлен.

Он был приветлив и печален. Народ говорил: «Богач, а совсем не гордый. Счастливец, а с виду невеселый».

Предполагали, что это какая-то загадочная личность, и уверяли, что никому и никогда не разрешается входить к нему в спальню, которая якобы представляет собой монашескую келью, где красуются старинные песочные часы, скрещенные кости и череп. Об этом говорилось так много, что несколько жительниц Монрейля – Приморского, молодых и нарядных, однажды явились к нему домой и попросили: «Господин мэр! Покажите нам вашу спальню. Мы слышали, что это настоящая пещера». Он улыбнулся и тотчас же ввел их в эту «пещеру». Насмешницы были жестоко наказаны за свое любопытство. Это была комната, обставленная самой обыкновенной мебелью, правда, из красного дерева, но довольно некрасивой и оклеенная обоями по двенадцать су за кусок. Единственное, что привлекло внимание дам, были два старомодных подсвечника, стоявших на камине, по-видимому серебряных, «потому что на них была проба». Замечание вполне в духе провинциального городка.

Люди тем не менее продолжали говорить, что никому не разрешается входить в эту комнату и что это келья отшельника, могила, склеп.

Шушукались и о том, что у него имеются «колоссальные» суммы, лежащие у Лафита, причем будто бы эти суммы вложены с таким условием, что могут быть взяты оттуда полностью и в любое время, «так что, – добавляли кумушки, – господин Мадлен может в одно прекрасное утро зайти к Лафиту, написать расписку и через десять минут унести с собой свои два или три

миллиона». В действительности, как мы уже говорили, эти «два или три миллиона» сводились к сумме в шестьсот тридцать или шестьсот сорок тысяч франков.

## Глава четвертая.
## Господин Мадлен в трауре

В начале 1821 года газеты возвестили о смерти епископа Диньского мириэля, прозванного монсеньером Бьенвеню и почившего смертью праведника в возрасте восьмидесяти двух лет.

Епископ Диньский – добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, – за несколько лет до кончины ослеп, но он радовался своей слепоте, так как сестра его была рядом.

Заметим, кстати, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым – это поистине одна из самых необычных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя: «Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне»; видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня; каждую минуту проявлять нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилом, к которому тяготеет этот ангел, – все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни – это уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, вернее сказать – любят вопреки вам; вот этой уверенностью и обладает слепой. В такой скорби ощущать заботу о себе – значит ощущать ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью! Любовью, целиком сотканной из добродетели. Где есть уверенность, там кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И эта найденная и испытанная душа – женщина. Чья-то рука поддерживает вас – это ее рука; чьи-то уста прикасаются к вашему лбу – это ее уста; совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание – это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негнущийся тростник, касаться руками Провидения и брать его в объятия – великий боже, какое это блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами; если она удаляется, то лишь затем, чтобы вернуться к вам. Она исчезает, как сон, и возникает, как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается, – это она. На вас нисходит ясность, веселье, восторг; вы – сияние среди ночи. А тысяча мелких забот! Пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место. Самые тонкие, едва уловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме.

Из этого рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай.

Извещение о его смерти было перепечатано местной монрейльской газетой. На следующий день Мадлен появился весь в черном и с крепом на шляпе.

В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение Мадлена. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. «Он надел траур по епископу Диньскому», – говорили в гостиных; это предположение сильно повысило Мадлена в глазах монрейльской знати, и все немедленно прониклись к нему уважением. Микроскопическое сен – жерменское предместье городка решило снять карантин с Мадлена, по всей видимости, родственника епископа. Мадлен

заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького «большого света», считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него:

– Скажите, господин мэр, покойный епископ Диньский был, вероятно, в родстве с вами?

– Нет, сударыня, – ответил он.

– Почему же вы носите по нем траур? – снова спросила старушка.

– Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме, – ответил он.

Было замечено еще одно обстоятельство: каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебывало очень много.

## Глава пятая.
## Зарницы

Мало-помалу все проявления неприязни исчезли. Вначале Мадлен, согласно неписаному закону, которому всегда подвластен тот, кто преуспевает, был окружен грязными сплетнями и клеветой, затем их заменили злобные выходки, затем только злые шутки, а затем прекратилось и это; уважение сделалось полным, искренним, единодушным, и, наконец, настало время, – это было около 1821 года, – когда слова «господин мэр» произносились в Монрейле – Приморском почти с таким же благоговением, с каким слова «его преосвященство» произносились в 1815 году в Дине. Люди приезжали за десять лье, чтобы посоветоваться с Мадленом. Он решал споры, предупреждал тяжбы, мирил врагов. Каждый для защиты своей правоты приглашал его в заступники. Казалось, душа его заключала в себе весь свод естественных законов. Это была какая-то эпидемия преклонения перед ним, которая в течение лет семи, заражая одного жителя за другим, наконец охватила весь край.

Только один человек в городе и во всем округе не поддавался этой болезни, несмотря на все добрые дела дядюшки Мадлена, словно какой-то инстинкт, непоколебимый и неподкупный, стоял на страже и не давал ему покоя. В иных людях и в самом деле как бы таится инстинкт животного; природный и неистребимый, как всякий инстинкт, он внушает симпатии и антипатии, неумолимо отделяет одну породу существ от другой, никогда не колеблется, не смущается, не дремлет и не изменяет себе; он ясен в своей слепоте, безошибочен, властен, не подчиняется советам разума, разлагающему воздействию рассудка и, независимо от того, к чему приводит людей судьба, тайно уведомляет человека-собаку о близости человека-кошки, а человека-лису – о близости человека-льва.

Иной раз, когда Мадлен проходил по улице, спокойный, приветливый, осыпаемый всеобщими благословениями, какой-то высокий человек в рединготе серо-стального цвета и в шляпе с опущенными полями, вооруженный толстой палкой, внезапно оборачивался и провожал его взглядом до тех пор, пока мэр не скрывался из виду; потом, скрестив руки и медленно покачивая головой, он поднимал верхнюю губу к самому носу, – многозначительная гримаса, которую можно было бы истолковать так: «Кто этот человек? Я уверен, что где-то видел его прежде. Во всяком случае, меня-то он не проведет».

Этот суровый, почти угрожающе суровый человек принадлежал к числу людей, которые даже при беглой встрече внушают наблюдателю тревогу.

Его звали Жавер, и служил он в полиции.

В Монрейле – Приморском он исполнял тягостные, но полезные обязанности полицейского надзирателя. Он не был свидетелем первых шагов Мадлена. Своей должностью он был обязан протекции Шабулье, секретаря графа Англеса – министра, состоявшего в то время префектом парижской полиции. Когда Жавер появился в Монрейле – Приморском, Мадлен успел уже стать

крупным фабрикантом с большим состоянием и из дядюшки Мадлена превратиться в господина Мадлена.

У некоторых полицейских чинов бывают особые лица: выражение их представляет странную смесь низости и сознания власти. У Жавера было именно такое лицо, но низость в нем отсутствовала.

Если бы человеческие души были доступны для глаза, то, по нашему глубокому убеждению, все явственно увидели бы одну странность, а именно – соответствие каждого из представителей человеческого рода какому-нибудь виду животного мира; и это помогло бы легко убедиться в истине, пока еще едва прозреваемой мыслителем и состоящей в том, что – от устрицы до орла, от свиньи до тигра – все животные таятся в людях и каждое в отдельности – в отдельном человеке. А бывает и так, что даже несколько в одном.

Животные суть не что иное, как прообразы наших добродетелей и пороков, блуждающие пред нашим взором призраки наших душ. Бог показывает их нам, чтобы заставить нас задуматься. Но так как животные – это всего лишь тени, то бог не одарил их восприимчивостью в полном смысле этого слова; да и к чему им это? Наши души, напротив, существуя реально и обладая конечной целью, получили от бога разум, то есть восприимчивость к воспитанию. Правильно поставленное общественное воспитание всегда может извлечь из души, какова бы она ни была, то полезное, что она содержит.

Разумеется, все сказанное верно лишь в отношении видимой земной жизни и не предрешает сложного вопроса о предшествующем и последующем облике существ, которые не являются человеком. Видимое «я» никоим образом не дает мыслителю права отрицать «я» скрытое. Сделав эту оговорку, продолжаем.

Итак, если читатель на минуту предположит вместе с нами, что в каждом человеке таится представитель животного мира, нам будет легко определить, что представлял собой полицейский надзиратель Жавер.

Астурийские крестьяне убеждены, что среди волчат одного помета всякий раз попадается щенок, которого мать сразу же убивает, потому что иначе, если б он вырос, то непременно сожрал бы остальных волчат.

Придайте этому псу, детенышу волчицы, человеческое лицо, и перед вами Жавер.

Жавер родился в тюрьме от гадалки, муж которой был сослан на каторгу. Когда Жавер вырос, он понял, что находится вне общества, и отчаялся когда-либо проникнуть в него. Он заметил, что общество беспощадно устраняет из своей среды два класса людей: тех, кто на него нападает, и тех, кто его охраняет; у него был выбор только между этими двумя классами; в то же время он чувствовал в себе задатки моральной стойкости, порядочности и честности, которым сопутствовала необъяснимая ненависть к цыганской среде, откуда он вышел сам. Он поступил в полицию. И преуспел. В сорок лет он был полицейским надзирателем.

В молодости он служил на юге надсмотрщиком на галерах.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, поясним, что именно мы имели в виду, употребив выражение «человеческое лицо» в применении к Жаверу.

Человеческое лицо Жавера состояло из вздернутого носа с двумя глубоко вырезанными ноздрями, к которым с двух сторон примыкали огромные бакенбарды. Вам сразу становилось не по себе, когда вы впервые видели эти две чащи и две пещеры. Когда Жавер смеялся, что случалось редко, смех его был страшен: тонкие губы раздвигались и обнажали не только зубы, но и десны, а вокруг носа широко расползались свирепые складки, словно на морде хищного зверя. Когда Жавер бывал серьезен, это был дог; когда он смеялся, это был тигр. Далее: узкий череп, массивная челюсть, волосы, закрывавшие лоб и свисавшие до самых бровей, над переносицей звездообразная неизгладимая морщина, словно печать гнева, мрачный взгляд, злобно сжатые губы, вид начальственный и жестокий.

Этот человек состоял из двух чувств, очень простых и относительно хороших, но доведенных им до крайности и сделавшихся поэтому почти дурными, – из уважения к власти и из ненависти к бунту; а в его глазах воровство, убийство, все существующие преступления являлись лишь разновидностями бунта. Он был проникнут слепой и глубокой верой во всякое должностное лицо, от первого министра до сельского стражника; он чувствовал презрение, неприязнь и отвращение ко всем, кто хоть раз преступил границы закона. Он был непреклонен и не признавал никаких исключений. О первых он говорил: «Чиновник не может ошибаться. Судья никогда не бывает неправ». О вторых он говорил: «Эти погибли безвозвратно. Ничего путного из них выйти не может».

Он всецело разделял доходящие до абсурда убеждения тех людей, которые приписывают человеческим законам какой-то дар создавать или, если хотите, обнаруживать грешников и которые изгоняют низы общества на берега некоего Стикса. Он был стоически тверд, серьезен и суров, печален и задумчив, скромен и надменен, как все фанатики. Взгляд его леденил и сверлил, как бурав. Вся его жизнь заключалась в двух словах: наблюдать и выслеживать. Он проложил прямую линию на самом извилистом пути в мире, он верил в полезность своего дела, свято чтил свои обязанности, он был шпионом, как бывают священником. Горе тому, кому суждено было попасть в его руки! Он арестовал бы родного отца за побег с каторги и донес бы на родную мать, уклонившуюся от полицейского надзора. И он сделал бы это с чувством внутреннего удовлетворения, которое дарует добродетель. Наряду с этим – жизнь, полная лишений, одиночество, самоотречение, целомудрие, никаких удовольствий. Олицетворение беспощадного долга, полиция, понятая так, как спартанцы понимали Спарту, неумолимый страж, свирепая порядочность, сыщик, изваянный из мрамора, Брут в шкуре Видока – вот что такое был Жавер.

Вся его особа изобличала человека, который подсматривает и таится. Мистическая школа Жозефа де Местра, которая в ту эпоху приправляла высокой космогонией стряпню газет так называемого ультрароялистского толка, не преминула бы изобразить Жавера как символ. Вы не видели его лба, прятавшегося под шляпой, вы не видели его глаз, исчезавших под бровями, вы не видели его подбородка, потонувшего в шейном платке, вы не видели его рук, закрытых длинными рукавами, вы не видели его палки, которую он носил под полой редингота. Но вот являлась необходимость – и изо всей этой тьмы, словно из засады, вдруг выступал узкий и угловатый лоб, зловещий взгляд, угрожающий подбородок, огромные руки и увесистая дубинка.

В свободные минуты, которые выпадали не часто, он, ненавидя книги, все же читал их, благодаря чему не был совершенным невеждой. Это проявлялось в некоторой напыщенности его речи.

Как мы уже сказали, у него не было никаких пороков. Когда он бывал доволен собой, то позволял себе понюшку табаку. Только это и роднило его с человечеством.

Легко понять, что Жавер был грозой для того разряда людей, который в ежегодном статистическом отчете министерства юстиции значится под рубрикой: Темные личности. При одном имени Жавера они обращались в бегство, появление самого Жавера приводило их в оцепенение.

Таков был этот страшный человек.

Жавер был недремлющим оком, постоянно устремленным на Мадлена. Оком, полным догадок и подозрений. В конце концов Мадлен заметил это, но, видимо, не придал этому никакого значения. Он ни разу ни о чем не спросил Жавера, не искал с ним встречи и не избегал его; казалось, он с полным равнодушием выносил этот тяжелый и почти давящий взгляд. Обращался он с Жавером, как со всеми, приветливо и непринужденно.

По нескольким случайно вырвавшимся у Жавера словам можно было заключить, что, побуждаемый характерным для этой породы людей любопытством, которое вызывается

столько же инстинктом, сколько и волей, он тайно разыскивал все следы, какие только мог оставить за собой в прошлом дядюшка Мадлен. Очевидно, ему удалось узнать – иногда он намекал на это, – что кто-то наводил где-то какие-то справки о некоем исчезнувшем семействе. Как-то раз он сказал вслух, разговаривая сам с собой: «Теперь, кажется, он у меня в руках!» После этого целых три дня он был задумчив и не произносил ни слова. Должно быть, нить, которую он уже считал пойманной, порвалась.

Впрочем, человеческое существо не может не ошибаться – такова необходимая поправка к некоторым словам, иначе смысл их мог бы показаться чересчур непреложным; сущность инстинкта состоит именно в том, что он может поколебаться, сбиться со следа и потерять дорогу. В противном случае инстинкт одержал бы верх над разумом и животное оказалось бы умнее человека.

Очевидно, Жавер был отчасти сбит с толку полнейшей естественностью и спокойствием Мадлена.

Но однажды странный образ действий Жавера, видимо, произвел впечатление на Мадлена. И вот при каких обстоятельствах.

## Глава шестая.
## Дедушка Фошлеван

Как-то утром Мадлен шел по одному из немощеных монрейльских переулков. Внезапно он услышал шум и увидел на некотором расстоянии кучку людей, Он подошел к ним. У старика крестьянина, которого Звали дедушка Фошлеван, упала лошадь, а сам он очутился под телегой.

Этот Фошлеван принадлежал к числу тех немногих врагов, какие еще оставались в это время у Мадлена. Когда Мадлен поселился в Монрейле, Фошлеван, довольно грамотный крестьянин, бывший прежде сельским писцом, занимался торговлей, но с некоторых пор дела его шли плохо. Фошлеван видел, как этот простой рабочий богател, а он, хозяин, постепенно разорялся. Это наполняло его сердце завистью, и он при всяком удобном случае старался чем-нибудь повредить Мадлену. Затем наступило банкротство, и старик, у которого от всего имущества осталась только лошадь с телегой, не имевший к тому же ни семьи, ни детей, вынужден был стать ломовым извозчиком.

При падении лошадь сломала обе ноги и не могла подняться. Старик оказался между колесами, и упал он так несчастливо, что телега всей своей тяжестью давила ему на грудь. Она была основательно нагружена. Дедушка Фошлеван испускал душераздирающие вопли. Его пытались вытащить, но безуспешно. Неловкое движение, неверное усилие, неудачный толчок – и ему был бы конец. Высвободить его можно было лишь одним способом – приподняв телегу снизу. Жавер, случайно оказавшийся здесь в момент несчастья, послал за домкратом.

Но вот подошел Мадлен. Все почтительно расступились.

– Помогите! – кричал старик Фошлевая, – Добрые люди, спасите старика!

Мадлен обратился к присутствующим:

– Нет ли домкрата?

– За ним пошли, – отвечал один крестьянин.

– А скоро его сюда доставят?

– Да пошли-то в самое ближнее место, в Флашо, к кузнецу, но на это понадобится добрых четверть часа.

– Четверть часа! – вскричал Мадлен.

Накануне шел дождь, земля размокла, телега с каждой минутой увязала все глубже и все сильнее придавливала грудь старика Фошлевана. Все понимали, что не пройдет и пяти минут, как у него будут сломаны все ребра.

– Нельзя ждать четверть часа, – сказал Мадлен крестьянам, стоявшим вокруг.

– Ничего не поделаешь!

– Да ведь будет поздно! Разве вы не видите, что телега уходит все глубже?

– Как не видеть!

– Послушайте, – продолжал Мадлен, – пока еще под телегой довольно места, можно подлезть под нее и приподнять ее спиной. Всего полминуты, а за это время беднягу успеют вытащить. Найдется здесь человек с крепкой спиной и добрым сердцем? Кто хочет заработать пять луидоров?

Никто в толпе не сдвинулся с места.

– Десять луидоров! – сказал Мадлен.

Присутствовавшие смотрели в землю. Один из них пробормотал:

– Тут нужна дьявольская сила. Как бы тебя самого не придавило!

– Ну же! – настаивал Мадлен. – Двадцать луидоров!

Опять молчание.

– Желания-то у них хватает… – произнес чей-то голос.

Мадлен обернулся и узнал Жавера. Он не заметил, когда тот подошел.

– А вот силы не хватает, – продолжал Жавер. – Чтобы поднять на спине такую телегу, надо быть страшным силачом.

Пристально глядя на Мадлена, он произнес, отчеканивая каждое слово:

– Господин Мадлен! В своей жизни я знал только одного человека, способного сделать то, что вы требуете.

Мадлен вздрогнул.

Равнодушным тоном, но не сводя с Мадлена глаз, Жавер добавил:

– Это был один каторжник.

– Вот как! – отозвался Мадлен.

– Каторжник из Тулонской тюрьмы.

Мадлен побледнел.

Между тем телега продолжала медленно уходить в землю. Дедушка Фошлеван хрипел и вопил:

– Задыхаюсь! У меня ребра трещат! Домкрат! Сделайте что-нибудь! Ох!

Мадлен оглянул толпу.

– Неужели никто не хочет заработать двадцать луидоров и спасти жизнь бедному старику?

Ни один из присутствовавших не шевельнулся. Жавер продолжал:

– В своей жизни я знал только одного человека, который мог заменить домкрат. Это тот каторжник.

– Ох! Сейчас меня раздавит! – крикнул старик.

Мадлен поднял голову, встретил все тот же ястребиный, не отрывавшийся от него взгляд Жавера, посмотрел на неподвижно стоявших крестьян и грустно улыбнулся. Потом, не сказав ни слова, опустился на колени, и не успела толпа даже вскрикнуть, как он уже был под телегой.

Наступила страшная минута ожидания и тишины. На глазах у всех Мадлен, почти плашмя лежа под чудовищным грузом, дважды пытался подвести локти к коленям, но тщетно. Ему закричали: «Дядюшка Мадлен! Вылезайте!» Сам старик Фошлеван сказал ему: «Господин Мадлен! Уходите! Видно, уж мне на роду написано так умереть! Оставьте меня! Не то и вас задавит!» Мадлен ничего не отвечал.

Зрители тяжело дышали. Колеса продолжали уходить все глубже, и теперь Мадлену было уже почти невозможно вылезти из-под телеги.

Вдруг вся эта громада пошатнулась, телега начала медленно приподниматься, колеса наполовину вышли из колеи. Послышался задыхающийся голос:

«Скорей! Помогите!» Это крикнул Мадлен, напрягший последние силы.

Все бросились на помощь. Самоотверженный поступок одного придал силу и мужество остальным. Два десятка рук подхватили телегу. Старик Фошлеван был спасен.

Мадлен встал на ноги Он был смертельно бледен, хотя пот лил с него градом. Его одежда была разорвана и покрыта грязью. Все плакали. Старик целовал ему колени и говорил, что это сам господь. А на лице Мадлена было какое-то странное выражение блаженного неземного страдания, и он спокойно смотрел на Жавера, все еще не спускавшего с него глаз.

## Глава седьмая.

## Фошлеван становится садовником в Париже

Фошлеван при падении вывихнул себе коленную чашку. Дядюшка Мадлен велел отвезти его в больницу, устроенную им для рабочих в здании его фабрики; уход за больными был там поручен двум сестрам милосердия. На следующее утро старик нашел на тумбочке возле кровати тысячефранковый билет и записку, написанную рукой дядюшки Мадлена: «Я покупаю у вас телегу и лошадь». Телега была сломана, а лошадь околела. Фошлеван выздоровел, но его колено перестало сгибаться. Заручившись рекомендациями монахинь и местного священника, Мадлен устроил старика садовником при женском монастыре в квартале Сент – Антуан в Париже.

Вскоре после этого случая Мадлен был назначен мэром. Когда Жавер впервые увидел Мадлена, опоясанного шарфом, дававшим ему власть над всем городом, он ощутил такой трепет, какой мог бы ощутить пес, который под одеждой хозяина почуял волка. С этой минуты он стал всячески избегать встречи с ним. Но когда служебные обязанности принуждали его являться к мэру и уклониться от этого было невозможно, он выказывал ему глубочайшее почтение.

На благоденствие, созданное дядюшкой Мадленом в Монрейле – Приморском, кроме видимых признаков, о которых мы уже упоминали, указывал и другой признак, который, не будучи видимым, казался, однако, не менее показательным. Признак этот безошибочен. Когда население нуждается, когда работы не хватает, когда торговля идет плохо, налогоплательщик, вынужденный к тому безденежьем, невольно уклоняется от уплаты, пропускает все сроки, и государству приходится расходовать большие деньги на принудительные меры по сбору податей. Когда же работы вдоволь, когда край счастлив и богат, налоги выплачиваются легко, и взыскание их обходится государству дешево. Можно сказать, что для определения степени общественной нищеты и общественного богатства есть один непогрешимый барометр: это расходы по взиманию налогов. За семь лет расходы по взиманию налогов сократились в Монрейльском округе на три четверти, – тогдашний министр финансов де Виллель часто приводил этот округ в пример другим.

Таково было состояние края, когда Фантина вернулась на родину. Все давно забыли ее. К счастью, двери фабрики Мадлена были гостеприимно раскрыты для всех желающих. Она явилась туда, и ее приняли в женскую мастерскую. Ремесло было для Фантины совершенно новым, она не могла проявить особого мастерства и зарабатывала очень мало, но ей хватало и этого; главная задача была разрешена: она жила своим трудом.

## Глава восьмая.

## Госпожа Виктюрньен тратит тридцать пять франков во имя нравственности

Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, она воспряла духом. Жить честным трудом – какая это милость неба! В самом деле, к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы, о многом забыла, стала думать теперь только о Козетте и возможном будущем и зажила

почти счастливо. Она сняла комнатку и омеблировала ее в кредит, в расчете на будущий заработок; в этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни.

Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке.

В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардье. Но писать она не умела, а научилась только подписывать свое имя, и ей приходилось для переписки с ними обращаться к писцу.

Писала она часто. Это было замечено. В женской мастерской начали поговаривать о том, что Фантина «пишет письма» и что она «завела шашни».

Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего. «Почему этот господин выходит только в сумерки? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему та дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому. Почему она посылает за почтовой бумагой, когда дома у нее „полным-полно" этой бумаги?» и т. п., и т. п. Есть особы, которые, ради того чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря, совершенно им безразличных, расходуют больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел; и все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням, часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, задаривать горничную, давать на чай привратнику. Для чего? Да просто так. Из страстного желания увидеть, узнать, раскопать. Из непреодолимой потребности разболтать. А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротства, разоряют целые семейства, разбивают жизни, к великой радости того, кто «раскрыл все» без всякой выгоды для себя, повинуясь одному лишь инстинкту. И это очень печально.

Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей напоминают камины, быстро пожирающие дрова; они требуют много топлива, а топливо – это ближний.

Итак, за Фантиной стали наблюдать.

Многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам.

Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а возможно, и о человеке, которого любила когда-то.

Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, – мучительный и трудный процесс.

Было установлено, что она пишет письма не реже двух раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу, и оплачивает их почтовым сбором. Ухитрились узнать и адрес: «Милостивому государю, господину Тенардье, трактирщику в Монфермейле». Выпытали все в кабачке у писца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного вина без того, чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фантины есть ребенок. «Судя по всему, это шлюха». Нашлась кумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардье и, вернувшись, сказала: «Я истратила тридцать пять франков, зато все узнала. Я видела ребенка!»

Эта кумушка была мегера по имени г-жа Виктюрньен, блюстительница и опекунша всеобщей добродетели. Г-же Виктюрньен было пятьдесят шесть лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер брюзжащий. Как ни странно, когда-то эта женщина была молода. В молодости, в самый разгар 93-го года, она вышла замуж

за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была худющая, злющая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть покойного монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Во время Реставрации она стала святошей, столь ревностной, что священники простили ей ее монаха. У нее сохранилась землица, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в Аррасском епископстве. Вот эта-то самая г-жа Виктюрньен съездила в Монфермейль и вернулась со словами: «Я видела ребенка».

На все это ушло немало времени. Фантина уже больше года работала на фабрике, как вдруг, однажды утром, надзирательница мастерской вручила ей от имени мэра пятьдесят франков и, заявив, что она уволена, посоветовала ей, также от имени мэра, уехать из города.

Это случилось в тот месяц, когда супруги Тенардье, которые уже получали двенадцать франков вместо первоначальных шести, только что потребовали пятнадцать франков вместо двенадцати.

Фантина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. Пятидесяти франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фантина к тому же была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она покинула мастерскую и пошла домой. Итак, теперь ее проступок был известен всем.

Фантина чувствовала, что она не в силах защищаться. Кто-то посоветовал ей обратиться к мэру; она не посмела. Мэр дал ей пятьдесят франков, потому что был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорилась этому приговору.

## Глава девятая.
## Торжество госпожи Виктюрньен

Итак, вдова монаха тоже на что-нибудь да пригодилась.

Между тем сам Мадлен ничего не знал обо всей этой истории. Жизнь изобилует такими сложными сплетениями обстоятельств! Мадлен почти никогда не заходил в женскую мастерскую. Во главе этой мастерской он поставил старую деву, рекомендованную ему местным кюре, и вполне доверял этой надзирательнице, которая действительно была вполне почтенной, справедливой и неподкупной особой весьма твердых правил, исполненной милосердия, но того милосердия, которое, не отказывая в подаянии, не возвысилось, однако, до умения понимать и прощать. Мадлен во всем полагался на нее. Лучшие из людей часто бывают вынуждены передавать свои полномочия другим. И вот, облеченная всей полнотой власти и вполне убежденная в своей правоте, надзирательница произвела следствие, разобрала дело, осудила и наказала Фантину.

Пятьдесят франков она взяла из суммы, которая была предоставлена Мадленом в ее полное и безотчетное распоряжение для выдачи пособий и для вспомоществования нуждающимся работницам.

Фантина стала искать места служанки; она ходила из дома в дом. Никто не хотел ее брать. Уехать из города она не могла. Старьевщик, которому она задолжала за мебель – и какую мебель! – сказал ей: «Если вы вздумаете сбежать, вас арестуют, как воровку». Домохозяин, которому она задолжала за квартиру, сказал ей: «Вы молоды и красивы, значит, можете заплатить». Она разделила между домохозяином и старьевщиком свои пятьдесят франков, вернула торговцу три четверти обстановки, сохранив лишь самое необходимое, и осталась без работы, без всякого общественного положения, не имея ничего, кроме кровати, и все-таки обремененная долгом приблизительно в сто франков.

Она принялась шить грубые рубахи для солдат гарнизона, зарабатывая двенадцать су в день. Содержание дочери стоило ей десять су. Именно в это время она и начала неаккуратно платить Тенардье.

Тогда же старушка, у которой она, возвращаясь домой по вечерам, зажигала свечку, научила ее искусству жить в нищете. Вслед за умением довольствоваться малым идет умение жить ничем. Это как бы две комнаты: в первой темно, во второй непроглядный мрак.

Фантина узнала, как зимой обходятся без дров, как отказываются от птички, которая за два дня съедает у вас проса на целый лиар, как превращают юбку в одеяло, одеяло в юбку, как берегут свечу, ужиная при свете, падающем из окна противоположного дома. Мы и не подозреваем, как много умеют извлечь из одного су иные слабые создания, состарившиеся в честности и в нужде. В конце концов такое умение становится талантом. Фантина приобрела этот высокий талант и приободрилась.

Как-то раз она сказала соседке: «Знаете что? Если я буду спать не больше пяти часов, а все остальное время заниматься шитьем, мне все-таки удастся кое-как заработать на хлеб. И потом, когда человеку грустно, он и ест меньше. Что ж! Страдания, тревога и кусочек хлеба, с одной стороны, огорчения – с другой, все это вполне насытит меня».

Жить вместе с Козеттой было бы для Фантины в ее отчаянном положении величайшим счастьем. Она хотела было поехать за ней. Но разве это возможно? Заставить ребенка делить ее лишения? И потом она ведь должна Тенардье! Как рассчитаться с ними? А деньги на дорогу! Где взять их?

Старушка по имени Маргарита, которая, если можно так выразиться, давала ей уроки нищенского существования, была святая женщина, истинно набожная, бедная, но всегда готовая помочь беднякам и даже богачам, грамотная ровно настолько, чтобы уметь подписать: Моргорита, если была в этом надобность, но верившая в бога, что является высшей ученостью.

Внизу, на дне, много таких праведниц; когда-нибудь они будут наверху. Эта жизнь имеет свое «завтра».

В первое время Фантине было так стыдно, что она не решалась выйти из дому.

Когда она шла по улице, ей казалось, что люди смотрят ей вслед и показывают на нее пальцем; все смотрели на нее, но никто не здоровался; едкое и холодное презрение прохожих пронизывало ее тело и душу, как струя ледяного ветра.

В маленьких городках несчастная женщина чувствует себя словно обнаженной под насмешливыми и любопытными взглядами толпы. В Париже вас по крайней мере никто не знает, и эта безвестность заменяет одежду. О, как хотелось Фантине вернуться в Париж! Но это было невозможно.

Волей-неволей пришлось привыкать к потере уважения, как она уже привыкла к нищете. Мало-помалу она примирилась и с этим. Месяца через два она осмелела и как ни в чем не бывало выходила на улицу… «Мне все равно», – говорила она.

И шла, высоко подняв голову, с горькой улыбкой на губах, чувствуя сама, что становится бесстыдной.

Госпожа Виктюрньен видела из окна Фантину, когда та проходила мимо, видела, в каком жалком состоянии находится «эта тварь», поставленная благодаря ей «на надлежащее место», и торжествовала. У злых людей – свои, подлые радости.

Непосильная работа изнуряла Фантину: сухой кашель, который был у нее и прежде, усилился. Иногда она говорила соседке: «Пощупайте, какие у меня горячие руки».

И все-таки по утрам, когда она расчесывала старым сломанным гребнем свои чудные волосы, пушистые и мягкие, как шелк, она испытывала приятное чувство удовлетворенного женского тщеславия.

## Глава десятая.

## Последствия торжества

Ее уволили с фабрики в конце зимы; прошло лето, снова наступила зима. Чем короче день, тем меньше успеваешь сделать. Зимой нет тепла, нет света, нет полудня, вечер сливается с утром, туман, сумерки, окошко серо, в него ничего не видно. Небо – словно пробоина во мраке, а день – как темный подвал. У солнца нищенский вид. Ужасное время года! Зима все превращает в камень – и влагу небесную, и сердце человеческое. Кредиторы не давали Фантине покоя.

Она зарабатывала слишком мало. Долги все росли. Тенардье, неаккуратно получавшие деньги, забрасывали ее письмами; содержание их приводило ее в отчаяние, а уплата почтовых сборов разоряла. Однажды они написали, что ее маленькая Козетта ходит в холода чуть не голой, что ей необходима шерстяная юбка и что мать должна прислать не меньше десяти франков. Получив письмо, Фантина весь день не выпускала его из рук. Вечером она зашла к цирюльнику, заведение которого находилось на углу, и вынула из прически гребень. Чудесные белокурые волосы покрыли ее до пояса.

– Какие замечательные волосы! – вскричал цирюльник.

– А сколько бы вы дали мне за них? – спросила она.

– Десять франков.

– Стригите.

Она купила вязаную юбку и отослала ее Тенардье.

Эта юбка привела супругов Тенардье в ярость. Они хотели получить деньги. Юбку они отдали Эпонине Бедный Жаворонок продолжал зябнуть.

Фантина думала. «Теперь моей детке тепло. Я одела ее своими волосами». Она начала носить маленькие круглые чепчики, закрывавшие ее стриженую голову; она все еще была красива.

Черное дело свершалось в сердце Фантины Лишившись отрады расчесывать волосы, она возненавидела все окружающее. Она долгое время разделяла всеобщее глубокое уважение к дядюшке Мадлену; однако, без конца повторяя про себя, что это он выгнал ее с фабрики и что именно он является причиной всех ее бед, она начала ненавидеть и его – его-то больше всех. Проходя мимо фабрики в те часы, когда рабочие толпились у ворот, она нарочно старалась громко смеяться и петь.

Услыхав однажды это пение и этот смех, старуха работница сказала про нее: «Ну, эта девушка плохо кончит».

И вот, со злобой в сердце, словно бросая кому-то вызов, она завела любовника, первого встречного, человека, которого она вовсе не любила. Это был негодяй, бродячий музыкант, проходимец; он бил ее и вскоре бросил с таким же отвращением, с каким она сошлась с ним.

Она обожала своего ребенка.

Чем ниже она опускалась, чем темнее становилось все вокруг нее, тем ярче сиял в глубине ее души образ этого кроткого ангелочка. Она говорила: «Когда я разбогатею, моя Козетта будет со мной» – и смеялась от радости. Кашель привязался к ней, и она часто обливалась потом.

Однажды она получила от Тенардье письмо такого содержания: «Козетта заболела заразной болезнью, которая ходит у нас по всей округе. Это сыпная горячка, как ее называют. Нужны дорогие лекарства. Они нас совсем разорили, и мы больше не в состоянии покупать их. Если в течение недели вы не пришлете сорок франков, девочка умрет».

Фантина громко расхохоталась и сказала старухе соседке:

– Они сошли с ума! Сорок франков! Сколько это? Два наполеондора! Где же мне взять их? До чего глупы эти крестьяне!

Она вышла на лестницу и, подойдя к слуховому окошку, перечитала письмо еще раз.

Потом она спустилась с лестницы и вприпрыжку побежала по улице, все еще продолжая хохотать.

Прохожий, попавшийся ей навстречу, спросил ее:

– Чего это вы так развеселились? Она ответила:

– Да так, получила глупое письмо из деревни. Просят прислать сорок франков. Одно слово – крестьяне!

Проходя по площади, она увидела множество людей, окружавших какую-то повозку странной формы; на империале ее стоял и разглагольствовал человек, одетый в красное. Это был шарлатан-дантист, разъезжавший из города в город и предлагавший публике вставные челюсти, разные порошки, мази и эликсиры.

Фантина замешалась в толпу и принялась, как все, хохотать над его напыщенной речью, уснащенной воровскими словечками для черни и ученой тарабарщиной для чистой публики. Внезапно зубодер заметил эту красивую смеющуюся девушку и крикнул:

– Эй ты, хохотунья! У тебя красивые зубки! Уступи мне два твоих резца, и я дам тебе по наполеондору за каждый.

– Что это еще за резцы? – спросила Фантина.

– Резцы, – важно отвечал зубной лекарь, – это передние зубы Два верхних зуба.

– Какой ужас! – вскричала Фантина.

– Два наполеондора! – прошамкала беззубая старуха, стоявшая сзади. – Везет же людям!

Фантина убежала и заткнула уши, чтобы не слышать хриплого голоса дантиста, который кричал ей вслед:

– Поразмысли, красотка! Два наполеондора на улице не валяются. Если надумаешь, приходи вечером в трактир «Серебряная палуба», я буду там.

Фантина вернулась домой рассерженная и рассказала о случившемся своей доброй соседке Маргарите.

– Вы только представьте себе! Это какой-то изверг. И как только таким людям позволяют разъезжать по городам? Вырвать у меня два передних зуба! Да ведь я стану уродом! Волосы могут еще отрасти, но зубы! Чудовище! Да я лучше соглашусь броситься вниз головой с шестого этажа! Он сказал, что вечером будет в «Серебряной палубе».

– Сколько же он тебе предложил? – спросила Маргарита.

– Два наполеондора.

– Это сорок франков.

– Да, – сказала Фантина, – это сорок франков.

Она задумалась и принялась за работу. Через четверть часа она бросила шитье и вышла на лестницу, чтобы перечитать письмо Тенардье.

Вернувшись, она спросила у Маргариты, работавшей рядом с ней:

– Скажите, вы не знаете, что это такое – сыпная горячка?

– Знаю, – ответила престарелая девица, – это такая болезнь.

– И на нее требуется много лекарств?

– О да! Страшно много.

– А что при этом болит?

– Да все болит, все тело.

– И к детям она, значит, тоже пристает?

– К детям-то всего чаще.

– А от нее умирают?

– Сколько угодно, – ответила Маргарита. Фантина спустилась по лестнице и еще раз перечитала письмо.

Вечером она вышла из дому. Люди видели, что она направилась в сторону Парижской улицы, где были трактиры.

На следующее утро, когда Маргарита, как обычно, чуть свет вошла в комнату Фантины, где они всегда работали вместе, чтобы не жечь второй свечки, девушка сидела на постели бледная, вся застывшая. Видно было, что она не ложилась. Чепчик лежал у нее на коленях. Свеча горела всю ночь, от нее остался лишь маленький огарок.

Потрясенная этим чудовищным нарушением обычного порядка, Маргарита остановилась на пороге.

– Господи помилуй! – воскликнула она. – Вся свечка сгорела! Видно, случилось недоброе!

Она посмотрела на Фантину, повернувшую к ней свою стриженою голову.

За эту ночь Фантина постарела на десять лет.

– Иисусе! – изумилась Маргарита. – Что с тобой случилось, Фантина?

– Ничего, – ответила Фантина. – Напротив, теперь все хорошо. Моя девочка не умрет от этой ужасной болезни, у нее будут лекарства. Я довольна.

С этими словами она показала старой деве два наполеондора, блестевшие на столе.

– Господи Иисусе! – снова вскричала Маргарита – Да ведь это целое богатство! Где же ты взяла эти золотые?

– Достала, – ответила Фантина и улыбнулась. Свеча осветила ее лицо. Это была кровавая улыбка. Красноватая слюна показалась в углах губ, а во рту зияла черная дыра.

Два передних зуба были вырваны.

Она отослала в Монфермейль сорок франков.

А между тем со стороны Тенардье это была хитрость, чтобы выманить деньги. Козетта была здорова.

Фантина выбросила зеркало за окошко. Она давно уже перебралась из своей комнатки на третьем этаже в мансарду под самой крышей, запиравшуюся только на щеколду, в одну из тех конур, где потолок, спускаясь к половицам, образует угол и где на каждом шагу вы ударяетесь об него головой. Бедняк может дойти до конца своей комнаты, так же как и до конца своей судьбы, лишь все ниже и ниже нагибаясь. У Фантины уже не было кровати, у нее оставалась только какая-то рвань, которую она называла одеялом, тюфяк, валявшийся на голом полу, да разодранный соломенный стул. Забытый в углу маленький розан засох. В глиняном кувшине из-под масла, в другом углу, теперь была вода; зимой вода замерзала, и различный ее уровень долго оставался отмеченным на его стенках ледяными кольцами. Потеряв стыд, Фан-тина потеряла и кокетливость. Это была последняя грань. Она стала выходить на улицу в грязных чепчиках. За недостатком времени, а быть может, из равнодушия, она перестала чинить свое белье. Когда пятки на чулках прорывались, она подворачивала носки, – это было заметно по некрасивым сборкам над башмаками. Свой старый изношенный корсаж она чинила лоскутками коленкора, которые рвались при каждом движении. Кредиторы устраивали ей скандалы и ни на минуту не оставляли ее в покое. Они ловили ее на улице, они ловили ее на лестнице. Она проводила в слезах и думах целые ночи. Глаза у нее блестели, она ощущала постоянную боль в спине, в верхушке левой лопатки. Она сильно кашляла. Она ненавидела дядюшку Мадлена и никому не жаловалась. Она шила по семнадцать часов в сутки, но вдруг подрядчик, ведавший работой заключенных женщин и заставлявший их трудиться за очень низкую плату, сбавил цену на рубашки настолько, что оплата рабочего дня вольной швеи свелась к девяти су. Семнадцать часов работы за девять су! Кредиторы Фантины стали безжалостнее, чем когда-либо. Старьевщик, который забрал у нее почти всю обстановку, все повторял: «Когда же ты

мне заплатишь, негодная?» Господи боже! Чего хотели от нее все эти люди? Она чувствовала себя затравленной, в ней стали развиваться инстинкты, присущие дикому зверю. Тенардье написал ей, что. право же, он был чересчур добр, ожидая так долго, что ему нужны сто франков, и притом немедленно; в противном случае он вышвырнет Козетту, хотя она только еще оправляется после тяжелой болезни, на холод, на улицу, а там – будь что будет, пусть околевает, это ее дело. «Сто франков! – подумала Фантина. – Но разве есть ремесло, которое может дать сто су в день?»

– Ну что ж, – сказала она. – Продадим остальное.

И несчастная стала публичной женщиной.

## Глава одиннадцатая.
## Christus nos liberavit[26]

Что же такое представляет собой история Фантины? Это история общества, покупающего рабыню.

У кого? У нищеты.

У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у лишений. Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение.

Святой завет Иисуса Христа правит нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что европейская цивилизация упразднила рабство. Это заблуждение. Оно все еще существует, но теперь его тяжесть падает только на женщину, имя его – проституция.

Его тяжесть падает на женщину, то есть на грацию, на слабость, на красоту, на материнство. Это позор для мужчины, и при этом величайший позор.

В том акте горестной драмы, к которому мы подошли в нашем повествовании, уже ничего не осталось от прежней Фантины. Окунувшись в грязь, женщина превращается в камень. Прикосновение к ней пронизывает холодом. Она проходит мимо вас, она терпит вас, но она вас не знает; она обесчещена, и она сурова. Жизнь и общественный строй сказали ей свое последнее слово. С ней уже случилось все, что было ей отпущено на всю жизнь. Она все перечувствовала, все перенесла, все испытала, все перестрадала, все утратила, все оплакала. Она покорилась судьбе с той покорностью, которая так же похожа на равнодушие, как смерть похожа на сон. Она ничего больше не избегает. Она ничего больше не боится. Пусть разверзнутся над ней хляби, небесные, пусть прокатит над ней свои воды весь океан! Что ей до этого? Она – губка, насыщенная до предела.

Так по крайней мере кажется ей самой, но человек ошибается, если думает, что возможно исчерпать свою судьбу и что чаша его выпита до дна.

Что же представляют собой все эти судьбы, гонимые вперед? Куда они идут? И почему они такие, а не иные?

Тот, кому это ведомо, видит весь этот мрак.

Он один. Имя ему – бог.

## Глава двенадцатая.
## Досуги господина Баматабуа

Во всех маленьких городках, в Монрейле – Приморском – в частности, всегда есть особая порода молодых людей, которые в провинции проедают свои полторы тысячи ливров ренты с таким видом, с каким все им подобные пожирают в Париже двести тысяч франков в год. Это существа, относящиеся к многочисленным видам пустоцветов, – это круглые нули, паразиты, ничтожества, у которых есть немного земли, немного глупости и немного ума; люди, которые в гостиной показались бы деревенщиной, а в кабаке считают себя аристократами, которые говорят: «Мои луга, мои леса, мои крестьяне», освистывают актрис в театре, чтобы показать, что они люди со вкусом, и задирают гарнизонных офицеров, чтобы доказать, что они люди храбрые, охотятся, курят, зевают, пьют, пахнут табаком, играют на бильярде, глазеют на

приезжих, когда те выходят из дилижанса, днюют и ночуют в кофейнях, обедают в трактире, держат собаку, которая грызет кости у них под столом, и любовницу, которая накрывает на стол, торгуются из-за гроша, утрируют моду, восхищаются трагедией, презирают женщин, донашивают старые сапоги до дыр, подражают Лондону, глядя на него сквозь призму Парижа, и Парижу, глядя на него сквозь призму Понт-а-Мусон, к старости окончательно тупеют, ничего не делают, ни на что не годны, но особого вреда не приносят.

Феликс Толомьес, несомненно, был бы одним из таких господ, если бы он никогда не выезжал из своей провинции и ни разу не побывал в Париже.

Будь они богаче, про них сказали бы: «Это щеголи». Будь они победнее, про них сказали бы: «Это лодыри». Но в сущности говоря, это просто бездельники. Среди таких бездельников есть скучные, есть скучающие, есть мечтатели; попадаются и негодяи.

В те времена щеголь состоял из высокого воротничка, широкого галстука, часов с брелоками, трех разноцветных жилетов, надетых один на другой, причем синий и красный надевались снизу, из оливкового фрака с короткой талией, длинными заостренными фалдами и двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных очень тесно и доходящих до самых плеч, а также из более светлых, тоже оливковых, панталон, украшенных по швам неопределенным, но всегда нечетным числом шелковых кантов, от одного до одиннадцати, – предел, которого никто не переступал. Присоедините к этому полусапожки с железными подковками на каблуках, цилиндр с узкими полями. волосы, взбитые копной, огромную трость и речь, расцвеченную каламбурами Потье. Вдобавок ко всему – усы и шпоры. Усы в те годы являлись отличительным признаком штатских лиц, шпоры – пешеходов.

У провинциального франта шпоры бывали длиннее, а усы свирепее.

Это происходило во времена борьбы южноамериканских республик с испанским королем, борьбы Боливара с Морильо. Шляпы с узкими полями составляли принадлежность роялистов и назывались «морильо»; либералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название «боливаров».

Месяцев через восемь после того, о чем было рассказано на предыдущих страницах, в первых числах января 1823 года, вечером, на улице, покрытой только что выпавшим снегом, один из этих франтов, из этих бездельников, человек «благонамеренный», ибо голова у него была увенчана «морильо», закутанный в широкий теплый плащ, довершавший в зимнюю пору модный наряд, забавлялся тем, что поддразнивал некое создание женского пола, разгуливавшее в открытом бальном платье и с цветами на голове перед витриной офицерской кофейни. Франт курил сигару, ибо таково было решительное требование моды.

Всякий раз как женщина проходила мимо него, он пускал ей в лицо вместе с облаком сигарного дыма какое-нибудь замечание, казавшееся ему верхом остроумия и веселости, как, например – «Вот так уродина! Да уберешься ли ты наконец? Эх ты, беззубая!» и т. п. и т. п. Звали франта господин Баматабуа. Женщина, уныло разряженное привидение, сновавшее взад и вперед по снегу, – не отвечала ему, даже не смотрела на него и молча, с мрачной настойчивостью, продолжала свою прогулку, каждые пять минут снова и снова подвергаясь его насмешкам, словно осужденный солдат, прогоняемый сквозь строй. Такое невнимание, должно быть, раздосадовало шалопая; воспользовавшись моментом, когда она повернулась к нему спиной, он подкрался к ней сзади, нагнулся, давясь хохотом, схватил пригоршню снега и внезапно сунул его за вырез платья, между ее обнаженными лопатками. Девушка испустила дикий вопль, обернулась и, как пантера, бросилась на мужчину, впиваясь ему в лицо ногтями и обливая его потоком отборной брани, которой могла бы позавидовать пьяная солдатня. Эти ругательства, выкрикиваемые осипшим от водки голосом, вылетали из обезображенного рта, в котором действительно недоставало двух передних зубов. То была Фантина.

На шум из кофейни гурьбой высыпали офицеры, столпились прохожие, и вокруг живого клубка, в котором трудно было разобрать, где был мужчина и где женщина, образовался

широкий круг зрителей, хохотавших, гикавших, хлопавших в ладоши; мужчина отбивался, шляпа с него слетела, а женщина колотила его ногами и кулаками, рыча от ярости, беззубая, простоволосая, стриженая, вся посиневшая, страшная.

Внезапно от толпы отделился высокий человек, схватил женщину за лиф ее атласного, забрызганного грязью платья и сказал:

– Иди за мной.

Женщина подняла голову, и ее истошный крик внезапно оборвался. Глаза ее остекленели, посиневшее лицо стало мертвенно-бледным, она задрожала от ужаса. Она узнала Жавера.

Франт воспользовался этим обстоятельством и улизнул.

## Глава тринадцатая.

## Разрешение некоторых вопросов, находящихся в ведении муниципальной полиции

Жавер раздвинул толпу, прорвал сомкнутый круг и широким шагом направился к находившемуся на противоположном конце площади полицейскому участку, таща за собой несчастную женщину. Она машинально повиновалась ему. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Тьма-тьмущая зевак шла за ними следом в полном восторге, отпуская грубые шутки. Чем глубже несчастье, тем больше поводов для сквернословия.

Дойдя до полицейского участка, представлявшего собой отапливаемую печкой и охраняемую постовыми низкую комнату со стеклянной зарешеченной дверью, выходившей прямо на улицу, Жавер отворил дверь и, войдя вместе с Фантиной, закрыл ее за собой, к великому разочарованию любопытных, которые, встав на цыпочки и вытянув шею, заглядывали в мутное стекло караульни, пытаясь что-нибудь увидеть. Любопытство подобно чревоугодию. Увидеть – все равно что полакомиться.

Войдя в комнату, Фантина, неподвижная и безмолвная, опустилась на пол в углу, съежившись, как испуганная собачонка.

Караульный сержант принес зажженную свечу и поставил на стол. Жавер сел, вынул из кармана листок гербовой бумаги и принялся писать.

Этот разряд женщин всецело отдан нашим законодательством во власть полиции. Она делает с ними все, что хочет, наказывает их, как ей угодно, и по своему усмотрению отнимает у них два печальных блага, которые они называют своим ремеслом и своей свободой. Жавер казался бесстрастным, его суровое лицо не выдавало никаких чувств. Между тем он был серьезно и глубоко озабочен. Наступила одна из тех минут, когда он бесконтрольно, но отдавая полный отчет строгому суду собственной совести, должен был проявить грозную и неограниченную власть. В эту минуту – он сознавал это – табурет простого агента полиции становился судилищем. Он творил суд. Творил суд и выносил приговор. Он напрягал все свои умственные способности, чтобы как можно лучше разрешить трудную задачу, стоявшую перед ним. Чем глубже он вникал в дело этой женщины, тем глубже становилось его возмущение. Только что он сам был свидетелем преступного действия, это было несомненно. Он сам видел на улице, как общество в лице домовладельца и избирателя подверглось нападению и оскорблению со стороны выброшенной за борт твари. Проститутка посягнула на буржуа. Он сам видел это, он, Жавер. Он молча писал.

Кончив, он поставил свою подпись, сложил бумагу и, вручив ее сержанту, сказал:

– Возьмите трех солдат и отведите эту девку в тюрьму. – И, обернувшись к Фантине, добавил: – Ты отсидишь шесть месяцев.

Несчастная задрожала.

– Шесть месяцев! Шесть месяцев тюрьмы! – вскричала она. – Шесть месяцев зарабатывать семь су в день! Что же будет с Козеттой? С моей дочкой! С моей дочкой! Но ведь

я и так должна Тенардье больше ста франков, знаете ли вы об этом, господин полицейский надзиратель?

Она поползла к нему на коленях по мокрому каменному полу, истоптанному грязными сапогами всех этих людей.

– Господин Жавер! – говорила она, в отчаянии ломая руки. – Умоляю вас, пощадите меня! Уверяю вас, я не виновата. Если бы вы были там с самого начала, вы бы сами увидели, что я говорю правду! Клянусь богом, я не виновата. Этот господин, которого я не знаю, ни с того ни с сего сунул мне ком снега за ворот платья. Разве разрешается совать снег за ворот, когда мы ходим по улице и никого не трогаем? Меня всю так и перевернуло. Я, видите ли, не совсем здорова! А потом он и до этого довольно долго говорил мне разные обидные слова. Уродина! Беззубая! Я и без того знаю, что у меня нет зубов. Я ничего не делала, я думала про себя: «Ну что ж, господин забавляется». Я вела себя с ним хорошо, я с ним не разговаривала. Но он сунул мне снег за шиворот. Господин Жавер, добрый господин надзиратель! Неужели же там, за дверью, не найдется ни одного человека, который видел, как было дело, и мог бы подтвердить, что это правда? Может быть, нехорошо, что я рассердилась. Но знаете, в первую минуту не владеешь собой. Бывает, и погорячишься. И когда вам на спину неожиданно попадает что-нибудь холодное… Я виновата, что испортила шляпу этого господина. Зачем он ушел? Я бы попросила у него прощения. О господи. мне это ничего не стоит, я бы попросила у него прощения. Помилуйте меня на этот раз, господин Жавер. Послушайте, вы же знаете, в тюрьме зарабатывают только семь су в день, правительство в этом не виновато, но там зарабатывают только по семь су в день, а ведь я, вы можете себе представить, я ведь должна выплатить сто франков, или мне привезут мою крошку. Боже всемогущий! Я не могу взять ее к себе. То, что я делаю, так гадко! О моя Козетта, мой ангелочек, что только с ней будет, с моей бедной деткой! Вы знаете, эти Тенардье – крестьяне, трактирщики, их не урезонишь. Подайте им деньги, и никаких разговоров. Не сажайте меня в тюрьму! Ведь мою крошку сейчас же выбросят вон, на большую дорогу, иди куда глаза глядят, зимой! Вы должны сжалиться над ней, вы добрый, господин Жавер. Если бы она была постарше, она бы сама зарабатывала себе на жизнь, но она еще не может, она ведь совсем маленькая. В конце концов я не такая уж дурная женщина. Не подлость и не жадность сделали из меня то, чем я стала. Если я пила водку, то с горя. Я совсем ее не люблю, но она как-то оглушает. Когда мне лучше жилось, вам стоило бы только заглянуть в мои шкафы, и вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница и что я люблю порядок. У меня и белье было, много белья. Сжальтесь надо мной, господин Жавер!

Не поднимаясь с колен, согнувшись чуть не до самого пола, сотрясаясь от рыданий, ничего не видя от застилавших глаза слез, с полуобнаженной грудью, ломая руки и кашляя сухим отрывистым кашлем, она говорила тихо, словно умирающая. Великая скорбь – это божественный и грозный луч, преображающий лица несчастных. В эту минуту Фантина снова была прекрасна. Время от времени она умолкала и кротко целовала у сыщика полу сюртука. Она смягчила бы каменное сердце, но деревянное сердце смягчить нельзя.

– Ну, – сказал Жавер, – довольно, я выслушал тебя! Ты все сказала? Теперь ступай. Ты отсидишь шесть месяцев, сам бог не сможет тут ничего поделать.

При этих торжественных словах: «Сам бог не сможет тут ничего поделать», она поняла, что приговор произнесен. Она приникла к полу и прошептала:

– Смилуйтесь!

Жавер повернулся к ней спиной.

Солдаты схватили ее за руки.

За несколько минут до того, никем не замеченный, в комнату вошел человек Закрыв за собой дверь и прислонившись к ней, он слышал отчаянные мольбы Фантины.

В тот миг, когда солдаты схватили несчастную женщину, не желавшую подняться с пола, он шагнул вперед, выступил из мрака и сказал:

– Подождите!

Жавер поднял глаза и узнал Мадлена. Он снял шляпу и поклонился ему принужденно и с досадой.

– Извините, господин мэр… – начал он.

Это обращение «господин мэр» произвело на Фантину странное действие. Она вскочила, вытянулась во весь рост, словно привидение, выросшее из-под земли, обеими руками оттолкнула солдат, которые не успели ее удержать, вплотную подошла к Мадлену. устремила на него помутившийся взгляд, выкрикнула:

– Ах, вот что! Так это ты – господин мэр?

И, разразившись хохотом, плюнула ему в лицо.

Мадлен вытер лицо и сказал:

– Инспектор Жавер! Отпустите эту женщину на свободу.

Жаверу показалось, что он сходит с ума. В эту минуту он испытал, и почти одновременно, самые сильные душевные потрясения, какие ему когда-либо выпадали на долю. Увидеть своими глазами, как публичная женщина плюет в лицо мэру, это было столь чудовищно, что он счел бы святотатством одну мысль о возможности такого факта. В глубине души он с отвращением сопоставлял то, чем была эта женщина, с тем, чем, может статься, некогда был этот мэр, и к его ужасу совершившееся преступление начинало представляться ему вполне естественным. Когда же мэр, этот государственный чиновник, спокойно вытер лицо и сказал: «Отпустите эту женщину на свободу», в голове у него все смешалось; он лишился дара мысли и дара речи; доступный ему предел изумления был превзойден. Он онемел.

Не менее странное действие произвела эта фраза и на Фантину. Она подняла голую руку и схватилась за печную заслонку, словно у нее вдруг закружилась голова. Потом оглянулась по сторонам и заговорила тихо, словно про себя:

– На свободу! Меня отпустят! Значит, я не сяду в тюрьму на шесть месяцев! Кто это сказал? Не может быть, чтобы кто-нибудь сказал это. Я, наверно, ослышалась. Этот изверг мэр не мог сказать такую вещь! Дорогой господин Жавер! Ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу? Знаете что, я расскажу вам все, и тогда вы позволите мне уйти. Этот изверг, этот старый негодяй мэр один виноват во всем. Вообразите, господин Жавер: он выгнал меня из мастерской только из-за сплетен каких-то негодниц. Ну разве это не чудовищно! Уволить бедную девушку, которая честно живет своим трудом! И тогда я стала зарабатывать слишком мало денег, с этого-то и начались все несчастья. Прежде всего вам, господам полицейским, следовало бы ввести одно улучшение – вам бы надо запретить тюремным подрядчикам причинять вред бедным людям. Сейчас я вам объясню, в чем дело. Вы зарабатываете шитьем рубах двенадцать су, вдруг заработок падает до девяти су, и вы никак не можете прожить на это. Ну и живи, как знаешь. А ведь у меня моя маленькая Козетта, вот мне и пришлось волей-неволей стать дурной женщиной. Теперь вы понимаете, что во всем виноват этот подлый мэр. Правда, я растоптала перед офицерской кофейней шляпу того господина, но ведь он сунул мне ком снега за ворот и испортил платье. А у нашей сестры только и есть одно шелковое платье, чтобы надевать по вечерам. Поверьте, господин Жавер: я никогда умышленно не делала зла, и все-таки кругом я вижу столько женщин, которые гораздо хуже меня, а живут они гораздо лучше. О господин Жавер! Ведь это вы сказали, чтобы меня отпустили? Правда? Наведите справки, спросите у моего квартирного хозяина, теперь я вовремя вношу квартирную плату, все скажут вам, что я честная женщина. Ой, господи! Простите меня, я нечаянно дотронулась до заслонки и надымила.

Мадлен слушал ее с глубоким вниманием. Пока она говорила, он успел пошарить в своем кармане, вытащить оттуда кошелек и открыть его. Кошелек оказался пустым. Он спрятал его в карман и спросил Фантину.

– Сколько, вы говорите, у вас долгу?

Фантина, не сводившая глаз с Жавера, тут обернулась к нему.

– Не с тобой говорят!

И обратилась к солдатам:

– Вы видели, ребята, как я плюнула ему в лицо? А, старый мошенник мэр, ты пришел сюда, чтобы напугать меня, а я тебя не боюсь! Я боюсь только господина Жавера, доброго господина Жавера!

Потом она снова обратилась к Жаверу:

– Видите ли, господин полицейский надзиратель, надо все-таки быть справедливым. Я понимаю, что вы человек справедливый, господин надзиратель. В самом деле, все это очень просто, мужчина для забавы сунул женщине за ворот снегу и насмешил господ офицеров, – надо же людям чем-нибудь развлекаться, ведь такие, как я, только для этого и существуют на свете! А потом приходите вы, – вы должны ведь навести порядок; вот вы и уводите женщину, которая провинилась; но так как вы человек добрый, то, поразмыслив, вы сказали, чтобы меня отпустили на свободу; это ради малютки, ведь если бы вы посадили меня на полгода в тюрьму, я не могла бы кормить мою крошку. Но смотри больше не попадайся, чертовка! О, больше я не попадусь, господин Жавер! Пусть делают со мной все что угодно, я и не пикну. Сегодня, видите ли, я закричала потому, что мне стало нехорошо, я не ожидала, что этот господин сунет мне снегу за ворот, и потом, я уже говорила вам, я не совсем здорова, я кашляю, и здесь, в желудке, у меня словно клубок какой-то, так и жжет. Доктор сказал мне: «Лечитесь». Да вот, дотроньтесь, дайте руку, не бойтесь, вот здесь…

Она больше не плакала, голос ее звучал кротко, она прижимала к своей нежной белой груди грубую ручищу Жавера и смотрела на него с улыбкой.

Вдруг она быстро поправила платье, опустила задравшуюся почти до колен юбку и пошла к двери. Дружески кивая головой солдатам, она проговорила вполголоса:

– Ну, ребята, господин надзиратель сказал, чтобы меня отпустили. Я ухожу.

Она положила руку на щеколду. Еще один шаг, и она была бы на улице.

До этой минуты Жавер стоял неподвижно, уставив глаза в пол; он был похож на сдвинутую с места, поставленную боком статую, которая ждет, чтобы ее куда-нибудь убрали.

Стук щеколды пробудил его. Он поднял голову, лицо его выражало сознание своей неограниченной власти – выражение, тем более пугающее, чем ниже стоит обладатель этой власти: свирепое у дикого зверя, жестокое у ничтожного человека.

– Сержант! – крикнул он. – Разве вы не видите, что эта мерзавка уходит? Кто вам разрешил отпустить ее?

– Я, – сказал Мадлен.

Услышав голос Жавера, Фантина задрожала и выпустила щеколду, подобно тому как пойманный вор выпускает из рук только что украденную вещь. Услышав голос Мадлена, она обернулась; не произнося ни слова, не осмеливаясь даже вздохнуть полной грудью, она в зависимости от того, кто говорил, переводила взгляд с Мадлена на Жавера, с Жавера на Мадлена.

Было ясно, что Жавер, как говорится, совершенно «спятил», если позволил себе сказать сержанту то, что он сказал, после приказания мэра отпустить Фантину на свободу. Дошел ли он до того, что забыл о присутствии мэра? Решил ли, что «начальство» не могло отдать такого приказания и что господин мэр попросту оговорился? А может быть, перед лицом чудовищных событий, которые в течение последних двух часов разыгрывались у него на глазах, он убедил

себя, что надо решиться на крайние меры, что необходимо низшему стать высшим, сыщику сделаться чиновником, представителю полиции превратиться в представителя юстиции и что при создавшемся исключительном положении порядок, законность, нравственность, правительство – словом, все общество в целом олицетворяется в нем одном, в Жавере?

Как бы там ни было, но когда Мадлен произнес: «Я», полицейский надзиратель Жавер обернулся к мэру, бледный, застывший, с посиневшими губами и полным отчаяния взглядом, весь дрожа едва заметной мелкой дрожью, и – неслыханное дело! – сказал, опустив глаза, но твердым голосом:

– Господин мэр! Это невозможно.

– Как так? – спросил Мадлен.

– Эта дрянь оскорбила почтенного горожанина.

– Полицейский надзиратель Жавер, – возразил Мадлен примирительным и спокойным тоном, – послушайте. Вы честный человек, и мы легко поймем друг друга. Вот как обстояло дело. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину; там еще оставались люди, я расспросил их и все узнал. Виноват был этот господин, и по-настоящему полиции следовало арестовать именно его.

Жавер ответил:

– Эта мерзавка только что оскорбила вас, господин мэр.

– Это мое дело, – возразил Мадлен. – Оскорбление касается, по-моему, только меня. Я могу отнестись к нему, как мне угодно.

– Прошу прощения, господин мэр, но оскорбление вашей особы касается не только вас, оно касается правосудия.

– Полицейский надзиратель Жавер! – возразил Мадлен. – Высшее правосудие – это совесть. Я слышал рассказ этой женщины и знаю, что я делаю.

– А я, господин мэр, не знаю, верить ли мне своим глазам.

– В таком случае ограничьтесь повиновением.

– Я повинуюсь долгу. Мой долг требует посадить эту женщину в тюрьму на шесть месяцев.

Мадлен мягко ответил ему:

– Запомните хорошенько: она не проведет в тюрьме ни одного дня.

После этого решительного заявления Жавер отважился пристально взглянуть на мэра и сказал ему своим прежним, глубоко почтительным тоном:

– Мне очень жаль, что я должен ослушаться господина мэра, это первый раз в моей жизни, но осмелюсь заметить, что я действую в пределах своих полномочий. Ограничусь, если так угодно господину мэру, случаем, касающимся этого горожанина. Я был там. Эта самая девка набросилась на господина Баматабуа, избирателя и домовладельца. Ему принадлежит красивый дом с балконом, что на углу площади, четырехэтажный, из тесаного камня. Вот что бывает на белом свете! Как хотите, господин мэр, а этот проступок, подлежащий ведению уличной полиции, за которую отвечаю я, и я арестую девицу Фантину.

Тогда Мадлен скрестил руки на груди и произнес таким суровым тоном, каким он никогда еще в этом городе не говорил:

– Проступок, о котором вы говорите, подлежит рассмотрению муниципальной полиции. Согласно статье девятой, одиннадцатой, пятнадцатой и шестьдесят шестой свода уголовных законов, подобные проступки подсудны мне. Приказываю отпустить эту женщину на свободу.

Жавер хотел было сделать еще одну последнюю попытку:

– Однако, господин мэр…

– Что касается вас, то напоминаю вам статью восемьдесят первую закона от тринадцатого декабря тысяча семьсот девяносто девятого года о произвольном аресте.

– Позвольте, господин мэр…

– Ни слова больше.

– Но я…

– Ступайте, – сказал Мадлен.

Жавер принял этот удар грудью, как русский солдат, не дрогнув, не опустив глаза. Он низко поклонился господину мэру и вышел.

Фантина, посторонившись, застыла у дверей, изумленно глядя ему вслед.

Она тоже была во власти странного смятения. Только что здесь из-за нее происходил как бы поединок двух враждебных сил. На ее глазах боролись два человека, которые держали в руках ее свободу, ее жизнь, ее душу, ее ребенка; один из этих людей тянул ее в сторону мрака, другой возвращал к свету. Она смотрела на борьбу этих людей расширенными от страха глазами, и ей казалось, что перед ней два исполина; один говорил, как ее злой дух, другой – как добрый ангел. Ангел победил злого духа, и этим ангелом, – вот что заставляло ее дрожать с головы до ног, – этим освободителем оказался тот самый человек, которого она ненавидела, тот самый мэр, которого она так долго считала виновником всех своих бедствий, тот самый Мадлен! И он спас ее в ту именно минуту, когда она нанесла ему такое ужасное оскорбление! Неужели она ошиблась? Неужели ей предстояло переделать всю свою душу?.. Она не знала, что думать, она трепетала. Она слушала, она смотрела, ошеломленная, растерянная, и чувствовала, как с каждым словом Мадлена в ней тает и рассеивается чудовищный мрак ненависти, как отогревается ее сердце и как зарождается в нем что-то неизъяснимое, таящее в себе радость, доверие и любовь.

Когда Жавер вышел, Мадлен обернулся к ней и медленно, с трудом выговаривая каждое слово, как человек выдержанный, который не хочет дать волю слезам, сказал ей:

– Я слышал ваш рассказ. Я ничего не знал об этом Думаю, что все это правда, больше того: чувствую, что все это правда. Я не знал даже, что вы ушли из моей мастерской. Отчего же вы не обратились ко мне? Впрочем, теперь уж об этом нечего говорить; я заплачу ваши долги, я пошлю за вашим ребенком или вы сами поедете к нему. Вы будете жить здесь или в Париже, где захотите. Я беру на себя заботу о вашем ребенке и о вас. Вы не будете больше работать, если не пожелаете сами. Я буду давать вам столько денег, сколько понадобится. Вы снова будете счастливы, а став счастливой, снова станете честной. Более того, – слушайте, я это утверждаю – если только все было так, как вы говорите, а я в этом не сомневаюсь, то вы никогда и не переставали быть чистой и непорочной перед богом. О бедная женщина!

Это было свыше сил бедной Фантины. Взять к себе Козетту! Бросить эту гнусную жизнь! Жить свободно, богато, счастливо, честно и с Козеттой! Внезапно увидеть, как посреди ее горестей расцветает райское блаженство! Она взглянула на человека, который говорил ей все это, почти бессмысленным взглядом и могла лишь простонать: «О – о-о!» Ноги у нее подкосились, она упала на колени перед Мадленом, и, прежде чем он успел помешать ей, он почувствовал, как она схватила его руку и припала к ней губами.

Тут она лишилась сознания.

## Книга шестая

## Жавер

### Глава первая.

### Начало умиротворения

Мадлен велел перенести Фантину в больницу, устроенную им в том доме, где – жил он сам, и поручил ее сестрам – те сразу же уложили ее в постель. У нее открылась сильнейшая горячка. Почти всю ночь она была без памяти и громко бредила. Однако под утро она все же уснула.

На другой день около полудня Фантина проснулась и услышала у своей постели, совсем близко, чье-то дыхание; она отвернула полог и увидела стоявшего подле нее Мадлена, – он устремил взгляд куда-то поверх ее головы. Взгляд этот был полон тревоги и сострадания и молил о чем-то. Она проследила направление этого взгляда и увидела, что он был обращен к висевшему на стене распятию.

Отныне Мадлен совершенно преобразился в глазах Фантины. Ей казалось, что от него исходит сияние. Видимо, он был погружен в молитву. Она долго смотрела на него, не осмеливаясь нарушить его задумчивость. Наконец она робко проговорила:

– Что это вы делаете?

Мадлен стоял здесь уже целый час. Он ждал, когда Фантина проснется. Взяв ее руку, он пощупал пульс и спросил:

– Как вы себя чувствуете?

– Хорошо, я немного поспала, – ответила она, – кажется, мне лучше. Это скоро пройдет.

Отвечая на вопрос, который она задала ему вначале, и как будто только что услышав его, он сказал:

– Я молился страдальцу, который там, на небесах.

И мысленно добавил: «За страдалицу, которая здесь, на земле».

Ночь и утро Мадлен провел в розысках. Теперь он знал все. История Фантины стала известна ему во всех ее душераздирающих подробностях. Он продолжал:

– Вы много выстрадали, бедная мать. О, не сетуйте, ваш удел – удел избранных! Именно таким путем люди создают ангелов. Люди не виноваты: они не умеют делать это по-иному. Тот ад, из которого вы вышли, – начало рая. Пройти через него было необходимо.

Он глубоко вздохнул. А она улыбалась ему своей особенной улыбкой, которой недостаток двух передних зубов придавал высшую красоту.

Этой же ночью Жавер написал письмо. Утром он сам сдал это письмо в почтовую контору Монрейля – Приморского. Оно было адресовано в Париж, надпись на конверте гласила: «Господину Шабулье, секретарю префекта полиции». Так как происшествие в полицейском участке получило широкую огласку, почтмейстерша и еще несколько человек, видевшие письмо до того, как оно было отправлено, и узнавшие на конверте почерк Жавера, решили, что он посылает прошение об отставке.

Мадлен поспешил написать супругам Тенардье. Фантина задолжала им сто двадцать франков. Он послал триста, с тем чтобы они взяли себе причитающуюся им сумму, а на остальные немедленно привезли ребенка в Монрейль – Приморский, где его ожидает больная мать.

Тенардье был потрясен.

– Черт побери, – сказал он жене, – мы не выпустим из рук ребенка. Вот когда эта пичуга превратится в дойную корову! Я догадываюсь, в чем тут дело. Какой-нибудь простофиля втюрился в мамашу.

Он прислал в ответ искусно составленный счет на пятьсот с чем-то франков. В этом счете фигурировали два других неоспоримых счета, один от врача, другой от аптекаря, которые лечили и снабжали лекарствами Эпонину и Азельму, перенесших длительную болезнь. А Козетта, как мы уже говорили, была здорова. Пришлось сделать лишь маленькую подтасовку имен. Под счетом Тенардье приписал: «Получено в счет долга триста франков».

Мадлен немедленно послал еще триста франков и написал: «Поскорее привезите Козетту».

– Черта с два! – сказал Тенардье. – Нет, мы не выпустим из рук ребенка.

Между тем Фантина все не поправлялась. Она по-прежнему лежала в больнице.

Вначале сестры приняли «эту девку» и ухаживали за ней с брезгливым чувством. Кто видел барельефы в Реймском соборе, тот помнит, как презрительно оттопырены губы дев мудрых, взирающих на дев неразумных. Это извечное презрение весталок к блудницам вытекает из чувства женского достоинства. Сестры оказались во власти этого глубочайшего инстинкта, еще усиленного в них набожностью. Однако Фантина очень быстро обезоружила их. Все ее слова были проникнуты кротостью и смирением, страстная материнская любовь невольно смягчала сердце. Однажды сестры услышали, как она громко бредила в жару:

– Я была грешницей, но когда ко мне вернется мое дитя, это будет означать, что бог простил меня. Пока я вела дурную жизнь, мне не хотелось, чтобы моя Козетта была со мной, я не могла бы вынести ее удивленного и грустного взгляда. Но ведь я грешила ради нее, вот почему бог прощает меня. Когда Козетта будет здесь, я почувствую на себе благословение божие. Я взгляну на нее, и при виде этого невинного создания мне станет легче. Она ничего еще не знает. Понимаете, сестрицы? Ведь это ангел. Пока они такие маленькие, крылышки у них не отпадают.

Мадлен навещал ее два раза в день, и всякий раз она спрашивала его:

– Скоро я увижу мою Козетту?

Он отвечал:

– Возможно, что завтра утром. Я жду ее приезда с минуты на минуту.

Бледное лицо матери сияло.

– О, как я буду счастлива! – говорила она.

Мы уже сказали, что она не поправлялась. Напротив, состояние ее как будто ухудшалось с каждой неделей. Этот ком снега, попавший ей на голую спину между лопаток, вызвал внезапное исчезновение испарины, и болезнь, назревавшая в ней в течение нескольких лет, вдруг разразилась с необычайной силой. В то время при исследовании и лечении грудных болезней уже начинали руководствоваться полезными советами Лаэнека. Врач выслушал Фантину и покачал головой.

Мадлен спросил врача:

– Ну как?

– У нее, кажется, есть ребенок, которого она хочет видеть? – вопросом на вопрос ответил врач.

– Да.

– Так поторопитесь с его приездом.

Мадлен вздрогнул.

Фантина спросила у него:

– Что сказал врач?

Сделав над собой усилие, Мадлен улыбнулся.

– Он сказал, что надо поскорее послать за вашим ребенком и что это вылечит вас.

– О да! – воскликнула она. – Он прав. Почему только Тенардье так долго держат у себя мою Козетту? Но она приедет. О, наконец-то счастье близко, оно тут, я уже вижу его!

Тенардье, однако, «не выпускал ребенка из рук» и все увиливал. То Козетта не совсем здорова и нельзя ей пускаться в путь зимой То ему надо получить в деревне мелкие просроченные долги и т. д., и т. д.

– Я пошлю кого-нибудь за Козеттой, – сказал Мадлен – А если понадобится, поеду сам.

Под диктовку Фантины он написал следующее письмо, которое дал ей подписать:

*«Господин Тенардье!*

*Отдайте Козетту подателю сего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены.*

*Остаюсь уважающая вас*

Фантина».

Тем временем произошло важное событие. Тщетно пытаемся мы как можно искуснее обтесывать таинственную глыбу – нашу жизнь. Черная жилка рока неизменно проступает на ее поверхности.

## Глава вторая.
## Каким образом Жан может превратиться в Шана

Однажды утром, когда Мадлен сидел у себя в кабинете и занимался приведением в порядок некоторых срочных дел мэрии на случай своей поездки в Монфермейль, ему сказали, что с ним желает говорить полицейский надзиратель Жавер. Услышав это имя, Мадлен не мог подавить в себе неприятное чувство. Со времени происшествия в полицейском участке Жавер избегал его более чем когда-либо, и с тех пор Мадлен ни разу его не видел.

– Пусть войдет, – сказал он.

Жавер вошел.

Мадлен продолжал сидеть у камина, с пером в руке, не поднимая глаз от папки с протоколами о нарушении порядка на общественных дорогах, которую он просматривал, делая пометки. При появлении Жавера он не переменил позы. Он невольно вспомнил о бедной Фантине и счел уместным проявить холодность.

Жавер почтительно поклонился г-ну мэру, который сидел к нему спиной. Мэр не обернулся и продолжал делать пометки на бумагах.

Жавер сделал два-три шага вперед и молча остановился.

Физиономист, хорошо знакомый с натурой Жавера и в течение долгого времени изучавший этого дикаря, состоявшего на службе у цивилизации, это странное сочетание римлянина, спартанца, монаха и солдафона, этого неспособного на ложь шпиона и непорочного сыщика, – физиономист, которому была бы известна его затаенная и давняя ненависть к Мадлену и его столкновение с мэром из-за Фантины, непременно сказал бы себе, наблюдая Жавера в эту минуту: «Что-то случилось». Всякому человеку, знающему его совесть, непоколебимую, ясную, искреннюю, честную, суровую и свирепую, стало бы ясно, что во внутренней жизни Жавера только что произошло какое-то крупное событие. Все, что лежало на душе у Жавера, немедленно отражалось и на его лице. Как все люди с сильными страстями, он был подвержен резким сменам настроения, но никогда еще выражение его лица не было так необычно и так странно. Войдя, он поклонился Мадлену, причем во взгляде его не было сейчас ни злобы, ни гнева, ни подозрительности; он остановился в нескольких шагах от мэра, за его креслом, и теперь стоял почти навытяжку с непритворным и суровым хладнокровием человека, который никогда не отличался кротостью, но всегда обладал терпением; полный непоказного смирения и спокойной покорности, он ждал без единого слова и жеста, когда г-ну мэру угодно будет обернуться, ждал невозмутимый, серьезный, сняв шапку и опустив глаза, словно солдат перед офицером или преступник перед судьей. Все чувства и все воспоминания, какие можно было в нем угадать, исчезли. На этом лице, простом и непроницаемом, как гранит, не было теперь ничего, кроме угрюмой печали. Все его существо выражало приниженность, решимость и какое-то мужественное уныние.

Наконец мэр положил перо и, полуобернувшись, спросил:

– Ну! Что такое? В чем дело, Жавер?

Жавер молчал, словно собираясь с мыслями, потом заговорил с грустной торжественностью, не лишенной, однако, простодушия:

– Дело в том, господин мэр, что совершено преступление.

– Какое?

– Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу и притом самым грубым образом. Считаю своим долгом довести об этом до вашего сведения.

– Кто этот низший чин администрации? – спросил Мадлен.

– Я, – сказал Жавер.

– Вы?

– Я.

– А кто же то должностное лицо, которое имеет основания быть недовольным этим низшим чином?

– Вы, господин мэр.

Мадлен приподнялся. С суровым видом, по-прежнему не поднимая глаз, Жавер продолжал:

– Господин мэр! Я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения.

Мадлен в изумлении хотел было что-то сказать, но Жавер прервал его:

– Вы скажете, что я мог бы подать в отставку и сам. Но этого недостаточно. Подать в отставку – это почетно. Я совершил проступок, я должен быть наказан. Надо, чтобы меня выгнали.

Помолчав, он добавил:

– Господин мэр! В прошлый раз вы были несправедливы, когда обошлись со мной так строго. Сегодня это будет справедливо.

– Да почему? За что? – вскричал Мадлен. – Что за вздор! Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступление? Что вы мне сделали? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили…

– Выгнали, – поправил его Жавер.

– Хорошо, выгнали. Пусть будет так. Но я не понимаю…

– Сейчас поймете, господин мэр. Жавер глубоко вздохнул и продолжал все так же холодно и печально:

– Господин мэр! Полтора месяца назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости, и я донес на вас.

– Донесли?

– Да. В полицейскую префектуру Парижа.

Мадлен, смеявшийся почти так же редко, как Жавер, вдруг рассмеялся.

– Как на мэра, вмешавшегося в распоряжения полиции?

– Нет, как на бывшего каторжника.

Мэр сделался бледен, как полотно.

Жавер, все еще не поднимая глаз, продолжал:

– Я думал, что это так. У меня давно уже были подозрения Сходство, справки, которые вы наводили в Фавероле, ваша необыкновенная физическая сила, история со стариком Фошлеваном, ваше искусство в стрельбе, нога, которую вы слегка волочите, что-то еще… всякие мелочи! Так или иначе, я принимал вас за некоего Жана Вальжана.

– За… Как вы его назвали?

– За Жана Вальжана Это каторжник, которого я видел двадцать лет назад, когда служил помощником надзирателя на тулонских галерах. Говорят, что по выходе из острога Жан Вальжан обокрал епископа, потом совершил еще одно вооруженное нападение – ограбил на большой дороге маленького савояра. Восемь лет тому назад он каким-то образом скрылся, его

разыскивали. Я и вообразил себе… Словом, я это сделал. Гнев подтолкнул меня, и я донес на вас в префектуру.

Мадлен уже несколько минут снова занимался своими протоколами; тут он спросил с выражением полнейшего равнодушия:

– И что же вам ответили?

– Что я сошел с ума.

– Ну?

– Ну, и они были правы.

– Хорошо, что вы сами это сознаете!

– Еще бы не сознавать, когда настоящий Жан Вальжан нашелся.

Листок бумаги, который держал Мадлен, выскользнул у него из рук; он поднял голову, пристально посмотрел на Жавера и сказал с непередаваемым выражением:

– Ах, вот как!

Жавер продолжал:

– Вот как это было, господин мэр. Говорят, что в нашем округе, возле Альи – Высокая – Колокольня, жил старикашка по имени Шанматье. Это был настоящий голяк, и никто не замечал его. Неизвестно, на что живет этот народец. И вот недавно, нынешней осенью, дядю Шанматье арестовали за кражу яблок, из которых готовят сидр, совершенную им у… впрочем, это неважно. Там имели место кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. И вот нашего Шанматье поймали с поличным: ветка яблони так и осталась у него в руке. Негодяя сажают в кутузку. Пока что дело пахло исправительным домом, не больше. Но тут-то и вмешивается провидение. Местная тюрьма была в плохом состоянии, и судебный следователь счел нужным перевести Шанматье в Аррас, в департаментскую тюрьму. В этой самой аррасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не знаю, право, за что его там держат, но за хорошее поведение он назначен старостой камеры. Так вот, господин мэр, не успел этот Шанматье войти туда, как Бреве закричал: «Эге! Я знаю этого человека. Это старый острожник. Погляди-ка на меня, дружище! Ты – Жан Вальжан!..» – «Жан Вальжан? Какой Жан Вальжан?» – Шанматье прикидывается удивленным. «Не валяй дурака, – говорит Бреве, – Ты – Жан Вальжан! Двадцать лет назад ты был на каторге в Тулоне. И я был там вместе с тобой». Шанматье отпирается. Еще бы! Вы, конечно, понимаете почему! Начинается расследование. Раскапывают всю эту историю. И вот что обнаружилось. Тридцать лет назад этот самый Шанматье был подрезальщиком деревьев в разных местах, в том числе в Фавероле. Тут его след пропадает. Однако спустя долгое время он снова появляется в Оверни, потом в Париже, где, по его словам, он был тележником и где у него дочь-прачка, что не доказано, и, наконец, он появляется в этих краях. Ну-с, кем же б+л Жан Вальжан до того, как попал на каторгу за кражу? Подрезальщиком деревьев. Где? В Фавероле. Еще одно обстоятельство. При крещении Вальжану было дано имя Жан, а его мать носила до замужества фамилию Матье. Вполне естественно будет предположить, что по выходе с каторги он, чтобы скрыть прошлое, принял фамилию матери и назвался Жан Матье. Он отправляется в Овернь. Имя Жан местное произношение превращает в Шан, и его начинают называть Шан Матье. Наш приятель не возражает, и вот вам – Шанматье! Вы следите за моим рассказом? Навели справки в Фавероле. Семьи Жана Вальжана там уже не оказалось. Где она, неизвестно. Знаете, среди людей этого класса нередки исчезновения целого семейства. Вы ищете, но его уже и след простыл. Если эти люди не грязь, то они – пыль. От начала этих событий прошло тридцать лет, и в Фавероле нет теперь никого, кто бы помнил Жана Вальжана. Обращаются за справками в Тулон. Кроме Бреве, остались только два каторжника, которые когда-то видели Жана Вальжана Это приговоренные к пожизненной каторге Кошпай и Шенильдье. Их выписывают с каторги и привозят в Аррас. Устраивают им очную ставку с так называемым Шанматье. У них нет сомнений, Для них, как и для Бреве, это Жан Вальжан. Тот же возраст – ему пятьдесят четыре

года, тот же рост, та же наружность, – словом, тот же человек, тот самый. Как раз в это время я и послал донос в парижскую префектуру. Мне ответили, что я сошел с ума и что Жан Вальжан находится в Аррасе в руках полиции. Вы понимаете, как это удивило меня? Ведь я-то считал, что этот Жан Вальжан здесь и что я держу его в руках! Я написал судебному следователю. Он вызвал меня, мне показали Шанматье…

– И что же? – прервал его Мадлен.

Лицо Жавера, не умевшего лгать, было печально, Он ответил:

– Господин мэр! Правда есть правда. Мне очень досадно, но этот человек, несомненно, Жан Вальжан. Я тоже узнал его.

– Вы уверены в этом? – спросил Мадлен очень тихо.

Жавер рассмеялся тем горьким смехом, который невольно вырывается у человека, глубоко убежденного в своей правоте.

– Еще бы!

Задумавшись, он машинально перебирал пальцами в песочнице, стоявшей на столе, мелкий песок для просушки чернил, затем добавил:

– И теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я и сам не понимаю, как я мог думать иначе. Простите меня, господин мэр.

Обращая эти значительные, молящие о прощении слова к тому, кто полтора месяца назад унизил его в полицейском участке, сказав в присутствии всех: «Ступайте!», Жавер, этот высокомерный человек, был сейчас, сам того не сознавая, исполнен простоты и достоинства. Мадлен ответил на его просьбу следующим внезапным вопросом:

– А что говорит этот человек?

– Да что уж, господин мэр, его дело плохо! Если это Жан Вальжан, тут рецидив. Перепрыгнуть через забор, сломать ветку, стянуть несколько яблок – для ребенка это шалость, для взрослого проступок, для каторжника преступление. Это кража, и притом за оградой владений. Тут уж пахнет не исправительной полицией, а судом присяжных. Не несколькими днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. А тут еще история с маленьким савояром, которая, надеюсь, всплывет. Черт побери, тут есть от чего открещиваться, не так ли? Да, для всякого другого, но не для Жана Вальжана. Жан Вальжан – хитрая бестия! Вот еще одна черта, по которой я его узнаю. Другой почуял бы, что тут можно обжечься, стал бы бесноваться, кричать – и котелок закипает, когда ставишь его на огонь, – другой не согласился бы стать Жаном Вальжаном и так далее и тому подобное. А этот делает вид, что ничего не понимает, и говорит: «Я Шанматье, я не был на каторге!» Он прикидывается удивленным, он разыгрывает из себя тупицу, и это куда умнее. О, это ловкая шельма! Ну да все равно, доказательства налицо. Его опознали четыре человека. Старый мошенник будет осужден. Дело передано в аррасский суд! Я еду туда. Меня вызывают свидетелем.

Между тем Мадлен, снова повернувшись к письменному столу, спокойно разбирал бумаги, читая их – и делая пометки с видом сильно занятого человека. Наконец он обратился к Жаверу:

– Ну, довольно, Жавер. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Вот что, Жавер, немедленно сходите к тетушке Бюзопье, которая торгует зеленью на углу улицы Сен-Сольв, и скажите ей, чтобы она подала жалобу на возчика Пьера Шенелонга. Этот скот едва не раздавил своей телегой ее и ее ребенка. Он должен понести наказание. Затем пойдите к господину Шарселе – улица Монтр-де-Шампиньи. Он жалуется, что дождевая вода из водосточной трубы соседа стекает прямо под фундамент его дома и размывает его. Затем проверьте, действительно ли имеют место нарушения полицейских правил в домах вдовы Дорис на улице Гибур и госпожи Рене ле Босе на улице Гаро – Блан, и составьте протоколы. Впрочем, я даю вам слишком много поручений.

Вы ведь, кажется, собираетесь уезжать? Если не ошибаюсь, вы сказали, что дней через восемь или через десять едете в Аррас по этому делу?..

– Нет, господин мэр, раньше.

– Когда же?

– По-моему, я уже говорил вам, господин мэр: дело разбирается в суде завтра, я еду сегодня с вечерним дилижансом.

Мадлен сделал едва уловимое движение.

– И сколько времени оно продлится?

– Самое большее – день. Приговор будет вынесен не позже чем завтра вечером. Но я не буду ждать приговора. Тут дело верное. Дам показание и сейчас же вернусь.

– Хорошо, – сказал Мадлен и жестом отпустил Жавера.

Однако Жавер не уходил.

– Господин мэр! – сказал он.

– Что еще? – спросил Мадлен.

– Господин мэр! Мне остается напомнить вам об одном обстоятельстве.

– О каком?

– О том, что я должен быть уволен со службы.

Мадлен встал.

– Жавер! Вы честный человек, и я уважаю вас. Вы преувеличиваете свою вину. К тому же это оскорбление касается только меня. Жавер! Вы заслуживаете повышения, а не понижения. Я настаиваю на том, чтобы вы остались на своем месте.

Жавер взглянул на Мадлена своим правдивым взглядом, сквозь который словно просвечивала его немудрая, но чистая и неподкупная совесть, и спокойно возразил:

– Я не могу согласиться с вами, господин мэр.

– Повторяю, это касается только меня, – сказал Мадлен.

Но Жавер, поглощенный все той же мыслью, продолжал:

– Я же ничего не преувеличил. Вот как я рассуждаю. Я несправедливо заподозрил вас. Но это еще ничего. Подозревать – наше право, право полиции: хотя подозревать лиц, стоящих выше себя, – в этом, пожалуй, кроется уже некоторое беззаконие. Но вот, не имея доказательств, в порыве гнева, из мести, я донес на вас как на каторжника, на вас, почтенного человека, мэра, на должностное лицо! Это предосудительно, весьма предосудительно. В вашем лице я, представитель власти, оскорбил власть! Если бы кто-либо из моих подчиненных сделал то, что сделал я, я счел бы его недостойным служить в полиции и выгнал бы со службы. И что же? – спросите вы. Так вот, послушайте, господин мэр, еще два слова. Я в своей жизни частенько бывал строг. По отношению к другим. Это было справедливо. Я поступал правильно. И если бы теперь я не оказался строг по отношению к самому себе, все то справедливое, что я делал, стало бы несправедливым. Разве я имею право щадить себя больше, нежели других? Нет. Как! Значит, я был годен лишь на то, чтобы карать всех, кроме самого себя? Но в таком случае я был бы презренным человеком! Но в таком случае все те, которые говорят: «Что за подлец этот Жавер!», оказались бы правы! Господин мэр! Я не хочу, чтобы вы были добры ко мне; ваша доброта испортила мне немало крови, когда она была обращена на других, и мне, Жаверу, она не нужна. Доброта, которая отдает предпочтение публичной девке перед почтенным горожанином, агенту полиции перед мэром, тому, кто внизу, перед тем, кто наверху, – такую доброту я считаю дурной добротой. Именно эта доброта и разрушает общественный строй. Боже мой! Быть добрым очень легко, быть справедливым – вот что трудно! Окажись вы тем, за кого я вас принимал, – ого! я бы уж не был добр с вами; вы бы тогда увидели! Господин мэр! Я обязан поступить с самим собой так же, как поступил бы со

всяким другим. Преследуя злодеев и расправляясь с негодяями, я часто повторял себе: «Смотри у меня! Если ты споткнешься, если только я поймаю тебя на каком-нибудь промахе, пощады не жди!» И вот я споткнулся, я сам совершил промах. Ну что ж! Уволен, прогнан, вышвырнут! Поделом! У меня есть руки, пойду землю пахать, ни от какой работы не откажусь. Господин мэр! Интересы службы требуют, чтобы был показан пример. И я прошу об увольнении полицейского надзирателя Жавера.

Все это было произнесено смиренным, гордым, безнадежным и убежденным тоном, придававшим своеобразное величие этому необычному поборнику чести.

– Посмотрим, – проговорил Мадлен и протянул ему руку.

Жавер отступил и произнес непримиримо суровым тоном:

– Прошу прощения, господин мэр, но это недопустимо. Мэр не подает руки доносчику.

– Да, доносчику! – добавил он сквозь зубы. – С той минуты, как я употребил во зло полицейскую власть, я не более как доносчик.

Тут он низко поклонился и направился к выходу.

В дверях он обернулся и сказал, по-прежнему не поднимая глаз:

– Господин мэр! Я не оставлю службы до тех пор, пока не назначат заместителя.

Он вышел. Мадлен долго сидел в задумчивости, прислушиваясь к твердым и уверенным шагам, постепенно затихавшим на каменных плитах коридора.

# Книга седьмая

# Дело Шанматье

## Глава первая.

## Сестра Симплиция

Не все происшествия, о которых сейчас пойдет речь, стали известны в Монрейле – Приморском, но и то немногое, что проникло туда, оставило в этом городе такое яркое воспоминание, что в нашей книге оказался бы большой пробел, если бы мы не рассказали о них во всех подробностях.

Среди этих подробностей читатель встретит обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине.

После посещения Жавера, около полудня, Мадлен, как обычно, отправился навестить Фантину.

Прежде чем войти в ее палату, он вызвал к себе сестру Симплицию.

Две монахини, служившие сиделками в больнице, были, как и все сестры милосердия, лазаристками. Одну из них звали сестра Перепетуя, другую – сестра Симплиция.

Сестра Перепетуя, попросту сиделка, была самая обыкновенная крестьянка, поступившая в услужение к богу, как она поступила бы на всякое другое место. Она пошла в монахини, как идут в кухарки. Подобный тип далеко не редкость. Монашеские ордена охотно прибирают к рукам грубую мужицкую глину, из которой нетрудно вылепить что угодно: и капуцина и урсулинку. Деревенщину обычно посылают на черную работу благочестия. Превращение волопаса в кармелита совершается очень просто; волопас становится кармелитом без особых затруднений; невежество, объединяющее деревню и монастырь, быстро подготовляет почву для сближения и сразу уравнивает сельского жителя с монахом. Блуза поширевот вам и ряса. Сестра Перепетуя была здоровенная монахиня родом из Марин близ Понтуаза; дерзкая, честная и краснощекая, она говорила на языке простонародья, бормотала псалмы, брюзжала, подслащивала лекарственный отвар, в зависимости от степени ханжества или лицемерия пациента, грубила больным, ворчала на умирающих, приставала к ним с господом богом и сердито глушила их агонию молитвами.

Сестра Симплиция была бела чистейшей белизною воска. Рядом с сестрой Перепетуей она напоминала восковую свечу, стоящую возле сальной. Венсен де Поль превосходно запечатлел образ сестры милосердия в тех прекрасных словах, где слиты воедино безграничная свобода и полное порабощение: «Не будет у них иной обители – кроме больницы, иной кельи – кроме угла, сдающегося внаем, иной часовни – кроме приходской церкви, иного монастырского двора – кроме улицы города или же больничной палаты, иной ограды – кроме послушания, иной решетки – кроме страха божия, иного покрывала – кроме скромности». Сестра Симплиция являлась олицетворением этого идеала. Никто не знал, сколько сестре Симплиции лет; она никогда не была молода и, казалось, никогда не будет старой. Это была особа – мы не смеем сказать «женщина» – кроткая, строгая, хорошо воспитанная, холодная, не солгавшая ни разу в жизни. Она была до того кротка, что казалась хрупкой, и в то же время была крепче гранита. Она прикасалась к страждущим чудесными пальцами, тонкими и прозрачными. От ее речей словно веяло тишиной; она говорила ровно столько, сколько было необходимо; звук ее голоса в одинаковой степени мог бы наставить грешника в исповедальне и очаровать слушателя в светской гостиной. И это нежное создание охотно мирилось с грубым шерстяным платьем, чувствуя в его жестком прикосновении постоянное напоминание о небесах и о боге. Подчеркнем одну особенность. Полная неспособность лгать, полная неспособность сказать, даже по необходимости, даже невольно, что бы то ни было, не соответствующее истине, – такова была отличительная черта характера сестры Симплиции, такова была высшая ее добродетель. Эта непоколебимая правдивость снискала ей славу чуть ли не во всей конгрегации. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме к глухонемому Масье. «Как бы искренни, как бы чисты мы ни были, в нашей правдивости всегда можно найти трещинку – трещинку мелкой невинной лжи. Но только не у сестры Симплиции». Мелкая ложь, невинная ложь – да полно, существует ли она! Ложь – это воплощение зла. Солгать чуть-чуть – невозможно; тот, кто лжет, лжет до конца; ложь-это олицетворение дьявола; у Сатаны есть два имени: он зовется Сатаной, и он зовется Ложью. Так думала она. И как думала, так и поступала. Отсюда и проистекала та чистейшая белизна, о которой мы уже говорили, – белизна, сияние которой распространялось даже на ее уста и глаза. У нее была сияющая чистотой улыбка, у нее был сияющий чистотой взгляд. В окне этой совести не было ни одной паутинки, ни одной пылинки. Вступая в общину Сен – Венсен де Поль, она приняла имя Симплиции, и выбор ее был не случаен. Как известно, Симплиция Сицилийская – это та святая, которая дала вырвать себе обе груди, но, будучи уроженкой Сиракуз, не согласилась сказать, что родилась в Сежесте, хотя эта ложь спасла бы ее. Она была подходящей заступницей для этой святой души.

У сестры Симплиции, когда она вступала в общину, были две слабости, от которых она постепенно избавилась: она питала пристрастие к лакомствам и любила получать письма. Она никогда ничего не читала, кроме молитвенника, написанного крупным шрифтом по-латыни. Она не понимала латыни, но понимала молитвенник.

Благочестивая девушка привязалась к Фантине, очевидно, чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя почти исключительно уходу за ней.

Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и каким-то странным тоном, который припомнился сестре несколько позже, попросил ее позаботиться о Фантине.

Переговорив с сестрой, он подошел к Фантине.

Фантина каждый день ждала появления Мадлена, как ждут солнечного луча, несущего с собой тепло и радость Она говорила сестрам: «Я только тогда в живу, когда приходит господин мэр».

В этот день ее сильно лихорадило Увидев Мадлена, она сейчас же спросила:

– А Козетта?

– Скоро, – ответил он, улыбаясь.

Мадлен держал себя с Фантиной как обычно. Только вместо получаса он, к великому удовольствию Фантины, просидел целый час. Он тысячу раз повторил окружающим, что больная ни в чем не должка нуждаться. Все заметили, что на минуту лицо его стало очень мрачным. Однако это объяснилось, когда узнали, что врач, нагнувшись, шепнул ему на ухо: «Ей значительно хуже».

Затем он вернулся в мэрию, и конторщик видел, как он, внимательно изучив дорожную карту Франции, висевшую у него в кабинете, карандашом записал на клочке бумаги какие-то цифры.

## Глава вторая.
## Проницательность дядюшки Скофлера

Из мэрии он направился на другой конец города, к некоему фламандцу Скауфлеру, а на французский лад – Скофлеру, который отдавал внаем лошадей и «кабриолеты по желанию».

Чтобы кратчайшим путем добраться до этого Скофлера, надо было идти по безлюдной улице, где находился церковный дом того прихода, к которому принадлежал Мадлен. По слухам, священник этого прихода был человек достойный и почтенный, умевший при случае подать добрый совет. В ту минуту, когда Мадлен поравнялся с церковным домом, на улице был только один прохожий, и этот прохожий заметил следующее: уже миновав дом священника, г-н мэр остановился, постоял, потом вернулся и дошел до ворот этого дома; в воротах была калитка с железным стукальцем; он быстро взялся за стукальце и приподнял его, потом снова остановился и как бы замер в раздумье, однако по прошествии нескольких секунд, вместо того чтобы громко пост±чать, он тихонько опустил стукальце и пошел дальше с поспешностью, какой до того не обнаруживал.

Мадлен застал Скофлера дома, за починкой сбруи.

– Дядюшка Скофлер! – сказал он. – Есть у вас хорошая лошадь?

– У меня все лошади хорошие, господин мэр, – возразил фламандец. – Что значит, по-вашему, «хорошая лошадь»?

– Такая, которая могла бы пробежать двадцать лье за один день.

– Черт возьми! – воскликнул фламандец. – Двадцать лье!

– Да.

– Запряженная в кабриолет?

– Да.

– А сколько времени она будет отдыхать после такого конца?

– Если понадобится, она должна быть в состоянии выехать обратно на следующий же день.

– И проделать такой же путь?

– Да.

– Черт возьми! Черт возьми! Как вы сказали? Двадцать лье?

Мадлен вынул из кармана листок бумаги, на котором было карандашом набросано несколько цифр. Он показал их фламандцу. Это были цифры: пять, шесть и восемь с половиной.

– Видите? – сказал он. – Всего девятнадцать с половиной, то есть все равно, что двадцать лье.

– Господин мэр, – сказал фламандец – У меня есть то, что вам нужно. Моя белая лошадка. Вам, наверно, случалось ее видеть. Это коняшка из нижнего Булоне. Горяча, как огонь. Сперва ее думали объездить под седло – куда там! Брыкается, скидывает на землю. Решили, что она с пороком, не знали просто, что с ней и делать. Я купил ее и запряг в кабриолет. И что же вы думаете, сударь? Этого-то ей и надо было. Послушна, как овечка, быстра, как ветер. Дело в

том, что не надо было садиться ей на спину. Не желала она ходить под седлом. У каждого свой норов. Везти – согласна, нести на себе – ни за что. Видно, уж так она про себя и порешила.

– И она пройдет такое расстояние?

– Пройдет все ваши двадцать лье. Крупной рысью и меньше, чем за восемь часов, но только при некоторых условиях.

– При каких же?

– Во-первых, на полдороге вы дадите ей часок передохнуть; она поест, и пока она будет есть, кто-нибудь должен побыть при этом, чтобы работник постоялого двора не отсыпал у нее овса, а то я заме» чал, что на постоялых дворах конюхи пропивают больше овса, чем лошади его съедают.

– За этим последят.

– Во-вторых… А что, этот кабриолет нужен вам самим, господин мэр?

– Да.

– А умеет ли господин мэр править?

– Умею.

– Хорошо, но только, господин мэр, вы должны ехать один и без поклажи, чтобы не перегружать лошадь.

– Согласен.

– Но послушайте, господин мэр, ведь если с вами никого не будет, вам самим придется потрудиться и присмотреть за кормежкой.

– Об этом мы уже договорились.

– Я возьму с вас тридцать франков в сутки. Простойные дни оплачиваются так же. Ни на грош меньше, и прокорм коня за ваш счет, господин мэр.

Мадлен вынул из кошелька три наполеондора и положил их на стол.

– Вот вам за два дня вперед.

– А в-четвертых, для такого конца кабриолет будет слишком тяжел и утомит лошадь. Лучше бы вы, господин мэр, согласились ехать в моем маленьком тильбюри.

– Согласен.

– Экипаж легкий, но открытый.

– Это мне безразлично.

– Но подумали ли вы, господин мэр, о том, что у нас зима?

Мадлен не ответил.

– И что стоят холода? – продолжал фламандец. Мадлен хранил молчание.

– И что может пойти дождь?

Мадлен поднял голову и сказал:

– Завтра, в половине пятого утра, тильбюри вместе с лошадью должны стоять у моих дверей.

– Слушаю, господин мэр, – ответил Скофлер; потом, соскабливая ногтем большого пальца пятно на деревянном столе, добавил тем равнодушным тоном, каким фламандцы так искусно прикрывают хитрость: – Да! Только сейчас вспомнил! Ведь господин мэр еще не сказал, куда едет. Куда это вы едете, господин мэр?

Он только об этом и думал с самого начала разговора, но, сам не зная почему, не решался задать этот вопрос.

– Надежны ли передние ноги у вашей лошади? – спросил Мадлен.

– О да, господин мэр! Только придерживайте ее на спусках. Много ли спусков будет по дороге отсюда до вашего места?

– Не забудьте: надо быть у моих дверей точно в половине пятого утра, – ответил Мадлен и вышел.

Фламандец остался «в дураках», как он сам признавался впоследствии.

Не прошло и двух-трех минут после ухода мэра, как дверь отворилась снова, это был мэр.

У него был все тот же бесстрастный и задумчивый вид.

– Господин Скофлер! – спросил он. – Во сколько вы цените лошадь и тильбюри?

– А разве вы, господин мэр, хотите купить их у меня?

– Нет, но на всякий случай я хочу обеспечить вам их стоимость. Когда я приеду, вы вернете мне эти деньги. Во сколько вы цените кабриолет и лошадь?

– В пятьсот франков, господин мэр.

– Вот они.

Мадлен положил на стол банковый билет, затем вышел и уже не вернулся.

Скофлер горько пожалел о том, что не запросил тысячу франков Впрочем, лошадь вместе с тильбюри стоила не больше ста экю.

Фламандец позвал жену и рассказал ей всю историю. Куда бы, черт возьми, мог ехать господин мэр? Они начали обсуждать этот вопрос.

– Он едет в Париж, – сказала жена.

– Не думаю, – возразил муж.

Мадлен забыл на камине клочок бумаги, где были записаны цифры. Фламандец взял его и начал внимательно исследовать.

– Пять, шесть, восемь с половиной. Да это, должно быть, расстояние между почтовыми станциями! Он обернулся к жене.

– Понял.

– Ну?

– Пять миль отсюда до Эсдена. шесть от Эсдепа до Сен – Поля, восемь с половиной от Сен-Поля до Арраса. Он едет в Аррас.

Тем временем Мадлен вернулся домой. Обратно он пошел самой дальней дорогой, словно дверь церковного дома представляла для него искушение и он хотел избежать его. Он поднялся в свою комнату и заперся там, что было в порядке вещей: он любил рано ложиться. Тем не менее фабричная привратница, являвшаяся одновременно и единственной служанкой Мадлена, заметила, что свет у него погас в половине девятого, и сказала об этом возвращавшемуся домой кассиру, добавив:

– Уж не захворал ли господин мэр? Он был сегодня не такой, как всегда.

Комната кассира приходилась как раз под комнатой Мадлена. Кассир не обратил на слова привратницы никакого внимания, лег и заснул. Около полуночи он внезапно проснулся: сквозь сон он услыхал над головой какой-то шум. Он прислушался. Это были шаги: казалось, кто-то ходил взад и вперед в верхнем этаже. Он прислушался более внимательно и узнал шаги Мадлена. Это удивило его: обычно в спальне Мадлена было совершенно тихо до самого утра, то есть до тех пор, пока он не вставал. Через минуту до кассира снова донесся какой-то звук, похожий на стук открывшейся и снова захлопнувшейся дверцы шкафа. Затем передвинули что-то из мебели, наступила тишина – и снова раздались шаги. Кассир приподнялся на постели, совсем проснулся, огляделся по сторонам и увидел через стекло красноватый отблеск освещенного окна на противоположной стене. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни Мадлена Отблеск дрожал; казалось, его отбрасывала не лампа, а скорее топящийся камин. Тень оконной рамы не вырисовывалась на стене, и это указывало на то, что

окно было широко открыто. При таком холоде открытое окно вызывало недоумение. Кассир снова заснул, но спустя час или два опять проснулся. Те же медленные, размеренные шаги раздавались над его головой.

Отблеск света все еще вырисовывался на стене, но теперь уже бледный и ровный, как от лампы или свечи. Окно было по-прежнему открыто.

Вот что происходило в комнате Мадлена.

## Глава третья.
## Буря в душе

Читатель, вероятно, догадался, что Мадлен был не кто иной, как Жан Вальжан.

Мы уже однажды заглядывали в тайники этой совести; пришел час заглянуть в нее еще раз. Приступаем к этому не без волнения и не без трепета. Ничто в мире не может быть ужаснее такого рода созерцания. Духовное око никогда не найдет света ярче и мрака глубже, чем в самом человеке; на что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее. Есть зрелище более величественное, чем море, – это небо; есть зрелище более величественное, чем небо, – это глубь человеческой души.

Создать поэму человеческой совести, пусть даже совести одного человека, хотя бы и ничтожнейшего из людей – это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Совесть – это хаос химер, вожделений и дерзаний, горнило грез, логовище мыслей, которых он сам стыдится, это пандемониум софизмов, это поле битвы страстей Попробуйте в иные минуты проникнуть в то, что кроется за бледным лицом человеческого существа, погруженного в раздумье, и загляните вглубь, загляните в эту ушу, загляните в этот мрак. Там, под видимостью спокойствия, происходят поединки гигантов, как у Гомера, схватки драконов с гидрами, там сонмища призраков, как у Мильтона, и фантасмагорические круги, как у Данте. Как темна бесконечность, которую каждый человек носит в себе и с которою в отчаянье он соразмеряет причуды своего ума и свои поступки.

Алигьери встретил однажды на своем пути зловещую дверь, перед которой он заколебался. Перед нами сейчас такая же дверь, и мы стоим в нерешимости на пороге. Войдем однако ж.

Нам осталось немного добавить к тому, что уже знает читатель о судьбе Жана Вальжана после его встречи с Малышом Жерве. Как мы видели, с этой минуты он стал другим человеком. Он стал таким, каким его хотел сделать епископ. Произошло нечто большее, чем превращение, – произошло преображение.

Он сумел исчезнуть, продал серебро епископа, оставив себе лишь подсвечники – как память; незаметно перебираясь из города в город, он исколесил всю Францию, попал в Монрейль – Приморский, и здесь ему пришла в голову счастливая мысль, о которой мы уже говорили, он совершил то, о чем мы уже рассказали, ухитрился стать неуловимым и недоступным, и, обосновавшись в Монрейле – Приморском, счастливый сознанием, что совесть его печалится лишь о прошлом и что первая половина его существования уничтожается второю, зажил мирно и покойно, полный надежд, затаив в душе лишь два стремления: скрыть свое имя и освятить свою жизнь; уйти от людей и возвратиться к богу.

Эти два стремления так тесно переплелись в его сознании, что составляли одно; оба они в равной степени поглощали все его существо и властно управляли малейшими его поступками. Обычно они дружно руководили его поведением: оба побуждали его держаться в тени, оба учили быть доброжелательным и простым, оба давали одни и те же советы. Бывало, однако ж, что между ними возникал разлад. И в этих случаях, как мы помним, человек, которого во всем Монрейле – Приморском и его окрестностях называли г-ном Мадленом, не колеблясь жертвовал первым ради второго, жертвовал своей безопасностью ради добродетели. Так, например, вопреки всякой осторожности и всякому благоразумию, он хранил у себя подсвечники епископа, открыто носил по нем траур, он расспрашивал всех появлявшихся в

городе маленьких савояров, наводил справки о семьях, проживающих в Фавероле, и спас жизнь старику Фошлевану, несмотря на внушающие тревогу намеки Жавера. Очевидно, руководясь примером мудрецов, святых и праведников, он считал, – мы уже об этом упоминали, – что в первую очередь следует заботиться о благе ближнего, а потом уже о своем собственном.

Правда, надобно заметить, что никогда еще с ним не случалось чего-либо подобного тому, что произошло сейчас. Никогда еще два помысла, управлявшие жизнью несчастного человека, о страданиях которого мы рассказываем, не вступали в столь жестокую борьбу между собою. Он смутно, но глубоко ощутил это после первых же слов, которые произнес Жавер, войдя в его кабинет. В то мгновение, когда было названо имя, погребенное им в такой непроницаемой тьме, он впал в оцепенение и словно опьянел от роковой своенравности своей судьбы, но вскоре его пронизала дрожь, которая предшествует сильным потрясениям; он склонился, как дуб под напором урагана, как солдат под натиском врага. Он чувствовал, как нависают над его головой тучи, несущие в себе громы и молнии. Когда он слушал Жавера, первой его мыслью было идти, бежать, донести на себя, освободить Шанматье из тюрьмы и сесть самому; эта мысль была такой мучительной и такой острой, словно его резнули по живому телу; но потом она исчезла, и он сказал себе: «Нет! Нет! Что я!» Он подавил в себе первый великодушный порыв и отступил перед подвигом.

Разумеется, было бы чудесно, если бы после святых напутствий епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, так прекрасно начав искупление, этот человек ни на миг не дрогнул даже пред лицом столь ужасного стечения обстоятельств и продолжал все той же твердой поступью идти к разверстой бездне, в глубине которой сияло небо; это было бы прекрасно, но этого не случилось. Мы обязаны дать здесь полный отчет о том, что свершалось в этой душе, и должны говорить лишь то, что имело место в действительности. В первую минуту инстинкт самосохранения одержал в ней верх над всеми другими чувствами: Мадлен собрался с мыслями, подавил волнение, подумал о Жавере и о сопряженной с этим опасности; с решимостью отчаянья, отложив решение вопроса, он постарался отвлечься от того, что предстояло сделать, и призвал свое спокойствие, – так борец подбирает с земли щит, выбитый у него из его рук.

Остаток дня он провел в том же состоянии: вихрь в душе, внешне – полное бесстрастие; он только принял так называемые «предварительные меры». Все было еще беспорядочно и неопределенно в его мозгу; смятение, царившее там, было настолько сильно, что ни одна мысль не имела отчетливой формы, и он мог бы сказать про себя одно – что ему нанесен жестокий удар.

Он, как обычно, отправился в больницу навестить Фантину и, движимый инстинктом доброты, затянул свое посещение, решив, что должен поступить так и попросить сестер хорошенько позаботиться о ней, если бы ему пришлось отлучиться. Смутно предчувствия, что, может быть, ему придется поехать в Аррас, но далеко еще не решившись на эту поездку, он сказал себе, что, будучи вне всяких подозрений, беспрепятственно может присутствовать в суде при разборе дела, и заказал у Скофлера тильбюри, чтобы на всякий случай быть готовым.

Пообедал он с аппетитом.

Придя к себе, он стал размышлять.

Он вдумался в положение вещей и наше ч его чудовищным, до такой степени чудовищным, что вдруг под влиянием почти необъяснимого чувства тревоги, встал и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы еще что-нибудь не вторглось к нему. Он ограждал себя от возможного.

Еще через минуту он задул свечу. Свет смущал его.

Ему казалось, что кто-то может его увидеть. – Кто же был этот «кто-то»?

Увы! То, что он хотел прогнать, вошло в комнату; то, что он хотел ослепить, смотрело на него. То была его совесть.

Его совесть, иначе говоря – бог.

Однако в первую минуту ему удалось обмануть себя: его охватило чувство безопасности и одиночества; заперев дверь на задвижку, он счел себя неприступным; погасив свечу, он счел себя невидимым. Он овладел собой и, облокотившись на стол, закрыв лицо руками, начал думать во мраке.

«Что же случилось? Не сплю ли я? Что же это мне сказали? Правда ли, что я видел Жавера и что он так говорил со мной? Кто такой Шанматье? Говорят, он похож на меня. Неужели? Подумать только, что еще вчера я был так спокоен и ничего не подозревал. Что я делал вчера в это время? Чем мне грозит это происшествие? Чем оно кончится? Как быть?»

Вот какая буря бушевала в его душе. Мозг его утратил способность удерживать мысли, они убегали, как волны, и он обеими руками сжимал лоб, чтобы остановить их.

Ураган, потрясавший его волю и рассудок, ураган, во время которого он пытался отыскать просвет и принять решение, рождал лишь мучительную тревогу.

Голова его горела. Он подошел к окну и распахнул его. На небе не было ни одной звезды. Он вернулся к столу и сел на прежнее место.

Так прошел первый час.

Однако расплывчатые очертания его мыслей постепенно стали принимать более определенные, более устойчивые формы, и ему удалось представить себе в истинном свете свое положение если не в целом, то хотя бы в деталях.

И прежде всего он понял, что, несмотря на всю исключительность и всю рискованность этого положения, он оставался полным его хозяином.

Но это открытие только усилило его растерянность.

Независимо от суровой и священной цели, направлявшей его поступки, все, что он делал до сего дня, было лишь ямой, которую он рыл для того, чтобы похоронить в ней свое имя. В часы глубокой сосредоточенности, в бессонные ночи он больше всего боялся одного – услышать когда-нибудь, как произнесут его имя; он говорил себе, что эта минута будет означать конец всему, что в день, когда снова раздастся это имя, рассыплется в прах его новая жизнь и – кто знает? – быть может, и его новая душа. Он содрогался при одной мысли, что это возможно. Право, если бы в одну из таких минут кто-нибудь сказал ему, что придет час, когда это имя вновь прозвучит в его ушах, когда эти омерзительные два слова – «Жан Вальжан», внезапно выплыв из мрака, встанут перед ним, что этот грозный свет, предназначенный рассеять тайну, которой он себя окружил, блеснет вдруг над его головой, но лишь сгустит эту тьму; что это имя уже не будет для него угрозой, что эта разорванная завеса лишь углубит тайну, что это землетрясение лишь упрочит фундамент его здания, что в результате этого ужасного происшествия его жизнь станет, если он того захочет, более светлой и в то же время более непроницаемой и что после сличения с призраком Жана Вальжана добрый, почтенный «господин Мадлен» окажется еще более уважаемым, более почитаемым и более спокойным, чем прежде, – если бы кто-нибудь сказал ему это, он бы покачал головой и счел эти слова бессмыслицей. И вот все это случилось на самом деле; все это нагромождение невероятностей стало фактом, бог допустил, чтобы этот бред превратился в действительность.

Мысли его прояснились. Он все более и более отчетливо представлял себе свое положение.

Ему казалось, что он пробудился от какого-то страшного сна и теперь, среди ночи, скользит, дрожа и тщетно силясь удержаться, по откосу, на самом краю бездны. И он ясно различал во мраке незнакомого, чужого человека, которого рок принимал за него и толкал в

пропасть. Для того, чтобы пропасть снова закрылась, кто-то из них неизбежно должен был упасть в нее – либо он сам, либо тот, другой.

От него требовалось одно: не мешать судьбе.

Теперь в его сознании воцарилась полная ясность, и он сказал себе, что место его на галерах пустует, что оно все время ждет его, независимо ни от чего, что ограбление Малыша Жерве должно привести его туда, что это пустое место будет ждать его и притягивать к себе до тех пор, пока он его не займет, что это неминуемо и неизбежно. И еще он сказал себе, что у него нашелся заместитель, что по-видимому, некоему Шанматье выпало на долю это несчастье; что же касается его самого, то, отбывая каторгу под именем Шанматье и живя в обществе под именем г-на Мадлена, он может отныне быть спокоен, если только сам не вздумает помешать людям обрушить на голову этого Шанматье камень позора, – тот камень, который, подобно могильному камню, раз опустившись, не поднимется никогда.

Все это было так мучительно и так необычно, что в глубине его души вдруг возникло одно из тех неописуемых ощущений, которые человеку дано испытать не более двух-трех раз в жизни, нечто вроде судорог совести, будоражащих все, что есть в сердце неясного, какую-то смесь иронии, радости, отчаянья, – нечто такое, что, пожалуй, можно было бы назвать взрывом внутреннего смеха.

Он снова зажег свечу.

«Что же это? – сказал он себе. – Чего мне бояться? Зачем думать об этом? Я спасен. Все кончено. Существовала лишь одна полуоткрытая дверь, через которую прошлое могло ворваться в мою жизнь; теперь эта дверь замурована, и навсегда! Этот Жавер, который так долго мучил меня, этот опасный инстинкт, который, кажется, разгадал меня – да, наверное, разгадал, можно поклясться в этом! – и преследовал неотступно, эта страшная охотничья собака, которая вечно делала надо мной стойку, наконец-то запуталась, потеряла след и погналась за другой дичью! Отныне Жавер удовлетворен и оставит меня в покое, он поймал Жана Вальжана! Кто знает, быть может, даже он захочет теперь переехать в другой город! И все это совершилось помимо меня! Я тут ни при чем! Да в конце концов что же во всем этом плохого? Честное слово, люди, увидев меня, могли бы подумать, что у меня случилось несчастье! Но ведь если кто и попал в беду, то никак не по моей вине. Это дело рук провидения. Очевидно, такова его воля! Разве я имею право расстраивать то, что устроено им? Так чего же я теперь добиваюсь? Во что собираюсь вмешаться? Ведь это не мое дело. Как? И я еще недоволен? Чего же мне еще надо? Цель, к которой я стремился в течение стольких лет, мечта моих бессонных ночей, то, о чем я молил небо, безопасность, – я достиг ее! Так угодно богу. Я не должен противиться его воле. А почему богу угодно так? Он хочет, чтобы я продолжал начатое, чтобы я творил добро, чтобы в будущем я стал прекрасным, поощряющим примером, наконец, чтобы наложенная на меня епитимья и вновь обретенная мной добродетель дали мне хоть немного счастья! Право, не понимаю, отчего я побоялся зайти к этому славному кюре и, поведав ему все как на исповеди, попросить у него совета. Без сомнения, он сказал бы мне то же самое. Решено, пусть все идет само собой! Пусть все вершит господь!

Так беседовал он со своей совестью, вглядываясь в ее сокровенные глубины, наклонясь над краем того, что можно назвать бездной его души. Он встал со стула и зашагал по комнате. «Вот что, – сказал он, – довольно думать об этом. Решение принято!»

Но он не испытал при этом ни малейшей радости. Напротив.

Нельзя запретить мысли возвращаться к определенному предмету, как нельзя запретить морю возвращаться к своим берегам. Моряк называет это приливом, преступник – угрызениями совести. Бог вздымает душу, как океан.

Через несколько секунд он опять, помимо воли, возобновил свой мрачный диалог, в котором он один и говорил и слушал, высказывая то, о чем бы ему хотелось умолчать,

выслушивая то, чего ему не хотелось бы слышать, подчиняясь таинственной силе, которая приказывала ему: «Думай!», как две тысячи лет назад приказала другому осужденному: «Иди!»

Чтобы нас правильно поняли, мы должны, прежде чем продолжать рассказ, сделать одно необходимое замечание.

Люди, конечно, разговаривают сами с собой; нет такого мыслящего существа, с которым бы этого не случалось. Быть может даже, Слово никогда не представляет собой более чудесной тайны, нежели тогда, когда оно, оставаясь внутри человека, переходит от мысли к совести и вновь возвращается от совести к мысли. Только в этом смысле и следует понимать часто встречающиеся в этой главе выражения вроде: «он сказал», «он воскликнул». Мы говорим, мы беседуем, мы восклицаем в глубине своего «я», не нарушая при этом нашего безмолвия. Все внутри нас в смятении; все говорит за исключением уст. Реальные душевные движения невидимы, неосязаемы, но тем не менее они реальны.

Итак, он спросил себя: к чему же он пришел? Он задал себе вопрос: что же представляет собой это «принятое решение»? Он признался самому себе, что уловки, допущенные его умом, были чудовищны, что слова «пусть все идет само собой, пусть все вершит господь» ужасны. Допустить ошибку, совершаемую судьбою и людьми, не помешать этому, участвовать в ней своим молчанием, словом, ничего не делать – значит все делать! Это последняя ступень недостойного лицемерия! Это преступление, низкое, подлое, коварное, мерзкое, гнусное!

Впервые за восемь лет несчастный ощутил горький привкус злого умысла и злого дела.

И он с отвращением плюнул.

Он продолжал допрашивать себя. Он сурово спросил, что означали его собственные слова: «Я достиг цели!»? И ответил, что его жизнь действительно имела цель. Но какую? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Неужели ради такой мелочи он сделал все то, что сделал? Разве не было у него иной, высокой, истинной цели? Спасти не жизнь свою, но душу. Снова стать честным и добрым. Быть праведником! Ведь только этого, одного лишь этого всегда хотел он сам, и именно это заповедал ему епископ! Закрыть дверь в прошлое? Боже всемогущий, да разве так он закроет ее? Совершив подобный поступок, он снова откроет ее настежь! Он вновь станет вором, и притом презреннейшим из воров! Он украдет у другого его существование, жизнь, спокойствие, его место под солнцем! Он станет убийцей! Он убьет, убьет душу этого жалкого человека, он обречет его на ужасную смерть заживо, на смерть под открытым небом, которая называется каторгой! И напротив, донести на себя, спасти этого человека, ставшего жертвой роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана – вот это действительно значит завершить свое обновление и навсегда закрыть перед собой двери ада, из которого он вышел. Попав туда физически, он выйдет оттуда морально. Да, он должен сделать это! Если же не сделает – значит, он ничего не сделал! Вся его жизнь окажется бесполезной, покаяние сведется на нет, и ему останется сказать одно: к чему было все, что было? Он почувствовал, что епископ здесь, возле него, что, мертвый, он присутствует тут еще более ощутимо, нежели живой, что он пристально смотрит на него, что отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями станет ему отвратителен, а каторжник Жан Вальжан станет чист и достоин восхищения в его глазах; что все видели его личину, а он, епископ, видит истинное его лицо; что люди видели его жизнь, а он, епископ, видит его совесть. Итак, надо ехать в Аррас, освободить мнимого Жана Вальжана и выдать настоящего! Вот она, величайшая из жертв, горчайшая из побед, самое тяжкое из усилий, но – увы! – так надо. Горестный удел! Он может стать праведным перед лицом бога, только опозорив себя в глазах людей!

– Что ж, – сказал он, – надо решиться! Надо исполнить долг! Надо спасти человека!

Он произнес эти слова громко, не заметив, что говорит вслух.

Он собрал свои счетные книги, проверил их и привел в порядок. Он бросил в огонь пачку долговых расписок от нескольких мелких торговцев, находившихся в стесненных

обстоятельствах. Он написал письмо, запечатал его, и тот, кто находился бы в комнате в эту минуту, мог бы прочесть: «Г-ну Лафиту, банкиру, улица Артуа, Париж».

Он вынул из ящика бумажник, где лежало несколько банковых билетов и паспорт, с которым он ездил на выборы еще в нынешнем году.

Наблюдая, как, погруженный в глубокое раздумье, он занимался всеми этими делами, никто не мог бы догадаться, что происходило в его душе. Только губы его порой шевелились, да время от времени он вдруг поднимал голову и устремлял пристальный взгляд в какую-нибудь точку стены, как будто именно там находилось нечто, от чего он ждал ответа и разъяснения.

Кончив письмо к Лафиту, он положил его вместе с бумажником в карман и опять зашагал по комнате.

Мысли его не отклонялись от прежнего направления. Он все так же ясно видел свой долг, начертанный сверкающими буквами, которые пламенели перед его глазами и перемещались вместе с его взглядом: Ступай! Назови свое имя! Донеси на себя!

Еще он видел перед собой, словно оживившими и принявшими осязаемую форму, два помысла, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрыть свое имя, освятить свою душу. Впервые они появились перед ним каждый в отдельности, и он обнаружил разницу между ними. Он понял, что один из них безусловно добрый, тогда как другой мог стать злым; что один означает самоотречение, а другой – себялюбие; что один говорит: ближний, а другой говорит: я; что источник одного свет, а другого – тьма.

Они боролись между собой, и он наблюдал за их борьбой. Он продолжал размышлять, а они все росли перед его умственным взором; они приобрели исполинские размеры, и ему казалось, что в глубине его сознания, в той бесконечности, о которой мы только что говорили, среди проблесков, перемежавшихся с темнотою, некое божество сражается с неким великаном.

Он был исполнен ужаса, но ему казалось, что доброе начало берет верх.

Он чувствовал, что для его совести и его судьбы вновь наступила решительная минута; что епископ отметил первую фазу его новой жизни, а Шанматье отмечает вторую. После великого перелома – великое испытание.

Между тем стихшее на миг лихорадочное возбуждение снова стало овладевать им. В мозгу его проносились тысячи мыслей, но они лишь продолжали укреплять его решение.

Была минута, когда он сказал себе, что, пожалуй, принимает все происходящее слишком близко к сердцу, что, в сущности говоря, этот Шанматье ничего собой не представляет и что как-никак он совершил кражу.

Но он ответил себе: «Если этот человек действительно украл несколько яблок, это грозит месяцем тюрьмы – и только. Отсюда еще далеко до каторги. Да и кто знает, украл ли он? Доказано ли это? Имя Жана Вальжана тяготеет над ним и, видимо, исключает необходимость доказательств. Королевские прокуроры всегда поступают так. Каторжник – значит вор».

Спустя мгновение ему пришла в голову другая мысль; быть может, если он выдаст себя, героизм его поступка и безупречная жизнь в течение семи лет, а также все то, что он сделал для края, будет принято во внимание, и его помилуют.

Однако это предположение тут же исчезло, и он горько улыбнулся, вспомнив, что кража сорока су у Малыша Жерве превращает его в рецидивиста, что это дело, несомненно, всплывет, и, согласно строгой букве закона, его приговорят к бессрочным каторжным работам.

Он отогнал от себя все иллюзии и, отдаляясь все больше от земного, стал искать утешения и силы в другом. Он сказал себе, что надо исполнить свой долг; что, может быть даже, исполнив его, он будет менее несчастен, нежели уклонившись от его исполнения; что если он допустит, чтобы все «шло само собой» и останется в Монрейле – Приморском, уважение, которым его окружают, его добрая слава, его добрые дела, всеобщее почтение и благоговение,

его милосердие, богатство, известность, его добродетель – все это будет отравлено горечью преступления; и чего стоили бы все его благие дела, завершенные таким гнусным делом! Если же он принесет себя в жертву, то все – каторга, позорный столб, железный ошейник, зеленый колпак, непрерывная работа, беспощадные оскорбления – все будет проникнуто небесной благодатью!

И наконец он сказал себе, что обязан поступить так, что такова его судьба, что не в его власти нарушить то, что предназначено свыше, что. так или иначе, приходится выбирать: либо кажущаяся добродетель и подлинная мерзость, либо подлинная святость и кажущийся позор.

Он не терял мужества, но множество мрачных мыслей утомило его мозг. Он невольно стал думать о другом, о совершенно безразличных вещах.

В висках у него стучало. Он все еще ходил взад и вперед. Пробило полночь – сначала в приходской церкви, потом в ратуше. Он сосчитал двенадцать ударов на тех и других башенных часах и сравнил звук обоих колоколов. Ему вспомнилось, что несколько дней назад он видел у торговца старым железом дряхлый колокол с надписью: «Антуан Альбен из Роменвиля».

Ему стало холодно. Он растопил камин, но не догадался закрыть окно.

Между тем на него снова нашло оцепенение. Он сделал над собой усилие, чтобы припомнить, о чем он думал до того, как пробило полночь. Наконец ему это удалось.

«Ах да! – подумал он, – я решил донести на себя».

И вдруг он вспомнил о Фантине.

– Как же так? – сказал он. – А что будет с этой несчастной?

И тут на него снова нахлынули сомнения. Образ Фантины, внезапно всплывший в его мыслях, вдруг пронизал их, словно луч света. Ему показалось, что все вокруг него переменилось.

– Что же это! – воскликнул он. – Ведь до сих пор я принимал в расчет одного себя! Думал лишь о том, что должен делать. Молчать или донести на себя. Укрыть себя или спасти свою душу? Превратиться в достойное презрения, но всеми уважаемое должностное лицо или в опозоренного, но достойного уважения каторжника? Все это относится ко мне, только ко мне, ко мне одному! Но, господи боже, ведь все это себялюбие! Не совсем обычная форма себялюбия, но все же себялюбия! А что, если я немного подумаю и о других? Ведь высшая святость состоит в том, чтобы заботиться о ближнем. Посмотрим, вникнем поглубже. Если исключить меня, вычеркнуть меня, забыть обо мне – что тогда получится из всего этого? Предположим, я доношу на себя. Меня арестуют, Шанматье выпускают на свободу, меня снова отправляют на каторгу, все это хорошо, а дальше? Что происходит здесь? Да, здесь! Здесь – целый край, город, фабрики, промышленность, рабочие, мужчины, женщины, дети, весь этот бедный люд! Все это создал я, это я дал им всем средства к существованию; где бы только ни дымилась труба, топливо для очага и мясо для котелка даны мною; я создал довольство, торговый оборот, кредит, до меня не было ничего; я пробудил, ободрил, оплодотворил, обогатил весь край, вдохнул в него жизнь; если исчезну я, исчезнет его душа. Если уйду я, все замрет. А эта женщина, которая столько выстрадала, которая стоит так высоко, несмотря на свое падение, и причиной несчастья которой невольно явился я! А этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери! Разве я не обязан что-нибудь сделать и для этой женщины, чтобы искупить зло, причиненное ей мною? Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет. Ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я донесу на себя. Ну, а если я не донесу на себя? Что же будет, если я не донесу на себя?

Задав себе этот вопрос, он остановился; на миг им овладела нерешительность, он задрожал; но это длилось недолго, и он спокойно ответил себе:

– Ну что ж, человек этот пойдет на каторгу, это правда, но ведь, черт возьми, он вор! Сколько бы я ни говорил себе, что он не украл, – он украл! А я, я останусь здесь и буду

продолжать начатое. Через десять лет у меня будет десять миллионов, и я раздам их всему краю, – мне самому ничего не надо, на что мне деньги? Все, что я делаю, я делаю не для себя! Общее благоденствие растет, промышленность пробуждается и оживает, заводов и фабрик становится все больше, семьи, сотни семейств, тысячи семейств счастливы! Население увеличивается, на месте отдельных ферм возникают деревни, на месте голых пустырей возникают фермы; нужда исчезнет, а вместе с нуждой исчезнут разврат, проституция, воровство, убийство, все пороки, все преступления! И эта бедная мать воспитает своего ребенка! И весь край заживет богато и честно! Да нет, с ума я, что ли, сошел, совсем уж потерял рассудок, что пойду доносить на себя? Право же, надо все обдумать и не ускорять событий Как? Только потому, что мне хочется разыграть великого и благородного человека – да ведь это в конце концов всего только мелодрама! – только потому, что я думаю лишь о себе, о себе одном и собираюсь спасти от наказания, может быть, чрезмерно сурового, но, в сущности говоря, справедливого, неведомо кого, какого-то вора, какого то негодяя, – должен погибнуть целый край! Несчастная женщина должна умереть в больнице, а бедная малютка, – как собачонка, на мостовой! Но ведь это чудовищно! И мать даже не увидит своего ребенка! А ребенок так и погибнет, почти не зная матери! И все это ради старого плута и вора, который крадет яблоки и, несомненно, заслужил каторгу, если не этим проступком, то каким-нибудь другим! Хороша же эта совесть, если она спасает преступника и жертвует невинными спасает старого бродяга, которому в конечном счете и жить-то осталось всего несколько лет, которому на каторге к тому же будет лишь немногим хуже, чем в его лачуге, и приносит в жертву население целого края, матерей, жен, детей! Бедняжка Козетта! У нее ведь никого нет в мире, кроме меня, а сейчас она, наверное, посинела от холода в берлоге Тенардье! Какие, должно быть, негодяи эти люди! И я не выполню своего долга по отношению ко всем этим несчастным! Я пойду доносить на себя! Сделаю эту неслыханную глупость! Представим все в худшем свете. Предположим, что в этом поступке кроется нечто дурное и что когда-нибудь совесть упрекнет меня. Пойти для блага других на укоры совести, которые будут мучить меня одного, на дурной поступок, который пятнает только мою душу, – да ведь это и есть самопожертвование, это и есть добродетель.

Он встал и снова зашагал по комнате. На этот раз ему показалось, что он удовлетворен.

Алмазы можно отыскать лишь в недрах земли; истины можно отыскать лишь в глубинах человеческой мысли. Ему казалось, что, опустившись на самое дно этой мысли, роясь ощупью в этих темных недрах, он, наконец, отыскал один из таких алмазов, одну из таких истин, что он держит ее в руках, и он смотрел на нее, ослепленный ее блеском.

«Да, – думал он, – это так Я на правильном пути. Я нашел решение. Пора на чем-нибудь остановиться. Выбор сделан. Пусть все идет само собой. Не надо больше колебаться, не надо пятиться назад. Этого требуют не мои, а общие интересы Я – Мадлен и останусь Мадленом. Горе Жану Вальжану! Это уже не я. Я не знаю этого человека, ведать о нем не ведаю. Если есть сейчас кто-то, кого зовут Жан Вальжан, пусть устраивается как хочет! Я тут ни при чем. Это роковое имя, реющее среди мрака. И если случится так, что вдруг оно остановится и обрушится на чью-то голову, – что ж, тем хуже для этой головы!»

Он посмотрелся в зеркальце, стоявшее на камине, и сказал:

– Ну вот! Я принял решение, и мне стало легче. У меня теперь совсем другой вид.

Он походил еще немного, потом внезапно остановился.

– Вот что! – сказал он. – Не следует отступать перед каким бы то ни было последствием принятого решения. Есть нити, которые еще связывают меня с Жаном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть вещи, которые могли бы выдать меня, немые предметы, которые могли бы заговорить, как живые свидетели. Решено: все это должно исчезнуть!

Он пошарил в кармане, достал из него кошелек, открыл его и вынул ключик.

Он вставил этот ключик в едва заметную замочную скважину, затерянную в темном узоре обоев, которыми были оклеены стены. Открылся тайничок, нечто вроде потайного шкафа, вделанного в стену между углом комнаты и железным колпаком камина. В тайничке лежали лохмотья – синяя холщовая блуза, потертые штаны, – старый ранец и толстая терновая палка с железными наконечниками на обоих концах. Кто видел Жана Вальжана в ту пору, когда он проходил через Динь в октябре 1815 года, легко узнал бы все принадлежности этого нищенского одеяния.

Он сохранил их, как сохранил и серебряные подсвечники, чтобы навсегда запомнить то, с чем он начал новую жизнь. Но вещи, вынесенные им еще с каторги, он прятал, а подсвечники, подаренные епископом, стояли у него на виду.

Он украдкой оглянулся на дверь, словно боясь, что она вдруг откроется, несмотря на задвижку, потом резким и быстрым движением схватил все в охапку и, даже не взглянув на предметы, которые так благоговейно и с таким риском для себя хранил в течение стольких лет, бросил в огонь все – лохмотья, палку и ранец.

Затем снова запер потайной шкаф и с величайшими предосторожностями, уже ненужными теперь, когда шкаф был пуст, приставил к дверце высокое кресло.

Через несколько секунд комната и стена противоположного дома озарились дрожащим багровым отблеском сильного пламени. Все пылало. Терновая палка трещала, и от нее почти до середины комнаты летели искры.

Ранец вместе с лежавшим в нем отвратительным тряпьем догорел, и в золе блеснул какой-то кружок. Нагнувшись, можно было легко узнать в нем серебряную монету. Вероятно, это была та самая монета в сорок су, которая была украдена у маленького савояра.

Но Мадлен не смотрел в огонь и продолжал все тем же мерным шагом ходить по комнате из угла в угол.

Внезапно взгляд его упал на серебряные подсвечники, которые смутно поблескивали на камине в отсветах огня.

«Ах да! – подумал он. – В этом тоже сидит Жан Вальжан. Надо уничтожить и это».

Он взял подсвечники.

Огня было еще довольно, чтобы быстро расплавить их и превратить в бесформенную массу.

Нагнувшись над очагом, он погрелся. Ему стало очень хорошо.

– Как славно! Как тепло! – проговорил он.

Он помешал горящие угли одним из подсвечников.

Еще секунда, и они очутились бы в огне.

Но в это самое мгновенье ему почудилось, что внутренний голос крикнул ему: «Жан Вальжан! Жан Вальжан!»

Волосы у него встали дыбом, словно он услышал нечто ужасное.

«Да, да, кончай свое дело! – говорил голос. – Заверши его! Уничтожь эти подсвечники! Истреби это воспоминание! Забудь епископа! Забудь все! Погуби Шанматье! Отлично! Можешь поздравить себя! Итак, это решено окончательно и бесповоротно. Этот человек, этот старик не понимает, чего от него хотят; быть может, он ничего не сделал дурного; это невинный человек, чье несчастье заключается лишь в твоем имени, невинный человек, над которым твое имя тяготеет, как преступление. Его примут за тебя, его осудят, и остаток его жизни пройдет в грязи и позоре! Отлично! Ты же будь порядочным человеком. Оставайся мэром, продолжай пользоваться уважением и почетом, обогащай город, корми неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, исполненный добродетели и окруженный восхищением; а пока ты будешь жить здесь, среди радости и света, некто, на кого наденут твою красную арестантскую куртку, будет

носить твое обесчещенное имя и влачить на каторге твою цепь! Да, ты ловко все это устроил! О, презренный!»

Пот градом катился у него со лба. Он смотрел на подсвечники диким взглядом. Однако тот, кто говорил внутри него, еще не кончил. Голос продолжал:

«Жан Вальжан! Множество голосов будут благодарить и благословлять тебя, и притом очень громко, но раздастся один голос, которого не услышит никто и который проклянет тебя из мрака. Так слушай же, низкий человек! Все эти благословения падут вниз, не достигнув неба, и только проклятие дойдет до бога!»

Голос, вначале совсем слабый, исходивший из самых темных тайников его души, постепенно становился громче и теперь, оглушительный и грозный, гулко отдавался в его ушах. Ему казалось, что, выйдя из глубины его существа, голос звучал теперь уже вне его. Последние слова он услышал так явственно, что с ужасом оглянулся по сторонам.

– Кто здесь? – спросил он вслух в полной растерянности.

Потом с каким-то бессмысленным смехом ответил себе:

– Как я глуп! Кому же здесь быть?

И все же здесь был некто; но этот «некто» не принадлежал к числу тех, кого может видеть человеческий глаз.

Мадлен поставил подсвечники на камин. И снова начал то монотонное и зловещее хождение, которое тревожило сон человека, спавшего в нижнем этаже, и заставляло его испуганно вскакивать с постели.

Это хождение облегчало и в то же время как бы опьяняло Мадлена. Когда с нами случается что-либо необычное, мы стараемся двигаться, словно предметы, встречаемые нами на пути. могут подать нам благой совет. Но через несколько секунд он совсем запутался.

Оба решения, которые он принял – сперва одно, потом другое, – внушали ему теперь одинаковый ужас. Оба помысла, руководившие прежде его жизнью, казались ему теперь одинаково пагубными. Какая роковая случайность – этот Шанматье, которого приняли за него! То самое средство, которое, как ему казалось сначала, было ниспослано судьбой, чтобы упрочить его положение, теперь толкало его в пропасть!

Он заглянул в будущее. Донести на себя, боже всемогущий! Выдать себя! С безмерным отчаяньем он перебрал в памяти все то, с чем ему предстояло расстаться, все то, к чему предстояло вернуться. Итак, ему предстояло сказать «прости» этому существованию – такому мирному, чистому, радостному, этому всеобщему уважению, чести, свободе! Он не будет больше гулять по полям, не услышит, как запоют птицы в мае, не будет раздавать милостыню детям! Не почувствует больше сладости обращенных на него признательных и любящих взоров! Расстанется с этим домом, который выстроил сам, с этой маленькой комнаткой! Все казалось ему сейчас таким чудесным! Он не будет больше читать эти книги, не будет писать за этим некрашеным столиком. Старуха привратница, его единственная служанка, не будет приносить ему больше утренний кофе. И вместо этого – боже правый! – каторга, железный ошейник, арестантская куртка, цепь на ноге, непосильный труд, карцер – все эти уже изведанные ужасы! И это в его-то годы, после того как он был тем, кем он был! Если бы еще он был молод! Но на старости лет слышать «ты» от первого встречного, давать себя обыскивать надзирателю, получать от надсмотрщика палочные удары! Ходить в подбитых железом башмаках, надетых на босые ноги! Каждое утро и каждый вечер подставлять ногу под молоток, проверяющий звенья цепи! Терпеть взгляды любопытных, которым будут говорить: «Вот это знаменитый Жан Вальжан, тот самый, что был прежде мэром в Монрейле – Приморском!» А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, в зеленом колпаке, надвинутом на глаза, подниматься под кнутом сержанта, в паре с другим каторжником, по судовой лестнице, возвращаясь в плавучий острог! О, какая мука!. Ужели судьба может быть так же зла, как мыслящее существо, и так же уродлива, как человеческое сердце?

И он снова и снова возвращался к мучительной дилемме, лежавшей в основе его тяжелого раздумья: остаться в раю и там превратиться в демона или же вернуться в ад и стать там ангелом?

Что делать, боже всемогущий, что делать?

Буря, укрощенная с таким трудом, снова забушевала в его мозгу. Мысли его опять начали мешаться. В них появились неподвижность и тупость, свойственные отчаянию. В мозгу его назойливо звучало слово «Роменвиль» и вместе с ним два стиха из песенки, которую он слышал когда-то. Ему вспомнилось, что Роменвиль – это рощица близ Парижа, куда влюбленные ходят в апреле рвать сирень.

Он потерял равновесие – не только духовное, но и физическое. Он ступал, словно маленький ребенок, которого пустили ходить одного.

Минутами, борясь с усталостью, он силился вновь овладеть своим рассудком. Он пытался в последний раз, и уже окончательно, поставить перед собой вопрос, который довел его почти до полного изнеможения. Должен ли он донести на себя? Или должен молчать? Ему не удавалось мыслить отчетливо. Бесчисленные доводы, возникавшие в его мозгу, теряли форму и, колеблясь, рассеивались, как дым. Он чувствовал только, что, какой бы путь он ни избрал, некая часть его существа непременно и неизбежно умрет; направо ли, налево ли – перед ним зияет могила; сейчас он переживает предсмертную агонию – агонию своего счастья или своей добродетели.

Увы! Сомнения вновь овладели им. Он был так же далек от решения, как и вначале.

Так билась в мучительной тоске эта злополучная душа. За тысячу восемьсот лет до того, как жил этот несчастный, в ту пору, когда оливковые деревья дрожали под жестоким ветром, дувшим из бесконечности, таинственный мессия, воплотивший в себе все страдания и всю святость человечества, тоже долго отстранял рукою страшную, таящую угрозу чашу, полную мрака, которая предстала пред ним, изливая тьму. в звездных глубинах неба.

### Глава четвертая.

### Страдание принимает во сне странные образы

Пробило три часа полуночи; он шагал почти без отдыха уже пять часов подряд и, наконец, в изнеможении опустился на стул.

Он заснул, и ему приснился сон.

Сон этот, как и большинство снов, не имел прямого отношения к действительности и соприкасался с ней лишь тем, что было в нем зловещего и мучительного, но он произвел на него большое впечатление. Кошмар поразил его так сильно, что впоследствии он его записал. В числе бумаг, написанных его рукою, сохранилась и эта рукопись. Считаем нужным привести здесь дословно ее содержание.

Без описания этого сна, каков бы он ни был, история той ночи была бы неполной. Это эпизод из мрачных скитаний больной души.

Вот он. На конверте мы читаем следующую надпись:

## Сон, который приснился мне в ту ночь

*«Я находился в поле. В широком и унылом поле, где не было травы. Я не мог понять, когда это происходило, – днем или ночью.*

*Я гулял с братом, с товарищем моих детских лет, о котором, признаться, я никогда не вспоминаю и которого почти совсем забыл.*

*Мы разговаривали, встречали прохожих. Мы говорили об одной нашей соседке, которая когда-то жила рядом с нами и, с тех пор как поселилась в комнате, выходившей на улицу,*

*всегда шила у открытого окна. Продолжая разговор, мы почувствовали, что нам стало холодно, оттого что это окно было открыто.*

*В поле не было ни одного дерева.*

*Мимо нас проехал всадник. Это был совершенно голый человек, тело у него было пепельного цвета, и сидел он верхом на лошади землистого цвета. У человека не было волос; мы видели его голый череп, а на черепе жилы. В руках он держал хлыст, гибкий, как виноградная лоза, и тяжелый, как железо. Всадник проехал мимо, не сказав ни слова.*

*Брат сказал мне: «Пойдем оврагом».*

*Мы пошли оврагом, в овраге не было видно ни кустика, ни мха. Все было землистого цвета, даже небо. Пройдя несколько шагов, я заметил, что мои слова остаются без ответа. И понял, что брата уже нет рядом со мной.*

*Я вошел в деревню. Я подумал, что, должно быть, это Роменвиль (почему Роменвиль?)*[27]*.*

*Улица, по которой я пошел, была пустынна. Я пошел по другой. На перекрестке стоял человек, прислонясь к стене дома. Я спросил у человека: «Что это за местность? Где я?» Человек ничего не ответил. Я заметил, что дверь одного из домов открыта, и вошел в дом.*

*Первая комната была пуста. Я вошел во вторую. За дверью этой комнаты стоял человек, прислонясь к стене. Я опросил у человека: «Чей это дом? Где я?» Человек ничего не ответил.*

*При доме был сад. Я вошел в сад. Сад был пуст. За первым же деревом я увидел стоящего человека. Я спросил у него: «Что это за сад? Где я?» Человек ничего не ответил.*

*Я блуждал по деревне и вдруг понял, что это город. Все улицы были пустынны, все двери отворены. Ни одно живое существо не проходило по улицам, не шагало по комнатам, не гуляло в садах. Но за каждым выступом стены, за каждой дверью, за каждым деревом стоял молчащий человек. И везде был только один человек. Эти люди смотрели, как я проходил мимо.*

*Я вышел из города и стал бродить по полям.*

*Спустя некоторое время я обернулся и увидел толпу, шедшую за мной следом Я узнал всех людей, которых видел в городе. У них был странный взгляд. Не заметно было, чтобы они торопились, и все же они шли быстрее меня. Они шли совершенно бесшумно. Через минуту эта толпа настигла меня и окружила. Лица у этих людей были землистого цвета.*

*И вот первый из тех, кого я видел и к кому обращался с вопросом, войдя в город, спросил меня: «Куда вы идете? Разве вы не знаете, что вы давно уже умерли?»*

*Я хотел было ответить, но увидел, что возле меня никого нет».*

Он проснулся. Он продрог. Створки все еще открытого окна раскачивались на петлях от холодного утреннего ветра. Огонь погас. Свеча догорела. Было еще совсем темно.

Он встал и подошел к окну. Ни одна звезда еще не светилась в небе.

В окно видны были двор его дома и улица. Сухой и резкий стук, внезапно раздавшийся на мостовой, заставил его опустить глаза.

Он увидел внизу две красные звезды, лучи которых то причудливо удлинялись, то укорачивались во мраке.

Мысли его еще не совсем выплыли из мглы сновидения «Как странно! – подумал он. – Их нет в небе, они спустились на землю».

Однако мгла рассеялась: другой звук, подобный первому, окончательно разбудил его, – он всмотрелся и понял, что это были не звезды, а фонари экипажа. Отбрасываемый ими свет помог ему различить его очертания. Это было тильбюри. запряженное белой лошадкой. Услышанный им стук – был топот копыт по мостовой.

«Что это за экипаж? – подумал он. – Кто мог приехать так рано?»

В эту минуту кто-то тихонько постучался к нему в дверь. Он задрожал и крикнул страшным голосом:

– Кто там?

Чей-то голос ответил:

– Это я, господин мэр.

Он узнал голос старушки, своей привратницы.

– Что такое? – спросил он. – Что вам нужно?

– Господин мэр! Только что пробило пять часов утра.

– Ну и что же?

– Кабриолет подали, господин мэр.

– Какой кабриолет?

– Тильбюри.

– Какое тильбюри?

– А разве вы не заказывали тильбюри, господин мэр?

– Нет, – ответил он.

– А кучер говорит, что приехал за господином мэром.

– Какой кучер?

– Кучер от господина Скофлера.

– От Скофлера?

Услышав это имя, он вздрогнул, словно перед его глазами сверкнула молния.

– Ах да! – сказал он. – От Скофлера!

Если бы старуха могла видеть его в эту минуту, она бы ужаснулась.

Наступило довольно длительное молчание. Он бессмысленно смотрел на пламя свечи и, собирая вокруг фитиля горячий воск, мял его между пальцами. Старуха ждала. Наконец она отважилась спросить еще раз:

– Что прикажете ответить ему, господин мэр?

– Хорошо, скажите, что я сейчас сойду.

## Глава пятая.
## Палки в колесах

В ту эпоху почтовое сообщение между Аррасом и Мрнрейлем – Приморским осуществлялось при помощи кареток времен Империи. Каретки представляли собой двухколесные экипажи на спиральных рессорах, обитые внутри бурой кожей, в них было только два места – одно для почтаря, другое для пассажира. Колеса были снабжены очень длинными, угрожающего вида ступицами, которые удерживали все другие экипажи на почтительном расстоянии; такие ступицы еще и сейчас можно встретить на проезжих дорогах Германии. Ящик для писем, огромный, продолговатый, помещался позади кузова и составлял с ним одно целое. Он был выкрашен в черный цвет, а каретка – в желтый.

Эти повозки, не имевшие ни малейшего сходства с нынешними, казались уродливыми и горбатыми; издали, когда они ползли по дороге, отчетливо вырисовываясь на горизонте, они напоминали насекомых, называемых, кажется, термитами; передняя часть туловища у них короткая и они тащат за собой огромную заднюю часть. Впрочем, они двигались весьма проворно. Каретка, ежедневно выезжавшая из Арраса в час ночи, после прихода парижской почты, прибывала в Монрейль – Приморский около пяти часов утра.

В эту ночь почтовая карета, следовавшая в Монрейль – Приморский по эсденской дороге, въезжая в город, задела на повороте одной из улиц маленькое, запряженное белой лошадью тильбюри, которое направлялось в противоположную сторону и где сидел только один пассажир, закутанный в широкий плащ. Колесо тильбюри получило довольно чувствительный

толчок. Почтарь крикнул этому пассажиру, чтобы он остановился, но путешественник не послушал его и продолжал ехать дальше крупной рысью.

– Спешит как на пожар! – заметил почтарь.

Человек, который так спешил, был тот самый, кого мы только что видели в мучительном единоборстве с самим собою, единоборстве, достойном сострадания.

Куда он ехал? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Почему так спешил? Он и сам не знал. Он ехал наудачу. Куда? Конечно, в Аррас; но, быть может, он ехал и не только туда. Мгновениями он чувствовал это, и его охватывала дрожь. Он погружался в ночь, как в пучину. Что-то подталкивало его, что-то влекло. Никто не мог бы передать словами, что происходило в его душе, но всякий это поймет. Кому не приходилось хотя бы раз в жизни вступать в мрачную пещеру неведомого?

Однако он ни к чему не пришел, ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из его умозаключений не было окончательным. Сильней, чем когда бы то ни было, им владела нерешительность первых минут.

Зачем он ехал в Аррас?

Он повторил себе все, о чем думал, когда заказывал кабриолет у Скофлера: каковы бы ни были последствия, не мешает видеть все собственными глазами и разобраться самому, этого требует простая осторожность, ибо ему необходимо знать обо всем происходящем; не проследив и не изучив всех обстоятельств, ничего нельзя решать; на расстоянии все кажется преувеличенным; быть может, увидев Шанматье, вероятно, негодяя, он перестанет терзать себя и спокойно допустит, чтобы тот занял на каторге его место; там, правда, будет Жавер, будут Бреве, Шенильдье и Кошпай, но разве они узнают его? – Какая нелепость! А Жавер теперь далек от всяких подозрений; все предположения и догадки сосредоточены сейчас вокруг этого Шанматье, а ведь ничего нет упрямее предположений и догадок; следовательно, никакой опасности и не существует.

Он повторял себе, что, разумеется, ему предстоят тяжелые минуты, но он найдет в себе силы перенести их как бы ни была жестока его судьба, в конце концов она в его руках, он волен в ней. Он цеплялся за эту мысль.

Однако, откровенно говоря, он предпочел бы не ездить в Аррас.

И все же он туда ехал.

Не отрываясь от своих дум, он подстегивал лошадь, которая бежала отличной, мерной и уверенной рысью, делая два с половиной лье в час.

По мере того как кабриолет подвигался вперед, Мадлен чувствовал, как в нем самом что-то отступает.

Перед восходом солнца он был в открытом поле, Монрейль – Приморский остался далеко позади. Он наблюдал, как светлеет горизонт; он смотрел не видя, как перед его глазами проносятся холодные картины зимнего рассвета. У утра есть свои призраки, так же как и у вечера. Он не видел их, но, помимо его сознания, мрачные силуэты деревьев и холмов, путем почти физического проникновения, добавляли что-то унылое и зловещее к хаосу, царившему в его душе.

Проезжая мимо уединенных домиков, изредка попадавшихся близ дороги, он всякий раз говорил себе: «А люди там спокойно спят!»

Топот копыт, позвякиванье бубенчиков, стук колес по мощеной дороге сливались в приятный однообразный звук. Все это кажется полным очарования, когда человеку весело, и тоскливым – когда ему грустно.

Было уже совсем светло, когда он прибыл в Эсден. Он остановился у постоялого двора, чтобы покормить лошадь и дать ей передохнуть.

Эта лошадь, как и говорил Скофлер, принадлежала к мелкой булонской породе: у этих лошадей большая голова и большое брюхо, короткая шея, но вместе с тем широкая грудь, широкий круп, крепкие бабки и поджарые сильные ноги, – некрасивая, но здоровая и выносливая порода. Хотя славная лошадка пробежала за два часа пять лье, на ней не было заметно ни малейшего следа испарины.

Он не вышел из тильбюри. Конюх, принесший овес, нагнулся и начал рассматривать левое колесо.

– И много вы проехали? – спросил он.

– А что? – отозвался путник, по-прежнему погруженный в свои мысли.

– Я говорю – вы издалека? – повторил конюх.

– Я проехал пять лье.

– Ого!

– Почему «ого»?

Конюх снова нагнулся, с минуту помолчал, не отрывая глаз от колеса, потом выпрямился и сказал:

– Потому что если это колесо и проехало пять лье, то сейчас уж наверняка не проедет и четверти лье.

Путник выскочил из тильбюри.

– Что вы говорите, друг мой?

– Говорю, что вы просто чудом проехали пять лье, не свалившись вместе с лошадью в придорожную канаву. Да вы взгляните сами.

Колесо было в самом деле сильно повреждено. От толчка почтовой кареты сломались две спицы; ступица тоже пострадала: гайка на ней еле держалась.

– Скажите, друг мой, – спросил путник, – нет ли здесь у вас тележника?

– Как не быть, сударь!

– Так я попрошу вас, сходите за ним.

– Да он здесь, в двух шагах. Эй! Дядюшка Бургальяр!

Дядюшка Бургальяр стоял на пороге своего дома. Он подошел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, увидевший сломанную ногу.

– Вы можете немедленно починить колесо?

– Могу, сударь.

– Когда мне можно будет выехать?

– Завтра.

– Как завтра?

– Тут хватит работы на целый день. А что, сударь, разве вы так спешите?

– Очень спешу. Мне необходимо выехать не позже, чем через час.

– Это невозможно, сударь.

– Я не постою за деньгами.

– Никак невозможно.

– Ну, хорошо. Через два часа.

– Нет, сегодня нельзя. Надо сделать заново две спицы и ступицу. Нет, сударь, вы не сможете выехать сегодня.

– Дело, по которому я еду, не терпит. А что, если не чинить это колесо, а просто заменить его новым?

– Это как же?

– Да ведь вы тележник?

– Точно так, сударь.

– Разве у вас не найдется продажного колеса? Тогда я мог бы отправиться в путь сейчас же.

– Колеса взамен вот этого?

– Да.

– Нет, у меня нет готового колеса для вашего кабриолета. Колеса делаются под пару. Два разных колеса невозможно подогнать друг к другу.

– Так продайте мне пару колес.

– Не всякое колесо, сударь, подойдет к вашей оси.

– А вы попробуйте.

– Напрасный труд, сударь. Я торгую только тележными колесами. У нас здесь глухое место.

– А нет ли у вас кабриолета напрокат?

Тележник с первого взгляда догадался, что тильбюри наемное. Он пожал плечами. – Недурно же вы разделываетесь с кабриолетами, которые берете напрокат. Да если бы у меня и был экипаж, я бы вам все равно его не дал.

– А не найдется ли у вас продажного кабриолета?

– Нет, не найдется.

– Как? Даже двуколки? Как видите, я не привередлив.

– У нас здесь глухое место. Правда, – добавил тележник, – есть у меня в сарае старая коляска. Хозяин ее, из наших городских, поставил ее ко мне на хранение, а сам, почитай, никогда на ней и не ездит, разве что раз в год по обещанию. Я бы дал вам ее напрокат, мне не жалко, да как бы хозяин не заметил, когда вы будете проезжать мимо, и, кроме того, это ведь коляска, тут потребуется не одна лошадь, а пара.

– Я найму пару почтовых лошадей.

– А вы куда едете, сударь?

– В Аррас.

– И хотите добраться туда за один день?

– Непременно.

– Это на почтовых-то лошадях?

– Почему бы и нет?

– А ничего, если вы приедете туда часа этак в четыре утра?

– Нет, это поздно.

– Тогда я должен сказать вам вот что. Видите ли, на почтовых лошадях… А разрешение на это при вас, сударь?

– Да.

– Так вот, на почтовых лошадях вы, сударь, будете в Аррасе не раньше завтрашнего дня. У нас ведь тут проселочная дорога. На станциях лошадей мало, все они заняты в поле. Сейчас начинается пахота, требуются сильные упряжки, лошадей нанимают, где только можно, и у почты тоже. Вам, сударь, придется ожидать по три-четыре часа на каждой станции. Да и повезут вас шагом. На этой дороге много пригорков.

– Хорошо, я поеду верхом. Отпрягите лошадь. Ведь найдется же у вас продажное седло.

– Найтись-то найдется, да ходит ли ваша лошадь под седлом?

– Правда, я совсем забыл! Нет, под седлом она не ходит.

– Ну, значит…

– Да неужели я не найду в деревне наемную лошадь?

– Лошадь, которая без передышки добежит до самого Арраса?

– Да.

– В наших краях нет таких лошадей. Конечно, вам пришлось бы купить ее, потому что здесь никто вас не знает. Но ни купить, ни нанять такую лошадь вам не удастся за пятьсот, даже за тысячу франков.

– Как же быть?

– Сказать по чести, самое лучшее, если я починю ваше колесо и вы отложите поездку до завтра.

– Завтра будет поздно.

– Ничего не поделаешь!

– Кажется, здесь проходит почтовая карета на Аррас. Когда она должна прибыть?

– Завтра ночью. Обе почтовые кареты ездят по ночам, и туда и оттуда.

– Скажите: неужели на починку этого колеса вам необходим целый день?

– Целый день, да еще какой работы!

– А если взять помощника?

– Хоть десятерых.

– Нельзя ли связать спицы веревками?

– Спицы-то можно, а вот ступицу нельзя. Да и обод еле держится.

– Нет ли в городе человека, который отдает внаем лошадей?

– Нет.

– Нет ли другого тележника?

Конюх и тележник отрицательно покачали головами и в один голос ответили.

– Нет.

Он почувствовал невыразимую радость.

В дело вмешалось провидение – это было ясно. Это оно сломало колесо тильбюри и задержало его в дороге. Он сдался не сразу, он сделал все, что мог, чтобы продолжать путь; он честно и добросовестно исчерпал все средства; он не отступил ни перед холодом, ни перед усталостью, ни перед издержками; ему не в чем упрекнуть себя. Если же он все-таки не поедет дальше, то не по своей вине; это не его воля, это воля провидения.

Он вздохнул. Впервые после посещения Жавера он вздохнул свободно, полной грудью. Ему показалось. что железная рука, в течение двадцати часов сжимавшая его сердце, вдруг разжалась.

Он решил, что теперь бог на его стороне и что этим он явил ему свое присутствие.

Он сказал себе, что сделал все возможное и что сейчас ему остается одно: спокойно вернуться обратно.

Если бы беседа с тележником происходила в трактире, она не имела бы свидетелей, никто не услышал бы ее, дело тем бы и кончилось, и, вероятно, нам не пришлось бы рассказывать ни об одном из событий, которые предстоит узнать читателю, но разговор происходил на улице. Всякая беседа на улице неизбежно привлекает любопытных. Всегда найдутся люди, жаждущие стать зрителями. Пока путник расспрашивал тележника, около них остановились случайные прохожие. Какой-то мальчуган, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и убежал.

В ту минуту, когда путник закончил свои размышления, о которых мы только что рассказали, и решил повернуть обратно, мальчуган вернулся. Его сопровождала пожилая женщина.

– Сударь! – сказала она. – Правду ли говорит сын, что вы хотите нанять кабриолет?

При этих самых обыкновенных словах, произнесенных пожилой женщиной, которую привел мальчик, путник весь покрылся холодным потом. Ему почудилось, что отпустившая его рука снова появилась во мраке за его спиной и сейчас снова схватит его.

Он ответил:

– Да, голубушка, я хочу нанять кабриолет. И поспешил добавить:

– Но здесь его нет.

– Есть, – ответила старуха.

– У кого же это? – спросил тележник.

– У меня, – ответила старуха.

Путник вздрогнул. Роковая рука опять сдавила его.

У старухи действительно оказалось в сарае нечто вроде двуколки с кузовом, сплетенным из ивовых прутьев. Тележник и трактирный слуга, раздосадованные тем, что путешественник ускользает из их рук, вмешались в дело:

– И не двуколка это, а настоящая трясучка, кузов у нее стоит прямо на оси; сиденье, правда, подвешено на кожаных ремнях, но внутри она так отсырела, что с нее течет; колеса проржавели; и уедешь на ней не намного дальше, чем на этом тильбюри; одно слово-рухлядь! Несдобровать тому, кто на ней поедет, и т. д., и т. д.

Они говорили правду, но эта трясучка, эта рухлядь, эта плетенка, какова бы она ни была, стояла все же на двух целых колесах и на ней можно было ехать в Аррас.

Он заплатил столько, сколько с него потребовали, оставил тильбюри у тележника для починки, условившись, что заедет за ним на обратном пути, велел запрячь в двуколку белую лошадь и поехал по той же самой дороге, по которой ехал с раннего утра.

Когда двуколка тронулась в путь, он признался самому себе, что минуту назад обрадовался при мысли о том, что не поедет туда, куда собирался ехать. Теперь он рассердился на себя за эту радость и нашел ее нелепой. Чему тут было радоваться? В конце концов он едет совершенно добровольно. Никто его не принуждает.

И, разумеется, с ним не случится ничего такого, чего не захочет он сам.

Выезжая из Эсдена, он вдруг услышал чей-то голос, кричавший – «Стойте! Стойте!» Он остановил двуколку быстрым движением, в котором было что-то лихорадочное и судорожное, как будто у него появилась надежда.

Это был сын той старухи.

– Сударь! – сказал он. – Ведь это я раздобыл двуколку.

– Ну и что же?

– А вы мне ничего не дали.

Человек, дававший всем и каждому, дававший так охотно, счел это требование чрезмерным, почти дерзким.

– Ах, это ты, негодный мальчишка? – крикнул он. – Ничего ты не получишь!

Он стегнул лошадь и пустил ее крупной рысью.

Он потерял много времени в Эсдене, и теперь ему хотелось наверстать его. Лошадка была резвая и везла за двоих, но стоял февраль, дороги были размыты дождями. И к тому же двуколка – не тильбюри. Она была неуклюжа и очень тяжела. А вдобавок множество подъемов.

Чтобы добраться от Эсдена до Сен – Поля, он потратил около четырех часов. Четыре часа на пять лье!

В Сен – Поле он распряг лошадь у первого попавшегося трактира и велел отвести ее в конюшню. Верный обещанию, данному им Скофлеру, он стоял возле яслей, пока лошадь ела. Мысли его были печальны и смутны.

Трактирщица вошла в конюшню.

– Не угодно ли вам позавтракать, сударь?

– В самом деле, – сказал он, – я проголодался.

Он последовал за женщиной; у нее было свежее и веселое лицо. Она проводила его в низенькую залу, где стояли столы, покрытые вместо скатерти клеенкой.

– Только поскорее, – сказал он, – мне надо сейчас же ехать. Я спешу.

Толстуха фламандка поспешила поставить ему прибор. Он смотрел на служанку с удовольствием.

«В этом все дело, – подумал он, – я не завтракал сегодня».

Ему принесли еду. Он откусил кусок хлеба, потом медленно положил его на стол и больше до него не дотронулся.

За другим столом завтракал ломовой извозчик. Путник спросил его:

– Отчего это хлеб у них такой горький?

Извозчик был немец и не понял вопроса. Путник вернулся в конюшню к своей лошади.

Через час он выехал из Сен – Поля, направляясь в Тенк, откуда до Арраса было всего пять лье.

Что он делал во время этой поездки? О чем думал? Как и утром, он смотрел на мелькавшие перед ним деревья, соломенные крыши, вспаханные поля, на пейзаж, менявшийся при каждом повороте дороги. Такое созерцание иногда целиком поглощает душу и почти освобождает ее от необходимости думать. Видеть множество предметов в первый и последний раз – что может быть печальнее этого и вместе с тем многозначительней! Путешествовать – значит рождаться и умирать каждую секунду. Быть может, в самом туманном уголке своего сознания он сопоставлял эти изменчивые горизонты с человеческим бытием. Все жизненные явления непрерывно бегут от нас. Сумрак чередуется со светом. После яркой вспышки – тьма; вы смотрите, спешите, вы протягиваете руки, чтобы схватить мимолетное видение; каждое событие – это поворот дороги; и вдруг приходит старость. Вы чувствуете толчок, вокруг черно; вы смутно различаете перед собой темные врата, угрюмый конь жизни, который вез вас, останавливается, и некто с закрытым лицом, некто, неведомый вам, распрягает его во мраке.

Вечерело; уже дети выходили из школы, когда путник въехал в Тенк. Правда, дни в это время года были еще короткие. Он не остановился в Тенке. Когда он выезжал оттуда, – рабочий, мостивший щебнем дорогу, поднял голову и сказал:

– До чего заморили лошадь!

В самом деле, бедное животное плелось шагом.

– Вы куда едете, в Аррас? – спросил рабочий.

– Да.

– Ну, таким ходом вы не скоро туда попадете.

Путник остановил лошадь и спросил рабочего:

– Сколько отсюда до Арраса?

– Добрых семь лье.

– Как же так? По почтовому расписанию значится только пять с четвертью.

– А-а! Вы, стало быть, не знаете, что сейчас чинят дорогу, – сказал рабочий. – В четверти часа езды отсюда она загорожена, проезда нет.

– В самом деле?

– Сверните влево, на дорогу, которая ведет в Каранси, потом переправьтесь через реку и, когда доедете до Камблена, возьмите вправо. Это и будет дорога на Аррас, через Мон-Сент-Элуа.

– Но ведь скоро стемнеет. Я могу заблудиться.

– Так вы не здешний?

– Не здешний.

– Это хуже. Тем более что тут у нас все проселочные дороги. Знаете что, сударь, – сказал рабочий, – я вам дам совет. Лошадь у вас устала, воротитесь-ка вы в Тенк. Там есть хороший постоялый двор, там и переночуете. А завтра поедете в Аррас.

– Я должен быть в Аррасе сегодня вечером.

– Это другое дело. Но все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите там пристяжную. А конюх проводит вас по проселочной дороге.

Путник послушался совета, повернул обратно и через полчаса снова проехал той же дорогой, но уже крупной рысью, с хорошей пристяжной. Конюх, величавший себя почтарем, сидел на передке двуколки.

Времени было потеряно много – путник это чувствовал.

Стало совсем темно.

Они свернули на отвратительную проселочную дорогу. Двуколка переваливалась из одной колеи в другую. Путник сказал почтарю:

– Гони рысью, получишь на выпивку вдвойне.

На одной из рытвин переломился валек.

– Сударь! – сказал почтарь. – Сломался валек. Я не знаю, как припрягу теперь свою лошадь. Ночью трудно ехать по этой дороге. Не вернуться ли вам ночевать в Тенк? А завтра мы могли бы рано утром быть в Аррасе.

– У тебя есть веревка и нож? – спросил путник.

– Есть, сударь.

Почтарь срезал с дерева ветку и сделал валек.

На это ушло еще двадцать минут, зато дальше поехали вскачь.

Равнина была окутана мраком. Короткие черные клочья тумана низко стлались по холмам и вдруг отрывались от них, словно клубы дыма. В тучах мерцали белесоватые отблески. Сильный ветер, дувший с моря, грохотал так, будто кто-то невидимый передвигал тяжелую мебель. Все вокруг словно застыло от страха. Сколько ужаса таит в себе могучее дыхание ночи!

Холод пронизывал путника до костей. Он не ел со вчерашнего дня. Ему смутно припомнилось другое ночное странствие – по широкой равнине в окрестностях Диня. С тех пор прошло восемь лет, но, казалось, это было вчера.

На какой-то далекой колокольне пробили часы. Он спросил конюха:

– Который час?

– Семь часов, сударь. В Аррасе мы будем в восемь. Нам осталось только три лье.

В эту минуту ему впервые пришло в голову, – и его удивило, как мог он не подумать об этом раньше, – что, возможно, все его усилия напрасны; что он даже не знает, на какой час назначено слушание дела; что он должен был осведомиться хотя бы об этом; что опрометчиво было ехать наобум, не зная, послужит ли это к чему-либо. Затем, прикинув в уме, он рассчитал, что обычно судебные заседания начинаются в девять часов утра; что это дело не могло

затянуться надолго, – вопрос о краже яблок должен был отнять очень мало времени; что после него оставалось только установить личность обвиняемого, то есть выслушать пять-шесть свидетельских показаний, не дающих адвокатам материала для длинных речей; словом, что он приедет, когда все уже будет кончено!

Конюх гнал лошадей во всю мочь. Они переправились через реку и миновали Мон-Сент-Элуа.

Мрак все сгущался.

## Глава шестая.
## Испытание сестры Симплиции

А Фантина в эту самую минуту была преисполнена радости.

Ночь она провела очень дурно. У нее был страшный кашель, сильнейший жар; ее мучили сны. Утром, во время обхода врача, она была в бреду. Врач заметно встревожился и попросил, чтобы ему тотчас дали знать, как только придет г-н Мадлен.

Все утро она была уныла, неразговорчива и, комкая пальцами простыню, бормотала про себя какие-то цифры, словно вычисляя расстояние. Глаза у нее ввалились и смотрели в одну точку. Они казались почти потухшими, но временами вдруг загорались и сияли, как звезды. Должно быть, при приближении роковой минуты небесный свет озаряет взоры тех, кто не увидит больше земного света.

Когда сестра Симплиция спрашивала у нее, как она себя чувствует, она неизменно отвечала: «Хорошо. Но мне хотелось бы видеть господина Мадлена».

Несколько месяцев назад, когда Фантина потеряла последний стыд и последнюю радость, она была собственной тенью, теперь она стала собственным призраком. Физический недуг довершил дело недуга нравственного. У этой двадцатипятилетней женщины был морщинистый лоб, дряблые щеки, заострившийся нос, обнажившиеся десны, свинцовый цвет лица, костлявая шея, торчащие ключицы, хилое тело, землистая кожа, а в отраставших белокурых волосах появилась седина. Увы! Как искусно болезнь надевает на нас личину старости!

В полдень врач пришел еще раз, дал несколько предписаний, осведомился, приходил ли в больницу г-н мэр, и покачал головой.

Обычно Мадлен навещал больную в три часа. Он был точен, ибо точность здесь была проявлением его доброты.

Около половины третьего Фантина начала волноваться. В течение двадцати минут она чуть не десять раз спросила у монахини: «Сестрица, который час?»

Но вот пробило три часа. После третьего удара Фантина, которая обычно лежала почти неподвижно, села на постели, судорожно стиснула свои худые, желтые руки, н монахиня услышала, как из ее груди вырвался глубокий вздох, который говорит о том, что с сердца свалился камень. Потом Фантина обернулась и посмотрела на дверь.

Однако никто не вошел, дверь оставалась закрытой.

Четверть часа больная сидела в той же позе, устремив взгляд на дверь, не шевелясь, затаив дыхание. Сестра не решалась заговорить с ней. На церковной колокольне пробило четверть четвертого. Фантина снова откинулась на подушку.

Она ничего не сказала и снова начала собирать простыню в складки.

Прошло полчаса, прошел час. Никто не приходил. Каждый раз, когда били часы, Фантина приподнималась и смотрела на дверь, потом снова падала на подушку.

Все понимали, о чем она думает, но она не произносила ничьего имени, не жаловалась, никого не обвиняла. Она только кашляла страшным, зловещим кашлем. Казалось, на нее нисходил мрак. Она была бледна, как смерть, губы у нее посинели. Время от времени она улыбалась.

Пробило пять часов. И сестра расслышала, как она сказала тихо и очень кротко:

– Завтра я ухожу, нехорошо он поступил, что не пришел сегодня!

Сестра Симплиция была и сама удивлена тем, что г-н Мадлен запаздывает.

А Фантина смотрела теперь вверх, на полог своей постели, и словно искала или вспоминала что-то. Вдруг она запела слабым, как дуновение ветерка, голосом. Монахиня стала прислушиваться. Вот что пела Фантина:

Чудесных вещей мы накупим, гуляя

По тихим предместьям в воскресный денек.

Ах, белая роза, малютка родная,

Ах, белая роза, мой нежный цветок!

Вчера мне пречистая дева предстала, —

Стоит возле печки в плаще золотом

И молвит мне: «Ты о ребенке мечтала, —

Я дочку тебе принесла под плащом».

– Скорей, мы забыли купить покрывало,

Беги за иголкой, за ниткой, холстом.

Чудесных вещей мы накупим, гуляя

По тихим предместьям в воскресный денек.

«Пречистая, вот колыбель, поджидая,

Стоит в уголке за кроватью моей.

Найдется ль у бога звезда золотая,

Моей ненаглядной дочурки светлей?»

– Хозяйка, что делать с холстом? – Дорогая,

Садись, для малютки приданое шей!

Ах, белая роза, малютка родная,

Ах, белая роза, мой нежный цветок!

– Ты холст постирай. – Где же? – В речке прохладной.

Не пачкай, не порть, – сядь у печки с иглой

И юбочку сделай да лифчик нарядный,

А я на нем вышью цветок голубой

– О горе! Не стало твоей ненаглядной!

Что делать? – Мне саван готовь гробовой.

Чудесных вещей мы накупим, гуляя

По тихим предместьям в воскресный денек

Ах, белая роза, малютка родная,

Ах, белая роза, мой нежный цветок!

Это была старинная колыбельная песенка, которой она убаюкивала когда-то свою маленькую Козетту и которая ни разу не приходила ей на память за все пять лет разлуки с ребенком. Она пела ее таким грустным голосом и с таким кротким видом, что могла разжалобить всякого, даже монахиню. Сестра милосердия, закаленная строгой, суровой жизнью, почувствовала, что на глаза у нее навернулись слезы.

На башенных часах пробило шесть: Фантина как будто не слышала. Казалось, она больше не обращала внимания на происходившее вокруг нее.

Сестра Симплиция послала служанку к фабричной привратнице узнать, не пришел ли домой г-н мэр и скоро ли он будет в больнице. Через несколько минут служанка вернулась.

Фантина по-прежнему лежала неподвижно; казалось, она вся ушла в свои мысли.

Служанка шепотом сообщила сестре Симплиции, что г-н мэр уехал сегодня утром, когда еще не было и шести часов, в маленьком тильбюри, запряженном белой лошадью, – уехал, несмотря на холод, один, без кучера, и никто не знает куда. Некоторые видели, как он свернул на аррасскую дорогу, а другие уверяют, что встретили его на дороге в Париж. Уезжая, он был такой же, как всегда, очень ласковый, и только сказал привратнице, чтобы нынешней ночью его не ждали.

Женщины шептались, стоя спиной к постели Фантины; сестра задавала вопросы, а служанка высказывала догадки. Тем временем Фантина, с присущей некоторым органическим недугам лихорадочной живостью, при которой ужасающая худоба смерти сочетается с полной свободой движений, свойственной здоровью, встала на колени и, опершись сжатыми кулаками на подушку, прислушивалась, просунув голову в отверстие между занавесками. Вдруг она крикнула:

– Вы говорите о господине Мадлене? Почему вы шепчетесь? Что с ним? Отчего он не приходит?

Голос ее прозвучал так резко и так хрипло, что обеим женщинам показалось, будто это говорит мужчина, и они обернулись в испуге.

– Отвечайте же! – кричала Фантина.

Служанка пролепетала:

– Привратница сказала, что он не может прийти сегодня.

– Дитя мое, – сказала сестра, – успокойтесь. лягте.

Не меняя позы, Фантина громко продолжала властным и в то же время душераздирающим голосом:

– Не может прийти? Почему же? Вы знаете причину. Сейчас вы шептались об этом между собой. Я хочу все знать.

Служанка прошептала на ухо монахине: «Скажите, что он в муниципальном совете».

Сестра Симплиция слегка покраснела: служанка советовала ей солгать. Она и сама понимала, что сказать больной правду – значило нанести ей тяжелый удар, очень опасный в том положении, в каком находилась Фантина. Но краска быстро сбежала с ее лица. Сестра подняла на Фантину спокойные, грустные глаза и сказала:

– Господин мэр уехал.

Фантина приподнялась на подушках и села. Глаза ее засверкали. Безмерная радость засияла на лице страдалицы.

– Уехал! – вскричала она. – Он поехал за Козеттой!

Она протянула обе руки к небу, преображенная неизъяснимым чувством. Губы ее шевелились: она тихо читала молитву.

Помолившись, она сказала:

– Сестрица, сейчас я лягу, я буду делать все, что мне прикажут. Я была дурной, простите меня за то, что я говорила так громко, я знаю, что нехорошо говорить громко, но, видите ли, милая сестрица, я так рада! Господь бог так добр, господин Мадлен так добр, подумайте только: он поехал в Монфермейль за моей маленькой Козеттой!

Она легла, помогла монахине поправить подушки и поцеловала висевший у нее на шее серебряный крестик, подаренный ей сестрой Симплицией.

– Дитя мое, – сказала сестра, – теперь постарайтесь успокоиться и не говорите больше.

Фантина взяла в свои влажные от пота руки руку сестры; испарина встревожила монахиню.

– Сегодня утром он уехал в Париж. А ведь ему даже незачем проезжать через Париж. Монфермейль немного левее. Помните, вчера, когда я говорила ему про Козетту, он ответил: «Скоро, скоро!» Он решил сделать мне сюрприз. Знаете, он дал мне подписать письмо, чтобы забрать у Тенардье ребенка. Они ведь не посмеют возражать, правда? Они отдадут Козетту. Им же уплачено сполна. Власти не позволят им задерживать ребенка, раз все уплачено. Сестрица! Не останавливайте меня, позвольте мне говорить. Я так счастлива, я здорова, у меня больше нигде ничего не болит, я увижу Козетту… Мне даже хочется есть. Ведь я не видела ее около пяти лет. Вы не можете себе представить, как тянет к ребенку! И потом она так мила, да вот вы увидите сами! Если бы вы знали, какие у нее пальчики – хорошенькие, розовые! У нее будут очень красивые руки. А когда ей был годик, до чего ручонки у нее были потешные! Вот такие! Теперь она уже, наверно, совсем большая. Шутка сказать. семь лет! Настоящая барышня. Я зову ее Козеттой, но ее настоящее имя Эфрази. Послушайте, сегодня утром я посмотрела на пыль на камине, и вдруг мне пришло в голову, что я скоро увижу Козетту. Господи, как дурно годами не видеть своих детей! Людям надо всегда помнить, что жизнь у нас не вечная! О, какой добрый господин мэр, что сам поехал за ней! Правду ли говорят, что на дворе холодно? По крайней мере взял ли он с собой плащ? Как вы думаете, он приедет завтра? Завтра будет праздник. Напомните мне, сестрица, чтобы завтра утром я надела тот чепчик, который с кружевами. Монфермейль – это целый округ. Когда-то я проделала весь этот путь пешком. Мне он показался таким длинным! Но дилижансы ходят очень быстро! Завтра он будет здесь с Козеттой – Скажите: сколько отсюда до Монфермейля?

Сестра, не имевшая ни малейшего понятия о расстояниях, ответила:

– Я уверена, что завтра он уже может быть здесь.

– Завтра! Завтра! – повторяла Фантина. – Завтра я увижу Козетту! Знаете, добрая сестрица, я уже совсем здорова. Я схожу с ума от радости. Я готова танцевать.

Тот, кто видел ее за четверть часа до этого, не мог бы понять совершившейся в ней перемены. Она порозовела, голос ее звучал естественно и живо, на лице сияла улыбка. Она смеялась и тихо разговаривала сама с собой. Радость матери – это почти то же, что радость ребенка.

– Вот что, – сказала монахиня, – теперь вы счастливы, так будьте послушны и перестаньте разговаривать.

Фантина положила голову на подушку и вполголоса произнесла:

– Да, да, ложись, будь умницей, ведь завтра тебе привезут твое дитя. Сестра Симплиция права. Все, кто здесь, правы.

Затем, не шевелясь, не поворачивая головы, она принялась оглядывать комнату широко раскрытыми веселыми глазами и не проронила больше ни слова.

Сестра задернула полог, надеясь, что она уснет.

Между семью и восемью часами пришел врач. Не слыша никакого шума, он решил, что Фантина спит, тихонько вошел в палату и на цыпочках приблизился к кровати. Раздвинув полог, он увидел при свете ночника устремленные на него большие спокойные глаза Фантины.

Она сказала ему:

– Господин доктор! Ведь мне позволят поставить ее маленькую кроватку рядом с моей?

Врач решил, что она бредит. Она добавила:

– Посмотрите, тут как раз хватит места.

Врач отозвал в сторону сестру Симплицию, и она объяснила ему, в чем дело: г-н Мадлен уехал на день или на два, и, не зная точно, куда он уехал, она не сочла нужным разуверять

больную, решившую, что г-н мэр отправился в Монфермейль; в сущности говоря, это могло оказаться и правдой. Врач одобрил сестру.

Он снова подошел к кровати Фантины, и та продолжала:

– Видите ли, утром, когда она проснется, я смогу сразу поздороваться с моим бедным котенком, а ночью я буду слушать, как она спит, – ведь я-то все равно не сплю по ночам. Мне так приятно будет прислушиваться к нежному дыханию моей крошки!

– Дайте руку, – сказал врач.

Она протянула руку и вскричала со смехом:

– Ах да! Ведь и правда, вы еще не знаете! Я выздоровела. Завтра приезжает Козетта.

Врач был поражен. Ей в самом деле было лучше. Одышка уменьшилась. Пульс стал полнее. Внезапный прилив жизненных сил воскресил это жалкое, истощенное тело.

– Господин доктор! – продолжала она. – Вам сказала сестрица, что господин мэр уехал за моим сокровищем?

Врач запретил ей разговаривать и велел окружающим оберегать ее от каких бы то ни было тяжелых впечатлений. Он прописал ей хинную настойку без всякой примеси и успокоительное питье, на случай если бы лихорадка возобновилась ночью. Уходя, он сказал сестре:

– Ей лучше. Если бы, на счастье, господин мэр действительно приехал завтра с ее ребенком – как знать? – бывают иногда такие изумительные переломы; известны случаи, когда сильная радость останавливала развитие болезни. Правда, тут заболевание органическое и очень запущенное, но в человеческих недугах так много загадочного! Быть может, мы еще и спасем ее.

## Глава седьмая.
## Приезжий обеспечивает себе обратный путь

Было около восьми часов вечера, когда оставленная нами в дороге двуколка въехала в ворота почтовой гостиницы в Аррасе. Из нее вышел человек, которого мы сопровождали вплоть до этого момента; отослав пристяжную лошадь и рассеянно отвечая на вопросы услужливой гостиничной прислуги, он сам отвел в конюшню свою белую лошадку; затем он вошел в бильярдную, находившуюся в нижнем этаже, и уселся, облокотившись на стол. Он потратил четырнадцать часов на поездку, которую рассчитывал проделать за шесть. Ему не в чем было себя упрекнуть – здесь не было его вины. И в глубине души он не досадовал на это.

Вышла хозяйка гостиницы.

– Изволите переночевать, сударь? Изволите поужинать?

Он отрицательно покачал головой.

– А конюх говорит, что ваша лошадь очень устала.

При этих словах он нарушил молчание.

– Вы думаете, что ей не под силу будет пуститься в обратный путь завтра утром?

– Помилуйте, сударь! Ей надо отдыхать по крайней мере двое суток.

Он спросил:

– Кажется, здесь помещается почтовая станция?

– Да, сударь.

Хозяйка проводила его в контору, он показал свой паспорт и справился, есть ли возможность сегодня же ночью вернуться в Монрейль – Приморский с почтовой каретой; место рядом с почтарем оказалось еще не занятым; он оставил его за собой и заплатил за него.

– Только не опаздывайте, сударь, – сказал конторщик, – карета отправляется ровно в час ночи.

Покончив с этим делом, путник вышел из гостиницы и пошел по городу.

Он совсем не знал Арраса; улицы были малолюдны; он шел наугад. Однако он почему-то упорно не спрашивал дорогу у прохожих. Перейдя мост через речку Креншон, он очутился в таком лабиринте узеньких улиц, что совсем запутался. По дороге шел горожанин с большим фонарем. После некоторого колебания путник решился обратиться к этому человеку, но предварительно оглянулся по сторонам, словно опасаясь, как бы кто-нибудь не услышал, о чем он будет спрашивать.

– Сударь! – сказал он. – Скажите, пожалуйста, где находится здание суда?

– Вы, должно быть, нездешний, сударь, – ответил прохожий, уже почти старик, – пойдемте со мной. Я как раз иду в ту сторону, где находится суд, то есть, собственно говоря, где находится префектура, – здание суда сейчас ремонтируется и судебные заседания происходят в префектуре.

– И суд присяжных тоже заседает там? – спросил он.

– Конечно. Видите ли, сударь, нынешнее здание префектуры было до революции епископским дворцом. Монсеньор де Конзье, который был епископом в восемьдесят втором году, выстроил там большую залу. В этой-то зале и заседает суд.

Дорогой старик сказал ему:

– Если вы, сударь, хотите присутствовать на каком-нибудь процессе, то сейчас поздновато. Обычно заседания кончаются в шесть часов.

Однако, когда они вышли на широкую площадь, старик показал ему на четыре высоких освещенных окна, выделявшихся на темном фасаде огромного здания.

– Право, сударь, вам везет, вы не опоздали. Видите эти четыре окна? Это и есть судебная зала. Там светло. Значит, еще не все кончено. Очевидно, дело затянулось и назначено вечернее заседание. А что, вас интересует это дело? Должно быть, уголовный процесс? Вас вызвали в качестве свидетеля?

Он ответил:

– Я приехал не ради какого-либо дела. Просто мне надо повидать одного адвоката.

– Ах так! – сказал старик. – Вот и дверь, сударь. Та, возле которой стоит часовой. Вам надо будет только подняться по главной лестнице.

Он последовал указаниям прохожего и несколько минут спустя очутился в комнате, где было много народа и где группы людей вперемежку со стряпчими в судейских мантиях перешептывались между собой.

Сердце всегда невольно сжимается при виде фигур в черном, которые тихо переговариваются друг с другом на пороге судилища. Слова милосердия и сострадания редко срываются с их уст. Чаще всего это обвинительные приговоры, предусмотренные заранее. Все эти группы кажутся наблюдателю, задумчиво проходящему мимо, темными ульями, где жужжащие привидения сообща замышляют козни.

Эта просторная комната, освещенная единственной лампой, была прежде одной из приемных зал епископского дворца, а теперь служила залой ожидания. Двустворчатая дверь, в эту минуту закрытая, отделяла ее от большой залы, где заседал суд присяжных.

Было так темно, что путник не побоялся обратиться к первому попавшемуся стряпчему.

– Сударь! – спросил он. – В каком положении дело?

– Дело кончено, – ответил стряпчий.

– Кончено!

Это слово было повторено таким тоном, что стряпчий обернулся.

– Извините, сударь, вы, вероятно, родственник?

– Нет. Я никого здесь не знаю. И каков приговор – обвинительный?

– Конечно. Ничего иного нельзя было и ждать.

– Каторжные работы?..

– Пожизненная каторга.

– Значит, личность установлена? – произнес путник таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать.

– Какая там личность? – ответил стряпчий. – Об этом не было и речи. Дело совсем простое. Женщина убила своего ребенка, детоубийство доказано, но присяжные отклонили предположение о заранее обдуманном намерении, и она приговорена к пожизненной каторге.

– Так это женщина? – проговорил он.

– Разумеется, женщина. Девица Лимозен. А вы о ком говорите?

– Да так, ни о ком. Но если дело кончено, то почему же зала все еще освещена?

– Сейчас там слушается другое дело. Оно началось часа два назад.

– Какое же дело?

– Тоже очень простое. Бродяга, рецидивист, каторжник совершил кражу. Я забыл его имя. Вот уж поистине разбойничья физиономия! За одну физиономию я бы сослал его на галеры.

– Сударь! – спросил путник. – Есть ли возможность попасть в залу?

– Не думаю. Очень много народа. Правда, сейчас перерыв. Многие вышли. Попробуйте, когда заседание возобновится.

– Где вход?

– Здесь. Через эту большую дверь.

Стряпчий отошел. За несколько секунд путник пережил почти одновременно, почти слившиеся воедино все чувства, какие только доступны душе человека. Равнодушные слова стряпчего то пронзали его сердце, как ледяные иглы, то жгли, как раскаленное железо. Узнав, что еще не кончено, он вздохнул; но он и сам не мог бы сказать, испытывал он чувство облегчения или же глубокой скорби.

Он подходил то к одной, то к другой группе людей и прислушивался к тому, что говорилось. Сессия была перегружена делами, и потому председатель назначил на один день два несложных и коротких дела. Начали с детоубийства, а теперь разбиралось дело каторжника, рецидивиста, «обратной кобылки». Рецидивист украл несколько яблок, но это, кажется, не вполне доказано; зато доказано, что он уже побывал на каторге в Тулоне. Это-то ему и повредило. Допрос с обвиняемого уже снят, свидетельские показания тоже, но остается еще речь защитника и заключительная речь прокурора, так что дело кончится не ранее полуночи. По всей вероятности, преступник будет осужден: товарищ прокурора очень искусен и никогда не «упускает» своих подсудимых; это человек умный, он даже стихи пишет.

У двери в залу заседаний стоял судебный пристав. Путник спросил у него:

– Скажите, скоро ли откроют двери?

– Совсем не откроют, – ответил пристав.

– Как! Не откроют, когда снова начнется заседание? Ведь сейчас перерыв?

– Заседание уже началось, – ответил пристав, – но дверей открывать не будут.

– Почему?

– Потому что зала полна.

– Как? Неужели нет ни одного места?

– Ни одного. Дверь заперта, и никого больше в залу не пустят.

Помолчав, судебный пристав добавил:

– Правда, за креслом председателя есть еще два-три свободных места, но председатель разрешает занимать их только должностным лицам.

С этими словами пристав повернулся к нему спиной.

Опустив голову, путник отошел от него и, пройдя через залу ожидания, начал медленно спускаться по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке и словно раздумывая. Быть может, он советовался с самим собой. Жестокий поединок, завязавшийся в его душе со вчерашнего дня, еще не кончился и каждую секунду вступал в какой-нибудь новый фазис. Дойдя до площадки, он прислонился к перилам и скрестил руки. Внезапно он расстегнул сюртук, вынул бумажник, достал из него карандаш, оторвал клочок бумаги и при свете фонаря набросал одну строчку: «Г-н Мадлен, мэр Монрейля – Приморского». Затем быстрым шагом снова поднялся по лестнице, протолкался сквозь толпу, подошел к судебному приставу, протянул ему записку и сказал повелительным тоном:

– Передайте господину председателю. Тот взял записку, пробежал ее взглядом и пошел исполнять поручение.

## Глава восьмая.
## Вход для избранных

Сам того не подозревая, мэр Монрейля – Приморского был в некотором роде знаменитостью. За семь лет молва о его добродетели разнеслась по всему Нижнему Булоне, вышла за пределы края и распространилась на два или три соседних департамента. Он оказал значительную услугу не только главному городу, где основал фабрику изделий из черного стекла: из ста сорока одной общины Монрейльского округа не нашлось бы ни одной, которая не была бы обязана ему чем-либо. Он умудрялся даже, если в том была нужда, оказывать помощь промышленным предприятиям других округов и способствовал их процветанию. Были случаи, когда он поддержал своим кредитом и средствами тюлевую фабрику в Булони, механическую льнопрядильню во Фреване и полотняную мануфактуру на водяном двигателе в Бубере – на – Канше. Имя г-на Мадлена с благоговением повторяли всюду. Аррас и Дуэ завидовали счастливому городку Монрейлю – Приморскому, которым управляет такой мэр.

Член королевского суда в Дуэ, председательствовавший на этой сессии суда присяжных в Аррасе, не хуже других знал это имя, окруженное глубоким и единодушным уважением. Когда судебный пристав, осторожно приоткрыв дверь из совещательной комнаты в залу заседаний, наклонился над креслом председателя и, вручив ему записку, содержание которой уже известно читателю, добавил: «Этот господин хочет присутствовать на заседании», – председатель живо обернулся, с готовностью схватил перо, быстро написал на той же записке несколько строчек, передал ее приставу и сказал: «Пропустите».

Несчастный человек, историю которого мы рассказываем, продолжал стоять у дверей залы на том же месте и в той же позе. Как сквозь сон, услыхал он чьи-то обращенные к нему слова: «Покорнейше прошу вас, сударь, следовать за мной». Тот самый пристав, который несколько минут назад повернулся к нему спиной, теперь стоял перед ним, кланяясь чуть не до земли. Одновременно он протягивал ему записку. Путник развернул ее и, так как рядом с ним оказалась лампа, смог прочесть: «Председатель суда свидетельствует свое почтение господину Мадлену».

Он скомкал записку, словно в этих немногих словах таился для него странный и горький привкус.

Он последовал за приставом.

Через несколько минут он оказался один в обшитом панелями строгом кабинете, освещенном двумя свечами, стоявшими на покрытом зеленым сукном столе. В его ушах еще звучали слова судебного пристава, с которым он только что расстался: «Сударь! Это совещательная комната. Стоит вам повернуть медную ручку вот этой двери, и вы окажетесь в зале заседаний за креслом господина председателя». Эти слова сливались у него в уме с неясным воспоминанием об узких коридорах и темных лестницах, по которым он только что проходил.

Судебный пристав ушел. Решительная минута настала. Он пытался сосредоточиться, но это ему не удавалось. Когда особенно необходимо связать все нити размышления с мучительными подробностями действительной жизни, тогда-то эти нити и рвутся чаще всего. Он находился сейчас в том помещении, где судьи совещаются и выносят обвинительные приговоры. С каким-то тупым спокойствием он рассматривал эту мирную и вместе с тем грозную комнату, где было разбито столько жизней, где через несколько мгновений должно было прозвучать его имя и куда привела его в эту минуту судьба. Он оглядывал стены, оглядывался на себя и не верил, что это именно та комната, не верил, что это именно он.

Он ничего не ел более суток, он был весь разбит от тряски экипажа, но не чувствовал этого; ему казалось, что он вообще ничего не чувствует.

Он подошел к стене, где под стеклом в черной рамке висело старинное собственноручное письмо Жана – Никола Паша, парижского мэра и министра, которое было помечено, должно быть по ошибке, девятым июня II года и в котором Паш посылал местной общине список министров и депутатов, находящихся под домашним арестом. Посторонний свидетель, которому случилось бы увидеть его и наблюдать за ним в эту минуту, без сомнения, подумал бы, что это письмо сильно его заинтересовало, так как он не отрывал от него глаз и перечел его раза три кряду. В действительности же он читал его машинально, не вникая в смысл. Он думал о Фантине и о Козетте.

Все еще погруженный в размышления, он рассеянно отвернулся и увидел медную ручку двери, отделявшей его от залы заседаний. Он почти совсем забыл об этой двери. Взгляд его, вначале спокойный, остановился на этой медной ручке и уже не отрывался от нее; потом он сделался напряженным, растерянным, и в нем все яснее стал проступать ужас. Волосы у него стали влажными от пота, крупные капли потекли по вискам.

Вдруг он сделал решительный и возмущенный жест, – тот не поддающийся описанию жест, который должен выражать и так ясно выражает: «Черт возьми! Да кто же может меня заставить?» Затем он решительно повернулся, увидел перед собой дверь, через которую только что вошел сюда, приблизился к ней, открыл ее и вышел. Он покинул эту комнату; теперь он был вне ее, в коридоре, в длинном и узком коридоре со ступеньками и переходами, образовывавшем множество углов и поворотов, скупо освещенном фонарями, напоминавшими ночники у изголовья больного, – словом, в том самом коридоре, через который он проходил, направляясь в совещательную комнату. Он вздохнул свободнее и прислушался: ни малейшего шума ни впереди, ни позади, он пустился бежать, словно спасаясь от погони.

Миновав несколько поворотов этого коридора, он снова прислушался. Вокруг все та же тишина, тот же полумрак. Задыхаясь, шатаясь от усталости, он прислонился к стене. Камень был холодный, пот на его лбу стал ледяным; весь дрожа, он выпрямился.

И тут, один, стоя в темноте, вздрагивая от холода, а быть может, и не только от холода, он задумался.

Перед этим он думал всю ночь, думал весь день; теперь внутри его раздавался лишь один голос, и этот голос говорил: «Увы!»

Так прошло с четверть часа. Наконец он понурил голову, тяжело вздохнул, опустил руки и той же дорогой пошел назад. Шел он медленно, словно его давила непосильная ноша. Казалось, кто-то настиг его во время бегства и теперь ведет обратно.

Он снова вошел в совещательную комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, была дверная ручка. Круглая, медная, полированная, она сверкала перед ним, словно грозная звезда. Он смотрел на нее, как овца смотрит в глаза тигру.

Он не мог отвести от нее взгляд.

Время от времени он делал шаг вперед и приближался к двери.

Если бы он прислушался, то услышал бы смутный, неясный говор, неясный шум, доносившийся из залы; но он не слушал и не слышал.

Внезапно, сам не зная как, он оказался у самой двери. Он судорожно схватился за ручку; дверь отворилась.

Он был в зале заседаний.

## Глава девятая.
## Место, где складываются убеждения

Он шагнул вперед, машинально закрыл за собой дверь и остановился, озираясь по сторонам.

Перед ним было просторное, скудно освещенное помещение, то полное неясного гула, то полное тишины; здесь на глазах у толпы развертывались перипетии уголовного процесса во всей их убогой и зловещей торжественности.

В том конце залы, где он находился сейчас, – судьи в потертых мантиях, грызущие ногти с рассеянным видом или полузакрыв глаза; в другом конце – толпа оборванцев; адвокаты, сидящие в разных позах; солдаты с честными и суровыми лицами; стены, обшитые старыми панелями, все в пятнах; грязный потолок, столы, покрытые саржей, которая из зеленой сделалась желтой; почерневшие захватанные двери; на гвоздях, вбитых в обшивку стен, лампы, какие горят в кабачках и больше коптят, чем светят, сальные свечи в медных подсвечниках на столах; полумрак, неприглядность, уныние; и тем не менее, все это вместе создавало впечатление строгости и величия, ибо здесь ощущалось присутствие того высокого человеческого начала, которое зовется законом, и того высокого божественного начала, которое зовется правосудием.

Никто в толпе не обратил на него внимания. Все взоры сходились в одной точке, все смотрели на деревянную скамью, прислоненную к дверке в стене, по левую руку от председателя; на этой скамье, освещенной свечами, меж двух жандармов сидел человек.

Это был тот самый человек.

Вошедший не искал его: он увидел его сразу. Его глаза инстинктивно остановились на этой фигуре, как будто они заранее знали ее место.

Ему показалось, что он видит самого себя, только сильно постаревшего; разумеется, это лицо не было точной копией его лица, но манера держать себя, общий вид были поразительно схожи: те же всклокоченные волосы, тот же беспокойный звериный взгляд, блуза, точно такая же, какая была на нем в тот день, когда, исполненный ненависти и затаив в душе отвратительный клад страшных помыслов, накопленных им в течение девятнадцати лет каторги, он вошел в Динь.

И он сказал себе, содрогнувшись: «О боже! Неужели я опять стану таким?»

Судя по внешнему виду, этому человеку было по меньшей мере шестьдесят лет. В нем чувствовалось что-то грубое, тупое и растерянное.

При скрипе отворившейся двери все посторонились, чтобы пропустить его, председатель повернул голову и, догадавшись, что вошел мэр Монрейля-Приморского, поклонился. Товарищ прокурора, который встречался с г-ном Мадленом в Монрейле – Приморском, куда ему неоднократно приходилось ездить по делам службы, узнал его и тоже поклонился. Новоприбывший едва все это заметил. Он был во власти галлюцинации; он смотрел не туда.

Судьи, секретарь, жандармы, множество физиономий с написанным на них выражением жестокого любопытства – все это уже было однажды, двадцать семь лет тому назад. Он вновь увидел перед собой эти зловещие образы, они были здесь, они шевелились, они существовали. Это был уже не результат усилия памяти, не мираж, – нет, теперь это были настоящие жандармы и настоящие судьи, настоящая толпа, настоящие люди из плоти и крови.

Свершилось: чудовищные призраки прошлого вновь обступили его, они воскресли со всей грозной силой реальности.

Зияющая бездна разверзлась перед ним.

Он ужаснулся, закрыл глаза и воскликнул в самой сокровенной глубине своей души: «Никогда!»

Благодаря трагической шутке судьбы, будоражившей все его мысли и доводившей его почти до безумия, он видел здесь свое второе «я». Человека на скамье подсудимых все присутствовавшие звали – Жан Вальжан!

У него на глазах происходило нечто невероятное: перед ним воспроизводился самый ужасный момент его жизни, и его роль играл его призрак.

Все, все было здесь: та же обстановка, тот же ночной час, почти те же лица судей, солдат и зрителей. Только теперь над головой председателя висело распятие, которого не было в трибуналах тех времен, когда судили его. Когда выносили приговор ему, бог отсутствовал.

Позади него был стул; он почти упал на него, ужаснувшись при мысли, что его могут увидеть. На судейском столе лежала целая груда папок, и он воспользовался этим, чтобы спрятать за ней лицо от всей залы. Теперь он получил возможность видеть, не будучи видимым. Мало-помалу он начал приходить в себя. К нему вернулось ощущение действительности; он достиг той степени спокойствия, при которой можно слушать.

В числе присяжных был господин Баматабуа.

Новоприбывший взглядом поискал Жавера, но не увидел его. Стол секретаря заслонял свидетельскую скамью. Кроме того, как мы уже упоминали, зала была освещена очень скудно.

В ту минуту, когда он вошел, защитник заканчивал речь. Всеобщее внимание было возбуждено до крайности; дело тянулось три часа. Уже три часа толпа наблюдала за тем, как сгибался под бременем страшного подобия правды какой-то человек, какой-то неизвестный, какое-то жалкое существо, необычайно тупое или необычайно хитрое. Как мы уже знаем, это был бродяга, которого поймали в поле по соседству с участком, именуемым «левадой Пьеррона»; в руках у него была ветка со спелыми яблоками, отломленная от яблони, росшей на этой леваде. Кто был этот человек? Произвели дознание, выслушали свидетелей, показания совпали, судебное разбирательство внесло полную ясность в это дело. Обвинение гласило: «Перед нами не просто вор, укравший несколько яблок, не простой мародер; перед нами разбойник, бывший каторжник, неисправимый, опаснейший негодяй, скрывавшийся от полицейского надзора, злоумышленник по имени Жан Вальжан, которого уже давно разыскивает правосудие и который восемь лет назад, возвращаясь с тулонских галер, совершил на большой дороге вооруженное нападение на маленького савояра по имени Малыш Жерве; это преступление предусмотрено статьей 383 уголовного кодекса, и мы оставляем за собой право судить за него впоследствии, когда личность подсудимого будет установлена судом. Теперь он совершил новую кражу. Мы имеем дело с рецидивистом. Судите его за новую провинность, а за старую он будет предан суду позднее». Слушая обвинение, видя единодушие свидетельских показаний, подсудимый, казалось, находился в недоумении. Он или принимался жестикулировать, словно хотел сказать знаками – «Нет, нет», или тупо смотрел в потолок. Говорил он плохо, отвечал сбивчиво, но вся его фигура являла собой олицетворенное отрицание. Он выглядел идиотом рядом с этими ополчившимися против него учеными людьми, совсем чужим среди этого общества, крепко державшего его в своих руках. А между тем ему угрожало страшное будущее; справедливость обвинения становилась с каждой минутой все более и более явной, и толпа с большим беспокойством, нежели он сам, ждала приговора, все более и более неотвратимого и чреватого для него неисчислимыми бедствиями В случае если бы личность была установлена, а дело Малыша Жерве в дальнейшем тоже закончилось бы обвинением, можно было предвидеть не только каторгу, но и смертную казнь. Что представляет собой этот человек? Почему он так безучастен? Что это-слабоумие или

притворство? Понимает он слишком хорошо или ничего не понимает? Вот вопросы, которые разделяли публику, да, пожалуй, и самих присяжных, на два лагеря. В этом процессе было нечто пугающее и в то же время загадочное, драма была не только мрачной, она была неясной.

Защитник произнес неплохую речь, пользуясь тем провинциальным языком, который в течение долгого времени считался образцом судебного красноречия и когда-то употреблялся не только где-нибудь в Роморантене или в Монбризоне, но и в Париже, а ныне, став классическим, сделался достоянием лишь официальных представителей правосудия, которых он привлекает своей торжественной звучностью и напыщенностью. На этом языке муж именуется супругом, а жена супругой, Париж – средоточием искусств и цивилизации, король – монархом, епископ – святым Прелатом, помощник прокурора – красноречивым представителем обвинения, защитительная речь – словесами, коим мы только что внимали, век Людовика XIV – великим веком, театр – храмом Мельпомены, царствующая фамилия – августейшей династией, концерт – музыкальным празднеством, начальник военного округа – доблестным воином, который и пр., воспитанники семинарии – нашими кроткими левитами, ошибки, приписываемые прессе, – клеветой, изливающей свой яд на столбцах печатных органов, и пр., и пр. Итак, адвокат начал с выяснения вопроса о краже яблок, что являлось предметом, мало подходящим для высокого стиля, но ведь и сам Бенинь Боссюэ в одной надгробной речи вынужден был упомянуть о курице и с честью вышел из затруднения. Адвокат установил, что явных доказательств кражи яблок не было. Никто не видел, как его клиент, которого он, в качестве защитника, упорно называл Шанматье, перелезал через стену и обламывал ветку. Когда его задержали, при нем оказалась эта ветка (которую адвокат предпочитал именовать «ветвью»), но он сказал, что нашел ветку на дороге и подобрал ее. Есть ли хоть одно доказательство противного? Конечно, ветка была сломана и похищена вследствие вторжения в огороженный участок, а потом брошена испугавшимся мародером; конечно, вор существовал; но на чем основана догадка, что этим вором был именно Шанматье? Только на предположении, что он бывший каторжник. Адвокат не отрицал, что, к несчастью, это предположение как будто бы подкреплено вескими доводами: подсудимый когда-то жил в Фавероле, подсудимый занимался подрезкой деревьев, имя Шанматье вполне могло произойти от Жана Матье, – все это совершенно справедливо; наконец четыре свидетеля, не колеблясь, самым определенным образом признали в Шанматье каторжника Жана Вальжана. Всем этим заявлениям, всем этим показаниям он, адвокат, может противопоставить одно – запирательство своего подзащитного, запирательство заинтересованного лица; но если даже допустить, что подсудимый действительно является каторжником Жаном Вальжаном, доказывает ли это, что именно он совершил кражу яблок? Это не более, как презумпция, но отнюдь не доказательство. Правда, обвиняемый – защитник «чистосердечно» признает это – избрал «дурную систему самозащиты». Он упорно отрицает все – и кражу, и тот факт, что был когда-то на каторге. Признавшись в последнем, он, без сомнения, поступил бы благоразумнее и снискал бы этим благосклонность судей; защитник и советовал ему поступить так, но подсудимый решительно отказался, очевидно, надеясь спасти себя, не признаваясь ни в чем. Это неправильно, но разве не следует принять во внимание узость его кругозора? Этот человек явно тупоумен. Длительные несчастья на каторге, длительная нищета после каторги – все это привело его к одичанию и т. д., и т. д. Он плохо защищает самого себя, но разве это причина, чтобы осудить его? Что до обвинения по делу Малыша Жерве, то он, адвокат, не собирается обсуждать его, ибо оно не имеет касательства к данному процессу. В заключение защитник обратился к присяжным и к судьям с просьбой применить к подсудимому, в случае если его тождество с Жаном Вальжаном покажется им несомненным, не то страшное наказание, которое применяется к галернику – рецидивисту, а обычное полицейское взыскание, какое налагается на освобожденного каторжника, самовольно покинувшего указанное ему место жительства.

После адвоката выступил товарищ прокурора. Он говорил горячо и цветисто, как все товарищи прокурора.

Он похвалил защитника за его «лояльность» и весьма искусно воспользовался этой лояльностью. Он обратил против подсудимого все уступки, сделанные защитником. Защитник, по-видимому, признает, что подсудимый – Жан Вальжан. Что и принято к сведению. Итак, подсудимый – Жан Вальжан. Итак, этот пункт обвинения признан и не подлежит опровержению. Затем прокурор обратился к первоисточникам и первопричинам преступности вообще и, прибегнув к искусной антономазии, обрушился на безнравственность романтической школы, бывшей тогда в расцвете и носившей название «сатанинской школы», которым ее наградили критики из Еженедельника и из Орифламмы; влиянию этой извращенной литературы он и приписал, не без некоторой доли правдоподобия, проступок Шанматье, или, вернее сказать, проступок Жана Вальжана. Потом он перешел к самому Жану Вальжану. Что представляет собой Жан Вальжан? Тут следовала характеристика Жана Вальжана. Чудовище, исчадие ада и т. д., и т. д. Образчик подобного рода характеристик можно найти в рассказе расиновского Терамена, который не имеет существенного значения для самой трагедии, но ежедневно оказывает немалые услуги любителям судебного красноречия. Публика и присяжные «содрогнулись». Прокурор покончил с характеристикой и, в порыве ораторского вдохновения, рассчитанного на то, чтобы возбудить восторги читателей завтрашнего номера Ведомостей префектуры, продолжал: «И такой человек и пр., и пр., бродяга, нищий, не имеющий никаких средств к сущес°вованию и пр., и пр., приученный своей прошлой жизнью к преступным деяниям и не поддавшийся исправлению на каторге, как это доказывает нападение на Малыша Жерве, совершенное им, и пр., и пр., пойманный на большой дороге с поличным, с украденной ветвью в руках, в нескольких шагах от ограды, через которую он перелез, и пр., и пр., отрицает очевидность, кражу, отрицает факт перелезания через ограду, отрицает все, вплоть до своего имени, вплоть до того, что он – Жан Вальжан. Помимо сотни других улик, которые мы не будем здесь повторять, его опознали четыре свидетеля: неподкупный полицейский надзиратель Жавер и трое из его бывших сотоварищей по бесчестию, каторжники Бреве, Шеннльдье и Кошпай. Что же противопоставляет он этому сокрушительному единодушию? Запирательство. Какая закоренелость! Господа присяжные заседатели, творите правосудие и пр., и пр.

Подсудимый слушал разинув рот, с удивлением и не без восхищения. Видимо, его поражало, что человек может говорить так красиво. Время от времени, в наиболее патетических местах обвинительного заключения, в те минуты, когда красноречие, выйдя из берегов, изливается в потоке позорящих эпитетов и поражает подсудимого раскатами грома, он покачивал головой справа налево и слева направо, как бы в знак печального и немого протеста, которым он и ограничился с самого начала прений. Зрители, сидевшие от него ближе других, слышали, как он несколько раз повторил вполголоса: «А все оттого, что они не спросили у господина Балу!». Товарищ прокурора обратил внимание присяжных на его придурковатый вид, явно рассчитанный, обличавший отнюдь не слабоумие, но ловкость, хитрость, привычку обманывать правосудие и указывавший со всей очевидностью на «глубокую испорченность» этого человека. В заключение он предупредил, что еще займется делом Малыша Жерве, и потребовал сурового приговора.

Как мы уже упоминали, в данную минуту этот приговор означал пожизненную каторгу.

Защитник встал, назвал речь «господина товарища прокурора» «изумительной», потом привел все возражения, какие только мог, но силы изменяли ему; было ясно, что почва ускользает у него из-под ног.

## Глава десятая.
## Система запирательства

Пора было прекратить прения сторон. Председатель велел подсудимому встать и обратился к нему с обычным вопросом:

– Подсудимый! Имеете ли вы что-нибудь добавить в свое оправдание?

Человек стоял на месте, комкая свой безобразный колпак, и, казалось, не слышал вопроса.

Председатель повторил его еще раз.

На этот раз человек услышал. Видимо, до его сознания дошел смысл сказанного; он сделал такое движение, словно только что проснулся, огляделся по сторонам, обвел глазами публику, жандармов, защитника, присяжных, судей, положил свой чудовищный кулак на деревянный барьер, находившийся перед его скамьей, еще раз огляделся по сторонам и вдруг заговорил, устремив взгляд на товарища прокурора. Это было настоящее извержение. Слова вылетали у него изо рта бессвязно, стремительно, отрывисто и теснили друг друга, словно хотели вырваться все одновременно.

Он сказал:

– Вот что. Я был тележником в Париже и служил у господина Балу. Это тяжелое ремесло. В тележном деле всегда работаешь на вольном воздухе, во дворах. Если попадется хороший хозяин, то под навесом, а в закрытом помещении – никогда, потому что для этого, понимаете ли, требуется много места. Зимой до того промерзнешь, что бьешь рука об руку, только бы согреться; но хозяева этого не любят, – по-ихнему, это лишняя проволочка времени. Орудовать с железом, когда мостовая насквозь промерзла, дело нелегкое. Тут быстро надорвешься. На этой работе и молодой становится стариком. В сорок лет ты конченый человек. А мне уже стукнуло пятьдесят три, и приходилось трудно. Да и потом в Париже нехороший народ! «Старый хрыч, старый дурак!» – только и слышишь, как дело к старости подойдет. Я стал зарабатывать не больше тридцати су в день, мне платили дешевле дешевого, хозяева пользовались тем, что я стар. Правда, у меня была дочь прачка, стирала белье на речке. Она тоже немного прирабатывала, и вдвоем мы все-таки кое-как перебивались. Но и ей приходилось нелегко. Целый день по пояс в бадье, ветер прямо в лицо; мороз не мороз – все равно приходится стирать; у иных белья мало, и они не могут ждать подолгу: а если не выстираешь в срок, потеряешь заказчиков. Доски в бадье сколочены плохо, брызги так и обдают вас со всех сторон. Юбка промокает снизу доверху. Все мокро насквозь. Она работала и в прачечной, в приюте Красных сирот, где вода идет прямо из кранов. Там не приходится стирать в бадье. Стираешь под краном, а полощешь рядом, в лохани. Помещение закрытое, и не так мерзнешь. Зато от горячей воды валит густой пар, а это очень вредно для глаз. Она, бывало, придет вечером, часов около семи, и сразу завалится спать, – уж очень сильно она уставала. Муж ее бил. Она умерла. Не было нам счастья в жизни. Честная была девушка, не бегала по танцулькам. Такая уж смирная уродилась. Помнится мне, был вторник на масленой неделе, а она все равно легла спать в восемь часов. Вот оно что! Думаете, вру? Спросите, кого хотите. Да что я – «Спросите»! Экий я дурень! Ведь Париж – что омут, кто знает там дядюшку Шанматье? А все-таки я вам опять скажу про господина Балу, вот съездили бы вы к господину Балу. А то я не понимаю, что вам от меня нужно.

Подсудимый умолк, но продолжал стоять. Все это он проговорил громким, хриплым, грубым, осипшим голосом, очень быстро, с каким-то наивным и диким раздражением. Один раз прервал себя на полуслове, чтобы поздороваться с кем-то, сидевшим в публике. Все свои выкрики, явно неожиданные и для него самого, он сопровождал таким жестом, какой делает дровосек, раскалывая полено. Когда он кончил, слушатели засмеялись. Взглянув на публику и видя, что все хохочут, он, не понимая причины этого смеха, тоже засмеялся.

Это было страшно.

Председатель, человек участливый и благожелательный, взял слово.

Он напомнил «господам присяжным», что «ссылка на упомянутого Балу, бывшего тележного мастера, у которого будто бы служил подсудимый, совершенно бесполезна. Он обанкротился, и разыскать его так и не удалось». Затем, обращаясь к подсудимому, он попросил внимательно выслушать его слова и добавил:

– Вы находитесь в таком положении, когда вам следует хорошенько поразмыслить. Над вами тяготеют серьезнейшие обвинения, могущие повлечь за собой самые тяжелые последствия. Подсудимый! Я обращаюсь к вам в последний раз и призываю вас в ваших же интересах точно ответить на следующие два вопроса: во-первых, действительно ли вы перелезли через стену левады Пьеррона, действительно ли сломали ветку и украли яблоки, – другими словами, совершили кражу с вторжением в чужие владения? Во-вторых, действительно ли вы являетесь освобожденным каторжником Жаном Вальжаном? Отвечайте – да или нет?

Подсудимый тряхнул головой с видом смышленого человека, который отлично все понял и знает, что ответить. Он открыл рот, повернулся к председателю и сказал:

– Для начала…

Потом посмотрел на свой колпак, посмотрел на потолок и замолчал.

– Подсудимый! – строгим тоном снова начал товарищ прокурора. – Будьте осторожны. Вы не отвечаете ни на один из обращенных к вам вопросов. Ваше смущение изобличает вас. Совершенно очевидно, что ваше имя не Шанматье, что вы каторжник Жан Вальжан, укрывавшийся вначале под именем Жана Матье – девичьим именем вашей матери, что вы были в Оверни и что вы родились в Фавероле, где были подрезальщиком деревьев. Совершенно очевидно, что вы перелезли через стену левады Пьеррона и совершили кражу спелых яблок. Господа присяжные войдут в рассмотрение этих фактов.

Подсудимый уже сел, но когда товарищ прокурора замолчал, он внезапно вскочил с места и крикнул:

– Вы злой человек, очень злой! Вот что я хотел сказать. Только сначала я растерялся. Я ничего не крал. Мне и поесть случается не каждый день. Я возвращался из Айи, шел после проливного дождя, земля была совсем желтая, везде лужи, только на краю дороги из песка торчали травинки. Я нашел на земле обломанную ветку, на которой были яблоки, и поднял ее. Знал бы я тогда, что с ней беды не оберешься, не поднял бы. Вот уже три месяца, как я сижу в тюрьме и меня таскают по судам. Больше я ничего не могу сказать, а на меня все наговаривают и твердят: «Отвечайте!» Вон и жандарм – он, видно, славный малый – толкает меня под локоть и шепчет: «Да отвечай же!» А я не умею все как следует объяснить, я ведь совсем неученый, я бедный человек. Зря вы этого в толк не возьмете. Я ничего не крал, я поднял то, что валялось на земле. Вы говорите: «Жан Вальжан, Жан Матье!» – а я и знать не знаю этих людей. Это, должно быть, крестьяне. А я работал у господина Балу, на Госпитальном бульваре, и зовут меня Шанматье. Очень уж вы хитрые, если знаете, где я родился. Я и сам-то этого не знаю. Ведь не у всякого есть свой дом, чтоб там родиться. А оно было бы не плохо. Я думаю, мои отец с матерью бродяжничали. По правде сказать, мне я самому это неизвестно. Когда я был мальчиком, меня звали Малышом, а теперь кличут Стариной. Вот и все мои имена, хотите – верьте, хотите – нет. Я жил в Оверни, жил в Фавероле. Ну так что же из этого, черт побери! Разве нельзя жить в Оверни или Фавероле, не побывав при этом на каторге? Говорят вам, я ничего не крал, я – дядюшка Шанматье. Я работал у господина Балу, не бродяжничал, а проживал на квартире. Надоели мне ваши глупости, и все! Что это вы все накинулись на меня, точно с цепи сорвались?

Продолжая стоять, товарищ прокурора обратился к председателю:

– Господин председатель! Ввиду сбивчивых, но весьма искусных запирательств подсудимого, которому очень хотелось бы прослыть дурачком, что ему не удастся, – об этом мы предупреждаем его заранее, – мы обращаемся к вам и к суду с покорнейшей просьбой вновь пригласить сюда арестантов Бреве, Кошпайя и Шенильдье, а также полицейского надзирателя Жавера, чтобы в последний раз снять с них – допрос касательно тождества личности подсудимого с личностью каторжника Жана Вальжана.

– Я вынужден заметить господину товарищу прокурора, – ответил председатель, – что полицейский надзиратель Жавер, призванный служебными обязанностями в главный город соседнего округа, покинул судебное заседание и даже наш город немедленно после дачи показаний. Мы разрешили ему это с согласия самого господина товарища прокурора, а также защитника подсудимого.

– Совершенно верно, господин председатель, – продолжал товарищ прокурора. – Ввиду отсутствия сьера Жавера, я считаю долгом напомнить господам присяжным слова, произнесенные им в этой самой зале несколько часов назад. Жавер – человек, пользующийся всеобщим уважением. Суровой и безукоризненной честностью он возвышает свою, пусть скромную, но весьма важную службу. Вот вкратце его показание: «Я не нуждаюсь ни в отвлеченных догадках, ни в вещественных уликах, чтобы опровергнуть запирательство подсудимого. Я сразу узнал его. Этого человека зовут не Шанматье; это бывший каторжник Жан Вальжан, опаснейший негодяй. По истечении срока наказания его освободили крайне неохотно. Девятнадцать лет он отбывал каторжные работы при усугубляющих его вину обстоятельствах. Пять или шесть раз совершал попытки к бегству. Помимо кражи у Малыша Жерве и на леваде Пьеррона, я подозреваю его еще в краже, совершенной у его преосвященства, покойного епископа Диньского. В бытность мою помощником надзирателя на тулонских галерах мне случалось видеть его очень часто. Повторяю, я сразу узнал его».

Это не допускавшее кривотолков показание, видимо, произвело сильное впечатление и на публику и на присяжных. Заканчивая свою речь, товарищ прокурора настоятельно потребовал, чтобы, ввиду отсутствия Жавера, были снова вызваны и допрошены по всей форме остальные три свидетеля – Бреве, Шенильдье и Кошпай.

Председатель отдал приказание одному из приставов, и через минуту дверь из свидетельской комнаты отворилась. Судебный пристав, сопровождаемый жандармом, готовым в случае надобности оказать ему помощь, ввел арестанта Бреве. Публика ждала с замиранием сердца; все как один затаили дыхание.

На бывшем каторжнике Бреве была черная с серым куртка – обычная одежда заключенных в центральных тюрьмах. Это был человек лет шестидесяти, с физиономией не то дельца, не то плута. Такое сочетание не редкость. В тюрьме, куда его привели новые провинности, он сделался чем-то вроде тюремного сторожа. Начальство говорило о нем: «Он старается быть полезным». Священники одобрительно отзывались о его набожности. Не следует забывать, что все это происходило в эпоху Реставрации.

– Бреве! – сказал председатель. – Вынесенный вам приговор позорит вас, и вы не можете быть приведены к присяге.

Бреве опустил глаза.

– Тем не менее, – продолжал председатель, – даже в человеке, осужденном законом, может оставаться, если того хочет божественное милосердие, чувство справедливости и чести. К этому-то чувству и взываю я в этот решительный час. Если оно еще не исчезло в вас, а я на это надеюсь, поразмыслите хорошенько, прежде чем мне ответить. Подумайте об этом человеке, которого вы можете погубить одним словом, и о правосудии, которому одно ваше слово может помочь в раскрытии истины. Это торжественная минута, и для вас еще не поздно взять обратно свои показания, если вы считаете, что ошиблись. – Подсудимый, встаньте! – Бреве! Хорошенько вглядитесь в подсудимого, напрягите память и скажите, повинуясь голосу совести, продолжаете ли вы настаивать на том, что этот человек – ваш бывший товарищ по каторге Жан Вальжан.

Бреве взглянул на подсудимого, потом повернулся к судьям.

– Да, господин председатель. Я первый узнал его и стою на своем. Этот человек – Жан Вальжан. Он прибыл в Тулон в тысяча семьсот девяносто шестом году и освободился в тысяча восемьсот пятнадцатом году. Меня освободили годом позже. Сейчас у него придурковатый

вид, – может, он поглупел с годами, а на каторге он был себе на уме. Я узнаю его, у меня сомнений нет.

– Садитесь, – сказал председатель, – а вы, подсудимый, продолжайте стоять.

Ввели Шеннльдье. Это был бессрочный каторжник, о чем говорили его красная куртка и зеленый колпак. Он отбывал наказание в Тулоне, и его вызвали оттуда ради этого дела. Это был человечек лет пятидесяти, вертлявый, морщинистый, тщедушный, желтый, наглый, лихорадочно возбужденный; вся его фигура производила впечатление слабости и болезненности, но взгляд выдавал огромную внутреннюю силу. Товарищи по каторге прозвали его Шельмадье.

Председатель обратился к нему приблизительно с теми же словами, что и к Бреве. При напоминании о том, что позорное наказание лишает его права приносить присягу, Шенильдье вскинул голову и вызывающе посмотрел на публику. Председатель попросил его сосредоточиться и спросил у него, так же как спрашивал у Бреве, продолжает ли он узнавать в подсудимом Жана Вальжана.

Шенильдье покатился со смеху.

– Вот тебе раз! Узнаю ли я его! Да мы пять лет были прикованы с ним к одной цепи. Ты что от меня воротишь нос, старина?

– Садитесь, – сказал председатель.

Судебный пристав ввел Кошпайя. Этот второй бессрочный каторжник, прибывший, как и Шенильдье, с галер и тоже одетый в красное, был лурдский крестьянин, настоящий пиренейский медведь. Когда-то он пас стадо в горах и из пастуха незаметно превратился в разбойника. Кошпай был такой же дикий и казался еще более тупоумным, чем сам подсудимый. Он принадлежал к числу тех несчастных, которых природа создает вчерне, делая их дикими зверями, а общество довершает ее работу, превращая их в каторжников.

Сделав попытку растрогать его патетическими и торжественными словами, председатель спросил у него, как и у первых двух свидетелей, продолжает ли он без колебаний и сомнений настаивать на том, что в стоящем перед ним человеке узнает Жана Вальжана.

– Это Жан Вальжан, – сказал Кошпай. – У нас его даже звали Жан Домкрат, такой это был силач.

Каждое показание этих людей, несомненно говоривших искренне и чистосердечно, вызывало со стороны слушателей ропот, являвшийся дурным предзнаменованием для подсудимого, – ропот, который все возрастал и становился все более длительным, всякий раз, как новое свидетельство добавлялось к предыдущему. Подсудимый выслушивал их с тем удивленным выражением, которое, по мнению обвинителя, служило ему главным орудием защиты. После первого показания жандармы, ближайшие его соседи, услышали, как он пробормотал сквозь зубы: «Вот так так! Тоже нашелся!» После второго он сказал громче и почти одобрительно: «Ловко!» После третьего он вскричал! «Ну и брехун!»

Председатель обратился к нему:

– Подсудимый, вы все слышали. Что вы скажете теперь?

Он ответил:

– Я ведь говорю: «Ну и брехун!»

Громкий ропот поднялся в публике и даже среди части присяжных. Было ясно, что участь этого человека решена.

– Приставы! – сказал председатель. – Водворите тишину. Я закрываю прения.

В эту минуту рядом с председателем возникло какое-то движение. Чей-то голос прокричал:

– Бреве, Шенильдье, Кошпай! Взгляните-ка сюда!

Все, услышавшие этот голос, почувствовали леденящий душу ужас, так он был скорбен и так страшен. Все взгляды устремились в ту сторону, откуда он раздался. Какой-то человек, сидевший среди привилегированных посетителей, позади судей, поднялся с места, распахнул низенькую дверцу в перегородке, отделявшей судейскую трибуну от публики, и теперь стоял посреди залы. Председатель, товарищ прокурора, г-н Баматабуа, еще два десятка человек узнали его и воскликнули в один голос:

– Господин Мадлен!

## Глава одиннадцатая.
## Удивление Шанматье растет

Это и в самом деле был он. Лампа на столе секретаря освещала его лицо. Шляпу он держал в руке, в его одежде не было заметно ни малейшего беспорядка, редингот его был тщательно застегнут. Он был очень бледен и чуть дрожал. Волосы его, которые к моменту приезда в Аррас только начинали седеть, были теперь совсем белые. Они побелели за тот час, что он находился здесь.

Все головы повернулись в его сторону. Впечатление было неописуемое. В первую минуту присутствовавшие не поняли, что происходит. В голосе прозвучала мука, но человек, выступивший вперед, казался таким спокойным, что сначала все были в недоумении. Все спрашивали себя, кто это крикнул. Никто не мог поверить, чтобы этот страшный возглас мог вырваться из груди этого тихого человека.

Однако неуверенность длилась лишь несколько мгновений. Не успели председатель и товарищ прокурора вымолвить слово, не успели жандармы и служители двинуться с места, как человек, которого в эту минуту все еще называли господином Мадленом, подошел к свидетелям Кошпайю, Бреве и Шенильдье.

– Вы не узнаете меня? – спросил он.

Все трое остолбенели от изумления и отрицательно покачали головой. Кошпай, оробев, отдал честь по – военному. Повернувшись к присяжным и к судьям, г-н Мадлен кротко сказал им:

– Господа присяжные! Прикажите освободить подсудимого. Господин председатель! Прикажите арестовать меня. Человек, которого вы ищете, не он, а я. Я – Жан Вальжан.

Все замерли. Поднявшийся было ропот изумления сменился гробовым молчанием. В зале ощущался тот почти благоговейный трепет, какой охватывает толпу, когда у нее на глазах совершается нечто великое.

Лицо председателя выразило печаль и сочувствие; он обменялся с товарищем прокурора быстрым взглядом и шепотом сказал несколько слов заседателям. Затем обратился к публике и спросил тоном, который поняли все:

– Нет ли здесь врача? Потом заговорил товарищ прокурора.

– Господа присяжные! – сказал он. – Необычайный и непредвиденный случай, взволновавший всех присутствующих, внушает нам, так же как и вам, лишь одно чувство, называть которое нет надобности. Все вы знаете, хотя бы понаслышке, достопочтенного господина Мадлена, мэра Монрейля-Приморского. Если в зале присутствует врач, мы присоединяемся к просьбе господина председателя оказать помощь господину Мадлену и проводить его домой.

Господин Мадлен не дал товарищу прокурора договорить. Он прервал его мягким, но не допускающим возражений тоном. Вот подлинные слова, которые он произнес, – слова, которые были записаны одним из свидетелей этой сцены немедленно после судебного заседания и которые до сих пор звучат в ушах тех, кто их слышал, хотя это было около сорока лет назад.

– Благодарю вас, господин товарищ прокурора, но я в здравом уме. Сейчас вы убедитесь в этом. Вы чуть было не совершили большой ошибки. Отпустите на свободу этого человека! Я

выполняю свой долг, несчастный осужденный – это я. Я единственный человек, кому ясно все то, что происходит здесь, и я говорю вам правду. То, что я делаю в эту минуту, видит всевышний, и мне этого довольно. Можете меня арестовать, я здесь. А ведь я старался делать все, что было в моих силах. Я укрылся под вымышленным именем; я разбогател, стал мэром; я хотел вернуться в среду честных людей. Видимо, это невозможно. О многом я не могу говорить сейчас, я не собираюсь рассказывать вам свою жизнь; когда-нибудь о ней узнают. Я обокрал епископа-это правда; я обокрал Малыша Жерве – это правда. Вам сказали, что Жан Вальжан был опасным негодяем – и сказали не напрасно. Но, быть может, не он один виноват в этом. Послушайте, господа судьи: человек, так низко павший, как я, не имеет права укорять провидение или давать советы обществу; но, видите ли, позорное существование, из которого я пробовал выбраться, губительно само по себе. Каторга создает каторжника. Вдумайтесь в это, прошу вас. До галер я был бедным крестьянином, очень неразвитым, почти совсем темным; каторга переделала меня. Я был тупым – я стал злым; я был поленом – я стал раскаленной головней. Впоследствии снисходительность и доброта спасли меня, подобно тому как суровость погубила раньше. Но, простите, вы ведь не можете понять всего того, о чем я говорю с вами. Дома у меня, в камине, в куче золы вы найдете монету в сорок су, которую я украл у Малыша Жерве семь лет назад. Больше мне нечего добавить. Арестуйте меня. О боже! Господин помощник прокурора качает головой, вы говорите: «Господин Мадлен сошел с ума». Вы не верите мне! Как это мучительно! Но по крайней мере не осуждайте этого человека! Как? Эти люди не узнают меня? Хотел бы я, чтобы здесь был Жавер. Вот кто узнал бы меня сразу!

Невозможно передать оттенок добродушной и безнадежной грусти, прозвучавшей в этих словах.

Он обернулся к трем каторжникам:

– А вот я вас сразу узнал! Бреве! Помните ли вы…

Он запнулся, помолчал, колеблясь, потом спросил:

– Помнишь ли ты вязаные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?

Бреве вздрогнул от удивления и испуганно осмотрел говорившего с головы до ног. Тот продолжал:

– Шенильдье или Шельмадье, как ты называешь себя! У тебя сожжено все правое плечо, потому что как-то раз ты прислонился плечом к жаровне с раскаленными углями, чтобы уничтожить три буквы: П. К. Р.[28] Но они видны до сих пор. Отвечай: это правда?

– Правда, – ответил Шенильдье.

Он обратился к Кошпайю:

– Кошпай! На сгибе левой руки у тебя выжжена порохом синяя надпись. Это дата высадки императора в Канне, первое марта тысяча восемьсот пятнадцатого года. Засучи рукав.

Кошпай засучил рукав, все взгляды устремились на его обнаженную руку. Жандарм ближе поднес лампу; дата была видна.

Несчастный обернулся к публике и к судьям с улыбкой, которую все, видевшие ее, до сих пор не могут вспомнить без содрогания.

То была улыбка торжества, то была также улыбка отчаянья.

– Теперь вы видите, что я Жан Вальжан, – сказал он.

В этой зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов; здесь были только напряженные взгляды и растроганные сердца. Ни один человек не помнил о той роли, которую ему надлежало играть; товарищ прокурора забыл, что он здесь для того, чтобы обвинять, председатель – что он здесь для того, чтобы председательствовать, защитник – что он здесь для того, чтобы защищать. Поразительная вещь: ни один вопрос не был задан, ни один из представителей власти не вмешался. Особенность возвышенных зрелищ состоит в том, что они захватывают все души и всех свидетелей превращают в зрителей. Никто, быть может, не

отдавал себе отчета в своих чувствах; никто, конечно, не понимал, что перед ним сияет свет великой души; но все чувствовали себя внутренне ослепленными.

Теперь уже не было сомнений, что перед судом стоит настоящий Жан Вальжан. Это было ясно как день. Его появление рассеяло мрак, окутывавший дело еще несколько минут назад. Никакие объяснения были уже не нужны, все присутствовавшие, словно пронзенные электрической искрой, словно по наитию, поняли сразу и с первого взгляда простую, но изумительную историю человека, который пришел донести на себя, чтобы другой человек не был осужден вместо него. Подробности, колебания, мелкие затруднения потонули во всепоглощающем сиянии этого поступка.

Впечатление длилось недолго, но оно было непреодолимо.

– Я не хочу больше нарушать порядок судебного заседания, – продолжал Жан Вальжан. – Никто не задерживает меня, и я ухожу. У меня еще много дела. Господин товарищ прокурора знает, кто я, знает, куда я еду, и может арестовать меня, когда ему будет угодно.

Он направился к выходу. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не поднялась, чтобы ему помешать. Толпа расступилась, давая ему дорогу. В эту минуту в нем было что-то божественное, что-то такое, благодаря чему тысячи людей почтительно расступаются перед одним человеком. Он медленно прошел сквозь толпу. Неизвестно, кто отворил ему дверь, достоверно одно – она распахнулась перед ним, когда он подошел к ней. На пороге он обернулся и сказал:

– Господин товарищ прокурора! Я в вашем распоряжении.

Затем он повернулся к публике:

– Вы все, – все, кто находится здесь, – наверное, считаете меня достойным сожаления, не так ли? Боже мой! А я, когда подумаю о том, чего я чуть было не сделал, считаю себя достойным зависти. И все-таки я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось.

Он вышел, и дверь затворилась за ним так же, как и отворилась, ибо тот, кто совершает высокие деяния, может быть уверен в том, что в толпе всегда найдутся люди, готовые оказать ему услугу.

Менее чем через час вердикт присяжных снял всякое обвинение с лица, именуемого Шанматье, и Шанматье, немедленно выпущенный на свободу, ушел пораженный, решив, что все сошли с ума, и ничего не понимая во всем этом бреде.

## Книга восьмая

## Удар рикошетом

### Глава первая.

### В каком зеркале господин Мадлен видит свои волосы

Светало. Фантина провела всю ночь в жару, не смыкая глаз, однако бессонница ее была полна радостных видений; под утро она заснула. Воспользовавшись этим, сестра Симплиция, ни на шаг не отходившая от больной, пошла приготовить ей новую порцию хинной настойки. Почтенная сестра уже несколько минут находилась в больничной аптеке и, низко нагнувшись над снадобьями и пузырьками, напряженно всматривалась в предметы, еще окутанные предутренней мглой. Вдруг она повернула голову и слегка вскрикнула – перед ней стоял г-н Мадлен. Он вошел в комнату совершенно бесшумно.

– Как! Это вы, господин мэр? – воскликнула она.

Он спросил вполголоса:

– Как здоровье этой бедной женщины?

– Сейчас ничего. Но, знаете, вчера она порядков напугала нас.

И тут сестра рассказала ему о том, что произошло накануне, о том, что Фантине было очень худо, а теперь лучше, так как она думает, что г-н мэр уехал в Монфермейль за ее

дочуркой. Сестра не решилась расспрашивать г-на мэра, но по его виду она сразу поняла, что он приехал не оттуда.

– Это хорошо, – сказал он, – вы правильно поступили, что не разуверяли ее.

– Да, господин мэр, – продолжала сестра, – но что мы ей скажем теперь, когда она увидит вас одного, без ребенка?

Он задумался.

– Бог наставит нас, – сказал он.

– Однако нельзя же солгать, – прошептала сестра.

В комнате стало совсем светло. Лицо г-на Мадлена было теперь ярко освещено. Случайно сестра подняла глаза.

– О боже! – вскричала она. – Что это с вами случилось, сударь? Ваши волосы совсем побелели.

– Побелели? – повторил он.

У сестры Снмплиции не было зеркала; она порылась в сумке с инструментами и вынула оттуда зеркальце, которым обычно пользовался больничный врач, чтобы удостовериться, что больной умер и уже не дышит. Г-н Мадлен взял зеркальце, взглянул на свои волосы и сказал:

– В самом деле!

Он произнес эти слова с полным равнодушием, видимо, думая о другом.

От всего этого на сестру пахнуло чем-то леденящим и неведомым.

Он спросил:

– Можно мне повидать ее?

– А что, господин мэр, разве вы не пошлете за ее ребенком? – произнесла сестра, с трудом решившись на такой вопрос.

– Непременно, но на это понадобится не менее двух, а то и трех дней.

– Если бы до тех пор вы не показывались ей, господин мэр, – робко продолжала сестра, – то она так и не узнала бы, что вы вернулись, и было бы нетрудно убедить ее потерпеть еще немного, а когда ребенок приедет, то, разумеется, она решит, что вы приехали вместе с ним. И тогда не пришлось бы прибегать ко лжи.

Господин Мадлен задумался, потом сказал с присущей ему спокойной серьезностью:

– Нет, сестрица, я должен ее увидеть. Быть может, мне надо будет поторопиться.

Монахиня, видимо, не заметила этого «быть может», придававшего словам мэра непонятный и странный смысл. Опустив глаза, она почтительно ответила ему, понизив голос:

– Она спит, но раз это нужно, господин мэр, войдите к ней.

Он сделал замечание относительно какой-то двери, которая закрывалась со скрипом и могла разбудить больную, затем вошел в комнату, где лежала Фантина, подошел к кровати и приоткрыл полог. Она спала. Дыхание вылетало у нее из груди со зловещим шумом, характерным для болезней такого рода и раздирающим сердце бедных матерей, когда они бодрствуют ночью у постели своего спящего ребенка, приговоренного к смерти. Однако это затрудненное дыхание почти не нарушало невыразимой ясности, разлитой на ее лице и преобразившей ее во сне. Бледность превратилась у нее в белизну, щеки алели легким румянцем. Длинные золотистые ресницы, сомкнутые и опущенные, единственное украшение, оставшееся ей от былой невинности и молодости, слегка трепетали. Все ее тело дрожало словно от движения каких-то невидимых шелестящих крыльев, готовых раскрыться и унести ее ввысь. Увидев ее, сейчас никто не поверил бы, что перед ним почти безнадежно больная. Она походила на существо, собирающееся улететь, а не умереть.

Ветка вздрагивает, когда рука человека приближается к ней, чтобы сорвать цветок; она и уклоняется, и поддается. В человеческом теле бывает что-то похожее на это содрогание, когда таинственная рука смерти готовится унести душу.

Некоторое время Мадлен стоял неподвижно у этого ложа, глядя то на больную, то на распятие, точно так же, как два месяца назад, в тот день, когда он впервые пришел навестить ее в этом убежище. Они снова были тут, и оба делали то же, что и тогда: она спала, он молился. Но только за эти два месяца в ее волосах проступила седина, а волосы Мадлена совсем побелели.

Сестра не вошла к Фантине, но он стоял у кровати, приложив палец к губам, словно в комнате был еще кто-то, кого надо было просить о молчании.

Вдруг Фантина открыла глаза, увидела его и сказала совершенно спокойно и с улыбкой:

– А Козетта?

## Глава вторая.
## Фантина счастлива

Она не сделала ни одного движения, говорившего об удивлении или радости; она вся была воплощенная радость. Этот простой вопрос: «А Козетта?» – задан был с таким глубоким доверием, с таким спокойствием, с таким полным отсутствием тревоги или сомнения, что Мадлен не нашелся, что ответить. Она продолжала:

– Я знала, что вы здесь. Я спала, но видела вас. Я вижу вас уже давно. Всю ночь я следила за вами взглядом. Вы были в каком-то сиянии, вас окружали ангелы.

Он поднял глаза к распятию.

– Но скажите же мне, где Козетта? – продолжала она. – Почему вы не положили ее ко мне в постель? Тогда я увидела бы ее сразу, как только проснулась.

Он бессознательно ответил ей что-то, но впоследствии не мог припомнить, что именно.

К счастью, в эту минуту вошел врач, которого успели предупредить. Он пришел на помощь к Мадлену.

– Голубушка! – сказал врач. – Успокойтесь! Ваш ребенок здесь.

Глаза у Фантины заблестели, осветив все ее лицо. Она сложила руки с выражением самой горячей и самой нежной мольбы.

– О, принесите же мне ее! – вскричала она.

Трогательная иллюзия матери! Козетта все еще была для нее маленьким ребенком, которого носят на руках.

– Нет, – возразил врач, – не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Вид ребенка взволнует вас, а вам это вредно. Сначала мы вылечим вас.

Она перебила его:

– Но ведь я уже здорова, здорова! До чего он глуп, этот доктор! Вы слышите? Я хочу видеть моего ребенка, хочу и все!

– Вот видите, как вы горячитесь, – сказал врач. – До тех пор, пока вы будете так себя вести, я не разрешу вам держать у себя дочку. Недостаточно увидеть ребенка, надо жить для него. Когда вы будете благоразумны, я сам приведу его к вам.

Бедная мать опустила голову.

– Простите меня, господин доктор, очень прошу вас, простите меня! В прежнее время я бы не стала так разговаривать, но со мной случилось столько несчастий, что иной раз я и сама не знаю, что говорю. Я понимаю: вы боитесь, чтобы я не разволновалась, я буду ждать, сколько вы захотите, но, клянусь вам, мне не причинило бы вреда, если бы я взглянула на мою дочурку. Все равно я вижу ее; она так и стоит у меня перед глазами со вчерашнего вечера. Знаете, что? Если бы мне принесли ее сейчас, я бы стала тихонечко разговаривать с ней, и все. Разве не

понятно, что я хочу видеть своего ребенка, за которым ради меня ездили в Монфермейль? Я не сержусь. Я уверена, что скоро буду счастлива. Всю ночь я видела что-то белое и какие-то фигуры, которые мне улыбались. Когда господин доктор захочет, тогда он и принесет мне Козетту. У меня уже нет жара, я выздоровела. Я чувствую, что у меня все прошло, но я буду вести себя так, как будто еще больна, и не стану двигаться, чтобы сделать приятное сестрицам. Когда все увидят, что я спокойна, то скажут: надо дать ей ребенка.

Мадлен сидел на стуле рядом с кроватью. Она повернулась к нему. Видно было, что она изо всех сил старается казаться спокойной и «быть умницей», как она выражалась в своем болезненном бессилии, похожем на детскую слабость, – старается для того, чтобы все увидели ее спокойствие и позволили привести к ней Козетту. Однако, как она ни сдерживалась, она все же не могла не забросать г-на Мадлена вопросами:

– Хорошо ли вы съездили, господин мэр? О, какой вы добрый, что поехали за ней! Скажите мне только одно: как ее здоровье? Хорошо ли она перенесла дорогу? Она и не узнает меня. Как это грустно! Она забыла меня за столько времени, бедная крошка! Дети ведь такие беспамятные! Все равно что птички. Сегодня видят одно, завтра другое и сразу все забывают. По крайней мере чистое ли было на ней белье? В чистоте ли держали ее эти Тенардье? Как они ее кормили? О, если бы вы знали, как я мучилась, когда задавала себе все эти вопросы в пору нужды! Теперь все прошло. Я так рада! Ах, как бы мне хотелось увидеть ее! Скажите, господин мэр, понравилась вам моя дочурка? Ведь, правда, она красавица? Вы, наверно, очень озябли в дилижансе? Скажите, неужели нельзя принести ее сюда хоть на минуточку? А потом сейчас же унести обратно? Вы ведь здесь хозяин, и если бы вы захотели…

Он взял ее за руку.

– Козетта красавица, – сказал он, – Козетта здорова, вы скоро увидите ее, только успокойтесь. Вы говорите слишком быстро и к тому же высовываете руку из-под одеяла, а от этого у вас кашель.

В самом деле, приступы удушливого кашля прерывали Фантину чуть не на каждом слове.

Фантина не стала возражать; она испугалась, что нарушила чересчур пылкими мольбами то доверие, которое ей хотелось внушить окружающим, и принялась болтать о посторонних вещах.

– Не правда ли, Монфермейль – довольно красивое место? Летом туда ездят на прогулку. Как идут дела у Тенардье? В тех краях бывает мало народу. Это не постоялый двор, а какая-то харчевня.

Не выпуская ее руки, Мадлен смотрел на нее с тревогой; было ясно, что он пришел сказать ей нечто такое, перед чем теперь мысленно отступал. Врач, навестив больную, ушел, и с ними оставалась только сестра.

Внезапно среди наступившей тишины раздался возглас Фантины:

– Я слышу ее! Боже мой, я слышу ее! Она протянула руку, чтобы все помолчали, и, затаив дыхание, стала прислушиваться.

Во дворе играл ребенок-дочка привратницы или какой-нибудь из работниц. Подобные случайности всегда имеют место в развертывающемся таинственном спектакле трагических происшествий, словно играя в нем свою роль. Девочка резвилась, бегала, чтобы согреться, смеялась и звонко пела. Увы! В какие только человеческие переживания не вторгаются иногда детские игры! Песенку этой девочки и услыхала Фантина.

– О! – вскричала она. – Это моя Козетта! Я узнаю ее голосок!

Ребенок исчез так же быстро, как появился; голосок умолк; Фантина прислушивалась еще некоторое время, потом лицо ее омрачилось, Мадлен услышал, как она прошептала:

– Какой дурной человек этот доктор. Он не позволяет мне увидеть мою дочку! У него и лицо злое.

Однако радостные мысли снова вернулись к ней. Откинув голову на подушку, она продолжала говорить сама с собой:

– Какие мы с ней будем счастливые! Во-первых, у нас будет садик! Господин Мадлен обещал мне это. Моя дочурка будет играть в саду. Она уже, наверно, знает азбуку. Я заставлю ее читать по складам. Она станет бегать по траве за бабочками. А я буду смотреть на нее. А потом она пойдет к причастию. Кстати! Когда же она в первый раз пойдет к причастию?

Она начала считать по пальцам.

– …Один, два, три, четыре… сейчас ей семь. Значит, через пять лет. Она наденет белую вуаль и ажурные чулочки, она будет похожа на маленькую женщину. О добрая моя сестрица! Вы еще не знаете, до чего я глупа – я думаю о том, как моя дочь пойдет к первому причастию!

Она рассмеялась.

Он уже не держал руку Фантины. Он слушал ее слова, как слушают дуновение ветерка, – опустив глаза в землю, углубившись в свои бездонные думы. Вдруг она замолчала, и он машинально поднял глаза. Вид Фантины испугал его.

Она больше не говорила, она больше не дышала; она приподнялась на своем ложе, ее худое плечо выглянуло из-под спустившейся сорочки; лицо, такое сияющее за минуту перед тем, было теперь мертвенно-бледно; расширенными от ужаса глазами она как будто пристально вглядывалась во что-то страшное, находившееся на другом конце комнаты.

– Боже мой! – вскричал он. – Что с вами, Фантина?

Она не ответила, она не отрывала глаз от того, на что смотрела; она коснулась одной рукой его плеча, а другой сделала ему знак оглянуться.

Он обернулся и увидел Жавера.

## Глава третья.
## Жавер доволен

Вот что произошло.

Пробило половину первого ночи, когда г-н Мадлен вышел из залы аррасского суда. Вернувшись в гостиницу, он как раз успел сесть в почтовую карету, в которой, как мы помним, он заранее заказал себе место. Около шести часов утра он приехал в Монрейль – Приморский и первым делом отправил по почте свое письмо к Лафиту, а затем зашел в больницу навестить Фантину.

Едва он успел покинуть залу заседаний суда присяжных, как товарищ прокурора, оправившись от потрясения, выступил с речью, в которой, оплакивая внезапное помешательство почтенного мэра города Монрейля-Приморского, заявил, что его уверенность в виновности подсудимого ничуть не поколебалась в связи с этим странным происшествием, которое, конечно, получит свое объяснение впоследствии и пока что требует осуждения Шанматье, несомненно являющегося истинным Жаном Вальжаном. Упорство товарища прокурора находилось в явном противоречии с мнением всех – публики, судей и присяжных. Защитник с легкостью опроверг его слова и установил, что благодаря признаниям г-на Мадлена – другими словами, истинного Жана Вальжана – все дело в корне изменилось и что перед присяжными находится невинный. Он извлек из этого несколько сентенций, к сожалению, уже не новых, относительно судебных ошибок и т. д., и т. д.; председатель в заключительной речи присоединился к защитнику, и через несколько минут присяжные объявили Шанматье непричастным к делу.

Однако товарищу прокурора требовался какой-нибудь Жан Вальжан, и, потеряв Шанматье, он ухватился за Мадлена.

Немедленно после освобождения Шанматье товарищ прокурора уединился с председателем. Они обсудили вопрос «касательно нового обвиняемого, касательно особы г-на мэра города Монрейля – Приморского и касательно необходимости его задержать». Эта

коллекция «касательных» принадлежит перу г-на товарища прокурора и собственноручно включена им в подлинник его донесения главному прокурору. Волнение председателя уже улеглось, и он не стал особенно возражать. Как-никак, а правосудие должно было вершиться своим порядком. К тому же, если уж договаривать до конца, председатель, человек незлой и довольно неглупый, был в то же время правоверным роялистом, почти фанатиком, и его покоробило, что когда-то мэр Монрейля – Приморского, говоря о высадке в Канне, употребил слово император, а не Буонапарте.

Итак, приказ об аресте был изготовлен. Товарищ прокурора послал его в Монрейль – Приморский с нарочным, наказав последнему мчаться во весь опор и передать пакет полицейскому надзирателю Жаверу.

Жавер вернулся в Монрейль – Приморский немедленно после дачи показаний.

Жавер только что встал, когда нарочный вручил ему постановление об аресте и приказ о доставке арестованного.

Нарочный тоже был из агентов полиции, человек многоопытный, и он в двух словах осведомил Жавера обо всем, что произошло в Аррасе. Приказ об аресте, подписанный товарищем прокурора, гласил: «Полицейскому надзирателю Жаверу предписывается задержать сьера Мадлена, мэра Монрейля-Приморского, в лице коего суд на заседании от сего числа опознал отпущенного на волю каторжника Жана Вальжана».

Если бы при входе Жавера в переднюю больницы его увидел человек посторонний, то он никогда не догадался бы по его внешнему виду о том, что происходит в его душе, и не заметил бы ничего необыкновенного. Жавер был холоден, спокоен, серьезен, его седые волосы были аккуратно приглажены на висках, и по лестнице он поднялся своим обычным неторопливым шагом. Однако, если бы человек, изучивший его, внимательно присмотрелся к нему, он ощутил бы трепет. Застежка кожаного воротничка Жавера, вместо того чтобы быть сзади, как полагалось, приходилась под левым ухом. Это выдавало невероятное возбуждение.

Жавер был цельной натурой и не допускал ни одного пятнышка ни на обязанностях своих, ни на мундире; он был методически строг в отношении пуговиц своей одежды.

Если ему случилось неправильно застегнуть воротничок – значит, в душе его произошла такая буря, какую можно было бы назвать внутренним землетрясением.

Захватив с собой одного капрала и четырех солдат с ближайшего полицейского участка, он пошел прямо в больницу, оставил солдат во дворе и попросил ничего не подозревавшую привратницу, привыкшую к тому, что вооруженные люди спрашивают г-на мэра, указать ему, где лежит Фантина.

Дойдя до палаты Фантины, Жавер повернул ключ, с осторожностью сиделки или сыщика отворил дверь и вошел.

Точнее сказать, не вошел, а остановился на пороге полуоткрытой двери, не снимая шляпы и засунув левую руку за борт наглухо застегнутого сюртука. Под мышкой у него виднелся свинцовый набалдашник его огромной трости, конец которой исчезал за спиной.

С минуту он простоял никем не замеченный. Внезапно Фантнна подняла глаза, увидела его и заставила обернуться Мадлена.

В тот миг, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер стал страшен, хотя он и не двинулся с места, не шевельнулся, не приблизился ни на шаг. Ни одно человеческое чувство не способно вселить такой ужас, какой иногда способна вселить радость.

То было лицо Сатаны, который вновь обрел своего грешника.

Уверенность в том, что наконец-то Жан Вальжан находится в его власти, вызвала наружу все чувства, скрывавшиеся в душе Жавера. Вся тина со дна взбаламученного моря всплыла на поверхность. Чувство унижения, вызванное тем, что он было потерял след и в течение нескольких минут принимал Шанматье за другого, исчезло, вытесненное гордостью сознания,

что он угадал истину с самого начала и что его безошибочный инстинкт так долго сопротивлялся обману. Жавер был доволен, и его повелительная осанка ясно говорила об этом. Все, что есть уродливого в торжестве, распустилось пышным цветом на его узком лбу. Здесь во всей своей наготе явило себя все ужасное, чем веет от самодовольной человеческой физиономии.

Жавер был на седьмом небе. Не отдавая себе ясного отчета, но бессознательно и смутно ощущая свою необходимость и свой успех, он, Жавер, олицетворял сейчас свет, истину и справедливость в их священной функции – в уничтожении зла. За ним, вокруг него, где-то в бесконечной дали, стояли власть, здравый смысл, судебное решение, полицейская совесть, общественная кара – все звезды его неба. Он защищал порядок, он извлекал из закона громы и молнии, он мстил за общество, он оказывал поддержку абсолюту; окруженный ореолом, он словно стал выше ростом; в его победе еще жил отзвук вызова и поединка: он стоял надменный, блистательный; какое-то пугающее животное начало свирепого ангела мщения, казалось, проступало в нем; в грозной тени свершаемого им дела неясно вырисовывался пламенеющий меч социального правосудия, который судорожно сжимала его рука; счастливый и негодующий, он топтал каблуком преступление, порок, бунт, грех, ад; он сиял, он искоренял, он улыбался, и было какое-то неоспоримое величие в этом чудовищном архангеле Михаиле.

Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого.

Честность, искренность, прямодушие, убежденность, преданность долгу – это свойства, которые, свернув на ложный путь, могут стать отталкивающими, но и тут они остаются значительными; величие, присущее человеческой совести, не покидает их даже тогда, когда они внушают ужас. У этих добродетелей есть лишь один порок-заблуждение. Безжалостная искренняя радость фанатика, при всей ее жестокости, излучает некое сияние, зловещее, но внушающее уважение. Сам того не сознавая, Жавер в своем непомерном восторге был достоин жалости, как всякий торжествующий невежда. И ничто не могло бы произвести более мучительное и более страшное впечатление, чем это лицо, на котором, если можно так выразиться, отразилась вся скверна добра.

## Глава четвертая.
## Законная власть восстанавливает свои права

Фантина ни разу не видела Жавера с того самого дня, когда мэр вырвал ее из рук этого человека. Но хотя ее больной мозг и не был в состоянии разобраться в происходящем, она ни на секунду не усомнилась в том, что он пришел за ней. Она не могла вынести вида ужасной этой фигуры, она почувствовала, что силы ее угасают, и, закрыв лицо руками, в испуге крикнула:

– Господин Мадлен, спасите меня!

Жан Вальжан – отныне мы уже не будем называть его иначе – поднялся со стула. Самым ласковым, самым спокойным тоном он сказал Фантине:

– Успокойтесь Он пришел не за вами.

Затем он повернулся к Жаверу и сказал ему:

– Я знаю, что вам нужно.

Жавер ответил:

– Живо! Идем!

В тоне, каким были произнесены эти два слова, слышалось что-то исступленное, что-то дикое. Жавер не сказал: «Живо! Идем!» Он сказал: «Живидем!» Никакое правописание не могло бы точно передать эти звуки; то была уже не человеческая речь, то было рычание.

На сей раз он поступил не так, как обычно: он не объявил о цели своего прихода, он даже не предъявил приказа об аресте. Для него Жан Вальжан являлся своего рода противником, таинственным и неуловимым, загадочным борцом, которого он держал в своих тисках на

протяжении пяти лет, но свалить не мог. Этот арест был не началом, а концом. Он ограничился тем, что сказал: «Живо! Идем!»

Произнося эти слова, он не сделал ни шагу; он только метнул на Жана Вальжана взгляд, который он закидывал, как крюк, притягивая к себе несчастные жертвы.

Этот взгляд пронзил Фантину до мозга костей за два месяца перед тем.

При окрике Жавера Фантина открыла глаза. Но ведь г-н мэр здесь. Чего же ей бояться?

Жавер шагнул на середину комнаты и крикнул:

– Эй, как тебя там! Идешь ты или нет?

Бедняжка оглянулась. В комнате не было никого, кроме монахини и г-на мэра. К кому же могло относиться это омерзительное «ты»? Только к ней. Она задрожала.

И тут она увидела нечто невероятное, нечто до такой степени невероятное, что ничего подобного не могло бы померещиться ей даже в самом тяжелом горячечном бреду.

Она увидела, как сыщик Жавер схватил за шиворот г-на мэра; она увидела, как г-н мэр опустил голову. Ей показалось, что рушится мир.

Жавер действительно взял за шиворот Жана Вальжана.

– Господин мэр! – вскричала Фантина.

Жавер разразился хохотом, своим ужасным хохотом, обнажавшим его зубы до десен.

– Никакого господина мэра здесь больше нет!

Жан Вальжан не сделал попытки отстранить руку, державшую его за воротник редингота. Он сказал:

– Жавер…

– Я для тебя «господин полицейский надзиратель», – перебил его Жавер.

– Сударь! – снова заговорил Жан Вальжан. – Мне бы хотелось сказать вам несколько слов наедине.

– Громко! Говори громко! – крикнул Жавер. – Со мной не шепчутся!

Жан Вальжан продолжал, понизив голос:

– Я хочу обратиться к вам с просьбой…

– А я приказываю тебе говорить громко.

– Но этого не должен слышать никто, кроме вас…

Какое мне дело? Я не желаю слушать!

Жан Вальжан повернулся к нему лицом и проговорил быстро и очень тихо:

– Дайте мне три дня! Только три дня, чтобы я мог съездить за ребенком этой несчастной женщины! Я уплачу все, что нужно. Вы можете меня сопровождать, если хотите.

– Да ты шутишь! – крикнул Жавер – Право же, я не считал тебя за дурака! Ты просишь дать тебе три дня. Сам задумал удрать, а говорит, что хочет поехать за ребенком этой девки! Ха-ха-ха! Здорово! Вот это здорово!

Фантина затрепетала.

– За моим ребенком! – вскричала она – Поехать за моим ребенком! Значит, ее здесь нет? Сестрица, ответьте мне: где Козетта? Дайте мне моего ребенка! Господин Мадлен! Господин мэр!

Жавер топнул ногой.

– И эта туда же! Замолчишь ли ты, мерзавка! Что за негодная страна, где каторжников назначают мэрами, а за публичными девками ухаживают, как за графинями! Ну нет! Теперь все это переменится. Давно пора!

Он пристально посмотрел на Фантину и добавил, снова ухватив галстук, ворот рубашки и воротник редингота Жана Вальжана:

– Говорят тебе, нет здесь никакого господина Мадлена, и никакого господина мэра здесь нет. Есть вор, разбойник, есть каторжник по имени Жан Вальжан! Его-то я и держу! Вот и все!

Фантина вдруг приподнялась, опираясь на застывшие руки, она взглянула на Жана Вальжана, на Жавера, на монахиню, открыла рот, словно собираясь что-то сказать, какой-то хрип вырвался у нее из горла, зубы застучали, она в отчаянье протянула вперед обе руки, ловя воздух пальцами, словно утопающая, которая ищет, за что бы ей ухватиться, и опрокинулась на подушку. Голова ее ударилась об изголовье кровати, потом упала на грудь; рот и глаза остались открытыми, взор погас.

Она была мертва.

Жан Вальжан положил свою руку на руку державшего его Жавера и разжал ее, словно руку ребенка, потом сказал Жаверу:

– Вы убили эту женщину.

– Довольно! – в ярости крикнул Жавер – Я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать нравоучения. Обойдемся без них. Стража внизу. Немедленно иди за мной, не то – наручники!

В углу комнаты стояла старая железная расшатанная кровать, на которой спали сестры во время ночных дежурств; Жан Вальжан подошел к этой кровати, в мгновенье ока оторвал от нее изголовье, уже и без того еле державшееся и легко уступившее его могучим мускулам, вынул из него прут, служивший основанием, и взглянул на Жавера. Жавер попятился к двери.

Жан Вальжан, с железным брусом в руках, медленно направился к постели Фантины. У постели он обернулся и едва слышно сказал Жаверу:

– Не советую вам мешать мне сейчас.

Достоверно известно одно – Жавер вздрогнул.

У него мелькнула мысль позвать стражу, но Жан Вальжан мог воспользоваться его отсутствием и бежать. Поэтому он остался, сжал в руке палку, держа ее за нижний конец, и прислонился к косяку двери, не сводя глаз с Жана Вальжана.

Жан Вальжан оперся локтем о спинку кровати и, опустив голову на руку, стал смотреть на неподвижно распростертую Фантину. Он долго стоял так, погруженный в свои мысли, безмолвный, видимо, забыв обо всем на свете. Его лицо и поза выражали одно безграничное сострадание. Несколько минут спустя он нагнулся к Фантине и начал что-то тихо говорить ей.

Что он ей сказал? Что мог сказать человек, который был осужден законом, женщине, которая умерла? Какие это были слова? Никто в мире не слышал их. Слышала ли их умершая? Существуют трогательные иллюзии, в которых, может быть, заключается самая возвышенная реальность. Несомненно одно сестра Симплиция, единственная свидетельница всего происходившего. часто рассказывала впоследствии, будто в тот момент, когда Жан Вальжан шептал что-то на ухо Фантине, она ясно видела, как блаженная улыбка показалась на этих бледных губах и забрезжила в затуманенных зрачках, полных удивления перед тайной могилы.

Жан Вальжан взял обеими руками голову Фантины и удобно положил ее на подушку, как это сделала бы мать для своего дитяти; он завязал тесемки на вороте ее сорочки и подобрал ей волосы под чепчик. Потом закрыл ей глаза.

Лицо Фантины в эту минуту, казалось, озарило непостижимое сияние.

Смерть – это переход к вечному свету.

Рука Фантины свесилась с кровати. Жан Вальжан опустился на колени, осторожно поднял ее руку и приложился к ней губами.

Потом встал и обернулся к Жаверу.

– Теперь я в вашем распоряжении, – сказал он.

## Глава пятая.
## По мертвецу и могила

Жавер доставил Жана Вальжана в городскую тюрьму.

Арест г-на Мадлена произвел в Монрейле – Приморском небывалую сенсацию, или, вернее сказать, небывалый переполох. Нам очень грустно, но мы не можем скрыть тот факт, что слова – бывший каторжник заставили почти всех отвернуться от него. В течение каких-нибудь двух часов все добро, сделанное им, было забыто, и он стал только каторжником. Правда, подробности происшествия в Аррасе еще не были известны. Целый день в городе слышались разговоры:

– Вы еще не знаете? Он каторжник, отбывший срок. – Кто он? – Да наш мэр. – Как! Господин Мадлен? – Да. – Неужели? – Его и звали-то не Мадлен, у него какое-то жуткое имя – не то Бежан, не то Божан, не то Бужан… – Ах, боже мой! – Его посадили. – Посадили! – В тюрьму, в городскую тюрьму, покамест его не переведут. – Покамест не переведут! Так его переведут? Куда же это? – Его еще будут судить в суде присяжных за грабеж на большой дорога совершенный им в былые годы. – Ну вот! Так я и знала! Слишком уж он был добрый, слишком хороший, до приторности. Отказался от ордена и раздавал деньги всем маленьким озорникам, которые попадались ему на дороге. Мне всегда казалось, что тут дело нечисто.

Особенно возмущались им в так называемых «салонах».

Одна пожилая дама, подписчица газеты Белое знамя, высказала замечание, измерить всю глубину которого почти невозможно:

– Меня это нисколько не огорчает. Это хороший урок бонапартистам!

Так рассеялся в Монрейле-Приморском миф, называвшийся «г-ном Мадленом». Только три-четыре человека во всем городе остались верны его памяти. Старуха привратница, которая служила у него в доме, относилась к их числу.

Вечером того же дня эта почтенная старушка сидела у себя в каморке, все еще не оправившись от испуга и погруженная в печальные размышления. Фабрика была закрыта с самого утра, ворота на задоре, улица пустынна. Во всем доме не было никого, кроме двух монахинь – сестры Перепетуи и сестры Симплиции, бодрствовавших у тела Фантины.

Около того часа, когда г-н Мадлен имел обыкновение возвращаться домой, добрая старушка машинально поднялась с места, достала из ящика ключ от комнаты г-на Мадлена и подсвечник, который он всегда брал с собой, поднимаясь по лестнице к себе наверх, повесила ключ на гвоздик, откуда он снимал его обычно, и поставила подсвечник рядом, словно ожидая хозяина. Потом она опять села на стул и погрузилась в свои мысли. Славная старушка проделала это совершенно бессознательно.

Только часа через два с лишним она очнулась от своей задумчивости и воскликнула:

– Господи Иисусе! Подумать только! Я повесила его ключ на гвоздик!

В эту самую минуту окно ее каморки отворилось, в отверстие просунулась рука, взяла ключ и подсвечник и зажгла восковую свечу от сальной, горевшей на столе.

Привратница подняла глаза и застыла с разинутым ртом, делая усилие, чтобы у нее не вырвался крик.

Она узнала эти пальцы, эту руку, рукав этого редингота.

То был г-н Мадлен.

В течение нескольких секунд она не могла вымолвить ни слова, сердце у нее «захолонуло», как выразилась она, рассказывая впоследствии об этом приключении.

– О господи! Это вы, господин мэр? – вскричала она наконец. – А я-то думала, что вы…

Она запнулась, конец ее фразы был бы непочтительным по отношению к началу. Жан Вальжан все еще оставался для нее господином мэром.

Он докончил ее мысль.

– В тюрьме, – сказал он. – Я и был там. Я выломал железный прут в решетке окна, спрыгнул с крыши, и вот я здесь. Сейчас я поднимусь к себе наверх, а вы пришлите ко мне сестру Симплицию. Она, наверное, сидит у тела бедной женщины.

Старуха повиновалась.

Он не стал просить ее о молчании; он был уверен, что она позаботится о его безопасности лучше, чем он сам.

Никто так и не узнал впоследствии, каким образом ему удалось проникнуть во двор, не открывая ворот. У него всегда был при себе запасной ключ от калитки, но ведь при обыске у него должны были отобрать ключ. Это обстоятельство так и осталось невыясненным.

Он поднялся по лестнице, которая вела в его комнату.

Дойдя до верхней площадки, он оставил подсвечник на последней ступеньке, бесшумно открыл дверь, нащупал в темноте и закрыл окно и ставень, затем воротится за свечой и снова вошел в комнату.

Эта предосторожность была нелишней; как мы помним, окно выходило на улицу, и на него могли обратить внимание.

Он осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на стол, на стул, на постель, которую не раскрывал уже трое суток. Нигде не было никаких следов беспорядка позапрошлой ночи. Привратница «прибралась в комнате», но, на этот раз, аккуратно разложила на столе вынутые из золы два железных наконечника его палки и монету в сорок су, почерневшую от огня.

Он взял листок бумаги, написал на нем: «Вот два железных наконечника моей палки и украденная у Малыша Жерве монета в сорок су, о которой я говорил в суде присяжных», потом переложил на этот листок серебряную монету и два куска железа так, чтобы они сразу бросились в глаза каждому, кто вошел бы в комнату. Он вынул из шкафа старую рубаху и разорвал ее. Получилось несколько кусков полотна – в них он завернул серебряные подсвечники. Кстати сказать, в нем не было заметно ни торопливости, ни волнения; заворачивая подсвечники епископа, он жевал кусок черного хлеба. Возможно, что это была тюремная порция, захваченная им при побеге.

Об этом свидетельствовали хлебные крошки, найденные на полу комнаты при обыске, произведенном несколько позже.

Кто-то два раза тихо постучал в дверь.

– Войдите, – сказал он.

Вошла сестра Снмплнция.

Она была бледна, глаза ее были заплаканы. Свеча дрожала в ее руке. Жестокие удары судьбы обладают той особенностью, что до какой бы степени совершенства или черствости мы ни дошли, они извлекают из глубины нашего «я» человеческую природу и заставляют ее показаться на свет. Потрясения этого дня снова превратили монахиню в женщину. Она проплакала весь день и теперь вся дрожала.

Жан Вальжан написал на листке бумаги несколько строк и протянул ей записку.

– Сестрица! Передайте это нашему кюре! Листок не был сложен. Она мельком взглянула на него.

– Можете прочесть, – сказал он.

Она прочитала: «Я прошу господина кюре распорядиться всем тем, что я оставляю здесь. Покорно прошу оплатить судебные издержки по моему делу и похоронить умершую сегодня женщину. Остальное – бедным».

Сестра хотела что-то сказать, но едва могла произнести несколько бессвязных звуков. Наконец ей удалось выговорить:

– Не угодно ли вам, господин мэр, повидать в последний раз несчастную страдалицу?

– Нет, – сказал он, – за мной погоня, меня могут арестовать в ее комнате, а это потревожило бы ее покой.

Едва он успел договорить эти слова, как на лестнице раздался сильный шум. Послышался топот ног на ступеньках и голос старухи привратницы, громко и пронзительно кричавшей:

– Клянусь господом богом, сударь, что за весь день и за весь вечер сюда не входила ни одна душа, а я ведь ни на минуту не отлучалась от дверей!

Мужской голос возразил:

– Однако в этой комнате горит свет.

Они узнали голос Жавера.

Расположение комнаты было таково, что дверь, открываясь, загораживала правый угол. Жан Вальжан задул восковую свечу и стал в этот угол.

Сестра Симплиция упала на колени возле стола.

Дверь отворилась.

Вошел Жавер.

Из коридора слышалось перешептывание нескольких человек и уверения привратницы.

Монахиня не поднимала глаз. Она молилась.

Свеча, поставленная ею на камин, едва мерцала.

Жавер увидел сестру и в замешательстве остановился на пороге.

Вспомним, что сущностью Жавера, его основой, его родной стихией было глубокое преклонение перед всякой властью. Он был цельной натурой и не допускал для себя ни возражений, ни ограничений. И, разумеется, духовная власть стояла для него превыше всякой другой: он был набожен, соблюдал обряды и был так же педантичен в этом отношении, как и во всех остальных. В его глазах священник был духом, не знающим заблуждения, монахиня – существом, не ведающим греха. То были души, жившие за глухой оградой, и единственная дверь ее открывалась лишь затем, чтобы пропустить в наш грешный мир истину.

Когда он увидел сестру, первым его побуждением было удалиться.

Однако в нем говорило и другое чувство, чувство долга, владевшее им и властно толкавшее его в противоположную сторону. Следующим его побуждением было – остаться и по крайней мере осмелиться задать вопрос.

Перед ним была та самая сестра – Симилиция, которая не солгала ни разу в жизни. Жавер знал об этом и именно по этой причине особенно преклонялся перед ней.

– Сестрица! – сказал он. – Вы одна в этой комнате?

Наступила ужасная минута. Бедная привратница едва не лишилась сознания.

Сестра подняла глаза и ответила:

– Да.

– Значит, – продолжал Жавер, – простите меня за настойчивость, но я выполняю свой долг, – значит вы не видели сегодня вечером одну личность, одного человека? Он сбежал, мы ищем его. Вы не видели человека по имени Жан Вальжан?

– Нет, – ответила сестра.

Она солгала. Она солгала дважды, раз за разом, без колебаний, без промедления, с такой быстротой, с какой человек приносит себя в жертву.

– Прошу прощения, – сказал Жавер и, низко поклонившись, вышел.

О святая девушка! Вот уже много лет, как тебя пет в этом мире; ты уже давно соединилась в царстве вечного света со своими сестрами-девственницами и братьями-ангелами. Да зачтется тебе в раю эта ложь!

Свидетельство сестры было столь убедительно для Жавера, что он даже не заметил одного странного обстоятельства: на столе стояла другая свеча, только что потушенная и еще чадившая.

Час спустя какой-то человек, пробираясь сквозь деревья и густой туман, быстро удалялся от Монрейля – Приморского по направлению к Парижу. Этот человек был Жан Вальжан. Показаниями двух или трех возчиков, встретивших его дорогой, было установлено, что он нес какой-то сверток и что на нем была надета блуза. Где он взял ее? Неизвестно. Впрочем, за несколько дней до того в фабричной больнице умер старик рабочий, который не оставил после себя ничего, кроме блузы. Не была ли это та самая блуза?

Еще несколько слов о Фантине.

У всех нас есть одна общая мать-земля. Этой-то матери и возвратили Фантину.

Кюре считал, что хорошо поступил, – и, может быть, действительно поступил хорошо, – сохранив возможно большую часть денег, оставленных Жаном Вальжаном, для бедных. В конце концов о ком тут шла речь? Всего лишь о каторжнике и о публичной женщине. Вот почему он крайне упростил погребение Фантины, ограничившись самым необходимым-то есть общей могилой.

Итак, Фантину похоронили в том углу кладбища, который принадлежит всем и никому, в углу, где хоронят бесплатно и где бедняки исчезают без следа. К счастью, бог знает, где отыскать душу. Фантину опустили в гробовую тьму, среди костей, неведомо кому принадлежавших; прах ее смешался с прахом других людей. Она была брошена в общую яму. Ее могила была подобна ее ложу.

## Часть II

## «Козетта»

## Книга первая

## Ватерлоо

### Глава первая.

### Что можно увидеть по дороге из Нивеля

В прошлом (1861) году, солнечным майским утром, прохожий, рассказывающий эту историю, прибыв из Нивеля, направлялся в Ла – Гюльп. Он шел по широкому обсаженному деревьями шоссе, которое тянулось по цепи холмов, то поднимаясь, то опускаясь как бы огромными волнами. Он миновал Лилуа и Буа – Сеньер – Иссак. На западе уже виднелась крытая шифером колокольня Брен – л'Алле, похожая на перевернутую вазу. Он оставил позади раскинувшуюся на холме рощу и, на повороте проселка, около какого-то подобия виселицы, источенной червями, с надписью: «Старая застава э 4»,кабачок, фасад которого украшала вывеска: «На вольном воздухе. Частная кофейная Эшабо».

Пройдя еще четверть лье, он спустился в небольшую долину, где, вытекая из-под мостовой арки в дорожной насыпи, струился ручей. Не густые, но ярко-зеленые деревья, оживлявшие долину по одну сторону шоссе, разбегались на противоположной стороне по лугам и в живописном беспорядке тянулись к Брен – л'Алле.

Направо, на краю дороги, виднелся постоялый двор, четырехколесная тележка перед воротами, большая вязанка жердей для хмеля, плуг, куча хворосту возле живой изгороди, дымившаяся в квадратной яме известь, лестница, прислоненная к старому открытому сараю с соломенными перегородками внутри. Молодая девушка полола в поле, где трепалась на ветру огромная желтая афиша, возвещавшая, по всей вероятности, о ярмарочном представлении по случаю храмового праздника. За углом постоялого двора, вдоль лужи, в которой плескалась стая уток, пролегала скверно вымощенная дорожка, углублявшаяся в чащу кустарника. Туда и направился прохожий.

Пройдя около сотни шагов вдоль ограды XV столетия, увенчанной острым щипцом из цветного кирпича, он очутился перед большими каменными сводчатыми воротами с прямым поперечным брусом над створками в суровом стиле Людовика XIV и двумя плоскими медальонами по сторонам. Фасад здания, такого же строгого стиля, возвышался над воротами; стена, перпендикулярная фасаду, почти вплотную подходила к воротам, образуя прямой угол. Перед ними на поляне валялись три бороны, сквозь зубья которых пробивались весенние цветы. Ворота были заперты. Затворялись они двумя ветхими створками, на которых висел старый, заржавленный молоток.

Солнце светило ярко; ветви деревьев тихо покачивались с тем нежным майским шелестом, который, кажется, исходит скорее от гнезд, нежели от листвы, колеблемой ветерком. Смелая пташка, видимо влюбленная, звонко заливалась меж ветвей раскидистого дерева.

Прохожий нагнулся и внизу, с левой стороны правого упорного камня ворот, разглядел довольно широкую круглую впадину, похожую на внутренность шара. В эту минуту ворота распахнулись и появилась крестьянка.

Она увидела прохожего и догадалась, на что он смотрит.

– Сюда попало французское ядро, – сказала она и добавила: – А вот здесь, повыше, на воротах, около гвоздя, – это след картечи, но она не пробила дерева насквозь.

– Как называется эта местность? – спросил прохожий.

– Гугомон, – ответила крестьянка.

Прохожий выпрямился, сделал несколько шагов и заглянул за изгородь. На горизонте, сквозь деревья, он заметил пригорок, а на этом пригорке нечто, похожее издали на льва.

Он находился на поле битвы при Ватерлоо.

## Глава вторая.
## Гугомон

Гугомон – вот то зловещее место, начало противодействия, первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон, первый неподатливый сук под ударом его топора.

Некогда это был замок, ныне – всего только ферма. Гугомон для знатока старины – «Гюгомон». Этот замок был воздвигнут Гюго, сиром де Сомерель, тем самым, который внес богатый вклад в шестое капелланство аббатство Вилье.

Прохожий толкнул ворота и, задев локтем стоявшую под их сводом старую коляску, вошел во двор.

Первое, что поразило его на этом внутреннем дворе, были ворота в стиле XVI века, похожие на арку, ибо все вокруг них обрушилось. Развалины часто производят величественное впечатление. Близ арки в стене находились другие сводчатые ворота времен Генриха IV, сквозь которые видны были деревья фруктового сада. Около этих ворот – навозная яма, мотыги, лопаты, тачки, старый колодец с каменной плитой на месте передней стенки и железной вертушкой на вороте, резвящийся жеребенок, индюк, распускающий веером хвост, часовня с маленькой звонницей, грушевое дерево в цвету, осеняющее ветвями стену часовни, – таков этот двор, завоевать который было мечтой Наполеона. Если бы он сумел овладеть им, то, быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира. Тут куры роются в пыли. Рычит большая собака; она щерит клыки и заменяет теперь англичан.

Англичане не могли не вызвать изумления. Четыре гвардейские роты Кука в течение семи часов выдерживали ожесточенный натиск целой армии.

Гугомон, изображенный на карте в горизонтальной плоскости, включая все строения и огороженные участки, представляет собой неправильный прямоугольник со срезанным углом. В этом углу, под защитой стены, с которой можно было обстреливать в упор атакующих, и находятся южные ворота. В Гугомоне двое ворот: южные – ворота замка, и северные – ворота

фермы. Наполеон направил против Гугомона своего брата Жермона; здесь столкнулись дивизии Гильемино, Фуа и Башлю; почти весь корпус Рейля тут был введен в бой и погиб. Келлерман потратил весь свой запас ядер на эту героическую стену. Отряд Бодюэна с трудом проник в Гугомон с севера, а бригада Суа хоть и ворвалась туда с юга, но овладеть им не смогла.

Строения фермы окружают двор с юга. Часть северных ворот, разбитых французами, висит, зацепившись за стену. Это четыре доски, приколоченные к двум перекладинам, и на них отчетливо видны глубокие шрамы, следы атаки.

В глубине двора видны полуоткрытые северные ворота с заплатой из досок на месте вышибленной французами и висящей теперь на стене створки. Они проделаны в кирпичной с каменным основанием стене, замыкающей двор с севера. Это обыкновенные четырехугольные проходные ворота, какие можно видеть на всех фермах: две широкие створки, сколоченные из необтесанных досок. За ними расстилаются луга. За этот вход бились ожесточенно. На косяках ворот долго оставались следы окровавленных рук. Именно здесь был убит Бодюэн.

Еще и сейчас ураган боя ощущается на дворе; здесь запечатлен его ужас; неистовство рукопашной схватки словно застыло в самом ее разгаре, это живет, а то умирает; кажется, все это было вчера. Рушатся стены, падают камни, стонут бреши; проломы похожи на раны; склонившиеся и дрожащие деревья будто силятся бежать отсюда.

Этот двор в 1815 году был застроен теснее, чем ныне. Постройки, которые позже были разрушены, образовали в нем выступы, углы, резкие повороты.

Англичане укрепились там; французы ворвались туда, но не смогли удержаться. Рядом с часовней сохранилось обрушившееся, вернее, развороченное, крыло здания – все, что осталось от Гугомонского замка. Замок служил крепостью, часовня – блокгаузом. Здесь происходило взаимное истребление. Французы, обстреливаемые со всех сторон – из-за стен, с чердачных вышек, из глубины погребов, изо всех окон, изо всех отдушин, изо всех щелей в стенах, – притащили фашины и подожгли стены и людей. Пожар был ответом на картечь.

В разрушенном крыле замка сквозь забранные железными решетками окна видны остатки разоренных покоев главного кирпичного здания; в этих покоях засела английская гвардия. Винтовая лестница, рассевшаяся от нижнего этажа до самой крыши, кажется внутренностью разбитой раковины. Лестница проходила сквозь два этажа; осажденные на ней и загнанные наверх англичане разрушили нижние ступени. И теперь эти широкие плиты голубоватого камня лежат грудой среди разросшейся крапивы. Десяток ступеней еще держится в стене; на первой из них высечено изображение трезубца. Эти недосягаемые степени крепко сидят в своих гнездах. Остальная часть лестницы похожа на челюсть, лишенную зубов. Тут же высятся два дерева. Одно засохло, другое повреждено у корня, но каждою весну зеленеет вновь. Оно начало прорастать сквозь лестницу с 1815 года.

Резня происходила в часовне. Теперь там снова тихо, но у нее странный вид. Со времен бойни богослужений в ней не совершали. Однако аналой уцелел – грубый деревянный аналой, прислоненный к необтесанной каменной глыбе. Четыре выбеленные стены, против престола дверь, два полукруглых окошка, на двери большое деревянное распятие, над распятием четырехугольная отдушина, заткнутая охапкой сена, в углу, на земле, старая разбитая оконная рама – такова эта часовня. Около аналоя прибита деревянная, XV века, статуя святой Анны; голова младенца Иисуса оторвана картечью. Французы, на некоторое время овладевшие часовней и затем выбитые из нее, подожгли ее. Пламя охватило ветхое строение. Оно превратилось в раскаленную печь. Сгорела дверь, сгорел пол, не сгорело лишь деревянное распятие. Пламя обуглило ноги Христа, превратив их в почерневшие обрубки, но дальше не пошло. По словам местных жителей, это было чудо. Младенцу Иисусу, которого обезглавили, посчастливилось меньше, чем распятию.

Стены испещрены надписями. У ног Христовых можно прочесть: Henquines[29], А дальше: Conde de Rio Maior[30]. Marques y Marquesa de Almagro (Habana)[31]. Встречаются и французские имена с восклицательными знаками, говорящими о гневе. В 1849 году стены выбелили: здесь нации поносили одна другую.

Возле двери часовни подобрали труп, державший в руке топор. Это был труп подпоручика Легро.

Выходишь из часовни и направо замечаешь колодец. На этом дворе их два. Спрашиваешь: почему у этого колодца нет ведра и блока? А потому, что из него не черпают больше воды. Почему же из него не черпают больше воды? Потому что он набит скелетами.

Последний, кто брал воду из этого колодца, был Гильом ван Кильсом. Этот крестьянин проживал в Гугомоне и работал в замке садовником. 18 июня 1815 года его семья бежала и укрылась в лесу.

Лес, окружавший аббатство Вилье, давал в продолжение многих дней и ночей приют несчастному разбежавшемуся населению. Еще и сейчас видны явственные следы в виде старых обгоревших пней, отмечающих места жалких становищ, скрывавшихся в зарослях кустарника.

Гильом ван Кильсом, оставшийся в Гугомоне, чтобы «стеречь замок», забился в погреб. Англичане обнаружили его, вытащили из убежища и, избивая ножнами сабель, принудили запуганного насмерть человека служить себе. Их мучила жажда, и Гильом должен был приносить им пить, черпая воду из колодца. Для многих то был последний глоток в жизни. Колодец, из которого пило столько обреченных на гибель, должен был и сам погибнуть.

После сражения поторопились предать трупы земле. Смерть обладает повадкой, присущей ей одной, – дразнить победу, вслед за славой насылая болезни. Тиф – непременное дополнение к триумфу. Колодец был глубок, и его превратили в могилу. В него сбросили триста трупов. Быть может, это сделали слишком поспешно. Все ли были мертвы? Предание гласит, что не все. Говорят, что в ночь после погребения из колодца слышались слабые голоса, взывавшие о помощи.

Колодец стоит посреди двора. Три стены, наполовину из камня, наполовину из кирпича, поставленные наподобие ширм и напоминающие четырехугольную башенку, окружают его с трех сторон. Четвертая сторона свободна, и отсюда черпали воду. В задней стене имеется что-то вроде неправильного круглого оконца – вероятно, пробоина от разрывного снаряда. У башенки была когда-то крыша, от которой сохранились балки. Железные подпорки правой стены образуют крест. Наклонишься, и взгляд тонет в глубине кирпичного цилиндра, наполненного мраком. Подножия стен вокруг колодца заросли крапивой.

Широкая голубая каменная плита, которая в Бельгии служит передней стенкой колодцев, заменена скрепленными перекладиной пятью или шестью обрубками дерева, узловатыми и кривыми, похожими на огромные кости скелета. Нет больше ни ведра, ни цепи, ни блока, но сохранился еще каменный желоб, служивший стоком. В нем скапливается дождевая вода, и время от времени из соседних рощ сюда залетает пичужка, чтобы попить из него и тут же улететь.

Единственный жилой дом среди развалин – ферма. Дверь дома выходит во двор. Рядом с красивой, в готическом стиле, пластинкой дверного замка прибита наискось железная ручка в виде трилистника. В то мгновение, когда ганноверский лейтенант Вильда взялся за нее, чтобы укрыться на ферме, французский сапер отсек ему руку топором.

Семья, ныне живущая в этом доме, представляет собой потомство давно умершего садовника ван Кильсома. Седая женщина рассказывала мне:

– Я все видела. Мне исполнилось в ту пору три года. Моя сестра была постарше, она боялась и плакала. Нас отнесли в лес. Я сидела на руках у матери. Чтобы лучше расслышать, все припадали ухом к земле. А я повторяла за пушкой: «Бум, бум!»

Ворота во дворе, те, что налево, как мы уже говорили, выходят в фруктовый сад.

Вид фруктового сада ужасен.

Он состоит из трех частей, вернее сказать – из трех актов драмы. Первая часть-цветник, вторая – фруктовый сад, третья – роща. Все они обнесены общей оградой: со стороны входа – строения замка и ферма, налево – плетень, направо – стена, в глубине – стена. Правая стена – кирпичная, стена в глубине – каменная. Прежде всего входишь в цветник. Он расположен в самом низу, засажен кустами смородины, зарос сорными травами и заканчивается огромной облицованной тесаным камнем террасой с круглыми балясинами. Это был господский сад в том раннем французском стиле, который предшествовал Ленотру; ныне же это руины и терновник. Пилястры увенчаны шарами, похожими на каменные ядра. Еще и теперь насчитывают сорок три уцелевшие балясины на подставках, остальные валяются в траве. Почти на всех видны следы картечи. А одна, поврежденная, держится на перебитом своем конце, точно сломанная нога.

Вот в этот-то цветник, находящийся ниже фруктового сада, проникли шесть солдат первого пехотного полка и, не имея возможности выйти оттуда, настигнутые и затравленные, словно медведи в берлоге, приняли бой с двумя ганноверскими ротами, из которых одна была вооружена карабинами. Ганноверцы расположились за этой балюстрадой и стреляли сверху. Неустрашимые пехотинцы, стреляя снизу, шесть против сотни, и не имея иного прикрытия, кроме кустов смородины, продержались четверть часа.

Поднимаешься на несколько ступеней и выходишь из цветника в фруктовый сад. Здесь, на пространстве в несколько квадратных саженей, в течение часа пали тысяча пятьсот человек. Кажется, стены и сейчас готовы принять бой. Тридцать восемь бойниц, пробитых в них англичанами на разной высоте, еще уцелели. Против шестнадцатой бойницы находятся две могилы англичан с надгробными гранитными плитами. Бойницы есть лишь в южной стене, на которую были брошены главные силы. Снаружи стена скрыта высокой живой изгородью. Французы, наступая, предполагали, что им придется брать приступом изгородь, а наткнулись на стену, на препятствие и на засаду – на английскую гвардию, на тридцать восемь орудий, паливших одновременно, на ураган ядер и пуль, и бригада Суа была разгромлена. Так началась битва при Ватерлоо.

Однако фруктовый сад был взят. Лестниц не было, французы карабкались на стены, цепляясь ногтями. Под деревьями завязался рукопашный бой. Вся трава кругом обагрилась кровью. Батальон Нассау в семьсот человек был весь уничтожен. Наружная сторона стены, против которой стояли две батареи Келлермана, вся изрыта картечью.

Но и этот фруктовый сад, как всякий сад, не остается безучастным к приходу весны. И здесь распускаются лютики и маргаритки, растет высокая трава, пасутся рабочие лошади; протянутые между деревьями веревки с сохнущим бельем заставляют прохожих пригибаться; ступаешь по этой целине, и нога то и дело попадает в кротовые норы. В густой траве можно разглядеть сваленный, с вывороченными корнями, зеленеющий ствол дерева. К нему прислонился, умирая, майор Блакман. Под высоким соседним деревом пал немецкий генерал Дюпла, француз по происхождению, эмигрировавший с семьей из Франции после отмены Нантского эдикта. Совсем рядом склонилась старая, больная яблоня с повязкой из соломы и глины. Почти все яблони пригнулись к земле от старости. Нет ни одной, в которой не засела бы ружейная или картечная пуля. Этот сад полон сухостоя. Среди ветвей летают вороны; вдали виднеется роща, где цветет множество фиалок.

Здесь убит Бодюэн, ранен Фуа, здесь были пожар, резня, бойня, здесь бурлил поток английской, немецкой и французской крови; здесь колодец, битком набитый трупами; здесь уничтожены полк Нассау и полк Брауншвейгский, убит Дюпла, убит Блакман, искалечена английская гвардия, погублены двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля, в одних только развалинах замка Гугомон изрублены саблями, искрошены,

задушены, расстреляны, сожжены три тысячи человек, – и все это лишь для того, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог сказать путешественнику: «Сударь, дайте мне три франка! Если хотите, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо».

## Глава третья.
## 18 июня 1815 года

Возвратимся назад – это право каждого повествователя – и перенесемся в 1815 год и даже несколько ранее того времени, с которого начинаются события, рассказанные в первой части этой книги.

Если бы в ночь с 17 на 18 июня 1815 года не шел дождь, то будущее Европы было бы иным. Несколько лишних капель воды сломили Наполеона. Чтобы Ватерлоо послужило концом Аустерлица, провидению оказался нужным небольшой дождь; достаточно было тучи, пронесшейся по небу, вопреки этому времени года, чтобы вызвать крушение целого мира.

Битва при Ватерлоо могла начаться лишь в половине двенадцатого, и это дало возможность Блюхеру прибыть вовремя. Почему? Потому что земля размокла и надо было переждать, пока дороги обсохнут, чтобы подвезти артиллерию.

Наполеон был артиллерийским офицером, он и сам это чувствовал. Вся сущность этого изумительного полководца сказалась в одной фразе его доклада Директории по поводу Абукира – «Такое-то из наших ядер убило шесть человек». Все его военные планы были рассчитаны на артиллерию. Стянуть в назначенное место всю артиллерию – вот что было для него ключом победы. Стратегию вражеского генерала он рассматривал как крепость и пробивал в ней брешь. Слабые места подавлял картечью, завязывал сражения и разрешал их исход пушкой. Его гений – гений точного прицела. Рассекать каре, распылять полки, разрывать строй, уничтожать и рассеивать плотные колонны войск – вот его цель; разить непрестанно – это он доверил ядру. Эта устрашающая система в союзе с гениальностью за пятнадцать лет сделала непобедимым мрачного мастера ратного дела.

18 июня 1815 года он тем более рассчитывал на артиллерию, что численное ее превосходство было на его стороне. В распоряжении Веллингтона было всего лишь сто пятьдесят девять орудий, у Наполеона – двести сорок.

Представьте себе, что земля была бы суха, артиллерия подошла бы вовремя и битва могла бы начаться в шесть утра. Она была бы закончена к двум часам дня, то есть за три часа до прибытия пруссаков.

Велика ли доля вины Наполеона в том, что битва была проиграна? Можно ли обвинять в кораблекрушении кормчего?

Не осложнился ли явный упадок физических сил Наполеона в этот период упадком и его душевных сил? Не износились ли за двадцать лет войны клинок и ножны, не утомились ли его дух и тело? Не стал ли в полководце, как это ни прискорбно, брать верх уже отслуживший воин? Одним словом, не угасал ли уже тогда этот гений, как полагали многие видные историки? Не впадал ли он в неистовство лишь для того, чтобы скрыть от самого себя свое бессилие? Не начинал ли колебаться в предчувствии неверного будущего, дуновения которого ощущал? Перестал ли – что так важно для главнокомандующего – сознавать опасность? Не существует ли и для этих великих людей реальности, для этих гигантов действия возраст, когда их гений становится близоруким? Над совершенными гениями старость не имеет власти; для Данте, для Микеланджело стареть – значило расти; неужели же для Аннибала и Наполеона это означало увядать? Не утратил ли Наполеон чувство победы? Не дошел ли он до того, что не распознавал подводных скал, не угадывал западни, не видел осыпающихся краев бездны? Не лишился ли он дара предвидения катастрофы? Неужели он, кому когда-то были ведомы все пути к славе и кто с высоты своей сверкающей колесницы перстом владыки указывал на них, теперь, в гибельном ослеплении, увлекал свои шумные, послушные легионы в бездну? Не овладело ли

им в сорок шесть лет полное безумие? Не превратился ли этот подобный титану возничий судьбы просто в беспримерного сорвиголову?

Мы этого не думаем.

Намеченный им план битвы был, по общему мнению, образцовым. Ударить в лоб союзным войскам, пробить брешь в рядах противника, разрезать неприятельское войско надвое, англичан оттеснить к Галю, пруссаков к Тонгру, разъединить Веллингтона с Блюхером, овладеть плато Мон – Сен-Жан, захватить Брюссель, сбросить немцев в Рейн, а англичан в море – вот что для Наполеона представляла собой эта битва. Дальнейший образ действий подсказало бы будущее.

Мы, конечно, не собираемся излагать здесь историю Ватерлоо; одно из основных действий рассказываемой нами драмы связано с этой битвой, но история самой битвы не является предметом нашего повествования; к тому же она описана, и описана мастерски, Наполеоном – с одной точки зрения, и целой плеядой историков[32] – с другой. Что же касается нас, то мы, предоставляя историкам спорить между собою, останемся лишь далеким зрителем, идущим по долине любознательным прохожим, который наклоняется над землей, удобренной трупами, и принимает, быть может, видимость за реальность. Мы не вправе пренебречь во имя науки совокупностью фактов, в которых, несомненно, есть нечто иллюзорное; мы не обладаем ни военным опытом, ни знанием стратегии, которые могли бы оправдать ту или иную систему взглядов. Мы полагаем лишь, что действия обоих полководцев в битве при Ватерлоо были подчинены сцеплению случайностей. И если дело идет о роке – этом загадочном обвиняемом, – то мы судим его, как судит народ-этот простодушный судья.

## Глава четвертая.

## А

Тем, кто желает ясно представить себе сражение при Ватерлоо, надо вообразить лежащую на земле громадную букву А. Левая сторона этой буквы – дорога на Нивель, правая – дорога на Женап, поперечная черта буквы А – проложенная в ложбине дорога из Оэна в Брен – л'Алле. Верхняя точка буквы А – Мон-Сен-Жан, там находился Веллингтон; левая нижняя точка – Гугомон, там стояли Рейль и Жером Бонапарт; правая нижняя точка – Бель-Альянс, там находился Наполеон. Немного ниже, где поперечная черта пересекает правую сторону буквы А, расположен Ге – Сент. В центре поперечной черты находился пункт, где был решен исход сражения. Именно там позднее и водрузили льва – символ высокого героизма императорской гвардии.

Треугольник в верхушке А, между двумя палочками и поперечной чертой, – это плато Мон-Сен-Жан. В борьбе за это плато и заключалось сражение.

Фланги обеих армий тянулись вправо и влево от дорог на Женап и Нивель. Д'Эрлон стоял против Пиктона, Рейль – против Гиля.

За вершиной буквы А, за плато Мон-Сен-Жан, находится Суанский лес.

Что же касается равнины, то вообразите себе обширное волнообразное пространство, где каждый следующий вал встает над предыдущим, а все вместе поднимаются к Мон-Сен-Жан, доходя до самого леса.

Два неприятельских войска на поле битвы – это два борца. Это схватка врукопашную. Один старается повалить другого. Цепляются за все; любой куст – опора, угол стены – защита; отсутствие самого жалкого домишки для прикрытия тыла заставляет иногда отступать целый полк. Впадина в долине, неровность почвы, кстати пробежавшая наперерез тропинка, лесок, овраг – все может задержать шаг исполина, именуемого армией, и помешать его отступлению. Покинувший поле битвы побежден. Вот откуда вытекает обязанность командующего всматриваться в каждую группу деревьев, проверять каждый холмик.

Оба полководца тщательно изучили равнину Мон Сен-Жан, ныне именуемую равниной Ватерлоо. За год до этого ее исследовал с мудрой предусмотрительностью на случай большого сражения Веллингтон. В этой местности и в этом бою лучшие условия оказались у Веллингтона, худшие – у Наполеона. Английская армия находилась наверху, французская внизу.

Вряд ли стоит изображать здесь Наполеона утром 18 июня 1815 года, на коне, с подзорной трубой в руках, на возвышенности Россом. Его облик и так всем давно известен. Спокойный профиль под форменной шапочкой Бриеннской школы, зеленый мундир, белые отвороты, скрывающие орденскую звезду, серый редингот, скрывающий эполеты, кончик красной орденской ленты в вырезе жилета, лосины, белый конь под алым бархатным чепраком. по углам которого вышиты буква N с короной и орлы, на шелковых чулках ботфорты для верховой езды, серебряные шпоры, шпага Маренго, – весь образ этого последнего Цезаря, превозносимого одними и осуждаемого другими, еще стоит у всех перед глазами.

Долгое время образ этот был окружен ореолом, что являлось следствием легендарного помрачения умов, вызываемого блеском славы многих героев и затмевающего на тот или иной срок истину; но в настоящее время вместе с историей наступает и прояснение.

Ясность истории неумолима. История таит в себе странное, божественное свойство: будучи сама светом и именно в силу того, что она свет, она бросает тень туда, где до этого видели сияние. Одного человека она превращает в два различных призрака, один нападает на другого, вершит над ним правосудие, мрачные черты деспота сталкиваются с обаянием полководца Это дает народам более правильное мерило при решающей оценке. Опозоренный Вавилон умаляет славу Александра, порабощенный Рим умаляет славу Цезаря, разрушенный Иерусалим умаляет славу Тита. Тирания переживает тирана. Горе тому, кто позади себя оставил мрак, воплощенный в своем образе!

## Глава пятая.
## Quid obscurum сражений[33]

Всем хорошо известен первый этап этого сражения. Начало неустойчивое, неясное, нерешительное, угрожающее для обеих армий, но для англичан – в большей степени, чем для французов.

Всю ночь шел дождь. Земля была размыта ливнем. В углублениях, словно в бассейнах, скопилась вода; в некоторых местах вода заливала оси обозных повозок; с подпруг лошадей капала жидкая грязь. Если бы колосья пшеницы и ржи, примятые потоком движущихся повозок, не заполнили выбоин и не образовали бы своего рода настил под колесами, то всякое движение, особенно в узких долинах со стороны Папелота, оказалось бы невозможным.

Сражение началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел обыкновение сосредоточивать в своих руках всю артиллерию, целясь, словно из пистолета, то в одно, то в другое место поля битвы; и теперь он поджидал, когда батареи, поставленные на колеса, смогут быстро и свободно передвигаться; для этого необходимо было выглянуть солнцу и обсушить землю. Но солнце не выглянуло. Под Аустерлицем оно встретило его по-другому! Когда раздался первый пушечный залп, английский генерал Кольвиль, взглянув на часы, отметил, что было тридцать пять минут двенадцатого.

Нападение левого французского фланга на Гугомон, более ожесточенное, быть может, чем того желал сам император, открыло сражение. Одновременно Наполеон атаковал центр, бросив бригаду Кио на Ге – Сент, а Ней двинул правый французский фланг против левого английского, имевшего у себя в тылу Папелот.

Атака на Гугомон была до некоторой степени ложной. Заманить туда Веллингтона и заставить его отклониться влево – таков был план Наполеона. План этот удался бы, если бы четыре роты английских гвардейцев и мужественные бельгийцы дивизии Перпонше не стояли

так твердо на своих позициях, благодаря чему Веллингтон, вместо того чтобы стянуть туда основные силы своих войск, послал им для подкрепления всего лишь четыре роты английских гвардейцев и один брауншвейгский батальон.

Атака правого французского крыла на Папелот имела целью опрокинуть левое английское крыло, отрезать путь на Брюссель, загородить дорогу на случай появления пруссаков, захватить Мон-Сен-Жан, оттеснить Веллингтона к Гугомону, оттуда к Брен – л'Алле, оттуда к Галю, – ничего не могло быть яснее этого плана. За исключением некоторых несчастных случайностей, атака удалась. Папелот был отбит, Ге – Сент взят приступом.

Отметим следующую подробность. В английской пехоте, в частности в бригаде Кемпта, было много новобранцев. Молодые солдаты яростно сопротивлялись нашим грозным пехотинцам; отсутствие опыта восполняла неустрашимость; особенно блестяще проявили они себя как стрелки; солдат-стрелок, предоставленный отчасти собственной инициативе, является, так сказать, сам себе генералом; новобранцы выказали чисто французскую сообразительность и боевой пыл. Новички, пехотинцы сражались с воодушевлением. Это не понравилось Веллингтону.

После взятия Ге – Сента исход битвы стал сомнительным.

В этом дне от двенадцати до четырех часов есть неясный промежуток; средина этой битвы почти неуловима и напоминает мрачный хаос рукопашной схватки. Вдруг наступают сумерки. В тумане виднеется какая-то зыбь, какое-то причудливое марево: части военного снаряжения того времени, ныне почти уже не встречающиеся, высокие меховые шапки, ташки кавалеристов, перекрещенные на груди ремни, сумки для гранат, доломаны гусар, красные сапоги с набором, тяжелые кивера, украшенные витым шнуром, почти черная пехота Брауншвейга, смешавшаяся с ярко-красной английской, у солдат которой вместо эполет были толстые белые валики вокруг проймы рукавов, легкая ганноверская кавалерия в удлиненных кожаных касках с медными полосками и султанами из рыжего конского волоса, шотландцы с голыми коленями и в клетчатых пледах, высокие белые гетры наших гренадер, – все это представляется как отдельные картины, но не как ряды войск, построенные по правилам стратегии, и представляет интерес для Сальватора Розы, но не для Грибоваля.

Во всякой битве есть что-то общее с бурей. Quid obscurum, quid divinum![34]. Каждый историк различает несколько поразивших его в схватке черт. Каким бы ни был расчет полководцев, при столкновении вооруженных масс неизбежны бесчисленные отступления от первоначального замысла; приведенные в действие планы обоих полководцев вклиниваются один в другой и искажают друг друга. На поле боя вот это место пожирает большее количество сражающихся, чем вон то: как рыхлый грунт – здесь быстрее, а там медленнее – поглощает льющуюся на него воду. Это вынуждает бросать туда больше солдат, чем предполагалось. Эти издержки предвидеть нельзя.

Линия расположения войск колышется и извивается, словно нить; бесцельно проливаются потоки крови; фронт колеблется; выбывающие или прибывающие полки образуют в нем заливы или мысы; людские рифы непрерывно перемещаются; там, где только что была пехота, появляется артиллерия; туда, где находилась артиллерия, примчалась кавалерия. Батальоны – словно дымки: только сейчас здесь было что-то, теперь ищите – его уже нет. Просветы в рядах передвигаются; черные валы налетают и откатываются. Какой-то кладбищенский ветер гонит, отбрасывает, вздувает и рассеивает трагические скопища людей. Что такое рукопашная схватка? – Колебание. Устойчивость математически точного плана отражает минуту, а не целый день. Чтобы изобразить битву, нужен один из тех могучих художников, кисти которых был бы послушен хаос, Рембрандт напишет ее лучше Вандермелена, ибо Вандермелен, точный в полдень, лжет в три часа пополудни. Геометрия обманывает, только ураган правдив. Это-то и дает право Фолару противоречить Полибию. Добавим, что всегда наступает минута, когда битва словно мельчает, переходя в стычку, дробится и разделяется на множество мелких фактов, которые, по выражению самого Наполеона, «относятся скорее к биографии полков,

чем к истории армий». В таком случае историк имеет неоспоримое право на краткое общее изложение. Он может схватить лишь основы контура борьбы, и ни одному самому добросовестному повествователю не дано запечатлеть полностью облик грозной тучи, имя которой – битва.

Замечание это, справедливое по отношению ко всем великим вооруженным столкновениям, особенно применимо к Ватерлоо.

Но все-таки после полудня исход битвы начал определяться.

## Глава шестая.

## Четыре часа пополудни

К четырем часам положение английской армии стало серьезным. Принц Оранский командовал центром, Гиль – правым крылом, Пиктон – левым. Смелый принц Оранский, вне себя, кричал бельгийцам и голландцам: «Нассау! Брауншвейг! Ни шагу назад!» Уже ослабевший Гиль стал под защиту Веллингтона. Его сразила пуля, попавшая ему в голову. Пиктон был убит в ту самую минуту, когда англичане захватили у французов знамя 105-го линейного полка. У Веллингтона в этой битве были две точки опоры: Гугомон и Ге – Сент; Гугомон еще держался, но весь пылал; Ге – Сент был взят. От защищавшего его немецкого батальона осталось в живых сорок два человека; все офицеры, за исключением пяти, были убиты или захвачены в плен. Три тысячи сражавшихся перебили друг друга на этом молотильном току. Сержант английской гвардии, лучший боксер своей страны, слывший среди товарищей непобедимым, был убит маленьким французским барабанщиком. Беринг был вынужден оставить свои позиции, Альтен зарублен. Множество знамен было потеряно, в том числе знамя дивизии Альтена и знамя Люнебургского батальона, которое нес принц из рода де Пон. Серых шотландцев более не существовало, могучие драгуны Понсонби были искрошены. Эту храбрую кавалерию смяли уланы Бро и кирасиры Траверса; от тысячи двухсот коней уцелело шестьсот; из трех полковников двое погибли. Гамильтон был ранен, Матер убит. Понсонби пал, пронзенный семью ударами копья. Гордон умер, Марх умер. Две дивизии – пятая и шестая – разгромлены.

Гугомон был обречен, Ге – Сент взят, – оставался еще один оплот: центр. Он держался твердо. Веллингтон усилил его. Он вызвал туда Гиля, находившегося в Мерб – Брене, он вызвал туда Шассе, находившегося в Брен-л'Алле.

Центр английской армии, слегка вогнутый, очень плотный и мощный, был расположен на сильно укрепленной позиции. Он занимал плато Мон-Сен-Жан, имея в тылу деревню, а впереди – откос, в ту пору довольно крутой. Он опирался на массивное каменное здание, которое в описываемую эпоху было государственным имуществом, принадлежавшим Нивелю, и отмечало пересечение дорог. Вся эта постройка XVI века была такая крепкая, что пушечные ядра отскакивали, не пробивая ее. Вокруг всего плато англичане поставили изгороди, сделали амбразуры в боярышнике, установили пушку между ветвей, в кустах устроили бойницы. Их артиллерия была размещена в густом кустарнике. Этот вероломный прием, безусловно допускаемый войной, разрешающей западню, был так искусно осуществлен, что Гаксо, посланный в девять часов утра для разведки неприятельских батарей, ничего не заметил и, вернувшись, доложил Наполеону, что никаких препятствий нет, за исключением двух баррикад, преграждающих путь на Нивель и на Женап. В эту пору рожь уже начинала колоситься; на краю плато в высоких хлебах залег 95-й батальон бригады Кемпта, вооруженный карабинами.

Таким образом, центр англо-голландской армии, укрепленный и обеспеченный поддержкой, находился в выгодном положении.

Уязвимое место этой позиции представлял Суанский лес, граничивший в то время с полем боя и прорезанный прудами Гренандаля и Буафора. Армия, отступая, должна была расколоться, полки – расстроиться, артиллерия – погибнуть в болотах. По мнению многих

специалистов, правда, оспариваемому, отступление здесь превратилось бы в беспорядочное бегство.

Веллингтон присоединил к своему центру бригаду Шассе, снятую с правого крыла, бригаду Уинки, снятую с левого крыла, и, кроме того, дивизию Клинтона. Своим англичанам, бригаде Митчела, полкам Галкета и гвардии Метленда он дал как прикрытие и фланговое подкрепление брауншвейгскую пехоту, нассауские части, ганноверцев Кильмансегге и немцев Омптеды. Благодаря этому у него под рукой оказалось двадцать шесть батальонов. Правое крыло, как говорит Шарас, было отведено за центр. Мощную батарею замаскировали мешками с землей в том месте, где ныне помещается так называемый «Музей Ватерлоо». Кроме того, в резерве у Веллингтона оставались укрытые в лощине тысяча четыреста гвардейских драгун Сомерсета. Это была другая половина заслуженно прославленной английской кавалерии. Понсонби был уничтожен, зато оставался Сомерсет.

Батарея эта, которая представляла бы собой почти редут, будь она закончена, находилась за низкой садовой оградой, наскоро укрепленной мешками с песком и широким земляным валом. Но работа над этим укреплением не была завершена; не хватило времени обнести ее палисадом.

Веллингтон, встревоженный, но внешне бесстрастный, верхом на коне, весь день простоял впереди существующей и доныне старой мельницы Мон-Сен-Жан, под вязом, который впоследствии какой-то англичанин, вандал-энтузиаст, купил за двести франков, спилил и увез. Веллингтон сохранял героическое спокойствие. Вокруг сыпались ядра. Рядом с ним был убит адъютант Гордон. Лорд Гиль, указывая на разорвавшуюся вблизи гранату, спросил: «Милорд, каковы же ваши инструкции и какие распоряжения вы нам даете, раз вы сами ищете смерти?»

«Поступать так, как я», – ответил Веллингтон. Клинтону он отдал краткий приказ: «Держаться до последнего человека». Было ясно, что день кончится неудачей. «Можно ли думать об отступлении, ребята? Вспомните о старой Англии!» – кричал Веллингтон своим старым боевым товарищам по Талавере, Виттории и Саламанке.

Около четырех часов английские войска дрогнули и отошли. На гребне плато остались только артиллерия и стрелки, все остальное исчезло; полки, преследуемые французскими гранатами и ядрами, отступили в глубину, туда, где и теперь еще пролегает тропинка для рабочих фермы Мон-Сен-Жан; произошло попятное движение, фронт английской армии скрылся. Веллингтон подался назад. «Начало отступления!» – воскликнул Наполеон.

## Глава седьмая. Наполеон в духе

Император, хотя ему и нездоровилось и трудно было держаться в седле, никогда не был в таком великолепном расположении духа, как ч этот день. С раннего утра он, обычно непроницаемый, улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая, скрытая под мраморной маской душа беспричинно сияла. Человек, который был мрачен под Аустерлицем, в день Ватерлоо был весел. Самые высокие избранники судьбы часто поступают противно здравому смыслу. Наши земные радости призрачны. Последняя, блаженная наша улыбка принадлежит богу.

Ridet Caesar, Pompeius flebit[35] – говорили воины легиона Fulminatrix'a[36]. На этот раз Помпею не суждено было плакать, но достоверно, что Цезарь смеялся.

Накануне, в час ночи, под грозой и дождем, объезжая с Бертраном холмы близ Россома, удовлетворенный видом длинной линии английских огней, озарявших весь горизонт от Фришмона до Брен – л'Алле, Наполеон не сомневался, что судьба его, которую в назначенный день он вызвал на поле сражения при Ватерлоо, прибудет в срок; он придержал коня и несколько минут стоял неподвижно, глядя на молнии, прислушиваясь к громам; спутник его слышал, как этот фаталист бросил в ночь загадочные слова – «Мы заодно». Наполеон ошибался. Они уже больше не были заодно.

Он ни на секунду не сомкнул глаз, каждое мгновение этой ночи было отмечено для него радостью. Он объехал всю линию кавалерийских полевых постов, задерживаясь время от времени, чтобы поговорить с часовыми. В половине третьего ночи около Гугомонского леса он услышал шаг движущейся вражеской колонны; ему показалось, что это отступает Веллингтон. Он пробормотал: «Это снялся с позиций арьергард английских войск. Я захвачу в плен шесть тысяч англичан, которые только что прибыли в Остенде». Он говорил с жаром, он вновь обрел то одушевление, которое владело им 1 марта, во время высадки в бухте Жуан, когда, указывая маршалу Бертрану на восторженно встретившего его крестьянина, он воскликнул: «Ну что, Бертран, вот и подкрепление!» В ночь с 17 на 18 июня он трунил над Веллингтоном. «Этот маленький англичанин нуждается в уроке!» – говорил Наполеон. Дождь усиливался, и все время, пока император говорил, гремел гром.

В половине четвертого утра он лишился одной из своих иллюзий: посланные в разведку офицеры донесли, что в неприятельском лагере никакого движения не наблюдается. Все спокойно, ни один из бивуачных костров не погашен. Английская армия спала. На земле царила глубокая тишина, гул стоял лишь в небесах. В четыре часа лазутчики привели к нему крестьянина, который был проводником у бригады английской кавалерии, по всей вероятности – бригады Вивьена, отправившейся на позиции в деревню Оэн, в самом конце левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли, что они сейчас бежали из своего полка и что английская армия ожидает боя. «Тем лучше! – воскликнул Наполеон. – Мне гораздо больше по душе разбитые полки, чем отступающие».

Утром, на откосе, там, где дорога поворачивает на Плансенуа, спешившись прямо в грязь, он приказал доставить себе с россомской фермы кухонный стол и простой стул, уселся, с охапкой соломы под ногами вместо ковра, и, развернув на столе карту, сказал Сульту: «Забавная шахматная доска!»

Из-за ночного дождя обоз с продовольствием, увязший в размытых дорогах, не мог прибыть к утру, солдаты не спали, промокли и были голодны, однако это не помешало Наполеону весело крикнуть Нею: «У нас девяносто шансов из ста!» В восемь часов императору принесли завтрак. Он пригласил нескольких генералов. Во время завтрака кто-то сказал, что третьего дня Веллингтон был в Брюсселе на балу у герцогини Ричмонд, и Сульт, этот суровый воин, лицом похожий на архиепископа, заметил: «Настоящий бал – сегодня». Император посмеивался над Неем, который сказал ему: «Веллингтон не так прост, чтобы дожидаться вашего величества». Впрочем, это была обычная манера Наполеона. «Он любил пошутить», – говорит о нем Флери де Шабулон. «В сущности, у него был веселый нрав», – говорит Гурго. «Он так и сыпал шутками, не столько остроумными, сколько своеобразными», – говорит Бенжамен Констан. Эти шутки исполина стоят того, чтобы на них остановиться. Он называл своих гренадер «ворчунами»; он щипал их за уши, дергал за усы. «Император только и делал, что шутки шутил над нами», – говорил один из них. Во время тайного переезда с острова Эльба во Францию, 27 февраля, военный французский бриг «Зефир», встретив в открытом море бриг «Неверный», на котором скрывался Наполеон, спросил, как чувствует себя император. Наполеон, все еще сохранявший на шляпе белую с красным кокарду, усеянную пчелами, которую он стал носить на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и ответил сам: «Император чувствует себя отлично». Кто способен на такую шутку, тот запанибрата с судьбой. Во время завтрака под Ватерлоо Наполеон несколько раз хохотал. Позавтракав, он с четверть часа предавался размышлениям, а затем два генерала уселись на соломенную подстилку, вооружились перьями и положили лист бумаги на колени, и Наполеон продиктовал им план сражения.

В девять часов, в ту минуту, когда французская армия, построенная пятью колоннами, развернулась и двинулась вперед, сохраняя боевой порядок в две линии, с артиллерией между бригадами, с играющим походный марш оркестром во главе, под барабанный бой, под звуки сигнальных труб, могучая, огромная, ликующая, император, взволнованный видом этого моря

касок, сабель и штыков, заколыхавшихся на горизонте, дважды воскликнул: «Великолепно! Великолепно!»

С девяти часов и до половины одиннадцатого вся армия (это может показаться невероятным) успела занять позиции и выстроилась в шесть линий, образуя по выражению самого императора, «фигуру шести римских цифр V». Несколько мгновений спустя после приведения войска в боевой порядок, среди глубокого предгрозового затишья, этого предвестника большого сражения, видя, как проходят три батареи двенадцатифунтовых орудий, отведенные по его приказу от трех корпусов д'Эрлона, Рейля и Лобо и предназначенные открыть бой, ударив на Мон – Сен – Жан в том месте, где пересекались дороги на Нивель и Женап, император, ударив по плечу Гаксо, заметил: «Вот двадцать четыре прелестных девушки, генерал».

Не сомневаясь в исходе сражения, он подбодрял улыбкой проходивших мимо него сапер первого корпуса, которые должны были окопаться в Мон-Сен-Жан, как только деревня будет взята. Вся эта безмятежность была только один раз нарушена высокомерными словами сожаления: заметив влево от себя, в том месте, где ныне возвышается большой могильный курган, этих изумительных, строившихся сомкнутой коленной серых шотландцев на великолепных лошадях, он промолвил: «Как жаль!»

Затем, вскочив на коня, он направился к Россому и выбрал себе наблюдательным пунктом узкий гребень поросшего травой холмика, вправо от дороги из Женапа в Брюссель; это была вторая его стоянка за время битвы. Третья, – в семь часов вечера – между Бель-Альянс и Ге – Сент, была очень опасна; это довольно высокий бугор, существующий еще и теперь; за ним, в ложбине, расположилась гвардия. Вокруг бугра ядра, падая на мощенную камнем дорогу, отскакивали рикошетом к ногам Наполеона. Как и при Бриенне, над его головой свистели пули и картечь. Впоследствии, почти на том самом месте, где стоял его конь, нашли словно источенные червями ядра, старые сабельные клинки и исковерканные гранаты, изъеденные ржавчиной – scabra rubigine. Несколько лет тому назад здесь откопали невзорвавшийся шестидесятисантиметровый снаряд, запальная трубка которого была сломана у основания. Именно на этой последней остановке император сказал проводнику Лакосту, враждебно настроенному, испуганному и привязанному к седлу гусара крестьянину, который вертелся при каждом залпе картечи, стараясь спрятаться за спиной всадника: «Дурачина! Как тебе не стыдно? Ведь ты получишь пулю в спину». Пишущий эти строки, разрывая песок, нашел в сыпучем грунте откоса остатки горлышка бомбы, изъязвленные сорокашестилетней ржавчиной, и старые обломки железа, ломавшиеся между пальцами, как веточки бузины.

Теперь неровностей долины, где состоялась встреча Наполеона и Веллингтона, уже не существует, но всем известно, каковы они были 18 июня 1815 года. Взяв у этого мрачного поля материал для возведения ему памятника, его тем самым лишили характерного рельефа, и приведенная в замешательство история не могла в нем разобраться. Чтобы прославить это поле, его обезобразили. Два года спустя Веллингтон, увидев поле Ватерлоо, воскликнул: «Мне подменили мое поле боя!» Там, где ныне высится огромная земляная пирамида, увенчанная фигурой льва, тогда тянулись холмы, переходившие в гору, отлогую по направлению к нивельской дороге, и почти отвесную со стороны женапской дороги. Высоту ее можно определить и теперь еще по высоте двух холмов, двух огромных могильных курганов, стоящих по обе стороны дороги из Женапа в Брюссель: слева – могила англичан, справа – немцев. Могилы французов нет вовсе. Для Франции вся эта равнина – усыпальница. Благодаря тысячам и тысячам возов земли, употребленной для насыпи, высотой в сто пятьдесят футов и около полумили в окружности, взобраться по отлогому откосу па плато Мон – Сен-Жан сейчас нетрудно, а в день битвы подступ к нему, особенно со стороны Ге – Сента, был крут и неровен. Склон его в этом месте был так обрывист, что английские пушкари не видели фермы, расположенной внизу, в глубине долины, и являвшейся средоточием битвы. К тому же 18 июня 1815 года ливни так сильно изрыли эту крутизну, грязь так затрудняла подъем, что взбираться

на нее означало тонуть в грязи. Вдоль гребня плато тянулось нечто вроде рва, о существовании которого издали невозможно было догадаться.

Что же это был за ров? Поясним. Брен – л'Алле – одна бельгийская деревня. Оэн – другая. Обе деревушки, скрытые в глубоких впадинах, соединены дорогой длиной мили в полторы, которая пересекает волнообразную поверхность равнины и часто, словно борозда, прорезает холмы и образует овраги. В 1815 году дорога, как и теперь, перерезала гребень плато Мон – Сен – Жан между женапским и нивельским шоссе; сейчас она в этом месте на одном уровне с долиной, а в ту пору пролегала глубоко внизу. Оба ее откоса были срыты, и земля оттуда пошла на возвышение для памятника. Почти на всем своем протяжении эта дорога, как и прежде, представляет собою траншею, кое-где достигающую двенадцати футов глубины; ее крутые откосы местами оползали, особенно зимой, во время проливных дождей. Иногда там происходили несчастные случаи. При въезде в Брен – л'Алле дорога так узка, что однажды какой-то прохожий был там раздавлен проезжавшей телегой, о чем напоминает каменный крест на погосте, с указанием имени погибшего: «Господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя» и даты его гибели: «февраль 1637».[37]февраля 1637» *(прим. авт.)*]] Дорога так глубоко прорезала плато Мон-Сен-Жан, что в 1783 году там погиб под обвалившимся откосом крестьянин Матье Никез, о чем свидетельствует второй каменный крест; его верхушка исчезла в распаханной земле, но опрокинутое подножье можно и сейчас различить на травянистом скате, слева от дороги между Ге-Сент и фермой Мон-Сен-Жан.

В день битвы эта дорога, на существование которой ничто тогда не указывало, идущая вдоль гребня Мон-Сен-Жан и напоминающая ров на вершине кручи или глубокую колею, скрытую среди пашен, была невидима, – иначе говоря, страшно опасна.

## Глава восьмая.
## Император задает вопрос проводнику Лакосту

Итак, утром в день битвы под Ватерлоо Наполеон был доволен.

Он имел для этого все основания: разработанный им план сражения, как мы уже отмечали, был действительно великолепен.

И вот сражение началось; однако все его разнообразнейшие перипетии – упорное сопротивление Гугомона и стойкость Ге – Сента; гибель Бодюэна; Фуа, выбывший из строя; непредвиденное препятствие в виде стены, о которую разбилась бригада Суа; роковое легкомыслие Гильемино, не запасшегося ни петардами, ни пороховницами; увязшие в грязи батареи; пятнадцать орудий без прикрытия, сброшенные Угсбриджем на пролегавшую внизу дорогу; слабое действие бомб, которые, попадая в место расположения англичан, зарывались в размытую ливнем землю, вздымая грязевые вулканы и превращая картечь в брызги грязи; бесполезный маневр Пире при Брен – л'Але, почти полностью уничтоженные пятнадцать эскадронов его кавалерии; сорвавшаяся атака против правого английского крыла, неудавшийся прорыв левого; странная ошибка Нея, сосредоточившего в одной колонне четыре дивизии первого корпуса, вместо того чтобы построить их эшелонами, уплотненность их двадцати семи рядов по двести человек каждый, обреченных в тесном строю стоять под огнем картечи, страшные бреши, произведенные ядрами в этих плотных рядах; разъединение штурмовых колонн; внезапная демаскировка фланговой, расположенной наискосок батареи; замешательство Буржуа, Донзело, Дюрюта; отброшенный назад Кио; ранение лейтенанта Вье – этого геркулеса, воспитанника Политехнической школы – как раз в тот момент, когда он, под навесным огнем с баррикады противника, преграждавшей дорогу из Женапа на повороте ее к Брюсселю, ударами топора взламывал ворота Ге – Сента; дивизия Марконье, зажатая между пехотой и кавалерией, в упор расстрелянная во ржи Бестом и Пакком и изрубленная Понсонби, заклепанные семь орудий его батареи; принц Саксен-Веймарский, взявший и, несмотря на усилия графа д'Эрлона, удерживавший Фришмон и Смоэн; захваченные знамена 105-го и 45-го полков; тревожное сообщение черного гусара-пруссака, пойманного разведчиками летучей

колонны из трехсот стрелков, разъезжавших между Вавром и Плансенуа; опоздание Груши; тысяча пятьсот человек, убитых в гугомонском фруктовом саду менее чем за час; тысяча восемьсот человек, павших в еще более короткий срок вокруг Ге-Сента, – все эти бурные события, словно грозовые облака, проносившиеся перед Наполеоном в урагане сражения, почти не затуманили его взор и нисколько не омрачили царственно-спокойное чело. Наполеон привык смотреть войне прямо в глаза. Он никогда не занимался подсчетом прискорбных подробностей; цифры слагаемых были ему безразличны, лишь бы они составили нужную ему сумму – победу. Пусть начало оказалось неудачным – это его нисколько не тревожило, ибо он мнил себя господином и владыкой исхода битвы; он умел, не теряя веры в свои силы, выжидать и стоял перед судьбой, как равный перед равным. «Ты не посмеешь!» – казалось, говорил он року.

Сочетая в себе свет и тьму, Наполеон, творя добро, чувствовал покровительство высшей силы, а творя зло – ее терпимость. Он имел – или верил в то, что имеет, – на своей стороне потворство, можно сказать, почти сообщничество обстоятельств, равноценное древней неуязвимости.

Однако тому, у кого позади были Березина, Лейпциг и Фонтенебло, казалось, не следовало бы доверять Ватерлоо. Над его головой уже зловеще хмурилось небо.

В тот момент, когда Веллингтон двинул войска назад, Наполеон вздрогнул. Он вдруг заметил, что плато Мон – Сен – Жан как бы облысело и что фронт английской армии исчезает. Стягиваясь, она скрывалась. Император привстал на стременах. Победа молнией сверкнула перед его глазами.

Загнать Веллингтона в Суанский лес и там разгромить – вот что было бы окончательной победой французов над англичанами. Это явилось бы мщением за Креси, Пуатье, Мальплаке, Рамильи. Победитель при Маренго зачеркивал Азенкур.

Обдумывая эту грозную развязку, император в последний раз оглядел в подзорную трубу поле битвы. Его гвардия, стоя позади него с ружьями к ноге, с благоговением взирала на него снизу вверх. Он размышлял; он изучал откосы, отмечал склоны, внимательно вглядывался в купы деревьев, в квадраты ржи, в тропинки; казалось, он считал каждый куст. Особенно пристально всматривался он в английские баррикады на обеих дорогах, в эти широкие засеки из сваленных деревьев – одну на женапской, повыше Ге-Сента, снабженную двумя пушками, единственными во всей английской артиллерии, которые могли простреливать насквозь все поле битвы, а другую – на нивельской дороге, где поблескивали штыки голландской бригады Шассе. Около этой баррикады Наполеон заметил старую, выкрашенную в белый цвет часовню Святителя Николая, что на повороте дороги в Брен-л'Алле. Наклонившись, он о чем-то вполголоса спросил проводника Лакоста. Тот отрицательно покачал головой, по всей вероятности тая коварный умысел.

Император выпрямился и погрузился в раздумье.

Веллингтон отступил.

Это отступление оставалось лишь довершить полным разгромом.

Внезапно обернувшись, Наполеон отправил в Париж нарочного с эстафетой, извещавшей, что битва выиграна.

Наполеон был одним из гениев-громовержцев.

И вот теперь молния ударила в него самого.

Он отдал приказ кирасирам Мило взять плато Мон – Сен – Жан.

## Глава девятая.
## Неожиданность

Их было три тысячи пятьсот человек. Они растянулись по фронту на четверть мили. Это были люди-гиганты на конях-исполинах. Их было двадцать шесть эскадронов, а в тылу за ними,

как подкрепление, стояли: дивизия Лефевра – Денуэта, сто шесть отборных кавалеристов, гвардейские егеря – тысяча сто девяносто семь человек и гвардейские уланы – восемьсот восемьдесят пик. У них были каски без султанов и кованые кирасы, седельные пистолеты в кобурах и кавалерийские сабли. Утром вся армия любовалась ими, когда они в девять часов, под звуки рожков и гром оркестров, игравших «Будем на страже», появились сомкнутой колонной, с одной батареей во фланге, с другой в центре и, развернувшись в две шеренги между женапским шоссе и Фришмоном, заняли свое боевое место в той могучей, столь искусно задуманной Наполеоном второй линии, которая, сосредоточив на левом своем конце кирасир Келлермана, а на правом – кирасир Мило, обладала, так сказать, двумя железными крылами.

Адъютант Бернар передал им приказ императора. Ней обнажил шпагу и стал во главе их. Громадные эскадроны тронулись.

И тут глазам представилось грозное зрелище.

Вся эта кавалерия, как один человек, с саблями наголо, с развевающимися на ветру штандартами, с поднятыми трубами, подобная бронзовому тарану, пробивающему брешь, спустилась по холму Бель-Альянс, ринулась в роковую глубь, поглотившую уже стольких людей, скрылась в дыму, потом, вырвавшись из мрака, появилась на противоположной стороне долины, такая же сомкнутая и плотная, и стала подниматься крупной рысью, сквозь облако сыпавшейся на нее картечи, по страшному, покрытому грязью склону плато Мон – Сен – Жан. Кавалеристы поднимались, сосредоточенные, грозные, непоколебимые; в промежутках между ружейными залпами и артиллерийским обстрелом слышался тяжкий топот. Две дивизии двигались двумя колоннами: дивизия Ватье – справа, дивизия Делора – слева. Издали казалось, будто на гребень плато вползают два громадных стальных ужа. Они возникли в битве словно некое чудо.

Ничего подобного не было видано со времени взятая тяжелой кавалерией большого московского редута. Недоставало Мюрата, но Ней был тут. Казалось. что вся эта масса людей превратилась в сказочное диво и обрела единую душу. Эскадроны, видневшиеся сквозь местами разорванное огромное облако дыма, извивались и вздувались, как щупальца полипа. Среди пушечных залпов и звуков фанфар – хаос касок, криков, сабель, резкие движения лошадиных крупов, страшная и вместе с тем послушная воинской дисциплине сумятица. А надо всем этим – кирасы, словно чешуя гидры.

Можно подумать, что описываемое зрелище принадлежит иным векам. Нечто подобное этому видению являлось, вероятно, в древних орфических эпопеях, повествовавших о полулюдях – полуконях, об античных гипантропах, этих титанах с человечьими головами и лошадиным туловищем, которые вскачь взбирались на Олимп, страшные, неуязвимые, великолепные, боги и звери одновременно.

Странное совпадение чисел: двадцать шесть батальонов готовились к встрече этих двадцати шести эскадронов. За гребнем плато, укрываясь за батареей, английская кавалерия, построенная в тринадцать каре, по два батальона в каждом, и в две линии: семь каре на первой, шесть – на второй, взяв ружья наизготовку и целясь в то, что должно было перед ней появиться, ожидала спокойная, безмолвная, неподвижная. Она не видела кирасир, кирасиры не видели ее. Она прислушивалась к нараставшему приливу этого моря людей. Она все яснее различала топот трех тысяч коней, бежавших крупной рысью, мерный стук их копыт, бряцанье сабель, звяканье кирас и могучее, яростное дыхание. Наступила грозная тишина, потом внезапно над гребнем возник длинный ряд поднятых рук, потрясающих саблями, каски, трубы, штандарты и три тысячи седоусых голов, кричавших: «Да здравствует император!» Вся эта кавалерия обрушилась на плато. Это походило на начинающееся землетрясение.

Вдруг произошло нечто трагическое: налево от англичан, направо от нас раздался страшный вопль, кони кирасир, мчавшиеся во главе колонны, встали на дыбы. Очутившись на самом гребне плато, кирасиры, отдавшиеся во власть необузданной ярости, готовые к

смертоносной атаке на неприятельские каре и батареи, внезапно увидели между собой и англичанами провал, пропасть. То была пролегавшая в ложбине дорога на Оэн.

Мгновение это было ужасно. Перед ними, непредвиденный, круто обрывавшийся под копытами коней меж двух своих откосов зиял овраг глубиной в две туазы. Второй ряд конницы столкнул туда передний, третий столкнул туда второй; кони взвивались на дыбы, откидывались, падали на круп, скользили по откосу вверх ногами, сбрасывали и подминали под себя всадников. Отступить не было никакой возможности, вся колонна словно превратилась в метательный снаряд; сила, собранная для того, чтобы раздавить англичан, раздавила самих французов. Преодолеть неумолимый овраг можно было, лишь набив его доверху; всадники и кони, смешавшись, скатывались вниз, давя друг друга, образуя в этой пропасти сплошное месиво тел, и только когда овраг наполнился живыми людьми, то, ступая по ним, перешли уцелевшие. Почти треть бригады Дюбуа погибла в этой пропасти. Это было началом проигрыша сражения.

Местное предание, которое, вероятно, преувеличивает потери, гласит, что на оэнской дороге нашли себе могилу две тысячи коней и полторы тысячи всадников. Цифры эти включают, по-видимому, и все прочие трупы, сброшенные в овраг на следующий день.

Заметим мимоходом, что это была та самая, так жестоко пострадавшая бригада Дюбуа, которая за час перед тем, самостоятельно атакуя Люнебургский батальон, захватила его знамя.

Наполеон, прежде чем отдать кирасирам Мило приказ идти в атаку, тщательно исследовал местность, но дорогу в ложбине, ничем не выдававшую себя на поверхности плато, он увидеть не мог. Однако белая часовенка на пересечении этой дороги с нивельским шоссе насторожила его, и он спросил проводника Лакоста о возможности какого-либо препятствия. Проводник отрицательно покачал головой. Можно почти с уверенностью сказать, что безмолвный ответ этого крестьянина породил катастрофу Наполеона.

Суждено было последовать и другим роковым обстоятельствам.

Мог ли Наполеон выиграть это сражение? Мы отвечаем: нет. Почему? Был ли тому помехой Веллингтон? Блюхер? Нет. Помехой тому был бог.

Победа Бонапарта при Ватерлоо уже не входила в расчеты XIX века. Готовился другой ряд событий, где Наполеону не было места. Немилость рока давала о себе знать задолго до этого сражения.

Пробил час падения необыкновенного человека.

Чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие. Его личность сама по себе значила больше, чем все человечество в целом. Избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный в конечном счете мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось. Наступила минута, когда высшая, неподкупная справедливость должна была обратить на это свой взор. Возможно, к этой справедливости вопияли правила и основы, которым подчинены постоянные силы тяготения как в нравственном, так и в материальном порядке вещей. Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы – все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания, и бездна им внемлет.

На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено.

Он мешал богу.

Ватерлоо – не битва. Это изменение облика всей вселенной.

## Глава десятая.
## Плато Мон-Сен-Жан

Почти в то же самое мгновение, когда обнаружился овраг, обнаружилась и батарея.

Шестьдесят пушек и тринадцать каре открыли огонь в упор по кирасирам. Неустрашимый генерал Делор отдал военный салют английской батарее.

Вся английская конная артиллерия галопом вернулась к своим каре. Кирасиры не остановились ни на одно мгновение. Катастрофа во рву сократила их ряды, но не лишила мужества. Они были из тех людей, доблесть коих возрастает с уменьшением их численности.

Колонна Ватье пострадала от бедствия. Колонна Делора, которой Ней, будто предчувствуя западню, приказал идти стороною, левей, пришла в целости.

Кирасиры ринулись на английские каре.

Они неслись во весь опор, отпустив поводья, с саблями в зубах и с пистолетами в руках, – такова была эта атака.

В сражениях бывают минуты, когда душа человека ожесточается и превращает солдата в статую, и тогда вся эта масса плоти становится гранитом. Английские батальоны не дрогнули перед отчаянным натиском.

И тут наступило нечто страшное.

Весь фронт английских каре был атакован одновременно. Неистовый вихрь налетел на них. Но эта стойкая пехота оставалась непоколебимой. Первый ряд, опустившись на колено, встречал кирасир в штыки, второй расстреливал их; за вторым рядом канониры заряжали пушки; фронт каре разверзался, пропуская шквал картечного огня, и смыкался вновь. Кирасиры отвечали на это новой атакой. Огромные кони вздымались на дыбы, перескакивали через ряды каре, перепрыгивали через штыки и падали, подобные гигантам, среди четырех живых стен. Ядра пробивали бреши в рядах кирасир, кирасиры пробивали бреши в каре. Целые шеренги солдат исчезали, раздавленные конями. Штыки вонзались в брюхо кентавров. Вот причина тех уродливых ран, которых, быть может, не видели во время других битв. Каре, как бы прогрызаемые этой бешеной кавалерией, стягивались, но не поддавались. Их запасы картечи были неистощимы, и взрыв следовал за взрывом среди массы штурмующих. Чудовищна была картина этого боя! Каре были уже не батальоны, а кратеры; кирасиры – не кавалерия, а ураган. Каждое каре превратилось в вулкан, атакованный тучей, лава боролась с молнией.

Крайнее каре справа, лишенное защиты с двух сторон и подвергавшееся наибольшей опасности, было почти полностью уничтожено при первом же столкновении. Оно состояло из 75-го полка шотландских горцев. В то время как вокруг шла резня, в центре атакуемых волынщик, сидевший на барабане и хранивший полнейшее спокойствие, опустив меланхолический взор, полный отражений родных озер и лесов, играл песни горцев. Шотландцы умирали с мыслью о Бен Лотиане, подобно грекам, вспоминавшим об Аргосе. Сабля кирасира, отсекшая волынку вместе с державшей ее рукой, заставила смолкнуть песню, убив певца.

Кирасирам, сравнительно немногочисленным да еще понесшим потери во время катастрофы в овраге, противостояла чуть ли не вся английская армия, но они словно умножились, ибо каждый из них стоил десяти. Между тем несколько ганноверских батальонов отступило. Веллингтон заметил это и вспомнил о своей кавалерии. Если бы Наполеон в этот же момент вспомнил о своей пехоте, он выиграл бы сражение. То, что он забыл о ней, было его великой, роковой ошибкой.

Атакующие внезапно превратились в атакуемых. В тылу у кирасир оказалась английская кавалерия. Впереди – каре, позади – Сомерсет; Сомерсет означал тысячу четыреста гвардейских драгун. У Сомерсета по правую руку был Дорнберг с немецкой легкой кавалерией, по левую – Трип с бельгийскими карабинерами; кирасиры, атакуемые с фланга и с фронта, спереди и с тыла пехотой и кавалерией, должны были отбиваться сразу от всех. Но разве это имело для них значение? Они стали вихрем. Их доблесть перешла границы возможного.

А в тылу у них непрерывно гремела батарея. Вот почему эти люди могли быть ранены в спину. Одна из их кирас, пробитая у левой лопатки, находится в коллекции «Музея Ватерлоо».

Против таких французов могли устоять только такие же англичане.

То была уже не сеча, а мрак, неистовство, головокружительный порыв душ и доблестей, ураган сабельных молний. В одно мгновение из тысячи четырехсот драгун осталось лишь восемьсот; их командир, подполковник Фуллер, пал мертвым. Ней подоспел с уланами и егерями Лефевра – Денуэта. Плато Мон – Сен – Жан было взято, отбито и взято вновь. Кирасиры оставляли кавалерию, чтобы снова обрушиться на пехоту; в этой ужасающей давке люди сошлись грудь с грудью, схватились врукопашную. Каре продолжали держаться.

Они выдержали двенадцать атак. Под Неем было убито четыре лошади. Половина кирасир полегли на плато. Битва длилась два часа.

Войска англичан были сильно потрепаны. Без сомнения, не будь кирасиры ослаблены при первой же своей атаке катастрофой в ложбине, они опрокинули бы центр и одержали бы победу. Эта необыкновенная кавалерия поразила Клинтона, видевшего Талаверу и Бадахос. Веллингтон, на три четверти побежденный, героически отдавал им должное, повторяя вполголоса: «Великолепно!»[38].

Кирасиры уничтожили семь каре из тринадцати, захватили или заклепали шестьдесят пушек и отняли у англичан шесть знамен, которые были отнесены императору, к ферме Бель-Альянс, тремя кирасирами и тремя гвардейскими егерями.

Положение Веллингтона ухудшилось. Это страшное сражение было похоже на поединок между двумя остервенелыми ранеными бойцами, когда оба, продолжая нападать и отбиваться, истекают кровью. Кто падет первый?

Борьба на плато продолжалась.

Докуда дошли кирасиры? Никто не мог бы это определить. Достоверно одно: на следующий день после сражения, в том месте, где перекрещиваются четыре дороги – на Нивель, Женап, Ла – Гюльп и Брюссель, на площадке монсенжанских весов для взвешивания повозок были найдены трупы кирасира и его коня. Этот всадник пробился сквозь английские линии. Один из тех. кто поднял труп, до сих пор проживает в Мон – Сен – Жане. Его зовут Дегаз. Тогда ему было восемнадцать лет.

Веллингтон чувствовал, что почва ускользает из-под его ног. Развязка приближалась.

Кирасиры не достигли желанной цели в том смысле, что не прорвали центра. Так как плато принадлежало и тем и другим, то оно не принадлежало никому, однако большая часть его оставалась в конечном счете за англичанами. Веллингтон удерживал деревню и верхнюю часть плато. Ней держал только гребень и склон. Обе стороны словно пустили корни в эту могильную землю.

Но поражение англичан казалось неизбежным: армия истекала кровью. Кемпт на левом крыле требовал подкреплений. «Подкреплений нет, – отвечал Веллингтон. – Пусть умирает!» Почти в ту же минуту – это странное совпадение свидетельствует об истощении обеих армий – Ней требовал у Наполеона пехоты, и Наполеон восклицал: «Пехоты! А где я ее возьму? Рожу, что ли?»

Однако английская армия была более истощена. Яростные броски исполинских эскадронов в кованых кирасах со стальными нагрудниками смяли пехоту. Лишь по кучке солдат, окружавших знамя, можно было судить о том, что здесь был полк, иными батальонами командовали теперь капитаны или лейтенанты; дивизия Альтена, уже сильно пострадавшая при Ге – Сенте, была почти истреблена; неустрашимые бельгийцы из бригады Ван – Клузе устилали своими телами ржаное поле вдоль нивельской дороги. Не осталось почти ни единого человека от голландских гренадер, которые в 1811 году вместе с французами сражались с Веллингтоном в Испании, а в 1815 году, примкнув к англичанам, сражались с Наполеоном.

Потери среди командиров были очень значительны. У лорда Угсбриджа, который на другой день велел похоронить свою отрезанную ногу, было раздроблено колено. У французов во время атаки кирасир выбыли из строя Делор, Леритье, Кольбер, Дноп, Траверс и Бланкар, у англичан Альтен был ранен, Барн ранен, Делансе убит, Ван-Меерен убит, Омптеда убит, генеральный штаб Веллингтона опустошен – на долю Англии выпала горшая участь в этом кровавом равновесии. 2-й полк гвардейской пехоты лишился пяти подполковников, четырех капитанов и трех прапорщиков; первый батальон 30-го пехотного полка потерял двадцать четыре офицера и сто двенадцать солдат; в 79-м полку горцев было ранено двадцать четыре офицера, убито восемнадцать офицеров, уничтожено четыреста пятьдесят рядовых. Целый полк ганноверских гусар Камберленда, с полковником Гаке во главе, – его впоследствии судили и разжаловали, – испугавшись рукопашной схватки, показал тыл и бежал через Суанский лес, сея смятение до самого Брюсселя. Увидев, что французы продвинулись вперед и приближаются к лесу, фурштат, фуражные повозки, обозы, фургоны, переполненные ранеными, тоже ринулись назад; голландцы под саблями французской кавалерии вопили «Спасите!» От Вер – Куку до Гренандаля, на протяжении почти двух миль в направлении Брюсселя, вся местность, по свидетельству очевидцев, которые живы еще и теперь, была запружена беглецами. Паника была так сильна, что докатилась до принца Конде в Мехельне и Людовика XVIII-в Генте. Если не считать слабого резерва, построенного эшелонами за лазаретом на ферме Мон – Сен – Жан, и бригад Вивиана и Ванделера, прикрывавших левый фланг, у Веллингтона кавалерии больше не было. Целые батареи валялись на земле, орудия были сбиты с лафетов.

Эти факты подтверждает Сиборн, а Прингль, преувеличивая бедствие, говорит даже, будто численность англо-голландской армии была сведена к тридцати четырем тысячам человек. Железный герцог оставался невозмутимым, однако губы его побледнели. Австрийский кригс – комиссар Винцент и испанский кригс – комиссар Алава, присутствовавшие при сражении в английском генеральном штабе, считали герцога погибшим. В пять часов Веллингтон вынул часы, и окружающие услышали, как он прошептал мрачные слова: «Блюхер или ночь!»

Именно в эту минуту и сверкнул ряд штыков вдалеке на высотах, в стороне Фришмона.

И тут в этой исполинской драме наступил перелом.

### Глава одиннадцатая.

### Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова

Трагическое заблуждение Наполеона всем известно; он ждал Груши, а явился Блюхер – смерть вместо жизни.

Судьба совершает порой такие крутые повороты: не владычество над всем миром, а остров св. Елены.

Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу выше Фришмона, а не ниже Плансенуа, быть может, судьба XIX века была бы иной. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым путем, кроме пролегающего ниже Плансенуа, прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя.

Между тем один лишь час промедления (так говорит генерал Мюфлинг) – и Блюхер не застал бы уже прежнего Веллингтона: «Битва при Ватерлоо была бы проиграна».

Ясно, что Блюхеру давно пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на Дион – ле – Моп и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях по самые ступицы. Кроме того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту; улица, ведущая к мосту, была подожжена французами; зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь

двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг Шапель – Сен – Ламбер.

Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь.

Еще в полдень император первый увидел в подзорную трубу нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там, вдали, облако; мне кажется, это войско», – сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальматскому, спросил: «Сульт! Что вы видите в направлении Шапель – Сен – Ламбер?» Маршал, приставив к глазам свою зрительную трубу, ответил: «Четыре, а то и пять тысяч человек, ваше величество. Очевидно, Груши!» Между тем все это было неподвижно и тонуло в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали «облако», замеченное императором. Некоторые утверждали: «Это колонны на бивуаке». Большинство говорило: «Это деревья». Несомненно было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона.

Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем выстроиться боевым порядком; но в пять часов, при виде бедственного положения Веллингтона, Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова: «Надо дать передышку английской армии».

Вскоре дивизии Лостена, Гиллера, Гаке и Ричселя развернулись перед корпусом Лобо, кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса, Плансенуа запылало, и прусские ядра посыпались градом, залетая даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве за Наполеоном.

## Глава двенадцатая.
## Гвардия

Остальное известно: вступление в бой третьей армии, дислокация сражения, восемьдесят шесть внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Бюловым Пирха 1-го, предводительствуемая самим Блюхером кавалерия Цитена, оттесненные французы, сброшенный с оэнского плато Марконье, выбитый из Папелота Дюрют, отступающие Донзело и Кио, окруженный Лобо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящая в наступление и двинувшаяся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов, и среди этого ужасного развала – вступающая в бой гвардия.

Идя навстречу неминуемой смерти, гвардия кричала: «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония, исторгающая приветственные клики.

Весь день небо было пасмурно. Вдруг, в тот самый момент, – а было восемь часов вечера, – тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль нивельской дороги, зловещий багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило.

Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре де Морван – все были тут! Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах показались во мгле этой сечи стройными, ровными, невозмутимыми, величественно-гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили, но Веллингтон крикнул: «Ни с места, гвардейцы, целься вернее!» Полк красных английских гвардейцев, залегших за плетнями, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реявшее над нашими орлами,

солдаты сшиблись друг с другом, и кровопролитная битва началась. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики: «Спасайся, кто может!» – вместо прежнего: «Да здравствует император!» и, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаемая все возраставшим градом снарядов, с каждым шагом теряя все больше людей. Тут не было ни робких, ни нерешительных, Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства.

Ней, вне себя, величественный в своей решимости принять смерть, подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплющенным крестом Большого орла, окровавленный, забрызганный грязью, великолепный, со сломанной шпагой в руке, он восклицал: «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно: он не умер. Он был растерян и возмущен. «А ты? Неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили?» – крикнул он Друэ д'Эрлону. Под сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточки людей, он кричал: «Значит, на мою долю ничего? О, я хоте т бы, чтобы меня пробили все эти английские ядра!» Несчастный, ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль!

## Глава тринадцатая.
## Катастрофа

Отступление в тылу гвардии носило зловещий характер.

Армия вдруг дрогнула со всех сторон одновременно – у Гугомона, Ге-Сента. Папелота, Плансенуа. За криками: «Измена!» последовало: «Спасайся!» Разбегающаяся армия подобна оттепели. Все оседает, дает трещины, колеблется, ломается, катится, рушится, сталкивается, торопится, мчится. Это неописуемый распад целого. Ней хватает у кого-то коня, вскакивает на него и, без шляпы, без шейного платка, без шпаги, становится поперек брюссельского шоссе, задерживая и англичан и французов. Он пытается остановить армию, он призывает ее вернуться, он оскорбляет ее, он цепляется за убегающих, он рвет и мечет. Солдаты, обегая его, кричат: «Да здравствует маршал Ней!» Два полка Дюрюта мечутся в смятении, как мяч, перебрасываемый то туда, то сюда, между саблями уланов и огнем бригад Кемпта, Беста, Пакка и Риландта. Опаснейшая из схваток – бегство; друзья убивают друг друга ради собственного спасения, эскадроны и батальоны разбиваются друг о друга и разбрызгиваются, словно гигантская пена битвы. Лобо на одном конце, Рейль на другом втянуты в этот людской поток. Тщетно Наполеон ставит ему преграды с помощью остатков своей гвардии, напрасно в последнем усилии жертвует последними эскадронами личной охраны. Кио отступает перед Вивианом, Келлерман – перед Ванделером, Лобо – перед Бюловым, Морапперед Пирхом, Домон и Сюбервик – перед принцем Вильгельмом Прусским, Гийо, который повел в атаку императорские эскадроны, падает, затоптанный конями английских драгун. Наполеон галопом проносится вдоль верениц беглецов, увещевает, настаивает, угрожает, умоляет. Все уста, еще утром кричавшие: «Да здравствует император!», теперь безмолвствуют; его почти не узнают. Только что прибывшая прусская кавалерия налетает, несется, сечет, рубит, режет, убивает, истребляет. Упряжки сталкиваются, орудия мчатся прочь, обозные выпрягают лошадей из артиллерийских повозок и бегут, фургоны, опрокинутые вверх колесами, загромождают дорогу и служат причиной новой бойни. Люди давят, теснят друг друга, ступают по живым и мертвым. Руки разят наугад, что и как попало. Несметные толпы наводняют дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины, леса – все запружено обращенной в бегство сорокатысячной массой людей. Вопли, отчаяние, брошенные в рожь ружья и ранцы, расчищенные ударами сабель проходы; нет уже ни товарищей, ни офицеров, ни генералов, – царит один невообразимый ужас. Там – Цитен, крошащий Францию в свое удовольствие. Там – львы, превращенные в ланей. Таково было это бегство!

В Женапе сделали попытку задержаться, укрепиться, дать отпор врагу. Лобо собрал триста человек. Построили баррикады при входе в селение, но при первом же залпе прусской артиллерии все снова бросились бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор видны следы этого залпа на коньке полуразвалившегося кирпичного дома справа от дороги, в нескольких минутах езды от Женапа. Пруссаки ринулись на Женап, разъяренные, по-видимому, такой бесславной победой. Преследование французов приняло чудовищные формы. Блюхер отдал приказ о поголовном истреблении. Мрачный пример подал этому Роге, грозивший смертью всякому французскому гренадеру, который привел бы к нему прусского пленного. Блюхер превзошел Роге. Дюгем, генерал молодой гвардии, прижатый к двери женапской харчевни, отдал свою шпагу гусару смерти, тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась истреблением побежденных. Вынесем же приговор, коль скоро мы олицетворяем собою историю: старик Блюхер опозорил себя. Эта жестокость довершила бедствие. Отчаявшиеся беглецы миновали Женап, миновали Катр – Бра, миновали Госели, Фран и Шарлеруа, миновали Тюэн и остановились лишь на границе. Увы! Но кто же это так позорно бежал? Великая армия.

Неужели эта растерянность, этот ужас, это крушение величайшего, невиданного в истории мужества были беспричинны? Нет. Громадная тень десницы божьей простирается над Ватерлоо. Это день свершения судьбы. Сила нечеловеческая предопределила этот день. Оттого-то в ужасе склонились все эти головы; оттого-то сложили оружие все эти великие души. Победители Европы пали, повергнутые во прах, не зная, что сказать, что предпринять, ощущая во мраке присутствие чего-то страшного. Hoc erat in fatis[39]. В этот день перспективы всего рода человеческого изменились. Ватерлоо – это стержень, на котором держится XIX век. Исчезновение великого человека было необходимо для наступления великого столетия. И это взял на себя тот, кому не прекословят. Паника героев объяснима. В сражении при Ватерлоо появилось нечто более значительное, нежели облако: появился метеор. Там побывал бог.

В сумерки, в поле, неподалеку от Женапа, Бернар и Бертран схватили за полу редингота и остановили угрюмого, погруженного в раздумье, мрачного человека, который, будучи занесен до этого места потоком беглецов, только что спешился и, сунув поводья под мышку, брел одиноко, с блуждающим взором, назад к Ватерлоо. То был Наполеон, еще пытавшийся идти вперед – великий лунатик, влекомый погибшей мечтой.

## Глава четырнадцатая. Последнее каре

Несколько каре гвардии, неподвижные в бурлящем потоке отступавших, подобно скалам среди водоворота, продолжали держаться до ночи. Наступала ночь, а с нею вместе смерть; они ожидали этого двойного мрака и, непоколебимые, дали ему себя окутать. Каждый полк, оторванный от другого, лишенный связи с разбитой наголову армией, умирал одиноко. Чтобы свершить этот последний подвиг, одни каре расположились на высотах Россома, другие на равнине Мон – Сен – Жан. Там, покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре встречали страшную смерть. С ними умирали Ульм, Ваграм, Иена и Фридланд.

В сумерках, около девяти часов вечера, у подошвы плато Мон – Сен – Жан все еще держалось одно каре. В этой зловещей долине, у подножия песчаного склона, преодоленного кирасирами, а сейчас занятого войсками англичан, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под плотным ливнем снарядов, каре продолжало сражаться. Командовал им незаметный офицер, по имени Камброн. При каждом залпе каре уменьшалось, но продолжало отбиваться. На картечь оно отвечало ружейной пальбой, непрерывно стягивая свои четыре стороны. Останавливаясь по временам, запыхавшиеся беглецы прислушивались издали, в ночной тьме, к затихающим мрачным громовым раскатам.

Когда от всего легиона осталась лишь горсточка, когда знамя этих людей превратилось в лохмотья, когда их ружья, расстрелявшие все пули, превратились в простые палки, когда количество трупов превысило количество оставшихся в живых, тогда победителей объял священный ужас перед полными божественного величия умирающими воинами, и английская артиллерия, словно переводя дух, умолкла. То была как бы отсрочка. Казалось, вокруг

сражавшихся теснились призраки, силуэты всадников, черные профили пушек; сквозь колеса и лафеты просвечивало белесоватое небо. Чудовищная голова смерти, которую герои всегда смутно различают сквозь дым сражений, надвигалась на них, глядела им в глаза. В темноте они слышали, как заряжают орудия, зажженные фитили, похожие на глаза тигра в ночи, образовали вокруг их голов кольцо, к пушкам английских батарей приблизились запальники. И тогда английский генерал Кольвиль – по словам одних, а по словам других – Метленд, задержав смертоносный меч, уже занесенный над этими людьми, в волнении крикнул: «Сдавайтесь, храбрецы!» Камброн ответил: «Merde!»

## Глава пятнадцатая. Камброн

Из уважения к французскому читателю это слово, быть может, самое прекрасное, которое когда-либо было произнесено французом, не следует повторять. Свидетельствовать в истории о сверхчеловеческом воспрещено.

На свой страх и риск мы переступим этот запрет.

Итак, среди этих исполинов был титан – Камброн.

Крикнуть это слово и затем умереть – что может быть величественнее? Ибо желать умереть – это и есть умереть, и не его вина, если этот человек, расстрелянный картечью, пережил себя.

Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, – это не обращенный в бегство Наполеон, не Веллингтон, отступавший в четыре часа утра и пришедший в отчаяние в пять, это не Блюхер, который совсем не сражался; человек, выигравший сражение при Ватерлоо, – это Камброн.

Поразить подобным словом гром, который вас убивает, – это значит победить!

Дать такой ответ катастрофе, сказать это судьбе, заложить такое основание для будущего льва, бросить эту реплику дождю, ночи, предательской стене Гугомона, оэнской дороге, опозданию Груши, прибытию Блюхера, иронизировать даже в могиле, не пасть, будучи поверженным наземь, в двух слогах утопить европейскую коалицию, предложить королям известное отхожее место цезарей, сделать из последнего слова первое, придав ему весь блеск Франции, дерзко завершить Ватерлоо карнавалом Леонидаса, дополнить Рабле, подвести итог победе грубейшим словом, которое не произносят вслух, утратить свое место на земле, но сохранить его в истории, после такой бойни привлечь на свою сторону насмешников – это непостижимо!

Это значит оскорбить молнию. В этом есть эсхиловское величие.

Слово Камброна прозвучало как взрыв, сопровождающий образование трещины. Это треснула грудь под напором презрения; избыток смертной муки вызвал взрыв. Кто же победил?

Веллингтон? Нет. Без Блюхера он бы погиб. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал сражения, Блюхер не закончил бы его. Камброн, этот пришелец последнего часа, этот никому не ведомый солдат, эта бесконечно малая частица войны, чувствует, что здесь скрывается ложь, ложь в самой катастрофе, вдвойне непереносимая; и в ту минуту, когда он доведен до бешенства, ему предлагают это посмешище – жизнь. Ну как тут не выйти из себя? Вот они, все налицо, эти короли Европы, удачливые генералы, Юпитеры-громовержцы, у них сто тысяч победоносного войска, а за этой сотней тысяч еще миллион, их пушки с зажженными фитилями уже разверзли пасти, императорская гвардия и великая армия у них под пятой, они только что сокрушили Наполеона, – и остался один Камброн; для протеста остался только этот жалкий земляной червь. Он будет протестовать! И вот он подбирает слово, как подбирают шпагу. Рот его наполняется слюной, эта слюна и есть нужное ему слово. Перед лицом величайшей и жалкой победы, перед победой без победителей, он, отчаявшийся, воспрянул духом; он несет на себе ее чудовищное бремя, но он же подтверждает всю ее ничтожность; он не только плюет на нее, – изнемогая под гнетом многочисленности, силы и грубой материи, он находит в душе

слово, обозначающее мерзкий отброс. Повторяем, сказать это, сделать это, найти это – значит быть победителем!

В роковую минуту дух великих дней проник в этого неизвестного человека. Камброн нашел слово, воплотившее Ватерлоо, как Руже де Лиль нашел Марсельезу, – это произошло по вдохновению свыше. Дыхание божественного урагана долетело до этих людей, пронзило их, они затрепетали, и один запел священную песнь, другой испустил чудовищный вопль. Свидетельство титанического презрения Камброн бросает не только Европе от имени Империи, – этого было бы недостаточно, – он бросает его прошлому от имени революции. Его услышали, и в Камброне распознали душу гигантов былых времен. Казалось, будто снова заговорил Дантон или зарычал Клебер.

В ответ на слово Камброна голос англичанина скомандовал: «Огонь!» Сверкнули батареи, дрогнул холм, все эти медные пасти изрыгнули последний залп губительной картечи; заклубился густой дым, слегка посеребренный восходящей луной, и когда он рассеялся, все исчезло. Остатки грозного воинства были уничтожены, гвардия умерла. Четыре стены живого редута лежали неподвижно, лишь кое-где среди трупов можно было заметить последнюю судорогу. Так погибли французские легионы, еще более великие, чем римские легионы. Они пали на плато Мон – Сен – Жан, на мокрой от дождя и крови земле, среди почерневших колосьев, на том месте, где ныне, в четыре часа утра, посвистывая и весело погоняя лошадь, проезжает Жозеф, кучер почтовой кареты, направляющейся в Нивель.

## Глава шестнадцатая.
## Qlot libras in duce?[40]

Сражений при Ватерлоо – загадка. Оно одинаково непонятно и для тех, кто выиграл его, и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона – это паника[41], Блюхер видит в нем лишь сплошную пальбу; Веллингтон ничего в нем не понимает. Просмотрите рапорты. Сводки туманны, пояснения сбивчивы. Одни запинаются, другие невнятно лепечут. Жомини разделяет битву при Ватерлоо на четыре фазы; Мюфлинг расчленяет ее на три эпизода; только Шарас – хотя в оценке некоторых вещей мы с ним и расходимся – уловил своим острым взглядом характерные черты катастрофы, которую потерпел человеческий гений в борьбе со случайностью, предначертанной свыше. Все прочие историки как бы ослеплены, и, ослепленные, они движутся ощупью. Действительно, то был день, подобный вспышке молнии, то была гибель военной монархии, увлекшей за собой, к великому изумлению королей, все королевства, то было крушение силы, поражение войны.

В этом событии, отмеченном высшей необходимостью, человек не играл никакой роли.

Разве отнять Ватерлоо у Веллингтона и Блюхера – значит лишить чего-то Англию и Германию? Нет. Ни о прославленной Англии, ни о величественной Германии нет и речи при обсуждении проблемы Ватерлоо. Благодарение небу, величие народов не зависит от мрачных похождений меча и шпаги. Германия, Англия и Франция славны не силой оружия. В эпоху, когда Ватерлоо – всего лишь бряцание сабель, в Германии над Блюхером возвышается Гете, а в Англии над Веллингтоном – Байрон. Нашему веку присуще возникновение широкого круга идей, в сияние этой утренней зари вливают свой сверкающий луч и Англия и Германия. Они полны величия, ибо они мыслят. Повышение уровня цивилизации является их природным свойством, оно вытекает из их сущности и нисколько не зависит от случая. Возвышение их в XIX веке отнюдь не имело своим источником Ватерлоо. Лишь народы-варвары внезапно вырастают после победы. Так после грозы вздувается ненадолго поток. Цивилизованные народы, особенно в современную нам эпоху, не возвышаются и не падают из-за удачи или неудачи полководца. Их удельный вес среди рода человеческого является следствием чего-то более значительного, нежели сражение. Слава богу, их честь, их достоинство, их просвещенность, их гений не являются выигрышным билетом, на который герои и завоеватели – эти игроки – могут рассчитывать в лотереях сражений. Случается, что битва проиграна, а

прогресс выиграл. Меньше славы, зато больше свободы. Умолкает дробь барабана, и возвышает свой голос разум. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Обсудим же хладнокровно Ватерлоо с двух точек зрения. Припишем случайности то, что было случайностью, а воле божьей то, что было волей божьей. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Квинта в игре.

Выигрыш достался Европе, но оплатила его Франция.

Водружать там льва не стоило.

Впрочем, Ватерлоо – это одно из самых своеобразных столкновений в истории. Наполеон и Веллингтон. Это не враги – это противоположности. Никогда бог, которому нравятся антитезы, не создавал контраста более захватывающего, очной ставки более необычной. С одной стороны – точность, предусмотрительность, математический расчет, осторожность, обеспеченные пути отступления, сбереженные резервы, непоколебимое хладнокровие, невозмутимая методичность, стратегия, извлекающая выгоду из местности, тактика, согласующая действия батальонов, резня, строго соблюдающая правила, война, ведущаяся с часами в руках, никакого упования на случайность, старинное классическое мужество, безошибочность во всем; с другой – интуиция, провиденье, своеобразие военного мастерства, сверхчеловеческий инстинкт, блистающий взор, нечто, обладающее орлиной зоркостью и разящее подобно молнии, чудесное искусство в сочетании с высокомерной пылкостью, все тайны глубокой души, союз с роком, река, равнина, лес, холм, собранные воедино и словно принужденные к повиновению, деспот, доходящий до того, что подчиняет своей тирании даже поля брани, вера в свою звезду, соединенная с искусством стратегии, возвеличенным ею, но в то же время смущенным. Веллингтон – это Барем войны, Наполеон – ее Микеланджело; и на этот раз гений был побежден расчетом.

Оба кого-то поджидали. И тот, кто рассчитал правильно, восторжествовал. Наполеон ждал Груши – тот не явился. Веллингтон ждал Блюхера – тот прибыл.

Веллингтон – это война классическая, мстящая за давний проигрыш. На заре своей военной карьеры Наполеон столкнулся с такой войной в Италии и одержал тогда блистательную победу. Старая сова спасовала перед молодым ястребом. Прежняя тактика была не только разбита наголову, но и посрамлена. Кто был этот двадцатишестилетний корсиканец, что представлял собой этот великолепный невежда, который, имея против себя все, а за себя – ничего, без провианта, без боевых припасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против целых полчищ, обрушивался на объединенные силы Европы и самым невероятным образом одерживал победы там, где это казалось совершенно невозможным? Откуда явился этот грозный безумец, который, почти не переводя дыхания и с теми же картами в руках, рассеял одну за другой пять армий германского императора, опрокинув за Альвицем Больe, за Больe Вурмсера, за Вурмсером Меласа, за Меласом Макка? Кто был этот новичок в боях, обладавший дерзкой самоуверенностью небесного светила? Академическая школа военного искусства отлучила его, доказав этим собственную несостоятельность. Вот откуда вытекает неукротимая злоба старого цезаризма против нового, злоба вымуштрованной сабли против огненного меча, злоба шахматной доски против гения. 18 июня 1815 года за этой упорной злобой осталось последнее слово, и под Лоди, Монтебелло, Монтенотом, Мантуей, Маренго и Арколем она начертала: «Ватерлоо». То был приятный большинству триумф посредственности. Судьба допустила эту иронию. На закате своей жизни и славы Наполеон снова встретился лицом к лицу с молодым Вурмсером.

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины – никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и разобраться в нем. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета. Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.

Итак, живя в XIX веке, мы относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «Монастырь» – говорит: «болото». Способность монастырей к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы не можем подумать без ужаса о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

И все же религиозный вопрос существует. В нем есть таинственные, почти грозные стороны. Да будет нам позволено вглядеться в них пристальней.

## Глава семнадцатая.

## Следует ли считать Ватерлоо событием положительным?

Существует весьма почтенная либеральная школа, которая не осуждает Ватерлоо. Мы к ней не принадлежим. Для нас Ватерлоо – лишь поразительная дата рождения свободы. То, что из подобного яйца мог вылупиться подобный орел, явилось полной неожиданностью.

В сущности, Ватерлоо по замыслу должно было явиться победой контрреволюции. Это – Европа против Франции; Петербург, Берлин, Вена – против Парижа; status quo[42] против дерзанья; 14-е июля 1789 года, штурмуемое 20 марта 1815 года; сигнал к боевым действиям монархических держав против не поддающегося обузданию мятежного духа французов. Унять, наконец, этот великий народ, погасить этот вулкан, действующий уже двадцать шесть лет, – такова была мечта. Здесь проявилась солидарность Брауншвейгов, Нассау, Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов с Бурбонами. Ватерлоо несло на своем хребте «священное право». Правда, если Империя была деспотической, то королевская власть, в силу естественной реакции, должна была по необходимости стать либеральной, и невольным следствием Ватерлоо, к великому сожалению победителей, явился конституционный порядок. Ведь революция не может быть побеждена до конца; будучи предопределенной и совершенно неизбежной, она возникает снова и снова: до Ватерлоо – в лице Бонапарта, опрокидывающего старые троны, после Ватерлоо – в лице Людовика XVIII, дарующего хартию и подчиняющегося ей. Бонапарт сажает на неаполитанский престол форейтора, а на шведский – сержанта, пользуясь неравенством для доказательства равенства; Людовик XVIII подписывает в Сент-Уэне декларацию прав человека. Если вы желаете уяснить себе, что такое революция, назовите ее Прогрессом, а если вы желаете уяснить себе, что такое прогресс, назовите его Завтра. Это Завтра неотвратимо творит свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Пусть самым необыкновенным образом, но оно всегда достигает своей цели. Это Завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, – оратора, Фуа повержен наземь у Гугомона – и вновь поднимается на трибуне. Так действует прогресс. Для этого рабочего не существует негодных инструментов. Не смущаясь, он приспосабливает для божественной своей работы и человека, перешагнувшего через Альпы, и немощного старца, нетвердо стоящего на ногах, исцеленного ветхозаветным Елисеем. Он пользуется подагриком, равно как и завоевателем: завоевателем вовне, подагриком – внутри государства. Ватерлоо, одним ударом покончив с мечом, разрушавшим европейские троны, имело следствием лишь то, что дело революции перешло в другие руки. Воины кончили свое дело, наступила очередь мыслителей. Тот век, движение которого Ватерлоо стремилось остановить, перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта мрачная, победа была, в свою очередь, побеждена свободой.

Словом, бесспорно одно: все, что торжествовало при Ватерлоо, все, что весело ухмылялось за спиной Веллингтона, что поднесло ему маршальские жезлы всей Европы, включая, как говорят, и маршальский жезл Франции, что радостно катило полные тачки земли, смешанной с костями убитых, чтобы воздвигнуть холм для льва, и победно начертало на этом пьедестале: «18 июня 1815 года», все, что поощряло Блюхера рубить саблями отступающих, что с высоты плато Мон-Сен-Жан нависло над Францией, словно над своей добычей, – все это было контрреволюцией, бормочущей гнусное слово: «расчленение». Прибыв в Париж,

контрреволюция увидела кратер вблизи; она почувствовала, что пепел жжет ей ноги, и тогда она одумалась. Она вновь обратилась к косноязычному лепету хартии.

Будем же видеть в Ватерлоо лишь то, что есть в Ватерлоо. Завоевание свободы не было его целью. Контрреволюция была либеральной поневоле, так же как Наполеон благодаря сходному стечению обстоятельств был революционером поневоле. 18 июня 1815 года этот новый Робеспьер был выбит из седла.

## Глава восемнадцатая.
## Восстановление священного права

Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула.

Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало во времена варваров. Но только у варварства 1815 года, уменьшительное название которого – контрреволюция, не хватило дыхания; оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что Империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания, но то был мрачный свет. Скажем больше: черный свет. В сравнении с днем – это ночь. Но когда эта ночь исчезла, наступило словно затмение.

Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладили из памяти восторги 20 марта. Корсиканец стал антитезой Беарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в XIX веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Трестальон прославился. Девиз non pluribus impar[43] вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на Карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед, быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Маренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского.

Кладбище Мадлен, страшная братская могила 93-го года, украсилось мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Из глубины Венсенского рва поднялась надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающая о том, что герцог Энгиенский умер в том месяце, когда был коронован Наполеон. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился четырехлетний призрак, именовать которого Римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был пленен, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом, и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом, после полудня, пастух сказал в лесу пруссаку: «Пройдите здесь, а не там».

1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая, нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась браком с 1789 годом, «священное право» замаскировалось хартией, то, что было фикцией, прикинулось конституцией, предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекрасились и покрылись лаком либерализма. Так меняют кожу змеи.

Наполеон и возвысил и унизил человека. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее! А между тем народ – это пушечное мясо,

влюбленное в своего канонира, – искал его глазами. Где он? Что он делает? «Наполеон умер», – сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоо. «Это он – да умер? – воскликнул солдат. – Много вы знаете!» Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась огромная, зияющая пустота.

И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник Священный союз. «Прекрасный союз», – это было заранее предсказано роковым полем Ватерлоо[44].

Перед лицом этой старинной преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда – Свобода. Молодое поколение обратило к нему восторженный взор. Странное явление – увлекались одновременно и будущим – Свободой, и прошедшим – Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Англия приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу. Франция поручила следить за ним Моншеню. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу тронам. Александр прозвал его: «моя бессонница». Страх внушало им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям не любо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала св. Елены.

Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это Реставрацией.

Вот что такое Ватерлоо.

Но какое дело до него вечности? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияния того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной былинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню Собора Парижской Богоматери.

## Глава девятнадцатая.
## Поле битвы ночью

Вернемся – этого требует наша книга – на роковое поле битвы.

18 июня 1815 года было полнолуние. Светлая ночь благоприятствовала яростной погоне Блюхера; она выдавала следы беглецов и, предавая злосчастные войска во власть озверевшей прусской кавалерии, помогала резне. В бедствиях можно иногда проследить это ужасное сообщничество ночи.

Когда последний пушечный залп умолк, равнина Мон-Сен-Жан опустела.

Англичане заняли лагерную стоянку французов; ночевать в лагере побежденного – обычай победителя. Свой бивуак они разбили по ту сторону Россома. Пруссаки, увлекшись преследованием, ушли дальше. Веллингтон направился в деревню Ватерлоо составлять рапорт лорду Батгерсту.

Изречение Sic vos non vobis[45] очень подходит к деревушке Ватерлоо. Там не происходило никакого сражения; деревня расположена на расстоянии полумили от поля битвы. Мон-Сен-Жак был обстрелян из пушек, Гугомон сожжен, Папелот сожжен, Плансенуа сожжено. Ге-Сент взят приступом. Бель-Альянс был свидетелем дружеского объятия двух победителей; однако названия всех этих мест смутно удержались в памяти, а на долю Ватерлоо, стоявшего в стороне, достались все лавры.

Мы не принадлежим к числу поклонников войны. При случае мы всегда говорим ей правду в глаза. Есть в войне устрашающая красота, о которой мы не умалчиваем, но есть в ней, признаться, и уродство. Одна из самых невероятных его форм – это поспешное ограбление

мертвых вслед за победой. Утренняя заря, занимающаяся после битвы, освещает обычно обнаженные трупы.

Кто совершает это? Кто порочит торжество победы? Чья подлая рука украдкой скользит в ее карман? Кто те мошенники, которые обделывают свои делишки за спиною славы? Некоторые философы, в том числе Вольтер, утверждали, будто ими являются сами же творцы славы. Это все те же солдаты, – говорят они, – и никто другой; оставшиеся в живых грабят мертвых. Днем – герой, ночью – вампир. Они, мол, имеют некоторое право обшарить того, кого собственными руками превратили в труп. Мы держимся иного мнения. Пожинать лавры и стаскивать башмаки с мертвецов – на это неспособна одна и та же рука.

Достоверно лишь, что вслед за победителями всегда крадутся грабители. Однако солдаты к этому непричастны, особенно солдаты современные.

За каждой армией тянется хвост, – вот где следует искать виновников. Существа, родственные летучим мышам, полуразбойники – полулакеи, все разновидности нетопырей, возникающие в сумерках, которые именуются войной, люди, облаченные в военные мундиры, по никогда не сражавшиеся, мнимые больные, злобные калеки, подозрительные маркитанты, разъезжающие в тележках, иногда даже со своими женами, и ворующие то, что сами продали, нищие, предлагающие себя офицерам в проводники, обозная прислуга, мародеры – весь этот сброд волочился во время похода за армией прежнего времени (мы не имеем в виду армию современную) и даже получил на специальном языке кличку «ползунов». Никакая армия и никакая нация за них не ответственны. Они говорили по-итальянски – и следовали за немцами, говорили по-французски – и следовали за англичанами. Один из таких подлецов, испанский «ползун», болтавший по-французски на тарабарско-пикарском наречии, обманул маркиза де Фервака, полагавшего, что это француз. Маркиз был убит и ограблен на поле битвы под Серизолой в ночь после победы. Узаконенный грабеж породил грабителя. Следствием отвратительного принципа: «жить на счет врага» явилась язва, исцелить которую могла лишь суровая дисциплина. Существуют обманчивые репутации; порой трудно понять, чему приписать необыкновенную популярность иных полководцев, хотя бы и великих. Тюренн был любим своими солдатами за то, что допускал грабеж – дозволенное зло является одним из проявлений доброты; Тюренн был настолько добр, что разрешил предать Палатинат огню и мечу. Количество присосавшихся к армии мародеров зависело от большей или меньшей строгости главнокомандующего. В армиях Гоша и Марсо «ползунов» совсем не было; следует отдать справедливость Веллингтону, что и в его армии их было мало.

Тем не менее в ночь с 18 на 19 июня мертвецов раздевали. Веллингтон был суров; он издал приказ беспощадно расстреливать каждого, кто будет пойман на месте преступления. Но привычка грабить пускает глубокие корни. Мародеры воровали на одном конце поля, в то время как на другом их расстреливали. Зловеще светила луна над этой равниной.

Около полуночи какой-то человек брел, вернее, полз по направлению к оэнской дороге. Это был, по-видимому, один из тех, о ком мы только что говорили: не француз, не англичанин, не солдат, не землепашец, не человек, а вурдалак, привлеченный запахом мертвечины и пришедший обобрать Ватерлоо, понимая победу как грабеж. На нем была блуза, смахивавшая на солдатскую шинель, он был труслив и дерзок, он продвигался вперед, но то и дело оглядывался. Кто же был этот человек? Вероятно, ночь знала о нем больше, чем день. Мешка при нем не было – очевидно, его заменяли вместительные карманы шинели. Время от времени он останавливался, оглядывал поле, словно желая убедиться, что за ним не следят, быстро нагибался, ворошил на земле что-то безмолвное и неподвижное, затем выпрямлялся и незаметно уходил. Его скользящая походка, его позы, его быстрые и таинственные движения придавали ему сходство с теми злыми духами ночи, которые водятся среди развалин и которых древние нормандские предания окрестили «шатунами».

Иные голенастые ночные птицы такими же силуэтами вырисовываются на фоне болот.

Вглядевшись в окружающий туман, можно было заметить на некотором расстоянии неподвижную и как бы спрятанную за лачугой, стоявшей у Нивельского шоссе, на повороте дороги из Мон-Сен-Жан в Брен-л'Алле, небольшую повозку маркитанта с верхом, крытым просмоленными прутьями ивняка. В повозку впряжена была тощая кляча, щипавшая через удила крапиву. Внутри фургона на ящиках и узлах сидела какая-то женщина. Быть может, существовала какая-то связь между этой повозкой и этим бродягой.

Ночь была ясная. Ни облачка в вышине. Внизу лежала обагренная кровью земля, а луна все так же отливала серебром. В этом проявлялось безучастие неба. Ветви деревьев, подбитые картечью, но удерживаемые зацепившейся корой от падения, покачивались на ночном ветру. Легкое дуновение, почти дыхание, шевелило густой кустарник. По траве пробегала зыбь, словно последнее содрогание отлетающих душ.

Издали неясно доносились шаги ходивших взад и вперед патрулей да оклики дозорных в лагере англичан.

Гугомон и Ге-Сент все еще пылали, образуя на западе и на востоке два ярких зарева, связанных между собою цепью сторожевых огней английского лагеря, растянувшейся по холмам громадным полукругом и напоминавшей рубиновое ожерелье с двумя карбункулами на концах.

Мы уже говорили о бедствии на оэнской дороге.

При одной мысли о том, сколько храбрецов там погибло и какою смертью, сердце невольно содрогается.

Если существует на свете что-либо ужасное, если есть действительность, превосходящая самый страшный сон, то это: жить, видеть солнце, быть в расцвете сил, быть здоровым и радостным, смеяться над опасностью, лететь навстречу ослепительной славе, которую видишь впереди, ощущать, как дышат легкие, как бьется сердце, как послушна разуму воля, говорить, думать, надеяться, любить, иметь мать, иметь жену, иметь детей, обладать знаниями, – и вдруг, даже не вскрикнув, в мгновение ока рухнуть в бездну, свалиться, скатиться, раздавить кого-то, быть раздавленным, видеть хлебные колосья над собой, цветы, листву, ветви и быть не в силах удержаться, сознавать, что сабля твоя бесполезна, ощущать под собой людей, над собой лошадей, тщетно бороться, чувствовать, как, брыкаясь, лошадь в темноте ломает тебе кости, как в глаз тебе вонзается чей-то каблук, яростно хватать зубами лошадиные подковы, задыхаться, реветь, корчиться, лежать внизу и думать: «Ведь только что я еще жил!»

Там, где во время этого ужасного бедствия раздавались хрипение и стоны, теперь царила тишина. Дорога в ложбине была доверху забита трупами лошадей и всадников. Жуткое зрелище! Откосы исчезли. Трупы сравняли дорогу с полем и лежали вровень с краями ложбины, как утрясенный четверик ячменя. Груда мертвецов на более возвышенной части, река крови в низменной – такова была эта дорога вечером 18 июня 1815 года. Кровь текла даже через Нивельское шоссе, образуя огромную лужу перед засекой, преграждавшей шоссе в том месте, на которое до сей поры обращают внимание путешественников. Как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной стороны – со стороны Женапского шоссе. Количество трупов на дороге зависело от большей или меньшей ее глубины. Около середины, где дорога становилась ровной и где прошла дивизия Делора, слой мертвых тел был тоньше.

Ночной бродяга, которого мы видели мельком, шел в этом направлении. Он рылся в этой огромной могиле. Он разглядывал ее. Он делал отвратительный смотр мертвецам. Он шагал по крови.

Вдруг он остановился.

В нескольких шагах от него, на дороге, там, где кончалось нагромождение трупов, из-под груды лошадиных и человеческих останков выступала рука, освещенная луной.

На одном из пальцев этой руки что-то блестело; то был золотой перстень.

Бродяга нагнулся, присел на корточки, а когда встал, то перстня на пальце уже не было.

Собственно, он не встал – он остался на коленях, в неловкой позе оторопевшего человека, спиной к мертвецам, всматриваясь в даль, всей тяжестью тела навалившись на пальцы, которыми упирался в землю, настороженный, с приподнятой над краем рва головой. Повадки шакала вполне уместны при совершении некоторых действий.

Затем он выпрямился, но тут же подскочил на месте. Он почувствовал, как кто-то ухватил его сзади. Он оглянулся. Вытянутые пальцы руки сжались, вцепившись в полу его шинели.

Честный человек испугался бы, а этот ухмыльнулся.

– Гляди-ка! – сказал он. – Это, оказывается, покойничек! Ну, мне куда милей выходец с того света, чем жандарм!

Рука между тем ослабела и выпустила его. Усилие не может быть длительным в могиле.

– Вот оно что! – пробормотал бродяга. – Мертвец-то жив! Ну-ка, посмотрим!

Он снова наклонился, разбросал кучу, отвалил то, что мешало, ухватился за руку, высвободил голову, вытащил тело и спустя несколько минут поволок по дороге во тьме если не бездыханного, то во всяком случае потерявшего сознание человека. Это был кирасир, офицер и даже, как видно, в высоком чине: из-под кирасы виднелся толстый золотой эполет; каски на нем не было. Глубокая рана от удара саблей пересекала лицо, залитое кровью. Впрочем, руки и ноги, по-видимому, у него остались целы благодаря тому, что по какой-то счастливой, если только это слово здесь подходит, случайности мертвецы образовали над ним что-то вроде свода, предохранившего его от участи быть раздавленным. Глаза его были сомкнуты.

На кирасе у него висел серебряный крест Почетного легиона.

Бродяга сорвал его, и крест тут же исчез в одном из тайников его шинели.

Затем он нащупал карман для часов, обнаружил часы и взял их. Потом обшарил жилетные карманы, нашел кошелек и присвоил его себе.

Когда его старания помочь умирающему достигли этой стадии, офицер внезапно открыл глаза.

– Спасибо, – пробормотал он слабым голосом. Резкость движений прикасавшегося к нему человека, ночная прохлада, свободно вдыхаемый свежий воздух вернули ему сознание.

Бродяга ничего не ответил. Он насторожился. В отдалении послышались шаги: вероятно, приближался патруль.

– Кто выиграл сражение? – чуть слышным от смертельной слабости голосом спросил офицер.

– Англичане, – ответил грабитель.

Офицер продолжал:

– Поищите в моих карманах. Вы найдете там часы и кошелек. Возьмите их себе. Это было уже сделано. Однако бродяга сделал вид, что ищет, потом ответил:

– Карманы пусты.

– Меня ограбили, – сказал офицер – Жаль! Это досталось бы вам.

Шаги патрульных слышались все отчетливее.

– Кто-то идет, – прошептал бродяга, собираясь встать.

Офицер, с трудом приподняв руку, удержал его:

– Вы спасли мне жизнь. Кто вы?

Грабитель быстрым шепотом ответил:

– Я. как и вы, служу во французской армии. Сейчас я должен вас оставить. Если меня здесь схватят, я буду расстрелян. Я спас вам жизнь. Теперь сами выпутывайтесь из беды как знаете.

– В каком вы чине?

– Сержант.

– Ваша фамилия?

– Тенардье.

– Я не забуду – сказал офицер. – А вы запомните мою. Моя фамилия Понмерси.

## Книга вторая

## Корабль «Орион»

### Глава первая.

### Номер 24601 становится номером 9430

Жан Вальжан был опять арестован.

Читатель не посетует, если мы не станем задерживаться на печальных подробностях этого события. Мы ограничимся тем, что приведем две краткие заметки, опубликованные в газетах несколько месяцев спустя после удивительного происшествия в Монрейле-Приморском.

Это короткие заметки, но не следует забывать, что в то время еще не существовало Судебной газеты.

Первую заметку мы заимствуем из газеты Белое знамя. Она датирована 25 июля 1823 года.

«Один из округов Па-де-Кале явился ареной необычайного происшествия. Неизвестно откуда появившийся человек по имени Мадлен несколько лет тому назад, благодаря новым способам производства, возобновил старинный местный промысел – выделку искусственного гагата и мелких изделий из черного стекла. На этом он нажил значительное состояние и, не будем скрывать, обогатил округ. За его заслуги он был избран мэром. Полиция обнаружила, что Мадлен был не кто иной, как нарушивший распоряжение о месте жительства бывший каторжник, приговоренный в 1796 году за кражу, по имени Жан Вальжан. Жан Вальжан был снова заключен в острог. По-видимому, до своего ареста ему удалось получить в банкирской конторе г-на Лафита свой превышавший полмиллиона вклад; эту сумму он нажил, как говорят, вполне законно, на своем предприятии. Узнать, куда он ее спрятал, после того как его отправили на галеры в Тулон, установить не удалось».

Вторая, более подробная заметка взята из Парижской газеты от того же числа.

«Отбывший срок и освобожденный каторжник по имени Жан Вальжан предстал перед уголовным судом Вара при обстоятельствах, заслуживающих внимания Этому негодяю удалось обмануть бдительность полиции, он переменил имя и добился того, что его избрали мэром одного из наших северных городков. В этом городе он открыл довольно крупное предприятие. Но в конце концов он был разоблачен и задержан благодаря неутомимому усердию прокурорского надзора. Он сожительствовал с публичной женщиной, которая в момент его ареста скончалась от душевною потрясения. Этот негодяй, обладающий силой Геркулеса нашел способ бежать, но спустя три или четыре дня полиция вновь задержала его, уже в Париже, в тот момент, когда он садился в один из небольших дилижансов, курсирующих между селом Монфермейль (округ Сены и Уазы) и столицей. Говорят, что он воспользовался несколькими днями свободы и вынул значительную сумму денег, помещенную им у одного из наших виднейших банкиров. Эту сумму исчисляют в шестьсот-семьсот тысяч франков Согласно обвинительному акту он запрятал деньги в таком месте, которое было известно ему одному, и конфисковать деньги не удалось. Как бы то ни было, вышеупомянутый Жан Вальжан был доставлен в уголовный суд Барского округа, где ему было предъявлено обвинение в

вооруженном нападении на большой дороге, около восьми лет тому назад, на одного из тех славных малых, которые, как говорит в своих бессмертных строках фернейский патриарх, —

Приходят из Савойи каждый год

И сажею забитый дымоход.

Искусно в вашем доме прочищают.

Бандит отказался от защиты В мастерски построенном и красноречивом выступлении государственного прокурора доказывалось, что кража совершена при содействии сообщников и что Жан Вальжан является членом воровской шайки, орудующей на юге. На основании этого Жан Вальжан был признан виновным и приговорен к смертной казни. Преступник отказался подать кассационную жалобу. Король, по бесконечному милосердию своему, пожелал смягчить наказание, заменив смертную казнь бессрочной каторгой. Жан Вальжан был тотчас же отправлен в Тулон на галеры».

Еще не было забыто, что у Жана Вальжана в Монрейле-Приморском существовали связи с духовными лицами. Некоторые газеты, в частности Конституционалист, изобразили смягчение приговора как торжество партии духовенства.

Жан Вальжан переменил на каторге номер. Он стал называться номером 9430.

Чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, заметим, что вместе с господином Мадленом из Монрейля-Приморского исчезло и благосостояние города. Во всяком случае, все, что предвидел он в тревожную, полную сомнений ночь, сбылось: не стало его, не стало и души города. После его падения в Монрейле начался жестокий дележ, неизбежный при крушении выдающегося человека, роковой распад процветавшего дела, который ежедневно втихомолку совершается в обществе и который история заметила только однажды, ибо произошел он после смерти Александра Великого. Лейтенанты возводят себя в сан королей; подмастерья объявляют себя хозяевами. Возникли зависть и соперничество. Обширные мастерские г-на Мадлена были закрыты, строения превратились в руины, рабочие разбрелись. Одни оставили край, другие оставили ремесло. Все начало делаться в малых, а не в больших масштабах; для наживы, но не для всеобщего блага. Связующее начало исчезло; возникли конкуренция и ожесточение. Г-н Мадлен стоял во главе всего и всем управлял. Он пал – и каждый принялся тянуть в свою сторону. Дух созидания тотчас сменился духом борьбы, сердечность – черствостью, благожелательное ко всем отношение организатора – взаимной ненавистью. Нити, завязанные г-ном Мадленом, спутались и порвались, способ производства подменили, продукцию обесценили, доверие убили; с уменьшением заказов снизился и сбыт, заработок рабочих упал, мастерские остановились, наступило разорение. И ничего больше не делалось для бедных. Исчезло все.

Даже государство заметило, что где-то кого-то не стало. Меньше чем через четыре года после приговора уголовного суда, который засвидетельствовал в интересах каторжных тюрем тождество г-на Мадлена с Жаном Вальжаном, издержки по взиманию налогов в округе Монрейля-Приморского удвоились, и в феврале 1827 года г-н де Виллель сделал об этом публичное заявление.

## Глава вторая, в которой читатели найдут двустишие, сочиненное, быть может, дьяволом

Прежде чем продолжить нашу повесть, мы считаем нелишним рассказать с некоторыми подробностями об одном странном случае, происшедшем в Монфермейле приблизительно в то же время и, быть может, подтверждающем некоторые предположения государственного прокурора.

В окрестностях Монфермейля сохранилось старинное поверье, тем более примечательное и любопытное, что народное поверье в такой непосредственной близости от Парижа – это то же, что алоэ в Сибири. Мы принадлежим к числу тех, кто чтит все, что можно рассматривать

как редкое растение. Вот оно, это монфермейльское поверье. Дьявол с незапамятных времен избрал монфермейльский лес местом, где он укрывал свои сокровища. Кумушки утверждали, будто не диво встретить здесь в сумерки, в лесной глуши, черного человека, в сабо, в холщовых шароварах и блузе, похожего не то на ломового извозчика, не то на дровосека. Приметен он тем, что на голове у него вместо колпака или шляпы – огромные рога. Это действительно важная примета. Обычно этот человек занят тем, что роет яму. Существуют три способа извлечь выгоду из этой встречи. Первый – приблизиться к нему и заговорить с ним. Тогда ты увидишь, что этот человек – обыкновенный крестьянин, что черным он кажется от сгустившихся сумерек, что никакой ямы он не роет, а косит траву для своих коров; то же, что принимают за его рога, – просто-напросто торчащие у него за спиной вилы, зубья которых в измененной вечерним освещением перспективе кажутся рогами на его голове. Ты возвращаешься домой и через неделю умираешь. Второй способ – наблюдать за ним, дождаться, когда он выроет яму, опять засыплет ее и уйдет; тогда надо быстро подбежать к ней, разрыть и овладеть «сокровищем», которое туда, без сомнения, спрятал черный человек. В этом случае ты умрешь через месяц. Наконец, третий способ – совсем не заговаривать с черным человеком, не глядеть на него, а убежать со всех ног, Тогда ты проживешь до года.

Все три способа имеют свои неудобства, но второй представляет по крайней мере то преимущество, что, правда, всего лишь на месяц, ты овладеешь сокровищем, и потому этот способ считается предпочтительным. Смельчаки, которые всюду пытают счастье, как уверяют люди, раскапывали ямы, вырытые черным человеком, и пробовали обокрасть дьявола. По-видимому, результаты подобных действий оказывались весьма скромными, если верить преданию, и особенно – двум загадочным стихам на варварской латыни, которые по этому поводу сочинил зловредный нормандский монах по имени Трифон, кое-что смекавший в колдовстве. Трифон погребен в аббатстве Сен-Жермен в Бошервиле, близ Руана, и на его могиле родятся жабы.

Итак, приходится затрачивать огромные усилия, ибо эти ямы обычно очень глубоки; потеешь, роешь, трудишься целую ночь (это делается ночью), рубаха вся взмокнет, свеча сгорит, мотыга зазубрится, и когда, наконец, докопаешься до дна ямы, когда «сокровище» – твое, что же ты находишь? Что представляет собой это сокровище дьявола? Иногда су, иногда экю или камень, а то скелет или окровавленный труп; порой это привидение, сложенное вчетверо, как лист бумаги, лежащий в бумажнике, а бывает и так, что вообще ничего не находишь. Обо всем этом, по-видимому, и сообщают нескромным и любопытным людям стихи Трифона:

Fodit, et in fossa thesauros condit opaca

As, nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque.[46]

Как будто и теперь еще там находят то пороховницу с пулями, то старую засаленную и порыжевшую колоду карт, которой, несомненно, играл сам дьявол. О последних двух находках Трифон не упоминает, но следует принять во внимание, что Трифон жил в XII веке и что вряд ли у дьявола хватило бы ума изобрести порох до Роджера Бэкона, а карты-до Карла VI.

Впрочем, тот, кто будет играть в эти карты, может быть уверен, что он проиграется в пух и прах; что же касается пороха из пороховницы, то он обладает свойством взрываться прямо вам в лицо.

Так вот, вскоре после того как прокурорскому надзору показалось, что бывший каторжник Жан Вальжан во время своего кратковременного побега бродил вблизи Монфермейля, люди в этом самом сельце заметили, что один старый шоссейный рабочий, по прозвищу Башка, частенько «делает вылазки» в лес. В тех краях поговаривали, будто Башка был когда-то на каторге; он находился под наблюдением полиции, а так как он нигде не находил себе работы, то администрация нанимала его за низкую плату на починку шоссе между Ганьи и Ланьи.

На этого Башку все местные жители поглядывали косо. Он был слишком почтителен, слишком смирен, перед каждым ломал шапку, трепетал перед жандармами и заискивающе им улыбался. Подозревали его в связи с разбойничьей шайкой, в том, что он с наступлением темноты устраивает засады в кустах. В его пользу говорило лишь то, что он был пьяница.

А заметили за ним вот что.

С некоторых пор Башка очень рано кончал настилку щебня и починку дороги и уходил со своей киркой в лес. Его встречали под вечер на пустынных лужайках, в лесной чаще. где он как будто что-то искал, а иногда рыл ямы. Проходившие мимо кумушки принимали его с первого взгляда за Вельзевула, а потом хоть и узнавали Башку, но это отнюдь не успокаивало их. Такие встречи, казалось, сильно раздражали его. Не было сомнений, что он избегал постороннего взора и что в его поступках кроется тайна.

В селе говорили: «Ясно, как божий день, что где-то появился дьявол. Башка видел его и теперь разыскивает. У кого, у кого, а у него хватит смекалки заграбастать кубышку Люцифера». Вольнодумцы добавляли: «Еще посмотрим, кто кого надует: Башка Сатану или Сатана Башку». Старухи при этом усиленно крестились.

Однако блуждания Башки по лесу кончились, и он вернулся к своей обычной работе на шоссе. Люди стали судачить о другом.

Все же некоторые продолжали любопытствовать, полагая, что за этим, вероятно, что-то кроется, – не баснословные сокровища, упоминаемые в легенде, а какая-нибудь неожиданная находка, более основательная и осязаемая, чем банковые билеты дьявола, и что в какой-то степени тайну ее этот шоссейный рабочий, несомненно, разгадал. Больше всех заинтересовались этим школьный учитель и трактирщик Тенардье, друживший с кем попало и не погнушавшийся сблизиться с Башкой.

– Правда, он был на каторге, – говорил Тенардье. – Но, господи боже мой, никогда нельзя знать, кто там сейчас и кому там быть суждено!

Однажды вечером школьный учитель заявил, что в былое время правосудие занялось бы вопросом о том, что делал Башка в лесу, и, конечно, принудило бы его заговорить, а в случае необходимости подвергло бы его пытке водой.

– Подвергнем его пытке вином, – сообразил Тенардье.

Оба приложили все старания, чтобы напоить старого бродягу. Башка выпил много, но сказал мало. С изумительным искусством и в точной пропорции он сумел сочетать жажду пропойцы со сдержанностью судьи. Все же, упорно возвращаясь к интересующему их предмету, а также объединяя и сопоставляя некоторые вырвавшиеся у него туманные выражения, Тенардье и школьный учитель представили себе такую картину.

Однажды Башка, отправившись рано утром на работу, очень удивился, заметив в лесу под кустом лопату и кирку, «вроде как припрятанные». Но он решил, что эта лопата и кирка принадлежат водовозу, дядюшке Шестипечному, и на этом успокоился. Однако вечером, притаившись за большим деревом так, что сам не мог быть никем замечен, он увидел, что по дороге, ведущей в глубь леса, идет «один человек, не из местных жителей, которого он, Башка. прекрасно знал». В переводе Тенардье это означало: товарищ по каторге. Башка наотрез отказался назвать его имя. Этот его знакомец нес сверток четырехугольной формы, вроде большой коробки или сундучка. Башка удивился. Только несколько минут спустя ему пришло на ум последовать за «знакомцем». Но было уже поздно: тот скрылся в лесной чаще, тьма сгустилась, и Башка не мог бы догнать его. Тогда он решил наблюдать за лесной опушкой. «Ночь была лунная». Спустя не то два, не то три часа Башка увидел, что из кустарника вышел тот самый человек, и нес он уже не сундучок, а кирку и лопату. Башка дал ему возможность удалиться, даже не заговорив с ним, ибо знал, что этот втрое сильнее его, вооружен киркой и, конечно, убьет его, если припомнит или если увидит, что и его узнали. Трогательное выражение чувств у двух повстречавшихся старых друзей! Но лопата и кирка были для Башки

как бы лучом света. Он помчался к тому кусту, где был утром, но ничего не нашел. Из этого он заключил, что знакомец его, углубившись в лес, вырыл киркой яму, запрятал в нее сундучок и закопал яму лопатой. Так как сундучок был слишком мал для того, чтобы в нем мог поместиться труп, то, значит, в нем были деньги. Вот почему Башка предпринял розыски. Он обследовал, изрыл и обыскал весь лес, обшарил все места, где ему казалось, что земля свежевскопана. Напрасно!

Он ничего не «добыл». В Монфермейле стали об этом забывать. Только некоторые бесстрашные кумушки все еще повторяли: «Будьте уверены, что шоссейный рабочий из Ганьи всю эту кутерьму не зря затеял: тут наверняка объявился дьявол».

## Глава третья,
## из которой видно, что надо предварительно поработать над звеном цепи, чтобы потом разбить его одним ударом молотка

В конце октября того же 1823 года жители Тулона увидели, что после жестокой бури в их гавань вошел корабль «Орион», чтобы исправить некоторые повреждения. Впоследствии этот корабль нес службу учебного судна в Бресте, а в то время он еще числился в средиземноморской эскадре.

Это судно, как оно ни было разбито, ибо море основательно потрепало его, все же произвело внушительное впечатление, выйдя на рейд. На нем развевался – теперь уже не помню, какой – флаг; в его честь по уставу полагался салют из одиннадцати пушечных залпов; «Орион» отвечал выстрелом на выстрел; итого двадцать два выстрела. Было подсчитано, что вместе с орудийными залпами для воздания королевских и военных почестей, для обмена изысканно вежливыми приветствиями, согласно правилам этикета, а также установленному порядку на рейдах и цитаделях, вместе с ежедневными пушечными салютами всех крепостей и всех военных кораблей при восходе и заходе солнца, при открытии и закрытии ворот и пр., и пр., цивилизованный мир на всем земном шаре каждые двадцать четыре часа производит сто пятьдесят тысяч холостых выстрелов. Если считать, что каждый пушечный выстрел стоит шесть франков, то это составляет девятьсот тысяч франков в день, триста миллионов в год, превращающихся в дым. Это только небольшая подробность. Тем временем бедняки умирают с голоду.

1823 год был годом, который Реставрация окрестила «эпохой Испанской войны»

Эта война заключала в себе много событий и множество особенностей. Здесь дело шло о важнейших семейных интересах дома Бурбонов, о его французской ветви, помогающей и покровительствующей ветви мадридской, – иначе говоря, выполняющей долг старшинства; об очевидном возврате к нашим национальным традициям, осложненным зависимостью и подчинением северным кабинетам; о его светлости герцоге Ангулемском, прозванном либеральными газетами «героем Андюжара», который в позе триумфатора, не вязавшейся с его безмятежным обликом, укрощал старый реальный террор инквизиции, схватившийся с химерическим террором либералов; о воскресших, к великому ужасу знатных вдов, санкюлотах, под именем descamisados[47]; о монархизме, ставящем препоны прогрессу, получившему название анархии; о внезапно прерванной подспудной деятельности теорий 89-го года; о запрете, наложенном Европой на совершающую кругосветное путешествие французскую мысль; о стоящем рядом с престолонаследником Франции генералиссимусе принце Кариньяне – впоследствии Карле-Альберте, который принимал участие в крестовом походе королей против народов, пойдя добровольцем и пристегнув к своему мундиру гренадерские, красной шерсти, эполеты. Здесь дело шло о вновь выступивших в поход солдатах Империи, постаревших после восьмилетнего отдыха, грустных и уже под белой кокардой; о трехцветном знамени, развевающемся на чужбине над героической горсточкой французов, подобно тому как развевалось тридцать лет тому назад в Кобленце белое знамя; о монахах, присоединившихся к нашим ветеранам; о духе свободы и нововведений, усмиренном

штыками, о принципах, уничтоженных пушечными выстрелами; о Франции, разрушающей своим оружием то, что было создано ее мыслью. Наконец, здесь дело шло о продажности вражеских генералов, о нерешительности солдат, о городах, осажденных не столько тысячами штыков, сколько миллионами франков; о полном отсутствии военной опасности, наряду с возможностью взрыва, как это случается во внезапно захваченном и занятом неприятелем минированном подкопе. Здесь было мало пролитой крови, мало чести для завоевателей, здесь был позор для некоторых, а славы не было ни для кого. Такова была эта война, затеянная принцами королевской крови, потомками Людовика XIV, и руководимая полководцами, преемниками Наполеона. Ей выпала печальная, участь: она не осталась в памяти ни как пример великой войны, ни как пример великой политики.

Эта война насчитывает несколько серьезных операций, – взятие Трокадеро является одной из блестящих военных побед; но в целом, повторяем, трубы этой кампании звучали надтреснуто, все вместе внушало сомнение, и история одобряет то, что Франция не сразу согласилась признать этот лжетриумф. Бросалось в глаза, что некоторые испанские офицеры, обязанные сопротивляться, сдавались слишком поспешно, к победе примешивалась мысль о лихоимстве: казалось, здесь скорее имеет место подкуп генералов, чем выигранные сражения, и солдаты-победители возвращались униженными. Эта война действительно умаляла достоинство нации, в складках ее знамени читалось: «Французский банк».

Солдаты войны 1808 года, на которых так страшно обрушилась осажденная ими Сарагоса, в 1823 году хмурились оттого, что перед ними так легко распахивались ворота крепостей, и начинали жалеть о Палафоксе. Таков нрав французов, предпочитающих лучше видеть перед собой Растопчина, чем Бальестероса.

Еще важнее то обстоятельство, что, оскорбляя дух французской армии, война возмущала и дух демократии. То был замысел порабощения. В этой кампании конечной целью французского солдата, сына демократии, было завоевание рабства для других. Отвратительное противоречие! Франция рождена для того, чтобы пробуждать дух народов, а не подавлять его. С 1792 года все революции в Европе – это французская революция: сияние свободы излучает Франция. Это излучение подобно солнечному. «Слепец, кто этого не видит!» – воскликнул Бонапарт.

Таким образом, война 1823 года была одновременно покушением на великодушную испанскую нацию и покушением на французскую революцию. И творила это чудовищное насилие Франция; правда, по принуждению, ибо, за исключением войн освободительных, все, что совершают армии, они совершают по принуждению. «Пассивное повиновение» – вот что определяет их действия. Армия представляет собою странный шедевр расчета, при котором сила извлекается из огромной суммы бессилия. Так объясняется война, затеянная человечеством против человечества и вопреки человечеству.

Для Бурбонов война 1823 года была роковой. Они приняли ее за успех. Они совершенно упустили из виду, какая опасность таится в удушении идеи путем ее запрета. В своей наивности они забылись до такой степени, что, придя к власти, узаконили, как одну из основ своей силы, широчайшую терпимость к преступлению. Дух злого умысла вторгся в их политику. 1830 год зародился в 1823 году. Испанский поход в их решениях стал аргументом в пользу насилия и рискованных авантюр «священного права». Франция, восстановив el rey neto[48] в Испании, легко могла восстановить неограниченную королевскую власть и у себя. Приняв послушание солдата за согласие нации, Бурбоны совершили опасную ошибку. Подобное легковерие губит троны. Не следует дремать ни под тенью мансенилового дерева, ни под крылом армии.

Но возвратимся к кораблю «Орион».

Во время маневров армии под командованием принца-генералиссимуса в Средиземном море крейсировала эскадра. Мы уже упоминали, что «Орион» принадлежал к этой эскадре и что буря вынудила его зайти в Тулонский порт.

Появление военного корабля в гавани таит в себе некую притягательную силу и занимает воображение толпы. Это зрелище величественно, а толпа любит все величественное.

Линейный корабль, борющийся со стихией, – пример одного из прекраснейших столкновений человеческого гения с могуществом природы.

Линейный корабль представляет собой сочетание частей, от самых тяжелых, какие только существуют, да самых невесомых, ибо ему приходится сталкиваться с тремя состояниями вещества сразу – твердым, жидким и газообразным – и бороться против всех трех. У него есть одиннадцать железных когтей, чтобы цепляться за гранит на дне морском, и больше крыльев и надкрылий, чем у летучих насекомых, чтобы ловить в облаках попутный ветер. Его дыхание вылетает из ста двадцати пушек, словно из чудовищных оркестровых труб, и надменно вторит грому. Океан пытается сбить его с пути устрашающим однообразием своих волн, но у корабля есть душа – компас, дающий ему совет и неизменно указывающий на север. В темные ночи его сигнальные фонари заменяют звезды. Итак, против ветра у него есть канат и парус, против волн – дерево, против скал – железо, медь и свинец, против мрака – свет, против беспредельного простора – магнитная стрелка.

Чтобы получить представление о гигантских размерах всех этих отдельных частей, которые в совокупности составляют линейный корабль, достаточно в гавани Бреста или Тулона войти внутрь шестиэтажного стапеля. Это, так сказать, защитный колпак над строящимся судном. Вон та огромная балка – рея; массивная деревянная колонна, лежащая на земле и видная, насколько хватает глаз, – грот-мачта. Ее длина, если считать от основания в трюме до верхушки, теряющейся в облаках, равна шестидесяти саженям, а ее диаметр у основания равен трем футам. Английская грот-мачта возвышается на двести семнадцать футов над грузовой линией судна. Во флоте наших предков употреблялись якорные канаты, у нас – якорные цепи. Обыкновенный круг корабельных цепей одного стопушечного судна имеет четыре фута в высоту, двадцать футов в ширину и восемь футов в толщину. А сколько требуется строительного материала, чтобы построить такой корабль? – спросите вы. Три тысячи кубических метров. Это настоящий плавучий лес.

Кроме того, надо заметить, что здесь идет речь о военном судне, построенном сорок лет тому назад, о простом парусном судне; паровой двигатель, находившийся в те времена еще в младенческом состоянии, добавил позднее новые чудеса к диковинному сооружению, именуемому военным кораблем. В наше время, например, смешанного типа винтовое судно представляет собою изумительную машину под парусами, поверхность которых равна трем тысячам квадратных метров, и с паровым котлом в две тысячи пятьсот лошадиных сил.

Не говоря уже об этих поразительных новинках в судостроительном искусстве, даже старинное судно Христофора Колумба или Рюйтера представляет собою один из величайших образцов человеческой изобретательности. Силы его так же неистощимы, как неистощимы дуновения воздуха, посылаемые бесконечностью; оно собирает ветер в свои паруса, оно не теряется среди необъятной водной равнины, оно плывет, оно царит.

Но наступает час, когда буря переламывает рею длиною в шестьдесят футов, словно соломинку, когда ветер гнет, словно тростник, грот-мачту вышиною в четыреста футов, когда якорь, который весит десять тысяч фунтов, ломается в пасти волн, как крючок рыболова в челюстях щуки, когда чудовищные пушки испускают жалобный и бессильный рев, уносимый ветром в мрак и пустоту, когда вся эта мощь и все это величие исчезают перед лицом высшего величия и высшей мощи.

Зрелище величайшей силы, пришедшей в состояние величайшей слабости, всегда заставляет людей задумываться. Вот почему в гаванях наблюдается такое множество любопытных, которые, сами хорошо не понимая зачем, толкутся около удивительных орудий войны и мореходства.

И вот ежедневно, с утра до вечера, набережные, мол и откосы шлюза Тулонской гавани были усеяны толпами праздношатающихся и «зевак», как говорят в Париже, у которых только и было дело, что глазеть на «Орион».

Корабль был поврежден уже давно. Во время предшествовавших плаваний на его подводную часть налипли такие толстые слои ракушек, что скорость его наполовину уменьшилась. В прошлом году корабль вытащили на сушу, чтобы соскоблить их, а затем он вновь ушел в море. Но соскабливание повредило крепления подводной части. Вблизи Балеарских островов наружная обшивка судна пострадала от ветра и отстала, а так как внутреннюю обшивку тогда не делали из листового железа, то судно дало течь. Бешено налетевший на него полуденный ветер пробил пушечный порт на бакборте и решетчатый помост на гальюне, а также повредил руслени фок-мачты. Вследствие этих повреждений «Орион» возвратился в Тулонскую гавань.

Он бросил якорь около Арсенала. Судно снаряжали и чинили. Со стороны штирборта корпус корабля не был поврежден, но несколько досок обшивки были, как это обычно делается, кое-где оторваны, чтобы внутрь мог проникнуть свежий воздух.

Однажды утром толпа, глазевшая на корабль. оказалась свидетельницей несчастного случая.

Экипаж занят был креплением парусов. Марсовой, который должен был взять верхний угол грот-марселя на штирборте, потерял равновесие. Он вдруг покачнулся, толпа, собравшаяся на набережной Арсенала, испустила крик; голова перевесила туловище, и человек повернулся вокруг реи, простирая руки к бездне. Падая, он успел ухватиться за перты под реей, сначала одной, а затем и другой рукой, и повис в воздухе. Под ним, на головокружительной глубине, расстилалось море. От сильного толчка при его падении перты стали раскачиваться, словно качели. Человек летал на этой веревке из стороны в сторону, подобно камню в праще.

Помочь ему – значило подвергнуться страшному риску. Ни один матрос – все это были недавно призванные на военную службу местные рыбаки – не отважился на это. Несчастный марсовой устал; разглядеть его лицо, искаженное смертельным ужасом, было невозможно, но по всем его движениям было ясно, что силы у него иссякают. Руки его словно вывертывались в страшных судорогах. Каждая его попытка подтянуться только усиливала колебание снасти. Он не кричал, чтобы не изнемочь окончательно. Все ожидали, что он вот-вот выпустит веревку, и время от времени отворачивались, чтобы не видеть его падения. Бывают такие минуты, когда конец веревки, жердь, ветка олицетворяют собою жизнь; страшно видеть, как отделяется от них живое существо и падает, словно спелый плод.

Вдруг все заметили человека, карабкающегося по снастям с ловкостью оцелота. Человек этот был в красной одежде – значит, каторжник; на нем была зеленая шапка – значит, приговорен к каторге пожизненно. Когда он достиг марса, порыв ветра сорвал с него зеленую шапку и обнажил седую голову; человек этот был немолод.

Действительно, один из каторжников, посланных из острога работать на судне, сразу же подбежал к вахтенному офицеру и, среди смятения и суматохи, в то время как все матросы дрожали и не двигались с места, попросил офицера разрешить ему рискнуть жизнью для спасения марсового. По утвердительному знаку офицера он одним ударом молотка разбил цепь, прикованную к кольцу на его ноге, взял веревку и бросился на ванты. Никто не заметил, как легко была разбита цепь. Вспомнили об этом впоследствии.

В мгновение ока он был уже на рее. На несколько секунд приостановившись, он, казалось, взглядом измерял ее длину. Эти секунды, пока ветер раскачивал марсового на конце веревки, показались вечностью тем, кто смотрел на него. Наконец каторжник взглянул на небо, потом сделал шаг вперед. Толпа перевела дыхание. Он бегом побежал по рее. Добравшись до ее края, он привязал к ней один конец веревки, которую захватил с собою, а другой оставил

висеть свободным, затем начал на руках скользить по веревке вниз. Всеми овладела невыразимая тревога: вместо одного человека теперь над бездной висели двое.

Казалось, паук готовился схватить муху; только здесь паук нес жизнь, а не смерть. Десять тысяч глаз были прикованы к этим людям. Ни единого возгласа, ни единого слова; все трепещут, у всех сдвинуты брови. Все затаили дыхание, словно боясь усилить малейшим дуновением ветер, который раскачивал двух несчастных.

Между тем каторжнику удалось спуститься к матросу. И как раз вовремя: еще минута, и изнемогший, отчаявшийся человек сорвался бы в бездну. Каторжник одной рукой крепко обвязал его веревкой, за которую сам держался другою, и вот все увидели, как он снова взобрался на рею и подтянул К себе наверх матроса. С минуту он подержал его там, чтобы дать ему собраться с силами, потом схватил его на руки и понес по рее до эзельгофта, а оттуда до марса, и тут передал его на руки товарищей.

Толпа принялась рукоплескать; некоторые из старых надзирателей смены каторжников заплакали, женщины на набережной обнимались, слышен был единодушный, звучавший какой-то яростью умиления крик: «Помиловать его!»

А он, считая своим долгом немедленно сойти вниз, чтобы присоединиться к партии каторжников, и желая побыстрее это сделать, скользнул по такелажу и побежал по нижней рее. Все взоры устремились на него. И тут толпу охватил страх: то ли от усталости, то ли по причине головокружения, он вдруг приостановился и как будто покачнулся. Вдруг толпа испустила громкий вопль-каторжник упал в море.

Падение грозило ему гибелью. Фрегат «Альхесирас» стоял на якоре возле «Ориона», и несчастный упал между двух кораблей. Боялись, как бы он не попал под один из них. Четыре человека бросились к шлюпке. Толпа подбадривала их; всех снова охватила тревога. Человек не выплывал. Он канул в море, не возмутив поверхности, словно упал в бочку с маслом. Погружали лот, ныряли. Тщетно! Искали до самого вечера, но ни живым, ни мертвым его не нашли.

На следующий день в тулонской газете появилась заметка: «17 ноября 1823 года. Вчера каторжник из партии, работавшей на борту „Ориона", спасая матроса, упал в море и утонул. Тело его найти не удалось. Предполагают, что он попал между свай головной части Арсенала. В тюремных списках человек этот числился под э 9430, имя его – Жан Вальжан».

## Книга третья

## Исполнение обещания, данного умершей

### Глава первая.

### Вопрос о водоснабжении в Монфермейле

Монфермейль расположен между Ливри и Шелем, на южном конце высокого плато, отделяющего Урк от Марны. Теперь это довольно большой торговый городок, украшенный выбеленными виллами, а по воскресным дням – жизнерадостными горожанами. В 1823 году в Монфермейле не было ни такого количества белых вилл, ни такого множества довольных горожан: это было всего лишь сельцо, затерянное среди лесов. Правда, здесь кое-где попадались дачи в стиле минувшего столетия, которые легко можно было узнать по их барскому виду, по характерным для той эпохи балконам витого железа и продолговатым окнам, маленькие стекла которых переливались на белом фоне закрытых внутренних ставней всевозможными зелеными оттенками. Тем не менее Монфермейль был всего лишь сельцом. Ни ушедшие на покой торговцы сукном, ни отдыхавшие на даче судейские еще не набрели на него. Это был тихий, прелестный уголок, ничего более собой не представлявший. Там вели деревенский образ жизни, привольный, дешевый и простой. Только воды было мало, так как сельцо стояло на высоком месте.

За водой приходилось идти довольно далеко. Конец села, который ближе к Ганьи, черпал воду из великолепных лесных прудов; противоположный конец, со стороны Шеля, там, где была церковь, питьевую воду мог брать только из родничка на склоне горы, близ дороги на Шель, приблизительно в четверти часа ходьбы от Монфермейля.

Таким образом, запасти воду было для каждой семьи довольно тяжелой обязанностью. Зажиточные дома, аристократия, в том числе хозяин трактира Тенардье, платили по лиару за ведро воды старичку, который исполнял обязанности водовоза в Монфермейле и зарабатывал около восьми су в день. Но старичок летом работал до семи часов вечера, а зимой до пяти, и как только темнело, как только закрывались ставни в нижних этажах, тот, у кого не оставалось воды для питья, должен был идти за ней сам или обходиться без воды до утра.

Мысль о воде приводила в ужас несчастное создание, которое читатель, может статься, не забыл, – маленькую Козетту. Вспомните, что держать Козетту было выгодно супругам Тенардье по двумя причинам: они брали плату с матери и заставляли работать дитя. И когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает, почему, Тенардье все же оставили девочку у себя. Она заменяла им служанку. Когда воды не хватало, за ней посылали Козетту. И девочка, умиравшая от страха при одной мысли, что ей придется ночью идти к роднику, тщательно следила, чтобы в доме всегда была вода.

Рождество 1823 года праздновалось в Монфермейле особенно торжественно. В первую половину зимы погода стояла мягкая; не было еще ни морозов, ни метелей. Приехавшие из Парижа фокусники получили у мэра разрешение поставить балаганы на главной улице, а компания странствующих торговцев, в силу такой же льготы, построила будки на Церковной площади до самой улицы Хлебопеков, где находилась, как известно, харчевня Тенардье. Весь этот люд наводнял постоялые дворы и кабаки, внося шумную и веселую струю в спокойную жизнь глухого села. В качестве добросовестного историка мы должны даже упомянуть о том, что среди всевозможных диковин, появившихся на площади, был зверинец, где уродливые шуты в лохмотьях, неизвестно откуда взявшиеся, показывали крестьянам Монфермейля в 1823 году одного из тех ужасных бразильских кондоров, которых королевский музей приобрел лишь в 1845 году и у которых глаза похожи на трехцветную кокарду. Если не ошибаюсь, зоологи называют эту птицу Caracara Polyborus; она принадлежит к разряду хищников и семейству ястребиных. Старые бравые солдаты-бонапартисты, жившие на покое в селе, приходили с благоговением поглядеть на эту птицу. Шуты уверяли, что трехцветная кокарда – явление исключительное, созданное богом для их зверинца.

В сочельник возчики и странствующие торговцы сидели в харчевне Тенардье вокруг стола, на котором горели свечи. Харчевня ничем не отличалась от любого кабачка: столы, оловянные жбаны, бутылки; пьяницы, курильщики; мало света, много шума. Впрочем, два модных в ту пору предмета на другом столе свидетельствовали о том, что это был 1823 год, а именно: калейдоскоп и лампа из белой жести. Кабатчица присматривала за ужином, поспевавшим в жарко пылавшей печи; супруг ее пил с гостями, толкуя о политике.

Кроме разговоров политических, главной темой которых была война в Испании и его светлость герцог Ангулемский, в шуме голосов можно было различить замечания, имевшие чисто местный интерес:

– Вон сколько выжали вина в Нантерском и Сюренском округах! Кто считал, что получит бочек десять, получил двенадцать. Из-под давила ручьями текло. – Как же так? Виноград-то ведь еще не поспел? – В тех местах не надо ждать, пока поспеет. Если собираешь спелый, так вино, чуть весна, и загустело. – Стало быть, это совсем слабое вино? – У них вина еще слабее, чем тут. А виноград собирать нужно, когда он зеленый.

И т. д.

Слышались выкрики мельника:

– Разве мы можем отвечать за то, что насыпано в мешки? Там попадается всякая всячина, копаться с ней нам недосуг, вот и приходится пускать все как есть под жернов. Там и куколь, и медунка, и ржавинка, и вика, и журавлиный горох, и конопля, и лисий хвост, и видимо-невидимо всякой другой дряни, не считая мелких камешков, которых другой раз полно в зерне, особенно в бретонском. Мне такая же охота молоть эту бретонскую рожь, как пильщику распиливать бревна, в которые набиты гвозди. Посудите сами, сколько трухи попадает в помол. А потом народ жалуется на плохую муку. И зря! Мы не виноваты.

Косарь, сидевший у простенка за столиком с землевладельцем, который торговался с ним из-за цены на весенние луговые работы, говорил:

– Что трава сырая, беды никакой нет. Ее даже спорей косить. Роса полезна. Но все одно, трава эта ваша молоденькая и пока что неподатливая. Уж очень нежна, так и клонится под косой.

И т. д.

Козетта сидела на своем обычном месте: на перекладине кухонного стола около очага. В лохмотьях, в деревянных башмаках на босу ногу, она, при свете очага, вязала шерстяные чулки для девочек Тенардье. Под стульями играл котенок. Из соседней комнаты доносились смех и звонкие голоса Эпонины и Азельмы.

В углу, возле печки, на гвозде висела плеть.

Порой в харчевню врывался пронзительный плач ребенка. Это кричал сын хозяйки, родившийся в одну из предыдущих зим, «неизвестно почему, – говорила она, – наверно, из-за холода». Ему шел четвертый год. Мать хотя и выкормила его, но не любила. Когда отчаянные вопли малыша становились слишком докучными, Тенардье говорил жене: «Слышишь, как твой сын развизжался. Пойди-ка погляди, чего ему там надо». «А ну его! Надоел он мне!» – отзывалась мать. И покинутый ребенок продолжал кричать в потемках.

## Глава вторая.
## Два законченных портрета

До сей поры в этой книге чета Тенардье была обрисована лишь в профиль; пришло время рассмотреть их со всех сторон и под всеми их личинами.

Самому Тенардье только что перевалило за пятьдесят. Возраст г-жи Тенардье приближался к сорока годам, что для женщины равно пятидесяти; таким образом, между мужем и женою не было разницы в возрасте.

Быть может, читатель со времени своего первого знакомства с супругой Тенардье сохранил еще некоторые воспоминания об этой белокурой, румяной, жирной, мясистой, широкоплечей, подвижной дылде. Она происходила, как мы уже говорили, из породы тех дикарок-великанш, что ломаются в ярмарочных балаганах, привязав булыжники к волосам. Она все делала по дому: стлала постели, убирала комнаты, мыла посуду, стряпала – одним словом, была и грозой, и ясным днем, и злым духом этого трактира. Ее единственной служанкой была Козетта – мышонок в услужении у слона. Все дрожало при звуке ее голоса: стекла, мебель, люди. Ее широкое лицо, усеянное веснушками, напоминало шумовку. У нее росла борода. Это был крючник, переодетый в женское платье. Она мастерски умела ругаться и хвалилась тем, что ударом кулака разбивает орех. Если бы не романы, которые она читала и которые порой странным образом пробуждали в кабатчице жеманницу, то никому никогда не пришло бы в голову назвать ее женщиной. Она представляла собой сочетание рыночной торговки с мечтательной девицей. Услышав, как она разговаривает, вы бы сказали «Это жандарм»; понаблюдав, как она пьянствует, вы бы сказали: «Это извозчик», увидев, как она обращается с Козеттой, вы бы сказали «Это палач». Когда она молчала, изо рта у нее торчал зуб.

Сам Тенардье был худой, бледный, костлявый, тощий, тщедушный человечек, казавшийся болезненным, хотя обладал несокрушимым здоровьем, – с этого начиналось присущее ему плутовство. Обычно он из предосторожности улыбался и был вежлив почти со всеми, даже с нищими, которым отказывал в милостыне. У него был взгляд хорька и вид литератора. Он очень был похож на портреты аббата Делиля. Он всем напоказ пил вместе с возчиками. Никому никогда не удавалось напоить его допьяна. Он не выпускал изо рта большую трубку, носил блузу, а под блузой – старый черный сюртук. Он старался произвести впечатление человека начитанного и притом материалиста. Чтобы придать своим словам вес, он часто упоминал имена Вольтера, Реналя, Парни и даже, как ни странно, святого Августина. Он утверждал, что у него есть своя «система». Сверх того он был отъявленный мошенник. Мошенник-философ. Такая разновидность существует. Читатель помнит, что он выдавал себя за солдата. Несколько приукрашивая, он рассказывал, что в бытность свою сержантом не то 6-го, не то 9-го легиона он один против целого эскадрона «гусар смерти» прикрыл своим телом от картечи «опасно раненного генерала» и спас ему жизнь. Этот случай послужил ему поводом украсить свой дом блестящей вывеской, а окрестному люду – прозвать его харчевню «кабачком сержанта Ватерлоо». Он был либерал, классик и бонапартист. Он внес свое имя в список жертвователей на «Убежище». В селе толковали, что он когда-то готовился в священники.

Однако мы полагаем, что готовился он всего-навсего в трактирщики. Этот негодяй смешанной масти был, по всей вероятности, во Фландрии фламандцем из Лилля, в Париже – французом, в Брюсселе – бельгийцем и чувствовал себя как дома по обе стороны границы. Его подвиг под Ватерлоо известен. Как видит читатель, он его слегка приукрасил. Смена удач и неудач, хитроумные уловки, рискованные предприятия – из этого состояла его жизнь; нечистая совесть влечет за собой треволнения. Не лишено вероятности, что в бурные времена, связанные с 18 июня 1815 года, Тенардье принадлежал к той разновидности маркитантов-мародеров, о которых мы упоминали выше и которые, всюду разъезжая, продавали одним, грабили других и, руководимые чутьем, следовали обычно всей семьей – муж, жена и дети – в какой-нибудь тележке, запряженной хромоногой лошаденкой, за движущимися впереди частями армии-победительницы. Завершив кампанию, заработав, как он выражался, «малость деньжат», он поселился в Монфермейле, где и открыл харчевню.

«Деньжата», состоявшие из кошельков и часов, золотых перстней и серебряных крестов, собранных им во время жатвы на бороздах, усеянных трупами, все же не могли обеспечить его надолго.

В движениях Тенардье было нечто прямолинейное, что отдавало казармой, когда он бранился, и семинарией, когда он осенял себя крестом. Это был краснобай, который выдавал себя за ученого. Однако школьный учитель заметил, что разговор у него «с изъянцем». Счета проезжающим он составлял превосходно, но опытный глаз обнаружил бы в них орфографические ошибки. Тенардье был скрытен, жаден, ленив и хитер. Он не брезговал служанками, и потому его жена их больше не держала. Великанша была ревнива. Ей казалось, что этот тщедушный желтый человечек является предметом соблазна для всех женщин.

Сверх того Тенардье, человек коварный и хорошо владевший собой, был мошенником из породы осторожных. Этот вид мошенников – наихудший; ему свойственно лицемерие.

Это не означает, что Тенардье был не способен прийти в такую же ярость, как и его жена, что, впрочем, бывало с ним не столь уж часто. Но так как он злобился на весь род людской, так как в нем постоянно пылало горнило глубочайшей ненависти, так как он принадлежал к числу людей, которые постоянно мстят, которые обвиняют все окружающее во всех своих неудачах и несчастьях и, словно их обиды вполне законны, всегда готовы взвалить на первого встречного весь груз разочарований, банкротств и бедствий своей жизни, то в иные минуты, когда все эти чувства, поднимаясь, подобно дрожжам, пенились у него на губах и застилали ему глаза, он становился ужасен. Горе тому, кто вставал на его пути в это мгновение!

Помимо всех своих прочих свойств, Тенардье был наблюдателен и проницателен, болтлив или молчалив, в зависимости от обстоятельств, и всегда чрезвычайно смышлен. В его взгляде бы то нечто, напоминавшее взгляд моряка, привыкшего, щурясь, смотреть в подзорную трубу. Тенардье был государственным мужем.

Всякий входящий первый раз в его харчевню при взгляде на жену Тенардье говорил себе: «Вот кто хозяин дома». Заблуждение! Она не была даже хозяйкой. И хозяином и хозяйкой был ее супруг. Она лишь исполняла, придумывал он. Путем какого-то магнетического воздействия, незаметного, но постоянного, он управлял всем. Ему достаточно было слова, а иногда лишь знака, и мастодонт повиновался. Для г-жи Тенардье, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, ее муж являлся каким-то особенным, высшим существом. Ей можно было поставить в заслугу ее поведение: никогда, даже если б и возник у нее разлад с «господином Тенардье» (гипотеза, впрочем, немыслимая), она «при чужих людях» ни в чем бы не стала ему перечить. Она никогда не совершала ошибки, которую так часто совершают жены и которую на парламентском языке именуют «подрывом власти». Хотя их единодушие имело конечной целью зло, но в покорности жены своему мужу таилось благоговейное преклонение. Эта гора мяса, этот ураган повиновался мановению мизинца тщедушного деспота. В этом проявлял себя, пусть в искаженной и причудливой форме, великий, всеобщий закон: преклонение материи перед духом; иные формы уродства имеют право существовать даже в недрах вечной красоты. В Тенардье таилось что-то загадочное, отсюда и вытекало неограниченное господство этого мужчины над этой женщиной. Бывали минуты, когда он казался ей зажженным светильником; в иные она чувствовала лишь его когти.

Эта женщина была существом, способным внушать страх; она любила только своих детей и боялась только своего мужа. Матерью она была потому, что относилась к млекопитающим. Впрочем, ее материнское чувство сосредоточивалось только на дочерях и, как мы увидим в дальнейшем, не распространялось на сыновей. А мужчина – тот был поглощен одной мыслью: разбогатеть.

Однако это ему не удавалось. Для такого великого таланта не находилось достойного поприща. Тенардье в Монфермейле разорялся, если только возможно разорение для круглого нуля; в Швейцарии или в Пиренеях этот голяк сделался бы миллионером. Но куда бы трактирщика ни забросила судьба, ему надо было прокормиться.

Само собой разумеется, что слово «трактирщик» мы употребляем здесь в узком смысле, и оно, конечно, не простирается на все это сословие в целом.

В 1823 году у Тенардье накопилось около полутора тысяч франков неотложных долгов, и это очень его тревожило.

Несмотря на упорную немилость судьбы, Тенардье был из числа людей, которые прекрасно понимали то, что является у дикарей добродетелью, а у народов цивилизованных – товаром, иначе говоря, гостеприимство понимали в самом глубоком и современном значении этого слова. Вдобавок он был удивительно ловким браконьером, славившимся боем своего ружья. Иногда он смеялся спокойным и холодным смехом, который бывал особенно опасен.

Порой у него фейерверками взлетали исповедуемые им теории кабацкого ремесла. У него были свои профессиональные правила, которые он вдалбливал жене. «Обязанность кабатчика, – толковал он ей однажды яростным шепотом, – уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки; останавливать прохожих, опустошать тощие кошельки и честно облегчать толстую мошну; почтительно предлагать приют путешествующей семье, содрать с мужчины, ощипать женщину, слупить с ребенка; ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги и, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!»

Этот мужчина и эта женщина были хитрость и злоба, сочетавшиеся браком, – омерзительный и ужасный союз.

Муж раздумывал и соображал, а жена и не вспоминала о далеких кредиторах, не заботилась ни о вчерашнем, ни о завтрашнем дне, она жадно жила настоящей минутой.

Таковы были эти два существа. Козетта испытывала двойной гнет: ее словно дробили мельничным жерновом и терзали клещами. Муж и жена мучили ее каждый по своему: Козетту избивали до полусмерти – в этом виновата была жена; она ходила зимой босая – в этом виноват был муж.

Козетта носилась вверх и вниз по лестнице, мыла, чистила, терла, мела, бегала, выбивалась из сил, задыхалась, передвигая тяжести, и, как ни была она слабосильна, выполняла самую тяжелую работу. И ни капли жалости к ней! Свирепая хозяйка, злобный хозяин! Харчевня Тенардье была словно паутина, в которой билась и запутывалась Козетта. В этой злосчастной маленькой служанке как бы воплотился образ рабства. Это была мушка в услужении у пауков.

Бедный ребенок все терпел и молчал.

Что же происходит в этих младенческих душах, лишь недавно покинувших божье лоно, когда на самой заре своей жизни они, столь беззащитные, оказываются среди таких людей?

## Глава третья.
## Людям – вино, а лошадям – вода

Приехали еще четыре путешественника.

Козетту одолевали тяжкие думы; ей было только восемь лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой.

Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!»

Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей, на беду, неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев и что в кадке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее: в харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жаждой здесь всегда было достаточно, но это была жажда, которая охотней взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же на секунду девочка испугалась: тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к кадке с водой и отвернула кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины.

– Вот тебе на! – проговорила хозяйка. – Воды больше нет! – И замолчала. Девочка затаила дыхание. – Ничего! – продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. – Хватит!

Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце.

Она считала каждую протекшую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро.

Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма! Хоть глаз выколи!» Или: «В такую погоду без фонаря только кошке по двору шататься». И Козетта дрожала от страха.

Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубым голосом крикнул:

– Почему моя лошадь не поена?

– Как не поена? Ее поили, – ответила Тенардье.

– А я говорю – нет, хозяйка! – возразил торговец.

Козетта вылезла из-под стола.

– Сударь! Право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро, я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней.

Это была неправда. Козетта лгала.

– Вот тоже выискалась: от горшка два вершка, а наврала с целую гору! – воскликнул торговец. – Говорят тебе, дрянь ты этакая, лошадь не пила! Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает, уж я-то ее повадки знаю.»

Козетта стояла на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла:

– Пила, вволю пила.

– Врешь! – завопил торговец. – Не пила. Сейчас же дать ей воды!

Козетта залезла обратно под стол.

– Что верно, то верно, – сказала трактирщица, – если скотина не поена, ее надо напоить.

Она огляделась по сторонам:

– А где же другая скотина?

Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, почти под ногами посетителей.

– Ну-ка вылезай! – крикнула она.

Козетта выползла из своего убежища.

– Ты, щенок! Ступай напои лошадь!

– Сударыня! – робко возразила Козетта. – Воды-то ведь больше нет!

Тенардье настежь распахнула дверь на улицу:

– Беги принеси. Ну, живо!

Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага.

Ведро было больше ее самой, девочка могла свободно поместиться в нем.

Трактирщица опять подошла к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, попробовала и проворчала:

– Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело! А зря я лук-то не отцедила.

Пошарив в ящике стола, где валялись мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила:

– На, жаба, держи! На обратном пути купишь в булочной большой хлеб! Вот тебе пятнадцать су.

На Козетте был передник с боковым кармашком; она молча взяла монету и сунула ее в карман.

С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь.

– Ну, живей! – крикнула трактирщица.

Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.

## Глава четвертая.
## На сцене появляется кукла

Ряд будок, выстроившихся на открытом воздухе, начинался от церкви, как помнит читатель, и доходил до харчевни Тенардье. Будки стояли на пути богомольцев, направлявшихся на полунощную службу, поэтому они были ярко освещены свечами в бумажных воронках, что представляло «чарующее зрелище», по выражению школьного

учителя, сидевшего в это время в харчевне Тенардье. Зато ни одна звезда не светилась на небе.

Будка, находившаяся как раз против двери харчевни, торговала игрушками и вся блистала мишурой, стекляшками и великолепными изделиями из жести. В первом ряду витрины, на самом видном месте, на фоне белых салфеток, торговец поместил огромную куклу, вышиной приблизительно в два фута, наряженную в розовое креповое платье, с золотыми колосьями на голове, с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Весь день это чудо красовалось в витрине, поражая прохожих не старше десяти лет, но во всем Монфермейле не нашлось ни одной столь богатой или расточительной матери, которая купила бы эту куклу своему ребенку. Эпонина и Азельма часами любовались ею; даже Козетта, правда – украдкой, нет-нет, да и взглядывала на нее.

Даже в ту минуту, когда Козетта вышла с ведром в руке, мрачная и подавленная, она не могла удержаться, чтобы не посмотреть на дивную куклу, на эту «даму», как она называла ее. Бедное дитя замерло на месте. Козетта еще не видала этой куклы вблизи. Лавочка показалась ей дворцом, а кукла – сказочным видением. Это был восторг, великолепие, богатство, счастье, возникшее в призрачном сиянии перед маленьким жалким существом, поверженным в бездонную, черную, леденящую нужду. Козетта с присущей детям простодушной и прискорбной проницательностью измеряла пропасть, отделявшую ее от этой куклы. Она говорила себе, что надо быть королевой или по меньшей мере принцессой, чтобы играть с такою «вещью». Она любовалась чудесным розовым платьем, роскошными блестящими волосами и думала; «Какая счастливица эта кукла!» И девочка не могла отвести глаза от волшебной лавки. Чем дольше она смотрела, тем сильнее изумлялась. Ей казалось, что она видит рай. За большой куклой сидели куклы поменьше, и ей представлялось, что это феи и ангелы. Торговец, который прохаживался в глубине лавочки, казался ей чуть ли не самим богом.

Она так углубилась в благоговейное созерцание, что забыла обо всем, даже о поручении, которое должна была выполнить. Внезапно грубый голос трактирщицы вернул ее к действительности.

– Как! Ты все еще тут торчишь, бездельница? Вот я тебе задам! Скажите, пожалуйста! Чего ей тут нужно? Погоди у меня, уродина! – кричала Тенардье; выглянув в окно, она увидела застывшую в восхищении Козетту.

Схватив ведро, Козетта со всех ног помчалась за водой.

### Глава пятая.
### Малютка одна

Харчевня Тенардье находилась в той части села, где была церковь, поэтому Козетта должна была идти за водой к лесному роднику, в сторону Шеля.

Она больше не глядела ни на одну витрину. Пока она шла по улице Хлебопеков и мимо церкви, путь освещали ей огни лавчонок, но вскоре исчез и последний огонек в оконце последней палатки. Бедная девочка очутилась в темноте и потонула в ней. Ей стало страшно, поэтому она изо всех сил громыхала ведром. Этот шум разгонял ее одиночество.

Мрак становился все гуще. На улицах не было ни души. Все же ей встретилась одна женщина; поравнявшись с девочкой, она пробормотала:

– Куда это идет такая крошка? Уж не оборотень ли это?

Всмотревшись, женщина узнала Козетту:

– Гляди-ка! – сказала она. – Да это Жаворонок!

Козетта прошла лабиринт извилистых безлюдных улиц, на котором обрывается Монфермейль со стороны Шеля. Пока ее путь лежал между домами или даже заборами, она шла довольно смело. Время от времени сквозь щели ставен она видела отблеск свечи – то

были свет, жизнь, там были люди, и это успокаивало ее. Она бессознательно замедляла шаг. Завернув за угол последнего дома, Козетта остановилась. Идти дальше последней лавочки было трудно; идти дальше последнего дома становилось уже невозможным. Поставив ведро на землю, она запустила пальцы в волосы и принялась медленно почесывать голову, как это свойственно испуганным и робким детям. Монфермейль кончился, начинались поля. Темная пустынная даль расстилалась перед нею. Безнадежно глядела она в этот мрак, где уже не было людей, где хоронились звери, где бродили, быть может, привидения. Она глядела все пристальнее, и вот она услыхала шаги зверей по траве и ясно увидела привидения, шевелившиеся среди деревьев. Она схватила ведро, страх придал ей мужества. «Ну и пусть! – воскликнула она – Я ей скажу, что там нет больше воды». И она решительно повернула в Монфермейль.

Однако, сделав сотню шагов, Козетта снова остановилась и снова принялась почесывать голову. Теперь ей представилась тетка Тенардье, отвратительная, страшная, с пастью гиены и сверкающими от ярости глазами. Ребенок беспомощно огляделся по сторонам. Что делать? Куда идти? Впереди – призрак хозяйки, позади – духи тьмы и лесов. И она отступила перед хозяйкой. И вновь пустилась бежать по дороге к роднику. Из села она выбежала бегом, в лес вбежала бегом, ни на что больше не глядя, ни к чему больше не прислушиваясь. Она только тогда замедлила бег, когда начала задыхаться, но и тут не остановилась. Охваченная отчаянием, она продолжала свой путь.

Она бежала бегом, еле сдерживая рыдания.

Ее охватил ночной шум леса. Она больше ни о чем не думала, ничего не замечала. Беспредельная ночь глядела в глаза этому крошечному созданию. С одной стороны – всеобъемлющий мрак; с другой – пылинка.

От опушки леса до родника было не больше семи-восьми минут ходьбы. Дорогу Козетта знала – она ходила по ней несколько раз в день. Странное дело: она не заблудилась! Остаток инстинкта незаметно руководил ею. Впрочем, она не смотрела ни направо, ни налево, боясь увидать что-нибудь страшное в ветвях деревьев или в кустарнике. Так она дошла до родника.

Это было узкое естественное углубление, размытое водой в глинистой почве, около двух футов глубиной, окруженное мхом и высокими гофрированными травами, которые называют «воротничками Генриха IV», выложенное большими камнями. Из него с тихим журчанием вытекал ручеек.

Козетта даже не передохнула. Было очень темно, но она привыкла ходить за водой к роднику. Нащупав в темноте левой рукой молодой дубок, наклонившийся над ручьем и служивший ей обычно точкой опоры, она отыскала ветку, ухватилась за нее, нагнулась и погрузила ведро в воду. Она была так возбуждена, что силы ее утроились. Нагибаясь над ручьем, она не заметила, как из кармашка ее фартука выскользнула монета и упала в воду. Козетта не видела и не слышала ее падения. Она вытащила почти полное ведро и поставила на траву.

Тут она почувствовала, что изнемогает от усталости. Ей очень хотелось вернуться обратно, но наполнить ведро стоило ей таких усилий, что она больше не могла сделать ни шагу. Волей-неволей надо было отдохнуть. Она присела на корточки и замерла.

Козетта закрыла глаза, потом опять открыла; она не понимала, для чего она это делает, но не открыть и не закрыть глаз она не могла. Рядом с нею в ведре колыхалась вода, разбегаясь кругами, похожими на жестяных змеек.

Небо над ее головой было затянуто тяжелыми темными тучами, напоминавшими полотнища дыма. Трагическая маска ночи, казалось, смутно нависла над ребенком.

Юпитер склонялся к закату в бездонных глубинах неба. Девочка глядела растерянным взглядом на эту огромную неведомую ей звезду, и звезда пугала ее. Планета действительно в эту минуту стояла низко над горизонтом, прорезая густой слой тумана, придававшего ей

страшный багровый оттенок. Зловещий красный туман увеличивал размеры светила. Казалось, то была пламенеющая рана.

С равнины дул холодный ветер. Мрачен был лес, не шелестели листья и не брезжил тот неуловимый и живой отблеск, который присущ лету. Угрожающе торчали огромные сучья. Чахлый, уродливый кустарник шуршал в прогалинах. Высокие травы извивались под северным ветром, словно угри. Ветки терновника вытягивались, как вооруженные когтями длинные руки, старающиеся схватить добычу. Вырванный сухой вереск, гонимый ветром, пролетал мимо, словно в ужасе спасаясь от чего-то. Вокруг расстилались унылые дали.

От темноты кружится голова. Человеку необходим свет. Кто углубляется в мрак, тот чувствует, как у него замирает сердце. Когда перед глазами тьма, затемняется и сознание. В ночи, в непроницаемой мгле даже для самого мужественного человека таится что-то жуткое. Никто ночью не проходит один по лесу без страха. Тени и деревья – два опасных сгустка темноты. В неясной глуби возникает призрачная действительность. Непостижимое намечается в нескольких шагах от вас с отчетливостью привидения. Видишь, как в пространстве – или в мозгу – проплывает нечто смутное и неуловимое, словно мечты задремавших цветов. На горизонте возникают какие-то страшные очертания. Вдыхаешь испарения огромной черной пустоты. И боязно и хочется оглянуться. Провалы в ночи, какие-то тени, вселяющие ужас, безмолвные фигуры, которые рассеиваются при вашем приближении, купы качающихся деревьев, свинцовые лужи – отражение скорби во мраке, могильная глубина безмолвия, присутствие всевозможных неведомых существ, таинственное колыхание ветвей, жуткие стволы деревьев, длинные пряди шелестящей травы, – перед всем этим чувствуешь себя беззащитным. Нет такого отважного сердца, которое не дрогнуло бы, не почувствовало тревоги. Испытываешь отвратительное ощущение, словно душа сливается с тьмой. Это растворение во мраке невыразимо страшно для ребенка.

Леса – обители тайны и ужаса, трепет крыл младенческой души подобен предсмертному вздоху под их чудовищным сводом.

Не разбираясь в своих ощущениях, Козетта чувствовала, как ее обволакивает безмерный мрак природы. Ее охватил даже не ужас, а нечто более страшное, чем ужас. Она вся дрожала. Слова бессильны передать то необычайное, что таила в себе эта дрожь и от чего замирало ее сердце. В глазах у нее появилось что-то дикое. Ей стало казаться, что она не сможет противостоять желанию снова прийти сюда завтра, в тот же час.

Тогда, как бы инстинктивно, чтобы освободиться от этого странного состояния, которого она не понимала, но которое пугало ее, она принялась считать вслух: «Раз, два, три, четыре», и так до десяти, а затем опять сначала. Это вернуло ее к правильному восприятию действительности. Она почувствовала, как закоченели ее руки, которые она замочила, черпая воду. Она встала. Страх вновь охватил ее, страх естественный и непреодолимый. Одна лишь мысль владела ею – бежать, бежать без оглядки, через лес, через поля, к домам, к окнам, к зажженным свечам. Ее взгляд упал на ведро, стоявшее перед нею. И так сильна была ее боязнь хозяйки, что она не осмелилась убежать без ведра. Она ухватилась обеими руками за дужку ведра и с трудом приподняла его.

Так сделала она шагов двенадцать, но полное ведро было тяжелое, и она принуждена была опять поставить его на землю. Переведя дух, она снова ухватилась за ведерную дужку. На этот раз она прошла дольше, но скоро ей пришлось опять остановиться. Отдохнув несколько секунд, она продолжала путь. Козетта шла согнувшись, понурив голову, словно старуха; тяжелое ведро оттягивало и напрягало ее худенькие ручонки; железная дужка ведра леденила онемевшие пальцы; время от времени Козетта останавливалась, и каждый раз холодная вода, выплескиваясь из ведра, обливала ее голые ножки. Это происходило в лесу, зимней ночью, вдали от человеческого взора; девочке было восемь лет. Один лишь бог взирал на это душераздирающее зрелище.

Увы! Видела это, конечно, и ее мать!

В мире происходят вещи, которые заставляют усопших пробуждаться в могилах.

Козетта дышала с каким-то болезненным хрипом, рыдания давили ей горло, но плакать она не смела – так боялась она хозяйки даже вдали от нее. Она привыкла всегда и везде представлять ее рядом с собою.

Идя очень медленно, она почти не продвигалась вперед. Напрасно старалась она сокращать время стоянок и проходить как можно больше от одной до другой. С мучительной тревогой думала она о том, что ей потребуется больше часу, чтобы вернуться В Монфермейль, и что Тенардье опять прибьет ее. Тревога примешивалась к ее ужасу перед тем, что она одна в лесу в ночную пору. Дойдя до знакомого старого каштана, она остановилась передохнуть в последний раз, на более длительный срок, а затем, собрав остаток сил, мужественно двинулась в путь. И все же бедная малютка не могла удержаться, чтобы не простонать в отчаянии: «Боже мой, боже мой!»

В это мгновение она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то рука, показавшаяся ей огромной, схватила дужку ведра и легко приподняла его. Она вскинула голову. Высокая черная прямая фигура шагала рядом с ней в темноте. Это был мужчина, неслышно догнавший ее. Человек молча взялся за дужку ведра, которое она несла.

Во всех случаях жизни человек слышит предупреждающий голос инстинкта.

Ребенок не испугался.

## Глава шестая,
## которая, пожалуй доказывает сообразительность башки

После полудня того же самого рождественского сочельника 1823 года какой-то человек довольно долго прохаживался по самой пустынной части Госпитального бульвара в Париже. Казалось, он подыскивал себе квартиру и, видимо, предпочитав самые скромные дома этой пришедшей в упадок окраины предместья Сен-Марсо.

В дальнейшем мы узнаем, что этот человек действительно снял комнату в этом уединенном квартале.

Как своей одеждой, так и всем своим обликом он воплощал тот тип, который можно назвать типом благородного нищего. Крайняя нужда соединялась у него с крайней опрятностью – довольно редкое сочетание, внушающее чутким сердцам двойное уважение к тому, кто так беден и так полон достоинства. На нем была круглая шляпа, очень старая и тщательно вычищенная, протертый до ниток редингот из грубого темно-желтого сукна, – в те времена этот цвет не казался странным, – закрытый старомодный жилет с карманами, черные панталоны, посеревшие на коленях, черные шерстяные чулки и грубые башмаки с медными пряжками. Он был похож на возвратившегося из эмиграции бывшего гувернера в аристократическом доме. По его совершенно седым волосам, прорезанному морщинами лбу, бледным губам, по его скорбному, усталому лицу, свидетельствовавшему о пережитых страданиях, можно было предположить, что ему гораздо больше шестидесяти лет. Но судя по его уверенной, хотя и медленной походке, по удивительной силе, чувствовавшейся во всех движениях, ему нельзя было дать и пятидесяти. Морщины на его лбу были такого благородного рисунка, что расположили бы в его пользу всякого, кто внимательно пригляделся бы к нему. Его сомкнутые губы хранили странное выражение не то суровости, не то смирения. В глубине его взгляда таилось какое-то скорбное спокойствие. В левой руке он что-то нес в носовом платке, правой опирался на палку, видимо выдернутую из плетня. Палка была довольно тщательно остругана и не казалась слишком грубой; сучки были обрублены, набалдашник сделан из красного сургуча – под коралл. Это была дубинка, но казалась она тростью.

Госпитальный бульвар довольно безлюден, особенно зимой. Человек без всякого, впрочем, желания подчеркнуть это, казалось, скорее избегал людей, чем искал встречи с ними.

В те времена король Людовик XVIII почти ежедневно ездил в Шуази-ле-Руа. Это была одна из его излюбленных прогулок. Около двух часов дня почти всегда можно было видеть королевский экипаж и свиту, мчавшиеся во весь опор мимо Госпитального бульвара. Беднякам квартала их появление заменяло и карманные часы и стенные. Они говорили: «Уже два часа – вон король возвращается в Тюильри».

И одни выбегали навстречу, другие сторонились, – проезд короля всегда вызывает суматоху. Впрочем, появление и исчезновение Людовика XVIII на улицах Парижа производило впечатление. Оно было мимолетно, но величественно. Этот увечный король любил быструю езду; он был не в силах ходить, и ему хотелось мчаться; этот хромой человек охотно взнуздал бы молнию. Спокойный и суровый, он проезжал среди обнаженных сабель охраны. Тяжелая вызолоченная карета, на дверцах которой были нарисованы большие стебли лилий, катилась с грохотом. Люди мельком успевали заглянуть в нее. В глубине, в правом углу, на подушках, обитых белым шелком, виднелось широкое, здоровое, румяное лицо, свеженапудренные волосы со взбитым хохолком, надменный, жесткий и хитрый взгляд, тонкая улыбка, два густых эполета с золотой бахромой, свисавшей на штатское платье, орден Золотого руна, крест св. Людовика, крест Почетного легиона, серебряная звезда ордена Святого Духа, огромный живот и широкая голубая орденская лента: это был король. За чертой города он держал шляпу с белым плюмажем на коленях, обтянутых высокими английскими гетрами; въезжая в город, он надевал ее и редко отвечал на приветствия. Он холодно глядел на народ, отвечавший ему тем же. Когда король в первый раз появился в квартале Сен-Марсо, то успех, который он там имел, выразился в словах одного мастерового, обращенных к товарищу: «Вот этот толстяк и есть правительство».

Появление короля в один и тот же час было, таким образом, ежедневным событием на Госпитальном бульваре.

Прохожий в желтом рединготе не принадлежал, очевидно, к числу жителей квартала и, вероятно, не был даже жителем Парижа, ибо не знал этой подробности. Когда в два часа королевская карета, окруженная эскадроном гвардейцев в серебряных галунах, выехала к бульвару, обогнув Сальпетриер, он, казалось, был изумлен и даже испуган. Кроме него, на боковой аллее никого не было, и он отступил за угол ограды, что не помешало герцогу д'Авре его заметить. В этот день герцог д'Авре, как начальник личной охраны, сидел в карете против короля. Он оказал его величеству: «Подозрительная личность!» Полицейские, зорко следившие за проездом короля, также заметили его, и одному из них дан был приказ проследить за прохожим. Но человек углубился в пустынные улицы предместья, и, так как уже начинало смеркаться, то полицейский потерял его из виду, о чем и было донесено в тот же вечер в рапорте на имя министра внутренних дел и префекта полиции графа Англеса.

Сбив полицейского со следа, человек в желтом рединготе ускорил шаги, но он не раз еще оглянулся, желая убедиться, что за ним никто не идет. В четверть пятого, то есть когда уже совсем стемнело, он проходил мимо театра Порт-Сен Мартен, где в этот день давали пьесу Два каторжника. Афиша, освещенная театральными фонарями, видимо поразила его; он опешил, но тут остановился, чтобы прочитать ее. Немного погодя он уже был в Дровяном тупике и входил в гостиницу «Оловянное блюдо», где в ту пору помещалась контора дилижансов, отправлявшихся в Ланьи. Дилижанс отъезжал в половине пятого. Лошади были уже впряжены, и пассажиры, окликаемые кучером, поспешно взбирались по высокой железной лесенке старого рыдвана. Пешеход спросил:

– Есть свободное место?

– Только одно, рядом со мной, на козлах, – ответил кучер.

– Я беру его.

– Садитесь.

Но, прежде чем отъехать, кучер оглядел скромную одежду пассажира, его легкий багаж и потребовал платы вперед.

– Вы едете до Ланьи? – спросил кучер.

– Да, – ответил тот.

Он уплатил за проезд до Ланьи.

Тронулись в путь. Миновав заставу, кучер попытался было завязать разговор, но пассажир отвечал односложно. Кучер принялся насвистывать и понукать лошадей.

Он закутался в плащ. Было холодно. Пассажир, казалось, не замечал ничего. Проехали Гурне и Нельи-на-Марне.

Около шести часов вечера подъехали к Шелю Перед трактиром, помещавшимся в старом здании королевского аббатства, кучер остановился, чтобы дать отдых лошадям.

– Я сойду здесь, – сказал пассажир.

Он взял свой узелок и палку и соскочил с дилижанса.

Минуту спустя он исчез из виду.

В трактир он не вошел.

Когда через некоторое время дилижанс снова двинулся по направлению к Ланьи, то не встретил этого человека на главной улице Шеля.

Кучер обернулся к пассажирам, сидевшим внутри дилижанса.

– Этот человек не здешний, я его не знаю, – сказал он. – У него такой вид, точно он без гроша в кардане, а между тем не скаредничает: заплатил до Ланьи, а доехал только до Шеля. Уже ночь, все двери заперты, в харчевню он не вошел, но его нигде не видно. Не иначе, как сквозь землю провалился.

Но человек не провалился сквозь землю, – он бодро шагал в темноте по главной улице Шеля, потом, не доходя до церкви, свернул влево, на проселочную дорогу, ведущую в Монфермейль, – можно было подумать, что он прекрасно знает его окрестности и уже не раз бывал здесь.

Он быстрым шагом пошел по этой дороге. В том месте, где ее пересекает старое, обсаженное деревьями шоссе из Ганьи в Ланьи, он услыхал шаги Укрывшись во рву, он выждал, пока люди прошли мимо. Эта предосторожность была, пожалуй, излишней, ибо, как мы уже сказали, стояла темная декабрьская ночь. Две-три звездочки сияли на небе.

В этом месте начинается подъем на холм. Но путник не пошел по дороге в Монфермейль. Он взял правее и полями скоро дошел до леса.

В лесу он замедлил шаг и стал присматриваться к каждому дереву, словно искал что-то и держался таинственной, ему одному известной дороги. Вдруг ему показалось, что он сбился с пути, и он в нерешительности остановился. Наконец ощупью добрался до прогалины, где лежала груда больших белевших в темноте камней. Подойдя к ним, он окинул их зорким взглядом сквозь ночной туман, точно делал им смотр. Большое дерево, покрытое наростами, являющимися признаком старости, высилось в нескольких шагах от груды камней. Путник направился к дереву и провел рукой по стволу, словно хотел нащупать и пересчитать все наросты на его коре.

Против дерева – это был ясень – рос каштан, болевший отпадением коры. Взамен повязки к нему была прибита цинковая пластинка. Человек приподнялся на цыпочки и дотронулся до нее.

Он потоптался на месте, словно желая убедиться, что земля между деревом и грудой камней не была свежевзрыта.

Потом осмотрелся и пошел лесом.

Это и был тот человек, который встретился с Козеттой.

Пробираясь сквозь кусты по направлению к Монфермейлю, он заметил маленькую движущуюся тень, которая то ставила свою ношу на землю, то с жалобным стоном подымала ее и брела дальше. Он подошел ближе и увидел, что это была маленькая девочка, еле тащившая огромное ведро с водой. Он мгновенно очутился возле нее и молча взялся за дужку ведра.

## Глава седьмая.
## Козетта в темноте, бок о бок с незнакомцем

Козетта, как мы уже сказали, не испугалась.

Человек заговорил с ней. Голос его был тих и серьезен.

– Дитя мое! Твоя ноша слишком тяжела для тебя.

Козетта подняла голову и ответила:

– Да, сударь.

– Дай, я понесу, – сказал он.

Козетта выпустила дужку ведра. Человек пошел рядом с ней.

– Это действительно очень тяжело, – пробормотал он и спросил: – Сколько тебе лет, малютка?

– Восемь лет, сударь.

– И ты идешь издалека?

– От ручья, который в лесу.

– А далеко тебе еще идти?

– Добрых четверть часа.

Путник помолчал немного, потом вдруг спросил:

– Значит, у тебя нет матери?

– Я не знаю, – ответила девочка и, прежде чем он успел снова заговорить, добавила: – Думаю, что нет. У других есть. А у меня нет. Наверно, никогда и не было, – помолчав, сказала она.

Человек остановился. Он поставил ведро на землю, наклонился и положил обе руки на плечи девочки, стараясь в темноте разглядеть ее лицо.

Худенькое, жалкое личико Козетты смутно проступало в белесовато-сером свете.

– Как тебя зовут?

– Козетта.

Прохожий вздрогнул, словно от электрического тока. Он снова взглянул на нее, затем снял руки с плеч Козетты, схватил ведро и зашагал.

Спустя мгновение он опросил:

– Где ты живешь, малютка?

– В Монфермейле, – может, вы знаете, где это?

– Мы идем туда?

– Да, сударь.

Немного погодя он снова спросил:

– Кто же это послал тебя в такой поздний час за водой в лес?

– Госпожа Тенардье.

– А чем эта твоя госпожа Тенардье занимается? – спросил незнакомец; он старался говорить равнодушным тоном, но голос у него как-то странно дрожал.

– Она моя хозяйка, – ответила девочка – Она содержит постоялый двор.

– Постоялый двор? – переспросил путник – Хорошо, там я и переночую сегодня. Проводи-ка меня.

– А ведь мы туда идем, – ответила девочка.

Человек шел довольно быстро. Козетта легко поспевала за ним. Она больше не чувствовала усталости. Время от времени она посматривала на него с каким-то удивительным спокойствием, с каким-то невыразимым доверием. Ее никто никогда не учил молиться богу. Однако она испытывала нечто похожее на радость и надежду, устремленную к небесам.

Прошло несколько минут. Незнакомец заговорил снова:

– Разве у госпожи Тенардье нет служанки?

– Нет, сударь.

– Разве ты у нее одна?

– Да, сударь.

Снова наступило молчание. Потом Козетта сказала:

– Правда, у нее есть еще две маленькие девочки.

– Какие маленькие девочки?

– Понина и Зельма.

Так упрощала Козетта романтические имена, столь любезные сердцу трактирщицы.

– Кто же они, эти Понина и Зельма?

– Это барышни госпожи Тенардье. Ну, просто ее дочери.

– А что же они делают?

– О! – воскликнула Козетта – У них красивые куклы, разные блестящие вещи, у них много всяких дел. Они играют, забавляются.

– Целый день?

– Да, сударь.

– А ты?

– А я работаю.

– Целый день?

Девочка подняла свои большие глаза, в которых угадывались слезы, скрытые ночным мраком, и кротко ответила:

– Да, сударь.

Помолчав, Козетта добавила:

– Иногда, когда я кончу работу и когда мне позволят, я тоже могу поиграть.

– Как же ты играешь?

– Как могу. Мне не мешают. Но у меня мало игрушек. Понина и Зельма не хотят, чтобы я играла в их куклы. У меня есть только оловянная сабелька, вот такая.

Девочка показала мизинчик.

– Ею ничего нельзя резать?

– Можно, сударь, – ответила девочка, – например, салат и головы мухам.

Они дошли до села; Козетта повела незнакомца по улицам. Они прошли мимо булочной, но Козетта не вспомнила о хлебе, который должна была принести. Человек перестал расспрашивать ее – теперь он хранил мрачное молчание. Когда они миновали церковь, незнакомец, видя все эти разбитые под открытым небом лавчонки, спросил:

– Тут что же, ярмарка?

– Нет, сударь, это Рождество.

Когда они подходили к постоялому двору, Козетта робко дотронулась до его руки.

– Сударь!

– Да, дитя мое?

– Вот мы уже совсем близко от дома.

– И что же?

– Можно мне теперь взять у вас ведро?

– Зачем?

– Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет.

Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они были у дверей харчевни.

## Глава восьмая.

## О том, как неприятно впускать в дом бедняка, который может оказаться богачом

Козетта не могла удержаться, чтобы украдкой не взглянуть на большую куклу, все еще красовавшуюся в витрине игрушечной лавки, затем постучала в дверь. На пороге показалась трактирщица со свечой в руке.

– А, это ты, бродяжка! Наконец-то! Куда это ты запропастилась? По сторонам глазела, срамница!

– Сударыня! – задрожав, сказала Козетта. – Этот господин хочет переночевать у нас.

Угрюмое выражение на лице тетки Тенардье быстро сменилось любезной гримасой, – это мгновенное превращение свойственно кабатчикам. Она жадно всматривалась в темноту, чтобы разглядеть вновь прибывшего.

– Это вы, сударь?

– Да, сударыня, – ответил человек, дотронувшись рукой до шляпы.

Богатые путешественники не бывают столь вежливы. Этот жест, а также беглый осмотр одежды н багажа путешественника, который произвела хозяйка, заставили исчезнуть ее любезную гримасу, сменившуюся прежним угрюмым выражением.

– Входите, милейший, – сухо сказала г-жа Тенардье.

«Милейший» вошел. Тенардье вторично окинула его взглядом, уделив особое внимание его изрядно потертому сюртуку и слегка помятой шляпе, потом, кивнув в его сторону головой, сморщила нос и, подмигнув, вопросительно взглянула на мужа, продолжавшего бражничать с возчиками. Супруг ответил незаметным движением указательного пальца, одновременно оттопырив губы, что в таких случаях означало у него: «Голь перекатная».

– Ах, любезный! – воскликнула трактирщица. – Мне очень жаль, но у меня нет ни одной свободной комнаты.

– Поместите меня, куда вам будет угодно – на чердак, в конюшню. Я заплачу, как за отдельную комнату, – сказал путник.

– Сорок су.

– Сорок су? Ну что ж!

– Ладно!

– Сорок су! – шепнул один из возчиков кабатчице. – Да ведь комната стоит всего-навсего двадцать!

– А ему она будет стоить сорок, – ответила она тоже шепотом. – Дешевле я с бедняков не беру.

– Правильно, – кротко заметил ее муж, – пускать к себе такой народ – только портить добрую славу заведения.

Тем временем человек, положив на скамью узелок и палку, присел к столу, на который Козетта поспешила поставить бутылку вина и стакан. Торговец, потребовавший ведро воды

для своей лошади, отправился поить ее. Козетта опять уселась на свое обычное место под кухонным столом и взялась за вязание.

Человек налил себе вина и, едва пригубив, с каким-то особым вниманием стал разглядывать ребенка.

Козетта была некрасива. Возможно, будь она счастливым ребенком, она была бы миловидна. Мы уже бегло набросали этот маленький печальный образ. Козетта была худенькая, бледная девочка, на вид лет шести, хотя ей шел восьмой год. Ее большие глаза, окруженные синевой, казались почти тусклыми от постоянных слез. Уголки рта были опущены с тем выражением привычного страданья, которое бывает у приговоренных к смерти и у безнадежно больных. Руки ее, как предугадала мать, «потрескались от мороза». При свете, падавшем на Козетту и подчеркивавшем ее ужасающую худобу, отчетливо были видны ее торчащие кости. Ее постоянно знобило, и от этого у нее образовалась привычка плотно сдвигать колени. Ее одежда представляла собой лохмотья, которые летом возбуждали сострадание, а зимой внушали ужас. Ее прикрывала дырявая холстина; ни лоскутка шерсти! Там и сям просвечивало голое тело, на котором можно было разглядеть синие или черные пятна-следы прикосновения хозяйской длани. Тонкие ножки покраснели от холода. В глубоких впадинах над ключицами было что-то до слез трогательное. Весь облик этого ребенка, его походка, его движения, звук его голоса, прерывистая речь, его взгляд, его молчание, малейший жест-все выражало и обличало одно: страх.

Козетта была вся проникнута страхом, он как бы окутывал ее. Страх вынуждал ее прижимать к груди локти, прятать под юбку ноги, стараться занимать как можно меньше места, еле дышать; страх сделался, если можно так выразиться, привычкой ее тела, способной лишь усиливаться. В глубине ее зрачков таился ужас.

Этот страх был так велик, что, хотя Козетта вернулась домой совершенно мокрая, она не посмела приблизиться к очагу, чтобы обсушиться, а тихонько принялась за работу.

Взгляд восьмилетнего ребенка был всегда так печален, а порой так мрачен, что в иные минуты казалось, что она недалека от слабоумия или от помешательства.

Мы уже упоминали, что она не знала, что такое молитва, никогда не переступала церковного порога. «Разве у меня есть для этого время?» – говорила ее хозяйка.

Человек в желтом рединготе не спускал глаз с Козетты.

Вдруг трактирщица воскликнула:

– Постой! А хлеб где?

Стоило хозяйке повысить голос, и Козетта, как всегда, быстро вылезла из-под стола.

Она совершенно забыла о хлебе. Она прибегла к обычной уловке запуганных детей. Она солгала.

– Сударыя! Булочная была уже заперта.

– Надо было постучаться.

– Я стучалась, сударыня.

– Ну и что же?

– Мне не отперли.

– Завтра я проверю, правду ли ты говоришь, – сказала Тенардье, – и если соврала, то ты у меня запляшешь. А покамест дай сюда пятнадцать су.

Козетта сунула руку в карман фартука и помертвела. Монетки там не было.

– Ну! – крикнула трактирщица. – Оглохла ты, что ли?

Козетта вывернула карман. Пусто. Куда могла деться денежка? Несчастная малютка не находила слов. Она окаменела.

– Ты, значит, потеряла деньги, потеряла целых пятнадцать су? – прохрипела Тенардье. – А может, ты вздумала их украсть?

С этими словами она протянула руку к плетке, висевшей на гвозде возле очага.

Это грозное движение вернуло Козетте силы.

– Простите! Простите! Я больше не буду! – закричала она.

Тенардье сняла плеть.

В это время человек в желтом рединготе, незаметно для окружающих, пошарил в жилетном кармане. Впрочем, остальные посетители пили, играли в кости и ни на что не обращали внимания.

Козетта в смертельном страхе забилась в угол за очагом, стараясь сжаться в комочек и как-нибудь спрятать свое жалкое полуобнаженное тельце. Трактирщица занесла руку.

– Виноват, сударыня, – вмешался неизвестный, – я только что видел, как что-то упало из кармана этой малютки и покатилось по полу. Не эти ли деньги?

Он наклонился, делая вид, будто что-то ищет на полу.

– Так и есть, вот она, – сказал он, выпрямляясь, и протянул тетке Тенардье серебряную монетку.

– Она самая! – воскликнула тетка Тенардье. Отнюдь не «она самая», а монета в двадцать су, но для трактирщицы это было выгодно. Она положила деньги в карман и удовольствовалась тем, что, злобно взглянув на ребенка, сказала: «Чтоб это было в последний раз!»

Козетта опять забралась в свою «нору», как называла это место тетка Тенардье, и ее большие глаза, устремленные на незнакомца, мало-помалу приобретали совершенно несвойственное им выражение. Пока это было лишь наивное удивление, но к нему примешивалась уже какая-то безотчетная доверчивость.

– Ну как, будете ужинать? – спросила трактирщица у приезжего.

Он ничего не ответил. Казалось, он глубоко задумался.

– Кто он, этот человек? – процедила она сквозь зубы – Уверена, что за ужин ему заплатить нечем. Хоть бы за ночлег расплатился. Все-таки мне повезло, что ему не пришло в голову красть деньги, валявшиеся на полу.

Тут дверь отворилась, и вошли Эпонина и Азельма.

Это были две хорошенькие девочки, скорее горожаночки, чем крестьяночки, премиленькие, одна – с блестящими каштановыми косами, другая – с длинными черными косами, спускавшимися по спине. Оживленные, чистенькие, полненькие, свежие и здоровые, они радовали глаз. Девочки были тепло одеты, но благодаря материнскому искусству плотность материи нисколько не умаляла кокетливости их туалета. Одежда приноровлена была к зиме, не теряя вместе с тем изящества весеннего наряда. Эти две малютки излучали свет. Кроме того, они были здесь повелительницами. В их одежде, в их веселости, в том шуме, который они производили, чувствовалось сознание своей верховной власти. Когда они вошли, трактирщица сказала ворчливо, но с обожанием:

– А, вот, наконец, и вы пожаловали!

Притянув поочередно каждую к себе на колени, мать пригладила им волосы, поправила ленты и, потрепав с материнской нежностью, отпустила.

– Хороши, ничего не скажешь! – воскликнула она.

Девочки уселись в углу, возле очага. Они принялись тормошить куклу, укладывали ее то у одной, то у другой на коленях и весело щебетали. Время от времени Козетта поднимала глаза от вязанья и печально глядела на них.

Эпонина и Азельма не замечали Козетту. Она была для них чем-то вроде собачонки. Этим трем девочкам вместе не было и двадцати четырех лет, но они уже олицетворяли собой человеческое общество: с одной стороны – зависть, с другой – пренебрежение.

Кукла у сестер Тенардье была полинявшая, старая, поломанная, но Козетте она казалась восхитительной – ведь у нее за всю жизнь не было куклы, настоящей куклы, – это выражение понятно всем детям.

Вдруг тетка Тенардье, продолжавшая ходить взад и вперед по комнате, заметила, что Козетта отвлекается и, вместо того чтобы работать, глядит на играющих детей.

– А вот я тебя и поймала! – крикнула она. – Так-то ты работаешь? Погоди, вот возьму плетку, она тебя заставит работать!

Незнакомец, не вставая со стула, повернулся к трактирщице.

– Сударыня! – улыбаясь почти робко, промолвил он. – Ну что уж там, пусть поиграет!

Со стороны любого посетителя, съевшего кусок жаркого, выпившего за ужином две бутылки вина и не производящего впечатления оборванца, подобное желание равносильно было бы приказу. Но чтобы человек, обладающий такой шляпой, позволил себе высказать какое бы то ни было пожелание, чтобы человек, у которого был такой редингот, смел выражать свою волю, – этого трактирщица допустить не могла.

– Раз девчонка ест мой хлеб, она должна работать, – резко сказала она. – Я кормлю ее не для того, чтобы она бездельничала.

– Что же это она делает? – спросил незнакомец мягким тоном, какого трудно было ожидать от человека, одетого, словно нищий, с плечами, широкими, словно у носильщика.

Трактирщица снизошла до того, что ответила ему:

– Чулки вяжет, если вам угодно знать. Чулочки для моих дочурок. Старые все, можно сказать, износились. Скоро мои дочки останутся босые.

Человек взглянул на жалкие, красные ножки Козетты и продолжал:

– Когда же она окончит эту пару?

– Она будет над ней корпеть по крайней мере дня три, а то и четыре. Этакая лентяйка!

– Сколько могут стоить эти чулки, когда они будут готовы?

Трактирщица окинула его презрительным взглядом.

– Не меньше тридцати су.

– А вы бы уступили их за пять франков? – снова спросил человек.

– Черт возьми! – засмеявшись грубым смехом, вскричал возчик, слышавший этот разговор. – Пять франков? Тьфу ты пропасть! Я думаю! Целых пять монет!

Тут Тенардье решил, что пора ему вмешаться в разговор.

– Хорошо, сударь, ежели такова ваша прихоть, то вам отдадут эту пару чулок за пять франков. Мы ни в чем не отказываем путешественникам.

– Но денежки на стол! – резко и решительно заявила его супруга.

– Я покупаю эти чулки, – ответил незнакомец и, вынув из кармана пятифранковую монету и протянув ее кабатчице, добавил: – И плачу за них.

Потом он повернулся к Козетте!

– Теперь твоя работа принадлежит мне. Играй, дитя мое.

Возчик был так потрясен видом пятифранковой монеты, что бросил пить вино и подбежал взглянуть на нее.

– И вправду, гляди-ка! – воскликнул он. – Настоящий пятифранковик! Не фальшивый!

Тенардье подошел и молча положил деньги в жилетный карман.

Супруге возразить было нечего. Она кусала себе губы, лицо ее исказилось злобой.

Козетта вся дрожала. Она отважилась, однако, спросить:

– Сударыня! Это правда? Я могу поиграть?

– Играй! – в бешенстве крикнула тетка Тенардье.

– Спасибо, сударыня, – молвила Козетта.

Уста ее благодарили хозяйку, а ее маленькая душа возносила благодарность незнакомцу.

Тенардье снова уселся пить. Жена прошептала ему на ухо:

– Кто он, этот желтый человек?

– Мне приходилось встречать миллионеров, которые носили такие же рединготы, – с величественным видом ответил Тенардье.

Козетта перестала вязать, но не покинула своего места. Она всегда старалась двигаться как можно меньше. Она вытащила из коробки, стоявшей позади, какие-то старые лоскутики и свою оловянную сабельку.

Эпонина и Азельма не обращали никакого внимания на происходившее вокруг. Они только что успешно завершили ответственную операцию – завладели котенком. Бросив на пол куклу, Эпонина, которая была постарше, пеленала котенка в голубые и красные лоскутья, невзирая на его мяуканье н судорожные движения. Поглощенная этой важной и трудной работой, она болтала с сестрой на том нежном, очаровательном детском языке, обаяние которого, как и великолепие крыльев бабочки, исчезает, как только ты попытаешься запечатлеть его.

– Знаешь, сестричка, вот эта кукла смешнее той. Смотри, она шевелится, пищит, она тепленькая. Знаешь, сестричка, давай с ней играть. Она будет моей дочкой. Я буду мама. Я приду к тебе в гости, а ты на нее посмотришь. Потом ты увидишь ее усики и удивишься. А потом увидишь ее ушки, а потом хвостик, и ты очень удивишься. И ты мне скажешь; «Боже мой!» А я тебе скажу: «Да, сударыня, это у меня такая маленькая дочка. Теперь все маленькие дочки такие».

Азельма с восхищением слушала Эпонину.

Между тем пьяницы затянули непристойную песню и так громко хохотали при этом, что дрожали стены. А Тенардье подзадоривал их и вторил им.

Как птицы из всего строят гнезда, так дети из всего мастерят себе куклу. Пока Азельма и Эпонина пеленали котенка, Козетта пеленала саблю. Потом она взяла ее на руки и, тихо напевая, стала ее убаюкивать.

Кукла – одна из самых настоятельных потребностей и вместе с тем воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов у девочек. Лелеять, наряжать, украшать, одевать, раздевать, переодевать, учить, слегка журить, баюкать, ласкать, укачивать, воображать, что нечто есть некто, – в этом все будущее женщины. Мечтая и болтая, готовя игрушечное приданое и маленькие пеленки, нашивая платьица, лифчики и крошечные кофточки, дитя превращается в девочку, девочка – в девушку, девушка – в женщину. Первый ребенок – последняя кукла.

Маленькая девочка без куклы почти так же несчастна и точно так же немыслима, как женщина без детей.

Козетта сделала себе куклу из сабли.

Тетка Тенардье подошла к «желтому человеку». «Мой муж прав, – решила она, – может быть, это сам господин Лафит. Бывают ведь на свете богатые самодуры!»

Она облокотилась на стол.

– Сударь… – сказала она.

При слове «сударь» незнакомец обернулся. Трактирщица до сих пор называла его или «милейший», или «любезный».

– Видите ли, сударь, – продолжала она (ее слащавая вежливость была еще неприятней ее грубости), – мне очень хочется, чтобы этот ребенок играл, я ничего не имею против, если вы так великодушны, но это хорошо один раз. Видите ли, ведь у нее никого нет. Она должна работать.

– Значит, это не ваш ребенок? – спросил незнакомец.

– Что вы, сударь! Это нищенка, которую мы приютили из милости. Она вроде как дурочка. У нее, должно быть, водянка в голове. Видите, какая у нее большая голова. Мы делаем для нее все, что можем, но мы сами небогаты. Вот уж полгода, как мы пишем к ней на родину, а нам не отвечают ни слова. Ее мать, надо думать, умерла.

– Вот как! – проговорил незнакомец и снова задумался.

– Хороша же была эта мать! – добавила трактирщица. – Бросила родное дитя!

В продолжение этой беседы Козетта, словно ей подсказал инстинкт, что речь шла о ней, не сводила глаз с хозяйки. Но слушала она рассеянно, до нее долетали лишь обрывки фраз.

Между тем гуляки, почти все захмелевшие, с удвоенным азартом повторяли гнусный припев. То была крайняя непристойность, куда были приплетены Пресвятая дева и младенец Иисус. Трактирщица направилась к ним, чтобы принять участие в общем веселье. Козетта, сидя под столом, глядела на огонь, отражавшийся в ее неподвижных глазах; она опять принялась укачивать подобие младенца в пеленках, которое она соорудила себе, и, укачивая, тихо напевала: «Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!.. Моя мать умерла!»

Уступая настояниям хозяйки, «желтый человек», «миллионер», согласился, наконец, поужинать.

– Что прикажете вам подать, сударь?

– Хлеба и сыру, – ответил он.

«Наверно, нищий», – решила тетка Тенардье.

Пьяницы продолжали петь свою песню, а ребенок под столом продолжал петь свою.

Вдруг Козетта умолкла: обернувшись, она заметила куклу, которую девочки Тенардье позабыли, занявшись котенком, и бросили в нескольких шагах от кухонного стола.

Она выпустила из рук запеленутую саблю, которая не могла удовлетворить ее вполне, затем медленно обвела глазами комнату. Тетка Тенардье шепталась с мужем и пересчитывала деньги; Эпонина и Азельма играли с котенком; посетители кто ужинал, кто пил вино, кто пел, – на нее никто не обращал внимания. Каждая минута была дорога. Она на четвереньках выбралась из-под стола, еще раз удостоверилась в том, что за ней не следят, затем быстро подползла к кукле и схватила ее. Мгновение спустя она снова была на своем месте и сидела неподвижно, но повернувшись таким образом, чтобы кукла, которую она держала в объятиях, оставалась в тени. Счастье поиграть куклой было редким для нее – оно таило в себе неистовство наслаждения.

Никто ничего не заметил, кроме незнакомца, медленно жевавшего хлеб с сыром – из этого состоял весь его скудный ужин.

Это блаженство длилось с четверть часа.

Но как осторожна ни была Козетта, она не заметила, что одна нога куклы выступила из мрака, и теперь ее освещал яркий огонь очага. Эта розовая, блестящая нога поразила взгляд Азельмы, и она сказала Эпонине:

– Гляди-ка, сестрица!

Девочки остолбенели. Козетта осмелилась взять куклу!

Эпонина встала и, не отпуская котенка, подошла к матери и стала дергать ее за юбку.

– Да оставь ты меня в покое! Ну! Что тебе надо? – спросила мать.

– Мама! – сказала девочка. – Посмотри!

Она показала пальцем на Козетту.

А Козетта, в порыве восторга, ничего не видела и не слышала.

Лицо кабатчицы приняло то особенное выражение, которое возникает по пустякам и за которое такие женщины получают прозвище «мегеры».

На этот раз уязвленная гордость еще сильнее разожгла ее гнев. Козетта преступила все границы, Козетта совершила покушение на куклу «барышень»! Русская царица, которая увидела бы, что мужик примеряет голубую орденскую ленту ее августейшего сына, была бы разгневана не больше.

Охрипшим от возмущения голосом она крикнула:

– Козетта!

Козетта вздрогнула, словно под ней заколебалась земля. Она обернулась.

– Козетта! – повторила кабатчица.

Козетта взяла куклу и со смешанным чувством благоговения и отчаяния осторожно положила ее на пол. Потом, не сводя с куклы глаз, она сжала ручки и – страшно было видеть этот жест у восьмилетнего ребенка! – заломила их. Наконец пришло то, чего не вызвало у Козетты ни путешествие в лес, ни тяжесть полного ведра, ни потеря денег, ни плетка, ни зловещие слова хозяйки, – пришли слезы. Она захлебывалась от рыданий.

Незнакомец встал из-за стола.

– Что случилось? – спросил он.

– Да разве вы не видите? – воскликнула кабатчица, указывая на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.

– Ну и что же? – снова спросил человек.

– Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! – ответила Тенардье.

– И только-то? – сказал незнакомец. – Что ж тут такого, если она даже и поиграла в эту куклу?

– Она трогала ее своими грязными руками! Своими отвратительными руками! – продолжала кабатчица.

При этих словах рыдания Козетты усилились.

– Да замолчишь ты наконец! – крикнула тетка Тенардье.

Незнакомец направился к входной двери, открыл ее и вышел.

Как только он скрылся, кабатчица, воспользовавшись его отсутствием, так пнула ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.

Дверь отворилась, незнакомец появился вновь. Он нес в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил ее перед Козеттой и сказал:

– Возьми это тебе.

По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погруженный в задумчивость, он успел разглядеть игрушечную лавку, до того ярко освещенную плошками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.

Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с куклой, казался ей надвигавшимся на нее солнцем, ее сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.

Она больше не плакала, не кричала, – казалось, она не осмеливалась дышать.

Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли как истуканы. Пьяницы, и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.

Тетка Тенардье, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое – то есть вор?»

На лице супруга Тенардье появилась та выразительная складка, которая так подчеркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нем во всей своей животной силе. Кабатчик смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновение. Подойдя к жене, он шепнул:

– Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластайся перед этим человеком!

Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.

– Ну что ж ты, Козетта, – сказала тетка Тенардье кисло-сладким тоном, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, – почему ты не берешь куклу?

Только тут Козетта осмелилась выползти из своего угла.

– Козетточка! – ласково подхватил Тенардье. – Господин дарит тебе куклу. Бери ее. Она твоя.

Козетта глядела на волшебную куклу с ужасом. Ее лицо было еще залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы вдруг ей сказали: «Малютка! Ты – королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство. Ей казалось, что как только она дотронется до куклы, ударит гром.

До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает.

Однако сила притяжения победила. Козетта, наконец, приблизилась к кукле и, обернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:

– Можно, сударыня?

Нет слов передать этот тон, в котором слышались отчаяние, испуг и восхищение.

– Понятно, можно! – ответила кабатчица. – Она твоя. Господин дарит ее тебе.

– Правда, сударь? – переспросила Козетта. – Разве это правда? Она моя, эта дама?

Глаза у незнакомца были полны слез. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в ее ручонку.

Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука «дамы» жгла ее, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту у нее высунулся язык. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.

– Я буду звать ее Катериной, – сказала она. Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и слились с лентами и ярко-розовым муслиновым платьицем куклы.

– Сударыня! А можно мне посадить ее на стул? – спросила она.

– Можно, дитя мое, – ответила кабатчица.

Теперь пришел черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.

Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.

– Играй же, Козетта! – сказал незнакомец.

– О, я играю! – ответила девчурка.

Этого проезжего, этого неизвестного, которого, казалось, само провидение послало Козетте, кабатчица ненавидела сейчас больше всего на свете. Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать мужу, это было свыше ее сил. Она поспешила отправить дочерей спать и спросила у желтого человека

«позволения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово уморилась», – с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта ушла спать, унося в объятиях Катерину.

Время от времени тетка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел ее муж, чтобы, по ее выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более злобными, что не решалась произносить их громко.

– Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта маленькая уродина играла! Дарит ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Еще немного, и он начнет величать ее «ваша светлость», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Или совсем уже рехнулся, старый дурак?

– Ничего не рехнулся! Все это очень просто, – возразил Тенардье. – А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать все, что хочет. Если этот старичина – филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?

Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот, ни другой не терпели возражений.

Неизвестный облокотился на стол и снова задумался. Прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чудак, вынимавший столь непринужденно из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.

Прошло несколько часов. Полунощница отошла, ужин рождественского сочельника закончился, бражники разошлись, кабак закрылся, комната опустела, огонь потух, а незнакомец продолжал сидеть все на том же месте и в той же позе. Порой он только менял руку, на которую опирался. Вот и все. Но с тех пор, как ушла Козетта, он не произнес ни слова.

Супруги Тенардье из любопытства и приличия остались в комнате.

– Всю ночь он, что ли, собирается так провести? – ворчала Тенардье.

Когда пробило два, она сдалась.

– Я иду спать, – заявила она мужу. – Делай с ним что хочешь.

Супруг присел к столу, зажег свечу и начал читать Французский вестник.

Так прошел час. Почтенный трактирщик прочел по крайней мере раза три Французский вестник от даты выхода и до фамилии издателя. Незнакомец не трогался с места.

Тенардье шевельнулся, кашлянул, сплюнул, высморкался, скрипнул стулом. Человек остался неподвижен. «Уж не заснул ли он?» – подумал Тенардье. Человек не спал, но ничто не могло отвлечь его от дум.

Наконец Тенардье, сняв колпак, осторожно подошел к нему и осмелился спросить:

– Не угодно ли вам, сударь, идти почивать? Сказать «идти спать» казалось ему слишком грубым и фамильярным. В слове «почивать» ощущалась пышность и вместе с тем почтительность. Такие слова обладают таинственным, замечательным свойством раздувать на следующий день сумму счета. Комната, где «спят», стоит двадцать су; комната, где «почивают», стоит двадцать франков.

– Да, – сказал незнакомец, – вы правы. Где ваша конюшня?

– Сударь! – усмехаясь, произнес Тенардье. – Я провожу вас, сударь.

Он взял подсвечник, незнакомец взял узелок и палку, и Тенардье повел его в комнату на первом этаже, убранную с необыкновенной роскошью: там была мебель красного дерева, кровать в виде лодки и занавески из красного коленкора.

– Это что такое? – спросил путник.

– Это наша спальня, – ответил трактирщик. – Мы с супругой теперь спим в другой комнате. Сюда входят не чаще двух-трех раз в год.

– Мне больше по душе конюшня, – резко сказал незнакомец.

Тенардье сделал вид, что не расслышал этого неучтивого замечания.

Он зажег две неначатые восковые свечи, украшавшие камин, внутри которого пылал довольно яркий огонь.

На каминной доске под стеклянным колпаком лежал женский головной убор из серебряной проволоки и цветов померанца.

– А это что такое? – спросил незнакомец.

– Это подвенечный убор моей супруги, – ответил Тенардье.

Незнакомец окинул убор взглядом, который словно говорил: «Значит, даже это чудовище когда-то было невинной девушкой!»

Но Тенардье лгал. Когда он снял в аренду этот домишко, чтобы открыть в нем кабак, эта комната была именно так обставлена; он купил эту мебель и цветы, рассчитывая, что все это окружит ореолом изящества его «супругу» и придаст его дому то, что у англичан называется «респектабельностью».

Когда путешественник оглянулся, хозяин уже исчез. Тенардье скрылся незаметно, не осмелившись пожелать спокойной ночи, так как не желал выказывать оскорбительную сердечность человеку, которого предполагал на следующее утро ободрать как липку.

Трактирщик удалился в свою комнату. Жена лежала в постели, но не спала. Услыхав шаги мужа, она обернулась и сказала:

– Знаешь, завтра я выгоню Козетту вон.

– Какая прыткая! – холодно ответил Тенардье.

Больше они не обменялись ни словом, несколько минут спустя их свеча потухла.

А путешественник, как только хозяин ушел, положил в угол узелок и палку, опустился в кресло и несколько минут сидел задумавшись. Потом снял ботинки, взял одну из свечей, задул другую, толкнул дверь и вышел, осматриваясь вокруг, словно что-то искал. Он двинулся по коридору; коридор вывел его на лестницу. Тут он услыхал чуть слышный звук, напоминавший дыхание ребенка. Он пошел на этот звук и очутился возле трехугольного углубления, устроенного под лестницей или, точнее, образованного самой же лестницей, низом ступеней. Там, среди старых корзин и битой посуды, в пыли и паутине, находилась постель, если только можно назвать постелью соломенный тюфяк, такой дырявый, что из него торчала солома, и одеяло, такое рваное, что сквозь него виден был тюфяк. Простыней не было. Все это валялось на каменном полу. На этой-то постели и спала Козетта.

Незнакомец подошел ближе и стал смотреть на нее.

Козетта спала глубоким сном. Она спала в одежде: зимой она не раздевалась, чтобы было теплее.

Она прижимала к себе куклу, большие открытые глаза которой блестели в темноте. Время от времени Козетта тяжело вздыхала, словно собиралась проснуться, и почти судорожно обнимала куклу. Возле ее постели стоял только один из ее деревянных башмаков.

Рядом с каморкой Козетты сквозь открытую дверь виднелась довольно просторная темная комната. Незнакомец вошел туда. В глубине, сквозь стеклянную дверь, видны были две одинаковые маленькие, беленькие кроватки. Это были кроватки Эпонины и Азельмы. За кроватками, полускрытая ими, виднелась ивовая люлька без полога, в которой спал маленький мальчик, тот самый, что кричал весь вечер.

Незнакомец предположил, что рядом с этой комнатой находится комната супругов Тенардье. Он хотел уже уйти, как вдруг взгляд его упал на камин, один из тех огромных трактирных каминов, в которых всегда горит скудный огонь, если только он горит, и от которых веет холодом. В камине не было огня, в нем не было даже золы, но то, что стояло в нем, привлекло внимание путника Это были два детских башмачка изящной формы и разной величины. Незнакомец вспомнил прелестный старинный обычай детей в рождественский сочельник ставить в камин свой башмачок, в надежде, что ночью добрая фея положит в него чудесный подарок. Эпонина и Азельма не упустили такого случая: каждая поставила в камин по башмачку.

Незнакомец нагнулся.

Фея, то есть мать, уже побывала здесь, – в каждом башмаке блестела новенькая монета в десять су.

Путник выпрямился и уже собирался уйти, как вдруг заметил в глубине, в сторонке, в самом темном углу очага, какой-то предмет. Он взглянул и узнал сабо, грубое, ужасное деревенское сабо, разбитое, все в засохшей грязи и в золе. Это было сабо Козетты. Козетта с трогательной детской доверчивостью, которая постоянно терпит разочарования и все-таки не теряет надежды, поставила свое сабо в камин.

Как божественна, как трогательна была эта надежда в ребенке, который знал одно лишь горе!

В этом сабо ничего не лежало.

Проезжий пошарил в кармане, нагнулся и положил в сабо Козетты луидор.

Затем, неслышно ступая, вернулся в свою комнату.

### Глава девятая.
### Тенардье за работой

На другое утро, по крайней мере за два часа до рассвета, Тенардье. сидя в трактире за столом, на котором горела свеча, с пером в руке, составлял счет путнику в желтом рединготе.

Жена стояла, слегка наклонившись над ним, и следила за его пером. Оба не произносили ни слова. Он размышлял, она испытывала то благоговейное чувство, с каким человек взирает на возникающее и расцветающее перед ним дивное творение человеческого разума. В доме слышался шорох: то Жаворонок подметала лестницу.

Спустя добрых четверть часа, сделав несколько поправок, Тенардье создал следующий шедевр:

# Счет господину из э 1

*Ужин – 3 фр.*
*Комната – 10 фр.*
*Свеча – 5 фр.*
*Топка – 4 фр.*
*Услуги – 1 фр*
*Итого – 23 фр.*

Вместо «услуги» было написано «усслуги».

– Двадцать три франка! – воскликнула жена с восторгом, к которому все же примешивалось легкое сомнение.

Тенардье, как все великие артисты, был, однако, не удовлетворен.

– Пфа! – пыхнул он.

То было восклицание Кастльри, составлявшего на Венском конгрессе счет, по которому должна была уплатить Франция.

– Ты прав, господин Тенардье, он и правда нам столько должен, – пробормотала жена, вспомнив о кукле, подаренной Козетте в присутствии ее дочерей – Это справедливо, но многовато. Он не станет платить.

Тенардье засмеялся сухим своим смехом.

– Заплатит! – проговорил он.

Этот его смех был высшим доказательством уверенности и превосходства. То, о чем говорилось таким тоном, не могло не сбыться. Жена не возражала. Она начала приводить в порядок столы; супруг расхаживал взад и вперед по комнате. Немного погодя он воскликнул:

– Ведь долгу-то у меня полторы тысячи франков!

Он уселся возле камина и, положив ноги на теплую золу, предался размышлениям.

– Кстати, – снова заговорила жена, – ты не забыл, что сегодня я собираюсь вышвырнуть Козетту за дверь? Вот гадина! У меня сердце разорвется из-за этой ее куклы! Мне легче было бы выйти замуж за Людовика Восемнадцатого, чем лишний день терпеть ее в доме!

Тенардье закурил трубку, выговорил между двумя затяжками:

– Счет этому человеку подашь ты.

И вышел.

Когда он скрылся за дверью, в комнату вошел путник.

Тенардье мгновенно показался за его спиной и стал в полураскрытых дверях таким образом, что виден был только жене.

Человек в желтом рединготе держал в руке палку и узелок.

– Так рано и уже на ногах? – воскликнула кабатчица. – Разве вы покидаете нас, сударь?

Она в замешательстве вертела в руках счет, складывая его и проводя ногтями по сгибу. Ее грубое лицо выражало несвойственные ей смущение и беспокойство.

Представить такой счет человеку, «ни дать ни взять – нищему», она считала неудобным.

У незнакомца был озабоченный и рассеянный вид.

– Да, сударыня, я ухожу, – ответил он.

– Значит, у вас, сударь, не было никаких дел в Монфермейле?

– Нет. Я здесь мимоходом. Вот и все. Сколько я вам должен, сударыня?

Тенардье молча подала ему сложенный счет. Человек расправил его, взглянул, но, видимо, думал о чем-то ином.

– Сударыня! Хорошо ли идут у вас дела в Монфермейле? – спросил он.

– Так себе, сударь, – ответила кабатчица, изумленная тем, что счет не вызвал возмущения. – Ах, сударь! – продолжала она жалобным и плаксивым тоном, – тяжелое время теперь! Да и людей-то зажиточных здесь очень мало. Все, знаете, больше мелкий люд. К нам только изредка заглядывают такие щедрые и богатые господа, как вы, сударь. Мы платим пропасть налогов. А тут, видите ли, еще и эта девчонка влетает нам в копеечку!

– Какая девчонка?

– Ну, девчонка-то, помните? Козетта. «Жаворонок», как ее тут в деревне прозвали.

– А-а! – протянул незнакомец.

– И дурацкие же у этих мужиков клички! – продолжала трактирщица. – Она больше похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, подати, обложение дверей и окон, добавочные налоги! Сами знаете, сударь, как обдирает нас

правительство. Кроме того, у меня есть родные дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка!

Незнакомец, стараясь говорить равнодушно, хотя голос его слегка дрожал, задал ей вопрос:

– А что, если бы вас освободили от нее?

– От кого? От Козетты?

– Да.

Красное, свирепое лицо кабатчицы расплылось в омерзительной улыбке.

– О, возьмите ее, сударь, оставьте у себя, уведите, унесите, осыпьте сахаром, начините трюфелями, выпейте ее, скушайте, и да благословит вас пресвятая дева и все святые угодники!

– Хорошо.

– Правда? Вы возьмете ее?

– Возьму.

– Сейчас?

– Сейчас. Позовите девочку.

– Козетта! – крикнула Тенардье.

– А пока, – продолжал путник, – я уплачу вам по счету. Сколько с меня следует?

Взглянув на счет, он не мог скрыть удивление:

– Двадцать три франка!

Он посмотрел на трактирщицу и повторил:

– Двадцать три франка?

В тоне, в каком незнакомец повторил эти три слова, слышались и восклицание и вопрос.

У трактирщицы было достаточно времени, чтобы приготовиться к атаке. Она ответила твердо:

– Да, сударь! Двадцать три франка.

Незнакомец положил на стол пять монет по пяти франков.

– Приведите малютку, – сказал он.

Тут на середину комнаты выступил сам Тенардье.

– Этот господин должен двадцать шесть су, – сказал он.

– Как двадцать шесть су? – вскричала жена.

– Двадцать су за комнату и шесть су за ужин, – холодно ответил Тенардье. – Что же касается малютки, то на этот счет мне надо потолковать с господином проезжим. Оставь нас одних, жена.

Тетка Тенардье ощутила нечто подобное тому, что испытывает человек, ослепленный внезапным проявлением большого таланта. Она почувствовала, что на подмостки вышел великий актер, и молча удалилась.

Как только они остались одни, Тенардье предложил путнику стул. Путник сел; Тенардье остался стоять, и лицо его приняло необычно добродушное и простоватое выражение.

– Послушайте, сударь! – сказал он. – Скажу вам прямо: я обожаю это дитя.

Незнакомец пристально взглянул на него.

– Какое дитя?

– Смешно! – продолжал Тенардье. – А вот привязываешься к ним. На что мне эти деньги? Можете забрать обратно ваши монетки в сто су. Этого ребенка я обожаю.

– Да кого же? – переспросил незнакомец.

– А нашу маленькую Козетту. Вы ведь, кажется, собираетесь увезти ее от нас? Так вот, говорю вам откровенно, я не соглашусь расстаться с ребенком, и это так же верно, как то, что вы честный человек. Я не могу на это согласиться. Когда-нибудь девочка упрекнула бы меня. Я видел ее совсем крошкой. Правда, она стоит нам денег, правда, у нее есть недостатки, правда, мы не богаты, правда, я заплатил за лекарства только во время одной ее болезни более четырехсот франков! Но ведь надо что-нибудь делать для бога. У бедняжки нет ни отца, ни матери, я ее вырастил. У меня хватит хлеба и на нее и на себя. Одним словом, я привязан к этому ребенку. Понимаете, постепенно привыкаешь любить их; моя жена вспыльчива, но и она любит ее. Девочка для нас, видите ли, все равно что родной ребенок. Я привык к ее лепету в доме.

Незнакомец продолжал пристально глядеть на него.

– Прошу меня простить, сударь, – продолжал Тенардье, – но своего ребенка не отдают ведь ни с того ни с сего первому встречному. Разве я не прав? Конечно, ничего не скажешь, вы богаты, у вас вид человека вполне порядочного. Может быть, это принесло бы ей счастье… но мне надо знать. Понимаете? Предположим, я отпущу ее и пожертвую своими чувствами, но я желал бы знать, куда она уедет, мне не хотелось бы терять ее из виду. Я желал бы знать, у кого она находится, чтобы время от времени навещать ее: пусть она чувствует, что ее добрый названый отец недалеко, что он охраняет ее. Одним словом, есть вещи свыше наших сил. Я даже имени вашего не знаю. Вы уведете ее, и я скажу себе: «Ну, а где же наш Жаворонок? Куда он перелетел?» Я должен видеть хоть какой-нибудь клочок бумажки, хоть краешек паспорта, ведь так?

Незнакомец, не спуская с него пристального, словно проникающего в глубь его совести взгляда, ответил серьезно и решительно:

– Господин Тенардье! Отъезжая из Парижа на пять лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, то увезу ее, и баста! Вы не будете знать ни моего имени, ни моего местожительства, вы не будете знать, где она, и мое намерение таково, чтобы она никогда вас больше не видела. Я порываю нити, связывающие ее с этим домом, она исчезает. Вы согласны? Да или нет?

Как демоны и гении по определенным признакам познают присутствие высшего существа, так понял и Тенардье, что имеет дело с кем-то очень сильным. Он понял это как бы по наитию, мгновенно, со свойственной ему сообразительностью и проницательностью. Накануне, выпивая с возчиками, куря и распевая непристойные песни, он весь вечер наблюдал за неизвестным, подстерегая его, словно кошка, изучая его, как математик. Он выслеживал его из личных интересов, ради удовольствия и следуя инстинкту; одновременно он шпионил за ним, как будто должен был получить за это вознаграждение. Ни один жест, ни одно движение человека в желтом рединготе не ускользали от него. Еще до того, как неизвестный так явно проявил свое участие к Козетте, Тенардье уже разгадал его. Он перехватил задумчивый взгляд старика, непрестанно обращаемый на ребенка. Но чем могло быть вызвано это участие? Кто этот человек? Почему, имея такую толстую мошну, он был так нищенски одет? Вот те вопросы, которые напрасно задавал себе Тенардье, не будучи в силах разрешить их, и это его раздражало. Он размышлял об этом всю ночь. Незнакомец не мог быть отцом Козетты. Может быть, дедом? Но тогда почему же он не открылся сразу? Если твои права законны, предъяви их! Этот человек, видимо, не имел никаких прав на Козетту. Но тогда кто же он? Тенардье терялся в догадках. Он предполагал все и не знал ничего. Как бы то ни было, завязав разговор с этим человеком и будучи уверен, что тут кроется тайна, что путник не без умысла пожелал остаться в тени, Тенардье чувствовал себя сильным. Но когда по ясному и твердому ответу незнакомца Тенардье понял, что эта загадочная фигура была при всей ее загадочности проста, кабатчик почувствовал себя слабым. Ничего подобного он не ожидал. Это было полное крушение всех его догадок. Он собрал свои мысли, он все взвесил в одну секунду. Тенардье принадлежал к людям, умеющим в мгновение ока уяснить себе положение. Заключив, что

пришло время действовать прямо и быстро, он поступил так, как поступают великие полководцы в решительный момент, который им одним дано угадать: он внезапно сорвал прикрытия со всех своих батарей.

– Сударь! – заявил он. – Мне нужны полторы тысячи франков.

Незнакомец вынул из бокового кармана старый черный кожаный бумажник, достал три банковых билета и положил на стол. Затем, прикрыв широким большим пальцем билеты, сказал:

– Приведите Козетту.

Что же делала все это время Козетта?

Проснувшись, она побежала к своему сабо. В нем она нашла золотую монету. Это был не наполеондор, а монета времен Реставрации, стоимостью в двадцать франков, совершенно новенькая, и на лицевой ее стороне вместо лаврового венка был изображен прусский хвостик. Козетта была ослеплена. Ее судьба начинала опьянять ее. Козетта не знала, что такое золотой, она никогда не видела золота, и она поспешила спрятать монету в карман передника, как будто она украла ее. Между тем она чувствовала, что этот золотой – неоспоримая ее собственность, она догадалась, чей это дар, однако испытывала смешанное чувство радости и страха. Она была довольна; более того: она была поражена. Подарки, такие великолепные, такие красивые, казались ей ненастоящими. Кукла возбуждала в ней страх, золотой возбуждал в ней страх. Она бессознательно трепетала перед этим великолепием. Только незнакомец не внушал ей страха. Напротив, одна мысль о нем успокаивала ее. Со вчерашнего дня, сквозь все потрясения, сквозь сон, она своим маленьким, детским умом не переставала размышлять об этом человеке, на вид таком старом, жалком и печальном, а на самом деле – таком богатом и добром. С момента встречи со стариком в лесу все для нее словно изменилось. Козетта, испытавшая счастья меньше, чем самая незаметная пташка, не знала, что значит жить под крылышком матери. С пятилетнего возраста, то есть с тех пор, как она себя помнила, бедная малютка дрожала от страха и холода. Она всегда была беззащитна перед пронизывающим студеным ветром беды, теперь же ей казалось, что она укрыта. Прежде ее душе было холодно, теперь – тепло. Она уже не так боялась Тенардье. Она уже была не одинока; кто-то стоял подле нее.

Она поспешила приняться за свою ежедневную утреннюю работу. Луидор, лежавший в том же кармашке, из которого выпала монета в пятнадцать су, отвлекал ее. Дотронуться до него она не смела, но минут по пять любовалась им, и надо сознаться, высунув язык. Подметая лестницу, Козетта вдруг останавливалась и застывала на месте, позабыв о метле, обо всем на свете, уйдя в созерцание звезды, блиставшей в глубине кармашка.

В одну из таких минут ее застигла тетка Тенардье.

По приказанию мужа она отправилась за девочкой. Потрясающее событие! Хозяйка не наградила ее ни одним тумаком и не обругала ее.

– Козетта! – сказала она почти кротко. – Иди скорее.

Спустя минуту Козетта вошла в кабачок. Незнакомец развязал сверток. В свертке лежали детское шерстяное платьице, фартучек, бумазейный лифчик, нижняя юбка, косынка, шерстяные чулки, башмаки – одним словом, полное одеяние для семилетней девочки. Все вещи были черного цвета.

– Дитя мое! – сказал незнакомец. – Возьми все это и пойди скорее переоденься.

День еще только занимался, когда жители Монфермейля, отпирая двери, увидели, как по Парижской улице шел бедно одетый старик, ведя за руку девочку в трауре, державшую розовую куклу Они шли по направлению к Ливри.

Это были незнакомец и Козетта.

Никто не знал этого человека, а так как Козетта сбросила свои лохмотья, то многие не узнали и ее.

Козетта уходила. С кем? Об этом она не имела понятия. Куда? Этого она не знала. Одно ей было понятно она покидала харчевню Тенардье. Никто не подумал проститься с ней, как и она не простилась ни с кем. Козетта уходила из этого дома ненавидящая и ненавидимая.

Бедное, кроткое существо, чье сердце до сея поры знало одно лишь горе!

Козетта шла степенно, широко открыв большие глаза и глядя в небо. Луидор она положила в кармашек нового передника. Время от времени она наклонялась и смотрела на него, потом переводила взгляд на старика. Ей казалось, будто рядом с нею идет сам господь бог.

## Глава десятая.
## Кто ищет лучшего, тот может найти худшее

Тетка Тенардье, по обыкновению, предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда путник и Козетта ушли, Тенардье, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков.

– И только-то? – удивилась она.

Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки. Удар попал в цель.

– Да, ты права! – сказал он. – Я дурак! Дай-ка мне шляпу.

Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и выскочил из дома, но сперва ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу; они видели, как Жаворонок и незнакомец шли в сторону Ливри. Он быстро зашагал в указанном направлении.

«Этот человек, очевидно, миллион, одетый в желтое, а я – болван, – рассуждал он сам с собой. – Начал он с того, что дал двадцать су, затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков, и все – с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков. Но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, – все это очень странно; тут много таинственного. Но пойманную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей – это губки, пропитанные золотом, надо только уметь их выжимать». Все эти мысли вихрем кружились у него в голове. «Я болван», – повторял он.

Если выйти из Монфермейля и дойти до поворота на Ливри, то видно далеко, как эта дорога бежит в сторону плато. Тенардье надеялся увидеть старика и девочку. Он всматривался в даль, насколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями. А время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и девочка, о которых он спрашивал, направились к лесу в сторону Ганьи. Он поспешил туда.

Правда, они опередили его, но девочка идет медленно, а Тенардье шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома.

Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно.

– Надо было захватить с собой ружье, – пробормотал он.

Тенардье принадлежал к числу тех двойственных натур, которые незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков: проявлять себя наполовину. При ровной и спокойной жизни Тенардье обладал всеми данными, чтобы «прослыть» – мы не говорим «быть» – честным, как принято выражаться, торговцем, честным гражданином. В других условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам Сатана, сидя на корточках в углу трущобы, где жил Тенардье, иной раз предавался размышлениям над этим высочайшим образцом человеческой низости.

После минутного колебания Тенардье подумал! «Ну нет! А то они успеют скрыться!»

И он продолжал свой путь быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы, которая выследила стаю куропаток.

В самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискось большую прогалину, вправо от лесной дороги на Бельвю, и дошел до заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода Шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромоздил множество догадок. Шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Тенардье догадался, что путник и Козетта присели там отдохнуть. Девочка была так мала, что ее не было видно, зато видна была голова куклы.

Тенардье не ошибся. Незнакомец сел, чтобы дать Козетте передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого он искал.

– Прошу прощения, сударь, – проговорил он, запыхавшись, – извольте получить ваши полторы тысячи франков.

С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета.

Тот взглянул на него.

– Что это значит?

– Это значит, сударь, что я беру Козетту обратно, – почтительно ответил Тенардье.

Козетта вздрогнула и прижалась к старику. А он, глядя пристально в глаза Тенардье, сказал, отчеканивая каждый слог.

– Вы бе-ре-те об-рат-но Козетту?

– Да, сударь, беру. Сейчас объясню, почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдать ее вам. Видите ли, я человек честный. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. А мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери. Вы скажете «Мать умерла». Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребенка предъявителю этой записки. Ясно?

Вместо ответа человек порылся в кармане, и Тенардье снова увидел бумажник с банковыми билетами.

Трактирщик задрожал от радости.

«Прекрасно! – подумал он. – Держись, Тенардье! Он хочет меня подкупить»

Прежде чем открыть бумажник, путник огляделся. Место было пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Путник открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Тенардье, а клочок бумаги, развернул его и протянул трактирщику.

– Вы правы, – сказал он. – Прочтите.

Тенардье взял бумажку и прочел:

*«Монрейль-Приморский, 25 марта 1823 года.*
*Господин Тенардье!*
*Отдайте Козетту подателю сего письма Все мелкие расходы будут вам оплачены*
*Уважающая вас*

Фантина».

– Вам знакома эта подпись? – спросил путник.

Подпись действительно принадлежала Фантине. Тенардье узнал ее.

Возражать было нечего. Тенардье был зол, и вдвойне на то, что приходится отказаться от денег и на то, что был побежден.

– Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, – сказал незнакомец.

Тенардье пришлось отступать по всем правилам.

– Подпись довольно ловко подделана, – проворчал он сквозь зубы. – Ну да ладно!

Затем он сделал еще одну безнадежную попытку.

– Пусть так, сударь, – сказал он, – раз вы являетесь подателем записки. Но ведь надо оплатить мне «все мелкие расходы». А должок-то порядочный.

Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил:

– Господин Тенардье! В январе мать считала, что должна вам сто двадцать франков, но в феврале вы послали ей счет на пятьсот; вы получили триста франков в конце февраля и триста франков в начале марта. С той поры прошло девять месяцев; по условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков; это составляет всего сто тридцать пять франков. Вы получили лишних сто. Остается тридцать пять франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот.

Тенардье испытал то же чувство, какое испытывает волк, схваченный стальными челюстями капкана.

«Черт, а не человек!» – подумал он и поступил так, как поступает волк: рванулся из капкана. Ведь однажды его уже выручила наглость.

– Господин-имени-которого-не-имею-чести-знать! – сказал он решительно, оставив всякую вежливость. – Я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу экю.

– Идем, Козетта, – спокойно сказал незнакомец.

Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал палку, лежавшую на земле.

Тенардье принял во внимание увесистость дубинки и уединенность местности.

Человек углубился с девочкой в лес; озадаченный кабатчик не тронулся с места.

Они уходили все дальше. Тенардье глядел на широкие, чуть согнутые плечи незнакомца и на его внушительные кулаки.

Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые, худые руки. «Выходит, я и вправду отпетый дурак, – подумал он, – пошел на охоту без ружья!»

И все же ему не хотелось сдаваться.

– Мне надо знать, куда он пойдет, – пробормотал он. Держась на известном расстоянии, он пошел за ними. У него оставались насмешка: клочок бумажки с подписью «Фантина» и утешение; полторы тысячи франков.

Человек уводил Козетту по направлению к Ливри и Бонди. Он шел медленно, понурив голову, задумчивый и грустный. Зимою лес стал совсем сквозным, и Тенардье не мог потерять их из виду, хоть и держался на довольно значительном расстоянии. Время от времени незнакомец оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардье. Тогда он быстро углубился с Козеттой в кустарник, в котором легко было скрыться.

– Тьфу ты пропасть! – воскликнул Тенардье и ускорил шаг.

Густота кустарника принудила его близко подойти к ним. Войдя в самую чащу, незнакомец обернулся. Напрасно Тенардье укрывался за кустами, – ему так и не удалось остаться незамеченным. Незнакомец бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал идти. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг незнакомец снова оглянулся и снова увидел трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Тенардье, был так мрачен, что тот счел дальнейшее преследование бесполезным. И повернул домой.

## Глава одиннадцатая.

## Номер 9430 появляется снова, и Козетта выигрывает его в лотерею

Жан Вальжан не умер.

Упав в море, точнее, бросившись туда, он был, как известно, без кандалов. Он поплыл под водой до стоявшего на рейде корабля, к которому было принайтовано гребное судно. Ему удалось спрятаться на нем до вечера. Ночью он снова пустился вплавь и достиг берега неподалеку от мыса Брен. Денег у него было достаточно, и он раздобыл себе там одежду. Кабак в окрестностях Балагье был в ту пору гардеробной беглых каторжников, что увеличивало его прибыльность. Затем Жан Вальжан, подобно всем несчастным беглецам, старающимся обмануть бдительность закона и уйти от злой участи, уготованной им обществом, избрал сложный, беспокойный маршрут. Первый приют он нашел в Прадо близ Боссе. Затем направился к Гран-Вилару, около Бриансона, в Верхних Альпах. То было отчаянное бегство вслепую, путь крота, подземные ходы которого никому неведомы. Впоследствии можно было обнаружить некоторые следы его пребывания в Эне, находящемся в области Сиврие; в Пиренеях, в Аконе, расположенном в округе Гранжде-Думек; около деревушки Шавайль и в окрестностях Periгe в Брюни (кантон Шапель-Гонаг). Наконец он добрался до Парижа. Мы только что видели его в Монфермейле.

Первой его заботой в Париже было купить траурную одежду для девочки лет семи-восьми и подыскать себе жилье. Затем он направился в Монфермейль.

Читатель, вероятно, припомнит, что перед своим предыдущим бегством он уже совершал в окрестностях Монфермейля таинственное путешествие, о котором правосудие имело некоторые сведения.

Но его считали умершим, и это еще сильнее сгущало окутывавшую его тьму. В Париже ему попалась в руки газета, устанавливавшая факт его смерти. Теперь Жан Вальжан был спокоен, почти умиротворен; у него было такое чувство, словно он и в самом деле умер.

В тот день, когда Жан Вальжан вырвал Козетту из когтей Тенардье, он в сумерки вошел с ней в Париж через заставу Монсо. Здесь он сел в кабриолет, кабриолет доставил его на эспланаду Обсерватории, и тут он сошел. Уплатив кучеру, он взял Козетту за руку, и оба глубокой ночью направились по пустынным улицам, прилегавшим к Лурсин и Гласьер, в сторону Госпитального бульвара.

Для Козетты это был необычайный, полный впечатлений день. Они ели под плетнями купленные в одиноких харчевнях хлеб и сыр, часто пересаживались из одного экипажа в другой, часть дороги шли пешком. Она не жаловалась, но устала, – Жан Вальжан заметил это по тому, с какой силой она при ходьбе тянула его за руку. Он посадил ее к себе за спину. Козетта, не выпуская Катерины из рук, положила головку на плечо Жана Вальжана и уснула.

## Книга четвертая

## Лачуга Горбо

### Глава первая.

### Хозяин Горбо

Если бы сорок лет тому назад одинокий прохожий, вздумавший углубиться в трущобы глухой окраины Сальпетриер, поднялся по бульвару до Итальянской заставы, он дошел бы до одного из тех мест, где, так сказать, исчезает Париж. Нельзя сказать, чтобы это была совершенная глушь, – здесь попадались прохожие; нельзя сказать, чтобы это была деревня, – здесь попадались городские домики и улочки. Но это был и не город, – на улицах лежали колеи, как на больших дорогах, росла трава; это было и не село, – дома были слишком высоки. Что же представляла собой эта окраина, и обитаемая и безлюдная, пустынная и в то же время кем-то населенная? То был бульвар большого города, парижская улица, ночью более жуткая, чем лес, а днем более мрачная, чем кладбище.

Это был старый квартал Конного рынка.

Если прохожий отваживался выйти за пределы четырех обветшалых стен Конного рынка, если он решался миновать Малую Банкирскую улицу, и, оставив вправо коноплянник,

обнесенный высокими стенами, потом луг, где высились кучи молотой дубовой коры, похожие на жилища гигантских бобров, затем огороженное место, заваленное строевым лесом, пнями, грудами опилок и щепы, на верхушке которых лаяли сторожевые псы, затем длинную низкую полуразвалившуюся стену с грязной черной дверцей, покрытой мхом, сквозь который весной пробивались цветы, и далее, уже в самом глухом месте, отвратительное ветхое строение, на котором большими печатными буквами было выведено: ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫВЕШИВАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ, то этот отважный прохожий достигал конца улицы Винь-Сен-Марсель, мало кому известной. Там, недалеко от завода, между двумя садами, виднелась в ту пору лачуга; с первого взгляда она казалась маленькой хижинкой, на самом деле она была огромна, как собор. На проезжую дорогу она выходила боковой стороной – отсюда обманчивое представление о ее величине. Почти весь дом был укрыт от взоров. Видны были только дверь и окно.

Лачуга была двухэтажная.

Внимательный глаз прежде всего заметил бы такую странность: дверь годилась бы разве только для чулана, окно, будь оно пробито в тесаном камне, а не в песчанике, могло бы украшать какой-нибудь особняк.

Дверь представляла собой ряд полусгнивших досок, соединенных поперечными перекладинами, похожими на плохо обтесанные поленья. Она открывалась внутрь, на крутую лестницу с высокими, покрытыми грязью, пылью и осыпавшейся штукатуркой ступеньками такой же ширины, как дверь. С улицы видно было, как эта лестница, совершенно прямо, словно приставная, уходила между двух стен в темноту. Верхняя часть грубого проема пряталась за узкой доской с выпиленным в середине треугольным отверстием, служившим и слуховым оконцем, и форточкой, когда дверь была закрыта. На внутренней стороне двери размашистой кистью, обмакнутой в чернила, была изображена цифра 52, а над дверью – теми же чернилами – цифра 50; это ставило вас в тупик. Куда же вы попали? Закрытая дверь утверждала, что номер дома 50; она же, открытая, возражала: нет, это номер 52. На треугольной форточке вместо занавески висело грязное тряпье.

Окно было широкое и довольно высокое, с решетчатыми ставнями и большими стеклами. Однако на этих стеклах было множество самых разнообразных повреждений, которые были скрыты и одновременно подчеркнуты искусно наложенным пластырем из бумажных наклеек, а полуоторванные и расшатанные ставни служили не столько защитой для обитателей лачуги, сколько угрозой для прохожих. То там, то тут на этих жалюзи не хватало поперечных планок; их простодушно заменили прибитыми перпендикулярно досками; таким образом, то, чему надлежало быть жалюзи, превратилось в ставни.

Дверь, казавшаяся отвратительной, и окно, казавшееся благопристойным, несмотря на его обветшалость, выступая на фоне одного и того же дома, производили впечатление двух случайно встретившихся нищих, которые решили идти вместе и шагают бок о бок; их прикрывают одинаковые лохмотья, но по внешности они не похожи друг на друга: один напоминает профессионального попрошайку, другой – бывшего дворянина.

Лестница вела в главную, обширную часть здания, похожую на сарай, превращенный в жилой дом. Внутренним каналом этого здания служил длинный коридор, по правую и левую сторону которого расположены были разных размеров клетушки, в случае крайней необходимости годные для жилья, но скорее похожие на кладовки, чем на комнаты. Окнами они выходили на заброшенные участки. Все это темное, унылое, тусклое, печальное и мрачное строение, в зависимости от того, в крыше или в дверях образовались щели, пронизывал бледный луч солнца или ледяной северный ветер. Своеобразной и живописной подробностью такого рода жилищ являются громадные пауки.

Налево от входной двери, со стороны бульвара, на высоте человеческого роста находилось замурованное слуховое оконце, образовавшее квадратное углубление, полное камешков, которые туда бросали проходившие мимо дети.

Часть здания была недавно разрушена. Другая, уцелевшая, позволяет судить о том, чем оно было когда-то. Всему зданию не более ста лет. Для собора сто лет – юность, для жилого дома – старость. Человеческому жилью как бы свойственна бренность человека, жилищу бога – его бессмертие.

Почтальоны называли эту лачугу номером 50—52, но в квартале она известна была как дом Горбо.

Поясним происхождение этого названия.

Любители мелких происшествий, собирающие для собственного удовольствия коллекции анекдотов и хранящие в своей памяти словно насаженные на булавки самые незначительные даты, знают, что в прошлом столетии, около 1770 года, в Шатле было два прокурора. Одного звали Корбо, другого Ренар[49] – два имени, предугаданные Лафонтеном. Этот факт был уж очень соблазнителен для судейских писцов, и они не преминули сделать его поводом для зубоскальства. По всем галереям Дворца правосудия разошлась написанная в стихах, хотя и довольно нескладных, пародия:

На груду папок раз ворона взобралась,

Арестный лист она во рту зажала

Лиса, приятным запахом прельстясь,

Из лесу прибежала

И перед ней такую речь держала;

«Здорово, друг!…» и т. д.

Почтенные законники, смущенные плоской шуткой и уязвленные хохотом, раздававшимся им вслед, решили отделаться от своих фамилий и обратились с ходатайством к королю. Челобитье подано было Людовику XV как раз в тот момент, когда папский нунций справа, а кардинал Ларош-Эмон – слева, оба благоговейно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества туфли на босые ножки г-жи Дюбарри, встававшей со своего ложа. Король, который заливался смехом, глядя на двух епископов, стал теперь весело смеяться над двумя прокурорами и милостиво разрешил судейским крючкам переменить – вернее, слегка изменить их фамилии. Господину Корбо от имени короля разрешено было к заглавной букве его фамилии добавить хвостик и прозываться Горбо; господину Ренару посчастливилось меньше: он получил разрешение приставить к букве Р букву П и именоваться Пренар[50], так что новая фамилия подходила к нему не меньше, чем старая.

Итак, согласно местному преданию, этот самый Горбо и был владельцем здания под э 50—52 на Госпитальном бульваре. Он же и был творцом огромного окна.

Вот почему лачуга называлась домом Горбо.

Напротив дома э 50—52, среди других деревьев бульвара, рос большой вяз, почти на три четверти засохший, прямо перед ним начиналась улица заставы Гобеленов, в ту пору не застроенная, немощеная, обсаженная чахлыми деревьями, то зелеными, то бурыми, в зависимости от времени года, и обрывающаяся у самой парижской окружной стены. Клубы дыма из труб соседней фабрики распространяли по всему кварталу запах купороса.

Застава была близко. Стена, опоясывавшая Париж, еще существовала в 1823 году.

Застава уже сама по себе вызывала в воображении мрачные образы. Здесь пролегала дорога, ведущая в Бисетр. Через эту заставу во времена Империи и Реставрации, в день казни, входили в Париж приговоренные к смерти. Здесь произошло в 1829 году таинственное убийство, именуемое «убийством у заставы Фонтенебло», виновников которого не могло обнаружить правосудие, – темное дело, оставшееся неразъясненным, страшная загадка,

оставшаяся неразгаданной. Сделайте несколько шагов, и вы окажетесь на роковой улице Крульбарб, где, как в мелодраме, под раскаты грома Ульбах поразил кинжалом пастушку из Иври. Еще несколько шагов, и вы подойдете к безобразным, с обрезанными верхушками, вязам заставы Сен-Жак, к детищу филантропов, пытающихся скрыть эшафот, к жалкой и позорной Гревской площади – площади лавочников и мещан, отшатнувшихся перед зрелищем смертной казни, но не дерзнувших мужественно отменить ее или открыто выступить в ее защиту.

Тридцать семь лет тому назад, если не считать площади Сен-Жак, которой словно было определено внушать ужас, самым мрачным уголком на этом мрачном бульваре была, вероятно, эта мало привлекательная и в наше время часть его, где стояла лачуга э 50—52.

Только двадцать пять лет спустя здесь начали появляться дома горожан. Это было угрюмое место. Грустные мысли овладевали вами; вы чувствовали, что находитесь между большущей Сальпетриер, высокий купол которой можно было разглядеть оттуда, и Бисетром, близ ограды которого вы находились, то есть между безумием женщины и безумием мужчины. На всем доступном глазу расстоянии виднелись бойни, окружная стена и редкие фасады фабрик, похожих на казармы или монастыри. Всюду бараки, строительный мусор, старые стены, черные, словно траурный покров, новые стены, белые, словно саван; всюду параллельные ряды деревьев, вытянутые в линию постройки, вереница длинных и холодных плоских фасадов н гнетущее уныние прямых углов. Ни признака складки, неровности почвы, никакой архитектурной прихоти. Все вместе – леденящее душу, однообразное, отвратительное зрелище. Ничто так не удручает, как симметрия. Симметрия – это скука, а скука – сущность печали. Отчаяние зевает. Если можно вообразить себе что-нибудь страшнее ада, где страдают, то это ад, где скучают. Если бы такой ад действительно существовал, то эта часть Госпитального бульвара могла бы служить аллеей, к нему ведущей.

Однако с приближением ночи, в час, когда меркнет свет, особенно зимой, чье леденящее дыхание срывает с вязов последние бурые листья, когда мрак непроницаем и небо беззвездно или когда ветер пробьет луне в облаках оконце, бульвар становится страшным. Черные его линии уходят во мрак и пропадают в нем, словно отрезки бесконечности. Прохожий невольно вспоминает бесчисленные предания, связанные с виселицей. В уединенности квартала, где совершено было столько преступлений, таилось что-то жуткое. В темноте всюду чудились западни, смутные очертания теней внушали подозрение, длинные четырехугольные углубления меж деревьев напоминали могилы. Днем это было безобразно; вечером это было мрачно; ночью это было зловеще.

Летом в сумерках на старых замшелых скамьях у подножия вязов сидели старухи. Они назойливо просили милостыню.

Впрочем, этот квартал, на вид скорее старый, чем старинный, уже тогда стремился к преображению. Кто хотел его видеть, тому надо было спешить. Ежедневно из общей картины исчезала какая-нибудь подробность. В настоящее время, как и все последние двадцать лет, вокзал Орлеанской железной дороги, расположенный рядом с этим старым предместьем, непрерывно его видоизменяет. Всюду, где на окраине столицы появляется железнодорожная станция, умирает предместье и рождается город. Кажется, что вокруг этих крупных центров движения от грохота мощных машин, от дыхания чудовищных коней цивилизации, пожирающих уголь и изрыгающих пламя, земля, полная новых ростков, дрожит и разверзается, готовая поглотить древние жилища человека и породить новые. Старые дома рушатся, новые дома воздвигаются.

С тех пор как станция Орлеанской железной дороги вторглась во владение Сальпетриер, старинные узкие улицы, граничащие со рвами Сен-Виктор и Ботаническим садом, дрогнули под стремительным потоком дилижансов, фиакров и омнибусов, который проносится по ним в определенное время три-четыре раза в день, оттеснив дома вправо и влево. Есть явления, на первый взгляд неправдоподобные, и тем не менее они вполне соответствуют действительности: как верно то, что в крупных городах солнце вызывает к жизни дома,

обращенные фасадом на юг, так же несомненно и то, что непрерывное движение экипажей расширяет улицы. Признаки новой жизни очевидны. В этом старинном провинциальном квартале, в самых глухих закоулках, возникает мостовая, всюду расползаются и тянутся тротуары даже там, где еще нет прохожих. Однажды, в памятное июльское утро 1845 года, там вдруг задымились черные котлы с асфальтом; можно считать, что в этот день цивилизация добралась до улицы Лурсин и что Париж вступил в предместье Сен-Марсо.

## Глава вторая.
## Гнездо совы и славки

Именно здесь, перед лачугой Горбо, и остановился Жан Вальжан. Он, словно дикая птица, выбрал это пустынное место, чтобы свить себе тут гнездо.

Пошарив в жилетном кармане, он вынул что-то вроде отмычки, открыл дверь, вошел, крепко-накрепко запер ее за собой и поднялся по лестнице, неся на руках Козетту.

Наверху лестницы он вынул из кармана другой ключ и отпер другую дверь. Он тотчас же заперся, войдя в комнату, напоминавшую довольно просторное чердачное помещение. Убранство ее состояло из матраца, лежавшего на полу, стола и нескольких стульев. В углу топилась печь, в которой виднелись раскаленные уголья. Фонарь, горевший на бульваре, тускло освещал это убогое жилье. В глубине комнаты был отгорожен чуланчик, где стояла складная кровать. Жан Вальжан так бережно опустил девочку на кровать, что она не проснулась.

Он высек огонь и зажег свечу, – все это было заранее приготовлено на столе; затем, как и накануне, он устремил на Козетту восторженный взгляд, выражавший доброту и умиление, граничившие почти с безумием. Девочка, исполненная той спокойной доверчивости, которая присуща лишь величайшей силе или величайшей слабости, уснула, даже не зная, кто с ней, и продолжала спать, не ведая, где она.

Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ее ручку.

Девять месяцев тому назад он целовал руку матери, тоже уснувшей, но навеки.

То же горестное, благоговейное, щемящее чувство наполняло его сердце.

Он опустился на колени перед кроватью Козетты.

Наступил день, а девочка все еще спала. Бледный луч декабрьского солнца проник сквозь чердачное оконце и протянул по потолку длинные волокна света и тени. Тяжело нагруженная телега каменщика, проехавшая по бульвару, словно громовой раскат, потрясла и заставила задрожать всю лачугу сверху донизу.

– Да, сударыня! – внезапно проснувшись, вскрикнула Козетта. – Сейчас! Сейчас!

Она спрыгнула с кровати и со слипавшимися еще от сна глазами протянула руки в угол комнаты.

– Боже мой! А где же метла? – воскликнула она.

Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой улыбающееся лицо Жана Вальжана.

– Ах да! Я и забыла! – сказала она. – С добрым утром, сударь!

Дети быстро и легко осваиваются со счастьем и радостью, ибо они сами по природе своей – радость и счастье.

В ногах Козетта заметила Катерину и занялась ею. Играя, она забрасывала вопросами Жана Вальжана. Где она находится? Велик ли Париж? Достаточно ли далеко от нее госпожа Тенардье? Не придет ли она за ней? и т. д. Вдруг она воскликнула: «Как здесь красиво!».

Это была отвратительная конура, но Козетта чувствовала себя в ней свободной.

– Надо мне ее подмести? – спросила она наконец.

– Играй, – ответил Жан Вальжаи.

Так прошел день. Ничего не пытаясь уяснить себе, Козетта была невыразимо счастлива подле этой куклы и подле этого человека.

## Глава третья.
## Два несчастья при слиянии образуют счастье

На рассвете Жан Вальжан снова был у постели Козетты. Он стоял неподвижно и, глядя на нее, ждал ее пробуждения.

Что-то неизведанное проникало в его душу.

Жан Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет он был один на свете. Ему не довелось стать отцом, любовником, мужем, другом. На каторге это был злой, мрачный, целомудренный, невежественный и нелюдимый человек. Сердце старого каторжника было нетронуто. О сестре и ее детях он сохранил смутное, далекое воспоминание, которое в конце концов почти совершенно изгладилось. Он приложил все усилия к тому, чтобы отыскать их, и, не сумев найти, забыл их. Таково свойство человеческой природы. Все прочие сердечные привязанности его юности, если только он когда-либо имел их, канули в бездну.

Когда он увидел Козетту, когда он взял ее с собою, увел, спас, он вдруг почувствовал, как дрогнула его душа. Все, что было в ней страстного и нежного, вдруг пробудилось и устремилось навстречу этому ребенку. Подходя к кровати, на которой она спала, он дрожал от радости; он был подобен молодой матери, чувствующей родовые схватки и не понимающей, что это такое, ибо смутно и отрадно великое, таинственное движение сердца, начинающего любить.

Бедное, старое, неискушенное сердце!

Но ему было пятьдесят пять лет, а Козетте – восемь, поэтому вся любовь, какую он мог бы испытать в жизни, устремившись к ребенку, обернулась каким-то неизъяснимым сиянием.

Это было второе светлое видение, представшее перед ним. Епископ зажег на его горизонте зарю добродетели; Козетта зажгла зарю любви.

Первые дни протекли в этом ослеплении любовью.

Сама того не замечая, изменилась и бедная крошка Козетта. Когда мать покинула ее, она была еще так мала, и она совсем ее не помнила. Как все дети, она, подобно молодым побегам виноградной лозы, цепляющимся за все, пыталась любить. Но это ей не удавалось Все ее оттолкнули – и Тенардье, и их дети, и другие дети. Она любила собаку, но собака издохла; после этого никому и ничему не нужна была ее привязанность. Страшно сказать, но мы уже об этом упоминали: в восемь лет у нее было холодное сердце. Винить ее нельзя, она не утратила способности любить, но – увы! – она лишена была этой возможности. И потому с первого же дня все ее мысли и чувства превратились в любовь к этому старому человеку. Она испытывала неизвестное ей доселе ощущение блаженства.

Этот добрый человек уже не казался ей ни стариком, ни бедняком. Она находила Жана Вальжана прекрасным, так же как находила красивой эту конуру.

Таково действие зари, детства, юности, радости. Немалое значение имела здесь новизна места и образа жизни. Нет ничего краше розового отблеска счастья на чердаке. У каждого из нас в прошлом есть такой светлый уголок.

Природа воздвигла между Жаном Вальжаном и Козеттой огромную преграду: между ними лежало полвека. Но эту преграду смела жизнь. Судьба внезапно столкнула и с неодолимой силой обручила этих двух лишенных корней человек, столь разных по возрасту, но столь близких по переживаниям. Эти жизни дополняли одна другую. Инстинкт Козетты искал отца, инстинкт Жана Вальжана – ребенка. Встретиться – значило обрести друг друга. В таинственный миг, когда соприкоснулись их руки, они словно срослись. Увидевшись, эти души словно сознали, как они необходимы друг другу, и слились нерасторжимо.

Отделенные от всего мира кладбищенской стеной, Жан Вальжан и Козетта словно олицетворяли собой Вдовство и Сиротство, если понимать эти слова в их наиболее общем и доступном для всех значении. И Жан Вальжан как бы велением неба стал отцом Козетты.

Таинственное ощущение, которое возникло у Козетты, когда Жан Вальжан взял ее за руку в темной чаще леса Шель, было порождено не иллюзией, а действительностью. Вмешательство этого человека в судьбу ребенка было проявлением воли божьей.

Жан Вальжан удачно выбрал убежище. Казалось, он был здесь в полной безопасности.

Комната с чуланом, которую он занимал с Козеттой, выходила окном на бульвар. Это было единственное окно в доме, так что нечего было опасаться нескромного взгляда соседей, живших и напротив и рядом.

Нижний этаж дома э 50—52 представлял собою нечто вроде обветшавшего сарая с навесом, который служил складом для огородников и не имел никакого сообщения с верхним. Отделенный от него дощатым потолком, в котором не было ни люка, ни лестницы, он являлся как бы глухой перегородкой между этажами лачуги. Как мы уже говорили, второй этаж состоял из множества комнатушек и нескольких чердаков, и лишь один из них был занят старухой, согласившейся вести хозяйство Жана Вальжана. Все остальные помещения пустовали.

Старуха именовалась «главной жилицей», а в сущности была привратницей; она-то в рождественский сочельник и сдала комнату Жану Вальжану. Выдав себя за разорившегося на испанских ценных бумагах рантье, он изъявил желание поселиться здесь с внучкой. Уплатив за полгода вперед, он поручил старухе обставить комнату и чулан так, как мы уже видели. Это она с вечера протопила печь и все приготовила к их приходу.

Неделя шла за неделей, а старик и дитя вели в этой жалкой конуре счастливую жизнь.

С самого раннего утра Козетта смеялась, болтала, пела. У детей, как у птиц есть своя утренняя песенка.

Случалось, что Жан Вальжан брал ее маленькую красную, потрескавшуюся от холода ручку и целовал. Бедняжка, привыкшая только к побоям, не понимала, что это означает, и отходила смущенная.

Иногда, умолкнув, она с серьезным видом глядела на свое черное платье. Козетта не носила больше лохмотьев, она носила траур. Она уходила от нищеты и вступала в жизнь.

Жан Вальжан начал учить ее грамоте. Нередко, заставляя ее разбирать по складам, он вспоминал, что научился на каторге читать с целью творить зло. Теперь у него была иная цель: он учил читать ребенка. И старый каторжник улыбался задумчивой ангельской улыбкой.

В этом он чувствовал предначертание свыше, волю кого-то, кто стоит над человеком, и он отдавался мечтам. У добрых мыслей, как и у дурных, есть свои бездонные глубины.

Учить грамоте Козетту и не мешать ей вволю играть – в этом и заключалась почти вся жизнь Жана Вальжана. Иногда он говорил ей о матери и заставлял молиться за нее.

Она звала его «отец», иного имени его она не знала.

Он мог часами смотреть, как она одевает и раздевает куклу, и слушать ее лепет. Отныне жизнь казалась ему исполненной смысла, люди представлялись добрыми и справедливыми, он никого больше мысленно не упрекал теперь, когда его полюбил ребенок; ему хотелось дожить до глубокой старости. Перед ним рисовалась будущность, освещенная Козеттой, словно сиянием. Даже лучшим людям свойственны эгоистические мысли. Иногда он с какою-то радостью думал о том, что она будет некрасива.

Пусть это только наше мнение, но если уж говорить все до конца, то мы полагаем, что когда Жан Вальжан полюбил Козетту, он нуждался в любви, чтобы укрепить в своем сердце стремление к добру. Он только что увидел людскую злобу и ничтожность общества в их новых проявлениях. Но то, что предстало пред ним, роковым образом ограничивало действительность, выявляя лишь одну ее сторону: женскую судьбу, воплощенную в Фантине,

и общественное мнение, олицетворенное в Жавере. На этот раз Жан Вальжан отправлен был на каторгу за то, что поступил хорошо; его сердце вновь исполнилось горечи; отвращение и усталость вновь овладели им; даже воспоминание об епископе порой как бы начинало тускнеть, хотя позже оно возникало вновь, яркое и торжествующее; но в конце концов и это священное воспоминание поблекло. Кто знает, быть может, Жан Вальжан был на пороге отчаяния и полного падения? Но он полюбил и вновь стал сильным. Увы! В действительности он был нисколько не крепче Козетты. Он оказал ей покровительство, а она вселила в него бодрость. Благодаря ему она могла пойти вперед по пути жизни; благодаря ей он мог идти дальше по стезе добродетели. Он был поддержкой ребенка, а ребенок был его точкой опоры. Неисповедима и священна тайна равновесия весов твоих, о судьба!

## Глава четвертая.
## Наблюдения главной жилицы

Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерки он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-нибудь церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь Сен-Медар. Если он не брал Козетту с собой, она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним даже восхитительным беседам с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с нею.

Козетта оказалась очень веселой девочкой.

Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками.

Они жили скромно, хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую он застал в первый день; только стеклянную дверь, ведущую в каморку Козетты, он заменил обыкновенной.

Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сердобольные старушки подавали ему су, Жан Вальжан принимал милостыню и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просившего подаяние, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к бедняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету и быстро удалялся. Это имело свою отрицательную сторону. В квартале его приметили и прозвали «нищим, подающим милостыню».

Старуха, «главная жилица», существо хитрое, съедаемое завистливым любопытством к ближнему, зорко следила за Жаном Вальжаном, а он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красы у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Козетту, но та ничего не знала и ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермейля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, и это показалось любопытной кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, как старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель находящейся как раз против него двери незаметно наблюдать за ним. Жан Вальжан, видимо для большей предосторожности, повернулся к двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку у полы редингота и, вытащив оттуда желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха, к великому своему ужасу, разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в испуге.

Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же? – подумала старуха. – Ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в эвто время

должна быть заперта». Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. История с тысячефранковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала толки среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель.

Несколько дней спустя Жан Вальжан, в одном жилете, пилил в коридоре дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде редингот, старуха принялась тщательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина прощупала редингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов зашиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, это были билеты по тысяче франков.

Кроме того, она обнаружила в карманах множество разных предметов. Не только иголки, ножницы и нитки, – это она уже видела, – но объемистый бумажник, большой нож и – подозрительная подробность! – несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман редингота являлся вместилищем предметов «на случай», для всяких непредвиденных обстоятельств.

Так обитатели лачуги дожили до конца зимы.

## Глава пятая.

## Пятифранковая монета, падая на пол, звенит

Неподалеку от церкви Сен-Медар, на краю забитого колодца, обычно сидел нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он редко проходил мимо, не протянув ему нескольких су. Иногда он с ним разговаривал. Завистники нищего утверждали, что он из полицейских. Это был старый, семидесятипятилетний псаломщик, все время бормотавший молитвы.

Однажды вечером Жан Вальжан, проходя мимо, один, без Козетты, увидел нищего на его привычном месте под уличным фонарем, который только что зажгли. Казалось, этот сгорбившийся человек, как всегда, бормочет молитвы. Жан Вальжан приблизился к нему н протянул подаяние. Вдруг нищий в упор взглянул на Жана Вальжана и быстро опустил голову. Движение было молниеносное, однако Жан Вальжан вздрогнул. Ему почудилось, что при свете уличного фонаря перед ним мелькнуло не кроткое и набожное лицо старого псаломщика, а знакомый и грозный образ. У него были такое чувство, словно он вдруг оказался во мраке лицом к лицу с тигром. Сперва он оцепенел от ужаса, потом отпрянул, не смея ни дышать, ни говорить, ни стоять на месте, ни бежать, и глядел на нищего, а тот, как будто не замечая присутствия Жана Вальжана, сидел, опустив обвязанною тряпкой голову. В эту необычайную минуту, руководимый инстинктом, быть может таинственным инстинктом самосохранения, Жан Вальжан не произнес ни слова. Нищий был такого же роста, одет в такие же лохмотья, имел такой же облик, как обычно. «Полно! – подумал Жан Вальжан. – Я сошел с ума! Мне померещилось! Это невозможно!» Он вернулся домой, глубоко потрясенный.

Он не смел признаться даже самому себе, что мелькнувшее перед ним лицо было лицо Жавера.

Ночью, обдумывая происшедшее, он пожалел, что не заговорил с нищим, – это заставило бы его еще раз поднять голову.

На следующий день, в сумерки, он снова отправился туда же. Нищий сидел на своем месте.

– Здравствуй, милый человек! – решительно обратился к нему Жан Вальжан, подавая су.

Нищий поднял голову и жалобно произнес:

– Спасибо, добрый господин. Без сомнения, это был старый псаломщик. Жан Вальжан успокоился. «Какой же это, черт возьми, Жавер? – подсмеиваясь над собой, думал он. – Уж не начинает ли у меня портиться зрение?» И он выкинул из головы эту мысль.

Спустя несколько дней, часов около восьми вечера. Жан Вальжан, сидя у себя в комнате, учил Козетту читать вслух по складам. Вдруг он услышал, как отворилась и затворилась входная дверь. Это показалось ему странным. Старуха, единственная жилица, кроме него, проживавшая в доме, всегда ложилась спать с наступлением темноты, чтобы не жечь свечу. Жан Вальжан знаком приказал Козетте замолчать. Он слушал, как кто-то подымается по лестнице. Конечно, это могла быть и старуха, почувствовавшая недомогание и отправившаяся в аптеку. Жан Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые и шумные, как у мужчины, но старуха ходила в грубых башмаках; к тому же ничто так не напоминает мужские шаги, как шаги старой женщины. Однако Жан Вальжан задул свечу.

Шепнув Козетте: «Ложись тихонько», он послал ее спать; пока он целовал ее в лоб, шаги стихли. Жан Вальжан продолжал сидеть молча и неподвижно на стуле, спиной к двери, в темноте, затаив дыхание. Спустя довольно продолжительное время, не слыша ни единого звука, он бесшумно обернулся и, взглянув на дверь, увидел в замочной скважине свет. Этот свет казался зловещей звездой на черном фоне двери и стены. Несомненно, кто-то стоял за дверью и, держа свечу в руке, подслушивал.

Спустя несколько мгновений свет исчез. Но Жан Вальжан не услышал шагов; по всей вероятности, тот, кто подслушивал у дверей, снял обувь.

Жан Вальжан бросился, не раздеваясь, на кровать; всю ночь он не смыкал глаз.

На рассвете, когда его сморил сон, он проснулся от скрипа открывавшейся двери в одной из пустовавших комнатушек в глубине коридора. Затем он услышал знакомые шаги мужчины, накануне поднимавшегося по лестнице. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и, прильнув к замочной скважине, попытался разглядеть человека, который ночью вошел в дом и подслушивал у его двери. Действительно, это оказался мужчина, – на сей раз он прошел мимо комнаты Жана Вальжана не останавливаясь. В коридоре было еще так темно, что различить его лицо не представлялось возможным, но когда человек дошел до лестницы, луч света, падавший снаружи, обрисовал его силуэт, и Жан Вальжан ясно увидел его со спины. Он был высокого роста, в длинном рединготе, с дубинкой под мышкой. То была страшная фигура Жавера!

Жан Вальжан мог бы попытаться взглянуть на него еще раз в окно, выходившее на бульвар. Но для этого надо было открыть окно – на это он не осмелился.

Несомненно, этот человек вошел со своим ключом, как к себе домой. Но кто дал ему ключ? Что бы это значило?

В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее проницательным взглядом, но ни о чем не спросил. Старуха вела себя, как всегда.

Подметая комнату, она сказала:

– Вы, наверное, сударь, слышали, как сегодня ночью к нам в дом кто-то входил?

В те времена в этом квартале восемь часов вечера считалось уже глубокой ночью.

– Да, слыхал. Кто это был? – спросил он самым естественным тоном.

– Это новый жилец, который поселился в доме.

– А как его зовут?..

– Не знаю. Не то Дюмон, не то Домон. Что-то вроде этого, – ответила старуха.

– А кто же он, этот господин Дюмон?

Старуха взглянула на него своими острыми глазками и ответила:

– Такой же рантье, как и вы.

Может, у нее никакой задней мысли и не было, но Жан Вальжан решил, что сказано это было неспроста.

Когда старуха ушла, он сложил столбиком сотню франков, хранившихся у него в шкафу, и, завернув в бумагу, положил в карман. Как ни осторожно он это делал, чтобы не слышно было звяканья денег, одна монета все же выскользнула у него из рук и со звоном покатилась по полу.

В сумерках, спустившись вниз, он внимательно оглядел бульвар. Нигде не было ни души. Бульвар казался пустынным. Правда, там можно было спрятаться за деревьями.

Он снова поднялся к себе.

– Идем, – сказал он Козетте и, взяв ее за руку, вышел из дома.

## Книга пятая

## Ночная охота с немой сворой

### Глава первая.

### Стратегические ходы

К этим страницам, а также и к другим, с которыми читатель познакомится в дальнейшем, необходимо дать пояснение.

Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры, как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу; Париж – его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне отошел в прошлое. Но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он еще существовал. Быть может, там, куда автор поведет читателей и где он скажет: «На такой-то улице стоял такой-то дом», нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят взять на себя труд это сделать. Ему же современный Париж неведом, и он пишет, видя перед собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя, стены чужды, деревья – случайность на твоем пути, дома, в которые не входишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь, – обыкновенный булыжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе недостает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти ты горячо любишь, что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу своей души, своей крови, своего сердца ты оставил на этих мостовых. Все эти места, которых ты не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть и беспрестанно возникают перед тобой, словно печальные видения. Они как бы становятся для нас землей обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно воскрешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери.

Да будет же нам дозволено говорить о минувшем, как о настоящем. Предупредив читателя, мы продолжаем.

Жан Вальжан мгновенно ушел с бульвара и углубился в лабиринт улиц, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь, чтобы удостовериться, что за ним не следят.

Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечаток его копыт, такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и свору гончих. У охотников этот прием называется «ложным уходом в логово».

Стояло полнолуние. Это было на руку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в голову, что теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем пустынным улочкам, близким к улице Поливо, за ним никто не идет.

Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сделали ее натуру пассивной. Кроме того, – к этой ее особенности нам придется еще возвращаться, – она привыкла, не очень в них разбираясь, к странностям старика и к прихотям судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности.

Жан Вальжан знал не более Козетты, куда они идут. Он уповал на бога, как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он; он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Вот почему у него не было никакой определенной мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера: это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер, не знавший, что он – Жан Вальжан. Ведь он был переодет. Ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно: он решил не возвращаться в лачугу Горбо. Словно поднятый зверь, он искал нору, где мог бы схорониться, пока не найдет надежного жилья.

Жан Вальжан покружил по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, как будто еще оставались в силе строгие порядки средневековья и давался сигнал о тушении огня. Разными способами, согласно требованиям высокой стратегии, он пробрался с Податной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пюи л'Эрмит. На этих улицах были ночлежки, но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и напали на его след, то сейчас уже утеряли.

Когда на башне Сент-Этьен-дю-Мон пробило одиннадцать, он перешел улицу Понтуаз против полицейского участка, помещавшегося в доме э 14. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин: они один за другим прошли по теневой стороне улицы мимо фонаря полицейского участка – их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому э 14. Шедший во главе показался Жану Вальжану безусловно подозрительным.

– Идем, детка, – сказал он Козетте и поспешил уйти с улицы Понтуаз.

Он сделал круг, обогнул запертый по случаю позднего времени Патриарший проезд, миновал улицу Деревянного меча, Самострельную и пошел по Почтовой улице.

Там есть перекресток, где в настоящее время находится коллеж Ролен и откуда ответвляется Новая Сент-Женевьевская улица.

(Само собою разумеется, Новая Сент-Женевьевская улица – улица старая, а по Почтовой улице почтовая карета проезжает раз в десять лет. В XIII столетии Почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название – Горшечная.)

Луна ярко освещала перекресток. Жан Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света.

И действительно, не прошло и трех минут, как они появились снова. Теперь их было уже четверо: все – высокого роста, в долгополых темных рединготах, круглых шляпах, с толстыми дубинами в руках. Их зловещее шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огромный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан.

Они собрались на середине перекрестка словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто казался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал

направление, в котором скрылся Жан Вальжан, другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Сомнений не оставалось: Жан Вальжан узнал Жавера.

## Глава вторая.
## К счастью, по Аустерлицкому мосту проезжают повозки

Неизвестность для Жана Вальжана кончилась; по счастливой случайности, для этих людей она еще длилась. Он воспользовался их нерешительностью: для них это было потерянное время, для него – выигранное. Выйдя из-за ворот, он пошел по Почтовой улице, в сторону Ботанического сада. Козетта начала уставать, он взял ее на руки и понес. Ему не встретилось ни одного прохожего; уличные фонари не были зажжены, так как светила луна.

Он ускорил шаг.

Быстро дошел он до горшечной фабрики Гобле, на фасаде которой была отчетливо видна освещенная луной старинная надпись:

Здесь фабрика Гобле я сына.

Прохожий покупать спеши!

Горшки, тазы, котлы, кувшины —

Все предлагаем от души.

Оставив позади себя Ключевую улицу и фонтан Сен-Виктор, он направился вдоль Ботанического сада по сбегающим вниз улицам до набережной. Здесь он оглянулся. Набережная была пустынна. Улицы были пустынны. Никто за ним не шел. Он облегченно вздохнул.

Он дошел до Аустерлицкого моста. В ту пору еще взимали мостовую пошлину. Жан Вальжан подошел к будке сборщиков и протянул су.

– С вас полагается два су, – сказал старый инвалид. – Вы несете ребенка, хотя он сам может ходить. Платите за двоих.

Жан Вальжан уплатил, досадуя, что его переход через мост привлек чье-то внимание. Беглец должен проскользнуть незаметно, как уж.

Одновременно с ним по мосту проезжала большая повозка, направлявшаяся также к правому берегу. Это было кстати. Он мог пройти весь мост, скрываясь в ее тени.

На середине моста у Козетты затекли ноги; ей захотелось пойти самой. Он спустил ее на землю и повел за руку.

Перейдя мост, он заметил вправо от себя дровяные склады и направился к ним. Чтобы дойти до них, надо было пересечь довольно обширное открытое и освещенное пространство. Жан Вальжан не колебался. Преследователи, видимо, потеряли его след, и он считал себя в безопасности. Правда, его искали, но погони за ним не было.

Между двумя деревянными складами, обнесенными стеной, затерялась Зеленая дорога. Она была узкая, темная, словно нарочно созданная для него. Прежде чем вступить на нее, он оглянулся.

С того места, где он стоял, ему виден был Аустерлицкий мост во всю его длину.

Четыре темные тени только что появились на мосту.

Тени эти направлялись от Ботанического сада на правый берег.

Эти четыре тени были его четыре преследователя.

Жан Вальжан задрожал, как пойманный зверь.

В нем брезжила надежда, что эти люди, быть может, еще не успели взойти на мост в то время, когда он, держа Козетту за руку, пересекал освещенное пространство, и не заметили его.

В таком случае, если, углубившись в маленькую, лежавшую перед ним улицу, ему удастся достичь дровяных складов, огородов, полей и пустырей, они будут спасены.

Ему показалось, что он может довериться этой тихой улочке. Он пошел по ней.

## Глава третья.
## Смотри план Парижа 1727 года

Пройдя шагов триста, Жан Вальжан дошел до того места, где улица разветвлялась, расходясь вправо и влево. Перед Жаном Вальжаном лежали как бы две ветви буквы V. Которую же избрать?

Не колеблясь, он выбрал правую.

Почему?

Потому, что левое ответвление вело в предместье, то есть в заселенную местность, а правое – в поля, то есть в безлюдье.

Однако они шли уже не так быстро. Козетта замедляла шаг Жана Вальжана.

Он снова взял ее на руки. Она молча прижалась головкой к плечу старика.

Время от времени он оглядывался. Он старался держаться теневой стороны тянувшейся перед ним прямой улицы. Первые два-три раза, когда он оглянулся, он ничего не увидел, кругом царила глубокая тишина, и он, несколько успокоившись, продолжал путь. Вдруг, снова обернувшись, он заметил в глубине улицы, где-то далеко позади, в темноте, неясное движение.

Жан Вальжан уже не пошел, а стремительно бросился вперед, надеясь найти боковую улицу и, скользнув в нее, еще раз сбить загонщиков со следа.

Он добежал до какой-то стены.

Стена нисколько не мешала двигаться дальше; она тянулась вдоль переулка, пересекавшего улицу, по которой шел Жан Вальжан.

Снова надо было решать, куда идти: направо или налево.

Он взглянул направо. Улочка проходила между какими-то строениями, не то сараями, не то амбарами, и заканчивалась тупиком. В глубине этого глухого переулка можно было ясно разглядеть высокую белую стену.

Он взглянул влево. С этой стороны улочка была открыта и приблизительно через сто шагов вливалась в ту улицу, приток которой она собой представляла. Вот где было спасение!

В ту минуту, когда Жан Вальжан намеревался свернуть влево, чтобы попасть на ту улицу, которую смутно различал в конце переулка, он заметил впереди на перекрестке что-то неподвижное, вроде темной статуи.

Это был человек, очевидно поставленный здесь, чтобы преградить кому-то путь, и кого-то подстерегавший.

Жан Вальжан отпрянул.

Та часть Парижа, где находился Жан Вальжан, расположенная между предместьем Сент-Антуан и Винной пристанью, в числе других коренным образом изменена недавними строительными работами, которые, по мнению одних, обезобразили ее, по мнению других – преобразили. Вспаханные поля, дровяные вклады и старые дома исчезли. Теперь там появились новые широкие улицы, площади, цирки, ипподромы, вокзалы, тюрьма Мазас: словом, прогресс и его исправительное средство.

Полвека тому назад на народном языке, который весь основан на преданиях и именует Институт «Четырьмя нациями», а Комическую оперу – «Фейдо», то место, куда попал Жан Вальжан, называлось «Малый Пикпюс». Ворота Сен-Жак, Парижские ворота, застава Сержантов, Свинари, Галиот, Целестинцы, Капуцины, Молотки, Грязи, Краковское древо, Малая Польша. Малый Пикпюс – все эти старинные названия уцелели до сей поры. Эти обломки прошлого еще сохранились в памяти народа.

Малый Пикпюс, который, кстати сказать, существовал недолго и лишь отдаленно напоминал парижский квартал, носил монастырский отпечаток испанского города. Дороги там были почти не мощеные, улицы почти не застроены. Кроме двух-трех, о которых речь будет впереди, всюду тянулись заборы или пустыри. Нигде ни лавчонки, ни экипажа; изредка в окнах кое-где мерцали огоньки свеч; после десяти вечера все огни гасились. Всюду сады, монастыри, дровяные склады, огороды, кое-где – низенькие домишки и длинные, высотою с дом, ограды.

Таков был этот квартал в минувшем веке. Его облик резко изменился уже во время Революции. Распоряжением республиканских властей он был просверлен, пробит, разрушен и отведен под склады щебня. Тридцать лет тому назад этот квартал был окончательно погребен под выросшими на нем новыми зданиями. В настоящее время он не существует. Малый Пикпюс, от которого на современных планах не осталось и следа, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, выпущенном в Париже у Дени Тьери на улице Сен-Жак, что напротив Штукатурной улицы, и в Лионе, у Жана Жирена на Торговой улице, в Прюданс. Квартал Малый Пикпюс, как мы упоминали, по форме был похож на букву V, образуемую разветвлением Зеленой дороги, левая ветвь которой носила название Пикпюс, а правая – Полонсо. Обе ветви этой буквы V на концах были соединены как бы перекладиной. Перекладина эта называлась Прямой стеной. Здесь кончалась улица Полонсо, а улочка Пикпюс шла дальше, вплоть до рынка Ленуар. У того, кто шел со стороны Сены и доходил до конца улицы Полонсо, слева оказывалась Прямая стена, сворачивавшая под прямым углом, впереди – стена этой улицы, а направо – продолжение той же улицы, переходившей в глухой переулок, именовавшийся тупиком Жанро.

Здесь-то и остановился Жан Вальжан.

Мы уже сказали, что, увидев темный силуэт, занимавший наблюдательный пост на углу Прямой стены и Пикпюс, Жан Вальжан отступил. Сомнений не было. Призрак подстерегал его.

Что делать?

Возвращаться обратно было уже поздно. То, что он сейчас заметил и что двигалось в темноте на некотором расстоянии от него, – это были, конечно, Жавер и его небольшой отряд. По всей вероятности, Жавер находился уже в начале той улицы, в конце которой был Жан Вальжан. Видимо, Жавер хорошо знал этот маленький лабиринт и принял меры, отрядив человека стеречь выход. Эти догадки, вполне соответствовавшие действительности, закружились в разгоряченном мозгу Жана Вальжана, словно клубы пыли, вздымаемые внезапно налетевшим вихрем. Он посмотрел на тупик Жанро: там преграда. Он взглянул на Пикпюс. там часовой. Он различал эту темную фигуру, выступавшую черным силуэтом на светлой, залитой лунным сиянием мостовой. Идти вперед – наткнуться на этого человека. Идти назад – попасть в лапы Жавера. Жану Вальжану казалось, что его медленно затягивает петля. В отчаянии взглянул он на небо.

## Глава четвертая.
## В поисках спасения

Чтобы понять дальнейшее, надо точно представить себе Прямую стену и, в частности, тот угол, который при выходе туда из улицы Полонсо оставался влево. Почти весь этот переулок с правой стороны, до улочки Пикпюс, был застроен убогими домишками; с левой тянулся ряд особняков строгой архитектуры; по мере приближения к улочке Пикпюс они повышались на один – на два этажа. Таким образом, будучи высоким со стороны улочки Пикпюс, этот ряд особняков был значительно ниже со стороны улицы Полонсо. На том углу, о котором мы упоминали, он становился совсем низким и переходил в стену. Но стена не обрывалась на улице; окружая срезанный конец квартала, в этом месте она была скрыта своими двумя углами от двух наблюдателей, если бы один из них находился на улице Полонсо, а другой – на Прямой стене.

От этих двух углов стена по улице Полонсо доходила до дома э 49, а по Прямой стене, где отрезок ее был значительно короче, – до мрачного здания, о котором мы уже упоминали и

боковой фасад которого она срезала, образуя новый вдававшийся вглубь угол. Эта боковая сторона производила мрачное впечатление; в ней было только одно окно или, точнее, две ставни, обитые цинковым листом и постоянно закрытые.

Облик местности, восстанавливаемый здесь нами с величайшей точностью, несомненно пробудит самое живое о ней воспоминание у старожилов этого квартала.

На срезанном углу стояло нечто вроде огромных обветшалых ворот. Они состояли из множества досок, пригнанных вкривь и вкось, причем верхние были шире нижних, и скрепленных длинными поперечными железными полосами. Рядом были другие ворота, обычного размера, пробитые, очевидно, не более как лет пятьдесят тому назад.

За срезанной стеной виднелась липа, со стороны улицы Полонсо стену обвивал плющ.

Жана Вальжана, находившегося на грани неминуемой гибели, этот ряд домов привлек к себе своей мрачностью и уединенностью. Он окинул его быстрым взглядом. У него мелькнула мысль, что если ему удастся проникнуть внутрь, то, пожалуй, он будет спасен. Вначале это были только предположение и надежда.

В средней части фасада, выходившего на Прямую стену, возле всех окон на всех этажах имелись в конце желобков старые свинцовые воронки. Разнообразные разветвления водосточных труб, которые тянулись от верхнего желоба ко всем этим воронкам, образовали на фасаде рисунок какого-то странного дерева. Множеством своих изгибов они напоминали высохшие, лишенные листьев виноградные лозы, вьющиеся по фасадам старинных ферм.

Это своеобразное дерево с жестяными и железными сучьями прежде всего бросилось в глаза Жану Вальжану. Он усадил Козетту спиной к тумбе, велел ей молчать, а сам подбежал к тому месту, где водосточная труба спускалась до мостовой. А вдруг он сумеет взобраться по ней и проникнуть в дом? Но труба была расшатана, попорчена и еле держалась. Кроме того, все окна безмолвного этого жилья, даже слуховые, были забраны толстой железной решеткой. Вдобавок луна ярко освещала весь фасад, и человек, наблюдавший с другого конца улицы, увидел бы поднимавшегося по стене Жана Вальжана. А как быть с Козеттой? Как поднять ее на высоту трехэтажного здания?

Он отказался от намерения взобраться по водосточной трубе и двинулся вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полонсо.

Достигнув срезанного угла квартала, где сидела Козетта, он обнаружил, что здесь его никто не может заметить. Здесь, как мы уже говорили, он был недоступен ничьему взгляду, откуда бы ни велось наблюдение. К тому же он находился в тени. И, наконец, перед ним было двое ворот. Может быть, удастся их взломать? Стена, над которой виднелись липа и стебли плюща, была, несомненно, стеной сада, где, хотя деревья еще не покрылись листвой, он может по крайней мере спрятаться и провести остаток ночи.

Время шло. Медлить было опасно.

Он ощупал ворота и обнаружил, что они забиты как снаружи, так и изнутри.

С большей надеждой на успех он подошел к другим, громадным воротам. Они были ужасающе ветхи, а их непомерная величина делала их еще менее крепкими; доски сгнили; железные полосы – их было всего три – заржавели. Ему показалось возможным прошибить эту источенную червями преграду.

Осмотрев их повнимательней, он обнаружил, что это были не ворота. На них не было ни петель, ни петельных крюков, ни замка, ни щели посредине. Их пересекали соединенные одна с другой железные полосы. Сквозь щели досок он разглядел кое-как скрепленные цементом кирпичи и камни, которые прохожий мог заметить там еще десять лет назад. Потрясенный, он вынужден был признать, что это подобие двери – не что иное, как деревянная обшивка какого-то строения, Отодрать доску было нетрудно, но он оказался бы лицом к лицу со стеной.

**Глава пятая.**

### Что было бы немыслимо при газовом освещении

В этот миг до него донесся отдаленный глухой и мерный шум. Жан Вальжан осторожно выглянул из-за угла. Взвод солдат, состоявший человек из восьми, выходил на улицу Полонсо. Он видел, как сверкали их штыки. Все это надвигалось на него.

Солдаты, во главе которых он различал высокую фигуру Жавера, приближались медленно, с опаской. Они часто останавливались. Очевидно, они обыскивали все углубления в стенах, все дверные проемы и проходные аллейки.

По безошибочному предположению Жана Вальжана, это был ночной патруль, встреченный Жавером и взятый им себе в помощь.

Среди солдат были также два помощника Жавера.

Чтобы таким медленным шагом, то и дело останавливаясь, дойти до места, где находился Жан Вальжан, им требовалось около четверти часа. То было ужасное мгновение! Лишь несколько минут отделяли Жана Вальжана от страшной пропасти, которая в третий раз разверзалась перед ним. Но теперь каторга означала для него не только каторгу, но и утрату Козетты, – иначе говоря, жизнь в могиле.

У него оставалась одна возможность.

Особенностью Жана Вальжана было то, что он всегда имел при себе, если можно так выразиться, две сумы: в одной из них заключались мысли святого, в другой – опасные таланты каторжника. Он пользовался то одной, то другой, смотря по обстоятельствам.

Вследствие своих многократных побегов с тулонской каторги, он, как припомнит читатель, был также и непревзойденным мастером потрясающего искусства взбираться без лестницы, без крючьев, при помощи только мускульной силы, упираясь затылком, плечами, бедрами и коленями в сходящиеся под прямым углом отвесные стены, в случае нужды – даже до высоты шестого этажа, пользуясь малейшими выступами и выбоинами в камнях. Это было то искусство, что стяжало страшную и громкую славу уголку двора Консьержери в Париже, откуда двадцать лет тому назад бежал приговоренный к смертной казни Батмоль.

Жан Вальжан измерил глазами стену, над которой виднелась липа. Высота стены равнялась приблизительно восемнадцати футам. Угол, образуемый этой стеной и боковой стороной большого здания, был заполнен массивной каменной кладкой в форме треугольника – вероятно, с целью уберечь этот уголок, весьма удобный для тех останавливающихся за нуждой двуногих, которые зовутся прохожими. Такая предусмотрительная закладка углов в стенах очень распространена в Париже.

Высота каменной кладки равнялась примерно пяти футам; от верхушки до гребня стены надо было преодолеть расстояние не более чем в четырнадцать футов.

Стена заканчивалась гладким камнем, без карниза.

Но как быть с Козеттой? Ведь Козетта не может взобраться на стену. Бросить ее? Но это и в голову не приходило Жану Вальжану. Тащить ее на себе невозможно. Чтобы успешно совершить это необычайное восхождение, человеку нужна вся его сила. Малейший груз, нарушив равновесие, вызвал бы его падение.

Необходима была веревка. У Жана Вальжана ее не оказалось. Где же достать веревку в полночь, на улице Полонсо? Владей Жан Вальжан в этот миг королевством, он не задумываясь отдал бы его за веревку.

Крайним обстоятельствам свойственно озарять все кругом, словно вспышкой молнии, которая нас то ослепляет, то просветляет.

Полный отчаяния взор Жана Вальжана упал на столб уличного фонаря, стоявшего в тупике Жанро.

В ту пору газовых рожков на улицах Парижа не было. При наступлении темноты зажигали уличные фонари, находившиеся на определенном расстоянии один от другого. Их поднимали

и опускали при помощи веревки, пересекавшей улицу из конца в конец и закреплявшейся в выемке прибитой к столбу перекладины. Катушка, на которую наматывалась веревка, была прикреплена под фонарем и находилась в маленьком железном шкафчике, ключ от которого хранился у фонарщика. Веревка помещалась в металлическом футляре.

Нечеловеческим напряжением сил, одним прыжком, Жан Вальжан оказался в тупике, открыл острием ножа замок шкафчика и мгновение спустя вернулся к Козетте. В руках у него была веревка. В борьбе с судьбой руки, эти мрачные изобретатели отчаянных средств, действуют стремительно.

Мы уже говорили, что в эту ночь уличных фонарей не зажигали. Фонарь в тупике Жанро тоже не горел; можно было пройти мимо, даже не заметив, что он висит ниже, чем всегда.

Между тем поздний час, безлюдье, темнота, озабоченный вид Жана Вальжана, его исчезновения и возвращения, его странное поведение – все это начинало беспокоить Козетту. Другой ребенок на ее месте давно бы уже громко плакал. Она ограничилась тем, что дернула Жана Вальжана за полу редингота. Шаги приближающегося патруля раздавались все отчетливее.

– Отец! Мне страшно! – тихо сказала она. – Кто это там идет?

– Тише! – ответил несчастный. – Это тетка Тенардье.

Козетта задрожала.

– Молчи. Не мешай мне. Если ты будешь кричать, если будешь плакать, помни: Тенардье за тобой следит, она придет и заберет тебя.

Затем, не торопясь, но и не теряя времени, уверенными и точными движениями – это было тем более удивительно, что с минуты на минуту мог появиться патруль во главе с Жавером, – он снял свой шейный платок, обернул его вокруг тела Козетты под мышками, стараясь, чтобы он не причинил ей боли, привязал к платку морским узлом один конец веревки, взял в зубы другой, разулся, перебросил чулки и башмаки через стену, влез на каменный треугольник в углу между стеной и боковой стороной дома и так уверенно и ловко начал взбираться, словно под его ногами были ступеньки, а под рукой – перила. Не более как через полминуты он уже стоял на коленях на самом верху стены.

Козетта с изумлением глядела на него, не произнося ни слова. Просьба Жана Вальжана и имя Тенардье повергли ее в оцепенение.

Вдруг она услышала тихий голос Жана Вальжана:

– Прислонись к стене!

Она повиновалась.

– Не говори ни слова и не бойся, – сказал Жан Вальжан.

И тут она почувствовала, что ее поднимают.

Прежде чем она успела опомниться, она уже была на стене.

Жан Вальжан схватил Козетту, посадил ее к себе на спину, взял обе ее маленькие ручки в свою левую руку, затем лег плашмя и ползком добрался по верху стены до ее срезанного угла. Как он и предполагал, там действительно было строение, крыша которого, начинаясь от верха деревянных ворот, довольно отлого спускалась почти до самой земли, слегка задевая липу.

Это оказалось счастливым обстоятельством, ибо стена была с этой стороны значительно выше, чем со стороны улицы. Жан Вальжан видел землю глубоко внизу под собой.

Едва успел он достичь наклонной плоскости крыши, только хотел он соскользнуть с гребня стены, как сильный шум возвестил о приближении патруля. Раздался громовой голос Жавера:

– Обыщите тупик! За Прямой стеной следят, за Пикпюс тоже. Ручаюсь, что он в тупике!

Солдаты ринулись к тупику Жанро.

Жан Вальжан, поддерживая Козетту, скользнул вдоль крыши, добрался до липы и спрыгнул на землю. Страх ли был тому причиной или присутствие духа, но только Козетта не издала ни звука. Руки ее были слегка оцарапаны.

## Глава шестая.
## Начало загадки

Жан Вальжан очутился в каком-то большом и странном саду, – в одном из тех унылых садов, которые кажутся созданными для того, чтобы глядеть на них только зимой и только ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине его находилась тополевая аллея, по углам высились купы старых деревьев, а посредине, на открытой полянке, можно было различить огромное одиноко стоявшее дерево, несколько кривых, взъерошенных плодовых деревьев, похожих на высокий кустарник, грядки овощей, парник для дынь с блестевшими в лунном свете стеклянными колпаками и заброшенный сточный колодец. Каменные скамьи казались черными от покрывавшего их мха. Низкие темные прямые кусты окаймляли дорожки. Часть дорожек заросла травой, другие покрылись зеленой плесенью.

Рядом с Жаном Вальжаном было строение, крыша которого послужила ему спуском, куча хворосту, а за нею, возле самой стены, каменная статуя, – ее изувеченное лицо казалось смутно белевшей во мраке бесформенной маской.

Строение представляло собой развалины, где можно было различить разрушенные комнаты, одна из которых, загроможденная всяким хламом, служила, видимо, сараем. Большое здание, выходившее на Прямую стену и в Пикпюс, двумя своими внутренними стенами, сходившимися под прямым углом, обращено было в сад. Внутренние стены выглядели еще мрачнее, чем фасад. Окна были зарешечены, нигде ни огонька. В верхних этажах над окнами выступали навесы, как в тюрьмах. Одно крыло здания отбрасывало на другое тень, расстилавшую по саду длинное черное покрывало.

Других домов не было видно. Глубь сада уходила в туман и мрак. Можно было лишь смутно различить скрещивавшиеся стены, как будто за ними находились другие участки обработанной земли, и низкие крыши домов на улице Полонсо.

Трудно было вообразить себе что-нибудь более дикое и пустынное, чем этот сад. В нем не было ни души, что естественно для такого позднего времени, но, видимо, это место даже и днем не предназначалось для прогулок.

Первой заботой Жана Вальжана было отыскать свои башмаки и надеть их, а затем войти с Козеттой в сарай. Беглец никогда не бывает уверен, что он надежно укрыт. Девочка, все еще продолжавшая думать о тетке Тенардье, разделяла его желание спрятаться как можно лучше.

Козетта дрожала и прижималась к Жану Вальжану Слышен был шум, который производил патруль, обшаривавший тупик и улицу, стук прикладов о камни мостовой, оклики Жавера, обращенные к полицейским, занявшим посты, его проклятия вперемешку со словами, разобрать которые было трудно.

Через четверть часа похожий на громовые раскаты грохот стал понемногу стихать. Жан Вальжан затаил дыхание.

Осторожным движением руки он закрыл Козетте рот.

Впрочем, уединенное место, где они находились, дышало таким необычайным спокойствием, что даже этот ужасающий шум, такой неистовый и близкий, не мог нарушить его. Казалось, стены здесь сложены из тех глухих камней, о которых говорит Священное писание.

Внезапно среди глубокой тишины возникли иные звуки. Звуки дивные, божественные, невыразимые, настолько же сладостные, насколько прежние были ужасны. Это был гимн, лившийся из мрака, ослепительный свет молитвы и гармонии – в черном, устрашающем безмолвии ночи пели женские голоса, звучавшие девственной чистотой и детской

наивностью, – те неземные голоса, которые еще слышит новорожденный и уже различает умирающий. Пение доносилось из мрачного здания, возвышавшегося над деревьями сада. По мере того как удалялся оглушительный шум скопища демонов, хор ангелов, казалось, приближался в темноте.

Козетта и Жан Вальжан упали на колени.

Они не понимали, что происходит, не знали, где они, но оба, мужчина и ребенок, кающийся и невинная, чувствовали, что надо склониться ниц.

В этих голосах было что-то странное: невзирая на них, здание продолжало казаться безлюдным. Словно то было нездешнее пение в необитаемом жилище.

Пока голоса пели, Жан Вальжан ни о чем не думал. Он видел уже не темную ночь он видел голубой небосвод. Ему казалось, что душа его расправляет крылья – те крылья, которые чувствует в себе каждый из нас.

Пение смолкло. Быть может, оно длилось долго. Этого Жан Вальжан сказать бы не мог. Часы экстаза пролетают как одно мгновение.

Вновь воцарилась тишина. Ни звука на улице, ни звука в саду. То, что угрожало, то, что ободряло, – все исчезло. Только с гребня стены доносился тихий, унылый шелест сухих травинок, колеблемых ветром.

## Глава седьмая.
## Родолжение загадки

Дул прохладный ночной ветер – значит, было около двух часов ночи. Бедняжка Козетта молчала. Она сидела возле Жана Вальжана, положив головку к нему на плечо, и он решил, что она уснула. Он наклонился и взглянул на нее. Глаза Козетты были широко раскрыты, их сосредоточенное выражение встревожило Жана Вальжана.

Она вся дрожала.

– Тебе хочется спать? – спросил он.

– Мне очень холодно, – ответила девочка.

Спустя мгновение она спросила:

– А она все еще здесь?

– Кто? – спросил Жан Вальжан.

– Госпожа Тенардье.

Жан Вальжан уже забыл о средстве, к которому прибегнул, чтобы заставить Козетту молчать.

– А, вот оно что! Она уже давно ушла, – ответил он. – Не бойся!

Девочка облегченно вздохнула, словно с души ее спала тяжесть.

Земля была влажная, сарай открыт со всех сторон, ветер с каждой минутой свежел. Старик снял редингот и укутал Козетту.

– Теперь тебе теплее? – спросил он.

– О да, отец!

– Хорошо. Подожди меня. Я сейчас вернусь.

Выйдя из сарая, он пошел вдоль большого здания, отыскивая лучшее пристанище. Ему попадались двери, но они были заперты. На всех окнах первого этажа были решетки.

Миновав внутренний угол здания, он подошел к окнам с полукруглым верхним стеклом, в которых виднелся слабый свет. Он встал на цыпочки и заглянул в одно из окон. То были окна довольно обширной, вымощенной широкими плитами и разделенной арками и колоннами залы, где ничего нельзя было различить, кроме тусклого огонька и длинных теней. Свет сочился из ночника, горевшего в углу. Зала была пуста, все там было неподвижно. Однако, всмотревшись,

Жан Вальжан заметил на полу что-то словно покрытое саваном, походившее на фигуру человека. Это существо лежало ничком, прижавшись лицом к каменным плитам, крестообразно раскинув руки, не шевелясь, как бы в смертном покое. Возле него на полу тянулось что-то похожее на змею; можно было подумать, что шею этой жуткой фигуры обвивает веревка.

Зала тонула в густом тумане, как это бывает в больших, едва освещенных помещениях, и это придавало всему еще более зловещий вид.

Жан Вальжан часто говорил впоследствии, что хотя он бывал свидетелем множества мрачных зрелищ, однако ничего более ужасного и леденящего душу, чем эта неожиданно возникшая перед ним загадочная фигура, выполнявшая какой-то таинственный ночной обряд в непонятном месте, он не видал. Страшно было подумать, что это мертвец, но еще страшнее вообразить себе, что это живой человек.

У Жана Вальжана хватило присутствия духа, прильнув к оконному стеклу, поглядеть, не шевельнется ли это существо. Напрасно ожидал он некоторое время, показавшееся ему очень долгим: распростертая на полу фигура хранила неподвижность. Внезапно его охватил невыразимый ужас, и он пустился бежать. Он мчался по направлению к сараю, не смея оглянуться. Ему казалось, что если он обернется, то увидит, как за ним, размахивая руками, гонится это существо.

Задыхаясь, он добежал до развалин. Колени у него подгибались; он обливался потом.

Где он находился? Кто мог бы вообразить, что нечто подобное этой усыпальнице существует в самом центре Парижа? Что это за странный дом? Что это за здание, полное ночных тайн, – здание, которое ангельскими голосами созывает души во мраке, а когда те приходят на зов, вдруг показывает им это страшное видение? Оно обещало открыть им сияющие врата рая, а открывало отвратительные двери склепа! Тем не менее это было настоящее здание, настоящий дом, имевший свой номер. Это был не сон. Чтобы поверить в это, Жан Вальжан должен был прикоснуться руками к камням развалин.

Холод, волнение, тревога, то, что он пережил в этот вечер, – все это вызвало у него лихорадку, мысли его путались.

Он подошел к Козетте. Она спала.

## Глава восьмая.
## Загадка усложняется

Девочка уснула, положив голову на камень.

Жан Вальжан сел рядом. Глядя на девочку, он постепенно успокаивался и обретал присутствие духа.

Он ясно сознавал истину, которая отныне легла в основу его жизни – до тех пор пока Козетта с ним, если что и будет ему нужно, то не для себя, а для нее; если он и будет бояться, то не за себя, а за нее. Он не чувствовал холода, хотя прикрыл редингогом ее.

Внезапно его слух поразил какой-то странный шум.

Будто где-то звенел колокольчик. Звук доносился из сада; хотя и негромкий, он слышался явственно. Он напоминал бессвязную ночную песенку бубенчиков, которые подвешивают скоту на пастбищах.

Звук заставил Жана Вальжана обернуться.

Вглядевшись в темноту, он заметил, что в саду кто-то есть.

Существо, похожее на человека, двигалось между стеклянными колпаками грядок, где росли дыни, и то наклонялось, то вставало, то останавливалось, делая равномерные движения, словно тащило что-то или расстилало по земле. Казалось, что существо хромает.

Жан Вальжан вздрогнул; его охватил привычный для всех гонимых трепет страха. Им все враждебно, все внушает подозрение. Дневного света они боятся потому, что он может их

выдать, ночной темноты – потому, что она помогает застичь их врасплох. Только что его пугала пустынность сада, сейчас – то, что в саду кто-то есть.

От ужасов призрачных Жан Вальжан перешел к ужасам реальным. Он говорил себе: «Может быть, Жавер и полицейские не ушли отсюда; наверное, они оставили на улице засаду; если человек в саду обнаружит мое присутствие, то закричит и выдаст меня». Тихонько поднял он на руки уснувшую Козетту и отнес ее в самый дальний угол сарая, положив за грудой старой, отслужившей свой век мебели. Козетта не шевельнулась.

Он начал наблюдать оттуда за поведением человека, ходившего среди гряд. Странно было то, что бубенчик звенел при каждом его движении. Когда человек приближался, то приближался и звон; когда он удалялся, то удалялся и звон; когда он делал какое-нибудь резкое движение, раздавалось тремоло бубенчика; когда он останавливался, звук затихал. По-видимому, бубенчик был привязан к человеку; но что бы это означало? Кем мог быть человек, которому подвесили колокольчик, словно быку или барану?

Задавая себе мысленно эти вопросы, Жан Вальжан дотронулся до рук Козетты. Они были холодны как лед.

– Боже! – пробормотал он и тихонько окликнул ее: – Козетта!

Она не открыла глаз.

Он тряхнул ее.

Она не проснулась.

«Неужели она умерла?» – подумал он и встал, дрожа всем телом.

Самые мрачные мысли закружились у него в голове. Бывают минуты, когда чудовищные предположения осаждают нас, точно сонмы фурий, и силой проникают во все клеточки нашего мозга. Если вопрос касается тех, кого мы любим, то чувство тревоги за них рисует нам всякие ужасы. Жан Вальжан припомнил, что сон на открытом воздухе холодной ночью может быть смертельно опасным.

Козетта, бледная, неподвижная, лежала на земле у его ног.

Он прислушался к ее дыханию; она дышала, но так слабо, что ему показалось, будто дыхание ее вот-вот прервется.

Как согреть ее? Как разбудить? Только об этом он и думал. Как сумасшедший, выбежал он из сарая.

Во что бы то ни стало, не позднее чем через пятнадцать минут, Козетта должна быть у огня и в постели.

## Глава девятая.
## Человек с бубенчиком

Он пошел прямо к человеку, которого заметил в саду. Предварительно он вынул из жилетного кармана сверток с деньгами.

Человек стоял, наклонив голову, и не заметил его приближения. В мгновение ока Жан Вальжан оказался около него.

– Сто франков! – крикнул он, обратившись к нему.

Человек подскочил и уставился на него.

– Вы получите сто франков, только приютите меня на ночь!

Луна ярко освещала встревоженное лицо Жана Вальжана.

– Как! Это вы, дядюшка Мадлен? – воскликнул человек.

Это имя, произнесенное в ночной час, в незнакомой местности, незнакомым человеком, заставило Жана Вальжана отшатнуться.

Он был готов ко всему, только не к этому. Перед ним стоял сгорбленный, хромой старик, одетый по-крестьянски. На левой ноге у него был кожаный наколенник, к которому был привешен довольно большой колокольчик. Лицо его находилось в тени, и разглядеть его было невозможно.

Старик снял шапку.

– Ах, боже мой! – воскликнул он, трепеща от волнения. – Как вы очутились здесь, дядюшка Мадлен? Господи Иисусе, как вы сюда вошли? Не упали ли вы с неба? Хотя ничего особенного в этом не было бы; откуда же еще, как не с неба, попасть вам на землю? Но какой у вас вид! Вы без шейного платка, без шляпы, без сюртука. Если не знать, кто вы, можно испугаться. Без сюртука! Царь небесный! Неужто и святые нынче теряют рассудок? Но как же вы сюда вошли?

Вопросы так и сыпались. Старик болтал с деревенской словоохотливостью, в которой, однако, не было ничего угрожающего. Все это говорилось тоном, выражавшим изумление и детское простодушие.

– Кто вы и что это за дом? – спросил Жан Вальжан.

– Черт возьми! Вот так история! – воскликнул старик. – Да ведь я же тот самый, кого вы сюда определили, а этот дом – тот самый, куда вы меня определили. Вы разве меня не узнаете?

– Нет, – ответил Жан Вальжан, – Но вы-то откуда меня знаете?

– Вы спасли мне жизнь, – ответил старик.

Он повернулся, и луна ярко осветила его профиль. Жан Вальжан узнал старика Фошлевана.

– Ах, это вы! Теперь я вас узнал.

– Слава богу! Наконец-то! – с упреком в голосе проговорил старик.

– А что вы здесь делаете? – спросил Жан Вальжан.

– Как что делаю? Прикрываю дыни.

Действительно: в ту минуту, когда Жан Вальжан обратился к старику Фошлевану, тот держал в руках конец рогожки, которой намеревался прикрыть грядку с дынями. Он уже успел расстелить несколько таких рогожек за то время, пока находился в саду. Это занятие и заставляло его делать те странные движения, которые видел Жан Вальжан, сидя в сарае.

Старик продолжал:

– Я сказал себе: «Луна светит ярко, значит, ударят заморозки. Наряжу-ка я мои дыни в теплое платье!» Да и вам, – добавил он, глядя на Жана Вальжана с добродушной улыбкой, – право, не мешало бы одеться. Но как же вы здесь очутились?

Жан Вальжан, удостоверившись, что этот человек знает его, хотя и под фамилией Мадлен, говорил с ним уже с некоторой осторожностью. Он стал сам задавать ему множество вопросов. Как ни странно, роли, казалось, переменились. Спрашивал теперь он, непрошеный гость.

– А что это у вас за звонок висит?

– Этот? А для того, чтобы от меня убегали, – ответил Фошлеван.

– То есть как, чтобы от вас убегали?

Старик Фошлеван подмигнул с загадочным видом.

– А вот так! В этом доме живут только женщины; много молодых девушек. Они вообразили, что встретиться со мной опасно. Звоночек предупреждает их, что я иду. Когда я прихожу, они уходят.

– А что это за дом?

– Вот тебе на! Вы хорошо знаете.

– Нет, не знаю.

– Но ведь это вы определили меня сюда садовником.

– Отвечайте мне так, будто я ничего не знаю.

– Ну, хорошо! Это монастырь Малый Пикпюс.

Жан Вальжан начал припоминать. Случай, вернее, провидение забросило его в монастырь квартала Сент-Антуан, куда два года тому назад старик Фошлеван, изувеченный придавившей его телегой, был по его рекомендации принят садовником.

– Монастырь Малый Пикпюс! – повторил он про себя.

– Ну, а все-таки как же это вам, черт возьми, удалось сюда попасть, дядюшка Мадлен? – снова спросил Фошлеван. – Хоть вы и святой, а все-таки мужчина, а мужчин сюда не пускают.

– Но вы-то живете здесь?

– Только я один и живу.

– И все-таки мне необходимо здесь остаться, – сказал Жан Вальжан.

– О господи! – воскликнул Фошлеван.

Жан Вальжан подошел к старику и многозначительно сказал ему:

– Дядюшка Фошлеван! Я спас вам жизнь.

– Я первый вспомнил об этом, – заметил старик.

– Так вот. Вы можете сегодня сделать для меня то, что когда-то я сделал для вас.

Фошлеван схватил своими старыми, морщинистыми, дрожащими реками могучие руки Жана Вальжана и несколько мгновений не в силах был вымолвить ни слова. Наконец он проговорил.

– О, это было бы милостью божьей, если бы я хоть чем-нибудь мог отплатить вам! Мне спасти вам жизнь! Располагайте мною, господин мэр!

Радостное изумление словно преобразило старика, он просиял.

– Что я должен сделать? – спросил он.

– Я вам объясню. У вас есть комната?

– Я живу в отдельном домишке, вон там, за развалинами старого монастыря, в закоулке, где его никто не видит. В нем три комнаты.

Действительно, домишко был так хорошо скрыт за развалинами и так недоступен для взгляда, что Жан Вальжан не заметил его.

– Хорошо, – сказал он. – Теперь исполните две мои просьбы.

– Какие, господин мэр?

– Во-первых, никому ничего обо мне не рассказывайте. Во-вторых, не старайтесь узнать обо мне больше, чем знаете.

– Как вам угодно. Я уверен, что вы не можете сделать ничего дурного, вы всегда были божьим человеком. К тому же вы сами меня определили сюда. Значит, это дело ваше. Я весь ваш.

– Решено! Теперь идите за мной. Мы пойдем за ребенком.

– А-а! Тут, оказывается, еще и ребенок? – пробормотал Фошлеван.

Он молча последовал за Жаном Вальжаном, как собака за хозяином.

Через полчаса Козетта, порозовевшая от жаркого огня, спала в постели старого садовника. Жан Вальжан надел свой шейный платок и редингот. Шляпа, переброшенная через стену, была найдена и подобрана. Пока Жан Вальжан облачался, Фошлеван снял свой наколенник с колокольчиком; повешенный на гвоздь, рядом с корзиной для носки земли, он украшал теперь стену. Мужчины отогревались, облокотясь на стол, на который Фошлеван положил кусок сыру, ситник, поставил бутылку вина и два стакана. Тронув Жана Вальжана за колено, старик сказал:

– Ах, дядюшка Мадлен, вы сразу не узнали меня! Вы спасаете людям жизнь и забываете о них! Это нехорошо. А они о вас помнят. Вы – неблагодарный человек!

## Глава десятая,

## в которой рассказывается о том, как Жавер сделал ложную стойку

События, закулисную, так сказать, сторону которых мы только что видели, произошли при самых простых обстоятельствах.

Когда Жан Вальжан, арестованный у смертного ложа Фантины, в ту же ночь скрылся из городской тюрьмы Монрейля-Приморского, полиция предположила, что бежавший каторжник направился в Париж. Париж – водоворот, в котором все теряется. Все исчезает в этом средоточии мира, как в глубине океана. Нет чащи, которая надежней укрыла бы человека, чем толпа. Это известно всем беглецам. Они погружаются в Париж, словно в пучину; существуют пучины, спасающие жизнь. Полиции это тоже известно, и она ищет в Париже тех, кого потеряла в другом месте. Искала она здесь и бывшего мэра Монрейля-Приморского. Жавера вызвали в Париж, чтобы руководить розысками. Он оказал большую помощь в поимке Жана Вальжана. Его усердие и сообразительность были замечены господином Шабулье, секретарем префектуры при графе Англесе. Вот почему господин Шабулье, и прежде покровительствовавший Жаверу, перевел полицейского надзирателя Монрейля-Приморского в парижскую префектуру. Здесь Жавер оказался человеком полезным во многих отношениях и, надо отдать ему справедливость, внушил к себе уважение, хотя это последнее слово и кажется несколько неожиданным, когда речь идет о подобных услугах.

Жавер больше не думал о Жане Вальжане, – гончие, начав травлю нового волка, забывают о вчерашнем, – как вдруг однажды, в декабре 1823 года, заглянул в газету, хотя вообще не читал их; на этот раз Жавер, как монархист, пожелал узнать о подробностях торжественного въезда принца-генералиссимуса в Байону. Когда он уже дочитывал интересовавшую его статью, в конце страницы одно имя привлекло его внимание-это было имя Жана Вальжана. В газете сообщалось, что каторжник Жан Вальжан умер; форма этого сообщения была настолько официальна, что Жавер не усомнился в его правдивости. Он ограничился замечанием: «Вот уж где запирают накрепко!» Затем он отложил газету и перестал думать о Жане Вальжане.

Спустя некоторое время префектура Сены и Уазы прислала в полицейскую префектуру Парижа донесение о том, что в Монфермейле похищен ребенок, по слухам – при странных обстоятельствах. Девочка семи или восьми лет, – говорилось в донесении, – доверенная матерью местному трактирщику, была похищена незнакомцем; имя девочки – Козетта, она дочь девицы Фантины, умершей неизвестно когда и в какой больнице. Донесение попало в руки Жавера и заставило его призадуматься.

Имя Фантины было ему знакомо. Он припомнил, что Жан Вальжан заставил его расхохотаться, попросив три дня отсрочки, чтобы поехать за ребенком этой девки. Вспомнил он также, что Жан Вальжан был арестован в Париже в тот момент, когда собирался сесть в дилижанс, отъезжавший в Монфермейль. Наблюдения, сделанные тогда же, наводили на мысль, что он воспользовался этим дилижансом вторично и что еще накануне он совершил свою первую поездку в окрестности этого сельца, ибо в самом сельце его не видели. Что ему надо было в Монфермейле, никто не мог угадать. Теперь Жавер это понял. Там жила дочь Фантины. Жан Вальжан ездил за ней. И вот ребенка похитил незнакомец. Кто бы это мог быть? Жан Вальжан? Но Жан Вальжан умер. Никому не говоря ни слова, Жавер сел в омнибус, отъезжавший от гостиницы «Оловянное блюдо» в Дровяном тупике, и поехал в Монфермейль. Он надеялся все привести там в полную ясность, но нашел полную неизвестность.

В первые дни взбешенные Тенардье болтали о происшедшем. Исчезновение Жаворонка наделало в сельце шуму. Появились всевозможные версии их рассказа, превратившегося в конце концов в историю о похищении ребенка. Следствием этого и было донесение,

полученное парижской префектурой. А между тем, когда досада улеглась, Тенардье благодаря своему удивительному инстинкту смекнул, что не всегда стоит беспокоить прокурора его величества и что жалобы на «похищение ребенка» прежде всего направят на него самого и на множество темных его дел зоркое полицейское око. Свет – вот то, чего больше всего страшатся совы. И потом, как объяснит он получение тысячи пятисот франков? Он резко изменил свое поведение, заткнул жене рот и притворялся удивленным, когда его спрашивали об «украденном ребенке». Что такое? Он ничего не понимает. Ну, конечно, первое время он жаловался, что у него так быстро «отняли» его дорогую крошку; он любил ее, и ему хотелось, чтобы она побыла у него еще денек-другой; но за ней приехал ее «дедушка», что вполне естественно. Он придумал «дедушку», и это производило хорошее впечатление. Именно в таком виде и услышал эту историю приехавший в Монфермейль Жавер. «Дедушка» заслонил собою Жана Вальжана.

Однако Жавер некоторыми вопросами, словно зондом, проверил рассказ Тенардье. «Кто был этот „дедушка" и как его звали?» Тенардье простодушно отвечал: «Богатый земледелец. Зовут его, кажется, Гильом Ламбер. Я видел его паспорт».

Ламбер – фамилия хорошая, внушающая полное доверие. Жавер возвратился в Париж. «Жан Вальжан действительно умер, а я простофиля», – сказал он себе.

Он стал уже забывать обо всей этой истории, как вдруг в марте 1824 года до него дошел слух о какой-то проживающей в квартале Сен-Медар странной личности, которую окрестили «нищим, который подает милостыню». Болтали, будто это богатый рантье; имени его никто не знал; жил он с восьмилетней девочкой, которая помнит только, что она из Монфермейля. Опять Монфермейль! Это заставило Жавера насторожиться. Бывший псаломщик, а ныне соглядатай под личиной нищего, которому этот человек подавал милостыню, добавил несколько подробностей. «Этот рантье нелюдим, выходит на улицу только по вечерам, ни с кем не разговаривает, разве только с бедными, ни с кем дела не имеет. На нем старый желтый редингот стоимостью в несколько миллионов, так как он весь подбит банковыми билетами». Последнее обстоятельство подстрекнуло любопытство Жавера. Чтобы увидеть вблизи этого фантастического рантье и вместе с тем чтобы не вспугнуть его, он взял однажды у псаломщика его лохмотья и устроился на том месте, где старый соглядатай, сидя каждый вечер на корточках и гнусавя псалмы, следил за прохожими.

«Подозрительная личность» действительно подошла к переодетому Жаверу и подала ему милостыню. Жавер поднял голову и вздрогнул, решив, что узнал Жана Вальжана, так же как вздрогнул Жан Вальжан, когда предположил, что узнал Жавера.

Но он мог ошибиться в темноте: ведь о смерти Жана Вальжана было объявлено официально; у Жавера оставались большие сомнения, а в таких случаях, будучи человеком щепетильным, Жавер никогда никого не задерживал.

Он дошел следом за стариком до лачуги Горбо и тут без особого труда заставил разговориться старуху. Та подтвердила, что желтый редингот подбит миллионами, и рассказала о случае с билетом в тысячу франков. Она «сама его видела»! Она «сама его трогала»! Жавер снял комнату и в тот же вечер в ней водворился. Он подошел к двери таинственного жильца в надежде услышать звук его голоса, но Жан Вальжан, заметив сквозь замочную скважину огонек его свечи, не произнес ни слова и расстроил планы сыщика.

На следующий день Жан Вальжан решил переехать. Звук падения оброненной им пятифранковой монеты привлек внимание старухи, – услышав звон денег, она подумала, что жилец собирается съезжать с квартиры, и поспешила предупредить Жавера. Ночью, когда Жан Вальжан вышел, Жавер поджидал его, спрятавшись со своими двумя помощниками за деревьями бульвара.

Жавер попросил в префектуре дать ему в помощь людей, но не назвал имени того, кого надеялся изловить. Это была его тайна, и он не хотел открывать ее по трем причинам: во-

первых, малейшее неосторожное слово могло возбудить подозрение Жана Вальжана; во-вторых, наложить руку на старого беглого каторжника, считающегося умершим, на преступника, который в полицейских списках числился в рубрике самых опасных злодеев, было таким блестящим делом, которое старые ищейки парижской полиции не уступили бы новичку, и Жавер боялся, что у него отнимут галерника; наконец, артист своего дела, Жавер любил неожиданность. Он ненавидел заранее возмещенные удачи, которые утрачивают благодаря разговорам о них свежесть и новизну. Он предпочитал совершать свои самые блестящие дела в тиши, а потом внезапно объявлять о них.

Жавер следовал за Жаном Вальжаном, переходя от дерева к дереву, от угла одной улицы до угла другой, ни на минуту не теряя его из виду. Даже когда Жан Вальжан считал себя в полной безопасности, Жавер не спускал с него глаз.

Почему же он не задержал Жана Вальжана? Потому что он все еще сомневался.

Не следует забывать, что как раз в ту эпоху полиция была ограничена в своих действиях: ее стесняла свободная печать. Незаконные аресты, о которых было напечатано в газетах, наделали шуму, дойдя до сведения палат и внушив робость префектуре. Посягнуть на свободу личности считалось делом серьезным. Полицейские боялись ошибиться; префект возлагал всю ответственность на них; промах вел за собой отставку. Можно себе представить, какое впечатление произвела бы в Париже следующая заметка, перепечатанная двадцатью газетами: «Вчера гулявший со своей восьмилетней внучкой седовласый старец, почтенный рантье, был арестован как беглый каторжник и препровожден в арестный дом»!

Кроме того, повторяем, Жавер был в высшей степени щепетилен; требования его совести вполне совпадали с требованиями префекта. Он действительно сомневался.

Жан Вальжан шел впереди в темноте.

Печаль, беспокойство, тревога, усталость, новая неожиданная беда – вынужденное бегство ночью и поиски убежища для себя и для Козетты, необходимость приноравливать свои шаги к шагам ребенка незаметно для него самого настолько изменили походку Жана Вальжана и придали ему такой старческий вид, что даже полиция в лице Жавера могла ошибиться – и ошиблась. Невозможность подойти поближе, одежда старого эмигранта-наставника, заявление Тенардье, превратившее Жана Вальжана в «дедушку», наконец, уверенность в смерти его на каторге – все вместе усиливало нерешительность Жавера.

У него было возникла мысль потребовать, чтобы старик предъявил документ. Но если этот человек не Жан Вальжан и не старый почтенный рантье, то, по всей вероятности, это один из молодцов, искусно впутанных в темный клубок парижских преступлений, один из главарей опасной шайки, подающий милостыню, чтобы прикрыть этим другие свои качества, – старый, испытанный прием! Конечно, у него есть сообщники, соучастники, есть квартиры, где он намеревался укрыться. Петли, которые он делал, кружа по улицам, доказывали, что это не просто старик. Задержать его сразу же – значило бы «зарезать курицу, несущую золотые яйца». Почему бы не повременить? Жавер был совершенно уверен, что он от него не уйдет.

Итак, он шел несколько озадаченный, сотни раз спрашивая себя, кто же эта загадочная личность.

И лишь на улице Понтуаз при ярком свете из кабачка он узнал Жана Вальжана; теперь сомнений у него уже не оставалось.

В этом мире есть два существа, испытывающие равный по силе глубокий внутренний трепет: мать, нашедшая ребенка, и тигр, схвативший добычу. Жавер ощутил именно такой трепет.

Как только он уверился, что перед ним Жан Вальжан, опасный каторжник, он подумал о том, что взял с собой всего лишь двух помощников и послал за подкреплением к полицейскому приставу улицы Понтуаз. Прежде чем сорвать ветку терновника, надевают перчатки.

Из-за промедления и остановки в переулке Ролен для совещания с полицейскими Жавер чуть было не потерял след. Однако он быстро сообразил, что Жан Вальжан постарается положить между собою и своими преследователями препятствие – реку. Он склонил голову и задумался, подобно ищейке, обнюхивающей землю, чтобы не сбиться с пути. С присущим ему непогрешимым инстинктом Жавер пошел прямо к Аустерлицкому мосту и спросил сборщика пошлины:

– Вы не видали мужчину с маленькой девочкой?

– Да, я взял с него два су, – ответил сборщик.

Этот ответ осветил положение. Жавер ступил на мост как раз в ту минуту, когда Жан Вальжан, держа Козетту за руку, переходил освещенное луной пространство. Увидев, что он направился к Зеленой дороге, Жавер вспомнил о тупике Жанро, представлявшем собой ловушку, вспомнил и о единственном выходе из прямой стены на Пикпюс. Он, как выражаются охотники, «обложил зверя» тут же, обходным путем, послав одного из своих помощников стеречь этот выход. Он задержал направлявшийся в Арсенал для смены караула патруль и заставил его следовать за собой. В подобной игре солдаты – козыри. Кроме того, есть правило: хочешь загнать кабана – будь опытным охотником и имей побольше собак. Приняв все эти меры, представив себе, что Жан Вальжан зажат между тупиком справа, полицейским – слева, а сзади – им самим, Жавером, он понюхал табаку.

И вот началась игра. Это был момент упоительной сатанинской радости; он позволил человеку идти впереди себя, зная, что человек в его власти, желая по возможности отдалить момент ареста и наслаждаясь сознанием, что этот с виду свободный человек на самом деле пойман. Он обволакивал его сладострастным взглядом паука, позволяющего мухе полетать, или кота, позволяющего мыши побегать. Когти и клешни ощущают чудовищную чувственную радость, порождаемую барахтаньем животного в их мертвой хватке. Какое наслаждение – душить!

Жавер ликовал! Петли его сети были надежны. Он был уверен в успехе; оставалось сжать кулак.

Как бы ни был решителен и силен, как бы ни был охвачен решимостью отчаяния Жан Вальжан, Жаверу, у которого была столь многочисленная свита, мысль о сопротивлении беглеца казалась невозможной.

Он медленно подвигался вперед, обыскивая и обшаривая по пути все углы и закоулки, словно карманы вора.

Когда же он достиг центра паутины, то мухи там не оказалось.

Легко себе представить его ярость.

Он расспросил своего дозорного, стерегшего Прямую стену и Пикпюс. Тот, находясь безотлучно на своем посту, не видел, чтобы здесь проходил мужчина.

Случается, что олень уже взят за рога – и вдруг его как не бывало; он уходит, хотя бы даже вся свора собак повисла на нем. Тут самые опытные охотники разводят руками. Даже Дювивье, Линьивиль и Депрез – и те не знают, что сказать. Одна из таких неудач заставила Артонжа воскликнуть: «Это не олень, а оборотень!»

Сейчас Жавер охотно повторил бы этот возглас.

Его разочарование больше походило на бессильную ярость.

Как Наполеон допустил ошибки в войне с Россией, Александр – в войне с Индией, Цезарь – в африканской войне, Кир – в скифской, так и Жавер допустил ошибки в походе на Жана Вальжана. Жавер, быть может, сделал промах, медля признать в нем бывшего каторжника. Ему следовало довериться первому впечатлению. Жавер сделал промах, не арестовав его прямо на месте, в лачуге Горбо. Он сделал промах, не арестовав его на улице Понтуаз, когда окончательно удостоверился, что это Жан Вальжан. Он сделал промах, совещаясь на

перекрестке Ролен со своими помощниками, облитый ярким лунным светом. Конечно, обмен мнениями полезен; не мешает знать и выспросить, что думают ищейки, заслуживающие доверия. Но охотник, преследующий таких беспокойных животных, как волк и каторжник, должен быть очень предусмотрительным. Жавер, озабоченный тем, чтобы пустить гончих по верному следу, вспугнул зверя, дав ему учуять свору и скрыться. Основной промах Жавера заключался в том, что, напав на Аустерлицком мосту на след Жана Вальжана, он повел страшную и вместе с тем детскую игру, стараясь удержать такого человека, как Жан Вальжан, на кончике нити. Жавер мнил себя сильнее, чем он был на самом деле; он решил, что может поиграть в кошки-мышки со львом. В то же время Жавер думал, что он недостаточно силен, когда счел необходимым послать за подкреплением. Роковая предусмотрительность, повлекшая за собою потерю драгоценного времени! Хотя Жавер и совершил все эти ошибки, все же он оставался одним из самых знающих и исполнительных сыщиков, когда-либо существовавших на свете. Он в полном смысле слова был тем, что на охотничьем языке называется «выжлец». Но кто же без греха?

И на великих стратегов находит затмение.

Подобно тому, как множество свитых бечевок образуют канат, нередко огромная глупость является всего лишь суммой глупостей мелких. Рассучите канат, бечеву за бечевой, рассмотрите, каждую в отдельности, мельчайшие решающие причины, приведшие к большой глупости, и вы легко поймете все. «И только-то», – скажете вы. Но скрутите, свяжите их снова – и вы увидите, как это страшно. Это Аттила, который стоит в нерешительности между Марцианом на Востоке и Валентинианом на Западе: это Аннибал, который мешкает в Капуе; это Дантон, засыпающий в Арсисе-на-Обе.

Как бы то ни было, когда Жавер увидел, что Жан Вальжан ускользнул от него, он не потерял головы. Полный уверенности, что бежавший от полицейского надзора каторжник не мог уйти далеко, он расставил стражу, устроил западни и засады и всю ночь рыскал по кварталу. Первое, что ему бросилось в глаза, это непорядок с уличным фонарем: его веревка была обрезана. Однако эта важная улика ввела его в заблуждение и заставила направить поиски в сторону тупика Жанро. В этом тупике встречаются довольно низкие стены, выходящие в сады, которые прилегают к огромным невозделанным участкам земли. По-видимому, Жан Вальжан бежал в этом направлении. Если бы он забежал в тупик Жанро подальше, это было бы его гибелью. Жавер так тщательно обшарил сады и участки, словно искал иголку.

На рассвете он оставил двух сметливых людей на страже, а сам вернулся в префектуру, устыженный, словно пойманный вором сыщик.

## Книга шестая

## Малый Пикпюс

### Глава первая.

### Улица Пикпюс, номер 62

Полвека назад ворота дома номер 62 по улице Малый Пикпюс ничем не отличались от любых ворот. За этими воротами, по обыкновению гостеприимно полуоткрытыми, не было ничего мрачного: там виднелся двор, окруженный стенами, увитыми виноградом, да слонявшийся по двору привратник. Над стеной, в глубине, можно было заметить высокие деревья. Когда луч солнца оживлял двор, а стаканчик вина оживлял привратника, трудно было пройти мимо дома номер 62 по улице Малый Пикпюс, не унося с собой представления о чем-то радостном. Однако место, промелькнувшее перед вашими глазами, было мрачное место.

Порог встречал вас улыбкой; дом молился и стенал.

Если вам удавалось пройти мимо привратника, – что было отнюдь не просто, вернее почти для всех невозможно, ибо существовало некое «Сезам, откройся!», которое следовало знать, – итак, если вам удавалось миновать привратника, то вы входили направо, в маленькие сенцы, откуда вела наверх лестница, словно сдавленная между двумя стенами и такая узкая, что

подниматься по ней мог только один человек; если эта лестница не отвращала вас своей канареечного цвета окраской и коричневым плинтусом, если вы отваживались подняться по ней, то, пройдя первую площадку, затем вторую, вы попадали в коридор второго этажа, где клеевая желтая краска и коричневый плинтус продолжали вас преследовать с каким-то спокойным ожесточением. Лестница и коридор освещались двумя великолепными окнами. Коридор делал поворот и становился темным. Если вы огибали этот мыс, то, пройдя несколько шагов, оказывались перед дверью, тем более таинственной, что она не была заперта. Толкнув ее, вы попадали в маленькую квадратною комнату размером около шести футов, с плиточным полом, вымытую, чистую, холодную, оклеенною светло-желтыми обоями с зелеными цветочками, по пятнадцати су за рулон. Бледный хмурый свет проникал слева, сквозь маленькие стекла большого решетчатого окна почти во всю ширину стены. Вы оглядываетесь, но никого не видите; прислушиваетесь, но ни шагов, ни звука голоса не слышите. Стены голы, комната ничем не обставлена; даже стула, и того нет.

Вы снова оглядываетесь и замечаете в стене, напротив двери, четырехугольное отверстие приблизительно в квадратный фут, забранное железной решеткой из пересекающихся черных крепких узловатых прутьев, образующих мелкие квадраты – я бы даже сказал, почти петли, примерно дюйма в полтора по диагонали Зеленые цветочки светло-желтых обоев спокойно и ровно тянутся до этих железных прутьев, не пугаясь соседства и не разлетаясь от него вихрем во все стороны. Если предположить, что нашлось бы живое существо такой удивительной худобы, которая позволила бы ему попытаться влезть или вылезть сквозь это квадратное отверстие, то решетка все равно помешала бы этому. Но если она служила преградой телу, то не препятствовала взгляду, иными словами – душе. Казалось, это было предусмотрено, ибо за решеткой, но не совсем вплотную к ней была вделана в стену жестяная пластинка, вся пробитая дырочками, более мелкими, чем в шумовке. Внизу в этой пластинке была прорезана щель, точь-в-точь как в почтовом ящике. Направо от зарешеченного отверстия висел проволочный шнур, прикрепленный к рычажку звонка.

Если за этот шнурок дергали, то звонил колокольчик, и тогда где-то совсем близко раздавался голос, заставлявший вас вздрогнуть.

– Кто там? – спрашивал голос.

Это был нежный женский голос, такой нежный, что казался скорбным.

Но здесь необходимо было знать магическое слово. Если вы его не знали, то голос умолкал, и стена вновь погружалась в безмолвие, словно по другую ее сторону царила могильная, потревоженная вами на мгновение тьма.

Если же магическое слово вам было известно, то голос говорил:

– Войдите направо.

Тогда вы замечали направо, против окна, дверь с застекленной верхней рамой, выкрашенную в серый цвет. Вы нажимали дверную ручку, переступали порог и испытывали точно такое же впечатление, как если бы вошли в ложу бенуара, когда решетка еще не опущена, а люстра не зажжена. Действительно, вы как будто попадали в узкую театральную ложу, еле освещенную скупым светом, льющимся сквозь стеклянную дверь, с двумя старыми стульями и растрепанной циновкой, – в настоящую ложу с высоким, по грудь, барьером, к которому была прибита сверху пластинка черного дерева. Эта ложа была забрана решеткой; только не деревянной позолоченной решеткой, как в Опере, но уродливой, грубо, кое-как сколоченной решетчатой рамой из железных брусьев, прикрепленных к стене огромными скрепами, похожими на сжатые кулаки.

Несколько мгновений спустя, когда вы начинали привыкать к этому полумраку подвала, вы пытались проникнуть взглядом за решетку. Но не дальше как в шести дюймах за нею перед вами вставала преграда из черных ставен, связанных и укрепленных деревянными

перекладинами светло-коричневого цвета. То были складные ставни, состоявшие из длинных и тонких полос, закрывавших всю решетку. Они всегда были закрыты.

Спустя несколько минут за ставнями раздавался голос:

– Я здесь. Что вам угодно?

Это был голос той, которую вы любили, а порою той, которую вы обожали. Но вы никого не видели. Слышно было лишь едва уловимое дыхание. Казалось, вам вещает дух, заклинаниями вызванный из могилы.

При благоприятных для вас условиях, что случалось очень редко, одна из узких полос какой-нибудь ставни приоткрывалась, и дух превращался в видение. За решеткой, за ставнями, вы различали, насколько это допускала решетка, чью-то голову, вернее, рот и подбородок; все остальное было скрыто черным покрывалом. Вы видели черный апостольник и смутные очертания фигуры, закутанной в черный саван. Голова говорила с вами, но не смотрела на вас и не улыбалась.

Падавший из-за вашей спины свет был рассчитан на то, чтобы вы видели фигуру светлой, а она вас – темным. Освещение было символическим.

Ваш взор силится проникнуть сквозь отверстие. Плотная мгла окутывает фигуру в трауре. Ваши глаза стараются разглядеть во мгле, что окружает это видение. Но вскоре вы убеждаетесь, что разглядеть ничего нельзя. Вы видите ночь, пустоту, тьму, зимний туман, смешанный с испарениями, исходящими от могил; вокруг жуткий покой, тишина, в которой ничего нельзя уловить, даже вздоха, мрак, в котором ничего нельзя различить, даже призрака.

Вы видите внутренность монастыря.

Это внутренность угрюмого и сурового дома, именуемого монастырем бернардинок Неустанного поклонения. Ложа, где вы находитесь, – приемная. Голос, который вы услышали, – голос дежурной послушницы, всегда неподвижно сидящей за стеной, возле квадратного отверстия, и защищенной, словно двойным забралом, железной решеткой и жестяной пластинкой с множеством отверстий.

В приемной было окно, выходившее на свет божий, а внутри монастыря ни одного окна не было, – вот почему в забранной решеткой ложе царил такой мрак. Взоры мирян не смели проникать в это священное место.

Однако по ту сторону мрака был свет; в смерти таилась жизнь. Хотя Малый Пикпюс был самым строгим из всех монастырей, мы постараемся проникнуть туда, поможем проникнуть туда и читателю и расскажем, не переступая границ дозволенного, о том, чего никогда ни один рассказчик не видел, а потому и не мог рассказать.

## Глава вторая.
## Устав Мартина Верга

Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок, соблюдавших устав Мартина Верга.

Следовательно, эти бернардинки принадлежали не к Клерво – как бернардинцы, но к Сито – как бенедиктинцы; иными словами, их покровителем был не святой Бернар, а святой Бенедикт.

Кто когда-либо перелистывал старые фолианты, тот знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию бернардинок-бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Саламанке, а подчиненная ей – в Алкале.

Конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы.

Слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычайного для латинской церкви. Только с одним орденом св. Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации с уставом Мартина Верга, еще четыре конгрегации: две в Италии – Монте-Кассини и св. Юстины Падуанской; две во Франции – Клюни и Сен-Мор, и еще девять орденов –

Валомброза, Грамон, целестинцы, камальдульцы, картезианцы, смиренные, орден Масличной горы, орден св. Сильвестра и, наконец, Сито; Сито, являвшийся для других орденом-стволом, представлял собою отпрыск ордена св. Бенедикта. Основание Сито св. Робертом, аббатом Молемским в епархии Лангр, восходит к 1098 году. Однако св. Бенедикт еще в 529 году, в возрасте семнадцати лет, изгнал дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме и удалившегося потом в пустыню Субиако (он был тогда стар; уж не пожелал ли он стать отшельником?).

После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из ивовых прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав бернардинок – бенедиктинок Мартина Верга. Они носят черную одежду и апостольник, который, согласно велению св. Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускающаяся до самых глаз, – вот их одежда. Все – черное, кроме белой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обет носят на поясе четки.

Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают «неустанное поклонение», так же как бенедиктинки, называемые сестрами Святого причастия, которым в начале этого столетия принадлежали в Париже два монастыря: один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден бернардинок – бенедиктинок Малого Пикпюса, о которых идет речь, был совершенно не похож на орден сестер Святого причастия, обосновавшихся на Новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставах было множество различий; различна была и одежда. Бернардинки – бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники, бенедиктинки Святого причастия и с Новой Сент-Женевьевской улицы – белые; кроме того, у них на груди висело серебряное или медное позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахини Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тампль неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть совершенно разными. Только в соблюдении одного этого правила и заключается сходство сестер Святого причастия и бернардинок Мартина Верга, подобно двум другим, резко отличным один от другого и порой даже враждующим орденам: итальянской Оратории, основанной Филиппом де Нери во Флоренции, и французской Оратории, основанной Пьером де Берюль в Париже, которые тем не менее сходятся в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также Пресвятой девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом.

Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга.

Бернардинки-бенедиктинки, соблюдающие этот устав, весь год едят постное, постом и в многие другие показанные им дни вообще воздерживаются от пищи, встают, прерывая первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи читать молитвенник и петь утреню. Весь год они спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моются, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разговаривают между собой лишь во время короткого отдыха и в течение полугода – от 14 сентября, праздника Воздвиженья, и до Пасхи – носят рубашки из колючей шерстяной материи. Полгода – это послабление, по уставу их следует носить весь год; но шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Надо было ограничить ношение такой одежды. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно несколько дней лихорадит. Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах – вот их обеты, отягченные к тому же уставом.

Настоятельница избирается сроком на три года монахинями, которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница

может быть избрана вновь только дважды; таким образом, самый долгий допустимый срок правления настоятельницы – девять лет.

Монахини никогда не видят священника, совершающего богослужение, так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель стоит на амвоне, они опускают на лицо покрывала. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь – это архиепископ, стоящий во главе епархии.

Впрочем, еще садовник; но садовник – старик; чтобы он всегда был в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик.

Монахини подчиняются настоятельнице, и подчинение их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всей ее самоотреченности. Они повинуются, словно голосу Христа, ut uoci Christi, жесту, малейшему знаку, ad nutum, ad primum signum, повинуются немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, prompte, hilariter, perseveranter et caeca quadam obedientia, словно подпилок в руке рабочего, quasi limam in manibus fabri, и не имеют права ни читать, ни писать без особого разрешения – legere vel scribere non addiscerit sine expressa superioris licentia.

Каждая из них совершает то, что называется искуплением. Искупление – это раскаяние во всех грехах, во всех ошибках, во всех провинностях, во всех насилиях, во всех несправедливостях, во всех преступлениях, совершаемых на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая «искупление», стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди руки, с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, крестообразно раскинув руки; это все, что она может себе позволить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом есть почти божественное величие.

Так как этот обряд исполняется у столба, на котором горит свеча, то в монастыре так же часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини из смирения даже предпочитают последнюю формулу, заключающую в себе мысль о каре и унижении.

«Совершать искупление» является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если сзади ударит молния.

Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая коленопреклоненная монахиня. Стояние длится час. Монахини сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение.

Настоятельницы и монахини носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например: мать Рождество, мать Зачатие, мать Введение, мать Страсти господни. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены.

Если ты на них смотришь, то видишь только их рот. У всех желтые зубы. Зубная щетка никогда не проникала в монастырь. Чистить зубы – значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертано: погубить свою душу.

Они не говорят моя или мой. У них нет ничего своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют наша, например: наше покрывало, наши четки; даже о своей рубашке они скажут: «наша рубашка». Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету: молитвеннику, святыне, образку. Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они обязаны отдать его. Они вспоминают слова св. Терезы, которой одна знатная дама во время своего пострижения сказала: «Позвольте мне послать за Библией – ею я очень дорожу». – «А! Так вы чем-то дорожите? Тогда не идите к нам».

Всем монахиням воспрещается затворять свои двери, иметь свой уголок, свою комнату. Кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, она произносит: «Хвала и поклонение святым дарам престола!» А другая отвечает: «Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а уж из кельи кроткий голос поспешно отвечает: «Во веки веков!» Как всякий обряд, это, в силу привычки, делается машинально; часто одна отвечает: «Во веки веков» еще до того, как первая успела произнести: «Хвала и поклонение святым дарам престола», тем более что это довольно длинная фраза. У визитандинок входящая произносит: Ave Maria[51], а та, к кому входят, отвечает: Gratia plena[52]. Это их приветствие, которое действительно «исполнено прелести».

Каждый час в монастырской церкви слышатся три удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обет, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе произносят, если пробило, например, пять часов: «В пять часов и на всякий час хвала и поклонение святым дарам престола!» Если пробило восемь: «В восемь часов и на всякий час» и т. д., смотря по тому, какой час прозвонил колокол.

Этот обычай, преследующий цель прерывать мысль и неустанно направлять ее к богу, существует во многих общинах; видоизменяется лишь форма. Так, например, в общине Младенца Иисуса говорят: «В этот час и на всякий час да пламенеет в сердце моем любовь к Иисусу!»

Бенедиктинки-бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже пятьдесят лет совершают службу торжественно, придерживаясь строгого монастырского распева, и всегда полным голосом в продолжение всей службы. Всюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят: «Иисус, Мария, Иосиф». Заупокойную службу они поют на низких нотах, едва доступных женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое.

Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако «правительство», как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава.

Они выхлопотали право, хоть и в слабое себе утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Вожирар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине.

По четвергам монахини выстаивают позднюю обедню, вечерню и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют, установленные щедрой рукою церкви когда-то во Франции и до сих пор еще устанавливаемые ею в Испании и в Италии. Часы стояния монахинь бесконечны. Что же касается количества и продолжительности молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной монахини: «Молитвы белиц тяжки, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее».

Раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Все монахини поочередно опускаются перед ними на колени на каменный пол и каются вслух в тех провинностях и грехах, которые они совершили в течение недели. После исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитимью.

Кроме исповеди вслух, во время которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый повин для малых прегрешений. Повиниться – значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как «матушка», не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что та может встать. Винятся во всяких пустяках: разбили

стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько секунд к богослужению, сфальшивили, когда пели в церкви, и т. д. Повин совершается добровольно; повинница (это слово здесь этимологически вполне оправданно) сама обвиняет себя и сама выбирает для себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре клирошанки поют псалмы перед большим аналоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то клирошанка при пении псалма, начинавшегося с Ecce[53], громко взяла вместо Ecce три ноты – ut, si, sol; за свою рассеянность она должна была приносить повин в продолжение всей службы. Грех ее усугубило то, что весь капитул рассмеялся.

Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то, будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден лишь ее рот.

Только настоятельница имеет право общаться с посторонними. Прочие могут видеться с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка кто-либо из посторонних выразит желание повидать монахиню, которую знавал или любил в миру, то ему приходится вести длительные переговоры. Если разрешения о свидании просит женщина, то его иногда дают; монахиня приходит, и посетительница беседует с ней через ставни, которые открываются лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, мужчинам в подобной просьбе отказывают.

Таков устав св. Бенедикта, строгость которого еще усилил Мартин Верга.

Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом три из них сошли с ума.

## Глава третья.
## Строгости

В этом монастыре надо по крайней мере два года, а иногда и четыре, пробыть белицей и четыре года послушницей. Редко кто принимает великий постриг ранее двадцати трех – двадцати четырех лет. Бернардинки-бенедиктинки из конгрегации Мартина Верга не допускают в свой орден вдов.

В кельях они разнообразными и ведомыми им одним способами предаются умерщвлению плоти, о чем они никому не должны говорить.

В тот день, когда послушница принимает постриг, она облачается в свой лучший наряд, голову ей убирают белыми розами, помадят волосы, завивают их; затем она простирается ниц; на нее набрасывают большое черное покрывало и читают над ней отходную. Затем монахини становятся в два ряда: один, проходя мимо нее, печально поет: «Наша сестра умерла», а другой отвечает ликующе: «Жива во Иисусе Христе!»

В описываемую нами эпоху при монастыре существовал закрытый пансион. Воспитанницы пансиона девушки благородного происхождения и почти все богатые; среди них находились девицы Сент-Олер, Белиссен и одна англичанка, носившая знатную католическую фамилию Тальбот. Девушкам, воспитываемым монахинями в четырех стенах, прививалось отвращение к миру и к светскому кругу интересов. Одна из них как-то сказала нам: «При виде мостовой я вся содрогалась». Они носили голубые платья и белые чепчики, на груди у них приколото было изображение Святого духа из золоченого серебра или меди. По большим праздникам, как, например, в день св. Марты, в знак особой милости они удостаивались величайшего счастья – облачаться в монашескую одежду, целый день выстаивать службы и совершать обряды по уставу св. Бенедикта. Вначале монахини давали им свои черные одежды. Однако настоятельница запретила давать одежду, сочтя это делом богопротивным. Это разрешалось только послушницам. Любопытно, что исполнение роли монахинь, допускаемое и поощряемое в монастыре, несомненно, с тайной целью вербовать новообращенных и вызывать в этих детях влечение к монашеской жизни, доставляло воспитанницам истинное удовольствие и душевный отдых. Они просто-напросто забавлялись. Это было ново, это их развлекало. Наивная детская забава бессильна, однако, убедить нас, мирян, в том, что держать в руках кропильницу и часами стоять перед аналоем, самозабвенно распевая псалмы, – величайшее блаженство.

Воспитанницы исполняли все монастырские правила, за исключением умерщвления плоти. Иные, по выходе из монастыря и будучи уже несколько лет замужем, не могли отвыкнуть от того, чтобы не произнести скороговоркой: «Во веки веков!» всякий раз, когда стучались к ним в дверь. Как и монахини, воспитанницы виделись с родными только в приемной. Даже матери и те не имели права целовать их. Вот образец подобной строгости. Как-то одну воспитанницу посетила ее мать в сопровождении трехлетней дочери. Воспитанница плакала, ей очень хотелось обнять свою сестренку. Нельзя. Она умоляла позволить девочке хотя бы просунуть ручку сквозь прутья решетки, чтобы она могла ее поцеловать. Но и в этом ей было отказано, отказано почти с негодованием.

## Глава четвертая.

## Веселье

И все же девушки оставили о себе в этой суровой обители много прелестных воспоминаний.

В определенные часы монастырь словно начинал искриться детским весельем. Звонили к рекреации. Одна из дверей поворачивалась на своих петлях. Птицы щебетали: «Чудесно! А вот и дети!» Поток юности заливал сад, выкроенный крестом, точно саван. Сияющие личики, белые лобики, невинные глазки, блещущие радостным светом, – все краски утренней зари расцветали во мраке. После псалмопений, благовеста, похоронного звона, богослужений внезапно раздавался шум нежнее гудения пчелок, – то шумели девочки! Распахивался улей веселья, и каждая несла в него свой мед. Играли, перекликались, собирались кучками, бегали; в уголках стрекотали прелестные белозубые ротики; черные рясы издали надзирали за смехом, тени наблюдали за солнечными лучами. Ну и пусть себе! Кругом все лучилось и все смеялось. На долю этих мрачных стен тоже выпадали ослепительные минуты. Они присутствовали при этом кружении пчелиного роя, как бы слегка посветлев от бьющей ключом радости. Точно дождь розовых лепестков проливался над трауром. Девочки резвились под присмотром монахинь – взор праведных не смущает невинных. Благодаря детям в веренице строгих часов был час простодушного веселья. Младшие прыгали, старшие плясали. Небесной чистотой веяло от этих детских игр. Нет ничего более очаровательного и ничего более величественного, чем зрелище свежих, распускающихся душ. Гомер вместе с Перро охотно пришли бы похохотать сюда, в этот мрачный сад, где царили юность, здоровье, шум, крики, беспечность, радость и счастье, способные развеселить всех прабабок – из эпопеи и из побасенок, из дворцов и хижин, начиная с Гекубы и кончая бабушкой из старых сказок.

В этой обители, быть может, чаще, чем где бы то ни было, слышались те детские «словечки», в которых так много очарования и которые заставляют нас задумчиво улыбаться. Именно в этих четырех мрачных стенах однажды пятилетняя девочка воскликнула: «Матушка! Одна старшая только что сказала, что мне осталось пробыть здесь только девять лет и десять месяцев. Какое счастье!»

Здесь же произошел следующий памятный разговор:

Мать-изборщица. О чем ты плачешь, дитя мое?

Шестилетняя девочка (рыдая). Я сказала Алисе, что знаю урок по истории Франции. А она говорит, что я не знаю, хотя я знаю!

Алиса (девяти лет). Нет, не знает.

Мать-изборщица. Как же так, дитя мое?

Алиса. Она велела мне открыть книгу где попало и задать ей оттуда любой вопрос и сказала, что ответит на него.

– Ну и что же?

– И не ответила.

– Постой! А о чем ты ее спросила?

– Я открыла книгу где попало, как она сама велела, и задала ей первый вопрос, который мне попался на глаза.

– Какой же это был вопрос?

– Вот какой: Что же произошло потом?

Там же было сделано глубокомысленное замечание по поводу довольно прожорливого попугая, принадлежавшего одной монастырской постоялице:

# «Ну не душка ли он? Склевывает верх тартинки, как человек!»

На одной из плит найдена была исповедь, заранее записанная для памяти семилетней грешницей:

# «Отец мой, я грешна в скупости.

# Отец мой, я грешна в прелюбодеянии.

# Отец мой, я грешна в том, что смотрела на мужчин».

На дерновой скамейке розовый ротик шестилетней девочки пролепетал сказку, которой внимало голубоглазое дитя лет четырех-пяти:

*«Жили-были три петушка; в их стране росло много-много цветов. Они сорвали цветочки и спрятали в свои кармашки. А потом сорвали листики и спрятали их в игрушки. В той стране жил волк; и там был большой лес; и волк жил в лесу; и он съел петушков».*

А вот другое произведение:

*«Раз как ударят палкой!*
*Это Полишинель дал по голове кошке.*
*Ей было совсем не приятно, ей было больно.*
*Тогда одна дама посадила Полишинеля в тюрьму».*

Там же бездомная девочка-найденыш, которую воспитывали в монастыре из милости, произнесла трогательные, душераздирающие слова. Она слышала, как другие девочки говорят о своих матерях, и прошептала, сидя в своем углу:

*«А когда я родилась, моей мамы со мной не было!»*

В монастыре жила толстая сестра-привратница, которая постоянно сновала по коридорам со связкой ключей. Звали ее сестра Агата. Старшие-то есть те, которым было больше десяти лет, – прозвали ее «Агата-ключ».

В трапезную, большую продолговатую четырехугольную комнату, свет проникал лишь из крытой, с резными арками галереи, приходившейся вровень с садом. Это была мрачная, сырая и, как говорили дети, полная зверей комната. Все близлежащие помещения наградили ее своей долей насекомых. Каждому углу трапезной воспитанницы дали свое выразительное название. Был угол Пауков, угол Гусениц, угол Мокриц и угол Сверчков. Угол Сверчков был рядом с кухней, и его особенно чтили. Там было теплее. От трапезной прозвища перешли к пансиону; как некогда в коллеже Мазарини, их носили четыре землячества. Каждая воспитанница

принадлежала к одному из четырех землячеств, в зависимости от того, в каком углу она сидела за трапезой. Однажды посетивший монастырь архиепископ заметил входившую в класс хорошенькую, румяную девочку с чудными белокурыми волосами; он спросил у другой воспитанницы, очаровательной брюнеточки со свежими щечками, стоявшей возле него:

– Кто эта девочка?

– Это паук, ваше высокопреосвященство.

– Вот оно что! А вон та?

– Сверчок.

– А эта?

– Гусеница.

– Вот как! Ну, а ты?

– А я мокрица, ваше высокопреосвященство.

У каждого закрытого пансиона есть свои особенности. В начале этого столетия Экуан был одним из тех суровых и почти священных мест, где в уединении протекало детство пансионерок. В Экуане в День святых даров перед крестным ходом их делили на «дев» и на «цветочниц». Там были также «балдахинщицы» и «кадильщицы»; первые несли кисти от балдахина, вторые кадили, шествуя перед чашей со святыми дарами. Цветы, разумеется, несли «цветочницы». Впереди выступали четыре «девы». Утром этого торжественного дня нередко можно было слышать в спальной такой вопрос:

– А кто у нас дева?

Госпожа Кампан приводит следующие слова «младшей», семилетней воспитанницы, обращенные к «старшей», шестнадцатилетней, возглавлявшей процессию, тогда как младшая шла сзади: «Так ты же дева, а я нет».

## Глава пятая.
## Развлечения

Над дверью трапезной крупными черными буквами была написана молитва, называемая воспитанницами «Беленькое отченаш» и обладавшая свойством вводить людей прямо в рай:

«Миленькое беленькое отченаш, господь его сотворил, господь его говорил, господь его в рай посадил. Вечером, как я спать ложилась, у постели трех ангелов находила, одного в изножье, двух в изголовье, пресвятую деву Марию посредине. Пресвятая дева приказывала мне ложиться, ничего не страшиться. Отец мой – господь, мать – богородица, братья – три апостола, сестрицы – три пречистые девы. Сорочка младенца Христа тело мое прикрывает, святой Маргариты крестик грудь мою осеняет. Идет госпожа наша матерь божия в поля, о сыне рыдает, святого Иоанна встречает. „Святой Иоанн, откуда идешь?“ – «От Ave salus[54] иду». – «А не видал ли ты милосердного бога? Не там ли он?» – «Он на дереве крестовом, руки-ноги пригвождены, малый венчик терний белых на челе». Кто молитву эту скажет трижды ввечеру, трижды поутру, будет в раю».

В 1827 году эта своеобразная молитва исчезла под тройным слоем известки. А в наши дни изглаживается ее след и из памяти молодых девушек тех времен, ныне уже старух.

Большое распятие на стене довершало украшение трапезной, единственная дверь которой, как мы уже, кажется, упоминали, выходила в сад. Два узких стола, с двумя деревянными скамьями по бокам, тянулись во всю длину трапезной. Стены были белые, столы черные; только эти два траурных цвета и чередовались в монастыре. Еда была неприхотливая, даже детей кормили скудно. Подавалось одно блюдо: мясо с овощами или соленая рыба – вот и все яства. Но и эти грубые дежурные блюда, предназначенные только для пансионерок, составляли исключение в монастырской пище. Дети ели молча, под присмотром сменявшейся еженедельно монахини, которая время от времени со стуком открывала и закрывала деревянный ларец в форме книги, если муха, нарушая устав, осмеливалась летать и жужжать.

Тишина была приправлена чтением вслух житий святых с небольшой кафедры под распятием. Чтицей была дежурившая в эту неделю взрослая воспитанница. На голом столе стояли муравленые миски, в которых воспитанницы сами мыли чашки и тарелки, а иногда бросали туда же остатки пищи, жесткое мясо или тухлую рыбу; за это полагалось наказание. Миски назывались «круговыми чашами».

Девочка, нарушившая молчание, должна была сделать «крест языком». Где? На полу. Она лизала пол. Прах, это завершение всех земных радостей, призван был карать бедные розовые лепесточки за то, что они шелестели.

В монастыре хранилась книга, которую печатали только в одном экземпляре и которую запрещалось читать. Это был устав св. Бенедикта. Ничей непосвященный взор не смел касаться этой тайны. Nemo regulas, seu constitutiones nostras, externis communicabit[55].

Однажды воспитанницам удалось похитить эту книгу, и они с жадностью принялись читать ее. Но страх быть застигнутыми на месте преступления часто заставлял их захлопывать книгу и прерывать чтение. Эта чрезвычайно рискованная затея доставила им не очень большое удовольствие. Несколько туманных страниц «о грехах отроков» – вот что показалось им «самым интересным».

Они играли в аллее сада, обсаженной чахлыми фруктовыми деревьями. Несмотря на надзор и на строгость наказаний, им удавалось, когда ветер раскачивал деревья, украдкой поднять упавшее недозрелое яблоко, гнилой абрикос или червивую сливу. Пусть вместо меня говорит письмо, лежащее передо мной, – письмо, написанное двадцать пять лет тому назад бывшей пансионеркой, ныне герцогиней, одной из самых элегантных женщин Парижа. Привожу текст письма дословно: «Грушу или яблоко стараешься спрятать как можно лучше. Когда перед ужином поднимаешься наверх, чтобы положить на кровать покрывало, то засовываешь их поглубже под подушку и вечером съедаешь лежа в кровати, а если это не удается, то съедаешь в ретираде». Это было одним из самых острых наслаждений воспитанниц.

Однажды, – произошло это опять-таки в одно из посещений монастыря архиепископом, – молодая девушка, мадмуазель Бушар, приходившаяся сродни Монморанси, держала пари, что попросит у него отпуск на один день, – поблажка, совершенно немыслимая в такой строгой общине. Пари было принято, но ни та, ни другая сторона не верили в возможность успеха. И вот, когда архиепископ проходил мимо воспитанниц, мадмуазель Бушар, к неописуемому ужасу товарок, вышла из ряда и сказала: «Ваше высокопреосвященство! Отпустите меня на один день!» Мадмуазель Бушар была цветущая, статная девушка, с прелестным румяным личиком. Де Келен улыбнулся. «Как, милое дитя, всего на один день? – спросил он. – На три, если вам угодно! Я даю вам три дня!» Настоятельница ничего не могла поделать, – ведь это сказал архиепископ. Скандальное происшествие для монастыря, но что за радость для воспитанниц! Судите сами, каково было впечатление!

Однако угрюмый монастырь не был так наглухо замурован, чтобы мир страстей, бурливший за его стенами, чтобы драмы и даже романы не проникали туда. В доказательство мы приведем, рассказав его вкратце, одно истинное происшествие, не имеющее, впрочем, само по себе никакого касательства к нашему повествованию и никак с ним не связанное. Мы упомянем о нем лишь для того, чтобы дать читателю более полное представление о монастыре.

Итак, приблизительно в это же время в обители проживала таинственная особа, к которой, хотя она и не была монахиней, все относились с глубоким почтением и которую все величали «госпожа Альбертина». О ней было известно лишь, что она потеряла рассудок и что в свете ее считали умершей. Говорили, что вся эта история имела своей подоплекой денежные соображения, связанные с устройством блестящей партии.

Эта женщина, едва достигшая тридцати лет, была довольно красивая брюнетка с темными большими глазами и затуманенным взором. Видела ли она что-нибудь? Сомнительно. Она скорее скользила, чем ходила; она никогда не говорила; нельзя было даже с уверенностью

сказать, что она дышит. Ее ноздри были сжаты и мертвенно бледны, как у покойницы. Прикасаясь к ее руке, вы словно касались снега. Она отличалась грацией призрака. Когда она появлялась, веяло холодом. Как-то видя, как она проскользнула мимо, одна монахиня сказала другой: «Ее считают мертвой». – «А может, она и вправду мертвая», – ответила ей та.

О г-же Альбертине ходило множество рассказов. Она непрерывно возбуждала любопытство воспитанниц. В часовне были хоры, прозванные «бычий глаз». И вот на этих-то хорах, где единственным источником света было круглое окно – «бычий глаз», и отстаивала службы г-жа Альбертина. По обыкновению она находилась там в одиночестве, так как с хоров, расположенных в верхней части храма, можно увидеть проповедника или священника, совершающего богослужение, а монахиням это возбранялось. Однажды с амвона проповедовал молодой священник знатного рода, герцог де Роган, пэр Франции, командир красных мушкетеров в 1815 году, когда он еще именовался принцем Леонским, впоследствии кардинал и архиепископ Безансонский, в Безансоне он и скончался в 1830 году. В этот день герцог де Роган в первый раз говорил проповедь в монастыре Малый Пикпюс. Г-жа Альбертина обычно держалась во время богослужений и проповедей спокойно и стояла не шевелясь. В этот же день, увидев герцога де Рогана, она слегка выпрямилась и в полной тишине громко произнесла: «Вот как? Огюст?» Все в изумлении повернули головы, проповедник поднял глаза, но г-жа Альбертина вновь впала в обычную свою оцепенелость. Дуновение внешнего мира, отблеск жизни на мгновение осветил это угасшее, неподвижное лицо, затем все исчезло, и безумная вновь превратилась в труп.

Однако эти два слова развязали языки многим, кто только способен был болтать в монастыре. Чего-чего только не таило в себе это восклицание: «Вот как? Огюст?»! Чего только оно не скрывало! Герцога де Рогана действительно звали Огюст. Было ясно, что г-жа Альбертина принадлежала к самому избранному обществу, раз она знала г-на де Рогана; что она сама занимала высокое положение, раз о таком вельможе говорила так фамильярно; что, возможно, она была его родственницей и, наверное, достаточно близкой, раз ей было известно его имя.

Две весьма суровые герцогини, де Шуазель и де Серан, часто посещали общину – они имели туда свободный доступ, по всей вероятности, в силу привилегии Magnates mulieres[56] и нагоняли на воспитанниц неодолимый страх. Когда эти две старухи проходили мимо, то бедные девушки дрожали и опускали глаза.

Герцог де Роган, сам того не подозревая, являлся центром внимания воспитанниц. В ту пору он, находясь в ожидании епископского сана, был назначен главным викарием при архиепископе Парижском. У него была привычка петь на клиросе во время богослужения в монастыре Малый Пикпюс. Ни одна из молодых затворниц не могла видеть его сквозь саржевый занавес, но он обладал мягким, довольно высоким голосом, который они научились узнавать и различать. Когда-то он был мушкетером; говорили, что он очень следит за своей внешностью и отлично причесан, что его великолепные каштановые волосы чудными завитками обрамляют его лоб, что подпоясан он дивным широким муаровым поясом и что его черная сутана – изящнейшего покроя. Он сильно занимал воображение всех этих шестнадцатилетних девушек.

Ни один звук из внешнего мира не проникал в монастырь. Тем не менее выпал год, когда до монастыря долетели звуки флейты. Это было настоящее событие, и тогдашние пансионерки до сих пор помнят о нем.

Кто-то по соседству играл на флейте. Флейтист исполнял всегда одну и ту же арию, теперь уже почти забытую: «О Зетюльбе, приди царить в душе моей!», и ее можно было услышать два-три раза в день.

Девушки часами слушали эту арию, матери-изборщицы впали в отчаяние, юные умы работали, наказания так и сыпались. Это продолжалось несколько месяцев. Все воспитанницы

в большей или меньшей степени были влюблены в неведомого музыканта. Каждая воображала себя этой «Зетюльбе». Звуки флейты доносились со стороны Прямой стены. Пансионерки отдали бы все, пошли бы на все, рискнули бы всем, лишь бы увидеть «молодого человека», наглядеться на того, кто так восхитительно играет на флейте и, сам того не ведая, играет на струнах их сердец. Нашлись воспитанницы, которые, проскользнув через черный ход, взобрались на четвертый этаж, надеясь через оконце, выходящее на Прямую стену, увидеть хоть что-нибудь. Напрасно! Одна даже, подняв руку над головой и просунув ее сквозь решетку, стала махать белым платком. Две оказались еще смелее. Они придумали способ взобраться на крышу, не побоялись это сделать и увидели, наконец, «молодого человека». Это был старый, слепой, разорившийся дворянин-эмигрант, от скуки игравший на флейте в своей мансарде.

## Глава шестая.
## Малый монастырь

В ограде Малого Пикпюса было три совершенно отдельных здания: большой монастырь, населенный монахинями, пансион, где помещались воспитанницы, и, наконец, так называемый малый монастырь. Это был особый флигель, с садом, где жили одной семьей старые монахини, живые обломки монастырей, уничтоженных революцией: пестрая смесь инокинь, черных, серых и белых, разных орденов и разного толка. Это был, если позволительно употребить подобное выражение, лоскутный монастырь.

Со времен Империи этим бедным, рассеянным по всей стране и лишенным права женщинам дозволено было приютиться здесь, под крылышком бенедиктиток-бернардинок. Правительство выдавало им пособие; монахини Малого Пикпюса с готовностью приняли их. То было причудливейшее смешение. Каждая гостья соблюдала свой устав. Иногда воспитанницам разрешали в виде развлечения посещать их; вот почему многие юные головки навсегда запомнили св. Василию, св. Схоластику и св. Якобу.

Одна из таких пришлых монахинь оказалась почти дома. Это была монахиня из Сент-Ор, единственная, которая пережила свой орден. Бывший монастырь сестер Сент-Ор занимал в начале XVIII века то самое здание Малого Пикпюса, которое впоследствии перешло к бенедиктинкам конгрегации Мартина Верга. Старая монахиня, слишком бедная, чтобы носить роскошную одежду своего ордена – белое платье с пурпуровым наплечьем, благоговейно возложила ее на маленький манекен, который она охотно показывала, и завещала ее монастырю. В 1824 году от этого ордена оставалась лишь одна монахиня; ныне остался один манекен.

Кроме этих досточтимых сестер, светские пожилые женщины вроде г-жи Альбертины тоже получили от настоятельницы разрешение поселиться на покое в малом монастыре. К их числу принадлежали г-жа де Бофор д'Отпуль и маркиза Дюфрен. Была там еще одна обитательница, известная только тем, что она необыкновенно громко сморкалась.

Около 1820 или 1821 года г-жа Жанлис просила разрешения поселиться в монастыре. Она издавала в то время небольшой периодический сборник под названием «Неустрашимый». За нее ходатайствовал герцог Орлеанский. Великое смятение в улье! Матери-изборщицы затрепетали. Г-жа де Жанлис писала романы! Но она же заявила, что ненавидит их, и притом она переживала тот период, когда ее обуяло свирепое благочестие. С помощью божьей, а также герцогской, она поселилась в монастыре. Но месяцев через шесть или через семь покинула его под тем предлогом, что в саду нет тени. Монахини были в восторге. Хотя она была уже очень стара, но она все еще играла на арфе, и играла чудесно.

Покидая монастырь, она оставила память о себе в той келье, где она жила. Г-жа де Жанлис была суеверкой и латинисткой. Эти два слова довольно точно рисуют ее портрет. Несколько лет тому назад еще можно было видеть в небольшом шкафчике, где она обыкновенно хранила деньги и драгоценности, наклеенную внутри записочку со стихами,

написанными ее рукой красными чернилами на желтой бумаге. Эти пять латинских стихотворных строк, по ее мнению, обладали свойством отпугивать воров:

Imparibus mentis pendent tria corpora ramis:

Dismas et Gesmas, media est divina potestas;

Alta petit Dismas, infelix, infima, Gesmas.

Nos et res nostras conservet summa potestas.

Hos versus dicas, ne tu furto tua perdas.[57]

Эти вирши на латыни VI века вызывают вопрос: как же звали двух распятых на Голгофе разбойников – Димас и Гестас, как принято думать, или же Дисмас и Гесмас? Это правописание могло бы опровергнуть все притязания виконта Гестаса в прошлом столетии на происхождение от нераскаявшегося разбойника. Впрочем, в полезное свойство, приписываемое этим стихам, орден госпитальерок твердо верит.

Монастырская церковь, построенная так, что она отделяла, как настоящий крепостной вал, большой монастырь от пансиона, была, само собой разумеется, общей и для большого монастыря, и для пансиона, и для малого монастыря. В церковь допускалась и посторонняя публика через проделанный на улицу вход в лазарет. Но все было расположено таким образом, что ни одна из обитательниц монастыря не могла видеть прихожан. Вообразите себе церковь, клирос которой, как бы схваченный и согнутый исполинской рукой, не продолжается, как в обыкновенных церквах, за престолом, а образует род залы или темной пещеры направо от священника, совершающего богослужение; вообразите, что зала скрыта занавесом высотой в семь футов, о котором мы уже упоминали, и что там, за этим занавесом, на деревянных скамьях, налево скучены монахини-клирошанки, направо – воспитанницы, а в центре – послушницы и белицы, и вы получите некоторое представление о том, как монахини Малого Пикпюса присутствовали при богослужениях. Темная пещера, именуемая клиросом, сообщалась с монастырем посредством коридора. Свет проникал туда из сада. Во время служб, на которых, по уставу, монахини обязаны были хранить молчание, публика узнавала об их присутствии по стуку поднимавшихся и опускавшихся полочек с нижней стороны сидений, на которые те, кто устал стоять, могли незаметно опереться.

## Глава седьмая.
## Силуэты во мраке

В течение шести лет, с 1819 и по 1825 год, настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадмуазель де Блемер, в монашестве – мать Непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора Жития святых ордена св. Бенедикта. Ее избрали вторично. Это была женщина лет шестидесяти, приземистая, дородная, с голосом, дребезжащим, точно «надтреснутый горшок», как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше, впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, за что ее все обожали.

Мать Непорочность унаследовала качества прабабки Маргариты, этой Дасье своего ордена. Женщина образованная, начитанная, ученая, книжница, нашпигованная латынью, напичканная греческим, начиненная еврейским, своеобразный знаток истории, она была скорее бенедиктинцем, чем бенедиктинкой.

Помощницей настоятельницы была старая, почти слепая, монахиня-испанка, мать Синерес.

Наиболее уважаемыми среди матерей-изборщиц были: св. Гонория, казначея; св. Гертруда, начальница послушниц; мать св. Ангела, ее помощница; мать Благовещение, заведовавшая ризницей; св. Августина, заведовавшая лазаретом, единственная злая женщина во всем монастыре; св. Мехтильда (девица Говэн), совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом; мать Святые ангелы (девица Друэ), уже побывавшая в монастыре сестер Странноприимного ордена и в монастыре Священных сокровищ, что между Жизором и Маньи;

св. Жозеда (девица Коголлудо); св. Аделаида (девица д'Оверне); мать Милосердие (девица де Сифуэнтес), которая не в состоянии была вынести строгостей устава; мать Сострадание (девица де Мильтиер), принятая в общину шестидесяти лет, вопреки уставу, очень богатая; мать Провидение (девица де Лодиньер); мать Введение (девица Сигенса), ставшая в 1847 году настоятельницей; наконец св. Селина (сестра скульптора Черакки), сошедшая с ума, и св. Шанталь (девица де Сюзон), тоже сошедшая с ума.

К числу самых красивых принадлежала прелестная двадцатитрехлетняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Роз. В миру ее звали бы мадмуазель Роз, а в монастыре она получила имя – мать Вознесение.

Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионерок. Обычно она набирала полную гамму, то есть семь девочек от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд, от самой низенькой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты Пана, составленной из ангелов.

Из послушниц больше всего любили св. Ефразию, св. Маргариту, св. Марфу, впавшую в детство, и св. Михаилу – всех смешил ее длинный нос.

Эти женщины относились к детям кротко. Они были суровы только к себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц, по сравнению с монашеской, была изысканной. Сверх того – бесконечные попечения о них. Но если девочка, проходя мимо монахини, заговаривала с ней, монахиня никогда не отвечала.

Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметам неодушевленным. То гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучавший на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф, о событиях повседневной жизни и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обитательницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы – один и один удар; для ее помощницы – один и два. Шесть и пять ударов означали: «Время идти в класс», и воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили: «идти в шесть-пять». Четыре-четыре – звон для г-жи де Жанлис. Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», – говорили пансионерки, не отличавшиеся снисходительностью. Девятнадцать ударов возвещали о важном событии: это означало, что распахивалась настежь «монастырская дверь» – ужасная железная доска, вся ощетиненная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа.

Кроме него и кроме садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионерки видели еще двух мужчин; один из них – священник, старый и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса; другой – учитель рисования, г-н Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как «ужасно старый горбун Ансьошка».

Отсюда явствует, что мужчины были подобраны тщательно.

Такова была эта любопытная обитель.

### Глава восьмая.
### Post corda lapides[58]

Обрисовав внутренний облик монастыря, следует в нескольких словах описать и его наружный вид. О нем читатель уже имеет некоторое представление.

Сент-Антуанский монастырь Малый Пикпюс заполнял почти всю площадь обширной трапеции, образуемой пересечением улицы Полонсо, Прямой стены, Пикпюс и глухого переулка, носящего на старинных планах название улицы Омаре. Эти четыре улицы окружали трапецию, подобно рву. Монастырь состоял из нескольких зданий и сада. Главный корпус

здания, взятый в целом, представлял собою ряд строений смешанного характера, которые с высоты птичьего полета довольно точно воспроизводили очертания виселицы, положенной наземь плашмя. Столб виселицы тянулся вдоль того отрезка Прямой стены, который находился между Пикпюс и Полонсо; перекладину заменял высокий, строгий серый фасад за решеткой, выходящий на Пикпюс; ворота э 62 помещались в конце этой перекладины. У середины фасада находились другие, низкие, побелевшие от слоя пыли и золы, ворота, под сводом которых пауки ткали паутину; эти ворота отпирались на час или на два по воскресеньям и в тех редких случаях, когда из обители выносили гроб с умершей монахиней. Это был вход в церковь для мирян. Угол, образуемый столбом и перекладиной, занимала квадратная зала, служившая буфетной, которую воспитанницы прозвали «кладовой». В столбе виселицы помещались кельи матерей, сестер и послушниц. В перекладине – кухни, трапезная – филиал монастырской, и церковь. Между воротами под э 62 и углом тупика Омаре находился пансион, который был незаметен снаружи. Остальную часть трапеции занимал сад, уровень которого был значительно ниже улицы Полонсо, вследствие чего его стены с внутренней стороны оказывались еще выше, чем с внешней. В середине сада возвышался холмик; на холмике росла прекрасная остроконечная конусообразная ель, от которой, словно от навершья щита, расходились четыре большие аллеи и восемь маленьких, расположенных попарно между разветвлениями больших так, что, будь этот сад круглым, геометрический план аллей представлял бы крест, положенный на колесо. Аллеи, примыкавшие к неправильной линии садовых стен, были разной длины. Их окаймляли смородинные кусты. В глубине сада от развалин старого монастыря, помещавшегося на углу Прямой стены, и до здания малого монастыря на углу Омаре, тянулась аллея тополей. Перед малым монастырем находился так называемый «малый сад». Прибавьте к этому двор, разные углы, образуемые внутренними строениями, тюремные стены, а вместо соседства, вместо перспективы – длинную черную линию крыш, окаймлявшую противоположную сторону Полонсо, – и вы получите довольно точное представление о том, каков был сорок пять лет тому назад монастырь бернардинок Малого Пикпюса. Эта обитель построена на том месте, где с XIV и до XVI века находилось помещение со знаменитой залой для игры в мяч, прозванное «вертепом одиннадцати тысяч чертей».

Все эти улицы принадлежали к числу самых старинных в Париже. Названия – Прямая стена и Омаре – очень давние, улицы, носящие их, еще старше. Тупик Омаре назывался тупиком Могу; Прямая стена называлась улицей Шиповника, ибо господь стал растить цветы много раньше, чем человек стал тесать камень.

## Глава девятая.
## Сто лет под апостольником

Теперь, когда мы познакомились с тем, что представлял собою монастырь Малый Пикпюс в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле, что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители.

В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о г-не Миромениле, хранителе печати при Людовике XVI, и о г-же Дюпла, супруге председателя суда, с которой была близко знакома. То и дело произнося эти два имени, она испытывала чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве Фонтевро она рассказывала чудеса: будто оно похоже было на город и будто в монастыре были проложены улицы.

Она говорила на пикардийском наречии, и это очень забавляло воспитанниц. Каждый год она торжественно возобновляла свои обеты и, прежде чем произнести их, говорила священнику: «Святой Франсуа передал свой обет святому Евсевию, святой Евсевий – святому Прокопию… и т. д., и т. д., а мой я передаю вам, святой отец». И воспитанницы смеялись

исподтишка, или, вернее, из-под покрывала, милым приглушенным смешком, заставлявшим матерей-изборщиц хмурить брови.

Иногда столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости «бернардинцы не уступали мушкетерам». Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае «четырех вин», существовавшем до революции в Шампани и Бургундии. Когда какая-нибудь знатная особа – маршал Франции, принц, герцог или пэр – проезжала через один из городов Шампани или Бургундии, то городской совет выходил ее приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде ладьи четыре сорта вина. На одном кубке красовалась надпись: «Обезьянье вино», на другом – «Львиное вино», на третьем – «Баранье вино», а на четвертом – «Свиное вино» Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянения веселит, вторая раздражает, третья оглупляет, наконец, четвертая оскотинивает.

Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожила. Устав аббатства Фонтевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, – что также не было воспрещено уставом, – когда ей хотелось тайком полюбоваться этим предметом. Как только раздавались чьи-нибудь шаги в коридоре, она запирала шкаф с поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки. Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, и она, обычно болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее упорство, самые настойчивые отступали перед ним. Разумеется, это давало пищу для пересудов праздным или скучающим обитательницам монастыря. Что же это был за предмет, столь драгоценный и столь таинственный, – предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи? Быть может, священная книга? Редкостные четки? Чудотворные мощи? Все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, монахини бросились к шкафу, пожалуй, быстрее, чем это дозволяло приличие, и отперли его. Предмет был завернут в тройной полотняный покров, как освященный дискос. Это оказалось фаэнцское блюдо, на котором изображены были улетающие амуры, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клистирными трубками. Сцена преследования изобиловала смешными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался; он отбивается, трепещет крылышками и пытается взлететь, но клистирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль: любовь, побежденная резью в желудке! Это блюдо, очень интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года: оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше.

Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, «потому что приемная слишком мрачна», – говорила она.

## Глава десятая.
## Происхождение «неустанного поклонения»

Впрочем, это почти загробная приемная, о которой мы старались дать некоторое понятие, – явление местное, оно не повторяется с тою же строгостью в других монастырях. В частности, на улице Тампль, в монастыре, принадлежавшем, правда, другому ордену, место черных ставен были кофейного цвета шторы, а сама приемная представляла собой гостиную с паркетным полом и окнами, на которых висели белые кисейные занавески; на стенах красовались картины – портрет бенедиктинки с открытым лицом, букеты цветов и даже голова турка.

В монастырском саду на улице Тампль рос знаменитый индийский каштан, считавшийся самым красивым и высоким во Франции. В XVIII веке его называли патриархом всех каштановых деревьев королевства.

Мы уже говорили, что монастырь на улице Тампль был занят бенедиктинками ордена Неустанного поклонения, отличными от тех, которые были подчинены ордену Сито. Орден Неустанного поклонения не принадлежит к числу очень древних; он насчитывает всего двести

лет. В 1649 году святые дары на протяжении нескольких дней были дважды осквернены в двух храмах Парижа: Сен-Сюльпис и Сен-Жан-ан-Грев; то было неслыханное, страшное святотатство, взволновавшее весь город. Старший викарий, он же настоятель монастыря Сен-Жермен-де-Пре назначил торжественный крестный ход с участием всего духовенства обители; богослужение совершал папский нунций. Но этот искупительный обряд не удовлетворил двух достойных женщин – г-жу Куртен, маркизу де Бук, и графиню Шатовье. Оскорбление, нанесенное «чтимой святыне алтаря», хотя и мимолетное, не изглаживалось из памяти этих двух благочестивых женщин и, по их мнению, могло быть смыто лишь «неустанным поклонением» в какой-либо женской обители. Обе они, одна – в 1652 году, другая – в 1653, пожертвовали крупные суммы бенедиктинской монахине из конгрегации Святых даров, матери Катерине де Бар, на основание, с этой благочестивой целью, монастыря ордена св. Бенедикта. Первое разрешение основать такой монастырь было дано Катерине де Бар г-ном де Мец, аббатом Сен-Жерменским, с тем, чтобы ни одна девица не принималась туда иначе, как при условии уплаты трехсот ливров в год за содержание, которые являлись бы доходом с шести тысяч ливров основного взноса. Вслед за аббатом Сен-Жерменским король дал монастырю жалованную грамоту; аббатская хартия и королевская грамота в 1654 году были утверждены счетной палатой и парламентом.

Таково происхождение узаконенной церковью и государством парижской конгрегации бенедиктинок «Неустанного поклонения святым дарам». Их первый монастырь был «заново воздвигнут» на улице Кассет на средства маркизы де Бук и графини Шатовье.

Как видим, этот орден не имел ничего общего с орденом бенедиктинок Сито, именовавшихся цистерьянками. Он подчинялся аббату Сен-Жермен-де-Пре, подобно тому, как монахини ордена Сердца Христова подчинялись магистру ордена иезуитов, а монахини ордена Милосердия – магистру ордена лазаристов.

Он нисколько не походил и на общину бернардинок Малого Пикпюса, внутреннюю жизнь которой мы только что описали. В 1657 году папа Александр VII особой грамотой разрешил бернардинкам Малого Пикпюса неустанное поклонение по примеру бенедиктинок ордена Святых даров. Тем не менее оба ордена сохранили за собой все присущие им особенности.

## Глава одиннадцатая.
## Конец Малого Пикпюса

С начала Реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хиреть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который в XIX веке сошел на нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва, – потребность человечества, но, подобно всему, чего коснулась революция, оно из враждебного прогрессу явления превратится в явление, благоприятствующее ему.

Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году малый монастырь исчез, пансион тоже. Там уже не было ни дряхлых старух, ни молодых девушек. Одни умерли, другие рассеялись. Volaverunt[59].

Устав конгрегации Неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех; все меньше и меньше желающих принять постриг; орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы идти в послушницы, но в клирошанки – ни одной. Сорок лет тому назад монахинь было более ста; пятнадцать лет тому назад осталось всего двадцать восемь. Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая – признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь растет тяжесть искуса, обязанности каждой становятся все менее посильными; недалек час, когда останется не более двенадцати согбенных, измученных спин, способных нести тяжкий крест устава св. Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным независимо от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушает. И монахини стали умирать. Когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было двадцать пять лет, другой двадцать три. Последняя

могла сказать о себе, как Юлия Альпинула: HiC jaceo. Vixi annos viginti et ires[60]. По причине упадка монастырь отказался от воспитания девушек.

Мы не в силах были пройти мимо этого своеобразного таинственного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, – быть может, не без пользы для себя, – грустной истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне нам представляются новыми. Это запертый сад. Hortus conclusus. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением, – во всяком случае, с уважением, которое совместимо с подробным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от осанны Жозефа де Местра, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием.

Заметим между прочим, что со стороны Вольтера это не логично, ибо он защищал бы Иисуса, как защищал Жана Каласа; даже для тех, кто отрицает воплощение божества, – что представляет собой распятие? Убиение праведника.

В XIX веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются, и хорошо делают, – лишь бы, отучившись от одного, научились другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходит известное разрушение, и пусть происходит, – но при условии, чтобы оно сопровождалось созиданием.

А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться хотя бы для того, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое-это привидение, способное подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки. Будем начеку! У прошлого свое лицо – суеверие и своя маска – лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску.

Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, свобода защищает.

## Книга седьмая

## В скобках

### Глава первая.

### Монастырь – понятие отвлеченное

Эта книга-драма, в которой главное действующее лицо – бесконечность.

Человек в ней лицо второстепенное.

Встретив на своем пути монастырь, мы проникли в него. Зачем? Потому что монастырь – достояние как Востока, так и Запада, как мира древнего, так и мира современного, как язычества, буддизма, магометанства, так и христианства – является одним из оптических приборов, применяемых человеком для познания бесконечности.

Здесь не место развивать некоторые идеи. Однако, не изменяя нашей сдержанности, мысленно делая оговорки и даже негодуя, мы должны признаться, что всякий раз, когда мы встречаем в человеке стремление к бесконечности, хорошо ли, дурно ли понятой, мы чувствуем к нему уважение. В синагоге, в мечети, в пагоде, в вигваме есть сторона отвратительная, которой мы гнушаемся, и есть сторона величественная, которую мы чтим. Какой предмет для созерцания, для глубоких дум это отражение бога на экране, которым служит ему человечество!

### Глава вторая.

### Монастырь – факт исторический

С точки зрения истории, разума и истины монашество подлежит осуждению.

Монастыри, расплодившиеся у какой-нибудь нации и загромождающие страну, являются помехами для движения и средоточиями праздности там, где надлежит быть средоточиям труда. Монашеские общины по отношению к великим общинам социальным – это то же, что

омела по отношению к дубу или бородавка к телу человека. Их процветание и благоденствие означает обнищание страны. Монастырский уклад, полезный в младенческую пору цивилизации, смягчающий своим духовным воздействием грубость нравов, вреден в период возмужалости народов. Кроме того, с появлением в обителях распущенности, в период их упадка, уклад этот, поскольку он все еще продолжает служить примером, становится пагубным по тем же причинам, по каким был благотворным в период его чистоты.

Затворничество отжило свое время. Монастыри, полезные, когда современная цивилизация нарождалась, препятствовали дальнейшему ее росту и стали губительны для ее развития. Как институты, как способ формирования человека, монастыри, благотворные в X веке, спорны в XV, отвратительны в XIX. Монашеская проказа разъела почти до костей две прекрасных нации – Италию и Испанию, олицетворявших одна – свет, другая – великолепие Европы в течение ряда веков. И если в наши дни эти две прославленные нации начинают излечиваться, то лишь благодаря целительной и здоровой гигиене 1789 года.

Обитель, старинная обитель, особенно женская, в том виде, в каком мы находим ее еще на рубеже нашего столетия в Италии, Австрии, Испании, является одним из самых мрачных воплощений средних веков. Подобный монастырь – средоточие всех ужасов. Монастырь католический, в подлинном значении этого слова, облит зловещим сиянием смерти.

Особенно мрачен испанский монастырь. Там, в темноте, под сводами, полными мглы, под куполами, тонущими в мути теней, громоздятся массивные исполинские алтари, высокие, как соборы; там, в потемках, свисают на цепях огромные белые распятия; там вытягиваются на черном дереве большие нагие Иисусы из слоновой кости, окровавленные, более того, – кровоточащие, безобразные и в то же время великолепные, с обнажившимися на локтях костями, с содранной на коленях кожей, с открытыми ранами, увенчанные серебряными терниями, пригвожденные золотыми гвоздями, с рубиновыми каплями крови на лбу и алмазными слезами в глазах. Эти алмазы и рубины кажутся влажными и заставляют рыдать у подножия распятия окутанные покрывалами существа, у которых тело истерзано власяницей и плетью с железными наконечниками, грудь сдавлена плетением из ивовых прутьев, колени изранены от стояний на молитве. Это женщины, которые мнят себя супругами Христа; призраки, которые мнят себя серафимами. Мыслят ли эти женщины? Нет. Есть ли у них желания? Нет. Любят ли они? Нет. Их нервы превратились в кости; их кости превратились в камень. Их покрывала сотканы из ночи. Их дыхание под покрывалами подобно трагическому веянию смерти. Игуменья, кажущаяся привидением, благословляет их и держит в трепете. Здесь бдит непорочность во всей своей свирепости. Таковы старинные испанские монастыри. Гнездилища грозного благочестия; вертепы девственниц; средоточия дикости.

Католическая Испания была более римской, чем самый Рим. Испанский монастырь был по преимуществу монастырем католическим. В нем чувствовался Восток. Архиепископ, небесный кизляр-ага, шпионил за этим сералем душ, уготованных для бога, и держал его на запоре. Монахиня была одалиской, священник – евнухом. Наиболее ревностные в вере становились во сне избранницами и супругами Христа. Ночью прекрасный юноша сходил нагой с креста и повергал в экстаз келью. Высокие стены охраняли от всех впечатлений живой жизни мистическую султаншу, которой распятый заменял султана. Один-единственный взгляд, брошенный на внешний мир, почитался изменой. In-pace[61] заменял собой кожаный мешок. То, что на Востоке кидали в море, на Западе бросали в недра земли. И там и тут женщины ломали себе руки; на долю одних – волны, на долю других – могила; там – утопленницы, здесь – погребенные. Чудовищная параллель!

Ныне защитники старины, не будучи в состоянии отрицать эти факты, отделываются усмешкой. В моду вошла удобная и своеобразная манера устранять разоблачения истории, уничтожать комментарии философии и обходить все щекотливые факты и мрачные вопросы. «Предлог для пышных фраз», – говорят люди ловкие. «Это пышные фразы», – вторят им простаки. Жан-Жак-фразер; Дидро-фразер; Вольтер, защищавший Каласа, Лабара и

Сирвена, – фразер. Некто – кто именно, не помню – недавно доказывал, что Тацит был фразером, что Нерон – жертва и что, право, надо пожалеть «этого бедного Олоферна».

А факты между тем нелегко сбить с толку, они упорны. Автор этой книги собственными глазами видел в восьми лье от Брюсселя, – вот оно, подлинное средневековье перед глазами у всех нас! – в аббатстве Вилье, ямы от «каменных мешков» среди луга, который когда-то был монастырским двором, а на берегу Диля – четыре каменные темницы, наполовину под землей, половину под водой. Это были in-pace. В каждой из таких темниц целы остатки железной двери, отхожее место и зарешеченное оконце, которое с наружной стороны находится в двух футах от воды, а с внутренней – в шести футах от земли. Река протекает вдоль стен на высоте четырех футов. Пол в темнице мокрый. Мокрая земля заменяла ложе заключенному в in-pace. В одной из таких темниц сохранился обломок железного ошейника, вделанного в стену; в другой – подобие квадратного ящика из четырех кусков гранита, – ящика, слишком короткого, чтобы в нем можно было лежать, слишком низкого, чтобы в нем можно было стоять. В него помещали живое существо, прикрывая его гранитной крышкой. Так было. Это можно видеть. Можно осязать. In-pace, темницы, железные крючья, ошейники, высоко прорезанное слуховое окно, в уровень с которым протекает река, каменный ящик, прикрытый гранитной плитой, словно могила, с той только разницей, что здесь мертвецом был живой человек, грязь, заменяющая пол, дыра отхожего места, стена, сквозь которую просачивается вода!.. А нам говорят – фразеры!

## Глава третья.
## При каких условиях можно уважать прошлое

Монашество в том виде, в каком оно существовало в Испании, и в том виде, в каком оно до сих пор существует в Тибете, – род чахотки для цивилизации. Оно останавливает жизнь. Оно опустошает страну. Монастырское заточение – это оскопление. Оно было бичом Европы. Добавьте к этому частое насилие над совестью, принудительное пострижение, феодальный строй, опиравшийся на монастырь, право первородства, разрешавшее старшим отсылать в монастыри младших членов больших семей, жестокости, о которых мы только что упоминали, in-pace, замкнутые уста, заточенные мысли, великое множество несчастных душ, брошенных в темницу вечных обетов, принятие схимы, погребение заживо. Добавьте к захирению всей нации страдания этих людей, и, кто бы вы ни были, вы содрогнетесь перед сутаной и покрывалом, этими двумя саванами, изобретенными человечеством.

Однако, вопреки философии, вопреки прогрессу, в некоторых местах и в некоторых отношениях дух монашества стойко держится в самый разгар XIX века; непонятное усиление аскетизма изумляет в настоящее время цивилизованный мир. Упорное желание отживших установлений продлить свою жизнь похоже на назойливость затхлых духов, которые требовали бы, чтобы мы все еще душили ими волосы, на притязание испорченной рыбы, которая захотела бы, чтобы ее съели, на надоедливые просьбы детского платья, которое пожелало бы, чтобы его носил взрослый, на нежность покойника, который вернулся бы на землю, чтобы обнимать живых.

«Неблагодарный! – говорит одежда. – Я прикрывала вас в непогоду, почему же теперь я вам больше не нужна?» – «Я родилась в морском просторе», – говорит рыба. «Мы были розой», – твердят духи. «Я любил вас», – говорит покойник. «Я просвещал вас», – говорит монастырь.

На это есть один ответ: «То было когда-то».

Мечтать о бесконечном продлении того, что истлело, и об управлении людьми с помощью этого набальзамированного тлена, укреплять расшатавшиеся догматы, освежать позолоту раки, подновлять монастыри, вновь освящать ковчеги с мощами, восстанавливать суеверия, подкармливать фанатизм, приделывать новые ручки к кропилам и рукоятки к шпагам, возрождать монашество и милитаризм, веровать в возможность спасти общество путем

размножения паразитов, навязывать прошлое настоящему – все это кажется странным. Однако находятся теоретики, развивающие подобные теории. Эти теоретики, – впрочем, люди умные, – применяют простейший прием: они покрывают прошлое штукатуркой, которую именуют общественным порядком, божественным правом, моралью, семьей, уважением к предкам, авторитетом веков, священной традицией, законностью, религией, и шествуют, крича: «Вот вам получайте, добрые люди!» Но подобная логика была знакома еще древним. Ее применяли аруспиции. Они натирали мелом черную телку и заявляли: «Она белая». Bos cretatus[62]. А мы в иных случаях почитаем прошлое и щадим его всюду, лишь бы оно соглашалось мирно покоиться в могиле. Если же оно упорно хочет восстать из мертвых, мы нападаем на него и стараемся убить.

Суеверия, ханжество, пустосвятство, предрассудки – эти призраки, несмотря на всю свою призрачность, цепляются за жизнь: они зубасты и когтисты, хотя и эфемерны; с ними надо вступить врукопашную и воевать, не давая передышки, ибо одним из роковых предназначений человечества является вечная борьба с привидениями. Трудно схватить за горло тень и повергнуть ее наземь.

Монастырь во Франции, в середине XIX века – это сборище сов среди бела дня. Монастырь, открыто исповедующий аскетизм в центре города, пережившего 1789, 1830 и 1848 годы, этот Рим, пышно распустившийся в Париже, – настоящий анахронизм. В обычное время, чтобы обнаружить анахронизм и заставить его исчезнуть, надо только разобраться в годе его чеканки. Но мы живем не в обычное время.

Будем бороться!

Будем бороться, но осмотрительно. Свойство истины – никогда не преувеличивать. Ей нет в этом нужды! Существует нечто, подлежащее уничтожению, иное же надо только осветить и разобраться в нем. Великая сила таится в благожелательном и серьезном изучении предмета. Не надо языков пламени там, где достаточно простого луча.

Итак, живя в XIX веке, мы относимся враждебно к аскетическому затворничеству, у каких бы народов оно ни существовало, будь то в Азии или в Европе, в Индии или в Турции. Кто говорит: «Монастырь» – говорит: «болото». Способность монастырей к загниванию очевидна, их стоячие воды вредоносны, их брожение заражает лихорадкой и изнуряет народы; их размножение становится казнью египетской. Мы не можем подумать без ужаса о тех странах, где кишат, как черви, всевозможные факиры, бонзы, мусульманские монахи-отшельники, калугеры, марабуты, буддистские священники и дервиши.

## Глава четвертая.
## Монастырь с точки зрения принципов

Люди собираются и живут сообща. По какому праву? По праву объединения.

Они запираются у себя. По какому праву? По праву каждого человека отворять или запирать свою дверь.

Они не покидают своих четырех стен. По какому праву? По праву свободного передвижения, включающего также право оставаться у себя.

Но что они делают там, у себя?

Они говорят шепотом; они опускают глаза долу; они работают. Они отрекаются от мира, от городов, от чувственных наслаждений, от удовольствий, от суетности, от гордыни, от корысти. Они облачены в грубую шерсть или грубый холст. Никто из них не владеет собственностью. Вступая в общину, богатый становится бедным. То, чем он владеет, он отдает всем. Тот, кто был так называемого благородного происхождения: дворянином, вельможей, теперь равен простому крестьянину. Кельи у всех одинаковые. Все подвергаются обряду пострижения, носят одинаковые сутаны, едят черный хлеб, спят на соломе и все превращаются в прах. То же вретище на теле, то же вервие вокруг чресел. Если положено ходить босыми,

все ходят босые. Среди них может быть князь, но и князь такая же тень, как и другие. Титулов больше нет. Даже фамилии исчезают. Остаются лишь имена. Имя уравнивает всех. Люди отторгаются от семьи кровной и создают в своей общине семью духовную. У них нет иной родни, кроме всего человечества. Они помогают бедным, ухаживают за больными. Они сами избирают тех, кому повинуются. Они называют друг друга «брат».

Вы прерываете меня, восклицая: «Но ведь это идеальный монастырь!»

Да, если бы такой монастырь существовал, я должен был бы принять это в соображение.

Потому-то в предыдущих главах книги я и говорил об одном монастыре с уважением. Если забыть о средних веках, забыть об Азии, отложить до другого времени вопросы исторический и политический, то, с точки зрения чистой философии, оставляя в стороне требования воинствующей политики, я, при условии совершенно добровольного пострижения и пребывания в монастыре, всегда готов относиться к общинному началу монашества с известного рода вдумчивой, а в некоторых отношениях даже и с благожелательной серьезностью. Где налицо община – там коммуна; где налицо коммуна – там право. Монастырь является продуктом формулы: Равенство, Братство. О величие свободы! Какое блистательное преображение! Достаточно одной свободы, чтобы превратить монастырь в республику.

Продолжаем.

Мужчины и женщины, заключенные в четырех стенах, носят грубую одежду, они все равны, они зовут друг друга братьями и сестрами, все это так; но ведь они еще что-то делают?

Да.

Что же?

Они устремляют взор во мрак, становятся на колени и складывают руки.

Что это означает?

## Глава пятая.
## Молитва

Они молятся.

Кому?

Богу.

Молиться богу – что это значит?

Существует ли бесконечность вне нас? Едина ли она, имманентна ли, перманентна? Непременно ли субстанциональна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она ограниченной там, вне нас, не обладая субстанцией? Непременно ли разумна, поскольку она бесконечна, и была ли бы она конечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы – понятие относительное?

И нет ли, одновременно с бесконечностью вне нас, другой бесконечности, внутри нас? Не наслаиваются ли эти две бесконечности (какое страшное множественное число!) друг на друга? Не находится ли, так сказать, эта вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском, бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом, как первая? Мыслит ли она? Любит ли? Желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало и есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Низшее «я» – это душа, высшее «я» – это бог.

Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться.

Не будем ничего оспаривать у человеческого духа; уничтожать дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к Неведомому: мысль, мечта, молитва. Неведомое – это океан. Что такое сознание? Это компас в Неведомом. Мысль, мечта, молитва – могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет величественное лучеиспускание души? К мраку; то есть к свету.

Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом Человека – по меньшей мере, возле него – стоит право Души.

Сокрушать фанатизм и благоговеть перед бесконечным – таков закон. Не будем ограничиваться тем, что, преклонив колена перед древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, унизанные светилами. У нас есть долг: трудиться над душой человеческой, защищать тайное от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоровлять верования, освобождать религию от суеверий, уничтожать все, что паразитирует во имя бога.

## Глава шестая.
## Неоспоримая благодать молитвы

Всякий способ молиться хорош, лишь бы молитва была от души. Переверните молитвенник вверх ногами, но душою слейтесь с бесконечностью.

Мы знаем, что существует философия, отрицающая бесконечность. Существует также философия, отрицающая солнце; эту философию, относящуюся к области патологии, именуют слепотой.

Возводить недостающее нам чувство в источник истины – на это способна лишь дерзкая самоуверенность слепца.

Любопытны замашки высокомерия, превосходства и снисхождения, которые эта бредущая ощупью философия усваивает по отношению к философии, зрящей бога. Она напоминает крота, восклицающего: «Как они жалки со своим солнцем!»

Мы знаем, что есть прославленные, мудрые атеисты. Приведенные к познанию истины своей мудростью, они, в глубине души, не слишком уверены в собственном атеизме; остается лишь дать им другое название. Но во всяком случае, если они и не верят в бога, то уже само величие их разума подтверждает существование бога.

Мы приветствуем в них философов и неумолимо осуждаем их философию.

Продолжаем.

Достойна восхищения и та легкость, с какою иные отделываются словами. Одна северная школа метафизики, отличающаяся некоторой туманностью, вообразила, что произвела переворот в человеческих умах, заменив слово «сила» словом «воля».

Утверждение: «растение хочет» вместо утверждения: «растение произрастает», было бы действительно весьма плодотворно, если бы к нему добавляли: «вселенная хочет». Почему? Потому, что вывод был бы такой: растение хочет, значит у него есть свое «я»; вселенная хочет, значит у нее есть свой бог.

Мы же, в противоположность этой школе, ничего не отметаем a priori, и все же присутствие воли в растении, признаваемое этой школой, нам труднее допустить, нежели присутствие воли во вселенной, ею отрицаемое.

Отрицать волю бесконечности, то есть волю бога, возможно лишь при условии отрицания бесконечности. Мы это доказали.

Отрицание бесконечности ведет непосредственно к нигилизму. Все становится «измышлением разума».

Всякий спор с нигилизмом бесполезен: нигилист, если только он логичен, сомневается в существовании своего собеседника и не совсем уверен в собственном существовании.

С его точки зрения допустимо, что он сам для себя – «измышление разума».

Однако он не замечает того, что все, отрицавшееся им, принимается им же в совокупности, как только он произносит слово «разум».

Короче говоря, всякий путь для мысли закрыт той философией, которая все сводит к односложному «нет».

На «нет» есть лишь один ответ: «да».

Нигилизм заводит в тупик.

Небытия нет. Нуля не существует. Все представляет собой нечто. Ничто есть что-то.

Человек живет утверждением в еще большей мере, чем хлебом.

Видеть и показывать недостаточно. Философия должна быть действенной; ее стремлением и целью должно быть совершенствование человека. Сократ должен воплотиться в Адама и воспроизвести Марка Аврелия, другими словами – должен выявить в человеке-жизнелюбце человека-мудреца, заменить Эдем аристотелевым Ликеем. Наука должна быть живительным средством. Наслаждаться – какая жалкая цель и какое суетное тщеславие! Наслаждается и скот. Мыслить – вот подлинное торжество души. Протянуть жаждущему человечеству чашу познания, дать всем людям в качестве эликсира познание бога, заставить совесть побрататься в их душах со знанием, сделать их справедливыми в силу этого таинственного союза, – таково назначение реальной философии. Нравственность-это цветение истин. Созерцание приводит к действию. Абсолютное должно быть целесообразным. Надо, чтобы идеал можно было вдыхать, впивать, надо, чтобы он стал удобоварим для человеческого разума. Именно идеал вправе сказать: «Приимите, ядите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Мудрость – святое причастие. Лишь при этом условии она перестает быть бесплодной любовью к науке; став единственным и главным средством объединения людей, она из философии превращается в религию.

Философия не должна быть башней, воздвигнутой для того, чтобы созерцать оттуда тайну в свое удовольствие и только из любопытства.

Откладывая развитие нашей мысли до другого раза, пока что мы скажем: нам непонятны ни человек как точка отправления, ни прогресс как цель без двух движущих сил – веры и любви.

Прогресс есть цель, идеал есть образец.

Что такое идеал? Это бог.

Идеал, абсолют, совершенство, бесконечность – понятия тождественные.

## Глава седьмая.
## Порицать следует с осторожностью

На истории и философии лежат обязанности, вечные и в то же время простые: бороться против первосвященника – Кайафы, против судьи-Дракона, против законодателя – Тримальхиона, против императора Тиверия, – все это ясно, определенно, четко и ничего туманного в себе не содержит. Но право жить обособленно, при всех связанных с этим неудобствах и злоупотреблениях, требует признания и пощады. Отшельничество – проблема чисто человеческая.

Говоря о монастырях, этих местах заблуждения, но вместе с тем и непорочности, самообмана, но и добрых намерений, невежества, но и самоотвержения, мучений, но и мученичества, следует почти всегда и допускать их, и отвергать.

Монастырь – противоречие. Его цель – спасение; средство-жертва. Монастырь-это предельный эгоизм, искупаемый предельным самоотречением.

Отречься, чтобы властвовать, – вот, по-видимому, девиз монашества.

В монастыре страдают, чтобы наслаждаться. Выдают вексель, по которому платить должна смерть. Ценой земного мрака покупают лучезарный небесный свет. Принимают ад, как залог райского блаженства.

Пострижение в монахи или в монахини – самоубийство, вознаграждаемое вечной жизнью.

По-нашему, насмешки тут неуместны. Здесь все серьезно: и добро и зло.

Человек справедливый нахмурится, но никогда не позволит себе язвительной улыбки. Нам понятен гнев, но не злоба.

## Глава восьмая.
## Вера, закон

Еще несколько слов.

Мы осуждаем церковь, когда она преисполнена козней, мы презираем хранителей даров духовных, когда они алчут даров мирских, но мы всюду чтим того, кто погружен в размышление.

Мы приветствуем тех, кто преклоняет колени.

Вера! Вот что необходимо человеку. Горе не верующему ни во что!

Быть погруженным в созерцание не значит быть праздным. Есть труд видимый, и есть труд невидимый.

Созерцать – все равно что трудиться; мыслить – все равно что действовать. Руки, скрещенные на груди, работают, сложенные пальцы творят. Взгляд, устремленный к небесам, – деяние.

Фалес оставался четыре года неподвижным. Он заложил основы философии.

В наших глазах затворники – не праздные люди, отшельники – не тунеядцы.

Размышлять о Сокровенном – в этом есть величие.

Не отказываясь ни от чего сказанного нами выше, мы полагаем, что живым никогда не следует забывать о могиле. В этом вопросе и священник и философ сходятся. Смерть неизбежна. Тут аббат ордена траппистов перекликается с Горацием.

Вкрапливать в свою жизнь мысль о смерти – правило мудреца и правило аскета. В этом и мудрец и аскет согласны друг с другом.

Существует материальное развитие – его мы хотим. Существует также нравственное величие – к нему мы стремимся.

Люди опрометчивые, торопящиеся с выводами, говорят:

– Что такое эти неподвижные фигуры, обращенные мыслью к тайне? Для чего они? Что они делают?

Увы! Перед лицом тьмы, которая окружает и ожидает нас, и в неведении того, во что превратит нас великий конечный распад, мы отвечаем: «Быть может, нет деяния выше того, что творят эти души». И добавляем: «Быть может, нет труда более полезного».

Людям нужны вечные молельщики за тех, кто никогда не молится.

По-нашему, весь вопрос в том, сколько мысли примешивается к молитве.

Молящийся Лейбниц – это величественно; Вольтер, поклоняющийся божеству, – это прекрасно. Deo erexit Voltaire[63].

Мы стоим за религию против религий.

Мы принадлежим к числу тех, кто уверен в ничтожестве молитвословий и в возвышенности молитвы.

Впрочем, в переживаемое нами время, которое, к счастью, не наложит своего отпечатка на XIX век, – время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в нравственный принцип и поглощены

скоропреходящими и гнусными материальными благами, всякий, удаляющийся от мира, в наших глазах достоин уважения. Монастырь – отречение. Жертва, в основе которой лежит ошибка, все-таки жертва. Вменить себе в долг суровую ошибку – это не лишено благородства.

Если беспристрастно и всесторонне исследовать истину до конца, то нельзя не признать, что в монастыре, самом по себе, в монастыре, как в отвлеченном понятии, бесспорно есть нечто величественное. Особенно женская обитель, ибо в нашем обществе больше всего страдает женщина, а в этом добровольном принятии монашеского пострига звучит протест.

Суровая и безотрадная монастырская жизнь, отдельные черты которой мы только что обрисовали, – это не жизнь, ибо в ней нет свободы, и не могила, ибо в ней нет успокоения; это странное место, откуда, как с вершины высокой горы, по одну сторону видна бездна, где мы находимся, а по другую – бездна, где мы будем находиться. Это грань, узкая и неопределенная, разделяющая два мира, освещаемая и омрачаемая обоими одновременно; здесь угасающий луч жизни сливается с тусклым лучом смерти; это полумрак гробницы.

Не веруя в то, во что веруют эти женщины, но живя, как и они, верой, мы не могли смотреть без благоговейного и сочувственного трепета, без страдания, смешанного с завистью, на эти самоотверженные существа, пугливые и доверчивые, на эти смиренные и возвышенные уповающие души, осмеливающиеся жить на самом краю тайны, между миром, который замкнут для них, и небом, которое для них не отверсто. Обратившись душой к невидимому свету, обладая лишь счастьем думать, что им известно, где этот свет находится, ищущие бездны и ищущие неведомого, они вперяют взор в неподвижный мрак, коленопреклоненные, исступленные, изумленные, трепещущие, в иные мгновения полувознесенные могучим дыханием вечности.

## Книга восьмая
## Кладбища берут то, что им дают
### Глава первая,
### где говорится о способе войти в монастырь

В такую обитель Жан Вальжан и «упал с неба», как выразился Фошлеван.

Он перелез через садовую ограду на углу улицы Полонсо. Гимн ангелов, донесшийся до него среди глубокой ночи, оказался хором монахинь, певших утреню; зала, представшая перед ним во мраке, оказалась молельней; призрак, который он увидел простертым на полу, оказался сестрой, «совершающей искупление»; бубенчик, звук которого поразил его, оказался бубенчиком садовника, привязанным к колену дедушки Фошлевана.

Уложив Козетту спать, Жан Вальжан и Фошлеван, как мы уже упоминали, сели перед ярко пылавшим очагом ужинать; ужин их состоял из куска сыра и стакана вина; после ужина они сейчас же улеглись на двух охапках соломы, так как единственная постель в сторожке была занята Козеттой. Улегшись, Жан Вальжан сказал:

– Я должен остаться здесь навсегда.

Эти слова всю ночь вертелись в голове Фошлевана.

Говоря по правде, ни тот, ни другой не сомкнули глаз до утра.

Жан Вальжан, чувствуя, что Жавер узнал его и идет по горячим следам, понимал, что если он и Козетта вернутся в Париж, то погибнут. Налетевший на него новый шторм забросил их в монастырь, и Жан Вальжан думал теперь об одном: остаться здесь. Сейчас для несчастного в его положении монастырь был и самым опасным и самым безопасным местом: самым опасным, ибо ни один мужчина не имел права ступить за его порог; если его там обнаруживали, то считали застигнутым на месте преступления, – таким образом, для Жана Вальжана монастырь мог оказаться дорогой к тюрьме, самым безопасным, ибо если человеку удавалось проникнуть сюда и остаться, то кому же взбредет в голову искать его здесь? Поселиться там, где поселиться невозможно, – это единственное спасение.

Ломал себе над этим голову и Фошлеван. Начал он с признания в том, что ровно ничего не понимает. Каким образом г-н Мадлен оказался здесь, когда кругом стены? Через монастырскую ограду так просто не перелезть. Как же он оказался здесь, да еще с ребенком? По отвесным стенам не карабкаются с ребенком на руках. Что это за ребенок? Откуда они оба взялись? В монастыре Фошлеван ничего не слыхал о Монрейле – Приморском и ни о чем происшедшем там не знал. Дядюшка Мадлен держал себя так, что с вопросами к нему нельзя было подступиться; да Фошлеван и сам говорил себе: «Святых не расспрашивают». В его глазах г-н Мадлен продолжал оставаться значительным лицом. Единственно, что мог заключить садовник из нескольких слов, вырвавшихся у Жана Вальжана, это что времена нынче тяжелые и г-н Мадлен, видимо, разорился и его преследуют кредиторы, или же он замешан в каком-нибудь политическом деле и скрывается; но это не отвратило от него Фошлевана, – как многие из наших северных крестьян, он был старой бонапартистской закваски. Скрываясь, г-н Мадлен избрал убежищем монастырь и, конечно, пожелал в нем остаться. Но что для Фошлевана было необъяснимо, к чему он постоянно возвращался и перед чем становился в тупик, это – каким образом г-н Мадлен очутился здесь, и не один, а с малюткой. Фошлеван видел их, дотрагивался до них, говорил с ними – и не мог этому поверить. Впервые в сторожку Фошлевана вступило непостижимое. Фошлеван терялся в догадках и представлял себе ясно только одно: г-н Мадлен спас ему жизнь. В этом он был уверен твердо, и это повлияло на его решение. Он сказал себе: «Теперь моя очередь». А его совесть добавила: «Господин Мадлен столько не раздумывал, когда нужно было кинуться под повозку меня оттуда вытаскивать». Он решил спасти г-на Мадлена.

Он задал себе все же несколько вопросов и сам дал на них ответы: «А что, если б он оказался вором, стал бы я его спасать, помня, кем он был для меня? Конечно. Если бы он был убийцей, стал бы я его спасать? Конечно. Но он святой – стану я его спасать? Конечно».

Однако ж как помочь ему остаться в монастыре? Трудная задача! Перед такой, почти неосуществимой попыткой Фошлеван тем не менее не отступил. Скромный пикардийский крестьянин решил преодолеть крепостной вал монастырских запретов и сурового устава св. Бенедикта, имея взамен штурмовой лестницы лишь преданность, искреннее желание и некоторую долю старой крестьянской смекалки, призванной на этот раз сослужить ему службу в великодушном его намерении. Старый дед Фошлеван прожил всю жизнь для себя, и вот, на склоне дней, хромой, немощный, ничем в жизни не интересовавшийся, он нашел отраду в чувстве признательности и, найдя возможность совершить добродетельный поступок, с такой жадностью на это накинулся, с какой умирающий, обнаружив стакан хорошего вина, которое он никогда не пробовал, хватает его и пьет. Добавим к этому, что атмосфера монастыря, которой он дышал уже несколько лет, уничтожила в нем себялюбие и привела к тому, что в душе его возникла потребность проявить милосердие, совершив хоть какое-нибудь доброе дело.

Итак, он решился отдать себя в распоряжение г-на Мадлена.

Мы только что назвали его «скромным пикардийским крестьянином». Определение правильное, но не исчерпывающее. Мы дошли до того места нашего рассказа, где было бы небесполезно дать психологическую характеристику дедушке Фошлевану. Он был из крестьян, но когда-то служил письмоводителем у нотариуса, и это придало некоторую гибкость его уму и проницательность его простодушию. Потерпев в силу разных причин крушение, он из письмоводителя превратился в возчика и поденщика. И все же ни ругань, ни щелканье кнутом, что входило в круг его обязанностей и без чего, по-видимому, не могли обходиться его лошади, не убили в нем письмоводителя. Он обладал природным умом; его речь была правильна; он, что редко встречается в деревне, умел поддерживать разговор, и крестьяне говорили про него: «Это прямо барин в шляпе». Фошлеван действительно принадлежал к тому разряду простолюдинов, которые на дерзком и легкомысленном языке прошлого столетия назывались «полугорожанин, полудеревенщина» и которые в метафорах, употребляемых во дворцах по

адресу хижин, именовались так: «не то мещанин, не то мужик; в общем ни то ни се». Фошлеван, этот жалкий старик, дышавший на ладан, хоть и много претерпел и был изрядно потрепан, все же оставался человеком, вполне добровольно повиновавшимся первому побуждению, – драгоценное качество, препятствующее человеку творить зло! Недостатки и пороки, – а у него они были, – не укоренялись в нем; словом, он принадлежал к числу людей, которые при ближайшем знакомстве с ними выигрывают. На этом старческом лице отсутствовали неприятные морщины, которые, покрывая верхнюю часть лба, свидетельствуют о злобе или тупости.

Открыв глаза на рассвете, Фошлеван, размышлявший всю ночь напролет, увидел, что г-н Мадлен, сидя на охапке соломы, глядит на спящую Козетту. Фошлеван приподнялся и сказал:

– Как же вы думаете теперь войти сюда уже по всем правилам?

Эти слова определили положение вещей и вывели Жана Вальжана из задумчивости.

Старики принялись совещаться.

– Прежде всего, – сказал Фошлеван, – вы не переступите порога этой комнаты, ни вы, ни девочка. Стоит вам выйти в сад – мы пропали.

– Это верно.

– Господин Мадлен! Вы попали сюда в очень хорошее время, то есть, я хочу сказать, в очень плохое. Одна из этих преподобных очень больна. Значит, на нас особенно не будут обращать внимания. Сдается мне, что она уже при смерти. Ее соборуют. Вся обитель на ногах. Они заняты. Та, что отходит, – святая. Сказать по правде, все мы тут святые. Между ними и мною только и разницы, что они говорят: «наша келья», а я говорю: «мой закуток». Сначала будут служить панихиду, а потом заупокойную обедню. Сегодня мы можем не беспокоиться, но за завтра я не ручаюсь.

– Однако, – заметил Жан Вальжан, – это помещение находится в углублении стены, она скрыта какими-то развалинами, окружена деревьями, из монастыря ее не видно.

– И монахини к ней не подходят.

– Так в чем же дело? – воскликнул Жан Вальжан.

Вопросительный знак, которым заканчивалась его фраза, означал: «Мне кажется, что здесь нас никто не увидит».

– А девочки? – возразил Фошлеван.

– Какие девочки? – удивился Жан Вальжан.

Только Фошлеван собрался ему ответить, как раздался удар колокола.

– Монахиня скончалась, – сказал он. – Слышите похоронный звон?

Он сделал знак Жану Вальжану прислушаться. Последовал второй удар колокола.

– Это похоронный звон, господин Мадлен. Колокол будет звонить ежеминутно в течение двадцати четырех часов, до выноса тела из церкви. А девочки, видите ли, играют; если во время перемены у них закатится сюда мячик, так они, несмотря на запрет, все равно прибегут сюда и будут всюду совать свой нос. Эти херувимчики – настоящие чертенята!

– Кто? – спросил Жан Вальжан.

– Девочки. Вас мигом обнаружат, можете не сомневаться. А потом станут кричать: «Глядите: мужчина!» Но сегодня опасаться нечего. Перемены у них не будет. Весь день пройдет в молитвах. Слышите колокольный звон? Я вам говорил: каждую минуту удар колокола. Это похоронный звон.

– Понимаю, дедушка Фошлеван. Здесь, значит, есть воспитанницы?

А про себя Жан Вальжан подумал: «Здесь Козетта могла бы получить воспитание».

– Конечно, есть! – воскликнул Фошлеван. – Маленькие девочки! Ну и визг подняли бы они тут! И задали бы стрекача! Здесь мужчина – все равно что чума. Вы сами видите, что мне к лапе привязывают бубенчик, словно я дикий зверь.

Жан Вальжан глубоко задумался.

– Этот монастырь – наше спасение, – шептал он про себя. Затем сказал вслух:

– Да, самое трудное – это остаться здесь.

– Нет, – возразил Фошлеван, – самое трудное – выйти отсюда.

Жан Вальжан почувствовал, что вся кровь отхлынула у него от сердца.

– Выйти?

– Да, господин Мадлен, чтобы вы могли сюда вернуться, необходимо сначала отсюда выйти.

Переждав очередной удар колокола, Фошлеван продолжал:

– Не дай бог, если вас тут застанут. Сейчас же спросят, откуда вы появились. Я-то могу считать, что вы упали с неба, потому что я вас знаю. А монахиням требуется, чтобы вы вошли в ворота.

Вдруг послышался более затейливый звон другого колокола.

– Ага! – сказал Фошлеван. – Это сбор капитула. Зовут матерей – изборщиц. Так бывает всегда, когда кто-нибудь умирает. Она скончалась на рассвете. Все обыкновенно умирают на рассвете. А вы не могли бы выйти тем же путем, каким вошли? Скажите, – только не подумайте, что я собираюсь вас допрашивать, – как вы сюда вошли?

Жан Вальжан побледнел. Одна мысль о том, чтобы спуститься через стену на эту страшную улицу, приводила его в трепет. Вообразите себе, что вы выбрались из леса, полного тигров, и вдруг вам дают дружеский совет возвратиться в лес. Жан Вальжан представил себе весь квартал: всюду слежка, дозоры, руки, протянутые к его вороту, и, быть может, на углу перекрестка – сам Жавер.

– Немыслимо! – воскликнул он. – Дедушка Фошлеван! Считайте, что я упал сюда с неба.

– Я-то этому верю, охотно верю, мне об этом нечего н говорить, – сказал Фошлеван. – Бог, наверно, взял вас на руки, чтобы разглядеть получше, а потом выпустил. Только он хотел, чтобы вы попали в мужской монастырь, но ошибся. Ну вот, опять звонят. Этим звоном предупреждают привратника, чтобы он пошел предупредить муниципалитет, а уж тот предупредит врача покойников, чтобы пришел осмотреть покойницу. Так уж водится, когда умирают. Наши преподобные недолюбливают такие осмотры. Ведь врачи – это такой народ, который ни во что не верит. Врач приподымает покрывало. Иногда даже приподымает кое-что другое. Что это они так поспешили на этот раз предупредить врача? Что случилось? А ваша малютка все еще спит. Как ее зовут?

– Козетта.

– Это ваша девочка? Вернее сказать, вы ее дед?

– Да.

– Ей-то выйти отсюда будет легко. Есть тут служебная калитка прямо во двор. Я постучусь. Привратник откроет. У меня за спиной корзина, в ней малютка. Я выхожу. Дедушка Фошлеван вышел с корзиной – ничего странного в этом нет. Вы скажете девочке, чтобы она сидела смирно. Ее не будет видно под чехлом. На столько времени, сколько потребуется, я помещу ее у моей старой приятельницы, глухой торговки фруктами на Зеленой дороге, у нее есть детская кроватка. Я крикну ей в ухо, что это моя племянница и что я ее оставлю до завтра у нее. А потом малютка вернется с вами, потому что я устрою так, что вы вернетесь. Это непременно надо сделать. Но вы-то как отсюда выйдете?

Жан Вальжан покачал головой.

– Лишь бы меня никто не видел, дедушка Фошлеван, в этом все дело. Найдите способ, чтобы я мог выбраться отсюда в корзине и под чехлом, как Козетта.

Фошлеван почесал у себя за ухом, что служило у него признаком крайнего замешательства.

Третий удар колокола придал другой оборот его мыслям.

– Это уходит врач покойников, – сказал Фошлеван, – Он поглядел и сказал: «Так и есть: она умерла». После того, как доктор подпишет пропуск в рай, бюро похоронных процессий присылает гроб. Если скончалась игуменья, то ее в гроб обряжают игуменьи; если монахиня, то обряжают монахини. Потом я заколачиваю гроб. Это тоже мое дело, дело садовника. Садовник – он ведь отчасти могильщик. Гроб ставят в нижний, выходящий на улицу, церковный придел, куда не имеет права входить ни один мужчина, кроме доктора. Меня и факельщиков за мужчин не считают. В этом самом приделе я забиваю гроб. Факельщики приходят, выносят гроб – и с богом! Таким-то манером и отправляются на небеса. Вносят пустой ящик, а выносят с грузом внутри. Вот что такое похороны. De profundis[64].

Косой утренний луч слегка касался личика Козетты; она спала с чуть приоткрытым ртом и казалась ангелом, пьющим солнечное сияние. Жан Вальжан загляделся на нее. Он больше не слушал Фошлевана.

Если тебя не слушают, то это еще не значит, что ты должен замолчать. Старый садовник спокойно продолжал переливать из пустого в порожнее.

– Могилу роют на кладбище Вожирар. Говорят, кладбище Вожирар собираются закрыть. Это старинное кладбище, никаких уставов оно не соблюдает, мундира не имеет и должно скоро выйти в отставку. Жаль, потому что оно удобное. У меня там есть приятель, могильщик, дядюшка Метьен. Здешним монахиням дают там поблажку – их отвозят на кладбище в сумерки. Префектура насчет этого издала особый приказ. И чего-чего только не случилось со вчерашнего дня! Матушка Распятие скончалась, а дядюшка Мадлен…

– Погребен, – сказал Жан Вальжан с грустной улыбкой.

– Ну, конечно, если бы вы здесь остались навсегда, это было бы настоящим погребением! – подхватил Фошлеван.

Раздался четвертый удар колокола. Фошлеван быстрым движением снял с гвоздя наколенник с колокольчиком и пристегнул его к колену.

– На этот раз звонят мне. Меня требует настоятельница. Так и есть, я укололся шпеньком от пряжки. Господин Мадлен! Не двигайтесь с места и ждите меня. Видно, какие-то новости. Если проголодаетесь, то вот вино, хлеб и сыр.

Он вышел из сторожки, приговаривая: «Иду! Иду!»

Жан Вальжан видел, как он быстро, насколько ему позволяла хромая нога, направился через сад, мимоходом оглядывая грядки с дынями.

Не прошло и десяти минут, как дедушка Фошлеван, бубенчик которого обращал в бегство встречавшихся на его пути монахинь, уже тихонько стучался в дверь, и тихий голос ответил ему: «Во веки веков», что означало: «Войдите».

Дверь вела в приемную, отведенную для разговоров с садовником по делам его службы. Приемная примыкала к залу заседаний капитула. На единственном, стоявшем в приемной стуле настоятельница ожидала Фошлевана.

## Глава вторая.
## Фошлеван в затруднительном положении

При некоторых критических обстоятельствах людям с определенным характером и определенной профессии свойственно принимать взволнованный и вместе с тем значительный вид – особенно священникам и монахам. В ту минуту, когда вошел Фошлеван, именно такое двойственное выражение озабоченности можно было прочесть на лице настоятельницы –

некогда очаровательной и просвещенной мадмуазель Блемер, а ныне матери Непорочность, обычно жизнерадостной.

Садовник остановился на пороге кельи и робко поклонился. Перебиравшая четки настоятельница взглянула на него и спросила:

– А, это вы, дедушка Фован?

Этим сокращенным именем принято было называть его в монастыре.

Фошлеван снова поклонился.

– Дедушка Фован! Я велела позвать вас.

– Вот я, матушка, и пришел.

– Мне нужно с вами поговорить.

– И мне нужно с вами поговорить, – сам испугавшись своей дерзости, сказал Фошлеван. – Мне тоже надо кое-что сказать вам, матушка.

Настоятельница поглядела на него.

– Вы хотите сообщить мне что-то?

– Нет, попросить.

– Хорошо, говорите.

Старик Фошлеван, бывший письмоводитель, принадлежал к тому типу крестьян, которые не лишены самоуверенности. Невежество, приправленное хитрецой, – сила; его не боятся и потому на эту удочку попадаются. Прожив два с лишним года в монастыре, Фошлеван добился признания. Если не считать работы в саду, ему, в постоянном его одиночестве, ничего не оставалось делать, как всюду совать свой нос. Держась на расстоянии от закутанных в монашеские покрывала женщин, сновавших взад и вперед, Фошлеван сначала видел перед собой мелькание теней. Наблюдательность и проницательность помогли ему в конце концов облечь эти призраки в плоть и кровь, и все эти мертвецы ожили для него. Он был словно глухой, глаза которого приобрели дальнозоркость, или слепой, слух которого обострился. Он старался разобраться в значении всех разновидностей колокольного звона и преуспел в этом настолько, что загадочная и молчаливая обитель уже не таила в себе для него ничего непонятного. Этот сфинкс выбалтывал ему на ухо все свои тайны. Фошлеван все знал и молчал. В этом заключалось его искусство. В монастыре все считали его дурачком. Это большое достоинство в глазах религии. Матери – изборщицы дорожили Фошлеваном. Это был удивительный немой. Он внушал доверие. Кроме того, он знал свое место и выходил из сторожки, только когда необходимость требовала его присутствия в огороде либо в саду. Тактичность была ему поставлена в заслугу. Тем не менее Фошлеван заставлял все ему выбалтывать двух человек: в монастыре – привратника, и потому он знал подробности всего, что происходило в приемной, а на кладбище-могильщика, и потому он знал все обстоятельства похорон. Так он получал двоякого рода сведения о монахинях: одни проливали свет на их жизнь, другие – на их смерть. Но он ничем не злоупотреблял. Община ценила его. Старый, хромой, решительно ничего и ни в чем не смыслящий, без сомнения глуховатый – сколько достоинств! Заменить его было бы трудно.

Солнце еще не успело зайти, когда катафалк с гробом, под белым сукном и черным крестом, въехал в аллею, ведшую к кладбищу Вожирар. Следовавший за ним хромой старик был не кто иной, как Фошлеван.

Погребение матери Распятие в склепе под алтарем, выход Козетты из монастыря, проникновение Жана Вальжана в покойницкую – все прошло благополучно, без малейшей заминки.

Заметим кстати, что погребение матери Распятие в склепе под алтарем кажется нам поступком вполне простительным. Это одно из тех прегрешений, которые совершаются ради исполнения долга. Монахини совершили его, не только не смущаясь, но с полного одобрения

их совести. В монастыре действия того, что именуется «правительством», рассматриваются лишь как вмешательство в чужие права, – вмешательство, всегда требующее отпора.

Превыше всего – монастырский устав; что же касается закона, – там видно будет. Люди! Сочиняйте законы, сколько вам заблагорассудится, но берегите их для себя! Последняя подорожная кесарю – это всего лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти – ничто.

Фошлеван, очень довольный, ковылял за колесницей. Его два переплетавшихся заговора: один – с монахинями, другой – с г-ном Мадленом, один – в интересах монастыря, другой – в ущерб этим интересам, – удались на славу. Невозмутимость Жана Вальжана представляла собой то незыблемое спокойствие, которое сообщается другим. Фошлеван не сомневался в успехе. Оставались сущие пустяки. В течение двух лет Фошлеван раз десять угощал могильщика, этого славного толстяка, дядюшку Метьека. Он обводил его вокруг пальца. Он делал с ним, что хотел. Он вбивал ему в голову все, что вздумается. И дядюшка Метьен поддакивал каждому его слову. У Фошлевана была полная уверенность в успехе.

Когда похоронная процессия достигла аллеи, ведшей к кладбищу, счастливый Фошлеван взглянул на дроги и, потирая свои ручищи, пробормотал:

– Комедия!

Катафалк остановился; подъехали к решетке. Надо было предъявить разрешение на похороны. Служащий похоронного бюро вступил в переговоры со сторожем. Во время этой беседы, обычно останавливающей кортеж на две-три минуты, подошел какой-то незнакомец и стал позади катафалка, рядом с Фошлеваном. По виду это был рабочий, в блузе с широкими карманами, с заступом под мышкой.

Фошлеван взглянул на незнакомца.

– Вы кто будете? – спросил он.

– Могильщик, – ответил тот.

Если, получив пушечное ядро прямо в грудь, человек остался бы жив, то у него, наверное, было бы такое же выражение лица, как в эту минуту у Фсшлевана.

– Могильщик?

– Да.

– Вы?

– Я.

– Могильщик здесь дядюшка Метье?.

– Был.

– То есть как это был?

– Он умер.

Фошлеван был готов к чему угодно, но только не к тому, что могильщик может умереть. А между тем могильщики тоже смертны. Копая могилу другим, приоткрываешь и свою.

Фошлеван остолбенел.

– Не может быть! – заикаясь, пролепетал он.

– Очень даже может!

– Но могильщик – это же дядюшка Метьен! – слабо возразил Фошлеван.

– После Наполеона – Людовик Восемнадцатый. После Метьена – Грибье. Моя фамилия Грибье, деревенщина!

Внезапно побледнев, Фошлеван всматривался в Грибье.

Это был высокий, тощий, с землистого цвета лицом, очень мрачный человек. Он напоминал неудачливого врача, который взялся за работу могильщика.

Фошлеван расхохотался.

– Бывают же такие смешные случаи! Дядя Метьен умер! Умер добрый дядюшка Метьен, но да здравствует добрый дядюшка Ленуар! Вы знаете, кто такой дядюшка Ленуар? Это кувшинчик запечатанного красного винца в шесть су. Кувшинчик сюренского, будь я неладен! Настоящего парижского сюрена. Старина Метьен умер! Да, жаль, он был не дурак пожить. Ну, а вы? Вы ведь тоже не дурак пожить? Верно, приятель? Мы сейчас с вами пойдем пропустим по стаканчику.

– Я человек образованный. Я окончил четыре класса. Я не пью.

Погребальные дроги снова тронулись в путь и покатили по главной аллее кладбища.

Фошлеван замедлил шаг. От волнения он стал еще сильнее прихрамывать.

Могильщик шел впереди.

Фошлеван опять стал приглядываться к свалившемуся с неба Грибье.

Новый могильщик принадлежал к тому сорту людей, которые, несмотря на молодость, кажутся стариками и, несмотря на худобу, бывают очень сильны.

– Приятель! – окликнул его Фошлеван.

Тот обернулся.

– Я могильщик из монастыря.

– Мой коллега, – отозвался могильщик.

Фошлеван, человек хотя и малограмотный, но весьма проницательный, понял, что имеет дело с опасной породой человека, то есть с краснобаем.

– Значит, дядюшка Метьен умер, – пробурчал он.

– Бесповоротно, – подтвердил могильщик. – Господь бог справился в своей вексельной книге. Увидел, что пришел черед расплачиваться дядюшке Метьену. И дядюшка Метьен умер.

– Господь бог… – машинально повторил Фошлеван.

– Да, господь бог, – внушительно повторил могильщик. – Для философов он – предвечный отец; для якобинцев – верховное существо.

– А не познакомиться ли нам поближе? – пробормотал Фошлеван.

– Мы это уже сделали. Вы – деревенщина, я – парижанин.

– Пока не выпьешь вместе, по-настоящему не познакомишься. Раскупоришь бутылочку – раскупоришь и душу. Пойдем выпьем. От этого не отказываются.

– Нет, дело прежде всего.

«Я пропал», – подумал Фошлеван.

До аллейки, ведшей к уголку, где хоронили монахинь, оставалось несколько шагов.

– Деревенщина! – снова заговорил могильщик. – У меня семеро малышей, которых надо прокормить. Чтобы они могли есть, я не должен пить.

С удовлетворенным видом мыслителя, нашедшего нужное выражение, он присовокупил:

– Их голод – враг моей жажды.

Похоронные дроги обогнули кипарисы, свернули с главной аллеи и направились по боковой, затем, проехав по траве, углубились в чащу. Это указывало на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлял свой шаг, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая, размытая зимними дождями земля налипала на колеса и затрудняла ход.

Фошлеван приблизился к могильщику.

– Там отличное аржантейльское вино! – прошептал он.

– Поселянин! – снова заговорил могильщик. – Мне бы не могильщиком быть. Мой отец был привратником в Притане. Он мечтал о том, что я буду литератором. Но на него свалились несчастья. Он проигрался на бирже. Я должен был отказаться от литературного поприща. Но я все-таки исполняю обязанности писца по вольному найму.

– Значит, вы не могильщик? – воскликнул Фошлеван, цепляясь за эту хрупкую веточку.

– Одно другому не мешает. Я совмещаю эти две профессии.

Фошлеван не понял последнего слова.

– Пойдем выпьем, – сказал он.

Тут надо сделать одно замечание. Фошлеван, как ни велика была его тревога, предлагая выпить, обходил молчанием один пункт: кто будет платить? Обычно Фошлеван предлагал выпить, а дядюшка Метьен платил. Предложение выпить со всей очевидностью вытекало из нового положения, созданного новым могильщиком; сделать подобное предложение, конечно, было необходимо, но старый садовник намеренно оставлял пресловутые, так называемые раблезианские четверть часа во мраке неизвестности. Несмотря на все свое волнение, Фошлеван и не думал раскошеливаться.

Могильщик продолжал, презрительно улыбаясь:

– Ведь есть-то надо! Я согласился стать преемником дядюшки Метьена. У кого есть почти законченное образование, тот становится философом. Работу пером я сочетаю с работой заступом. Моя канцелярия на рынке, на Севрской улице. Вы знаете тот рынок? Это Зонтичный рынок. Все кухарки из госпиталей Красного креста обращаются ко мне. Я стряпаю им нежные послания к солдатикам. По утрам сочиняю любовные цидулки, по вечерам копаю могилы. Такова жизнь, селянин!

Похоронные дроги двигались вперед. Тревога Фошлевана дошла до предела; он озирался по сторонам. Со лба у него катились крупные капли пота.

– А между тем, – продолжал могильщик, – нельзя служить двум господам. Придется сделать выбор между пером и заступом. Заступ портит мне почерк.

Дроги остановились.

Из траурной кареты вышел певчий, за ним священник.

Одно из передних колес катафалка задело кучу земли, за которой виднелась отверстая могила.

– Комедия! – растерянно повторил Фошлеван.

## Глава шестая.
## Между четырех досок

Кто лежал в гробу? Нам это известно. Жан Вальжан.

Жан Вальжан устроился в нем так, чтобы сохранить жизнь, чтобы можно было хоть и с трудом, но дышать.

Удивительно, до какой степени от спокойной совести зависит спокойствие человека вообще! Затея, придуманная Жаном Вальжаном, удавалась, и удавалась отлично со вчерашнего дня. Он, как и Фошлеван, рассчитывал на дядюшку Метьена. В благополучном исходе Жан Валъжан не сомневался. Нельзя себе представить положение более критическое, нельзя себе представить спокойствие более безмятежное.

От четырех гробовых досок веяло умиротворением. Казалось, спокойствие Жана Вальжана восприняло нечто от мертвого покоя усопших.

Из глубины гроба он имел возможность наблюдать, и он наблюдал за всеми этапами той опасной игры, которую он вел со смертью.

Вскоре после того как Фошлеван приколотил верхнюю доску, Жан Вальжан почувствовал, что его понесли, а затем повезли. Толчки становились реже – он понял, что с мостовой съехали

на утоптанную землю, то есть проехали улицы и достигли бульваров. По глухому стуку он догадался, что переезжают Аустерлицкий мост. Во время первой остановки он догадался, что подъехали к кладбищу; во время второй он сказал себе: «Могила».

Внезапно он почувствовал, что гроб приподняли, потом послышалось трение о доски; он сообразил, что гроб обвязывают веревкой, чтобы спустить его в яму.

Потом у него как будто закружилась голова.

По всей вероятности, факельщик и могильщик качнули гроб и опустили его изголовьем вниз. Жан Вальжан окончательно пришел в себя, когда почувствовал, что лежит прямо и неподвижно. Гроб коснулся дна могилы.

Он ощутил какой-то особенный холод.

Леденящий душу торжественный голос раздался над ним. Над ним медленно, – так медленно, что он мог уловить каждое из них, – произносились латинские слова, которых он не понимал:

Qui dormiunt in terrae puluere, evigilabunt: alii in vitam aeternam et alii in opprobrium; ut videant semper[65].

Детский голос ответил:

– De profundis.

Строгий голос продолжал:

– Requiem aeternam dona ei, Doniine[66].

Детский голос ответил:

– Et lux perpetua luceat ei[67].

Он услышал, как по крышке гроба что-то мягко застучало, словно дождевые капли. Вероятно, гроб окропили святой водой.

«Скоро кончится! – подумал он. – Еще немного терпения. Священник сейчас уйдет. Фошлеван уведет Метьена выпить. Меня оставят. Потом Фошлеван вернется один, и я выйду. На все это уйдет добрый час времени».

Строгий голос возгласил вновь:

– Requiescat in pace[68].

Детский голос ответил:

– Amen.

Жан Вальжан, напрягши слух, уловил что-то вроде удаляющихся шагов.

«Вот уже и уходят, – подумал он, – я один». Вдруг он услышал над головой звук, показавшийся ему раскатом грома.

То был ком земли, упавший на гроб.

Упал второй ком.

Одно из отверстий, через которые дышал Жан Вглььжан, забилось землей.

Упал третий ком.

Затем четвертый.

Бывают обстоятельства, превосходящие силы самого сильного человека. Жан Вальжан лишился чувств.

## Глава седьмая,
## из которой читатель уяснит себе, как возникла поговорка: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»

Вот что происходило над гробом, в котором лежал Жан Вальжан.

Когда похоронные дроги удалились, когда священник и певчий уселись в траурную карету и уехали, Фошлеван, не спускавший глаз с могильщика, увидел, что тот нагнулся и схватил воткнутую в кучу земли лопату.

Фошлеван принял отчаянное решение.

Он стал между могилой и могильщиком, скрестил руки и сказал:

– Я плачу!

Могильщик удивленно взглянул на него.

– Что такое, деревенщина?

Фошлеван повторил:

– Я плачу!

– За что?

– За вино.

– За какое вино?

– За аржантейльское.

– Где оно, твое аржантейльское вино?

– В «Спелой айве».

– Пошел к черту! – буркнул могильщик и сбросил землю с лопаты в могилу.

Гроб ответил глухим звуком. Фошлеван почувствовал, что земля уходит у него из-под ног и что он сам готов упасть в могилу. Он крикнул сдавленным, хриплым голосом:

– Скорей, приятель, пока «Спелая айва» еще не закрыта!

Могильщик набрал еще на одну лопату земли. Фошлеван продолжал.

– Я плачу! – повторил Фошлеван и схватил могильщика за локоть. – Послушай, приятель! Я монастырский могильщик, я пришел тебе подсобить. Это дело можно сделать и ночью. А сначала пойдем выпьем по стаканчику.

Продолжая говорить, продолжая упорно, безнадежно настаивать, он в то же время мрачно раздумывал: «А вдруг он выпьет да не охмелеет?»

– Если вам так хочется, провинциал, я согласен, – сказал могильщик. – Выпьем. Но после работы, не раньше.

С этими словами он взялся за лопату. Фошлеван удержал его.

– Это аржантейльское вино, – по шесть су!

– Ах вы, звонарь! – сказал могильщик. – Динь-дон, динь-дон, только это вы и знаете. Пойдите прогуляйтесь.

И опять сбросил с лопаты землю.

Фошлеван сам не понимал, что говорит.

– Да идемте же выпьем! – крикнул он, – Ведь платить-то буду я!

– После того как уложим ребенка спать, – сказал могильщик и в третий раз сбросил с лопаты землю.

– Видите ли, ночью будет холодно, – воткнув лопату в землю, добавил он, – и покойница начнет звать нас, если мы оставим ее без одеяла.

Тут могильщик, набирая землю лопатой, нагнулся и карман его блузы оттопырился.

Блуждающий взгляд Фошлевана упал на этот карман и задержался на нем.

Солнце еще не скрылось за горизонтом; в глубине кармана можно было разглядеть что-то белое. Глаза Фошлевана блеснули с яркостью, удивительной для пикардийского крестьянина. Его вдруг осенило.

Осторожно, чтобы не заметил могильщик, он запустил сзади руку к нему в карман и вытащил белый предмет.

Могильщик в четвертый раз сбросил с лопаты в могилу землю.

Когда он обернулся, чтобы набрать пятую лопату, Фошлеван с самым невозмутимым видом сказал:

– Кстати, новичок, а пропуск при тебе?

Могильщик приостановился.

– Какой пропуск?

– Да ведь солнце-то заходит!

– Ну и хорошо, пусть напяливает на себя ночной колпак.

– Сейчас запрут кладбищенские ворота.

– И что же дальше?

– А пропуск при тебе?

– Ах, пропуск!

Могильщик стал шарить в кармане.

Обшарив один карман, он принялся за другой. Затем перешел к жилетным карманам, обследовал один, вывернул второй.

– Нет, – сказал он, – у меня нет пропуска… Должно быть, забыл его дома.

– Пятнадцать франков штрафу, – заметил Фошлеван.

Могильщик позеленел. Зеленоватый оттенок означает бледность у людей с землистым цветом лица.

– А, разрази их господь! – воскликнул он. – Пятнадцать франков штрафу!

– Три монеты по сто су, – пояснил Фошлеван.

Могильщик выронил лопату.

Теперь настал черед Фошлевана.

– Ну, ну, юнец, – сказал Фошлеван, – не горюйте. Из-за этого самоубийством не кончают, даже если готовая могила под боком. Пятнадцать франков – это всего-навсего пятнадцать франков, а кроме того, можно их и не платить. Я стреляный воробей, а вы еще желторотый. Мне тут прекрасно известны все ходы, выходы, приходы, уходы. Я дам вам дружеский совет. Ясно одно; солнце заходит, оно уже достигло купола Инвалидов, через пять минут кладбище закроют.

– Это верно, – согласился могильщик.

– За пять минут вы не успеете засыпать могилу, она чертовски глубокая, эта могила, и не успеете выйти до того, как запрут кладбище.

– Правильно.

– В таком случае с вас пятнадцать франков штрафу.

– Пятнадцать франков!

– Но время еще есть… Вы где живете?

– В двух шагах от заставы. Четверть часа ходьбы отсюда. Улица Вожирар, номер восемьдесят семь.

– Время у вас еще есть, если только вы возьмете ноги в руки и уйдете отсюда немедленно.

– Это верно.

– Как только вы окажетесь за воротами, мчитесь домой, берите пропуск, бегите обратно, сторож вас впустит. А раз у вас будет пропуск, платить не придется. И тогда уже вы зароете покойника. А я пока что постерегу его, чтобы он не сбежал.

– Я обязан вам жизнью, провинциал!

– А ну, живо! – скомандовал Фошлеван.

Вне себя от радости могильщик потряс ему руку и пустился бежать.

Когда он скрылся среди деревьев и шаги его замерли, Фошлеван нагнулся над могилой и сказал вполголоса:

– Дядюшка Мадлен!

Никакого ответа.

Фошлеван вздрогнул. Он не слез, а скатился в могилу, припал к изголовью гроба и крикнул:

– Вы здесь?

В гробу царила тишина.

Фошлеван, еле переводя дух – так его трясло, вынул из кармана долото и молоток и оторвал у крышки гроба верхнюю доску. В сумеречном свете он увидел лицо Жана Вальжана, бледное, с закрытыми глазами.

У Фошлевана волосы встали дыбом. Он поднялся, но вдруг, едва не упав на гроб, осел, привалившись к внутренней стенке могилы. Он взглянул на Жана Вальжана.

Жан Вальжан, мертвенно-бледный, лежал неподвижно.

Фошлеван тихо, точно вздохнув, прошептал:

– Он умер!

Снова выпрямившись, он с такой яростью скрестил на груди руки, что сжатые кулаки ударили его по плечам.

– Так вот как я спас его! – вскричал он.

Бедняга, всхлипывая, заговорил сам с собой. Принято думать, что монолог несвойствен человеческой природе, – это неверно. Сильное волнение нередко заявляет о себе во всеуслышание.

– В этом виноват дядюшка Метьен, – причитал он. – Ну с какой стати этот дуралей умер? Зачем понадобилось ему околевать, когда никто этого не ожидал? Это он уморил господина Мадлена. Дядюшка Медлен! Вон он лежит в гробу! Он достиг всего. Кончено! Ну разве во всем этом есть какой-нибудь смысл? Господи боже! Он умер! А его малютка? Что мне с ней делать? Что скажет торговка фруктами? Чтобы такой человек и так умер! Господи, да разве это возможно? Только подумать, что он подлез под мою телегу! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Ей-богу, он задохся, я говорил ведь! Он не хотел мне верить. Нечего сказать, хороша шуточка ради конца! Он умер, такой славный человек, самый добрый из всех божьих людей. А его малютка! Ах! Во-первых, я не вернусь туда. Я останусь здесь. Отколоть такую штуку! И ведь надо же было старым людям дожить до таких лет, чтобы оказаться старыми дураками! Как же это он все-таки попал в монастырь? С этого все и началось. Нельзя проделывать такие вещи. Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Дядюшка Мадлен! Мадлен! Господин Мадлен! Господин мэр! Не слышит. Попробуйте-ка теперь выкрутиться!

фошлеван стал рвать на себе волосы.

Издали послышался скрип. Запирали ворота.

Фошлеван наклонился над Жаном Вальжаном, но вдруг подскочил и отшатнулся, насколько это возможно было в могиле. У Жана Вальжана глаза были открыты и смотрели на него.

Видеть смерть жутко, видеть воскресение почти так же жутко. Фошлеван окаменел; бледный, растерянный, потрясенный всеми этими необычайными волнениями, он не понимал, покойник перед ним или живой, и глядел на Жана Вальжана, а тот глядел на него.

– Я уснул, – сказал Жан Вальжан и привстал на своем ложе.

Фошлеван упал на колени.

– Пресвятая дева! Ну и напугали же вы меня!

Затем он поднялся и крикнул:

– Спасибо, дядюшка Мадлен!

Жан Вальжан был только в обмороке. Свежий воздух привел его в чувство.

Радость – отлив ужаса. Фошлевану надо было затратить почти столько же сил, сколько Жану Вальжану, чтобы прийти в себя.

– Так вы не умерли! Ну до чего ж вы умный! Я так долго звал вас, что вы вернулись! Когда я увидел ваши закрытые глаза, я сказал себе: «Так! Ну вот он и задохся!» Я помешался бы, стал бы настоящим буйным помешанным, на которого надевают смирительную рубашку. Меня бы посадили в Бисетр. А что мне было еще делать, если бы вы умерли? А ваша малютка? Вот уж кто ничего не понял бы, так это торговка фруктами. Ей сбрасывают на руки ребенка, а дедушка умирает! Что за история! Святители, что за история! Ах, вы живы! Вот счастье-то!

– Мне холодно, – сказал Жан Вальжан.

Эти слова окончательно вернули Фошлевана к действительности, настойчиво о себе напоминавшей. Эти два человека, даже придя в себя, все еще, сами того не понимая, испытывали душевное смятение; в них говорило необыкновенное чувство, порожденное мрачной уединенностью этого места.

– Уйдем скорее отсюда! – воскликнул Фошлеван.

Он пошарил у себя в кармане и вытащил флягу, которой запасся заранее.

– Но сначала хлебните, – сказал он.

Фляга довершила то, что начал свежий воздух. Жан Вальжан отпил глоток и овладел собой.

Он вылез из гроба и помог Фошлевану снова заколотить крышку.

Через три минуты они выбрались из могилы.

Фошлеван был теперь спокоен. Он не спешил. Кладбище было заперто. Неожиданного возвращения могильщика Грибье опасаться было нечего. Этот «юнец» находился у себя дома и разыскивал пропуск, который ему довольно трудно было найти, ибо он лежал в кармане у Фошлевана. Без пропуска вернуться на кладбище он не мог.

Фошлеван взял лопату, Жан Вальжан заступ, и оба закопали пустой гроб.

Когда могила была засыпана, Фошлеван сказал Жану Вальжану:

– Идем. Я возьму лопату, а вы несите заступ.

Дело шло к ночи.

Жану Вальжану нелегко было двигаться и ходить. В гробу он окостенел и сам почти уподобился трупу. Среди четырех гробовых досок им овладела неподвижность смерти. Ему надо было, так сказать, оттаять от могилы.

– Вы закоченели? – спросил Фошлеван. – Как жаль, что я хромаю, а то мы потопали бы ногами, чтобы согреться.

– Пустяки! – ответил Жан Вальжан. – Два-три шага, и я снова научусь ходить.

Они шли теми же аллеями, по которым ехали погребальные дроги. Дойдя до запертых ворот и сторожки, Фошлеван, державший в руке пропуск могильщика, бросил его в ящик, сторож дернул за шнур, дверь отворилась, и они вышли.

– Как все хорошо устраивается! Какая хорошая мысль пришла вам в голову, дядюшка Мадлен! – сказал Фошлеван.

Они беспрепятственно миновали заставу Вожирар. В окрестностях кладбища лопата и заступ служат паспортами.

Улица Вожирар была пустынна.

– Дядюшка Мадлен! – всматриваясь в дома, сказал Фошлеван. – Вы видите лучше моего. Покажите, где номер восемьдесят седьмой?

– Вот как раз и он, – сказал Жан Вальжан.

– На улице никого нет, – продолжал Фошлеван. – Дайте мне заступ и подождите минутку.

Фошлеван вошел в дом, поднялся на самый верх, повинуясь инстинкту, неизменно ведущему бедняка к чердачному помещению, и в темноте постучался в дверь мансарды. Чей-то голос сказал:

– Войдите.

То был голос Грибье.

Фошлеван толкнул дверь. Квартира могильщика, как все подобные ей убогие жилища, представляла собой лишенную убранства каморку. Ящик для упаковки товара – а может быть, гроб – служил комодом, горшок из-под масла – посудой для воды, соломенный тюфяк – постелью, вместо стульев и стола – плитчатый пол. В углу на дырявом обрывке старого ковра сидели, сбившись в кучку, худая женщина и дети. Все в этой жалкой комнате носило следы домашней бури. Можно было подумать, что здесь произошло «комнатное» землетрясение. Крышки с кастрюль были сдвинуты, лохмотья разбросаны, кружка разбита, мать заплакана, дети, по-видимому, избиты; всюду следы безжалостного, грубого обыска. Было ясно, что могильщик совсем потерял голову, разыскивая пропуск, и возложил ответственность за пропажу на все, что находилось в каморке, – от кружки до жены. Всем своим видом он выражал отчаяние.

Фошлеван стремился к развязке, а потому не обратил внимания на печальную сторону своего успеха.

– Я принес ваш заступ и лопату, – сказал он, войдя.

Грибье с изумлением взглянул на него.

– Это вы, поселянин?

– А завтра утром вы получите у сторожа пропуск.

Он положил на пол лопату и заступ.

– Что это значит? – спросил Грибье.

– Это значит, что вы выронили из кармана пропуск, а когда вы ушли, я нашел его на земле; покойницу я похоронил, могилу засыпал, работу вашу выполнил, привратник вернет вам пропуск, и вы не уплатите пятнадцать франков штрафа. Так-то, новичок!

– Благодарю вас, провинциал! – в восторге вскричал Грибье. – В следующий раз за выпивку плачу я!

## Глава восьмая.
## Удачный допрос

Час спустя, поздним вечером, двое мужчин и ребенок подошли к дому номер 62 по улочке Пикпюс. Старший из мужчин поднял молоток и постучал – это были Фошлеван, Жан Вальжан и Козетта. Оба старика зашли за Козеттой к торговке фруктами на Зеленую дорогу, куда Фошлеван доставил ее накануне. Все эти двадцать четыре часа Козетта провела, дрожа втихомолку от страха и ничего не понимая. Она так боялась, что даже не плакала. Она не ела, не спала. Почтенная фруктовщица забрасывала Козетту вопросами, но та вместо ответа смотрела на нее мрачным взглядом. Козетта ничего не выдала из того, что видела и слышала в течение последних двух дней. Она догадывалась, что происходит какой-то перелом в ее жизни. Она всем своим существом ощущала, что надо «быть умницей». Кто не испытал могущества трех слов, произнесенных с определенным выражением на ухо маленькому, напуганному существу: «Не говори ничего!» Страх нем. Лучше всех хранят тайну дети.

Но когда по прошествии мучительных суток она вновь увидела Жана Вальжана, то испустила такой восторженный крик, что если б его услыхал человек вдумчивый, он угадал бы в нем счастье человека, которого только что извлекли из бездны.

Фошлеван жил в монастыре, и ему были известны условные слова. Все двери перед ним отворились.

Так была разрешена двойная страшная задача: выйти и войти.

Привратник, которому дано было особое распоряжение, отпер служебную калитку со двора в сад, которую еще двадцать лет тому назад можно было видеть с улицы, в стене, в глубине двора, как раз напротив ворот. Привратник впустил всех троих, и они дошли до внутренней, отдельной приемной, где накануне Фошлеван выслушал распоряжения настоятельницы.

Настоятельница ожидала их, перебирая четки. Одна из матерей-изборщиц, с опущенным на лицо покрывалом, стояла возле нее. Робкий огонек свечи освещал, вернее, – силился осветить, приемную.

Настоятельница произвела смотр Жану Вальжану. Особенно зорким был ее взгляд из-под опущенных век.

Затем она стала его расспрашивать:

– Вы его брат?

– Да, матушка, – ответил Фошлеван.

– Ваше имя?

– Ультим Фошлеван.

У него был брат Ультим, давно умерший.

– Откуда вы родом?

– Из Пикиньи, близ Амьена, – ответил Фошлеван.

– Сколько вам лет?

– Пятьдесят, – ответил Фошлеван.

– Чем вы занимаетесь?

– Я садовник, – ответил Фошлеван.

– Добрый ли вы христианин?

– В нашей семье все добрые христиане, – ответил Фошлеван.

– Это ваша малютка?

– Да, матушка, – ответил Фошлеван.

– Вы ее отец?

– Я ее дед, – ответил Фошлеван.

Мать – изборщица сказала настоятельнице вполголоса:

– Он отвечает разумно.

Жан Вальжан не произнес ни слова.

Настоятельница внимательно оглядела Козетту и шепнула матери-изборщице:

– Она будет дурнушкой.

Монахини тихо побеседовали в углу приемной, затем настоятельница обернулась и проговорила:

– Дедушка Фован! Вам дадут второй наколенник с бубенчиком. Теперь нужны будут два.

И правда, на следующий день в саду раздавался звон уже двух бубенчиков, и монахини не могли побороть искушение приподнять кончик покрывала. В глубине сада, под деревьями,

двое мужчин бок о бок копали землю – Фован и кто-то еще. Событие из ряда вон выходящее! Молчание было нарушено – монахини сообщали друг другу:

– Это помощник садовника.

А матери-изборщицы прибавляли:

– Это брат дедушки Фована.

Жан Вальжан вступил в должность по всем правилам: у него был кожаный наколенник и бубенчик; отныне он стал лицом официальным. Звали его Ультим Фошлеван.

Главное, что заставило настоятельницу принять его на службу, это ее впечатление от Козетты: «Она будет дурнушкой».

Предсказав это, настоятельница тотчас почувствовала расположение к Козетте и зачислила ее бесплатной монастырской пансионеркой.

Это было вполне последовательно. Пусть в монастырях нет зеркал, но внутреннее чувство подсказывает женщинам, какова их внешность, вот почему девушки, сознающие, что они красивы, неохотно постригаются в монахини. Так как степень склонности к монашеству обратно пропорциональна красоте, то больше надежд возлагается на уродов, чем на красавиц. Отсюда вытекает живой интерес к дурнушкам.

Это происшествие возвеличило старика Фошлевана; он имел тройной успех: в глазах Жана Вальжана, которого он приютил и спас; в глазах могильщика Грибье, говорившего себе: «Он избавил меня от штрафа»; в глазах обители, которая, сохранив благодаря ему гроб матери Распятие под алтарем, обошла кесаря и воздала «богово богу». Гроб с телом усопшей покоился в монастыре Малый Пикпюс, а пустой гроб – на кладбище Вожирар. Конечно, общественный порядок был подорван, но никто этого не заметил. Что же касается монастыря, то его благодарность Фошлевану была велика. Фошлеван считался теперь лучшим из служителей и исправнейшим из садовников. Когда монастырь посетил архиепископ, настоятельница рассказала обо всем его высокопреосвященству, как будто бы и каясь, а вместе с тем и хвалясь. Архиепископ, уехав из монастыря, одобрительно шепнул об этом духовнику его высочества де Латилю, впоследствии архиепископу Реймскому и кардиналу. Слава Фошлевана дошла до Рима. Мы видели записку папы Льва XII к одному из его родственников, архиепископу, парижскому нунцию, носившему ту же фамилию – делла Женга; в ней есть такие строки: «Говорят, что в одном из парижских монастырей есть замечательный садовник и святой человек по имени Фован». Но ни единого отзвука этой славы не достигло сторожки Фошлевана; он продолжал прививать, полоть, прикрывать от холода грядки, не подозревая о своих высоких достоинствах и о своей святости. Он столько же знал о собственной славе, сколько знает о своей дургемский или сюррейский бык, изображение которого красуется в Illustrated London News[69] с подписью: «Бык, получивший первый приз на выставке рогатого скота».

## Глава девятая.
## Жизнь в заточении

Козетта и в монастыре продолжала молчать.

Коззета считала себя дочерью Жана Вальжана, что было вполне естественно. Но, ничего не зная, она ничего не могла рассказать, а если б и знала, все равно бы никому не сказала. Ничто так не приучает детей к молчанию, как несчастье, – мы уже об этом говорили. Козетта так много страдала, что боялась всего, даже говорить, даже дышать. Как часто из-за одного только слова на нее обрушивалась страшная лавина! Она понемногу начала приходить в себя лишь с тех пор, как попала к Жану Вальжану. С монастырем она освоилась довольно быстро. Тосковала только по Катерине, но говорить об этом не осмеливалась. Как-то раз она все же сказала Жану Вальжану: «Если бы я знала, отец, то взяла бы ее с собой».

Как воспитанница монастыря, Козетта обязана была носить форму пансионерки. Жану Вальжану удалось упросить, чтобы ему отдали снятую ею одежду. Это был тот самый траурный

наряд, в который он переодел ее, когда увел из харчевни Тенардье. Она его еще не совсем износила. Жан Вальжан запер это старое платьице вместе с ее шерстяными чулками и башмачками в чемоданчик, который умудрился себе раздобыть, и все пересыпал камфорой и благовонными веществами, распространенными в монастырях. Чемодан он поставил на стул возле своей кровати, а ключ от него носил с собой. «Отец! Что это за ящик, который так хорошо пахнет?» – как-то спросила его Козетта.

Дедушка Фошлеван, кроме славы, о которой мы только что говорили и о которой он не подозревал, был вознагражден за свое доброе дело: во-первых, он был счастлив, что оно удалось, а во-вторых, у него намного убавилось работы благодаря помощнику. Наконец, питая пристрастие к табаку, он теперь мог нюхать его втрое чаще и с гораздо большим наслаждением, так как платил за него г-н Мадлен.

Имя Ультим у монахинь не привилось; они называли Жана Вальжана «другой Фован».

Если бы эти святые души обладали долей проницательности Жавера, то они бы в конце концов заметили, что всякий раз, когда приходилось выходить за пределы монастыря по делам садоводства, то шел дряхлый, хворый, хромой Фошлеван – старший, а другой никогда не выходил. Потому ли, что взор, устремленный к богу. не умеет шпионить, потому ли, что монахини были заняты главным образом тем, что следили друг за другом, но только они не обращали на это внимания.

Впрочем, хорошо, что Жан Вальжан оставался в тени и нигде не показывался. Жавер целый месяц наблюдал за кварталом.

Монастырь для Жана Вальжана был словно окруженный безднами остров. Эти четыре стены представляли для него вселенную. Здесь он мог видеть небо, – этого было достаточно для душевного спокойствия, – и Козетту – этого было достаточно для его счастья.

Для него вновь началась счастливая жизнь.

Он жил со стариком Фошлеваном в глубине сада, в сторожке. В этом домишке, сколоченном из строительных отходов и еще существовавшем в 1845 году, было, как известно, три совершенно пустые, с голыми стенами, комнаты. Самую большую Фошлеван отдал, несмотря на упорное, но тщетное сопротивление Жана Вальжана, г-ну Мадлену. Стена этой комнаты, помимо двух гвоздей, предназначенных для наколенника и корзины, украшена была висевшим над камином роялистским кредитным билетом 1793 года, изображение которого мы здесь приводим:

**КАТОЛИЧЕСКАЯ**

*Именем короля Равноценно десяти ливрам.*
*За предметы, поставляемые армии.*
*Подлежит оплате по установлении мира.*
*Серия 3*
*э 10390*
*Стоффле*
*И КОРОЛЕВСКАЯ АРМИЯ*

Эта вандейская ассигнация была прибита к стене прежним садовником, умершим в монастыре старым шуаном, которого заместил Фошлеван.

Жан Вальжан работал в саду ежедневно и был там очень полезен. Когда-то он работал подрезальщиком деревьев и охотно взялся снова за садоводство. Вспомним, что он знал множество разнообразных способов и секретов ухода за растениями. Он ими воспользовался. Почти все деревья в саду одичали; он привил их, и они опять стали приносить чудесные плоды.

Козетте разрешено было ежедневно приходить к нему на час. Сестры были всегда мрачны, а он приветлив, и девочка обожала его. В определенный час она прибегала в сторожку. С ее приходом здесь воцарялся рай. Жан Вальжан расцветал, чувствуя, что его счастье растет от того счастья, которое он дает Козетте. Радость, доставляемая нами другому, пленяет тем, что она не только не бледнеет, как всякий отблеск, но возвращается к нам еще более яркой. В рекреационные часы Жан Вальжан издали смотрел на игры и беготню Козетты и отличал ее смех от смеха других детей.

А Козетта теперь смеялась.

Даже личико Козетты изменилось. Оно утратило мрачное выражение. Смех – это солнце: оно прогоняет с человеческого лица зиму.

Не будучи красивой, Козетта становилась прелестной; голос у нее был по-детски нежный, и она мило болтала.

Когда, по окончании рекреации, Козетта убегала, Жан Вальжан глядел на окна ее класса, а по ночам вставал, чтобы поглядеть на окна ее дортуара.

Пути господни неисповедимы; монастырь, подобно Козетте, помог укрепить и завершить в Жане Вальжане тот переворот, доброе начало которому положил епископ. Не подлежит сомнению, что одной из своих сторон добродетель соприкасается с гордыней. Их связывает мост, построенный дьяволом. Быть может, Жан Вальжан бессознательно был уже близок именно к этой стороне и к этому мосту, когда провидение забросило его в монастырь Малый Пикпюс. Пока он сравнивал себя только с епископом, он чувствовал себя недостойным и был полон смирения; но с некоторых пор он начал сравнивать себя с другими людьми, и в нем пробуждалась гордость. Кто знает? Быть может, он незаметно для себя научился бы вновь ненавидеть.

На этой наклонной плоскости его задержал монастырь.

Это было второе место неволи, которое ему пришлось увидеть. В юности, в то время, которое можно назвать зарею его жизни, и позже, еще совсем недавно, он видел другое место, – отвратительное, ужасное место, суровость которого всегда казалась ему несправедливостью правосудия, беззаконием закона. Ныне после каторги перед ним предстал монастырь, и, размышляя о том, что он жил жизнью каторги, а теперь стал как бы наблюдателем монастырской жизни, он с мучительной тоской мысленно сравнивал их.

Порой, облокотившись на заступ, он медленно, точно спускаясь по бесконечной винтовой лестнице, погружался в пучину раздумья.

Он вспоминал своих товарищей. Как они были несчастны! Поднимаясь с зарей, они трудились до поздней ночи; им почти не оставалось времени для сна; они спали на походных кроватях с тюфяками не больше чем в два пальца толщиной, в помещениях, отапливаемых только в самые жестокие морозы; на них были отвратительные красные куртки; из милости им позволяли надевать холщовые панталоны в сильную жару и шерстяные блузы в сильные холода; они пили вино и ели мясо только в те дни, когда отправлялись на особенно тяжелые работы. Утратив свои имена, обозначенные лишь номером и как бы превращенные в цифры, они жили не поднимая глаз, не повышая голоса, обритые, под палкой, заклейменные позором.

Потом мысль его возвращалась к тем существам, которые были перед его глазами.

Эти существа тоже были острижены; они жили тоже не поднимая глаз, не повышая голоса; их уделом был не позор, но насмешки; их спины не были избиты палками, зато плечи истерзаны бичеванием. Их имена были тоже утрачены для мира; у них были только строгие прозвища. Они никогда не ели мяса, не пили вина; часто ничего не ели до самого вечера; на них были не красные куртки, а шерстяные черные саваны, слишком тяжелые для лета, слишком легкие для зимы, и они не имели права ничего убавить в своей одежде и ничего к ней прибавить; у них не было даже в запасе, на случай холода, ни холщовой одежды, ни шерстяного верхнего платья, полгода они носили грубые шерстяные сорочки, от которых их лихорадило. Они жили

не в помещениях, которые все же отапливались в жестокие морозы, а в кельях, где никогда не разводили огня; они спали не на тюфяках толщиной в два пальца, а на соломе. Наконец, им не оставляли времени для сна; каждую ночь, когда, закончив дневные труды, они, изнеможенные, кое-как согревшись, начинали дремать, им надо было прерывать первый свой сон, чтобы молиться, преклонив колена, на каменном полу холодной темной молельни.

Все эти создания должны были поочередно стоять на коленях двенадцать часов подряд на каменных плитах пола или лежать, распростершись ниц, раскинув руки крестом.

Те существа были мужчины; эти – женщины.

Что сделали мужчины? Они воровали, убивали, нападали из-за угла, насиловали, резали. Это были разбойники, фальшивомонетчики, отравители, поджигатели, убийцы, отцеубийцы. Что сделали эти женщины? Они ничего не сделали.

Там – разбой, мошенничество, воровство, насилие, разврат, убийство, все виды кощунства, разнообразие преступлений; здесь же – невинность.

Невинность чистейшая, почти вознесенная над землей в таинственном успении, еще тяготеющая к земле своей добродетелью, но уже тяготеющая и к небу своею святостью.

Там – признания в преступлениях, поверяемые друг другу шепотом; здесь – исповедание в грехах, во всеуслышание. И какие преступления! И какие грехи!

Там – миазмы, здесь – благоухание. Там – нравственная чума, которую неусыпно стерегут, которую держат под дулом пушек и которая медленно пожирает зачумленных, здесь – чистое пламя душ, возженное на едином очаге. Там – мрак, здесь – тень, но тень, полная озарений, и озарения, полные лучистого света.

И там и здесь – рабство; но там возможность освобождения, предел, указанный законом, наконец, побег. Здесь – рабство пожизненное; единственная надежда – и лишь в самом далеком будущем – тот брезжущий луч свободы, который люди называют смертью.

К тому рабству люди прикованы цепями; к этому – своей верой.

Что исходит оттуда? Неслыханные проклятия, скрежет зубовный, ненависть, злоба отчаяния, вопль возмущения человеческим обществом, хула на небеса.

Что исходит отсюда? Благословение и любовь.

И вот в этих столь похожих и столь разных местах два вида различных существ были заняты одним и тем же – искуплением.

Жан Вальжан хорошо понимал необходимость искупления для первых, – искупления личного, искупления собственного греха. Но он не мог понять искупление чужих грехов, взятое на себя этими безупречными, непорочными созданиями, и, содрогаясь, спрашивал себя: «Искупление чего? Какое искупление?»

А голос его совести отвечал: «Самый высокий пример человеческого великодушия – искупление чужих грехов».

Наше мнение по этому поводу мы оставляем при себе – мы являемся здесь только рассказчиком; мы становимся на точку зрения Жана Вальжана и передаем его впечатления.

Перед ним была высшая ступень самоотверженности, вершина добродетели; невинность, прощающая людям их грехи и несущая за них покаяние; добровольное рабство, приятие мученичества, страдание, которого просят души безгрешные, чтобы избавить от него души заблудшие; любовь к человечеству, поглощенная любовью к богу, но в ней не исчезающая и молящая о милосердии; кроткие, слабые существа, испытывающие муки тех, кто несет кару, и улыбающиеся улыбкой тех, кто взыскан милостью.

И тогда Жан Вальжан думал о том, что он еще смеет роптать!

Нередко он вставал ночью, чтобы внимать благодарственному песнопению этих невинных душ, несущих бремя сурового устава, и холод пробегал по его жилам, когда он вспоминал, что

если те, кто были наказаны справедливо, и обращали свой голос к небу, то лишь для богохульства и что он, несчастный, тоже когда-то восставал против бога.

Его поражало то, что и подъем по стене, и преодоление ограды, и рискованная затея, сопряженная со смертельной опасностью, и тяжелое, суровое восхождение – все усилия, предпринятые им для того, чтобы выйти из первого места искупления, были им повторены, чтобы проникнуть во второе. Не символ ли это его судьбы? Он глубоко задумывался над этим, словно внимая тихому, предостерегающему голосу провидения.

Этот дом был тоже тюрьмой и имел мрачное сходство с другим жилищем, откуда он бежал, но он не представлял себе ничего подобного.

Он опять увидел решетки, замки, железные засовы; кого же должны они были стеречь? Ангелов.

Когда-то он видел высокие стены вокруг тигров; теперь он видит их опять, но вокруг агнцев.

Это было место искупления, а не наказания; между тем оно было еще суровее, угрюмее, еще беспощаднее, чем то. Девственницы были еще безжалостней согнуты жизнью, чем каторжники. Студеный, резкий ветер, ветер, леденивший когда-то его юность, пронизывал забранный решеткой, запертый на замок ястребиный ров; северный ветер, еще более жестокий и мучительный, дул в клетке голубиц. Почему?

Когда он думал об этом, все существо его склонялось перед тайной непостижимо высокого.

Во время таких размышлений гордость исчезает. Он рассматривал себя со всех сторон и, сознав свое ничтожество, не раз плакал над собой. Все, что вторглось в его жизнь в течение полугода, возвращало его к святым увещаниям епископа: Козетта – путем любви, монастырь – путем смирения.

В сумерки, когда в саду никого не было, его можно было видеть в аллее, возле молельни: он стоял на коленях под окном, в которое он заглянул в ночь своего прибытия, лицом туда, где, как ему было известно, лежала распростертая в искупительной молитве сестра-монахиня. И, преклонив перед нею колена, молился.

Перед богом он словно не осмеливался преклонить колена.

Все, что окружало его, – мирный сад, благоухающие цветы, дети, их радостный гомон, простые, серьезные женщины, тихая обитель, – медленно овладевало им, и постепенно в его душу проникли тишина монастыря, благоухание цветов, мир сада, простота женщин, радость детей. И он думал, что это два божьих дома, приютивших его в роковые минуты его жизни: первый – когда все двери были для него закрыты и человеческое общество оттолкнуло его; второй – когда человеческое общество вновь стало преследовать его и вновь перед ним открывалась каторга; не будь первого, он вновь опустился бы до преступления, не будь второго, он вновь опустился бы в бездну страданий.

Вся душа его растворялась в благодарности, и он любил все сильнее и сильнее.

Прошло много лет: Козетта подросла.

**Примечания**

**1**

Бьенвеню (bienvenu) – желанный; желанный гость *(франц.)*.

**2**

Наказание *(лат.)*

**3**

Если господь не охраняет дом, вотще сторожат охраняющие его *(лат.)*

**4**

Да будет свет *(лат.)*

**5**

Правдой! и неправдой *(лат.)*

**6**

За стаканом вина *(лат.)*

**7**

Внезапно; без предисловий *(лат.)*

**8**

Пустите детей *(лат.)*

**9**

Я червь *(лат.)*

**10**

«Верую в бога-отца» *(лат.)*

**11**

За многолюбие *(лат.)*

**12**

Вот Жан.

**13**

Игра слов, построенная на двойном смысле Champ-de-Mai – Майское собрание (буквально – Майское поле) и Champ-de-Mars – Марсово поле (буквально – Мартовское поле).

**14**

Шатобриан

**15**

Воскресший *(лат.)*

**16**

Перевод стихов в «Отверженных» принадлежит В. Левику.

**17**

Перед уходом оправляйте одежду *(англ.)*

**18**

Я из Бадахоса.
Любовь меня зовет.
Вся душа моя
В моих глазах,
Когда ты показываешь
Свои ножки. *(исп.)*

**19**

Из комедии Мольера «Шалый, или Все невпопад». Перевод Е. Полонской.

**20**

Во всем должна быть мера *(лат.)* – стих из «Сатир» Горация.

**21**

Конец *(лат.)*

**22**

Ныне пою тебя, Вакх! *(лат.)*

**23**

Повод к войне *(лат.)*

**24**

Нет ничего нового под солнцем *(лат.)*

**25**

Любовь у всех одна и та же *(лат.)* – стих из «Георгик» Вергилия.

**26**

Христос наш освободитель *(лат.)*

**27**

Скобки поставлены рукой Жана Вальжана *(Прим авт.)*

**28**

П.К.Р. – пожизненные каторжные работы.

**29**

Энкинес *(исп.)*

**30**

Граф де Рио Майор *(исп.)*

**31**

Маркиз и маркиза де Альмагро (Гавана) *(исп.)*

**32**

Вальтером Скоттом, Ламартином, Волабелем, Шарасом, Кине, Тьером *(Прим. авт.)*

**33**

Темная сторона *(лат.)*

**34**

Нечто темное, нечто божественное *(лат.)*

**35**

Смеется Цезарь, Помпей заплачет *(лат.)*

**36**

Молниевержца *(лат.)*

**37**

Вот эта надпись: «Всемогущий, всеблагой бог с тобою. Здесь по воле несчастного случая был раздавлен телегой господин Бернар Дебри, торговец из Брюсселя [неразборчиво].

**38**

Splendid! – подлинное его выражение. *(Прим. авт.)*

**39**

Так было суждено *(лат.)*

**40**

Какая цена полководцу? *(лат.)*

**41**

«Оконченный бой, завершенный день, исправление ошибочных мер, огромный успех, обеспеченный назавтра, – все было потеряно из-за мгновения панического страха» (Наполеон. Мемуары, продиктованные на острове св. Елены). **(Прим. авт.)**

**42**

застой *(лат.)*

**43**

Превыше всего *(лат.)* – девиз Людовика XIV, «Короля-Солнца».

**44**

Sainte Alliance – Священный союз: «Belle Alliance» «Прекрасный союз» – название постоялого двора и холма, места третьей стоянки Наполеона во время битвы под Ватерлоо.

**45**

«Так вы не для себя…» *(лат.)* – начало стиха, который приписывался Вергилию.

**46**

Он копает яму и прячет в этот тайник сокровища: деньги, монеты, камни, трупы, призраки и ничто. *(лат.)*

**47**

Безрубашечники *(исп.)*

**48**

Единственно достойный король *(исп.)* – формула испанского абсолютизма.

**49**

По-французски ворона – le corbeau (корбо), лисица – le renard (ренар).

**50**

По-французски Пренар (prenard) означает, взяточник, лихоимец.

**51**

«Радуйся, Мария» *(лат.)* – первые слова молитвы.

**52**

«Благодатная» *(лат.)* – буквально, исполненная благодати, прелести (продолжение той же молитвы).

**53**

Сей *(лат.)*

**54**

Вечерня *(лат.)*

**55**

Никто не будет сообщать наших правил или установлений посторонним *(лат.)*

**56**

Знатных дам *(лат.)*

**57**

Неравные по заслугам, висят на крестах три тела: Дисмас и Гесмас, а посредине царь небесный; ввысь стремится Дисмас, а несчастный Гесмас – вниз. Нас и наше имущество да сохранит всевышний. Говори эти стихи, чтобы у тебя не украли твоего добра *(лат.)*

**58**

После сердец – о камнях *(лат.)*

**59**

Разлетелись *(лат.)*

**60**

Здесь я покоюсь. Прожила я двадцать три года *(лат.)*

**61**

Подземная темница пожизненного заключения *(лат.)*

**62**

Набеленный мелом бык *(лат.)* Ювенал (Сатира 10).

**63**

Богу вознес молитву Вольтер *(лат.)*

**64**

Из глубины взываю *(лат.)* – начало заупокойной молитвы.

**65**

«Спящие во прахе земли пробудятся: одни на вечную жизнь, а другие на вечное мучение, пусть всегда это помнят» *(лат.)*

**66**

«Вечный покой даруй ему, господи» *(лат.)*

**67**

«И да светит ему вечный свет» *(лат.)*

**68**

«Да почиет в мире» *(лат.)*

**69**

«Лондонские иллюстрированные новости» *(англ.)*

---